Приложение к газете «День литературы»

Главный редактор:
Владимир БОНДАРЕНКО

Выпускающий редактор:
Валентина ЕРОФЕЕВА

Редакционный совет:
Вера ГАЛАКТИОНОВА,
Николай ИВАНОВ,
Сергей КУНЯЕВ,
Станислав ПАРФЁНЦЕВ,
Михаил ПОПОВ,
Александр ПРОХАНОВ,
Андрей ТИМОФЕЕВ,
Сергей ШАРГУНОВ

Адрес редакции:
119146, г. Москва,
Комсомольский проспект, 13

Телефон:
8-916-015-80-69

Email:
denlitera@yandex.ru

Сайт:
denlit.ru

Регистрационный № ПИ 77-7768 от 9 апреля 2001 г.

ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ

Журнал русских писателей

№ 1 (4), 2018

СОДЕРЖАНИЕ

СЛОВО

Григорий БЛЕХМАН. Предсказуемый тупик и поиски выхода.....*3*

ПРОЗА

Александр ФИЛИППОВ. Всё по-честному. *Повесть*.....*15*
Анатолий КИРИЛЛИН. Семана для попугайчиков. *Роман*..... ..*61*
Юрий МАНАКОВ. Не замутить колодца непогоде. *Повесть об отце*.....*155*
Николай ДОРОШЕНКО. Золотой век. *Историософское размышление*..... *230*
Сергей ЩЕРБАКОВ. Алеша и Света... *Рассказ*.....*247*
Михаил ПОПОВ. Се истина. *Новелла, притчи*.....*252*
Алексей ЛИСНЯК. Коля из деревни Зуево. *Рассказы*.....*265*
Максим ЯКОВЛЕВ. Выбор. *Рассказ*.....*273*
Иван МАШИН. Человек, ищущий заблудшую овцу. *Новеллы*.....*283*
Владимир ПРОНСКИЙ. Смертный бой. *Рассказ*.....*293*
Дмитрий ЕРМАКОВ. Дикий сад. *Рассказы*.....*302*
Елена РОДЧЕНКОВА. Семь сказок *для взрослых* *307*

ПОЭЗИЯ

Нина ЯГОДИНЦЕВА. «На перевалах». *Стихотворения*.....*323*
Александр КЕРДАН. «Хоть налево иди, хоть направо...»
Провинциальный дневник (2017 год).....*235*

РУССКАЯ ИДЕЯ

Пётр КРАСНОВ. Русские в Империи.
К вопросу о революциях начала XX века.....*242*

КРИТИКА

Андрей ВОРОНЦОВ. На разломе русского мира.
О романе Михаила Попова «На кресах всходних» *351*
Максим ЕРШОВ. Патриотическая дымка экзистенциально усталости
Андрей Рубанов и роман «Патриот».....*357*

Григорий БЛЕХМАН

ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ТУПИК И ПОИСКИ ВЫХОДА

Размышления о грядущих выборах

Эти размышления появились сразу после прямой линии россиян с президентом. Но человек устроен так, что всегда чего-то ждёт, на что-то надеется. Поэтому мы ждали, что ближе к выборам могут появиться «свежие лица» в качестве претендентов на высшую государственную должность или произойдут какие-либо события, принципиально меняющие наши ожидания.

Лица, действительно, стали появляться. Некоторые из них даже «свежие». Однако для такого уровня действа их, за исключением Павла Грудинина, конечно, воспринимать всерьёз нельзя. Здесь явно просматриваются лишь разного рода политтехнологические трюки, направленные на оживление выборной кампании, которая давно уже стала малоинтересна для россиян, из-за предсказуемости её результатов. И так как эти трюки «шиты белыми нитками», велика вероятность того, что для нас – простых граждан – ничего принципиально не изменится. Что, к сожале-

---

БЛЕХМАН Григорий Исаакович, поэт, писатель, публицист, литературный критик. Родился 11 августа 1945 года на Кубани в казачьей станице Бесскорбная, где жил в течение 10-ти лет. В 1955-м году отца перевели на работу в Москву, и с ним переехала вся семья. С тех пор здесь и живёт. Повести, рассказы, очерки о поэзии, поэтической прозе, поэтах и писателях, публицистика, а также стихи опубликованы в отечественных и зарубежных журналах и альманахах. Автор пяти сборников – стихотворений, прозы и очерков, вышедших в издательстве «Российский писатель».

Член Союза писателей России.

нию, свидетельствует о том, насколько предсказуем наш тупик на ближайшие годы.

Но поскольку нормальный человек устроен так, что из любого тупика ищет выход, об этом тоже хотелось поговорить.

15-го июня 2017 года общением нынешнего президента страны с народом по прямой линии телеэфира фактически началась его предвыборная кампания. В целом, президент излучал привычную для нас уверенность в том, что выбранный курс развития страны – правильный. А при ответах на подготовленные для него «острые вопросы» отмечал имеющиеся у нас «отдельные недостатки», порождённые недобросовестностью «отдельных» чиновников на разных должностях, но никак не носящие системный характер. В некоторых случаях обещал даже приехать на место и лично разобраться в причине того или иного «отдельного недоразумения». Причём, ни ему, ни тем, кто готовил для него такой сценарий, не пришло в голову, что любая необходимость «ручного управления» является либо причиной сбоя в системе, либо отсутствием её как таковой, когда речь идёт о благополучии граждан страны, не находящихся на какой-либо из ступенек властной структуры.

Президент был явно доволен четырёхчасовым пребыванием в прямом эфире. И его легко понять, поскольку степень оторванности первого лица государства и кремлёвской администрации, подготовившей сценарий такого общения, от настроений соотечественников очень велика. Этот вывод напрашивается потому, что настроения людей на улицах, в магазинах, поликлиниках, транспорте... несколько иные и движутся они в сторону, противоположную от общего оптимизма, излучаемого на телеканалах руководителем страны.

Примерно то же, с небольшими вариациями, повторилось и на его пресс-конференции 14-го декабря, после того, как стало известно, что он выдвинул свою кандидатуру в качестве самовыдвиженца на выборы президента.

Нас давно уже приучили к тому, что, кроме повторения пройденного с предсказуемым финалом, ничего другого мы от выборов президента не ждём. Одних такая «стабильность» *радует*, других – *удовлетворяет,* третьих – *печалит*.

Радует тех, кто в той или иной степени, как говорят в народе, «близок к миске». Они живут сегодняшним днём, в котором им хорошо, потому что сытно. О завтрашнем – или не думают, или, может быть, думают, что он наступит нескоро, и «на их век хватит». Хотя, на всякий случай подавляющее большинство из них давно уже вкладывают капиталы в Западные банки и Западную недвижимость, тем самым ослабляя собственную экономику в пользу развития Западной.

Удовлетворяет тех, кто, порой, и задумывается, что «идём не туда», но опасается, как бы от перемен не было хуже. Свои опасения они объясняют тем, что, по их словам, нынешняя власть разных уровней и её приближённые уже неплохо «насосались» от присвоенных природных ресурсов страны – народного достояния, и официально или камерно грабят теперь нас не с той интенсивностью, с какой могли бы это делать те, кто пришёл бы им на смену.

Эта категория людей говорит и о «цементирующей роли» нынешнего президента в территориальной целостности сегодняшней России, опасаясь, что при другом президенте она может быть нарушена: выйдут, в частности, из её состава некоторые из кавказских республик, Татарстан...

Поэтому их такая «стабильность», при всех очевидных её недостатках, устраивает.

Ну, а третью категорию граждан – *печалит*, и они хотят перемен потому, что всё же надеются на возможность изменений к лучшему. И, прежде всего, нравственного климата в обществе, от которого, в конечном счёте, зависит и территориальная целостность, и развитие во всех областях государственного устройства, а, следовательно, и жизненный уровень всех граждан.

То есть, изменения, в результате которых будет торжествовать, если и неполная, чего, наверное, не бывает, то хотя бы ощутимая справедливость, основанная на давно уже забытом у нас известном принципе: *«от каждого по его способностям, каждому – по его труду»*.

А чтобы такой принцип стал нашей основой, нужны *фундаментальные* изменения культурного и экономического курса страны, стоящего уже третье десятилетие на «гнилом фундаменте». Ведь всем уже давно видно, что сегодняшнее правительство, работой которого президент «*в целом удовлетворён*», хотя время от времени и устраивает показательные нарекания отдельным его членам, для этого абсолютно не годится.

Не годятся для этого или в лучшем случае малопригодны и те частные изменения, какие по осени начали происходить в губернаторском корпусе. Во-первых, их логика носит закрытый характер, и, во-вторых, общий курс «развития» страны никаких изменений от этого не претерпевает.

Однако, если рассматривать состав претендентов на высшую государственную должность, становится очевидным, что победит президент нынешний. Не потому, что голоса «посчитают, как надо». Их при таких «демократических» выборах – таком подборе «претендентов» – можно посчитать и честно, всё равно проголосовавших за него будет больше, чем за тех, кто выдвинул свои кандидатуры, *якобы* борясь за победу.

Больше того, он победит даже при том, что в очередной раз не собирается участвовать в предвыборных дебатах.

Ведь на его стороне мощный «административный ресурс». В том числе и подвластные его администрации центральные СМИ, оказывающие сильнейшее воздействие на основную часть людей в масштабах страны. А также услужливые Государственная Дума и Совет Федерации, основу которых составляют выдвиженцы услужливой партии Единая Россия.

Поэтому единственная задача кремлёвской администрации в предвыборный период состояла в том, чтобы его «оживить» и тем самым обеспечить максимально возможную явку граждан к урнам 18-го марта...

Слух о возможном участии Навального в выборах немножко на первых порах разнообразил унылую палитру подготовки к этому процессу. Но о его фигуре существуют противоречивые мнения.

Одни считают этого человека политиком самостоятельным, у которого есть реальная программа борьбы с коррупцией, как основным злом нынешней России, и у кого, по утверждению самого Навального, есть сильная команда, способная обеспечить победу над этим злом и вывести страну из нынешнего тупика при условии, если он будет избран президентом.

Другие полагают, что этот «кандидат», как и лидеры официальной оппозиции, тоже является проектом Кремля, а точнее, его определённых кругов, поскольку склонны думать, что в Кремле нет единства относительно кандидатуры на высшую государственную должность.

Есть даже конкретные высказывания о том, что Навальный – ставлен-

ник праволиберальных олигархических кругов, «питающихся» на Западе. А Западу сейчас, да и не только, выгодно, чтобы в России была смута, которая всегда ослабляет страну.

Но, в вопросе о Навальном даже среди профессиональных политологов возникла ощутимая путаница.

Все сходились лишь в том, что число избирателей при участии в выборах этого «персонажа» могло заметно увеличиться, поскольку поклонников, как показали выборы мэра Москвы в 2013-м году, у него немало.

Однако, в какой-то момент сторонники нынешнего президента в Кремле, видимо, посчитали, что такого «оживления» им не надо, и Навального не стоит допускать до выборов. Они организовали убедительную для этого причину, что, впрочем, было несложно сделать.

Может быть, в его недопуске сыграли роль настолько детальные документальные факты, приводимые им при разоблачении в коррупции конкретных представителей власти, что ни у кого из его «подследственных» не осталось убедительных аргументов выдать эти материалы за клевету.

Так это или нет, очевидно, знает пока довольно узкий круг людей.

Что касается самого Навального, то проиграв во всех судах свои притязания баллотироваться, он довольно ловко схитрил, призвав свой «электорат» вовсе не ходить на выборы. А поскольку процент избирателей, которые в любом случае не собираются приходить к урнам 18-го марта, велик, то после выборов у него появится возможность сказать, что эта часть соотечественников голосовала бы за него.

Но поскольку задача увеличивать активность избирателей оставалась, то в результате предвыборной эквилибристики Кремля, в качестве одного из «претендентов» тут же выступила не менее, хотя и в другом амплуа, эпатажная для этих целей фигура. Во второй половине октября на предвыборной арене появилась «правозащитница» с Рублёвки Ксения Собчак.

Причём, «желание» бывшей ведущей общеизвестной телепрограммы «Дом 2», где делается упор на животные инстинкты человека при работе мозга лишь в одной извилине, да и той сильно спрямлённой, сразу и очень активно стали обсуждать на всех центральных теле- и радиоканалах.

Однако, практически всем было понятно, что особого интереса к ней не появится.

Единственный среди всех кандидатов, кто заслуживает внимания, это выдвинутый представляющим широкую коалицию левых и народно-патриотических сил России – ПДС НПСР (Постоянно Действующим Совещанием Национально Патриотических Сил России), а затем, в конце декабря поддержанный съездом КПРФ директор совхоза им. Ленина Павел Грудинин. Этот беспартийный кандидат известен своими знаниями экономики и способностями организовать дело на вверенном ему участке так, что результаты налицо. И все, кто трудится под его началом, их семьи, и люди, живущие в прилегающих к совхозу посёлках, а это уже около двенадцати тысяч человек, довольны атмосферой справедливости взаимоотношений между людьми и материальным достатком.

Но он пока широко известен лишь в узких кругах, поэтому требуется время, чтобы о его организаторских достижениях и конкретных идеях по оздоровлению страны стало известно в масштабах России.

Предвыборные дебаты и поездки по стране самого кандидата и его доверенных лиц как раз и дают такую возможность...

С точки зрения логики в ожидаемой победе нынешнего президента есть некий парадокс. С одной стороны, мы видим, *что* происходит в стране и *куда* она катится. С другой – сам президент, видимо, обладает, *такой* харизмой, какая в немалой степени продолжает хранить, вроде бы непонятно уже на чём держащуюся первоначальную симпатию к нему лично немалого числа людей, далёких от анализа сути происходящего, надеющихся на то, что при нём ещё может наступить возрождение страны, какое отчасти виделось в первые годы его пребывания на высшей государственной должности. Ну, если и не возрождение, то какие-то перемены к лучшему.

Хотя число надеющихся на это с каждым годом серьёзно уменьшается, наблюдая и ощущая на своём жизненном уровне «рыхлость» действий первого лица государства на грани бездействия по отношению к развитию своей страны.

Уже всё большему числу сограждан становится понятным, что нынешний президент, если бы что-то и хотел *принципиально* изменить, ничего не может сделать в условиях фактически правящего в России со времён 90-х олигархата, который и привёл «преемника Ельцина» лишь к номинальной верховной власти.

Но центральные СМИ – могучая сила. Они не устают напоминать нам, куда стремительно катилась Россия при Ельцине, и что, если бы не нынешний президент, то давно уже наступила здесь такая разруха, какая давно стала бы необратимой.

С этим вряд ли сегодня кто-то здравомыслящий будет спорить. При Ельцине мы, действительно, пошли по пути, который вёл нас на позицию сырьевого придатка – Америки ли или её в компании с кем-то из *«наших западных партнёров»*.

А нынешний президент сумел решительно приостановить этот процесс, за что соотечественники не могут не быть ему благодарны.

Конечно, мы и сейчас не ушли от того, что наша зависимость от мировых цен на нефть и другое сырьё превышает ту степень, которая позволила бы не считать себя страной сырьевой. Мы ведь даже разучились наше сырьё должным образом хотя бы минимально перерабатывать.

Но ничьим придатком страна пока не стала...

А чтобы понимать, почему возможности нынешнего президента проводить в стране самостоятельную политику ограничены, необходимо вспомнить следующее.

Во-первых, его изначальное появление на высшей государственной должности случилось не в результате борьбы с претендентами на эту позицию, а благодаря практически передаче ему власти из рук действующего тогда президента Бориса Ельцина.

И это, как оказалось, стало главным в происходящем и поныне.

Вполне возможно, что Ельцин, который давно уже по состоянию здоровья, а изначально и по своему уровню государственного деятеля, не соответствовал должности президента, в какой-то момент почувствовал это сам. А может быть, и приближённые сумели его убедить, чтобы он ушёл с этой должности красиво и выгодно. Выгодно и для себя, и для страны.

О стране они, конечно, думали в плане лишь меркантильном, потому что докатись страна до состояния полного сырьевого придатка, их «кормушка» бы кончилась. Её отобрали бы новые хозяева, которыми всецело могли стать

иностранцы. А так, передав власть *надёжному для себя* человеку, можно было притормозить этот процесс и продолжать начатое ими в 90-х разграбление под вывеской крупного бизнеса.

Борис Николаевич, действительно, так и ушёл.

Стана умилялась его *«мужественному поступку»,* припав к телеэкранам на исходе 1999 года. А президент нынешний, получивший «жезл» практически из рук президента прежнего, вне сомнения, будет благодарен ему за это всю оставшуюся жизнь, что он и доказывает по сей день.

Чего стоит одно лишь создание Ельцин-центра, ставшее вразрез с общественным мнением подавляющего большинства граждан страны.

Однако, и это во-вторых, не только *таким* изначальным приходом к власти объясняется нынешнее недоумение граждан. Как стало очевидным чуть позже, на высшую государственную должность нынешний президент пришёл тогда «в объятьях» команды Ельцина. А потом, когда стал приводить свою команду, то ключевые позиции предшествующей были давно уже настолько прочны, что «свои» могли получать должности и трудиться лишь в границах им дозволенного.

Поначалу, правда, казалось, что сила нового президента очень велика. Он решительно «разобрался» с такими крупными фигурами-олигархами, как Ходорковский, Гусинский, Березовский... Однако, позже стало очевидным, что с этими фигурами ему не то, что *позволено,* а скорее всего *велено* было «разобраться» при поддержке не менее крупных фигур ельцинского олигархата, среди которых по всем статьям до сих пор выделяется «государственник» Анатолий Чубайс.

И стало также очевидным, что президент нынешний при таком положении дел способен действовать лишь в тех рамках, в каких дозволяет ему система, берущая начало и прочно сформировавшаяся в 90-е. Именно у этой системы оказалась основная часть природных и финансовых ресурсов страны, а, следовательно, и рычаги управления. И все, кто в неё не встроился, были отбракованы ею тем естественным путём, каким бракует «инородные тела» любая система.

Нынешний президент, как видим, встроился, о чём свидетельствуют не только выводы его выступлений с разного рода трибун, но и главный внутренний курс страны.

Возможно, он и страдает от своего бессилия *принципиально* изменить положение дел. Но об этом может знать лишь очень узкий круг самых близких ему людей...

Правда, относительно «страданий от такого бессилия» у всё большего числа соотечественников возникают сомнения, когда они узнают, например, о доходах некоторых близких его друзей – Геннадия Тимченко, Юрия Ковальчука, братьев Ротенбергов, Сергея Ралдугина..., поскольку эти доходы поражают воображение своей «жирностью», не только на фоне неуклонного снижения уровня жизни основной части населения страны...

И ещё – давно уже смущает большинство мыслящих граждан, что с каждым днём всё отчётливей заметно, какая «идеология» у нас существует, и куда мы идём.

Ведь сегодня в нашей стране молодые люди мечтают стать не учёными, врачами, конструкторами, инженерами, дипломатами..., не говоря уж о преподавателях-просветителях, и даже не юристами, экономистами, предпринимателями... «Модернизация нулевых» привела к тому, что *«юноше, обду-*

мывающему житьё...» грезится кресло чиновника. Грезится потому, что система создала в стране такую обстановку, при которой не то чтобы созидательное начало, но даже мало-мальски мыслительное, если мысль не ведёт к сугубо личному обогащению, уже не привлекает большинство молодых, так как самыми доходными и, больше того, *официально уважаемыми* стали должности чиновников. А наши чиновники в подавляющем большинстве, что ни для кого давно не секрет, живут либо на взятки, либо на «откаты», либо на то и другое вместе.

Поэтому у нас сегодня *такое* образование, здравоохранение, пенсии, культура, наука (за малым исключением), разрушенные деревни, заводы, фабрики... и почти всё, «куда ни ткни», включая и традиционно негодные дороги.

И тут возникает, наверное, главный вопрос – неужели всё так безнадёжно и ничего нельзя сделать?

Видимо, можно. Достаточно вспомнить, в каком плачевном состоянии находилась страна, частью которой является нынешняя Россия, и во что она превратилась уже за две первых пятилетки – после того, как её возглавил Сталин.

И после Великой Отечественной войны сильно разрушенное государство восстановили под его руководством в такие короткие сроки, что весь мир диву давался.

Конечно, теперь методы ведения хозяйства должны быть модернизированы с учётом современных технологий и, безусловно, хозрасчёта.

Однако, примеры нашего великого прошлого показывают, насколько важно для государства, *кто* стоит во главе. Потому что именно глава обязан подбирать и расставлять руководящие кадры, ставить им задачи, а затем требовать их неукоснительного выполнения. Ведь, в конечном счёте, он и отвечает перед народом за состояние дел в стране.

Поэтому глава государства *непременно должен обладать в стране абсолютным авторитетом.*

И то, что сегодня, как уже отмечено, недовольство происходящим с каждым днём усиливается настолько, что начинает вызывать опасения, в первую очередь должно волновать первое лицо страны.

Ведь не дай Бог, это недовольство перерастёт в смуту... Россия и так уже сверх меры научена горьким опытом социальных катастроф, случавшихся в результате таких смут.

Размышления на эту тему Константина Бальмонта, приветствовавшего бескровную, по его мнению, Февральскую революцию, но пришедшего в ужас от *«хаоса»* и *«урагана сумасшествия»* кровавой Октябрьской, привели, например, к такому выводу: *«...не революциями, а эволюцией жив мир. Стройность, порядок – вот, что нужно, как дыхание, как пища... Когда революция переходит в сатанинский вихрь разрушений – тогда правда становится безгласной или превращается в ложь. Толпами овладевает стихийное безумие, подражательное сумасшествие, все слова утрачивают своё содержание и свою убедительность...».*

Конечно, поэты склонны гиперболизировать и образно выражать свою мысль, но и мы были свидетелями той трагической для страны вакханалии, что творилась практически все девяностые и очень отчётливо «аукается» нам и сегодня.

Да и *кто* пользуется «плодами революций» и любых смут, давно известно из истории этих смут и революций.

Поэтому единственный конструктивный путь в решении этого вопроса – *легитимная смена* существующей *антинародной* системы системой *социальной*, которая будет направлена на благо страны, а не на благо тех, кто либо попал уже на страницы журнала «Forbes», либо движется в этом направлении в то время, как подавляющее большинство соотечественников изначально движется в направлении противоположном.

Сегодня всё большее число людей склонны думать, что система, способная заменить существующую, у нас есть. Её основа – КПРФ. Логика такого мнения состоит в том, что, во-первых, КПРФ – единственная из нынешних многочисленных партий России имеет свою внятную идеологию, которая отражает интересы подавляющего большинства людей страны. А во-вторых, хоть КПРФ и заметно поредела с начала нулевых из-за не совсем, мягко говоря, самостоятельной политики её многолетнего лидера Г.А. Зюганова, всё равно осталась на сегодня самой солидной и взвешенной партией, в состав которой входят люди, способные объединиться с лучшими представителями других партий и с беспартийными, для кого денежный знак не стал высшим мерилом его жизненной позиции.

Вот почему мысль о возможности КПРФ стать основой, которая позволит дать развитию страны вектор, направленный не во благо кучки людей, как ныне, а во благо подавляющего большинства её жителей, и, следовательно, мощи самой России, представляется заслуживающей внимания.

И здесь важно отметить, что в КПРФ есть костяк, который в момент разгула перестройки не бросился выходить из КПСС, а тем более публично сжигать свои партийные билеты, что давало при таких «показательных выступлениях» довольно лакомые административные должности. Этот костяк, пройдя немалые испытания в непростые для партии годы, остался верен тем высоким принципам, которые привели его в ряды партии.

Такое поведение в трудный для партии момент говорит о человеческой надёжности основы КПРФ, очищенной от проходимцев из КПСС. А это всегда – важнейшая компонента любой организации, потому что без неё высокой цели не добиться.

И если КПРФ не успел заразиться новыми проходимцами, что представляется маловероятным, поскольку проходимцы в смутные времена обычно идут в партию власти, то на партию коммунистов можно возлагать серьёзные надежды.

И то, что КПРФ поддержала выдвижение кандидатом в президенты беспартийного Павла Грудинина, как раз свидетельствует о стремлении этой партии к консолидации всех левых и народно-патриотических сил страны во имя возрождения России.

Здесь, конечно, нужно отдать должное Геннадию Андреевичу Зюганову, который не только не предложил свою кандидатуру на высшую государственную должность, но и возглавил предвыборный штаб успешного хозяйственника и, в лучшем понимании этого определения, современного предпринимателя Павла Грудинина.

И это – наглядный показатель, что хотя КПРФ в заметной степени и преемница КПСС, она не намерена примитивно вести страну назад в СССР.

В Советском Союзе имелись свои недостатки, которые требовали явного искоренения, о чём очень убедительно и предметно на самом высоком уровне говорил ещё в середине 60-х Алексей Николаевич Косыгин, предлагая конкретные механизмы их исправления. Но этого, к сожалению, сделано не

было. Даже несмотря на всем тогда уже очевидное – ведь перестройка в нашей экономике явно напрашивалась.

Но, конечно, не такая, что произошла, начиная с середины 80-х, когда, как и перед этим в значительно более кровавом 17-м, *«вместе с водой выплеснули и ребёнка»,* и тем самым способствовали распаду великой страны.

Хотя мы даже при перестройке 80-х могли прийти к абсолютно другому результату, последуй высшее руководство страны во главе с Горбачёвым настоятельным требованиям лучшего после председателя Совета министров СССР А.Н. Косыгина председателя правительства СССР Н.И. Рыжкова, который был категорически против нерегулируемой государством рыночной экономики.

Но бацилла всеобщей авантюры рынка, исходящая от некомпетентной части тогдашнего руководства страны, привела, в конечном счёте, не только к её распаду, но и к плачевному состоянию экономик подавляющего большинства бывших союзных республик, ставших с начала 90-х отдельными государствами и пошедших по этому пути, на котором время от времени происходят у них социальные и политические «тряски»...

В последнее время появилось предположение о ещё одном сценарии развития событий и у нас. Дело в том, что после известного суда в Великобритании между двумя нашими олигархами Березовским и Абрамовичем в этой стране был юридически зафиксирован преступный, т.е., воровской характер значительной части российских олигархических состояний. Больше того, там же была выработана и юридическая база, позволяющая другим странам объявлять эти состояния преступными в любой момент в зависимости от сложившихся обстоятельств во взаимоотношениях с Россией. К тому же, в связи с событиями на Украине (возвращение Крыма в состав России, образование ДНР и ЛНР) и в Сирии, отношение к нам со стороны США и западной Европы стало довольно динамично ухудшаться, и в какой-то момент Америка, помимо уже введённых санкций, пригрозила ещё и замораживанием российских государственных и частных олигархических денег, которые вложены в американские и другие западные банки и государственные ценные бумаги...

И многие полагают, что недовольство Америки внешней политикой нынешнего президента и его окружения, даже несмотря на её заметную «рыхлость» и готовность идти на разного рода уступки, привело руководящие круги США к тому, чтобы взять наших олигархов на такой финансовый крючок, и выдвинуть условия: либо убирайте Путина, либо, с учётом упомянутой юридической базы Великобритании, потеряете всё, что спрятали за пределами России.

А поскольку наша «элита» при нынешнем режиме вряд ли станет в срочном (да и в несрочном) порядке возвращать в Россию то, что здесь украли, у неё, якобы, остаётся один выход – организовать здесь нечто вроде госпереворота, приведя к власти человека, который будет соблюдать интересы США и западной Европы не только во внутренней, но и во внешней политике.

В связи с этим насторожил и факт, что на пресс-конференции 14-го декабря президент говорил о начавшемся подъёме экономики, а через пару дней глава правительства объявил во всеуслышание о её спаде. Это дало дополнительные основания полагать о готовящейся, по крайней мере, со стороны либеральной части «элиты» платформе для смещения нынешнего первого лица государства.

Такой опыт госпереворота у наших праволиберальных олигархов есть,

если вспомнить, как они в 1996 году обеспечили «победу» Ельцину, имевшему, по мнению социологов, в начале той предвыборной кампании от 3-х до 6-ти процентов...

Но всё же в возможность подобного сценария верится мало. Во-первых, Россия нынешняя – более упорядоченная страна в сравнении с Россией времён правления Ельцина. А во-вторых, нынешний президент, хоть и не в такой степени, как Ельцин, но тоже податлив или вынужден быть податливым на разного рода уступки тем, кого он называет «*нашими западными партнёрами*».

Примером этому является хотя бы то положение, в какое по нашей вине попали ДНР и ЛНР.

Есть, правда, версия о том, что с какого-то времени президент, опираясь на силовиков, не позволяет праволиберальной части олигархии подчинить Россию Западу в той степени, в какой им бы хотелось. И потому эту «пятую колонну» он перестал устраивать. Но вряд ли в той степени, чтобы организовывать Западу здесь госпереворот.

Да и наша явная выжидательная позиция неразвития собственной экономики – неподдержка отечественного производителя – даже в условиях санкций, красноречиво свидетельствует о заметной степени несамостоятельности и во внутренней политике.

Ведь в это же время правительство находит возможность вкладывать огромные деньги на организацию проведения в стране зимних Олимпийских игр на летнем курорте в Сочи (что потребовало затрат много больших, чем, если бы проводить игры в местах с естественными зимами), чемпионата мира по футболу, всемирного фестиваля молодёжи и других высокозатратных зрелищных мероприятий, напоминающих в нашем сегодняшнем положении «пир во время чумы».

Хотя в нынешней государственной системе России суть таких вложений понятна: их можно вернуть значительно быстрее, чем при вложении в отрасли народного хозяйства, быстрее получить прибыть и ещё при этом неплохо украсть из денег честных налогоплательщиков.

А при поддержке отечественного производителя, что и делает *Грудинин с его командой,* требуется много больше времени, чтобы вложенные средства окупились. Да и воровать здесь невыгодно, поскольку получится, что, в конечном счёте, – у самих себя.

И то, что мы не идём по этому пути – наглядный показатель нежелания наиболее влиятельной части нынешней власти развивать собственную страну.

Ну и кроме того логика действий этих «профессиональных патриотов» в пользу Запада состоит в желании обеспечить себе, своим семьям и потомкам «подушку безопасности» – и на случай поражения в разного рода криминальных разборках, которые время от времени случаются между ними, и на случай, когда они уже в такой степени разграбят Россию, что жить им здесь станет невыгодно.

Как долго такое положение дел в стране может продолжаться, никто не знает. Но пускать всё на самотёк и сидеть сложа руки, лишь критикуя, – это с каждым днём всё опаснее уже для суверенитета России.

Поэтому важно, чтобы в гражданском обществе крепла воля к сопротивлению против того беззакония, которое навязано подавляющему большинству соотечественников результатами перестройки.

И главной целью этого сопротивления должна быть победа нынешнего объединения левых и народно-патриотических сил общества на грядущих выборах.

Для достижения такой победы нужны, как и в любом деле, стратегия, последовательность действий и правильно расставленные акценты. С максимальным привлечением СМИ, независимых от праволиберальной части власть имущих, и интернета.

Если такая работа будет активной, системной и основательной, то надежда на это может стать реальностью.

Тогда и вернём уже на новой фазе научно-технических достижений то лучшее, что в перестройку «выплеснули» – в системе правоохранительных органов, образования, здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, науки, культуры, детского и юношеского спорта, уровня пенсий..., оставив при этом всё лучшее, что в той или иной степени есть сейчас – в основном, в системе обслуживания, а также, гласность, многопартийность – желательно, чтобы были, как минимум, две основные, сопоставимые по силе партии, – широкомасштабное знание иностранных языков, свободу поездок в другие страны, в цивилизованных формах малый и средний бизнес...

Кстати, такой бизнес успешно развивался при Сталине в виде разного рода артелей, мастерских и других малых предприятий. И люди, жившие во времена правления Сталина, это помнят. Как помнят и то, что эта форма организации трудовых отношений в СССР была уничтожена при Хрущёве.

Так что нам ничего нового и не надо открывать. А нужно лишь восстановить, но уже на современном научно-техническом уровне, ту разумную экономику, которая зародилась при Сталине: где был баланс между государственным и частным, но со смещением в пользу государственного.

И, если сумеем, нам не будет так стыдно перед нашими великими предками, которые положили свою жизнь и здоровье, чтобы оставить для нас совсем другую страну, которую мы так позорно развалили, и теперь пожинаем плоды своей недальновидности.

А сегодня хотелось бы надеяться, что любая информационная поддержка кандидата Павла Грудинина и активное за него голосование 18-го марта может стать существенным шагом в этом направлении.

Всё это необходимо сегодня ещё и потому, что, когда о результатах работы Грудинина и его команды заговорили в СМИ, социальные опросы населения показали *такую* высокую его популярность и желание видеть в высших эшелонах власти, какая вызвала серьёзный переполох в стане праволиберальной части правящей «элиты». И ей ничего не оставалось, как организовать в тех же центральных – услужливых – СМИ травлю.

Суть её состоит в том, что он человек, мягко говоря, небедный, поэтому им «непонятно, как мог предвыборный штаб «капиталиста» возглавить «главный коммунист страны».

К тому же его оппоненты стали активно искать разного рода «компрометирующие факты», нисколько не смущаясь тем, что в этих «достоверных сведениях», например, о скрываемых претендентом доходах, счетах за рубежом и прочих «экономических грехах», они явно путаются. Но при этом продолжают намеренно вводить людей в заблуждение.

А переполох вполне понятен – фигура Грудинина колет глаза нашей правящей «элите», и особенно её праволиберальной – прикормленной изна-

чально на Западе, части. Ведь теперь простому жителю страны приходит естественная мысль: если бы каждый из «небедных» людей России сделал для соотечественников хотя бы нечто близкое тому, что сделал Грудинин в совхозе им. Ленина, а не направлял все средства в собственные карманы, жили бы мы совсем иначе.

И рецепт для этого Грудинин огласил простой, но для этой «элиты» неприемлемый: *«Не надо воровать!»*.

Ну и не может смириться с неожиданной для него популярностью нового претендента В.В. Жириновский. Он понимает, что скорее всего по итогам голосования 18-го марта желанное второе место так и останется в его мечтах...

К тому же, эта всеобщая тревога антинародных соратников Ельцина и их молодой опоры, а также, «прикормленных», объясняется ещё и следующим: при нынешнем правительстве, экономический блок которого с каждым днём всё больше игнорирует решения президента, не исключён вариант, что и Путину, чья победа на выборах пока сомнений не вызывает, станет выгодно, чтобы Грудинин и его команда после 18-го марта заняли такие должностные позиции, какие позволят, действительно, «развернуть экономику лицом к народу».

То есть президент может предпочесть опору на набравший серьёзную силу и популярность в России объединённый лево-консервативный и народно-патриотический блок, который и выдвинул Грудинина в большую политику.

Так что, наверное, ничего нельзя исключать в наших «тайнах мадридского двора».

Следовательно, если суммировать предвыборные наблюдения, создаётся вполне определённая картина ближайшего будущего России:

1. Вероятность победы нынешнего президента на выборах 18-го марта – практически абсолютна.

2. Если не произойдут после этого принципиальные изменения в экономических структурах власти, страну ждёт дальнейшее саморазрушение, ведущее к краху её независимости. То есть – предсказуемый тупик.

3. Если же такие изменения произойдут, что, в частности, связывают с блоком лево-консервативных и народно-патриотических сил, поддержавших Грудинина, то появится шанс к постепенному возрождению нравственного климата и экономики России уже при использовании современных научно-технических достижений, но на основе тех принципов, какие были в нашем социальном государстве – Советском Союзе.

И хотя далеко не все разделяют возможность такого сценария в жизни России после 18-го марта, всем, кому небезразлична судьба страны, остаётся сделать всё, от него зависящее, чтобы в наших сегодняшних реалиях такие или подобные изменения случились.

Александр ФИЛИППОВ

ВСЁ ПО-ЧЕСТНОМУ

Повесть

1.

Клифт бежал по гулкому, заполненному народом залу ожидания Казанского вокзала, перепрыгивая через чемоданы и сумки, увёртываясь ловко от дребезжащих тележек с багажом, успевая следить краем глаза за тем, чтобы носильщики – верные помощники ментов, не подставили ему предательскую подножку.

В тюрьму ему, Клифту, никак нельзя. Только что откинулся от хозяина, вчера, можно сказать, не нагулялся ещё на воле – и вдруг такой, как у малолетки, ремесло щипача осваивающего, облом.

Влип, как фрайер! Ну, кто, скажите, пожалуйста, из нормальных москвичей и приезжих в столицу носит сейчас набитые деньгами бумажники в задних карманах брюк? Нет нынче таких лохов, не осталось в природе, в принципе. А ему, карманнику с четвертьвековым трудовым стажем, вдруг такой и попался.

ФИЛИППОВ Александр Геннадьевич. Родился 28 декабря 1954 года в Ворошиловграде, ныне Луганск (Украина). Прозаик.

Окончил Оренбургский медицинский институт в 1979 году, курсы усовершенствования Академии государственной службы при президенте РФ в 2003 году. Работал заместителем главного редактора областной газеты «Южный Урал», консультантом в информационно-аналитическом отделе аппарата Законодательного Собрания Оренбургской области.

Член Союза писателей России. Произведения публиковались в журналах «Москва», «Юность», альманахах - «Каменный пояс», «Гостиный двор», «Брега Тавриды». Член Союза писателей России с 1999 года. Лауреат литературных премий. Живёт в Оренбурге.

Стоит эдакий респектабельный мужчина в белой рубашке, чуть за тридцать в хвосте очереди к железнодорожной кассе, и беззаботно, коротая время, сложенную вчетверо газетку почитывает. А из заднего кармана его серых, тщательно отглаженных брюк такой лопатник торчит! Теснённой кожи, пухлый, как сдобный пирожок свежей выпечки, набитый, надо полагать, аккуратно сложенными в пачечки по отделениям купюрами разных достоинств. И не исключено, что благородно-зелёными баксами или разноцветными евриками...

Клифт аж едва не загулил, словно увидевший долгожданную маму младенец, ещё чуть-чуть, и пузыри слюней от вожделения пускать бы начал. Расскажи пацанам – помрут со смеху от такой дешёвой подставы! А у него от жадности рамсы попутались. И то! Москва – город богатый. Может они здесь, в Москве, совсем зажрались, в потном кулачке каждую сотенную, как в провинции, не сжимают, для них деньги – тьфу, и даже такой вот бумажник можно вполне без присмотра оставить. А он, Клифт, совсем по нулям. Только что из зоны. Понятно, кенты на воле встретили, как полагается, подогрели, на хату определили. Но любой долг платежом красен. А в воровском мире – тем более. А то попадёшь в непонятные! И кончишь жизнь в петушатнике...

Он, Клифт, жулик авторитетный. Хоть и не в законе, но живёт по понятиям, и в воровском мире человек известный. Ему в падло нахлебником у кого бы то ни было состоять. Тем более что руки-то вот они. Золотые, прямо скажем, ручки, даже в годы отсидок чётками тренированные.

Спецы из чужих карманов денежки тырить – они тоже по мастям, как игральные карты, подразделяются. Есть ширмачи, которые через руку, в чужом кармане или сумочке шарящую, плащ или курточку перекидывают, и тем от посторонних глаз прикрываются. Есть трясуны – те одним точным, неощутимым почти для владельца ударом бумажник из любого, даже самого укромного кармана выбить могут. Писари режут сумочки или одежду бритвой или монеткой заточенной. Рыболовы – крючками вытягивают. Хирурги – пинцетами. Щипачи чаще группами работают. Один отвлекает жертву, другой карманы чистит. Есть ещё колёсники – в общественном транспорте трудятся, и, соответственно, магазинщики, рыночники. В метро народ кроты шерстят. Дубилы – черти полуопущенные, на жратве специализируются. Стащат батон хлеба из авоськи, палку колбасы или банку консервов – тем и счастливы. Самые козырные из карманников – марвихеры, которые только солидными клиентами с толстыми бумажниками интересуются. И хотя Клифт владел виртуозно всеми способами краж, к марвихерам себя относил. Вор-одиночка. Пальчики – как у музыканта, причём слепого. Чуткие. Не только выпуклые буквы Брайля могут легко различить, но и бумажник сквозь толстое шерстяное пальто или кожу дамской сумочки нащупать. А дальше – дело техники, десятилетиями отточенной. Никаких бритв, пинцетов – с ними спалишься, потом не открестишься. Только пальцы – юркие, как рыбки в воде, нежные, как у любовницы. Чик – пуговичку лёгким касанием расстегнули, вжик – замочек-молнию. И – нырк в щелочку, в нутро тёплое, цап-царап бумажничек, кошелёчек – и как не бывало его. Высший шик – ещё и пуговку, замочек-молнию опять застегнуть. Чтоб не сразу хватились. На всё про всё секунда уходит. Быстро, точно, красиво...

А на этот раз лажанулся. Приметил тот аппетитный бумажничек, состроил морду интеллигентно-заполошную, и попёр сквозь очередь: «Простите... извините ради бога... Мне только время отправления уточнить...». Ломанул-

ся, как дурак в буфет с одной копейкой. И, протискиваясь, вежливо так, бережно, очередников в кассу левой ручкой отодвигал. А правой, походя, прихватил бумажничек за верхний краешек у лоха из заднего кармана брюк. И... стоп! Лох беззаботный с газеткой вдруг – хвать Клифта за руку. Ту самую, что с бумажником. По ментовски так, намертво крепко – хвать! И – стоять! УГРО! Вы задержаны!

Тут же ещё архаровцы подскочили – с видеокамерой портативной, на Клифта объективом, как пистолетом, нацеленной. Видать, скрытно все моменты кражи фиксировали. Понятное дело – профессионалы, опера из отдела по борьбе с карманными кражами. Умеют, суки, щипачей с поличным брать. А он-то, Клифт! Ну не фрайер?! На живца, как голодного щучонка, словили!

А тот, что с лопатником в кармане рисовался, уже распоряжается:

– Та-ак, па-апрошу вас, граждане... В вашем присутствии задержан воркарманник. Мы должны оформить вас, как свидетелей...

Ага, щас! Опять за колючую проволоку, срок мотать? Не дождётесь. И-эх, была, не была! Чать, не подстрелят, в переполненном-то народом зале!

Клифт извернулся, саданул держащего его за руку оперативника коленом в пах, боднул головой в лицо, и когда тот, ошалев на мгновенье от боли, ослабил хватку чуток, крутанулся юлой, вырвался, и помчался сквозь людскую толпу.

– Держи! Держи вора! – орали опера у него за спиной, но Клифт, парень не промах, скача по проходу между диванов с дремлющими на них пассажирами, тоже заорал истошно, тыча указательным пальцем куда-то перед собой:

– Держи вора! Вон он, вон он, гад, побежал!

И все встречные крутили испуганно головами, смотрели послушно, ориентируясь на указующий перст Клифта, но, поди, разберись в такой суматохе, кто вор, если даже опера мало отличимы от жуликов по гражданке!

Тут вдруг подвернулся на пути цыганёнок подросткового возраста, заметался, то ли испугавшись переполоха, то ли по причине нечистой совести, – тоже, должно быть, промышлял тем, что плохо лежит, и Клифт заревел с восторгом, науськивая на него толпу:

– Вот он! Хватай! Вяжи! Где полиция?! – а сам шмыгнул шустро в противоположную сторону.

И вот он мчался теперь, запаленно дыша, по перрону, мимо зелёных, покрытых белесой пылью нездешних мест, пассажирских железнодорожных составов, а позади, он чуял это, как зверь, не оглядываясь даже, молотили за ним, резво перебирая ногами, опера, не поддавшиеся на его уловку, словно хорошо натасканные гончие псы, взявшие горячий и верный след. Молодые опера, ч-чёрт, лёгкие у них не прокуренные, сердца чифиром лагерным не подсаженные, быстрые опера, стремительные, как пули, и Клифт, задыхаясь, отчётливо понимал, что на этот раз ему от них не уйти.

Озираясь затравленно по сторонам, он приметил, что в состав, тот, что был справа от него, началась посадка. У открытых дверей вагонов толпились пассажиры и провожающие, а строгие проводницы придирчиво рассматривали посадочные билеты.

Миновав одну такую группу людей, Клифт подбежал к следующему вагону. Здесь у подножки замешкалась молодая мамаша с чемоданом и ребёнком в руках.

– Позвольте, я вам помогу, – мигом нашёлся Клифт.

Женщина, прижав к себе ребёнка, доверчиво позволила взять из рук чемодан.

Проводница, ни слова не говоря, отступила в сторону, и Клифт оказался в вагоне. По причине того, что посадка только что началась, здесь было пустынно и тихо.

Мамаша указала на своё купе, Клифт распахнул дверь, внёс чемодан.

– Располагайтесь, – предложил он радушно, и, кивнув женщине в ответ на благодарность, бросил туманно, – пойду своих поищу...

Пользуясь тем, что вошедшие следом пассажиры сгрудились в начале вагона, сверяясь с билетами, и отыскивая свои места, Клифт решительно взялся за ручку ближайшего купе, отодвинул беззвучно скользнувшую на хорошо смазанных роликах дверь, и шагнул внутрь.

2.

Только сейчас Клифт сообразил, что нелёгкая занесла его в мягкий вагон СВ, и купе было двухместным. Он соображал судорожно. Сейчас, сию минуту сюда могут войти законные, обилеченные пассажиры. Дать дёру? Но на перроне наверняка маячат, озабоченно вертя головами, давешние оперативники. Спрятаться здесь? На первый взгляд, негде. Нырнуть под диван? Но его наверняка поднимут, чтобы уложить чемоданы и сумки. И – нате вам с кисточкой. Поднимется крик, прибежит проводница, а потом и полиция...

Клифт задрал голову вверх. А вот, кажется, и то, что нужно. Над входной дверью в купе располагалась ниша. В ней – два рулоном скатанных полосатых матраца, коричневые шерстяные одеяла.

Поставив ногу на приступочку, он подтянулся. Ба-а! Да здесь и для него местечко найдётся!

Клифт юркнул в нишу, старательно закамуфлировав себя постельными принадлежностями. Если специально не шарить, снизу его наверняка не видно. Затаиться, выждать. Вряд ли пассажиры сразу стелиться кинуться. Пока освоятся, если повезёт, покурить, или в вагон-ресторан выйдут. Ему и надо-то всего проехать до ближайшей станции, подальше от оперов. А там – ищи ветра в поле... В крайнем случае, на глазах у изумлённых пассажиров на первой же остановке поезда спустится с верхотуры, припугнёт, если вякнут, уж это-то он умеет, понты колотить, на вольных с нахрапом зоновским наезжать, и – вон из купе, из вагона. Никто ничего не поймёт, да и скорее всего не предпримет – вещички-то на месте, так чего лишний шум поднимать? Ущерба-то нет!

Вовремя за матрац Клифт затарился. Щёлкнул дверной замок, и в купе кто-то вошёл.

– Проходите, проходите, будьте как дома, – ворковал женский голос. – Российские железные дороги приветствуют вас, и желают счастливого путешествия!

– Ладно, ладно, – пробурчал мужской голос в ответ. – Вы, главное, до пункта назначения довезите. Вечно у вас – то самолёты падают, то поезда с рельсов сходят... Бардак!

– Да что вы... Доставим в лучшем виде, – оправдывалась проводница.

– И глядите у меня – в купе никого не подсаживать!

– Конечно, конечно, – лебезила проводница. – У вас же оба места оплачены...

– Знаю я вас! – рокотал мужской бас. – Калымить будете – так не за мой счёт. На-ка тебе за труды, и не беспокой меня понапрасну.

– Ой, спасибочки... Я завсегда, в любое время... Только на кнопочку надавите вот эту – мигом примчусь.

– Не надо. Устал. Спать хочу.

– Постельку вам застелить? Одеялко, матрасик...

Клифт похолодел в своём закутке.

– Не надо. Сам разберусь. Свободны.

– У меня специальная табличка есть. С надписью «Не беспокоить». Хотите, я вам её на ручку двери снаружи повешу?

– Валяй!

Дверной замок щёлкнул, и пассажир остался в купе один.

Клифт, стараясь дышать бесшумно, вытянул по-гусиному шею, и прильнул к щелочке между матрацем и одеялом, разглядывая попутчика поневоле.

Примерно одного с карманником возраста, ближе к сорока. Чернявый, с проседью. Семидневная щетина, короткая стрижка по нынешней моде – будто только с зоны откинулся, хотя сейчас и на зонах не стригут налысо. Чем-то неуловимо похож на Клифта. Вот только костюмов таких цвета «металлик» по пять тысяч долларов карманник отродясь не носил, как и рубашек с монограммами и туфель, из крокодиловой кожи, небось.

Клифт сразу же почувствовал к незнакомцу что-то вроде классовой неприязни. Видал он таких. И лопатников из их импортных лепешков повытаскивал несчитано. Да вот не разбогател. Хотя денежки, бывало, после удачного скока у него водились. Да всё как-то... между пальцев и утекали. А он и не жалеет. Видать, не судьба. Видать, у этих, богатеньких, ген какой-то особый в организме присутствует, благодаря которому деньги к ним липнут. А Клифт, как ни крути, пролетарий криминалитета. Даже паханом, который других на дела посылает и при этом не замаранным остаётся, никогда не был. Всё сам, своим горбом добывал. И по карманам собственноручно шарил, и срока немалые за то постоянно мотал. Всё, как говорится, по-честному. Он ведь жулик не абы какой, отмороженный на всю голову, а с понятиями. Работягу, например, или старушку-пенсионерку ни в жизнь не тронет. Зато юзера вот такого, в крокодиловых туфлях, или дамочку, с губками ботексными на весь свет презрительно оттопыренными, сам Бог велел заставить делиться с ближним. То есть с ним, Клифтом. Только вот подобраться к этой публике всё труднее становится. Они для себя словно государство в государстве выстроили. В общественном транспорте, в метро не ездят практически. Живут тоже наособицу, за шлагбаумами, в разных там элитных посёлках да кондоминиумах. И аэропорты, вокзалы, театры, концертные залы столичные остались теми немногими местами, где эти хозяева жизни бывают пока на равных с остальным людом. И там для Клифта – раздолье! И раз уж он так удачно попал, то этого фрайерка в дорогом костюме он обязательно бомбанёт. Не знает пока, как, но бомбанёт за милую душу! Может, дождётся, пока тот задремлет, а может, и шандарахнет чем-нибудь по башке, хоть такой гоп-стоп и не по его специальности. Но бабки у этого, всё купе для себя откупившего, должны быть, и немалые... Торопиться-то некуда. Выждет момент, и – вперёд!

А тем временем вальяжный попутчик расстегнул объёмистый портфель, достал оттуда литровую, не иначе, бутылку – коньяка ли, виски, хрен их разберёт, не по-русски на этикетке написано, налил в стакан, прихлёбывать начал. Без закуски. И то! Это от водяры всего наизнанку выворачивает, если не заесть, или хотя бы не занюхать, хоть рукавом, стопарик, а хороший алко-

голь можно и не закусывать. Ишь, сидит, развалясь, наслаждается. А вот дать бы тебе этой пузатой бутылкой литого стекла по башке, сразу бы понял, что не поймал ещё Бога за бороду!

Впрочем, то, что потенциальный клиент принялся накачиваться спиртным, Клифта вполне устраивало. С пьяным-то справиться в любом случае проще. Может, наклюкается сейчас, да заснёт. А после того можно и бумажничек его приватизировать, и портфель толстенький прихватить. Наверняка в нём ещё чего-нибудь ценного, кроме выпивки, найдётся. Надо только не торопиться, набраться терпения, выждать момент...

Клифт прикрыл глаза. По опыту своего ремесла знал, что нельзя долго пялится на человека, даже в спину смотреть нельзя, обязательно почувствует взгляд, насторожится, начнёт озираться тревожно, и прощай тогда, удачная кража. Однако, этот безмятежен пока. Опять забулькало из бутылки. Жизнь удалась! А что, сука в ботинках из крокодила, ты в жизни той видел? Тебя, что ли, после восьмого класса мамаша непутёвая сперва в детский дом, а потом, одумавшись вроде, домой вернула, да через год в ПТУ строительное, или, как тогда говорили, «каблуху», на казённые харчи, сдала? У тебя старшие пацаны всё отбирали – шмотки, степуху жалкую? А на стройке, на практике, тебя, что ли, мужики к кладовщице за ведром менструации посылали, а потом хохотали под её визг, указывая пальцем на Клифта? Впрочем, он и не Клифтом был тогда, а Валеркой Пузанёвым, безотцовщиной-недоучкой. Клифтом он после первой отсидки, по малолетке ещё стал, когда срок получил за то, что у продавщицы газированной воды на улице тарелку с мелочью стырил. Жрать хотелось, не милостыню же просить? Год чалился, вышел, а мать на какую-то ударную стойку подалась, реку в Сибири плотиной перекрывала, к себе звала. А чего он там не видал? В зоне прочно усвоил – от работы кони дохнут. Да и работать – где? Опять на стройку, в подсобники? Он ведь даже ПТУ не окончил. Хорошо, Писарь, старый карманник, пригрел. К делу приставил. Сперва на подхвате – кошельки из карманов, сумочек, бритвой-писанкой взрезанных, в толпе передавал, чтоб с поличным самому не спалиться. Потом ремеслу обучил. Клифт хорошим карманником стал, высшей квалификации. Но и менты не дремали. В итоге пять сроков по пять лет, или пять Петров, по-зоновски, можно сказать, в квадрате, из своих сорока отроду, отсидел. Искупил хоть в какой-то степени, стало быть, перед Богом и обществом свои воровские грехи.

Этот, на диване, в третий раз булькнул пузатой бутылкой. Жахнул полстакана, зачавкал припасённым лимоном так, что у Клифта от оскомины зубы свело, и слюна потекла, как у голодной собаки. Если и дальше этот фрайерок будет в том же темпе спиртным наливаться, то у Клифта с выходом из вагонного заточения проблем не будет.

Поезд тронулся мягко, качнулся вагон, звякнули сцепки.

И в этот момент в купе постучали.

– Я же просил не беспокоить! – подал голос попутчик, но дверь уже отъехала в сторону.

– Проверка документов! – строго произнёс вошедший.

Клифт глянул из своего закутка вниз, и задохнулся обморочно. В купе стоял полицейский майор.

3.

– Вы один в купе? – деловито осведомился блюститель порядка.

Карманник закостенел, понимая обречённо, что это – конец. Деваться

ему некуда, и стоит менту обернуться, осмотреться хотя бы бегло, он непременно обнаружит Клифта. Тёпленького, как на подносе...

– Нет, я тут с бабой кувыркаюсь, – с хмельной дурашливостью заявил пассажир. – У проводницы не мог спросить, кто я? Нет, лезет в купе, беспокоит по пустякам. Тебе что, погоны на плечи давят? Могу, ха-ха, помочь, облегчить, так сказать, ношу. На одну ступень звания! Будешь, блин, капитаном железнодорожного плаванья!

– Прошу прощения, служба, – ответил сухо майор. – Осматриваем весь состав. Проверяем наличие незаконных мигрантов, криминальных элементов. Обычная процедура. В соседнем вагоне депутат Государственной Думы едет, и ничего. Отнёсся с пониманием, предъявил документы...

– Ну, на тебе документы. Вот паспорт, вот командировочное удостоверение. Билет, сам знаешь, у проводницы.

Полицейский пошелестел бумагами.

– Жабин Юрий Степанович?

– А кто ж ещё, твою мать! В паспорте ясно написано.

– Куда следуете?

– В Южноуральск. Назначен на должность генерального директора нефтяной компании «Южуральскнефть». Слыхал про такую?

– Слыхал. Извините, просто я должен лично удостовериться, что вы именно Жабин, Юрий... э-э... Степанович, – примирительно ответил майор. – В нашем деле ошибиться нельзя...

– Ну, удостоверился? – раздражённо прервал его нефтяник. – Теперь у тебя ко мне всё?

– Не совсем...

Полицейский сделал шаг назад, потом, сунув руку под лацкан кителя, вытянул из-за пазухи пистолет – длинный, с глушителем.

И – пф-ф, пф-ф, – дважды выстрелил в грудь удивлённого пассажира.

Клифт едва не обделался со страха. Если его заметят сейчас – арест ему не грозит. Отправят отбывать вечный срок на том свете...

Между тем киллер в майорском мундире склонился над убитым, хладнокровно пощупал у него пульс на запястье, оттянул верхнее веко, и, убедившись, что перед ним труп, отвинтил глушитель от ствола пистолета, положил в боковой карман кителя, а оружие опять сунул за пазуху. И вышел, бесшумно прикрыв за собой дверь купе.

Клифт лежал на багажной полке, ни жив, ни мёртв. Только что у него на глазах был убит человек. Застрелен хладнокровно, профессионально. И он, Клифт, теперь один на один с трупаком. Если кто-то войдёт сюда, обнаружит убитого, а рядом с ним уголовника, неоднократно судимого, то вряд ли компетентные органы поверят в рассказ о неком третьем лице в полицейской форме. Догадайтесь с первого раза, на кого реально падут подозрения?

Впрочем, Клифт не был бы фартовым вором, кое-какой авторитет среди братвы имеющий, если бы рассопливился, а не сосредоточился сейчас, трезво оценивая ситуацию.

Он шустренько спустился с полки, мягко ступая, прильнул ухом к двери. Вроде всё тихо. Осторожно нажав на ручку, чуть приоткрыл. Посмотрел, на месте ли табличка «Не беспокоить». Киллера она, конечно, не остановила, а вот проводница, случайный пассажир из любителей преферанса, в поисках партнёра в купе, хочется верить, носа не сунут. Запер дверь изнутри, присел, ладонью смахнув со лба пот. Внимательно оглядел тело, оплывшее на диване напротив.

Две пули вошли прямо в сердце. Оно остановилось мгновенно, от того и крови было не много. На распахнутом импортном пиджаке – ни следа. Только на белоснежной, не иначе, как на заказ пошитой рубашке расплылось небольшое, с чайное блюдце, пятно.

Взяв труп за плечи, потянул на себя, взглянул на спину. Ранение не сквозное.

Клифт ещё не понимал, зачем ему этот осмотр, он же не эксперт-криминалист, не патологоанатом, но то, что сражённый пулями попутчик выглядел, в принципе, если прикрыть кровавое пятно, как живой, успокоило отчего-то.

А поезд уже мчал, набрав крейсерскую скорость, покачиваясь умиротворённо, погромыхивая колёсами на стыках рельс, и за окном пробегал, отставая, унылый пейзаж ближнего Подмосковья с чередой обшарпанных гаражей, заброшенных заводиков с прокопченными трубами, бесконечными бетонными заборами, разукрашенными граффити, безымянными деревеньками с избами-развалюшками, стожками сена у кособоких сараев, перемежающихся роскошными, нелепо выглядящими среди этой убогости виллами в несколько этажей.

Клифт перевёл взгляд на мёртвого попутчика, поинтересовался шёпотом:

– Что, влип по крупному, парень? Недолго музыка играла, недолго фрайер танцевал? За всё, братан, платить приходится. И за жизнь кучерявую в том числе. Чего ж ты наворотил такого, что тебя к вышке приговорили? Я, например, вор-рецидивист, а больше пяти лет срока наказания ни разу не давали... Молчишь? Тебе, конечно, теперь всё пофигу, а мне-то что делать? Ну ладно, не впервой. Как-нибудь и без твоей помощи выкручусь...

Сказал так, и язык прикусил озарено. А почему, собственно, не прибегнуть к помощи мёртвого фрайерка?

Клифт взял со стола бутылку, разобрал из любопытства на этикетке латинскую надпись – «бренди», набулькал себе половину фужера – не удовольствия ради, а чтобы мысли в порядок привести, выпил. Крепкая, но приятная на вкус штука, и впрямь не закусывать можно. Потом, опустив окно, достал примятую пачку «Явы», закурил, сосредоточенно затягиваясь сигаретой, и напряжённо обдумывая план предстоящих действий.

4.

Смеркалось, когда скорый поезд Москва – Южноуральск остановился на запруженном народом перроне Самары. Ожидавшие посадки, встречающие и провожающие, как всегда случается по прибытию состава, заметались на платформе в поисках своих вагонов. Во всеобщей суете никто не обратил внимания на парочку подвыпивших крепко пассажиров, сошедших не без труда. Один из них был настолько пьян, что буквально на ногах не держался, и приятель едва ли не волоком спустил его с подножки вагона.

С трудом, сжимая для устойчивости друг друга в крепких объятиях, они добрались до скамейки, на которой уже примостился бомж, заросший грязной клокастой бородой, с полторашкой пива в руках.

Тот из подгулявших пассажиров, что был потрезвее, одетый в дорогой костюм цвета «металлик», с облегчением усадил приятеля, привалив его к спинке скамейки.

Заботливо запахнув и застегнув на все пуговицы пиджак раскисшего другана – простенький, китайского пошива, его более трезвый попутчик строго глянул на бомжа:

– Присмотри за моим товарищем, а я сейчас такси вызову.

И растворился во мраке.

Через пару минут он, одёрнув чуть великоватый ему костюм модного цвета «металлик», по-свойски кивнув проводнице, вошёл в вагон, и скрылся в своём купе, заботливо поправив на двери табличку «Не беспокоить».

Там, старательно заперев дверь, Клифт сбросил пиджак и, не снимая пришедшихся впору ботинок из крокодиловой кожи, повалился на мягкий диван. Заложив руки за голову, он размышлял над тем, что всё пока складывалось на редкость удачно.

Пару часов назад, оставшись наедине с жертвой киллера, Клифт осторожно, чтобы не запачкаться о кровавое пятно на груди убитого, извлёк из внутреннего кармана не пострадавшего от пуль пиджака туго набитый бумажник. В нём – несколько пятитысячных купюр, ещё бумажки – помельче достоинством, несколько банковских карточек. Их, к слову, Клифт терпеть не мог. Ну что за моду взяли – эти карточки вместо живых денег таскать? Охотишься, бывало, за таким вот лопатником, хапнешь удачно – а там пластиковое дерьмо это вместо денег. Куда с ним? С банкомата не снимешь. Есть, конечно, спецы, но Клифт не по этой части. Милое дело – наличка!.. А вот и паспорт. Вглядевшись в фотографию, Клифт неожиданно обнаружил сходство между собой и попутчиком. Не теперешним, естественно, осунувшимся и мёртвенно-бледным покойником, а тем, как выглядел гражданин Жабин лет пять назад, когда на паспорт фотографировался. С нагловатыми, чуть на выкате, глазами, коротко стриженный, с чубчиком. И год рождения подходящий, 1975-й, ровесник, можно сказать. И если сличить фотографию на этой ксиве с физиономией Клифта, чего обычно никто, кроме полицейских не делает, то выйдет, будто одно лицо. Не красивое, но и не безобразное, не броское, не слишком запоминающееся. Такая внешность характерна для тех, кто не любит привлекать к своей персоне внимания – секретных агентов, или, например, воров-карманников...

Фамилия, правда, подкачала, не очень-то благозвучная – Жабин. Но и Пузанёв нисколько не лучше. У Клифта даже в детстве кликуха была – Пузо. Но как-то не прижилась. Какое пузо может быть сперва у шустрячка-шкета, а потом у поджарого, вечно голодного зека? Когда овладел ремеслом карманника – уважаемой в воровском мире профессией, то и кличку себе выбрал под стать, солидную. «Клифт» на блатном жаргоне означает «куртка», «пиджак». В которых «лопатник», то есть бумажник, обычно хранится.

Обнаружив сходство с убитым, Клифт мгновенно сообразил, что судьба, едва не отправив его за решётку, вдруг смилостивилась, и преподнесла ему шикарный подарок.

Про то, что гражданина Жабина грохнули в купе скорого поезда, никто, кроме киллера и его возможных заказчиков не знает пока. И когда на крупной узловой станции менты обнаружат некое тело с двумя пулями в сердце и справкой об освобождении из мест лишения свободы на имя Пузанёва Валерия Павловича, вора-рецидивиста, то мудрить шибко не будут, и спишут всё на криминальные разборки. Особых примет у Клифта нет – от татуировок, всех этих крестов да куполов, умные люди уберегли, ещё по малолетке отсоветовали – зачем, дескать, клеймо судимого на всю жизнь, да ещё на видном месте? От шрамов Бог миловал. Никто карманника не пожалеет, по нему не заплачет. Родных не осталось. Так что опера, специализирующиеся на борьбе с карманными кражами, не без облегчения спишут одного из своих постоянных клиентов, удалят жулика по кличке Клифт из всех картотек и баз данных.

Рассудив так, Клифт стянул с не окоченевшего пока жмурика дорогой костюм, ботинки, оставив простреленную и окровавленную рубашку, и облачил в собственные шмотки – водолазку, ширпотребовский пиджачок, поношенные изрядно кроссовки. Затем обследовал подробно портфель. Вытащил из него кожаную папку с документами в пластиковых файлах, кучу глянцевых проспектов – мутотень, сплошные буровые вышки, трактора, железяки какие-то, и – о-о-о! – пачку пятитысячных купюр. Там же обнаружил смену белья, что-то по мелочи, вроде косметички, одеколона, набора авторучек. Портфель окажется кстати – негоже такому солидному пассажиру, в которого превратился отныне Клифт, без багажа, с пустыми руками ездить.

Дождавшись, когда с наступлением сумерек поезд остановился в Самаре, на крупной узловой станции с извечной беготнёй, суетой и неразберихой на перроне, подхватил труп и поволок – сперва в соседний вагон. Проводница, занятая посадкой, едва глянула на пьяных пассажиров, сходящих с поезда. Мало ли их, поддавших крепко по причине дорожной скуки, по составу шатается – в вагон-ресторан и обратно?

Так что здесь Клифт чисто сработал.

И вот теперь он лежит на мягком диване в персональном купе, покачивается умиротворённо в такт движения поезда, и едет, едет... Чёрт, а куда он, собственно, едет? До конечной станции, до Южноуральска? Ни разу там не был. Почему бы и не осмотреть городишко?

Воры-карманники, как правило, неплохие актёры. Только роль им приходится играть чаще всего одну и ту же. Неуклюжего прохожего, то и дело в толпе на людей натыкающегося, или неловкого пассажира общественного транспорта, который, вместо того, что бы за поручень крепко держаться, болтается в салоне, как сосиска в кипящей кастрюле. То на одного пассажира навалится, то к другому прижмётся. Ну и, опять же, манеры должны быть обходительными. Дескать, хоть и недотёпа, а человек интеллигентный. Чтобы каждый, глядя на него, думал: небось, и в метро о высших материях размышляет. Может, даже открытие мирового уровня готовит, оттого и рассеянный. Но вежливый. Простите да ради Бога извините! И никакой, естественно, фени, распальцовки блатной...

Так что для Клифта богатенького коммерсанта изобразить, или нефтяного магната какого-нибудь задрипанного – раз плюнуть. Тем более что денег у него, благодаря покойному попутчику, сейчас – как у дурака махорки. Доедет до Южноуральска, заодно и отдохнёт, отоспится в дороге. Всё-таки ремесло карманника нервное, сплошные стрессы, когда на дело идёшь. А там – в аэропорт, с такой-то железной ксивой, и куда-нибудь подальше – в Новосибирск, Иркутск... Страна большая, и везде для Клифта с его золотыми руками работа найдётся.

5.

Однако в Южноуральске, куда поезд подкатил в девять утра, Клифта ждал неприятный сюрприз. Его встречали.

Едва карманник сошёл с подножки, повесив по причине летней жары на одну руку пиджак, а в другой сжимая пузатый портфель, проводница указала на него пальцем кому-то:

– Вот он, товарищ из шестого купе!

У Клифта чуть ноги не подкосились. Приехал, фрайер самонадеянный.

Менты уже ждут, на стрёме стоят. Сейчас подхватят, в наручники закоцают, и – наше вам с кисточкой!

Но навстречу ему бросились из толпы вовсе не менты, а два толстых, лысых гражданина, взопревших, судя по потным физиономиям, в своих чёрных погребальных костюмах:

– Юрий Степанович! Уважаемый! Мы рады приветствовать вас на гостеприимной южноуральской земле!

Клифт шарахнулся было в сторону, но вовремя спохватился, растянул губы в улыбке, промямлив невнятно:

– Э-э... я тоже... К сожалению, не имею чести...

– Я ваш заместитель по общим вопросам, Борщёв Николай Сергеевич, – представился один из толстяков, угодливо подхватывая из рук Клифта портфель. – А это, – указал он на своего напарника, – заместитель генерального директора по связям с общественностью Лисицын Алексей Николаевич. Прошу, как говорится, любить и жаловать. Вещички прикажите из купе принести?

– Я, знаете ли, люблю налегке путешествовать, – нашёлся Клифт. – В наше время шмотьё за собой таскать ни к чему. Всё, что нужно, можно купить. Были бы деньги...

– Хи-хи... – подтвердил новоявленный зам, и предложил: – Пройдёмте на привокзальную площадь. Нас там автомобиль ждёт.

Напряжённо соображая, как бы вырваться из навязчиво-цепких объятий встречающих, и слинять только в одному ему ведомом направлении, Клифт шагал обречённо, как под конвоем.

На привокзальной площади троицу поджидал чёрный и торжественно-мрачный, как катафалк, «Мерседес» последней модели.

– Сейчас, Юрий Степанович, прямо в гостиницу. Нашу, ведомственную. Отдохнёте, покушаете, а потом в офис. Мы вам, хе-хе, личный состав компании представим. Не весь, конечно, а управленческий аппарат, – гулил в ухо Клифту, усевшись рядом на заднее сиденье, зам по общим вопросам.

Машина тем временем катила по широкому проспекту, застроенному современными высотками. Клифт с любопытством крутил головой. Город как город. Ничего особенного. Разве что наряду с золотыми куполами церквей тянутся к небу то здесь, то там, увенчанные полумесяцем мечети – чувствуется дыхание Азии.

«Из гостиницы свинчу, – решил про себя карманник. – Отправлю этих толстомордых конвоиров с глаз долой, и дёру».

Он отчего-то представлял гостиницу, в которой его пообещали разместить, в виде многоэтажки с длинными коридорами, множеством номеров, из которой ускользнуть незаметно – раз плюнуть. Однако ошибся.

Мерседес всё мчал и мчал, вырвавшись из автомобильной толчеи на загородное шоссе. Потом свернул на узкую, но тоже хорошо заасфальтированную дорогу, и покатил прямо к стоящему плотной стеной лесу.

«Ч-чёрт, – забеспокоился Клифт. – Сейчас завезут в чащу, и кокнут, раз первый киллер не справился! Этому Жабину, судя по всему, серьёзные пацаны приговор подписали. А я, как лох последний, подставился»...

Но тут впереди показался красно-белый полосатый шлагбаум, и расторопный охранник в чёрной униформе, выскочив из будочки, предупредительно поднял его, видимо узнав машину.

При ближайшем рассмотрении гостиница оказалась просторным, рубленным из толстенных брёвен загородным домом с верандой и широким,

покрытым коричневой ковровой дорожкой, крыльцом. Территория, обильно засаженная благоухающими розами, тенистыми голубыми елями, была окружена высоченным забором, на вершине которого вращались с лёгким жужжанием видеокамеры наружного наблюдения.

«Хрен отсюда уйдёшь незамеченным, – грустно констатировал Клифт. – Придётся другого случая дожидаться»...

– Вот сюда, наверх, по ступенечкам, – объяснял ему, как слабоумному, зам по общим вопросам.

Поднявшись на крыльцо, вошли в апартаменты. Просторный холл, застеленный толстым, словно газон, ковром, располагающие к безделью и неге диваны, низкие столики с витиеватыми ножками – не для еды или канцелярской работы, на такие разве что бутылки со спиртным да бокалы ставить... На каждом шагу, низко кланяясь, Клифта встречала обслуга – смазливые девицы в белоснежных передниках, юноши в лакейских ливреях и круглых, на манер тюбетеек, шапочках.

Наконец, пришли в номер, занимающий целое крыло чудо-дома. Разбитная бабёнка – похоже, местная домоправительница, стареющая блондинка со следами былой красоты, продемонстрировала Клифту гостиную, в которой царил огромный, словно пещера Али-Бабы камин с вязанкой чистых, будто наждачной шкуркой отполированных, дров. Здесь же стоял телевизор с экраном величиною с автомобиль «Ока», столь же внушительных размеров музыкальный центр. Провела в спальную с широченной, скрытой за – подумать только, – балдахином, что ли, кроватью, в рабочий кабинет, ванную.

– Располагайтесь, – радушно предложила домоправительница, и, подмигнув игриво, добавила. – Мы все в вашем распоряжении. И готовы исполнить любое, самое изысканное желание руководства...

Зам по общим вопросам тоже подсуетился:

– Отдохните с дороги, Юрий Степанович. Как только понадоблюсь – позвоните, пулей примчусь. Вот моя визиточка с номером мобильного телефона... – Он сунул руку в один внутренний карман пиджака, в другой. Потом похлопал себя по боковым карманам растерянно. – Бумажник куда-то запропастился, а там визитки...

– Да ладно, – великодушно махнул рукой Клифт, – найду, в случае чего, как с вами связаться...

Кивая, словно китайские болванчики, заместители и домоправительница удалились из номера, пятясь. Видимо, не рискнули повернуться задом к такой важной персоне, как Клифт.

6.

Оставшись один, Клифт оглядел ещё раз роскошные апартаменты, и очумело встряхнул головой. Воровская жизнь иногда оборачивалась к нему праздничной стороной, когда удавалось сдёрнуть особенно жирный, набитый «фанерой» (деньгами) лопатник.

Так случилось ещё в советское время, когда он «снял» с заезжего армянина бумажник с сорока тысячами рублей – по тем временам деньги огромные, на них квартиру кооперативную в Москве купить можно было. Или уже недавно, перед самой отсидкой, – на сто тысяч баксов одного лоха умыл. Ух и гульнула тогда нищая Россия! И номера роскошные, не такие, конечно, как этот, у нефтяников, в гостиницах столичных снимал, и банкеты для братвы в лучших кабаках московских закатывал. А что? Деньги – мусор, настоящий вор никогда по ним не ведётся. Как пришли на дурняк, так и ушли. Это

нынешняя блатота на бумажки сраные западает. А Клифту, по большому счёту, всё равно. Он и на шконке в тюремной хате, и в таком вот фильдеперсовом гостиничном номере себя одинаково комфортно чувствует. Главное – душевное равновесие и понимание того, что всё преходяще. Сегодня ты весь в шоколаде, а завтра – в дерьме по самые уши. Надо быть всегда готовым к любому повороту событий. И фарт, и непруху принимать как должное, как две стороны одной медали, без отчаянья и истерик. Об этом же, между прочим, и священник на проповеди в зоне говорил. Батюшка это христианским смирением называл. Те, кто только на фарт рассчитывают, на то, что жизнь их непременно кучерявой должна быть, – гордыней страдают. А Бог, – так понял Клифт, – не фрайер, он всех насквозь видит. Его на кривой не объедешь, не схватишь за бороду. И если сегодня жизнь катит, насунул, например, два толстенных бумажника (последний у зама по общим вопросам снял), в апартаменты вселился роскошные на халяву, то завтра непременно жди неприятностей. Того же, например, киллера.

К слову, этот парень в ментовской форме беспокоил всё-таки Клифта. Ведь кто-то ему гражданина Жабина заказал! А заказ, если подходить к делу чисто формально, не выполнен. Жабин-то жив-здоров, и приступил к исполнению своих нефтеносных обязанностей. А то, что под его личиной скрывается авторитетный в воровском мире вор-карманник, пока никому неизвестно.

Впрочем, надолго задерживаться в роли нефтяного магната Валерка Пузанёв не планирует. Отдохнёт чуток, бог даст, бабла срубит – и ищи ветра в поле. А паспорт покойного фрайерка Жабина уничтожит. Долго ли другой ксивой разжиться? Всего и делов – сунуть руку в карман затрапезного лепешка селянина какого-нибудь подходящих лет, за которым уж точно ни полиция, ни киллеры не гоняются...

Клифт потянулся, сбросил с себя пиджак, позаимствованный у почившего в бозе Жабина, с удовольствием взвесил в руках две толстенькие пачки купюр, извлечённых из стыренных только за последние сутки кошельков, хмыкнул удовлетворённо. О деньгах пару-тройку ближайших месяцев можно не думать... А может, рвануть из этой блат-хаты прямо сейчас? Жадность, как известно, фрайера губит...

«Ладно, не дёргайся, – окоротил он себя. – Пользуйся, пока жизнь кучерявая катит...».

Сунул пачки денег во внутренний карман пиджака – самое ненадёжное, кстати, место, любой начинающий щипач оттуда их мигом вытянет, но если ты сам вор-карманник, то беспокоится не о чем. Ворон ворону глаз, как известно, не выклюет...

Клифт принялся разоблачаться дальше. Нужно принять ванную, побриться, морду одеколоном намазать – чтоб, так сказать, соответствовать. Не мешало бы и бельишко нижнее поменять – хотя бы носки дырявые. В подобных гостиницах, если в шкафах порыться, наверняка чистенькие да новенькие трусы-майки припрятаны. Если уж понтоваться, то до конца!

Он прошёл в ванную комнату, посоображав минуту, разобрался в кранах и набуровил полную ванну, в какой не то что лежать в позе скифского покойника с согнутыми ногами, а даже побултыхаться можно, добавил из стоящих здесь же на полочках тюбиков и баночек шампуни, солей ароматических. Пена – шапкой, аромат – как в парикмахерской. Скинул трусы, и плюхнулся, от удовольствия заурчав. Эх, всегда бы так жить!

Помывшись, вытерся огромным, как простыня, банным полотенцем,

набросил на плечи приготовленный здесь же махровый халат, и пошлёпал босиком в гостиную.

В этот момент в дверь постучали – тихо, деликатно.

– Войдите! – опускаясь в податливое кресло гундосо-барственным голосом, как представлялось ему, должны разговаривать большие начальники, разрешил Клифт.

В комнату, толкая перед собой никелированный столик на бесшумных колёсиках, тесно уставленный тарелочками с закусками, бутылками и вазой с фруктами, вошла горничная.

Была она молодая, смазливенькая, а блуждающая на полноватых чувственных губах шкодливая улыбка вселяла надежду, что она не только перекус может предложить. А эта молочно-белая, налитая, едва ли не до сосков обнажившаяся из-под передничка грудь...

Господи, ну можно ли посылать такие испытания мужику, полжизни, на безбабье, провёдшему в зоне?!

Клифт громко сглотнул, едва не поперхнувшись слюной, оторвался от созерцания женской груди. И возведя ханжески взгляд к потолку, выдавил из себя приторно-сладко, кастратно даже, иначе не назовёшь:

– Ах, оставьте, дорогуша. Я сам разберусь...

Но как только горничная, или чёрт знает, как она здесь называется, вышла, виляя бёдрами, прикрыв за собой двустворчатую, с узорами золочёными, дверь, цапнул прямо руками с тарелки кусок чего-то мясного, пряно-сладкого, жамкнул, слегка прикусив язык, – блин, вку-у-снотища-а!

Торопливо, плеснув мимо фужера, налил красного вина, выпил, поперхнувшись большими глотками: ульк-ульк-ульк... Дребедень, кислятина. А что, интересно, водки здесь совсем уж не подают?

Поднял крышку с глубокой тарелки – а это что? Суп – не суп, хренотень какая-то с устрицами и креветками. Зачерпнул ложкой – сойдёт. Вроде ухи. Эх, к ней бы водочки!

Насытившись, вытянул из поданной на этом же столике пачки диковинную, зелёного цвета сигарету, чиркнул позолоченной (а может, и золотой?!), зажигалкой, пыхнул ароматным дымком, зажмурился блаженно – живут же буржуи!

Покайфовав так, встал, обследовал номер. В шифоньере, как и предполагал, стопки новеньких трусов, белоснежных маек, носков, платочков. Всё ненадёванное, в целлофановых упаковках. На вешалках – рубашки, костюмы, и парадно-чёрные, как на похороны, и празднично-светлые. Туфли в коробках – они что, мать их, и размер Жабина знали? Или это у них на все случаи жизни, для любого постояльца, затарено?

Прошёл во вторую комнату – спальная. Кровать-аэродром с балдахином – Клифт такие только в кино видел, тумбочки, ещё какие-то мебеля... Всё ясно. Дальше – гостиная с камином, по стенам – полки с разными финтифлюшками, статуэточками. Потом присмотреться надо. Может, если такую статуэточку барыге толкнуть, неделю прожить хватит? А вот – кухня, должно быть. Стол, буфетная с посудой – сплошь хрусталь да фарфор, серебро с мельхиором, впрочем, Клифт в таких делах ни хрена и не смыслил – он же щипач, не домушник! Холодильник размером с гараж. Ух ты! Чего только здесь нет! Одних колбас и нарезанных, и палками, сортов двадцать. Да сыров столько же. А ещё баночки разные жестяные, стеклянные, какая-то жратва, в вакуумных упаковках – штабелями...

Он вдруг вспомнил пересыльную тюрьму в Соликамске, где ждал этапа

месяца два ещё в восьмидесятые годы, хату на сорок человек, а из деликатесов, кроме «хозяйской» хавки – кусок сала солёного с полкило возле решки, кулёк слипшихся ландориков, да сухари из чёрного хлеба... Вот бы этот холодильник туда! Братва бы в конец охренела...

В дверь опять аккуратненько постучали... Явно не мусора, которые «брать» приходят, – успокоил себя, дёрнувшись было привычно, Клифт.

На пороге возникла всё та же пышногрудая горничная в белом, чуть ниже пупка, передничке:

– Юрий Степанович, звонили из офиса компании. Они за вами машину выслали. Там весь коллектив собрался – для представления...

– Через пять минут буду готов.

А про себя подумал: «Вот будет представление, если какая-нибудь падла в лицо настоящего Жабина знает!».

А потом решил: «Да хрен с ним! Раз такая масть привалила – надо рискнуть. На худой конец, за мной пока ничего криминального нет. Ну, в крайнем случае, морду набьют, как аферисту. В первый раз, что ли?».

7.

Компания «Южуралнефть» располагалась в многоэтажном здании, выстроенном по современным архитектурным вкусам из бетона и зеленоватого стекла, а потому напоминала высоченную пивную бутылку, на горлышке которой штопором торчали раскидистые усы гигантских радиоантенн.

На входе Клифта встречали два толстомордых зама и вышколенная охрана в чёрной униформе, которая дружно вытянулась по швам и взяла под козырёк.

Мягко шамкнув металлическими челюстями дверей, бесшумный лифт вознёс стремительно троицу в офисное поднебесье – на шестнадцатый этаж.

Здесь Клифта, вернее, изображённого им Жабина, тоже ждала выстроенная по ранжиру должностей компанейская челядь – мужчины и женщины, молодые и старые, спортивно-поджарые и раскормленно-брюхатые, но все с одинаковым выражением на лицах – восторженным и подобострастным. Они помахивали ему ладошками, как будто бы он был космонавт, вернувшийся после долгой вахты на околоземной орбите, и Клифт, глядя на их дорогие костюмы, прикинул с привычным восторгом, сколько в них покоится до поры лопатников, набитых плотно купюрами и кредитными картами!

А потому он с искренней радостью помахивал им ручкой в ответ, действительно чувствуя себя космическим первопроходцем на неизведанной, но богатой планете. Только стартовавшим в межзвёздное пространство не с земли, а гораздо ниже, из выгребной, можно сказать, ямы.

Его провели в просторную приёмную. На строгой табличке чёрным по белому было написано: «Юрий Степанович Жабин. Генеральный директор».

Секретарша Клифту сразу не глянулась. Он полагал, что у начальника такого уровня встречать посетителей должна была красавица вроде Анжелины Джоли, на худой конец Милы Йовович, а здесь – мегера преклонных лет, с поджатыми губами и сухая, как вобла.

Замы представили её как профессионала высочайшего класса. Имя тоже было под стать – Елена Львовна.

«Гиена Львовна, – тут же поправил их мысленно Клифт, и пообещал себе беспощадно, – выгоню к чёртовой матери!».

С тем и шагнул за порог собственного кабинета – огромного, как зал ожидания на столь любимом, удобном для работы щипача Казанском вокзале.

Здесь, напротив, всё соответствовало представлениям Клифта о подобных конторах, почерпнутых из видеофильмов. Огромное, во всю стену, окно с видом города с высоты птичьего полёта, подёрнутого зелёной пеной парков и скверов. Широкий, вроде теннисного, стол с письменным прибором – миниатюрный московский Кремль из розовой яшмы. Напольные часы в рост человека с тяжёлым, словно кувалда, маятником и кандальными позолоченными цепями. По стенам – портреты Путина, Медведева, и ещё неизвестного Клифту лысого хрена в очках. Наверняка тоже какого-нибудь главшпана.

За отдельно стоящим столом для совещаний восседало человек десять. Они дружно повернули головы в сторону вошедших, и разом встали, отодвинув тяжёлые кресла с высокими спинками и дружно зааплодировав, будто выхода любимого артиста дождались.

Один из толстоморденьких заместителей Клифта, Борщёв, вспомнилась кстати его фамилия, шагнул вперёд, и представил, как заправский конферансье:

– Наш новый генеральный директор Жабин Юрий Степанович! – и, выдвинув мягкое кресло на колёсиках в торце, во главе стола, указал на него Клифту: – Прошу садиться!

Во многих кабинетах приходилось в своё время сиживать Валерке Пузанёву. Елозил задницей, бывало, на жёстких, обитых дерматином стульях в тесных комнатёнках следаков и оперов из угро, мостился на привинченных к полу табуретах в комнатах для допросов в следственных и штрафных изоляторах, бывало и так, что со скованными за спиной стальными браслетами руками кубарем с таких тубарей на пол слетал... Но ни разу в жизни не доводилось ему сидеть в таком удобном, будто по фигуре сработанном, кресле, да ещё во главе стола – словно самый авторитетный пахан на воровском сходняке. Сейчас бы, до начала тёрок, ещё чифирчику хапнуть из эмалированной кружки, да чтоб края губы обжигали так, будто утюг целуешь!

Как вести себя с ментовскими следаками да зоновскими «кумовьями» Клифт знал отлично. Веди базар на любые темы, а что касается конкретного уголовного дела – полная несознанка. А вот о чём говорить с этими, сверлящими его преданными взглядами бандерлогами, он решительно не представлял.

Пауза грозила затянуться. Клифт откашлялся, а, потом вспомнив зоновского отрядного – старого, косноязычного майора-молдаванина, под чьим попечением он находился во время последней отсидки, нырнул, словно в ледяную прорубь:

– Добрый день, дорогие граждане... э-э, вернее, друзья, – начал он. – Я счастлив тем, что мне представилась возможность влиться в ваш... э-э... коллектив... мнэ-э... нефтяников! – Он замолчал, соображая судорожно, вспоминая всё, что слышал о нефти. Но, кроме того, что её качают, просверливая землю эдакими большими штуками – буровыми вышками, кажется, а потом делают из неё бензин, – не вспомнилось ничего. Но Клифт не отчаивался: – Уверен, что нашими совместными усилиями мы сможем давать больше бензина... то есть нефти, стране!

«Эк, я загнул!» – откинулся он на спинку вальяжного кресла, а сидящие за столом опять дружно захлопали.

Воодушевлённый, Клифт шпарил уже, как по писанному:

– Ведь в чём, по большому счёту, заключается смысл нашего существования? Смысл нашего существования, граждане э-э... нефтяники,

заключается в честном труде на благо общества! А что такое честный труд? Это, прежде всего, выполнение нормы выработки! То есть, производственного задания...

– Плана! – подсказал ему заместитель Борщёв.

– Ну да, плана. Выполнение нормы выработки – главный показатель того, что мы твёрдо встали на путь исправления... э-э... экономической ситуации, и сможем выйти на свободу с чистой совестью! («Что я несу?» – мелькнуло у него в голове, и Клифт тут же исправился.) – На свободные... э-э... мировые рынки! Вот! – не без удовлетворения тем, как удалось вывернуться, заключил он.

Ему опять захлопали – дружно, с воодушевлением.

– Ну хорошо, – пришёл на выручку Борщёв, – Юрий Степанович к нам прямо с дороги, с корабля, так сказать, на бал... На сегодня, думаю, достаточно. У нас ещё будет возможность подробно обсудить производственные вопросы с новым генеральным директором. Все свободны. Вы не возражаете, Юрий Петрович?

Клифт благосклонно кивнул.

Сотрудники с явным облегчением от того, что совещание не затянулось, а новая метла не принялась с ходу мести по-новому, дружно задвигали креслами, поднялись, и, создав на секунду лёгкий водоворот у двери, мигом покинули директорский кабинет.

Остались два толстеньких зама – Борщёв, и второй, имя и фамилию которого Клифт напрочь забыл.

– Что ж, Юрий Степанович, смею заметить, что первое знакомство прошло успешно, – слегка кланяясь, подытожил Борщёв. – Думаю, вам и впрямь следует отдохнуть с дороги, перекусить... Может быть, в ресторан заедем поужинать? Точнее, – глянул он на часы, – пообедать?

«А бочата-то у него крутые. Тысяч десять баксов, не меньше. Если вон за ту защёлочку на браслете дёрнуть, то снять можно в секунду, и хрен он чего почувствует!» – отметил про себя Клифт, и, решив не рисоваться пока в людных местах, отказался:

– Я и впрямь притомился что-то. Давайте в гостиницу!

Уже направляясь к выходу из кабинета, они услышали в приёмной какой-то приглушенный шум, «охи» и «ахи».

Чувствуя себя пусть временным, но всё же паханом в этой конторе, Клифт решительно распахнул дверь.

Взору его представилась та же, вышедшая только что из кабинета, публика, только застывшая, похожая на группу мраморных статуй с заломленными руками – такую Клифт видел в Санкт-Петербурге, гуляя в Зимнем саду.

Все они смотрели на нечто, бывшее в руках у мужика в синей спецовке.

– А я чо?! – оправдывался тот. – Мне велено доставить, вот я и доставил. Всё же уплочено!

Только сейчас Клифт, наконец, понял, что за предмет нянчил посыльный в руках. Это был траурный венок – дорогой, должно быть, пахнущий остро белыми розами, и ещё чем-то – то ли масляной краской, то ли церковным ладаном. Надпись на чёрной ленте крупными золотыми буквами читалась отчётливо: «Незабвенному Юре от безутешных родных».

– Эт... это что такое! – вскричал грозно Борщёв, и накинулся на посыльного. – Сейчас же уходите отсюда! – и, повернувшись к Клифту, покачал головой. – Наверняка происки конкурентов, Юрий Степанович! Я сейчас же дам команду нашей службе безопасности – пусть разберётся!

– Ну-ну, – хмуро кивнул Клифт.

А про себя подумал: «Ни хрена это не происки! Настоящего-то Жабина и в самом деле грохнули! И тот, кто послал венок, об этом отлично знал».

8.

На следующий день Клифт раньше других сотрудников прибыл в офис компании, вознёсся в свой кабинет, и до прихода секретарши решил осмотреть владения.

Стенка с полками, заставленными огромными, как фибровый чемодан, папками-скоросшивателями, на корешках которых красовались надписи вроде «Производственные показатели за 1 квартал 2014 года», или «Анализ налоговых отчислений в 2013 году», оставила его равнодушным. Рабочее место, уставленное огромным количеством телефонов разных моделей, мониторами и ещё какими-то хитроумными электронными штучками, не заинтересовало особо. Он выдвинул несколько ящиков стола – ничего интересного. Авторучки в футлярах, прочая канцелярская дребедень.

А вот комната отдыха привлекла внимание. Здесь всё располагало к неге и отдыху. Тигриная шкура на просторном диване, медвежья – на полу, низкий стеклянный столик с глянцевыми журналами. В укромном закутке – что-то вроде кухоньки с буфетной, газовой плитой, чайными и кофейными причиндалами. Здесь же – холодильник, не такой, конечно, как в гостиничном номере, но тоже весьма вместительный, набитый снедью. В том числе и разнокалиберными бутылками со спиртным.

Клифт только-только нацелился налить себе из початой бутылки фужер дорогущего, должно быть, коньяка, как за спиной его деликатно кашлянули.

Он обернулся. Перед ним стоял тщедушный еврей весьма преклонных годов.

– Здравствуйте, Юрий Степанович. Я ваш заместитель по производственной части, Горовой Абрам Самуилович, – вежливо отрекомендовался он. – Извините, что без доклада. Вчера пообщаться не пришлось, вас быстренько... х-хм, увезли. Так я сегодня, с утра пораньше, чтоб никто не мешал...

– Да что вы! – радушно пожал сухую ладошку, а потом по-свойски приобнял его за плечи Клиф. – Какие между нами, производственниками, могут быть сантименты? Пойдёмте, поговорим, – и повлёк визитёра к дивану. – Пообщаемся, так сказать, в неформальной обстановке...

Присели.

– Ну и сколько этих, как их там... баррелей нефти мы накачали? – с места в карьер взял карманник. – В достаточном ли количестве обеспечили народное хозяйство нефтепродуктами?

Абрам Самуилович проницательно посмотрел ему в глаза, сказал со вздохом:

– Нефтепродукты – это переработка. А у нас сырьё... Послушайте, молодой человек. То, что вы в нашем деле, простите за резкость, ни бум-бум, очевидно любому. Ничего-ничего, – успокаивающе похлопал он по коленке дёрнувшегося, было Клифта, – я привык. Давно привык к тому, что электроэнергетикой у нас рулят бывшие цветочные спекулянты, металлургией – фарцовщики, а нефтянкой – военные или бандиты. Пусть так. Раз в стране капитализм – я согласен. Я даже не спрашиваю, каким бизнесом вы занимались, прежде чем попасть к нам...

– Я? Э-э... финансовым! – нашёлся Клифт.

Абрам Самуилович покивал скорбно, прозорливо представив, должно быть, успехи собеседника на этом непростом поприще.

– Ну, пусть будет финансовый, – согласился он. – А потому я предлагаю вам такой уговор. Вы представляете, скажем так, официальное лицо компании. Встречайтесь с разными уважаемыми людьми, представителями власти, прессой. Сидите в президиумах на совещаниях, ездите на бизнес-форумы, симпозиумы и конгрессы, отдыхаете, развлекаетесь. Только в производственные вопросы не лезьте. Не морочьте голову себе и людям. А я, если потребуется, любую справочку вам представлю, любой проект приказа или распоряжения подготовлю – за вашей подписью. Договорились?

– Да без проблем! – легко согласился Клифт, и польстил, в свою очередь. – На вас, ветеранов, надежда особая. Вы, старая гвардия, ещё повоюете!

Абрам Самуилович удалился, а Клифт усевшись за начальственный стол, начал первый рабочий день.

Следующей посетительницей оказалась главный бухгалтер фирмы – дама солидная, лет пятидесяти, с вавилоном смоляно-чёрных волос над полным, холёным лицом.

Клифт хорошо знал этот типаж. Сколько таких дамочек он «пощипал» в своё время – не счесть. В общественном транспорте они для карманника, как правило, – самое то. Войдут в салон – и на окружающих ноль внимания. Головку вскинут гордо, подожмут губки презрительно, стоят, по сторонам не глядя, о своём думают – о работе, семье, да чёрт их знает, о чём, а ридикюль – вот он. Замочек – щёлк, кошелёчек – цап. А в кошелёчке – денежки, да немалые. Купюры аккуратненькие, по отделениям бережно разложенные – тут соточки да пятисоточки, здесь пятидесяточки, а дальше тысячные да пятитысячные... Благодать!

А потому главбухше улыбнулся вполне искренне, как давней знакомой:

– Здрассьте, здрассьте, Дарья Сергеевна... Мечтал поближе с вами познакомится. Присаживайтесь, – и даже выскочил из-за стола, креслице пододвинул.

Главбухша, женщина, судя по всему, жизнью тёртая да битая, знавшая определённо, что каждый новый руководитель норовит, как правило, своего главбуха поставить, доверенного, а старого – в шею, держалась настороженно.

Положила перед собой гроссбух, раскрыла, и, нацелившись в него толстым коротким пальчиком с наманикюренным ярко-красным коготком, приступила официально:

– Я бы хотела, Юрий Степанович, для начала ознакомить вас с общим финансовым состоянием нашей компании...

У Клифта аж зубы мудрости заныли.

– Дарья Сергеевна, мне характеризовали вас как специалиста высочайшей квалификации. Там, – возвёл он глаза к потолку, – вами довольны. Поэтому я знаю, что финансы компании – в надёжных руках... Если нужно подписать какие-то бумаги, я с удовольствием это сделаю.

Главбухша успокоилась, приосанилась:

– Не хотелось бы в первый день загружать вас текучкой... Но один документик вам подписать придётся, – промурлыкала она вкрадчиво.

И пододвинула ближе к начальнику несколько листочков, скреплённых стиплером.

– Что это? – притворно озабоченно, хотя плевать ему было на содержание, поинтересовался Клифт, беря в руки бумаги.

– Приказ о том, что вы приступили к исполнению обязанностей, и в связи с этим – выплаты вам подъёмного пособия и зарплаты за первый месяц. Подпишите вот здесь и здесь, там, где галочки.

– И сколько мне полагается? – с деланным равнодушием поинтересовался он.

– Ну, поскольку нефтью мы торгуем в основном в долларовом эквиваленте, то и зарплату вам считаем в этой валюте. Ваша заработная плата составляет пятьдесят тысяч долларов в месяц, подъёмные в размере двух месячных окладов – сто тысяч. Таким образом, вам причитается сто пятьдесят тысяч долларов. С надбавками – уральским коэффициентом, и прочими – около пяти миллионов рублей.

Если бы не подлокотники, Клифт мог бы свалиться с кресла.

– И... их-р-р... – сдавленно просипел он, не находя слов.

– Будут ещё и премиальные. За квартал и по концу года, – неправильно истолковав его реакцию, поспешила успокоить главбухша.

Клифт яростно замотал головой:

– Премиальные – их же ещё заработать нужно... – А потом наконец решился. – И... что? Когда я эти деньги смогу получить?

– Да хоть завтра. Сообщите мне, какая у вас карта, код, и мы сразу же перечислим всю сумму. В рублёвом эквиваленте. Можем какую-то часть и в долларах, евро – как прикажете.

– А... наличными можно? – выдохнул решительно Клифт.

– Всю сумму? – удивлённо подняла брови главный бухгалтер.

– Ну-у... Мне предстоят кое-какие расходы... – закрутился, словно карась на раскалённой сковородке Клифт. – Может, не всю, но... э-э... большую часть...

– С этим чуть посложнее. Но к завтрашнему дню я всё подготовлю, – заверила главбухша. – В какой валюте прикажете?

– Да в рублях можно. В рублях, родненьких, – с трудом скрывая ликование, уточнил Клифт.

А про себя подумал: «Хрен я без этих бабок отсюда слиняю!».

9.

Всю оставшуюся часть дня Клифт изображал бурную деятельность. В основном по телефону.

Секретаршу он увольнять раздумал – та действительно оказалась хорошим помощником. Всякий раз, прежде чем соединить его с очередным абонентом, она чётко докладывала, кто и по какому поводу звонит. С некоторыми управлялась сама.

– Юрий Сергеевич, из налоговой звонили. Я им посоветовала по этому вопросу переговорить с Дарьей Сергеевной. Тренер детской хоккейной команды на приём к вам хотел попасть. Я его к Лисицину, к заму по связям с общественностью, направила...

Но кое с кем и соединяла.

Всякий раз, не без трепета берясь за телефонную трубку, Клифт выдыхал осторожно:

– Да?

Выслушав терпеливо собеседника, и не поняв ни слова из разговора, вопрошал одинаково:

– Ну, а вы-то сами как считаете? Во-от, в правильном направлении мыслите. Так и действуйте, я не возражаю...

К исходу дня он понял, что таким нехитрым образом мог, пожалуй, руководить не только любой компанией, но и страной.

Пару раз он удалялся в комнату отдыха, прикладывался к коньяку – аро-

матному, крепкому и, присев на диване, покуривал, пуская дым в потолок.

В конце интенсивного дня ожил селектор на его столе, и объявил голосом секретарши Елены Львовны:

– К вам заместитель по связям с общественностью Лисицин Алексей Никанорович.

– Введите! – бабахнул расслабившийся было Клифт, но тут же поправился. – В смысле, пусть войдёт...

Тот вошёл – улыбчивый, угодливо-вкрадчивый. Чувствовалось, что улыбаться он начал ещё загодя, по ту сторону двери начальственного кабинета. Небось, когда хватился пропавшего бумажника, морду-то скособочил... А сейчас ничего, свыкся с потерей... А может, и новый кошелёк в карман положил?

– Как там наша общественность поживает? – уже освоившись вполне с ролью руководителя, покровительственно осведомился Клифт.

– Да по-разному, – уклончиво начал заместитель. – Вы же понимаете, что экономическая ситуация в стране и в регионе складывается не просто. Многие промышленные предприятия в области встали. Люди потеряли работу. На этом фоне социсследования – наши, закрытые, естественно, фиксируют э-э... некоторые негативные тенденции отношения общественности к нашей компании. Дескать, многим, и в агропромышленном комплексе особенно, приходится затягивать пояса, а нефтяники жируют. При этом сырьё – источник своего обогащения, качают из здешней земли-матушки, на которой ещё деды-прадеды местных аборигенов жили...

– Резон в таких мнениях есть, – согласился Клифт.

Лисицин утёрся платком:

– Уф-ф, запарился, такая жарища на улице... Если б не кондиционер... Тут ведь смотря как, Юрий Степанович, к этому вопросу подойти. Без нас, нефтяников, эти деревенские лапотники ещё тысячу лет бы по земле родимой ходили, пахали да сеяли, перебивались бы с хлеба на квас. И не догадывались бы, какое добро в здешних недрах сокрыто. А как начали мы бурить да качать – сразу столько завистников появилось! Мы же налоги в бюджеты всех уровней сполна платим. Наша компания – один из главных налогоплательщиков области, бюджетообразующая, можно сказать! А понимание этого факта среди населения, я бы сказал, недостаточное. Опять же, газетки некоторые народ баламутят, общественность против нас, нефтяников, настраивают.

– И... что? – вяло поддержал мало интересующий его разговор Клифт.

– Следует усилить меры контрпропаганды! – вдруг по-военному чётко, даже пристав с кресла, отрапортовал Лисицин. – У меня тут планчик составлен, позвольте доложить?

– Это надолго? – без энтузиазма осведомился Клифт.

– Да нет, весь я не буду зачитывать, – правильно понял настроение шефа Лисицин. – Тут много специальных пунктов для нашей пиар-службы... Вам в них вникать ни к чему. Пусть они сами на свой кусок хлеба с маслом, да ещё с чёрной икрой, зарабатывают. Я вас только проинформирую в общих чертах. Понадобится немного увеличить расходы, а Дарья Сергеевна, естественно, против...

– Валяйте, – обречённо разрешил Клифт.

Лисицин с готовностью раскрыл перед собой папочку, зачастил, шелестя страницами:

– Мы, Юрий Степанович, работу по укреплению имиджа компании дав-

но ведём. Так, в газете областного правительство, в районных газетах на территориях, где базируются наши производственные мощности, постоянно публикуются материалы о достижениях нашей компании, о помощи учреждениям социальной сферы, о передовиках, ветеранах нефтяной отрасли. На трёх телеканалах, вещающих на всю территорию области, постоянно идут циклы передач того же содержания. Но всё это, скажем так, плановая работа. А нужны... мн-э-э... прорывные акции, способные вызвать широкий общественный резонанс. В позитивном ключе, естественно. Такие мероприятия нами разработаны. Смета дополнительных расходов прилагается. Планируется и ваше непосредственное участие...

– Это, пожалуй, лишнее! – отрезал Клифт. Не хватало ещё в видеохронику попасть!

– Простите, Юрий Степанович, но с такой позицией я категорически не согласен! – продемонстрировал неожиданную настырность Лисицин. – Дело в том, что генеральный директор Южноуральской нефтяной компании в нашем крае – традиционно фигура публичная. Можно сказать, наш гендиректор один из творцов реальной политики в регионе. Компания имеет решающее слово при выборах депутатов различных уровней, да что там депутатов, в принципе, и самого губернатора! А сколько политических партий из наших рук кормится?! Сегодня в Законодательном собрании области, например, мы имеем мощнейшее нефтяное лобби, которое позволяет нам проводить выгодные компании законы, особенно связанные с разработкой недр, экологией. Когда мы принесём вам закрытые ведомости по расходам на поддержку общественно-политических организаций, всё сами увидите. К нам едва ли не вся местная оппозиция, все эти пламенные обличители режима, на брюхе раз в месяц за жалованием приползают...

«Линять надо отсюда...» – тоскливо подумал Клифт, не желавший вникать во всю эту муть, а потом вздохнул, словно крайне занятой человек, вынужденный заниматься пустяками:

– Давайте конкретные предложения. Где моё присутствие крайне необходимо?

Заместитель приободрился:

– На одном мероприятии из представленного плана ваше присутствие обязательно. Оно обещает привлечь повышенное внимание общественности, а главное, средств массовой информации.

– Артистов каких-нибудь пригласите с концертами? – догадался Клифт. – Пугачёву, Галкина? Мне вот ещё группа «Лесоповал» нравится...

– Артисты тоже будут, – пообещал заместитель. – Мы их на празднование дня города через две недели подрядили. Но то мероприятие, о котором я говорю, должно подчеркнуть особо, что мы – социально-ответственная компания.

– О чём речь, не тяни, – окоротил заместителя Клифт. А сам думал с раздражением: интересно, ему, как руководителю, обязательно до шести вечера в кабинете париться? Или можно слинять пораньше? И чтобы насчёт жратвы сообразить – в гостинице поужинать, там-то наверняка челядь подсуетится, или в ресторан какой-нибудь местный зарулить?

– Это мероприятие уже сегодня, – огорошил его Лисицин. – Поездка в детский дом с вручением подарков. Согласны?

Клифт, подумав для вида, кивнул благосклонно:

– Это дело хорошее... Кстати, насчёт ужина...

– Через полчаса выезжаем, – предупредительно пояснил заместитель. – Там и поужинаем.

– В детском доме? – изумился Клифт.

– Да что вы! – всплеснул руками Лисицин. – Места там чудесные. Лес. Речка. На природе и перекусим...

10.

К детскому дому, расположенному на окраине утопавшего в июльской зелени села, на бережке особенно широко раскинувшейся здесь глади степной реки, подъехали с помпой.

Вереницу автомобилей возглавлял торжественно-чёрный, огромный, как грузовик, джип – «Ландкрузер». В нём, овеваемые прохладной струёй воздуха из кондиционера, восседали Клиф и Лисицин. На переднем сиденье бронещитом застыл молчаливый охранник. Следом, пыля по просёлку, подкатила колонна разномастных иномарок и микроавтобус «Пежо» – с подарками детям и снедью для шефов по случаю предстоящего по поводу благотворительной акции банкета. На «Газели» подъехали бригады телевизионщиков.

Лисицин споро выскочил из машины, и поспешил к журналистам, торопливо вспарывающим замки-«молнии» кофров с аппаратурой, расставляющим на траве боевые треножники видеокамер.

Клифт, выбравшись из джипа, крутил головой, обозревая окрестности.

– Эх, Юрий Степанович, красота-то какая! – услышал он за спиной.

Оглянувшись, увидел второго зама, Борщёва.

– Нас, Юрий Степанович, встречают, – предупредил тот.

Клифт с интересом рассматривал находившийся в полусотне метров детский дом. Явно постройки прошлого века, но крепкое ещё двухэтажное здание, рубленное из широченных, в два обхвата брёвен вековых лиственниц, с затейливой резьбой по наличникам окон, крашеных в весёленький голубенький цвет, с крышей, крытой бурым от ржавчины кровельным железом. На широком крыльце с деревянными столбами-колоннами застыла стайка детей и взрослых: две девочки в сарафанах до пят, кокошниках, с хлебом-солью, и несколько мужчин и женщин в строгих деловых костюмах и платьях. В сторонке, несколько на особицу – баянист залихватского вида с инструментом на груди.

Трусцой, гремя разгрузкой, как солдаты, занимающие боевые позиции, деловито пробежали мимо телеоператоры, заняли господствующие на подступах к крыльцу позиции.

– Пойдёмте потихонечку, – предложил Борщёв.

С приближением гостей баянист рванул меха, и выдал переливчато мелодию, в которой Клифт не без удивления угадал «Свадебный марш» Мендельсона.

– Та, что впереди, заведующая детским домом Горячева Елизавета Ивановна, – нашёптывал между тем Борщёв. – Рядом – глава района, Антон Фёдорович Поршнев. Ну и мелочёвка разная – завотделом районного образования, учителя, воспитатели...

Заведующая детдомом – на удивление молоденькая, худенькая, стройная, сама не слишком отличавшаяся от старших воспитанниц, рдея щеками, шагнула навстречу гостям. По кивку Борщёва угадав, кто в этой процессии главный, обратилась к Клифту:

– Дорогой Юрий Степанович! – запнулась, смутившись, поправила воздушно-белый шарфик на плечах, продолжила срывающимся голосом, как пионерка: – Мы все, в особенности наши дети, счастливы видеть вас на

пороге нашего общего дома. Спасибо вам за внимание к нашим деткам, за подарки... – она окончательно сбилась, смутилась под пристальным взглядом не моргающих телекамер.

На выручку подоспел глава района – высокий, дородный, с тремя подбородками, уложенными один на другой и незаметно переходящими в жирную грудь, распирающую тёмный костюм-тройку:

– Глубокоуважаемый Юрий Степанович! Волнение заведующей детским домом понятно. Несмотря на значительную поддержку со стороны государства, органов местного самоуправления, которую мы оказываем этому учреждению, помощь нефтяников оказывается всегда кстати, и воспринимается с благодарностью. – Он искоса глянул на телекамеры, приосанился, и выдал, как по писанному, обращаясь к невидимой телевизионной аудитории: – Компания «Южуралнефть» является традиционным спонсором для всей социальной сферы района. Мы искренне благодарим руководство компании, – он жестом указал в сторону Клифта, – в лице её руководителя, Юрия Степановича Жабина, за бескорыстную и неустанную заботу о детях, оставшихся без попечения родителей. Вы обратили внимание, – на этот раз глава без утайки, честно и открыто смотрел в объективы телекамер, – что мы не называем содержащихся здесь детишек сиротами. Они не сироты. Они имеют заботливых и ответственных родителей, в роли которых выступают государство, муниципальные власти, а так же постоянные, социально-ответственные спонсоры вроде компании «Южуралнефть».

Репортёры, словно по команде, дружно сорвались с места, шустро выкатили рядком свои камеры, нацелились на Клифта.

Тот, благодарно кивнув, принял из рук Лисицина папочку с заранее заготовленным текстом, и, посматривая то в неё, то глядя прямо в объективы – видел по телеку не раз, как это делали выступающие политики, выдал без запинки речёвку:

– Представители нефтяной компании «Южуралнефть» не временщики на этой земле. Наша компания является самым крупным налогоплательщиком в областной и районный бюджеты, что способствует росту благосостояния населения, создаёт новые рабочие места. Но, кроме этого, мы постоянно изыскиваем внутренние резервы, экономя порой на самом необходимом, чтобы ещё чем-то помочь нашим гражданам – малоимущим, пенсионерам, детям и инвалидам. – Клифт оторвался от бумажки, просветлённо огляделся вокруг, представляя одновременно, как поможет ментам эта запись в изобличении его как мошенника. Но собрался духом, продолжил: – Вместе со всеми жителями этого благодатного, богатого недрами края, наша компания устремлена в будущее. А будущее, как известно, заключается в детях. Дети, у которых мы сегодня в гостях, нуждаются в особой, я бы сказал, отеческой заботе. Поэтому мы приехали не с пустыми руками. – Клифт обернулся к своей многочисленной свите: – Что же вы медлите? Несите подарки!

Баянист, чётко уловив момент, опять врезал свадебный марш, вспугнув грачей, с гвалтом слетевших разом с высоченных, как небоскрёбы, тополей во дворе, заметавшихся чёрными точками по белесому небу, и осыпавших гостей едкими, как известь, каплями помёта.

Глава района, брезгливо смахнув белоснежным платком серую кляксу с лацкана пиджака, обернулся к заведующей, растянув губы в улыбке:

– Ну что ж, Елизавета, приглашай дорогих гостей в дом!

11.

Внутри здания бросалась в глаза чистенькая, примазанная свежей масляной краской, осветлённая побелкой, но всё-таки неистребимая до конца сиротская бедность. Она проглядывала предательски – то в стоптанных вкривь и вкось детских ботиночках в раздевалке, в латках на простынях застеленных ровно кроваток, в затёртых, истрёпанных до бумажной бахромы по краям, сшитых заново толстыми суровыми нитками, подклеенных книжках на полках библиотеки, слышалась в скрипнувшей некстати подгнившей половице под истёртым линолеумом.

Детишки – человек тридцать, чинно сидели на низких скамеечках в «игровой комнате», как пояснила заведующая, отличающейся от прочих обилием игрушек, акварельных рисунков по стенам, и толстым, с белесыми проплешинами, ковром на полу.

Увидев взрослых, ввалившихся гурьбой в «игровую», занявших собой едва ли не всё пространство, дети сжались на своих скамеечках, тараща глазёнки – нет, не испуганные, скорее смущённые от обилия незнакомых лиц. А потом, вспомнив наставления, или повинуясь неприметному знаку воспитателя, протянули вразнобой:

– Здра-а-вствуй-те-е...

У Клифта, отродясь не считавшего себя сентиментальным, сердце вдруг болезненно сжалось. Полыхнули ярко, как фотовспышка, собственные воспоминания. Детский дом, похожий на этот, нет, не архитектурой, тот был городской, каменный, и оттого ещё более холодный, а пронзительной, сиротской бесприютностью и тоской, будто намертво въевшейся в стены подобных богоугодных заведений. А ещё чувством неприкаянности, которую не могли вытравить ни ласковые нянечки, ни добрые воспитатели, хотя их, добрых да ласковых, на всех сирот всё равно не хватало. И эта сиротская тоска и неприкаянность сопровождали Клифта всю жизнь...

Ему вдруг потребовалось промокнуть украдкой повлажневшие уголки глаз, и чтобы пресечь воспоминания, он произнёс громко, дрогнувшим-таки предательски голосом:

– Здравствуйте, ребятишки!

Полудурошный гармонист опять растянул меха с переливом, окончательно отсекая Клифта от прошлого, и он продолжил деловито и бодро:

– Я, хотя и не Дед Мороз, а подарки вам принёс...

И тут же засуетилась свита, открывая пакеты, коробки:

– А вот кому зайчика? Куклу Барби? Есть машинки и паровозики... Вот ранцы для школьников...

Дети вскочили, бережно принимали подарки, прижимали к груди.

И всё это – под объективами телекамер.

Потом визитёрам пришлось, поменявшись местами с ребятнёй, высидеть на неудобных низеньких скамеечках ещё полчаса, в течение которых дети сбивчиво декламировали стишки, пели нестройно, танцевали, спотыкаясь и заплетаясь ногами.

У Клифта эта трогательная самодеятельность вызвала противоречивые чувства. С одной стороны, он понимал, как непросто этих «особых» детей, страдавших задержками психического развития, олигофренией, обучить всем этим простеньким текстам и нехитрым танцевальным движениям. С другой, вспомнил опять, как когда-то непостижимо давно и его со сверстниками натаскивали так-то, заставляя петь да плясать, разучивать стихи к праздникам, разного рода «смотрам» и проверкам детдома комиссиями. А

он тогда уже был вольнолюбивым и своенравным, не терпел малейшего принуждения, что и привело его, не желавшего подчиняться общепризнанным правилам, по кривой дорожке в тюрьму. А то, что за всякую вольность приходится, в конце концов, расплачиваться подневольностью, он сообразил тогда, когда уже поздно было...

А вот заведующая детским домом ему явно понравилась. И внешностью миловидной, беззащитностью хрупкой, и тем, что угадывался в ней всё-таки титановой прочности стерженёк, без которого невозможно, наверное, руководить подобным учреждением. Будь у него в подростковом возрасте такая заведующая в детском доме, он бы в неё непременно влюбился. Хотя... если можно подростку-недорослю, то почему нельзя солидному, знающему жизнь сорокалетнему мужику? К тому же возглавляющему крупную нефтяную компанию?

«Ты не солидный мужик. И не богатей-нефтянник. Ты – вор-рецидивист с пятью ходками на зону...» – окоротил себя Клифт, но на пламенеющую щеками заведующую, к которой жались, хватая ручонками за подол праздничного платья самые маленькие воспитанники, смотрел исподтишка с всё возрастающей симпатией и интересом.

Прощались на крыльце детдома как бы уже по-свойски, теплее.

– Приезжайте к нам ещё! С подарками! – кричала нестройно детвора, а Елизавета Ивановна, заведующая, пожала руку Клифту, и пояснила шепотком: – Не сочтите наших детишек нескромными... Они... такие непосредственные... Сегодня с вашими зайками да медвежатами спать лягут...

– И вы ко мне, если какие проблемы появятся, без стеснения заходите. Чем смогу – помогу, – предложил Клифт.

И ему отчего-то захотелось, что бы эти неотложные проблемы возникли как можно скорее.

12.

Покинув двор детского дома, вереница джипов не свернула к шоссе, а потянулась по грунтовой дороге к пойменному лесочку неподалёку.

Переваливаясь на ухабах, задевая за ветви, автомобили через четверть часа выкатились на залитый предзакатным солнцем лужок. Чуть дальше блестела, отливая багровым, гладь затаившейся к ночи реки. Пахло тиной и рыбой. Квакали с переливами лягушки.

На сытой, тёмной от избытка влаги траве дымил костерок. Здесь же стояли накрытые щедро столы, на которых царили огромные, ведёрные, не иначе, сияющие бронзовыми боками самовары, и официанты, нелепо смотрящиеся среди пойменного кустарника в своей отутюженной белой униформе, с чёрными галстуками-бабочками, раскладывали приборы.

– Это место называется Лебяжий плёс, – пояснил Клифту освободившийся от журналистов зам по связям с общественностью Лисицин. – В усадьбе, где сейчас детский дом расположен, раньше, до революции, помещик жил. А здесь, на берегу, его любимое место отдыха было. Беседки стояли, купальни. Лебеди здесь гнездились. Даже экзотические, чёрные. Вся окрестная знать летом сюда, на плёс, съезжалась. Потом помещика, естественно, в шею. Советская власть объявила: всё лучшее – детям. И отдала эти чудные места под детский дом. А мы планируем в будущем году базу отдыха здесь построить. Восстановить, так сказать, историческую справедливость...

Клифта усадили в центре стола. По правую руку от него разместились оба заместителя. По левую – глава района, и ещё двое в форме, с полковничьи-

ми погонами. Их представили как начальника райотдела полиции и местного отделения МЧС.

Такое соседство слегка напрягло Клифта, но он и бровью не повёл. Поднял на правах старшего хрустальную рюмку с водкой, повёл головой. Лисицин, как опытный тамада, встрепенулся мгновенно, вскочил, провозгласил с пафосом:

– Друзья! Не часто выпадают нам в напряжённых трудовых буднях минуты отдыха. И такого вот единения с природой. Но, как говорится, кто хорошо работает, тот хорошо и заслужено отдыхает. Правильно? Слово генеральному директору нашей компании дорогому Юрию Степановичу Жабину!

Клифт, уже поднаторев в речах, коих за последние сутки произнёс больше, чем за всю предыдущую жизнь, оттарабанил нечто дежурно-приподнятое, ввернув, кстати, вычитанное из корпоративного журнала что-то про нефть – кровь, несущую жизнь всей мировой экономике. Звякнул краешком рюмки со всеми, протянутыми к нему, хрустальными бокалами, выпил, и закусил солёным грибочком. Ткнулся вилкой во что-то изысканное, безумно-вкусное, лежащее горкой перед ним на тарелке, потом нацелился на морепродукты – осклизлые, с щупальцами, но тоже ничего. А после, с короткими перерывами на очередной тост, с непременными славословиями в свой адрес, которые произносили все, даже начальник полиции, уплетал за обе щеки порезанного кольцами осетра, шумно хлебал, утирая вспотевший лоб, уху из стерляди, заправленную вместо пшёнки чёрной икрой, закусывал зажаренным до негроидно-коричневой корочки молочным поросёнком, кусками шашлыка – прямо с шампура, с зеленью, резаным тонко репчатым луком и кислым ткемалевым соусом.

Передыхая от обжираловки, Клифт откинулся на спинку пластикового кресла, расслабил на шее галстук, закурил, оглядывая сыто стол, и вспомнил вдруг другие столы, за которыми чаще всего доводилось сидеть ему в жизни. Длинные, обитые оцинкованным железом в колонийских столовых, с алюминиевым бачком харча на десятерых, пайкой серого, спецвыпечки, хлеба – четвертушкой буханки, да эмалированной кружкой мутной бурды, именуемой у «хозяина» чаем.

Лисицин, поднявшись из-за стола – распаренный, красномордый, – махнул рукой куда-то в сторону леса, и тут же в сгустившихся сумерках из чащи выкатились музыканты – да не какие-нибудь балалаечники-гармонисты, а во фраках, со скрипками да виолончелями, подставками для нот... как их... пюпитрами, что ли? Расселись быстренько на раскладных стульчиках, взмахнули смычками, и...

Как упоительны в России вечера...
Любовь, шампанское, закаты, переулки...
Балы, красавицы, лакеи, юнкера,
И вальсы Шуберта, и хруст французской булки...
Как упоительны в России вечера...

Это уже певец выводил – статный, рослый, с мощной, не прокуренной грудью.

И Клифт поддался всеобщему настроению, соглашаясь легко, что, действительно, чёрт возьми, упоительны вечера в России, когда жрёшь жареных поросят с заморскими каракатицами, а не хлебаешь баланду из алюминиевой миски. И если уж кто достоин из всей этой гоп-компании насла-

диться заслуженно сегодняшним вечером, так это он, столько переживший и натерпевшийся уголовник...

– Симфонический квартет. Академический, – хвастливо, будто сам с музыкантами на скрипках пиликал, шепнул Лисицин. – Им Бетховена, или, к примеру, Шопена какого-нибудь сбацать – раз плюнуть. На их концерты билеты народ за полгода вперёд раскупает. Из тех, кто в такой музыке шурупит, естественно. А мы только свистнули – вмиг прибежали.

Клифт, обратив на музыкантов хмельной взор, гаркнул, перекрывая мелодию:

– А «Мурку» смогёте?!

– Смогём! – не моргнув глазом, склонился в полупоклоне певец, и кивнул музыкантам. Те – две барышни в длинных, до пят, чёрных концертных платьях, и два мужика того же благородного вида – во фраках, белых манишках, с гривами седых, в артистическом беспорядке всклокоченных волос, разом резанули по струнам смычками:

Или тебе, Мурка,
Плохо было с нами,
Или не хва-а-атало барахла?

Уже совсем стемнело, когда Клифт выбрался из-за стола, и вышел, ступая по росистой траве, на бережок.

Туманясь, катила в кудрявой лесистой пойме река, подзадоренными не слыханными раньше здесь скрипками, завели свои песни лягушки, квакая особенно страстно, будто доказывая, кто в этом доме настоящий хозяин. Стремительно бросались с окрашенных багровыми отблесками заката небес на тёмную воду припозднившиеся чайки, а потом взмывали, выходя из крутого пике, с добычей – мелкой рыбёшкой.

– Эх, хорошо-то как, Господи, – вздохнул, расправляя жирную грудь, Борщёв. – Хоть офис переноси сюда! Будущим летом, – обернулся он к Клифту, – мы здесь основательно обоснуется. Постоим турбазу, лодочную пристань, баньку. А ваш персональный коттедж на месте детского дома поставим. Старое здание с фасада подновим, чтобы колорит усадьбы помещичьей сохранить, а внутри наполним, так сказать, современным содержанием. От города здесь недалеко, дорогу проложим, заасфальтируем. Полчаса – и вы в тишине, на свежем воздухе.

Клифт недоумённо воззрился на заместителя по общим вопросам:

– А сирот куда? Новый дом им построим?

– На кой?! – возмутился Борщёв. – Мы никому ничего строить не обязаны. Наша компания, как социально-ответственное предприятие, налоги в бюджеты всех уровней исправно платит, спонсорскую помощь учреждениям социальной сферы оказывает. Например, вот эта благотворительная акция нам в двадцать три тысячи долларов обошлась...

– Дороговато нынче плюшевые мишки стоят... – заметил мимоходом Клифт.

– У меня всё подсчитано, – с хмельной обидой взвился заместитель. – Тысяча долларов – на подарки сиротам, две тысячи – журналюгам, да двадцать тыщ баксов – на банкет. На лоне природы. А что? Заслужили!

– Ну-ну, – поражённый такой арифметикой, кивнул хмуро Клифт. – Игрушек сиротам на тысячу долларов подарили, а пропили по этому поводу – двадцать... А детдом-то куда всё-таки денете?

Борщёв, отвернувшись к реке, расстегнул ширинку, помочился шумно, с бульканьем, в воду. С визгом застегнул молнию:

– Да нам-то с вами до этого, что за дело, Юрий Степанович! Ну, перебросят здешнюю ребятню в другие приюты. Я, дело прошлое, когда год назад впервые сюда приехал, на это место сразу глаз положил. Природа первозданная, и город под боком. С главой района провентилировал этот вопрос. Ему, между прочим, детский дом на его территории муниципалитета на хрен не нужен. Головной боли, мороки много, и никакого навара. Потом мы с ним эмчеэсников подключили. Ну, заплатили кое-кому, естественно. У каждого в таком деле свой личный интерес должен быть. Они и давай землю рыть, предписания строчить. Дескать, детский дом расположен в пожароопасном здании, ветхом, деревянном, позапрошлого века постройки. Ну, там ещё много чего – проводка, противопожарная сигнализация, отделочные материалы. Короче, о детях мы позаботились. Теперь проще новое здание построить, чем в этом все недостатки устранить. В итоге добились постановления о закрытии этого богоугодного заведения. Надеюсь, что уже к осени участок освободится, будет выставлен на торги, ну а приобрести его нашей компанией – дело техники. Эта система у нас хорошо отработана.

Клифт слушал, курил духмяную сигаретку, затягиваясь глубоко, до треска, и радовался, что в темноте собеседник не может видеть его лица.

А оркестр всё надрывался в кустах:

Вино, шампанское, лакеи, юнкера...
Как упоительны в России вечера...

Банкет продолжался.

13.

На следующий день случилось, наконец, то, ради чего Клифт столько времени терпел этот цирк со своим превращением в нефтяного магната. В кабинет к нему вошли главбухша с кассиром, и не без усилия водрузили на приставной столик чёрную спортивную сумку.

Дарья Сергеевна широким жестом, словно фокусник, расстегнула металлический замок-молнию, и указала наманикюренным пальчиком на толстенькие пачки купюр, заполнивших до отказа объёмистое нутро:

– Подъёмные, зарплата, квартальная премия... Как вы распорядились, наличными. Пришлось вчера всю выручку «Нефтепромбанка» выгрести. Поэтому купюры в пачках разного достоинства. Всего пять миллионов отечественных рублей. Будете пересчитывать? – улыбнулась она.

– Да что вы, – осклабился, в свою очередь, Клифт. – Спасибо, выручили. Деньги мне, скажу откровенно, понадобились для одной конфиденциальной сделки... не хотелось бы оставлять следов перечислениями со счёта на счёт... ну, вы меня понимаете...

– Конечно, – заговорщески подмигнула главбухша. Кому же, как не ей, в конце концов, в таких махинациях знать толк!

Клифт с деланным равнодушием подхватил сумку и небрежно пихнул под стол – подальше от любопытных глаз.

«Вот и всё, – подумал он буднично. – Сейчас покручусь здесь для виду с полчасика, и – на вокзал. Только меня и видели!».

Отсидев это время как на иголках, он секунда в секунду надавил на кнопочку селектора, и скомандовал Гиене Львовне:

– Машину мне. Я тут отъеду по делам ненадолго...

Подхватил сумку, и, кренясь слегка на бок под тяжестью денег, покинул свой кабинет.

На выходе из здания его уже ждал чёрный джип-катафалк, и персональный водитель, Серёга (имя он узнал давеча), предупредительно попытался подхватить саквояж.

– Ничего, своя ноша не тянет, – отмёл его попытку Клифт, и поставил сумку под передним сиденьем, себе под ноги.

– Куда едем? – со свойственной всем шоферам фамильярностью полюбопытствовал водитель.

– Давай в аэропорт! – решительно распорядился Клифт.

Возвращаться в гостиницу он вовсе не собирался. Всё, как говорится, было при нём – даже «сдёрнутые» у Лисицина с Борщёвым бумажники. Вернее, деньги, бывшие в них. Бумажники-то он, не будь дураком, давно выкинул...

«Голому собраться – только подпоясаться! – веселился в душе Клифт. – Сейчас отошлю водилу, куплю билет на первый попавшийся рейс, лишь бы отсюда подальше, и – наше вам с кисточкой!».

Свирепая машина быстро промчалась по улицам, нарушая все мыслимые правила дорожного движения, легко рассекала автомобильный поток, и вскоре оказалась на загородной автотрассе. По сторонам потянулись лесопосадки, за которыми скрывались дачные массивы и новые, элитные посёлки.

– Мы вчера в детский дом по этой дороге ехали? – полюбопытствовал у водителя Клифт.

– Так точно! – охотно отозвался тот. – Сейчас впереди поворот направо, а там километров пять – и Лебяжий плёс. Говорят, наша компания там турбазу собирается строить...

Клифт вспомнил вчерашний пир «на лоне природы», и бросил, даже для себя неожиданно:

– А ну-ка сверни!

Через четверть часа джип въехал во двор детского дома. Там как раз играла младшая ребятня. Несколько детей постарше осваивали на узком заасфальтированном пятачке подаренные нефтяниками роликовые коньки.

Заведующую Клифт углядел сразу. Она живо руководила обучением, подхватывая то одного, то другого «конькобежца» под руку, следя, чтобы он не расквасил нос. Клифт подумал, что Елизавета Ивановна похожа на берёзку – стройная, худенькая, в этом белом, с какими-то легкомысленными цветочками платьице.

Завидя «крутую тачку», заведующая шагнула навстречу незваным гостям.

Клифт вышел из машины, и, улыбаясь глуповато, пожал протянутую руку:

– Здрас-с-сьте, Елизавета Ивановна... – и, предвосхищая возможный вопрос, добавил: – Мы с вами вчера так толком и не поговорили...

– А о чём разговаривать? – заведующая держалась подчёркнуто сухо, официально. – Мне сегодня уже предписание вручили о закрытии детского дома. А здесь, говорят, какой-то богатый нефтяник усадьбу помещичью восстановит. Уж не вы ли?

– Да никогда в жизни! – зарделся вдруг, как пацан, Клифт. – Я вообще не при делах!

– А кто тогда при делах? – язвительно заметила Елизавета Ивановна. – Восемьдесят лет детский дом здесь стоял, и никаких особых нареканий не было. А сейчас разом все навалились: и пожарники, и разные обр-сан-чёрт знает какие надзоры... Да вы поймите! – вспыхнула она. – Это же особые

дети. Шансы, что их усыновят, – минимальные. Все хотят умненьких да красивеньких, в крайнем случае – работящих. А эти ребята – инвалиды с детства. Им, скорее всего, до конца жизни по специнтернатам для умственно неполноценных жить предстоит. А тут ещё вы детство у них отнимаете...

– Их, говорят, в другие учреждения переведут... – будто оправдываясь, вставил несмело Клифт.

– Да нельзя их никуда переводить! Это для них такой стресс, такая трагедия! Они здесь адаптированы по максимуму... Когда их по достижении восемнадцати лет забирают, у меня сердце кровью обливается. А эти... Они ж несмышлёныши совсем!

Клифт пошарил в кармане пиджака, достал сигареты.

– На территории детского дома курить запрещается! – отчеканила Елизавета Ивановна.

Клифт указал на тропинку, ныряющую через калитку в заборе из сетки «рабица» в пойменный лес:

– Прогуляемся?

Вековые дубы, смыкаясь над головами, создавали здесь тень и прохладу. Из-за близости реки тропинка влажно пружинила под ногой. Стрекотала скандально потревоженная кем-то сорока.

– Сколько денег нужно, что бы исправить все выявленные этими проверяльщиками нарушения? – деловым тоном осведомился Клифт.

– Три миллиона рублей. Минимум. Но таких денег никто нам не даст, – понурясь, призналась Елизавета Ивановна.

Клифт в три затяжки высосал сигарету, старательно раздавил каблуком окурок, легонько тронул заведующую за плечико:

– Пойдёмте...

Вернувшись во двор, он свистнул водителю, старательно елозившему тряпкой по лобовому стеклу:

– Серёга! Тащи сюда мою сумку.

Когда тот подошёл, с заметным напрягом волоча саквояж, передумал:

– Поставь её вон там, на крылечке.

И когда шофёр отошел, шепнул Елизавете Ивановне:

– Там пять миллионов рублей. Наличкой. Берите, и тратьте на всё что нужно.

Та потеряла на мгновенье дар речи, а потом залепетала сбивчиво:

– Ой, а как же... Спасибо... Я прямо не знаю...

А потом порывисто обняла Клифта и звучно чмокнула его в щёку.

– Да ладно... Ничего... Не обеднеем... – конфузливо пробормотал тот, и рванул дверцу джипа, скомандовав вернувшемуся шофёру:

– Поехали!

– В аэропорт? – живо осведомился тот.

– Нет. Не в этот раз. Давая назад, в контору.

Хмыкнув каким-то своим мыслям, отвернулся, и всю дорогу смотрел в боковое окно.

14.

Пришлось Клифту задержаться в компании ещё на какое-то время. Жил он здесь как при коммунизме, на полном бесплатном обеспечении. В гостинице его кормили, переодевали каждый день в чистое бельё и рубашку, и денег не спрашивали. Костюмы, туфли – как в магазине, рядами висят да стоят, подходи, выбирай. Куда торопиться? Глядишь, ещё деньжат подгонят, тогда и рванёт...

Удивительно, но только здесь, мотаясь по буровым, он впервые осознал по-настоящему значение слова «воля».

У зеков оно означало всё, что находилось по внешнюю сторону забора, опутанного колючей проволокой и спиралями «егозы», с вышками по углам периметра.

Но оказалось, что воля – это когда горизонт перед тобой – на сотни километров вокруг, но и там, где рыжая, выжженная палящим зноем степь сливается с белесым, безоблачным небом, пространство вовсе не сворачивается, не кончается, а тянется на юг, как объяснили здешние старожилы, через Казахстан до Монголии и Китая. И ты, в принципе, можешь, если появится такое желание, отправится в путь по этой огромной, воистину бескрайней степи, где редки людские поселения, и гуляет лишь тугой, жаркий полуденный ветер, шевеля реликтовый ковыль и спелые колосья налитой солнцем пшеницы.

Будучи по происхождению горожанином, Клифт, конечно, знал, что не на деревьях булки растут, что хлеб растят крестьяне, но представлялись они ему разве что по фильмам Шукшина да редким теперь кадрам телевизионной хроники, и казались если не простодушными недоумками, то уж недотёпами-неудачниками точно. И то – станет ли современный «продвинутый» человек ломить всю жизнь, без роздыха, выходных и праздничных дней, по колено в навозе, по локти в грязи, получая за свой труд столько, чтобы только не сдохнуть с голоду, и опять – из года в год, пахать, сеять, убирать, выгребать да таскать...

Здесь, в целинных краях, степь, насколько хватало глаз, была словно позолотой покрыта – то сияла под солнцем поспевающая пшеница. Однако то там, то сям на этом переливающемся под ветром янтарном, светом напоённом море, грязными пятнами выделялись делянки с буровыми качалками-вышками. К ним, взрезая поля, тянулись грунтовые, убитые в распутицу дороги с глубокими, как раны, разъезженными колеями, оставшимися от тяжёлых КАМазов-бойлеров. Земля вокруг буровых была мёртвой, пропитанной маслянистой нефтью, с содранным безжалостно до самой глины чернозёмным слоем, где ничего живое не сможет произрастать на века.

– Жалко, – подъехав к буровой и выбравшись из джипа, покачал головой, ступая по остро пахнущей нефтью грязи лакированными штиблетами, Клифт.

– Да, тут впору сапоги резиновые одевать, – поддакнул пыхтящий с одышкой рядом Борщёв.

– Да я не о ботинках. О природе, – поморщился Клифт.

– Природа, Юрий Степанович, на благо человека должна работать, – убеждённо возразил заместитель. – Вся наша цивилизация на нефти держится. А это, – обвёл он рукой пространство вокруг, – пейзаж, одна видимость. Растительность, считаю, вроде плесени на поверхности нашей планеты. А всё самое ценное – в недрах...

Клифт, брезгливо ступая по останкам убитой нефтью травы, хмыкнул угрюмо:

– Я вон по телевизору передачу видел – оказывается, человечеству не сорок тысяч лет от роду, как раньше считали, а сотни тысяч, если не миллионы. И всю эту прорву времени человек прекрасно обходился без нефти. А вот без еды, без мяса, хлеба, растительности этой, которую вы плесенью называете, без воды и нескольких дней не протянет – копыта откинет от голода и жажды. И что в итоге важнее: поля вот эти с пшеницей, реки чистые, или нефть, которая чёрные кляксы на всём оставляет, травит и убивает?

Заместитель покосился неодобрительно на шефа, вздумавшего произносить вдруг такие крамольные для любого нефтяника речи, а потом, сообразив мудро, что начальство имеет право и на такие вот чудачества, хохотнул примирительно:

– На наш век рек, полей и продовольствия хватит. Не мы же сами, в конце концов, эту нефть сжигаем. Гляньте, что в городах делается. У каждого – машина под задницей. От автомобилей уже не по улицам ни проехать, ни по дворам не пройти. Уже все деревья повырубили к чёртовой матери под автостоянки. Так что мы лишь потребности общества в энергоресурсах удовлетворяем. А потомки пусть выкручиваются, как хотят. Изобретут что-нибудь с голодухи. Белки синтетические. Или, я вон недавно вычитал – червячков разводить и жрать станут. Питательная, говорят, пища! В любом случае, то не наша с вами забота.

Равнодушно осмотрев вблизи вышку, поздоровавшись за руку с замурзанными, перепачканными с ног до головы нефтью буровиками, Клифт, придав лицу сосредоточенное, понимающее выражение, выслушал их, кивая согласно, а Борщёв, достав блокнот, записал какие-то данные, непонятные для Клифта – о дебете скважины, давлении, ещё какой-то технической хрени.

Через четверть часа, забираясь в чистое и прохладное, овеянное кондиционером нутро джипа, Борщёв предложил вдруг:

– А давайте, Юрий Степанович, новое месторождение осмотрим. Недалеко, километров двадцать отсюда. Наши разведчики недр определили: нефтеносные слои там богатейшие. Но земли пока не наши. И о том, что там нефть залегает, знает лишь ограниченный круг лиц. И нам предстоит, пока конкуренты не расчухались, это чёрное золото к рукам прибрать.

Джип мчался, оставляя за собой лисий хвост рыжей пыли, по просёлочной дороге, вдоль которой расстилались до горизонта поля пшеницы, подсолнечника. Вскоре впереди показалось по степному вольготно раскинувшееся село, застроенное заметно обветшавшими домиками, с тенистыми палисадниками, огородами да баньками на задах.

– Давай к правлению! – приказал шофёру Борщёв.

По разбитому, рассохшемуся будто асфальту, переваливаясь мягко на колдобинах, распугав кур и гусей, автомобиль подкатил к двухэтажному зданию с белёными кирпичными стенами и крупной, издалека читаемой табличкой у входной двери: «Закрытое акционерное общество «Колхоз Рассвет». Здесь же стоял на приколе заляпанный по самую крышу «Уазик».

– Вот и хорошо. Директор на месте, – кивнул на видавший виды вездеход Борщёв.

Пройдя через безлюдный вестибюль правления, с многочисленными дипломами, грамотами в рамочках по стенам, непременной доской объявлений и толстыми снопами пшеницы (а может, и ржи, Клифт в злаках не разбирался), поднялись по обшарпанной лестнице на второй этаж. По распахнутой настежь двери безошибочно угадали приёмную.

Место секретарши пустовало. Гости беспрепятственно прошли в кабинет директора.

Навстречу им шагнул высокий, с копной плохо расчесанных кудрей, голубоглазый человек в белой рубашке с короткими рукавами и джинсах.

– Привет колхозникам! – поприветствовал его Борщёв и представил: – Генеральный директор нашей компании Юрий Степанович Жабин.

– Виктор Николаевич Колесов, – протянул руку хозяин, и указал радушно на приставной столик: – Располагайтесь!

Клифт, не имея ни малейшего понятия, о чём следует вести разговор, сел, приосанившись, и выжидательно глянул на зама. Тот поинтересовался солидно:

– Как, Виктор Николаевич, без хлеба в нынешнем году не останемся? Мы тут помотались по полям – вижу, посевы жара подсушила.

– Есть маленько, – согласился Колесов, – но в основном у тех, кто хозяйствовать на земле не умеет. – И принялся объяснять увлечённо: – Надо же с умом сеять, сорта пшеницы подбирать. У нас из каждых пяти лет, как правило, три года засушливых. Азия! Зимой снег с полей в овраги сдувает, промерзает всё – озимые не родятся. Летом дождя не дождёшься. Одним словом, зона рискованного земледелия. Так я большую часть полей «Варягом» засеял. А «Варяг» знаете, что за сорт? Он путём скрещивания с афганской пшеницей получен. Что за климат в Афганистане – понятно. Та же жара, суховеи, нехватка влаги. Но растёт! И я даже в самый засушливый год с «Варягом» пятнадцать центнеров с гектара возьму!

– Научное земледелие – это, брат, сила, – с важным видом согласился Борщёв.

– А то! – азартно подхватил Колесов. – И всё же подобрать засухоустойчивые сорта – ещё полдела. – Он поднялся порывисто, подошёл к столу, стоявшему отдельно в углу кабинета. – Вот, полюбуйтесь!

Гости подошли, посмотрели. Клифт непонимающе воззрился на привядшие, с комочками грязи, присохшей к корням, стебли с зелёными, невызревшими ещё колосками, разложенные аккуратно, рядком на белом ватмане.

– Видите? – победно глянул Колесов, указывая пальцем на корешки. – Вот этот – тонкий, ломкий, как спичка. Колос – в зачаточном состоянии. На этом поле и убирать нечего будет. Считай, сгорело всё к шутам. А почему?

– Почему? – чтоб не молчать, выдавил из себя Клифт.

– Да потому, что этот фермер, на чьём поле я этот колосок вырвал, заделал семена в почву всего на глубину два-три сантиметра. А температура поверхности земли при нашей жаре – под шестьдесят градусов! Вот всходы и поджарились, как на сковородке!

– Надо же, – сочувственно чмокнул губами Клифт.

– А теперь вот сюда посмотрите, – предложил Колесов, указывая на другое растение. – Корешок разветвлённый, кустистый. Стебель мощный, колос развитый, налитой, полновесный. В нём... раз, два... – принялся считать он, – шестнадцать зёрен. Значит, урожайность – шестнадцать центнеров с гектара.

– А это с чьего поля? – неожиданно для себя заинтересовался Клифт.

– С моего, естественно, – не без гордости хмыкнул хозяин кабинета. – И, учтите, что ни на этом поле, – пренебрежительно ткнул пальцем на худосочный стебель, – ни на этом, – огладил он нежно налитой колос, – за лето ни капли дождя не выпало! А знаете, в чём разница? В том, что я семена на пять-семь сантиметров заглубил при посеве! Вот они от жары и не пострадали!

– Да уж, – уважительно кивнул Клифт, – дело мастера боится...

– Земледелие – это искусство, – чувствовалось, оседлал любимого конька Колесов. – Ну, скажем, как живопись... или способность музыку сочинять. Не каждому дано. – И покровительственно похлопал Борщёва по пле-

чу. – Это вам не нефть качать. Пробурил дырку в земле, и черпай!

– Ну-ну, – нахмурился Борщёв. – Нефть добывать – это тебе не лаптем щи хлебать! Тут тоже, знаешь ли, умение нужно.

– Да только нам за наши таланты копейки платят, – подосадовал Колесов, – так, что хозяйство едва концы с концами сводит. А вы, нефтяники, в шоколаде. Знаете, солярка нынче почём? А, ладно, – махнул он рукой. – Пойдёмте, пообедаем.

– Отчего ж не пообедать? – охотно согласился Борщёв. – У нас в багажнике водочка заначена...

– Из нефти? – подколол Колесов.

– Да что ты! – всплеснул руками Борщёв. – Из самой что ни есть настоящей пшеницы! Может быть, даже из твоего «Варяга» хвалёного...

– А мне этот Колесов понравился! – заявил Клифт, когда спустя час, захмелевшие слегка и отяжелевшие от еды, они с замом отъехали от правления. – Есть в нём что-то этакое... первозданное. На таких мужиках Россия испокон веков держится!

– На нас она держится, Юрий Степанович, – мотнул головой Борщёв. – Если бы не наши, нефтяные да газовые, деньги – посыпалась бы давно страна к чёртовой матери! К тому же ставлю вас в известность, господин генеральный директор, что на территории колхоза «Рассвет», где мы только что с вами побывали, нефтеносные слои богатейшие. И мы их в ближайшее время застолбить должны. Отжать у Колесова землишку.

– Это как, интересно? – полюбопытствовал Клифт.

– Да проще простого! «Рассвет» одному банку по кредитам десять миллионов рублей задолжал. С урожая планировал рассчитаться. Но это не раньше, чем месяца через три-четыре. Пока хлеб уберут, пока продадут, да деньги за него выручат... А мы ждать не будем. Наша компания долги «Рассвета» у того банка давно перекупила. И мы в ближайшие дни инициируем в отношении не рассчитавшегося по кредитам хозяйства процедуру банкротства. И земли его, а главное, недра, к нам в собственность отойдут!

16.

Клифт не любил и побаивался того, что у братвы в криминальном мире называлось «везухой». Жизнь, как известно, складывается из полос, и вслед за светлой непременно чёрная наступает. Причём чем дольше «везуха» прёт, тем шире, продолжительнее затем чёрная полоса. А потому, считал он, лучше уж серенькая жизнь, этакая, серединка на половинку, чтоб без оглушительных удач, но и без глубоких провалов. Так-то оно надёжней, спокойнее.

Весь личный опыт его о том же свидетельствовал.

Помнится, как-то бомбанул на пол-лимона отечественных рублей одного лоха в автосалоне, а через день глупо спалился. Приметил в метро пассажирку с приоткрытой сумочкой, недолго думая, рефлекторно больше, чем из нужды в деньгах, клешню туда свою запустил, и – бац! На опергруппу по борьбе с карманными кражами нарвался. Дамочка эта, капитанша полиции, как оказалось, намертво руку его прихватила, тут же друганы её – опера подоспели. В итоге – трёшку строгача схлопотал, и пол-лимона на хазе пропали. Кенты божились, что деньги в общак, для согреву Клифта на зоне, передали. Может, и так, а только он бабками теми не попользовался. Он ведь по той, зоновской жизни, слава те Господи, в авторитете, с ворами чаи гоняет. Уж чего-чего, а чаёк на замутку, или косячок раскумариться ему с любой дачки перепадает. И чифирнуть

– последний глоток непременно за ним. А, как известно, не каждому фрайеру «пяточка» достаётся!

Вот и сейчас, вляпавшись неожиданно в масляную, покатившую вдруг, словно «ломбарджини» по немецкому автобану, жизнь, Клифт не расслаблялся ни на минуту. Предвидя отчётливо, что кончится эта кучерявая пора либо командировкой очередной на длительный срок, либо вообще деревянным прикидом под железной табличкой с номером в безымянной могиле, в каких неопознанные, невостребованные трупы за государственный счёт хоронят.

А потому держал Клифт навострённые уши на стороже, а хвост – пистолетом.

И всё-таки неожиданным для него оказалось то, каким будничным тоном доложила ему на следующий день в офисе секретарша по селекторной связи:

– Юрий Степанович! К вам супруга приехала.

– К-какая супруга? Чья супруга? – ошеломлённо воззрился он на красный огонёк, пламенеющий над микрофоном аппарата.

– Да ваша, чья же ещё! – не без ехидства, как показалось Клифту, пояснила Гиена Львовна.

«Приплыл», – успел тоскливо подумать Клифт, начал было оглядываться по сторонам затравленно – куда бы сейчас сквозануть, но тут дверь в его кабинет отворилась.

Блондинка среднего возраста, чуть полноватая, со следами былой красоты, благоухающая тонкими духами.

Клифт сразу понял, что принадлежит она другому, недоступному ему в обычных условиях, миру. Обитающему в огороженных заборами виллах Рублёвки, куда и домушникам-то соваться не след, а уж карманникам и вовсе нечего делать – слишком бдительно стережёт своих работодателей вымуштрованная охрана, да и к карманам да к сумочкам домовладельцев ни в жизнь не подступишься.

Клифт, намеревавшийся до того просто пройти мимо визитёрши с каменным выражением лица, и пока начнутся разборки – что да как, спуститься в лифте, рвануть от этой нефтяной конторы подальше, вдруг обмяк за столом.

А дамочка глянула на него васильковыми, с поволокой, глазами, и, кажется, не удивившись ничуть, произнесла прищурившись:

– Ну, здравствуй, дорогой муженёк!

А потом, глядя на столбом застывшего Клифта, выговорила сердито:

– Что ж ты не удосужился позвонить, или хотя бы эсэмэску прислать, как доехал, как на новом месте обосновался?

«Что она несёт? – лихорадочно соображал Клифт. – Почему не орёт дурным голосом, мол, куда супостаты её настоящего мужа дели? А может, она близорукая, или вообще слепая, и подмену не разглядела пока ни хрена?».

– Э-э... занят был... – проблеял он, заметив через проём открытой двери, что столпились там набежавшие девчонки из секретариата, и пялятся с жадным любопытством, хихикая в кулак – шутка ли: жена босса приехала!

Однако супруга Жабина явно слепой не была. Она шагнула с распростёртыми объятиями навстречу Клифту:

– Я так рада тебя видеть, дорогой!

«Дорогому» не оставалось ничего другого, как выйти из-за стола на ватных ногах, и осторожно, словно авиабомбу с необезвреженным детонатором, приобнять визитёршу. А та, щекотнув ему платиновым локоном ушко, шепнула чуть слышно:

– Расслабься, идиот! Морду радостную сострой. После всё объяснишь...

Четверть часа спустя они ехали рядышком на заднем сиденье джипа,

Клифт молчал, косясь на новоявленную жену, а та щебетала так, будто и впрямь была слепа и считала сидевшего рядом незнакомого мужика своим законным супругом:

– Я без предупреждения решила нагрянуть. Вдруг ты здесь... хи-хи... какую-нибудь молоденькую нашёл! Знаю я вас, мужиков. За вами глаз да глаз нужен. А городок этот, Южноуральск, ничего. Цветов много на улицах, зелени. Я думала, грешным делом, тут одни трубы комбинатов разных дымят, да нефтяные вышки на каждом шагу...

Клифт поддакивал заморочено, бормотал в ответ что-то невразумительное.

– Ладно, – указывая глазами на водителя, пресекла его потуги лже-жена, – дома поговорим.

Осмотрев гостиничные апартаменты, заключила снисходительно:

– Неплохо устроился.

А когда хлопотливая хозобслуга, всполошённая приездом супруги шефа, наконец, оставила их одних, произнесла со вздохом:

– Ну, колись, муженёк, куда ты моего засранца дел?

– К-кого? – непонимающе переспросил Клифт. Он стоял посреди гостиной, соображая судорожно: «Эта баба что, тоже самозванка? Аферистка-шантажистка? Но откуда она, падла, то, что настоящего Жабина кокнули, пронюхала, и чего теперь хочет? Сколько за молчание своё запросит?».

А дама между тем опустилась устало в мягкое кресло у низкого столика, отщипнула крупную виноградину от увесистой кисти в хрустальной вазе, положила в напомаженный ротик, передразнила сварливо:

– Кого-кого... Муженька моего настоящего. И за каким чёртом ты его тут изображаешь?

– Мужа? Вашего? – тянул, медля с ответом, Клифт.

– Да моего, не твоего же, – усмехнулась гостья.

– Не понимаю, гражданка, о чём вы толкуете, – пошёл в несознанку, будто на допросе у следователя, не имеющего железных улик, Клифт. – Я, если хотите знать, вообще холост. А вас в первый раз в жизни вижу!

– А я тебя, хрена моржового, тем более! – с недобрым прищуром заявила дама. – Я вот сейчас свисну челядь, и прикажу ментов пригласить. И паспорт им покажу. А в нём, между прочим, штампик имеется. Удостоверяющий, что я, Ольга Игоревна, сочеталась с гражданином Жабиным законным браком... э-э... страшно подумать, пятнадцать лет назад! И учтите, господа полицейские, – обернулась она к воображаемым стражам закона, коих, слава Богу, пока в комнате не наблюдалось, – этот гражданин вовсе не мой муж. А стало быть, не Жабин Юрий Степанович, за которого его здесь все принимают!

Клифт, сообразив, что ломать комедию дальше бессмысленно, присел рядом на соседнем кресле, взял со стола сигареты, щёлкнул зажигалкой, пустил дым в потолок. А потом поинтересовался с кривой улыбкой:

– Что ж ты сразу меня не сдала?

Дама похрустела очередной виноградиной на белоснежных зубах, ответила уклончиво:

– Да-а... Разобраться надо сперва... Хотя бы познакомится для начала. Ты вообще, мать твою, кто?

– Я-а? – мусоля сигарету, пожал плечами Клифт. – Так, случайный пассажир на этом нефтяном танкере.

– А зовут тебя по-настоящему как?

– Арчибальд. Арчибальд Пантелеймонович Тараканов, – выдал без запинки первое, пришедшее в голову карманник.

Дама хмыкнула понимающе:

– Ну и чёрт с тобой, Арчибальд. Ты мне, Пантелеймоныч, только честно скажи: муж-то мой благоверный где?

Клифт понял, что придётся колоться. Придав лицу подобающее моменту печальное выражение, он произнёс торжественно-скорбно:

– Крепитесь, мадам. Вашего супруга больше нет. – И торопливо добавил: – Но я к этому отношения не имею. Просто... оказался случайным свидетелем того, как некий злоумышленник всадил ему в сердце две пули. Ну, и вот... не преминул воспользоваться... Взял грех на душу... Решил, раз такая везуха, немного бабла срубить. Под его, как говорится, личиной.

Гостья встала, широко, с размахом перекрестилась:

– Ну, слава те, Господи. Свершилось, значит. А то я уж венок послала. Потом прослышала, что муженёк мой жив и невредим, к руководству компанией приступил. И засомневалась было: неужто обманул меня, стервец? И за что я ему такие крутые бабки отвалила?

– Кому отвалила? – не мог взять в толк Клифт.

– Да киллеру. Который моего благоверного грохнул!

17.

Повидавший на своём веку всякого, Клифт всё-таки был слегка ошарашен признанием гостьи. Понятно, что мир нынешний жесток, прагматичен, и пуля становится последним аргументом не только в криминальных разборках. Но и, как принято выражаться, в спорах хозяйствующих субъектов, но что б жена... мужа...

Словно прочитавшую его мысли дамочку прорвало:

– А что бы любой на моём месте сделал!? – и указала на початую бутылку «Хеннеси» на столе: – Налей! – глотнула из бокала, продолжила со слезами на глазах: – Выходишь девчонкой замуж за смазливого голодранца, родители у которого – никто, мазутные хари. Отмываешь его от барачной грязи, покупаешь ему высшее образование, в приличное общество вводишь. Пятнадцать лет на это, всю молодость тратишь. А он? Вместо благодарности за каждой юбкой бегать начинает. Да хрен бы с ним, если бы где-то в саунах со шмарами кувыркался. Так нет, развод затеял. Нашёл себе какую-то шлюшку модельной внешности. Дескать, мне теперь по статусу жена молодая, красивая положена. Хрен тебе что положено! Ста-а-тус! Да если бы не папа мой, министр экономического развития при Ельцине, теплотрасса тебе была бы положена, и жратва с помойки!

Клифт кивал сочувственно, утешал, как мог:

– Ну, вы тоже ничего ещё... очень даже вполне симпатичная.

Гостья приложилась к бокалу, непроизвольным движением поправила белокурую прядь.

– Спасибо. Был бы папа жив, он бы это быдло неблагодарное, муженька моего, быстро на место поставил. А теперь вот самой... все вопросы решать пришлось. Он ведь, гад такой, всё имущество хотел у меня отсудить. Не им, говнюком, нажитое. И коттедж на Рублёвке, и виллу в Италии, другую недвижимость. Ну не скотина, а? И как прикажете поступить с этой скотиной?

Клифт скорбно кивал, соглашаясь.

А дамочка, промокнув платочком уголки глаз, вдруг поинтересовалась совсем другим, деловым тоном:

– И как же мы с тобой, мелким жульманом, из этой ситуации выходить будем? Одно дело я – вдова безутешная, убиенного безвинно мужа единственная наследница. И совсем другое дело, когда супруг драгоценнейший,

оказывается, жив, только он не муж мой на самом деле, а хрен знает кто?! Или мне и в самом деле в полицию обратиться?

– Ну, в полицию-то не стоит, – резонно заметил Клифт. – Я ведь им тоже вашу жалостливую историю рассказать могу. Про киллера, в частности...

– Да ничего ты не докажешь, жульман, – пренебрежительно махнула рукой гостья. – Я же всё отрицать, естественно, буду. А вот на тебя убийство повесят. Ты, небось, и документы Жабина прихватил, и денежки? Сидишь тут, на его месте, щёки надуваешь. Твой корыстный мотив налицо. А я что? Несчастная вдова, потерявшая единственного кормильца!

Клифт примирительно подлил ей в бокал:

– Думаю, мы это дело как-нибудь без полиции... утрясём. Я ведь ненадолго здесь. Завтра исчезну – только меня и видели. Я же на имущество ваше не претендую. Так, перекантовался здесь чуток, деньжат по малой срубил. Должность-то всё равно... вакантной была!

– Нет, похоже, ты тупой, и не понимаешь, что натворил! – ощетинилась дамочка. – Нет тела – нет и преступления. И никакая я не вдова, а жена здравствующего гражданина Жабина. Где труп?

– Я его на лавочке на вокзале в Самаре оставил. С моими документами. Так что он теперь наверняка похоронен как Валерий Павлович Пузанёв, то есть я. Родственниками не востребованный по причине отсутствия таковых.

– Ты ж, мать твою, Арчибальдом назвался!

– Это я так... нравилось в детстве мне это имя... – сконфузился Клифт.

– Короче, Арчибальд-хрен-тебя-знает-по-настоящему-как! Даю тебе сроку – один день. Прыгай в свой джип, и лети в Самару. Чтобы завтра справка о смерти Юрия Петровича Жабина у меня на руках была. Не какого-то, на хрен, Пузанёва, а Жабина! Можешь тело его эксгумировать, и сюда на опознание притащить.

– Ладно, попробую... – согласился Клифт. – Только, боюсь, одного дня мало будет...

– Правильно боишься, – отрезала гостья. – Потому что иначе мне придётся ментам за отсутствием настоящего мужа твой труп предъявить.

18.

В ночь Клифт помчался в Самару, и утром уже въезжал в город. У него хватило ума не торкаться в полицию, где наверняка бы начали задавать неприятные вопросы. Посмертную судьбу Жабина он решил выяснить в месте, которое убиенный, а казённым языком выражаясь, криминальный труп никак не мог миновать – в морге бюро судебно-медицинской экспертизы.

Проще простого было бы выправить справку о смерти, но выпишут-то её на Валерия Пузырёва! А жене Жабина подавай! Впрочем, и здесь Клифт придумал выход из положения. Найдёт могилу нефтяного магната на кладбище, объяснит, что хочет перезахоронить тело погибшего в чужих краях на родине, поближе к родным могилам, и доставит эксгумированный труп в Южноуральск в лучшем виде. А там вдова пусть сама крутится, опознаёт да справки собирает. Он, Клифт, к тому времени уже далеко будет. С новыми документами.

Язык, как говорится, до Киева доведёт, и вскоре с помощью шофёра Сергея, поспрашивавшего всезнающих местных таксистов, подъехали к скорбному заведению. Располагалось оно в глубине двора, на задах многоэтажной городской больницы. Низкий домик из белого силикатного кирпича стыдливо прятался за кронами карагача и кустиками акации.

Напустив печаль на чело, Клифт неторопливо прошествовал к моргу. Ни дать ни взять – безутешный родственник, согбённый свалившимся горем.

На низком крылечке обители мёртвых, сидя прямо на деревянных ступеньках, покуривал крепкий, худощавый мужик, облачённый в несвежий, заляпанный бурыми пятнами медицинский халат. Оглядев с ног до головы Клифта, вырядившегося по траурному поводу в дорогущий чёрный костюм, мужик сделал соответствующий вывод, и поднялся, шагнул на встречу:

– Здравствуйте... Чем могу быть полезен?

Опасаясь пожимать руку, неизвестно чего касавшуюся в таком заведении, держа дистанцию, Клифт поинтересовался с достоинством:

– Вы доктор?

– Санитар здешний. – И пояснил торопливо: – Но если вам покойника обрядить, марафет навести – это ко мне. Я, блин, из любого трупака конфетку сделаю. В прошлый раз одного после ДТП привезли – жуть, как из мясорубки. А у меня он потом как живой в гробу лежал!

Клифт поморщился, и не без трепета заглядывая через плечо санитара в таинственное нутро мертвецкой, сказал осторожно:

– Мне бы... э-э... справочку навести. Узнать судьбу одного... мнэ-э... тела. Где оно захоронено?

Мужик изобразил на лице глубокую озабоченность:

– Узнать то, конечно, можно... Только дело это хлопотное. Журналы учёта нужно поднять, опять же, в компьютер залезть... Да и вообще, посторонним знать про то не положено...

Клифт правильно оценил заминку, и протянул мужику тысячерублёвую купюру:

– Я не посторонний, я родственник. Ищу двоюродного брата.

– И где же это он у вас потерялся? – прищурился хитро мужик.

– Да здесь где-то. В Самаре. – Клифт доверительно склонился к санитару: – Я тебе честно скажу. Он у нас, брательник, то есть, непутёвым был. Пил, бомжевал. А теперь слух прошёл – вроде помер.

– Фамилия-то брательника – как?

– Пузанёв. Валерий Павлович, – испытывая мистический трепет от того, что приходилось объявлять умершим себя, молвил Клифт.

– А когда крякнул?

Клифта покоробило такое неуважение к собственной персоне.

– Умер, – с нажимом произнёс он, – мой брат где-то числа двадцатого июля. Неделю назад.

– Щас посмотрю, – пряча купюру в нагрудном кармашке халата, пообещал санитар, и скрылся в глубине морга.

Судя по тому, что вновь он возник на крылечке через пару минут, задача по просмотру журналов оказалась не столь грандиозной, как представлялось санитару вначале.

– Вот, – протянул он клочок мятой бумажки, – нашёл я концы твоего братана. Поступил... – заглянул он в обрывок листочка, – труп гражданина Пузанёва 21 июля. Диагноз: огнестрельные пулевые ранения сердца. Вскрытие проводил врач-судмедэксперт Цирлинсон...

– Тело, тело где? – нетерпеливо перебил Клифт. – Где... э-э... мой братан похоронен?

– А его и не хоронили вовсе, – обескуражил в ответ санитар.

– То есть... где же он? – не мог уразуметь Клифт.

– В медакадемии. Мы туда безродные, невостребованные трупы сдаём.

– Зачем? – догадываясь уже, допытывался Клифт.

– Студентам для практики. Чтоб, значит, они на этих трупах анатомию изучали, оперировать учились. Так что дуй, парень, в медакадемию. Может быть, они брата твоего на запчасти, препараты, то есть, ещё не распотрошили...

19.

По причине летних каникул во дворе старинного, засаженного вековыми дубами и клёнами здания медицинской академии было тенисто и тихо. У парадного входа лениво покуривал вахтёр, облачённый в зелёную униформу.

Клифт обратился к нему, дыша запалено – время-то поджимало!

– Слышь, командир! Куда тут у вас жмурики... ну, эти, которые для опытов, поступают?

Служивый – по внешнему виду отставник в майорском, не ниже, чине, строго поправил незваного визитёра:

– Не для опытов, а для занятий студентов – будущих докторов. Для выработки у них практических навыков. А вам зачем о том знать?

– Да, слышь, командир, тут такое дело... Я в отъезде был, а братана моего двоюродного после смерти сюда, говорят, сдали...

– Пил? – вопросил строго вахтёр.

– Кто? Я-а? – изумился Клифт.

– Да нет, брат твой.

– А-а... Ну да, было дело. Бомжевал, опустился совсем...

– Вот! – назидательно поднял палец отставник. – Типичный случай! Вымираем по миллиону в год. Споили народ, сволочи!

– Кто? – заморочено уставился на собеседника Клифт.

– Понятно, кто. Мировая закулиса. Жиды!

– А-а... ну да, – согласился Клифт. – Прямо разжимали зубы, и насильно водку в горло вливали!

Охранник неприязненно глянул на собеседника, оценил дорогой костюм, поджал губы:

– А вы, значит, тоже из этих...

– Из жидов? – подсказал Клифт.

– Из представителей компрадорской буржуазии. – И напустил на себя официальный вид. – Все сведения – в администрации академии. Обращайтесь туда. – И добавил мстительно: – Только у них сейчас обеденный перерыв!

Уже поняв, с кем имеет дело, Клифт достал бумажник, протянул охраннику тысячную:

– Ладно, отец, не кипятись... Мы ж не на митинге.

Отставник взял деньги, с отвращением посмотрел на купюру, спрятал в карман, пояснил сухо:

– Пройдёшь на первый этаж. Там кафедра анатомии. Туда все трупы привозят. Спросишь старшего препаратора Свиридова. Он тебе всё объяснит.

Клифт шагнул в прохладный вестибюль, огляделся по сторонам. Гардеробная с пустыми вешалками, номерками на крючках. Справа, слева – длинные коридоры, уходящие вглубь здания, ряды выкрашенных белым дверей. Над тем, что слева – выпиленными из пенопласта буквами выложено: «Кафедра топографической анатомии». Над правым – просто «Кафедра анатомии».

Поразмыслив секунду, Клифт отверг «топографическую», ассоциировавшуюся у него с географическими картами, и прошёл в коридор, где располагалась нормальная анатомия.

Здесь стоял крепкий, до першения в горле, запах формалина. По стенам висели портреты каких-то докторов, которые смотрели на непрошеного

визитёра строго и осуждающе, а также многочисленные плакаты, изображавшие людей с содранной кожей, обнажёнными мышцами и пучками кровеносных сосудов.

Неожиданно одна из многочисленных дверей распахнулась, и в коридор вышел старичок – низенький, согбённый в плечах, обряженный в чистый медицинский халат и крахмальный поварской колпак на седенькой голове.

– Чем обязан? – обратился он к Клифту.

– Да ничем, собственно... Я Свиридова ищу, старшего препаратора.

– К вашим услугам, – со старомодной вежливостью отрекомендовался старик.

Клифт замялся, не зная как изложить суть дела.

– Жутковато тут у вас, – начал он, указав рукой на плакаты. – Не для слабонервных!

– А слабонервным делать нечего в медицине! – строго изрёк препаратор. – Вот, читайте, – в свою очередь, указал он на надпись большими буквами на стене: – «Mortuj vivos dociunt». Что означает: здесь мёртвые учат живых.

Клифт склонил голову уважительно. Потом предложил:

– Где бы нам с вами присесть и переговорить по важному для меня делу?

Старик распахнул ближайшую дверь:

– Прошу!

Перешагнув порог, Клифт замер в растерянности. Он ожидал увидеть кабинет с привычной атрибутикой – офисной мебелью, оргтехникой. Здесь же посреди комнаты стоял массивный стол из оцинкованного железа. И то, что лежало на этом столе, при ближайшем рассмотрении ввергало в трепет.

Это было человеческое туловище, вернее, торс, без головы и без рук, с зияющей грудной клеткой. Там, будто во чреве робота, тянулись, переплетаясь причудливо, провода синего и красного цветов.

– Что это? – уставился на расчленённые останки Клифт.

– А, это... – небрежно махнул рукой старичок. – Демонстрационный препарат.

– А-а... почему там провода?!

– Да не провода это, – досадливо поморщился хозяин кабинета. – Кровеносные сосуды. Мы красим их для наглядности. Методика очень простая. В бедренную артерию трупа заливается жидкий латекс красного цвета, в вену – синего. Затем латекс застывает. Я препарирую, отсекая все лишние ткани, выделяю кровеносную систему. Студенты смотрят, запоминают. Могут любую веточку артерии или вены руками потрогать. Позже, когда начнут оперировать, им эти знания очень пригодятся.

Клифт уже с уважением посмотрел на то, что некогда было живым человеком.

– А я к вам, собственно, по такому же поводу, – приступил он к делу, после чего изложил всё ту же историю о непутёвом двоюродном брате.

Препаратор, нахмурившись, выслушал.

– Надо по накладным посмотреть, – сообщил он. – К нам таких часто привозят. Бомжей, психбольных, уголовников из тюрьмы. И, скажу я вам откровенно, – доверительно склонился старик к собеседнику, – нередко такое посмертное служение науке – единственный благородный поступок этих людей за всю предыдущую непутёвую жизнь!

– Вот и мой брат был... скажем так, не самых честных правил, – грустно подтвердил Клифт, отчётливо представляя, что и его собственным бренным останкам, возможно вполне, предстоит возлежать со временем на та-

ком же вот цинковом столе, как безродному. – Мамаша ко мне его обратилась. Найди, дескать, родную кровинушку. Я, грит, его по-человечески похороню, на могилку его приходить стану... Как бы нам с вами, любезный, договориться, и родственничка моего отсюда к мамаше отправить?

– Что вы, что вы! – замахал руками старик. – Это совершенно невозможно! Труп, попавший сюда, уже не тело, а учебное пособие. За него, к вашему сведению, уже и деньги из бюджета медакадемии уплачены. Это же подсудное дело!

– Все расходы я компенсирую! – достал Клифт бумажник, в котором оставалось ещё достаточно сдёрнутых в своё время у заместителей денег. И продемонстрировал препаратору толстую пачку купюр.

Тот с интересом на неё посмотрел.

– Разве что так, – протянул нерешительно. А потом встрепенулся: – Когда, говорите, родственник ваш к нам поступил?

Клифт протянул ему клочок бумажки, выданной в морге.

Старик взглянул на дату, подошёл к компьютеру, потыкал в клавиатуру пальцем, пошарил мышкой по вспыхнувшему монитору. И обернулся к гостю, покачав головой с сожалением.

– Вы уже опоздали, милейший. Тела, как такового, уже нет.

Клифт заволновался:

– Как это нет? – А потом, уставившись на жуткий препарат на столе, догадался. – Вы его что, уже... на запчасти разобрали? – и указал дрожащим пальцем, – а это – не он?

– Ну, не то, что бы разобрали, – пожал плечами старичок. – Скорее наоборот. Я его только вчера собирать закончил. Но, увы, не в том виде, в каком его можно предъявить близким родственникам...

– Покажите! – решительно потребовал Клифт.

Препаратор достал из ящика стола связку ключей, и кивнул гостю:

– Пойдёмте.

Проведя визитёра всё тем же длинным, полутёмным коридором, он в самом конце его отпер обитую железом дверь. Первым шагнул за порог, включил свет. И указал на что-то в глубине комнаты.

– Вот он!

Клифт глянул из-за плеча старичка. На него, скаля обнажённые зубы, смотрел пустыми провалами глазниц сияющий выбеленными, будто отполированными костями, укреплённый на подставке скелет.

20.

– Идиот! – орала следующим утром вдова нефтяного магната, указывая на скелет мужа пальцем. – И что я теперь должна с ЭТИМ делать? Милиции предъявить?!

– Полиции, – поправил её машинально Клифт. Он стоял, растерянно теребя в руках чехол для перевозки костюма, в коем, к немалому изумлению и ужасу шофёра Серёги, доставил бренные останки Жабина в багажнике джипа.

А потом перешёл в наступление:

– Вы, дамочка, на меня так рот разеваете, будто это я вашего муженька кокнул. К тому же вся... э-э... арматура гражданина Жабина в целости и сохранности. Я по телевизору видел: учёные по одной косточке способны весь внешний вид животного воссоздать. Ну, там динозавра какого-нибудь, мастодонта или австралопитека. А тут у них – целый скелет! Восстановят внешность гражданина Жабина, вы его полиции и предъявите.

– Сам ты австралопитек безмозглый! – ярилась вдова. – Если бы ты, козёл, труп моего мужа с чужими документами на вокзале не бросил, мы бы его

давно похоронили честь по чести, а убийство на коммерческие разборки списали. А теперь?

Клифт вдруг хлопнул себя озарено по лбу.

– Слушайте! А зачем нам вообще весь этот огород с предъявлением трупаков городить? Я ведь в настоящий момент кем де-факто являюсь? Вашим законным мужем. Вот и давайте все документы, связанные с разводом и передачей имущества, подпишу. Мне чужого не надо...

– А ты и подписи умеешь подделывать? – скептически глянула на него вдова. – В банках да нотариальных конторах образцы подписи моего мужа имеются. Там не такие, как в этой нефтяной компании, придурки сидят. Они тебя, мелкого афериста, вмиг раскусят!

– Ладно, придумаем что-нибудь, – пообещал Клифт, и глянул на часы с облегчением. – Мне на работу пора. Дождись меня, дорогая. – И попытался примирительно, по-семейному, чмокнуть в щёчку.

Та шарахнулась от него, как от чумного.

Покинув гостиницу, Клифт не знал, что оставшись в одиночестве, «дорогая» сделала телефонный звонок. И прошептала в мобильник:

– Ал-лё... тут такое дело... Накладочка вышла. В общем, мне придётся заказ повторить... Оплату, как всегда, гарантирую. По повышенной ставке – за срочность.

21.

В приёмной офиса, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, Клифта поджидал заместитель Борщёв.

– Нам с вами, Юрий Степанович, надо прямо сейчас в арбитражный суд подъехать. Там очень важное для нашей компании дело рассматривается. И ваше присутствие, как гендиректора, просто необходимо.

Намеревавшийся в ближайший час рвануть в аэропорт, и вылететь первым попавшимся рейсом куда-нибудь, подальше от Южноуральска, Клифт скривился с досадой:

– Ч-чёрт... у меня важные дела запланированы. Ну что ж, раз надо – поехали!

С учётом предыдущего опыта Клифта, весьма специфического, суд он представлял себе как место малоприятное – с вооружённым конвоем, железной клеткой для подсудимого, строгой командой: «Встать! Суд идёт!».

Однако на этот раз всё выглядело иначе.

Клетки в зале не было, конвоя тоже. Клифта с Борщёвым усадили за длинный стол тёмной полировки, рядом расположился вышколенный шнырь, в очёчках и с кипой документов – как оказалось, адвокат компании.

А вот давешний знакомый, директор колхоза «Рассвет» Виктор Николаевич Колесов, и впрямь походил на подсудимого. Вошёл понурясь, не глядя по сторонам, никак не отреагировав на чистосердечное «здрассьте» Клифта.

Само заседание оказалось тягомотным и до зевоты скучным. Сперва судья – миловидная женщина в чёрной мантии, долго зачитывала какие-то маловразумительные для Клифта документы. Потом адвокат нефтяников, тасуя стопку бумаг, словно колоду карт, вещал что-то проникновенное о долгах и покупке активов.

Дали слово и Колесову.

Он поднялся, попытался пригладить непослушные вихры на затылке, и заговорил вдруг страстно, с болью, выбиваясь из сонной тональности заседания:

– Это что ж получается, товарищи дорогие! С одной стороны, мы говорим, что хлеб – всему голова. С другой – он государству нашему вроде, как и не нужен. Уж сколько нас душили, душили, аграриев, а мы всё живем. На

ладан дышим, а сеем да пашем. Получается, что один с сошкой, а семеро с ложкой. И все вьются вокруг хозяйства. Энергетики, газовики, ростехнадзор, сельхознадзор, госпожнадзор, налоговая... все надзирают! Нет, чтобы помочь. Наоборот. Энергетики за малейший долг норовят рубильник отключить, провода отрезать. Газовики – вентиль перекрыть. И всем – дай, дай, дай! Штраф заплати, взятку сунь. Хоть деньгами, хоть поросёнком... А хлеб закупают у нас по бросовым ценам. Я элитное семенное зерно, за бесценок, как товарное продаю. А что делать? С долгами надо рассчитываться! Теперь вот нефтяники. Дошло уже до того, что за тонну солярки пять тонн пшеницы надо отдать! Ну и чёрт с вами. Банкротьте. Будете потом пшеницу из Канады и Аргентины возить. Да только хлеб тот по цене золотой окажется. Вам никакой нефти, чтоб за него рассчитаться, не хватит.

Колесов сел, и опять уставился в пустой стол прямо перед собой.

– Суд удаляется на совещание, – объявила девушка-секретарь.

– Эй, постойте-ка, – поднялся решительно Клифт. – Можно мне?

Судья благосклонно кивнула.

– Я, дело прошлое, сам-то не деревенский, – начал подрагивающим от волнения голосом Клифт. – А сейчас вот послушал представителя колхозного крестьянства, и подумал: а ведь он прав! – отмахнулся от Борщёва, потянувшего его за рукав пиджака. – Да пошёл ты! – и продолжил: – Короче, так. Банкротить колхоз «Рассвет» не надо.

– То есть, вы хотите сказать, что нефтяная компания «Южуралнефть» отказывается от иска на отчуждение земель ЗАО «Колхоз «Рассвет»? – удивлённо выгнула подбритые бровки судья.

– Точно, – подтвердил Клифт. – Чё мы, в натуре, нелюди какие-то? Иск отзываем, а долги спишем. Не обеднеем. На одних банкетах сэкономим столько, что и колхозам, и детским домам хватит!

– Тогда вам нужно подписать отказ от претензий, – заключила судья.

Клифт, следуя указаниям секретаря («здесь, и вот здесь!»), расписался в каких-то бумагах.

А потом вышел из зала суда, даже не оглянувшись.

На улице прыгнул в джип, и скомандовал Сергею:

– В аэропорт. Быстро.

22.

То, что за ним следят, Клифт засёк уже в Домодедово. Из Южноуральска он вылетел без проблем. Правда, почти без денег. Но это, как говорится, дело наживное. Пальчики-то ловкие всегда при нём!

Двух мордоворотов, облачённых в строгие чёрные костюмы, пристально вглядывающихся в лица выходящих из терминала, и на мгновение встретившихся с ним взглядами, Клифт сразу вычислил. Это у него профессиональное – ментов примечать. Иначе из зон бы не вылезал, срок за сроком мотая. Хотя, если честно, и отсидел в своё время немало...

Впрочем, сейчас его пасли совсем не менты, а, вероятнее всего, быки из службы безопасности нефтяной корпорации. Шутка ли – он им важную сделку сорвал. Да и на волне поднявшегося скандала наверняка докопались, что никакой он не Жабин. Расскажи кому – не поверят. Богатейшую нефтяную компанию заурядный жульман кинул! Неделю этими керосинщиками руководил, а они не допетрили. Скандал! Такое наверняка не прощается...

Мордовороты Клифта тоже мгновенно сфотографировали и опознали, рванулись за ним сквозь толпу.

Интересно, какой приказ они получили? Повязать, передать полиции? Вряд ли. Побояться огласки, позора на весь белый свет. Тогда... тогда плохо дело. Сцапают, увезут и закопают в Подмосковном лесочке. А то прямо на улице грохнут...

Клифт, выскочив на запруженную автотранспортом площадь перед аэровокзалом, оглянулся быстренько – нет ли хвоста? Есть, вот они, соколики, как ледоколы, людскую толчею рассекают. Один руку за пазухой держит. Там у него наверняка шпалер в кобуре под мышкой. Значит, прямо здесь, при всём честном народе, будут валить!

Клифт начал осматриваться в надежде подхватить такси или «левака». Надо же! То толпой набегают: «Командир, куда едем?», а тут будто вымерли.

– Блямс!

На капоте ближайшего лимузина розочкой расцвела пулевая пробоина. Выстрела не услышал – значит, шмаляют из пистолета с глушителем. Вот отморозки! Здесь же кругом женщины, дети... Смазали, черти, потому что торопятся... И куда только полиция смотрит?!

Полиция! – осенило вдруг Клифта. Он круто развернулся, и опять вбежал в зал ожидания. Здесь стрелять не должны – они же не самоубийцы!

Украдкой в ближайшую урну он выбросил паспорт Жабина. Теперь уже не понадобится. А потом стал прогуливаться, скользя профессиональным взглядом из-под опущенных век по толпе пассажиров. Мордовороты тоже здесь. Один на выходе мнётся, перекрывая, другой следом волочится, глаз с Клифта не сводит.

Особенно густо кучковался народ у стоек регистрации. Клифт направил свои стопы туда. Так, теперь надо лоха найти. Из тех, что бумажники в задних карманах брюк держат. Человек этот должен не старым быть, служивого возраста. А поблизости – ещё пара-тройка таких. Аккуратно подстриженных, со спортивной выправкой.

Вскоре он углядел то, что искал. Правда, то не парень был, а девица. С расстёгнутой призывно сумочкой через плечо, к спине передвинутой. Прямо мечта карманника! Запускай руку, тащи бумажник!

Клифт, не раздумывая особо, так и сделал. Подошёл, потоптался для виду, а потом – цап!

Его скрутили мгновенно. И когда парни спортивного вида, заломив жулику руки за спину, защёлкнули на них стальные браслеты, тот, вопреки всему, лыбился вполне счастливо. И даже пробормотал с благодарностью:

– Чисто сработали, орлы! Прихватили с поличным. От души поздравляю!

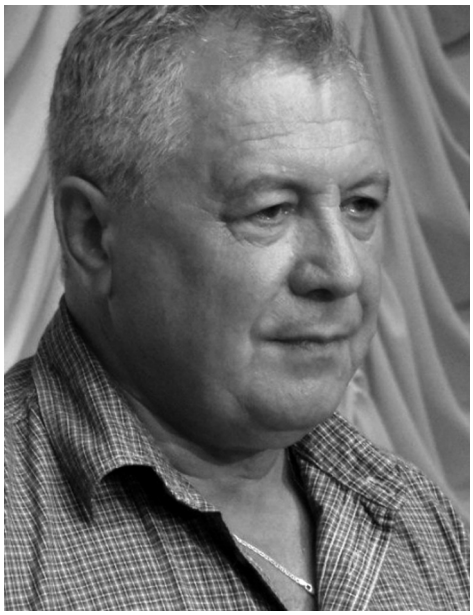
Опера из отдела по борьбе с карманными кражами, естественно, по запарке не обратили никакого внимания на двух застывших в растерянности поодаль мордоворотов в строгих чёрных костюмах.

23.

Несколько дней спустя Клифт чифирил с братвой, сидя за длинным столом в камере следственного изолятора. Передавая кружку по кругу, разглядывал с улыбкой сокамерников, со многими из которых кентовался ещё в прежние ходки. Лёша-домушник, Расул-майданщик, Мотя Вайнштейн – катала, Ваха-барсеточник. Вот здоровяк Дима Иркутский – этот, наверняка, опять за гоп-стоп подсел.

И не выдержав, сказал умилённо:

– Братцы! Как хорошо тут у вас, если б вы знали! И, главное, всё по-людски, всё по-честному...



Анатолий КИРИЛИН

СЕМЕНА ДЛЯ ПОПУГАЙЧИКОВ

Роман

1.

Из моего окна видно, как на проспекте кладут асфальт. Каток неторопливо утюжит новое чёрное покрытие. Завтра выпадет снег, и каток наверняка не закончит свою работу. Его отбуксируют в какой-нибудь отстойник дорожного хозяйства до весны. Зачем же он так усердно уплотняет эту маслянисто-черную поверхность, если точно известно: завтра выпадет снег?

На это никто не ответит. Есть асфальт, который произвел завод, есть рабочие, есть каток. Рабочие получат зарплату за сегодняшнюю работу, каток встанет, завод тоже остановится. Весенними днями асфальт будет освобождаться от воды и снега, к ночи опять покрываться льдом и разрушаться вместе со старым дорожным покрытием. Неумолимая физика... Какая-то необязательность во всем этом, случайность, творение без замысла.

У меня перерыв. Я отвез продавца с рыбками на рынок, забирать его часов через пять, не раньше. Бизнес такой у моего знакомого аквариста. В большой подвальной комнате огромные аквариумы с золотыми рыбками, телескопами, барбусами. Не помню всех названий, не стараюсь запоминать – голову замусоривать. Сначала я любовался причудливыми созданиями, удивительными формами и красками, потом стал относиться к ним, как все

КИРИЛИН Анатолий Владимирович родился в Барнауле. Окончил филологический факультет Барнаульского педагогического университета. Первый рассказ опубликован на страницах «Алтайской правды» в 1980 г. Участник 8-го Всесоюзного совещания молодых писателей в Москве (1984), на котором получил рекомендацию в члены Союза писателей СССР. Автор повести «Чужая игра», романа «Под знаком Творца», повести «Родня и родина». Член Союза писателей России с 1988 г.

профессионалы. Перечеркиваю – как, – ибо профессионалом я не стал и никогда не буду, не хочу. Они мне уже до чертиков надоели, эти рыбки. Знакомый в своем хозяйстве постоянно подсчитывает приросты, привесы, приплоды, будто речь идет о какой-нибудь говядине. Слава Богу, мне не приходится ухаживать за всем этим рыбьим царством, для того нанят специальный человек. Он, кстати, терпеть меня не может, поскольку отчетливо видит во мне дилетанта. Притом я считаюсь совладельцем предприятия, а он, специалист, всего лишь наемный работник. И еще ему надо по выходным часами выстаивать на рынке.

Позвонила знакомая из села, известного тем, что в нем когда-то родился известный писатель.

– Я приеду на следующей неделе. Ты как?

– Как? – Я замялся, перебирая в голове дни своей занятости, и этого хватило, чтобы она взбрыкнула.

– Все понятно, я не приезжаю.

Услышав отбой, я не особенно расстроился, хотя как раз сегодня утром вспоминал о ней: вот бы приехала, мы отправились бы на знакомую лесную полянку, занялись бы любовью в машине... До встречи с ней я ни разу не использовал автомобиль для этой цели и, помнится, даже сопротивлялся, когда в тот, первый, раз она начала раздеваться.

– Я так не могу, – отбивался я, – мне нужны условия, постель... А вдруг увидит кто?

– Ха-ха! Если здесь кто живой и появляется – за тем же самым. А нет – пускай завидуют.

Она буквально изнасиловала меня, озабоченного одним: не приближается ли кто? В конце концов, от нашей возни стекла запотели так, что разглядеть сквозь них хотя бы что-нибудь стало невозможно. Тогда я немного успокоился. Однако назвать мое участие в этой игре любовным подвигом было бы большим преувеличением.

У нее удивительно белая, с мраморным холодком кожа, по-детски маленькие, в ямочках, беззащитные на первый взгляд, но на самом деле крепкие и бесстыдные руки, упругие небольшие груди с бледно окрашенными сосками и невыносимо жадные губы... Пожалуй, меня более всего и подтолкнули к ней бесстыдство ее и жадность.

Кто бы мог подумать! Тихий музейный работник из далекого села...

Познакомились мы на каком-то литературном празднике. Я тогда работал в не очень толстом и совсем не литературном журнале. Внимание она привлекала, прежде всего тем, что приставала со своим диктофоном ко всем подряд. Очевидно, всех здесь она представляла писателями, а это, по ее мнению, народ необыкновенный. К тому же ее работа обязывает заводить личные знакомства с людьми творческими и так далее и тому подобное. Это уже много дней спустя она мне поясняла. К самому старому, а стало быть, опять же на ее взгляд, умному, просвещенному, мудрому она напросилась в гости. Потом рассказывала, что он открыл дверь в несвежих трусах армейского образца, до колен, усадил напротив портрета своего деда, когда-то знаменитого купца, выставил водку и кофе и все время, с тех пор, как открыл дверь, не умолкал ни на секунду.

В конце концов, предложил прямо сейчас переехать к нему в качестве не то секретарши, не то домоправительницы, не то все вместе.

На сообщение о муже и дочке среагировал весьма странно.

– А что, им негде жить?

Наряд он так и не сменил, а на прощанье заявил, что многие почли бы за честь...

– Он же старый, – высказала она потом удивление.

– Ну и что? – Мне хотелось подбавить глупости в ситуацию. – У него квартира, видела какая? Или не всю показал? В центре, большая. Ты же хочешь жить в городе? Может, отписал бы со временем.

В это я и сам не поверил бы никогда в жизни, такие, как он, переживают века и народы, после себя оставляя другим только нетленное.

* * *

Подошло время ехать за продавцом. Стоял октябрь, уже отсыпали первые снега, и даже три дня кряду простояли сугробы. Но теперь все растаяло, о снегопаде напоминают лишь ветки, сломанные деревья, оборванные провода, не выдержавшие навалившейся на них тяжести. Месячная норма – так сказали по радио наутро после снегопада. Даже природа бывает не готова к внезапной зиме, что уж говорить о человеке. А жаль, думается мне, так бы и засыпало, погребло бы все под собой это замечательно безрадостное, белое и холодное покрывало. Но сегодня двадцать три градуса выше нуля.

– Сибирь, твою мать! – отчего-то не радуется вновь обретенному теплу наш наемный работник, он же продавец.

Он молод, высок, строен, взгляд его поначалу кажется проницательным, но, чуть пообщавшись с ним, понимаешь, что это не так, ибо проницает он как бы в никуда, без задачи. И когда это доходит до тебя, интеллигентная бледность продавца тоже видится неуместной. И, тем не менее, он сильно отличается от множества торгующего рыбками народа, замкнутого в малом пространстве рыночного закутка размером в полторы сотни квадратных метров. Все ниже его, самое малое, на голову, одеты плохо, с помятыми, будто со сна, лицами. Похоже, своим видом все они выполняют одну задачу – не отличаться друг от друга и вместе с тем сливаться с серыми стенами, заплеванным полом и продымленным на века потолком. Может, весь их облик, похожесть и объединяющая всех серость имеют глубокий смысл – не отвлекать на себя взгляд покупателя от роскошного разнообразия красок и форм.

Как лучше подать товар, все здесь знают, можно не сомневаться. Удачно размещенная подсветка, фон за задней стенкой аквариума, даже оттенок люминофора, заставляющий чешую играть новыми, незнакомыми отсветами, – все продумано до мелочей...

А теплом они недовольны по одной простой причине: народ рванул на свои дачи, дружно забыв, что они уже давно законсервированы до будущего сезона. На рынок идти некому. Кстати, летом рыбная торговля замирает начисто. Зато уж зимой... Торговый народ прекрасно знает, что в холода перечень досуга у большинства сограждан невелик – в выходные это, в основном, рынок да магазины.

Так и есть, на рынке одни продавцы, наш радуется, завидев меня.

– Ноль! – торжествует он. – У всех по нулям!

Хозяин нашей фирмы, упорно называющий себя совладельцем, нисколько не расстроен.

– Это нормально. – В голосе преувеличенная бодрость. – Все равно выходить надо, мелькать, притираться. Думаете, там все сегодня собрались дурнее нас? Раз не пришел, два – забыли.

Очевидно, он прав, подобные хитрости тоже часть бизнеса.

Все, моя работа сегодня закончена. Совладелец вернул рыбок на их постоянное место обитания, в огромные аквариумы, выставленные вдоль стен подвального помещения, арендованного у школы. Мы обещали пускать на экскурсии учеников школы бесплатно, за то и были пущены сами. На прощанье легонько прикасаюсь к стеклу, за которым без устали мельтешат попугаи. Эти рыбки весьма далеки по виду от своих пернатых тезок, у них и окраска у всех одинаковая, оранжевая.

До вечера далеко. Отправляюсь на своем «Жигуленке» в лес. Пусть это будет небольшой компенсацией за мое нынешнее невнимание к нему. В течение всего лета несколько коротких прогулок, один раз со смехотворным грибным добытком. Иногда мне приходит в голову, что не будь у меня машины – я вообще перестал бы бывать в лесу. А в другой раз подумается совсем наоборот: не колеса – сел бы на электричку и пошел себе от станции куда глаза глядят с рюкзачком. Да по солнцу. Да по мху на стволах старых сосен, да по ходам в муравейнике... Мой «Жигуленок» помимо небольшой суммы денег есть та самая доля в нашем рыбном деле, за что меня называют совладельцем. Честно сказать, роль водителя меня вовсе не устраивает – это первое, во-вторых, жалко машину, которую неизвестно каким образом и на какие средства восстанавливать. А в-третьих, вообще ничего не известно – будет ли прибыль, сколько, когда, в каком соотношении распределится? Хорошо нашему наемнику, он уже сейчас получает зарплату.

А лес я люблю, знаю, мог бы даже считать себя лесным человеком, если бы не одна странность. Не могу зайти в глубину леса, чтобы не заблудиться. Пусть ненадолго, на чуть, на один небольшой лишний круг – но обязательно заплутаю. Ключи от машины отдам жене, зная, что она далеко не пойдет, будет кружить рядышком, зная о моем пространственном идиотизме, в случае чего посигналит. Сигналить-то она сигналит – да толку: два, три увала – и не слышно ни сигнала, ни ау. Грибы я ищу, как деревенские говорят, ногами, обегаю в несколько раз большие пространства, чем мои спутники. Не всегда это приносит результат, но так уж я привык. Далеко ухожу, увлекаюсь, оттого, наверно, и плутаю. А потерял направление – тут уж не до грибов, ношусь по лесу, проклиная себя, машину, без которой взял бы да и ушел на большак, уж его-то не промахну...

И ведь знаю направление, приметы, учитываю время и расстояние, нет, ничего не помогает – свое выплутаю.

– Скажи: Господи, помоги, – напутствует жена.

Скажу – и заплутаю. Ищу тропу, а в голову чего только ни взбредет. Наверно, лес меня не любит, не хочет отвечать взаимностью. Но, может быть, это логика первого порядка, а на самом деле он любит меня настолько, что не хочет отпускать. Того и гляди – насовсем оставит.

Нет, леса много не бывает, в моей жизни уж точно. Правда, есть еще горы, но то разговор особый.

Лес в пригороде пестрый: здесь и яблони-дички, рябина, карагач, береза, липа, но, в основном, сосны. Он ведь, этот лес, и называется ленточным бором. Все здесь перепутано малинником, чапыжником, каким-то свирепо колючим подлеском... Главное, не обращать внимания на многочисленные помойки, тут и там обозначающие близкое присутствие человека. Тишина, тепло, воздух покоен и чист, но лес не выказывает умиротворения, он скорее насторожен. В лучах заходящего солнца сиротливый вид обнаженных берез и осин вызывает какую-то особенную жалость. Зимой они, такие же

голые, просто спят, нет ни волнующего зова, ни ожидания. Но сейчас, хотя и середина октября, по здешнему календарю почти зима, а тепло как летом. Деревья, наверно, чувствуют себя обманутыми.

Все, сеанс лесной терапии закончен... Не так давно мы встречались с одноклассниками. Не было натуги, столь обычной, когда школьные годы пытаются подтянуть к сему дню через силу. Надо. Память. Куда там, милые! Десятки лет вы все играли в другие игры... Было скромное застолье, разговоры обо всем понемногу. А потом кто-то сказал:

– Пора заканчивать вечер, он уже утрачивает томный настрой.

Так нынче и с лесом, куда сбежал я от рыбок и их хозяина. Я ничего про него не знаю толком, даже фамилии и все время думаю, что он обязательно меня облапошит. Он когда-то сидел – где, сколько, за что – опять же мне не известно. Но тюрьмы боится до дрожи, даже упоминание о казенном доме или лагере может привести его в уныние до конца дня. Лицо у него в шрамах, голова во вмятинах и пробоинах. Как кузов моего «Жигуленка».

– Ну, это, в общем...

Так начинается его вступление в разговор. С кем бы то ни было. Иногда тем все и заканчивается. Остальное он доносит жестами. С ним до жути скучно.

* * *

Дома меня дожидается сын. Так, наверно, надо было бы сообщить, следуя обычным правилам описания обычной ситуации. Однако в том-то и дело, что он никогда меня не дожидается. Сидит за компьютером и дела ему нет до того, пребывает ли кто, кроме него, в этот момент на жилплощади.

– Обедал?

Смотрит, будто его спросили, не убил ли кого он только что.

– Сейчас разогрею. На улице хорошо, вышел бы. Прогулялся. Протухнешь.

– Иди сам с гопниками общайся.

– Опять приставали?

Сын промолчал, лишь застучал по клавиатуре с подчеркнутым остервенением. Скорей бы он развалился, – подумал я о нашем электронном члене семьи. Честное слово, не знаю, что делать. Когда умерла жена, я видел в этом премудром ящике спасение и не трогал сына, сутками торчащего перед монитором. Забывается парень, хорошо.

Прошло больше года, только наш режим не изменился... На экране бегают человечки, летают чудные аппараты, какие-то диковинные существа прыгают, прячутся в укрытия – и все это стреляет, заливая пространство кровью.

Кто такие гопники, я представляю плохо. Вижу неподалеку от дома группки молодых людей от пятнадцати до девятнадцати. Одеты все на удивление неопрятно и как-то уж чересчур одинаково: черные кожаные куртки, такие же кепки, шаровары и кроссовки с китайского рынка. Пьют пиво, курят, матерятся. Все это давно стало обычным и даже обыденным.

– Чего хотят? – спрашиваю.

– Денег, – пожимает плечами сын.

– А дубиной по голове?

– Стрелять пора, – не соглашается он с мягкостью предложения.

Вряд ли их интересуют только деньги. Тут что-то еще, неспроста они вьются около моего парня и таких же студентов-умников. Они из другой социальной среды, и достаток тут совершенно ни при чем. Помню, в десятом

классе из него тоже пытались вытрясти деньги, причем не кто-нибудь – одноклассники. Они сообщили сыну, что деньги нужны на общак, и если он не подчинится, его хором опустят во дворе возле школы.

– Много таких, как ты?

– Двое.

– Он с тобой?

– Нет, готов бабки тащить.

– А тех сколько?

– Все остальные. Боль-шин-ство!

Жена настаивала подождать, подумать, посоветоваться, и ни в коем случае не вмешиваться мне. Это я без нее понимал, только по-своему. Мне нельзя, потому как отец. На блатном жаргоне, который они так лихо используют, заступничество отца считается западло. Но то, что надо вмешиваться и немедленно, в этом я не сомневался. Жизнь научила. Гниль надо напугать до смерти. Причем тем же самым, чем они хотят напугать.

Пошел к старшему сыну, живущему уже давно самостоятельно. Тот все понял с полуслова и на следующий день пришел с друзьями к школе. Брат! Вот он в отличие от отца имеет право. Волчата, напридумывали законов! Хотя причем тут волки? Волк-отец порвет обидчика своего детеныша и не усомнится, надо ли еще к кому обращаться.

Взрослые парни отловили школьных активистов и стали объяснять что к чему. В общем-то, объяснял один, двадцативосьмилетний молодой человек, отличающийся от своих друзей необыкновенной серьезностью. Он учился заочно в институте, работал руководителем серьезной компании по грузоперевозкам, занимался боксом, футболом и никогда не принимал участия в дружеских застольях. Больше половины своей жизни он провел в колонии для малолетних преступников и на спецпоселении.

Я наблюдал издалека и видел, как преображается спокойное, умное лицо, как руки начинают конвульсивно дергаться, будто ими управляют против воли хозяина. В какой-то момент он сорвал с себя шапку, вытер ей пот с лица, что-то еще сказал и пошел, даже на мгновение не задержавшись возле своих друзей. Когда он проходил мимо, я прочитал на его лице сложное сочетание бешенства, досады, презрения.

Сын с большой неохотой передал мне позднее смысл беседы.

– Ну, он объяснил им, что такое общак, и что он, в отличие от них, знает это на самом деле, и не дай им Бог узнать это. Потом рассказал в деталях, как, в случае чего, их самих будут опускать.

На следующий день сын сказал, что его назвали козлом, на том все объяснения и закончились.

– И ты, конечно, смолчал... В другой раз вякнут – скажи: на сколько выпросите, столько и получите. Страх и унижение – они этого хотели.

Потом я рассказывал ему, что со мной в школе было нечто похожее, только чуть раньше, не в самых старших классах. Я, как и он, уж больно походил лицом на девчонку. Видимо, отсутствие мужественности во внешности давало повод моим сверстникам задирать меня по нескольку раз на дню. В конце концов, я разозлился и пошел в секцию бокса. Со временем у меня обнаружился какой-то необыкновенной силы удар левой. Им-то я и начал отвечать обидчикам. Удар – и противник на земле в полной отключке. К тому времени я уже выиграл несколько боев нокаутом. На этом мой рассказ сыну заканчивался, а я по инерции вспоминал дальше.

– Он же бьет, как лошадь копытом! – в восторге сообщал зрителям мой тренер.

Однажды в уличной драке я отправил двоих в больницу, а сам попал в следственный изолятор. Слава Богу, лагеря удалось избежать, но судимость я заимел. Потом услышал от одного неглупого человека, что голова существу разумному дана совсем не для того, чтобы по ней колотили... И я пошел играть в волейбол.

Сын не стал заниматься ни боксом, ни борьбой. Пару раз по моей настойчивой просьбе он сходил посмотреть соревнования на ринге. С тех пор, по-моему, у него выработалось устойчивое отвращение к спорту вообще. Кстати, один из юных вымогателей-одноклассников довольно успешно выступал в поединках по рукопашному бою.

– Симка нагадила.

Он зашел на кухню, где я трудился над обедом, с тетрадным листком, на котором лежало несколько мышиных какашек. Симка – это наша беда и забава, и еще – как компьютер для меня – непрошеный член семьи. Вообще-то мышь в квартире на восьмом этаже – нелепость. Но когда я увидел удирающую от наших входных дверей огромную серо-рыжую крысу, перестал удивляться. Симка объявилась еще при моей покойной жене, использовавшей для уничтожения проклятого грызуна все, чему научилась у соседей, сослуживцев, друзей. Она никак не хотела смириться с этаким сосуществованием. Бесполезно, Симка обходила ловушки и какала в посудины с ядом. Жена боролась с мышью до последнего, понимая бесполезность своей борьбы, но находя в ней какой-то особенный смысл. Имя хитрой твари дал сын, прочитавший в книжке про очень умную и лукавую еврейскую девочку Симку.

Он выбросил бумажку в ведро и изобразил сочувствие, наблюдая за моими хлопотами возле стола.

– Помочь?

– А чего теперь, плита без тебя справится.

К кухонному «мартену», – тоже сын придумал, – я встаю ежедневно в шесть утра. Аппетит у сына, как у нормально растущего семнадцатилетнего парня. Подруги и родственники, после похорон обещавшие помогать нам по хозяйству, с тех пор ни разу не появились. Ни разу. Ни одна. Я привык, втянулся и уже не обижаюсь, что сын мне тоже не помогает.

– Совсем забыл, – оживляется он, – я тут тебе рецептик салата выписал, новый. Называется «Детство Адольфа Гитлера».

И он вполне серьезно начинает читать по бумажке:

– Сыр, морковь, перец молотый, соль, уксус, майонез...

– И сколько чего? – дождался я паузы.

– Не сказано, наверно, по вкусу.

– Пошел бы ты со своим Адольфом куда подальше...

– Я потом еще принесу «Юность» и «Отрочество», – не обращая на меня внимания, пообещал он.

– И где это счастье раздают? – кивнул я на листок.

– Где же еще? – Он посмотрел на меня, как на недоумка. – В интернете.

В дверь позвонили. Мы переглянулись, зная, что гости к нам пожаловать не могут. Это Симку не вытравить, а те сами поисчезали. И вообще, мы убедились за последний год: все эти звонки ничего хорошего не сулят.

– Иди, – вернулся от дверей сын, – социализироваться зовут.

– По-русски можно?

– Ну, платить не то дворнику, не то за домофон.

Вот это уж точно некстати! Денег до зарплаты осталось – последняя сотенная бумажка.

– Беру с вас за уборку подъезда за три месяца вперед.

Старшая по подъезду, бодрая, румяная пенсионерка с розовыми волосами что-то еще весело прощебетала и протянула мне сорок рублей. Это все, что осталось от моей сотни.

– А вот она возьмет и уволится завтра! Что, скажете, не было у нас такого? Будете искать ее или из своих отдадите?

– Так у меня сдачи нет, – все так же весело сообщила старшая.

– Жуть! – разглядывал я изжульканные червонцы. – А почему они розовые-то? – Этот вопрос и причина его – непривычный цвет купюр – мешали сосредоточиться на чем-то главном. На чем? Хм, розовые червонцы...

И меня унес невидимый, но мощный поток. И примчал он меня пред властные очи главы департамента по печати и гласности. Он восседал за столом, который являл собой прозрачную крышку огромного аквариума. Под руками начальника носилась туда-сюда веселая стайка пираний. За его спиной висела табличка, коей вообще-то надлежало быть у входа в здание: комитет по печати и гласности. Но самое замечательное было то, что у хозяина кабинета рыбья голова! Золотистая такая, сазанья.

– Вы, господин N, – он именно так и обратился – господин N, – нанесли непоправимый ущерб печатному слову нашего края. – В этот момент голова шевельнула маленькими жирными усиками. – Вас, наверно, интересует, чем же конкретно, какими действиями или бездействием? Извольте. Вы подключили свой компьютер к интернету. Это само по себе преступление, но, кроме того, за вами долго вела наблюдение команда «К» и выяснила, что ваша электронная переписка носит противоправный, я бы даже сказал, антигосударственный характер.

Голова изъяснялась вполне отчетливо, однако артикуляции при этом почти не было. Рыба-чревовещатель, – подумал я и проследил за пальцем начальника. Тот указывал за его спину, на табличку, где – оба на! – непонятно с чего появилось еще одно слово, и теперь читалось: комитет по печати, гласности и наказаниям...

В это время меня мягко вынесло из кабинета, и я увидел перед собой хулиганскую усмешку человека в голубом колпаке и таком же голубом халате.

– О! Живой! – весело констатировал колпак.

«И чего они сегодня все веселятся? – подумал я, но тут же переключился на другое. – Стало быть, я лежу, стало быть, в какой-то момент отключился, а это, стало быть, скорая помощь. Где-то там, в соседнем иномире есть бурные и мягкие потоки, несущие человека по волнам полубытия. Какое все живое! Даже запах рыбы все еще стоит в носу».

– Что пьете? – поинтересовался человек в голубом одеянии.

– Портвейн. – Язык опередил мои вялые мозги. – Самый дешевый, знаю, где дают по тридцать пять.

– У вас, милейший, гипертония! – Хулиганская ухмылка уступила место недоумению. – Я спрашиваю, какие лекарства принимаете?

Мне стало неловко за портвейн.

– Впервые слышу про эту вашу гипертонию.

Доктор чуть не задохнулся от возмущения:

– Вашу! – ткнул он пальцем мне в лоб.

И ушел, отменив портвейн и направив к врачу в поликлинику.

2.

Наутро вместо врача я пошел в новый художественный салон. Не знаю зачем. Просто поутру первым делом подумал: а почему бы ни сходить в новый салон? Тем более что хозяин, мой знакомый, давно зазывает. Хозяина на месте не оказалось, и я в одиночестве прошелся по выставочным помещениям. Почти все работы показались мне любительскими, хотя таблички, предваряющие экспозиции, утверждали обратное: член Союза художников такой-то, член этакий. Я попробовал убрать лишнее, получилось – член Филонский, член Бугаевский, член Деревянный. Пригляделся к картинам – точно, Деревянный. На стене с городскими пейзажами поражала размерами картина, изображающая автобус, по которому огромными буквами выведено: «Наша колбаса – самая настоящая». Вот это реализм! – восхитился я и подумал: а ведь правду говорят, настоящее искусство вечно.

С крыльца салона открывается вид на площадь академика Сахарова. Там, очевидно, что-то происходит, поскольку подъезды к площади охраняют ГАИшники в ядовито-зеленых жилетах. Вспомнил, что сегодня в городе митинг в поддержку новых инициатив президента. То есть в поддержку – один, а другой – совсем наоборот. Но тот не здесь. Однако на площади я, прежде всего, увидел вольеры с огромными баранами, кроликами, величиной с баранов, быками-производителями из Голландии. Надо же, какая-то вшивая Голландия завалила цветами всю нашу огромную страну, вплоть до глубокой сибирской провинции, а тут еще бугаёв понавезла. Да выбери самый крупный из возможных масштабов на карте – этот бычок накроет замечательную свою родину одним из пары того самого, за что мы платим золотом. Голландия! А ведь учит еще, зараза, весь мир, что можно законно курить анашу, и что это даже лучше, чем незаконно. Плевать она хотела, крохотная страна, на весь прочий мир и собирает гостей со всех концов земли на свои фестивали анашистов в день рождения пресвятой девы Марии.

У меня есть знакомый, который был на этом фестивале. Для него дух святой и есть тот самый дым марихуаны, а вся христианская религия так или иначе на том и стоит. Спорить с ним – доказать себе, что ты полный идиот. Он в тюрьме семнадцать лет читал исключительно книги по философии. Сейчас сдал государству свое жилье и отправился в дом... престарелых или инвалидов? Вот тут у меня путаница. Он хотя и пенсионер – в престарелые не очень годится. С другой стороны, по его словам, менты ему ноги изувечили. С палочкой ходит, точно – инвалид. А в палочке той – ручку отвинтишь – все та же анаша...

За скотиной выстроились трактора, плуги и прочие достижения сельхозпромышленности, иностранной в основном. Как-то незаметно толпа посетителей выставки перетекла в участников митинга. Потому он показался довольно многолюдным. «Умно», – похвалил я организаторов.

– Это символично, – горячился у микрофона дядя с длинными седыми волосами, – что мы собрались на площади, названной именем отца ядерной бомбы...

Потом он одобрил инициативы президента и закончил, так и не объяснив, что символизирует имя упомянутого отца. Забыл, очевидно... Больше всего вокруг молодых людей в жилетах, очень похожих на милицейские, только у этих на спине написано «Единая Россия».

– А вы не верите в это? – тронул я одного за плечо.

– Во что? – потянулся он взглядом к очередному выступающему.

– Ну, что она единая.

– Не понял? – искренне удивился парень, из студентов, похоже.

– Для чего на себе-то пишете, сомневаетесь?

Он так и не понял, начал говорить что-то про партии и движения.

– Пошли, – позвал меня знакомый репортер из самой крупной краевой газеты и кивнул в сторону площади Советов.

Это рядом, в сотне шагов, и там как раз проходит митинг против инициатив президента. Репортер очертил рукой пространство.

– Тут нас уже наснимали, видал, сколько камер!

У памятника Ленину кучка была куда меньше, чем на площади Сахарова. Как ни странно, много стариков, которым вроде бы место там, рядом с государственниками и патриотами. Скорее всего, их сюда привела привычка, а не сознание того, что митинг организовали ненавистные демократы. Но есть и знакомые лица, вот один, например, ему в действительности пару раз врезали милицейской дубинкой в те времена, когда служители правопорядка еще толком не знали, кого следует лупить. Руководящая тогда партия хотя и помирала, но указала в последних судорогах: лупите этих, трехцветных. Впрочем, триколора, вполне может быть, тогда еще не было. Не помню, не хочу вспоминать.

Битый демократ выглядел настолько потрепанным и жалким, что казалось, будто его с тех самых пор так и охаживают дубинкой. Помни, дескать, за идею надо страдать.

Все выглядело убогим и серым, тем нелепее казалось соседство величественного памятника вождю пролетариата. Надо же! И эти проиграли! – мелькнуло у меня в мозгу, и тут же мысль подхватил репортер.

– Конец света! Все перевернуто вверх ногами: демократы у памятника Ленину, патриоты на площади главного демократа. Только одни не очень уже демократичные, а вторые совсем уж малопатриотичные. Видал, эта падла из «Единой» чуть не переехал нас своим джипом.

Один из отцов местной демократии стоял в отдалении, спрятав руки в карманах длиннополого черного пальто. Он давно уже никуда не избирался, жил в Москве, имел дачу на Рублевке и сейчас своим сытым лицом и холеным видом являл огромный плевок и на тех, и на этих.

Не дожидаясь конца митинга, мы подались в маленькое кафе, отгороженное в закутке продовольственного магазина. Я предупредил, что денег не имею, но репортер успокоил, пообещав взять фляжку. Все время забываю, что нормальные люди пьют водку. И этот тоже. Я затосковал по портвейну, предвидя, как буду болеть от этой проклятой огненной воды. Приносить и распивать здесь запрещалось, потому мы взяли два черных кофе, – дешевле напитков не оказалось, – и быстро освободили стаканчики. Горячий напиток оказался кстати, нас изрядно продуло на митинге. Я обреченно посмотрел на фляжку, торчащую из кармана куртки моего товарища.

И тут неожиданно пришла подмога в лице двоих давних знакомых – одного очень хорошо, другого совсем не очень. С первым мы, по его словам, начинали бизнес. Кто бы рассказал, что это такое! Помню только, что мне пришлось продать гараж, по какой-то случайности построенный мной в составе кооператива, в котором я оказался также случайно, по ошибке. В нем никогда не было машины, но я все равно гордился, что являюсь частью нового мира, где все определяется наличием собственности. Вырученные за гараж деньги я и внес в наш общий бизнес. Я так и не успел понять, в чем он будет заключаться, когда мой напарник заявил, что мы разорились. Ровно неделю я назывался бизнесменом.

Сейчас он выглядел не лучшим образом – седой, обросший, с палочкой...

– Тебе, как всегда, портвейн? – уточнил он, будто мы только вчера поднялись из-за портвейна, потратив на него кучу времени и сил.

А надо сказать, со времени моего краха, как собственника, финансиста и бизнесмена, прошло лет семь или около того. Мой напарник стянул с головы лыжную шапочку, сунул ее в карман спортивной куртки с броской надписью на спине – «Сборная СССР» – и каким-то ловким движением картежника извлек на свет приличную пачку крупных купюр. Я даже сглотнул невольно. Здесь половина моего гаража, не меньше, – пронеслось у меня в голове и завершилось глупостью: может, поделится?.. Когда умерла жена, я с перепугу и невпопад звонил многим, в том числе и ему. Жить дорого, но и расстаться с жизнью не дешевле. Отказом был мне ответ.

Портвейн появился, много портвейна, и почему-то никто его не прятал под стол, никто не пугал нас ответственностью за нарушение.

– Слыхал? – указал мой напарник в сторону площади Сахарова, где, как выяснилось, он тоже побывал. – Когда государство ослабевает, народ сам берет на себя ответственность за свое Отечество. Или находит избранника... Большей галиматьи давно не приходилось слышать. Народ! Минины и Пожарские, мать вашу!

Я пил молча, давно обрыдло слушать все это. Вливая в себя стакан за стаканом, я понял, что все равно не смогу таким образом выручить и миллионную долю своего гаража. Как бы уйти и утащить с собой бутылку? – вот что казалось сейчас самым важным и не терпящим отлагательства...

Спутник моего напарника был удивительным образом похож на него – такая же седина, такая же палка и куртка с такой же надписью. Слава Богу, он все время молчал.

Потом меня начали куда-то звать, припоминать адреса бывших девушек, которые теперь уже наверняка бабушки. Мне стало невмоготу, и я, демонстративно сунув в карман бутылку, молча подался к выходу. Странно, никто не сделал попытки воспрепятствовать бегству и хищению. Впрочем, исчезновение одной бутылки отразилось на общем количестве незначительно.

На воле оказалось легко и тоскливо одновременно. У меня так бывает, поверьте.

В окне на третьем этаже свет яркий, чужой и все равно живой. Это неправильно, это окно умерло вместе с ней, моей женой. За стеклами никогда уже не будет тусклого светового пятна от синего абажура старой настольной лампы...

Сволочь этакая, я возвращался после очередного долгого отсутствия и старался подгадать попозже. Вот приду под окна – а там темно, комната за окном пуста, ее хозяйка ушла с другим, к другому, ушла, устала ждать...

Нет, синий абажур бессменно нес свою вахту.

Однажды я пришел к окну за несколько минут до Нового года. Ну, уж теперь-то точно ее нет, по крайней мере, к друзьям ушла, к подруге, к сестре наконец. Это ж какой надо быть дурой, чтобы сидеть и ждать неведомо чего и кого. Гуляку без привязи и обязательств...

Все было на своих местах – окно, синий свет и моя неверная душа, никак не желающая понимать, где обретается разумная середина между волей и любовью... Я швырнул в окно рубль, увесистую металлическую кругляшку с изображением Ленина, и пробил в стекле такую же круглую дырочку, прямо-таки размер в размер. Она долго еще жила в том стекле незаделанной и напоминала о моей утраченной воле.

Потом мы плясали под елкой на площади перед Дворцом спорта. Это

сейчас она стала площадью Сахарова, а тогда названия не имела. Оттуда двинулись к гостинице «Сибирь» и выкопали из бурта снега, накиданного дворниками, ящик портвейна. Понятное дело, это никакой не фокус, я заготовил его заранее. Портвейн даже не успел замерзнуть, однако от него все равно ломило зубы. И все-таки прохожие пили вместе с нами, никто не отказывался. Всем было хорошо и весело.

Отец ее, то есть мой будущий тесть, дырку в окне простил сразу, как, впрочем, и машину, которую вскоре я разбил вдребезги. А вот портвейн почему-то долго простить не мог. Одно упоминание моего любимого напитка оскорбляло его, пьющего армянский коньяк, служащего в серьезном советском учреждении.

Это прошло со временем, как проходит многое. Ушла служба, разбежались друзья-сослуживцы, и мы, чрезмерно довольные собой, пили из солдатских кружек портвейн в гараже. Более неуместный в этом случае напиток, чем армянский коньяк, трудно придумать.

Сейчас за этим окном, в этой квартире проживает одна теща. Да и то сказать, какая она мне теперь теща, если нет жены? Сын там бывает, ему она бабушка. А меня она никогда не простит, я ведь ей тоже никто, а умерла почему-то ее дочь, а не я.

Дома меня встретил какой-то особенно назойливый звонок по телефону.

– Ваша задолженность за междугородные переговоры составляет триста двадцать восемь рублей, – сообщил механический голос.

– А вас нельзя послать куда подальше? – вежливо осведомился я.

Но электронный оповеститель даже не дождался конца вопроса.

Прихватив с полки старый журнал с рабочими записями, я улегся на диван. Из журнала выпал листок, и я узнал стихи, которые жена писала для сына. Они все время играли в какие-то стихи-стишата, сочиняли газеты и сценарии капустников. Господи! – иногда просыпался во мне ужас. – Неужели и этот пойдет в филологи? Драться уже не захотел... Читаю.

Попасть в отличников ряды
Не так-то просто, но
На свете есть один рецепт,
Проверенный давно.
Возьми на кухне помидор
И выгляни в окно.
Возможно, там увидишь ты
Отличников ряды.
Учиться умники идут.
Смотри, не промахнись!

Перед моими глазами семейный фотоколлаж, сооруженный мной года через три после рождения сына. Отдельно портрет жены; на соседнем снимке мои отец, мать и жена (фото сделано в Калуге, у родителей); моя мать с моим сыном; теща с ним же; отдельно сын и в правом нижнем углу две небольшие фотографии, сделанные для документов – моя жена и я.

Моих родителей и жены уже нет.

* * *

Восемь часов утра. Мы с женой идем на рынок. Уже четвертый день мы в Лазаревской, городке-станице, входящем в Большой Сочи. Комнатку сняли

у одинокой старушки, и тут, надо сказать, повезло. Отдельный вход со стороны сада, сплошь накрытого огромными смоковницами, до моря – автотрассу перейти да железнодорожную насыпь. С утречка пораньше я уже сбегал искупался, чувствую себя нахально здоровым и смотрю на весь мир свысока... Никаких автобусов, что нам пара остановок!

Море – ерунда, три-четыре дня и надоело, а вот южный рынок!.. Жена разбирается во всех этих кавказских премудростях, связанных с едой, куда лучше меня. Зато насчет поесть ей со мной тягаться бесполезно. Заквашенные фаршированные баклажаны, капуста, паприка, лобио, сардинки копченые, вяленые, астраханская вобла под пиво, свежая кефаль на сухом льду. Дурею от запахов, истекаю слюной от всего этого изобилия.

– Давай съедим что-нибудь прямо сейчас, сил нету терпеть!

Жена смеется и выкладывает на полиэтиленовый мешочек источающую сумасшедший аромат баклажанину.

– А я рыбку.

И она на ходу разделывает подтекающую жирком копченую ставридку.

Вот это праздник! Я подъедаю крошки с кулька и нацеливаюсь на фаршированный перец.

Возвращаемся нагруженные в четыре руки, а я уже представляю, как мы завтра в это же время – никаких пропусков и опозданий! – выберемся из своего затененного дворика и двинем знакомой дорогой на рынок. И пусть кто посмеет сказать, что я тупо однообразен! Завтра там обязательно будет что-нибудь новое. И послезавтра, и на третий день, и на следующий... Не буду, не подумаю даже подсчитывать, сколько дней осталось до окончания отпуска. Сегодня растянется на целую вечность, и имя этому величайшему из веков – праздник!

А потом мы не спеша вкушали дары земли, моря и солнца. К сожалению, надо тащиться на море в самую жару. На море я придумал способ, чтобы избежать необходимости валяться и вялиться. Для жены это было любимым занятием, и тут мы никак не могли найти согласия. Я доплывал до буев и двигался вдоль них, отмеряя расстояние по береговым приметам. Гостиница «Бирюза», вокзал, рынок... Утренний маршрут проделан вплавь, можно возвращаться. Замечал, на мой заплыв уходит чуть больше часа. Еще немного – и жена захочет домой, а сейчас она наверняка ходит вдоль кромки воды, волнуется.

Потом предстоит часовое стояние в очереди городского душа. Предлагаю жене за это время слизать с нее морскую соль на два захода – под пиво. Предложение не проходит.

Глядишь – и вечер подобрался. Гуляем по улочкам в районе частного сектора, где у каждого дома выставлена табуретка с графинчиком вина, рюмочкой и стаканом. Рюмочка предлагается бесплатно, для пробы. Предпочитаю рюмочки, так как домов много, а кто ж не любит выпить на дармовщинку? Жаль, разнообразия почти никакого – «Изабелла» и «Лидия». Похоже, другие сорта винограда здесь не выращивают.

Ужинаем в кафе мясом под грузинским соусом. Настаиваю на портвейне, зная: что ни закажи – свои пятьдесят граммов жена будет тянуть дольше, чем я все остальное.

И вот мы снова на пляже. В этой южной густой темноте ничего невозможно разглядеть. Светлая блузка жены едва выделяется из черноты мутноватым пятном. Похожие пятна то и дело проплывают в отдалении. Люди? Отблески света фар? Мы дуреем от этой темноты (в городе Сочи

темные ночи...), от запаха йода, водорослей, шелеста перебираемой волнами гальки и еще не понято от чего, растворенного в этом густом воздухе-сиропе. Это не назовешь, и пытаться не надо, можно все испортить. Это можно только почувствовать...

Мы в каком-то диком упоении первопоселенцев острова Любви вцепляемся друг в друга, нарочно добиваясь сладкой боли. Здесь! Сейчас! Немедленно!.. И тут со стороны моря вспыхивают прожектора. И скучно-торжественный голос доносит до граждан отдыхающих сообщение, что береговая полоса является приграничной зоной и все такое прочее...

Некоторые парочки захвачены врасплох и выглядят весьма живописно. Я им завидую, их вызывающим позам, и сожалею, что мы ничего не успели, что нас не застали врасплох. Я бы хотел, чтобы они увидели нашу близость, наши слитые, золотые от загара тела, чтобы наше бесстыдство перешло бы в их ночной кошмар...

– Дурак, испортил песню! – процитировала жена Горького.

Наверняка ребята-пограничники регулярно делают подобные набеги. Маленькое ню – лекарство от скуки на их катерах. Бог с вами, развлекайтесь!

Мы же отправились в нашу тихую комнатку с выходом в сад, мы оставили дверь открытой, впуская – как новую жизнь в новогоднюю ночь – и звуки, и тени, и запахи, настоенные на сумасшествии...

...Это не сон, это воспоминание, не может присниться в таких подробностях то, что было на самом деле. Мне не надо открывать глаза, не надо видеть сереющее утро за окном, я знаю – это не сон!

Утро встает в каком-то мрачном ожидании. Иногда кажется, это не твой настрой, не твои ожидания. Это не ты смотришь с тревогой в окно, это как раз утро всей своей серостью вглядывается в тебя со страхом. Серый воздух, блеклое небо, оголяющиеся деревья и дома с бельмами зажженных окон – все с недоверием и опаской косится на тебя, ожидая очередной мерзости.

Бабкина наука, своеобразно перенятая ей от попов, которым она, на мой взгляд, доверяет чересчур. Сядь, задумайся и скажи себе: ты, А.В., подлец и негодяй, ты сделал то-то и то-то сволочное... Да Боже мой! Стоит лишь попристальнее вглядеться в себя – страх и ужас обуяют. Тогда и спросишь: а надо ли вглядываться?

Ощущение – меня выдавливают из жизни. Скоро нечем будет платить за квартиру. Приходится хвататься за что ни попадя, а то нечем будет и кормить сына. Главный философский вопрос – о смысле жизни – теряет актуальность, поскольку все сводится к попыткам выжить, то есть всего лишь остаться в живых. Вот и весь смысл. Смысл без смысла. Сам себе напоминаю скотину, пасущуюся на хорде вокруг столба. В досягаемых пределах все выедено, выбито, изрыто, а ты ходишь и ходишь, вновь утаптывая опостылевший круг... Бороться не хочу. Смешно.

Как часто величественное с виду жалко по сути. Смотрю на новые многоквартирные дворцы с куполами и колоннами. Они красуются посреди города, их обтекают магистрали, их укутывает городской смог. Да что они такое со всеми своими виньетками по сравнению с крепким бревенчатым пятистенком, из которого выходишь прямехонько к грядке с редиской! Блеск нищеты! Впрочем, здесь и говорить-то не о чем.

У буддистов мир символизирует такая вот картина. На фоне горы под большим раскидистым деревом стоит слон, на его спине обезьяна, на ней заяц,

на нем птица. Это и есть, очевидно, разумное понимание мироустройства. Попробуй, поменяй-ка что местами...

А все-таки, вглядись в себя, А.В., что там в данную минуту? В данную минуту что-то нудное, мелкое, но вроде не подлое.

* * *

Вчера написал письмо своему замечательному другу из Москвы. Мы знакомы уже больше двадцати лет, в последние десять он ни разу не был у меня. Не помню, чтобы он вылезал из постели раньше полудня. Сейчас у него двое детей, причем первый родился, когда другу исполнилось пятьдесят. С прибавлением новых забот он не изменил привычкам, отправив жену с детьми к ее родителям.

Утром я нашел письмо разодранным на мелкие кусочки в изножье дивана. Симка! На этот раз мышь разозлила меня не на шутку. Все, ступаю на тропу войны! Считай, доигралась!

Сон в руку. Тот, где сазанья голова изображала начальника. Наш журнал с нового года, очевидно, закроют. Последние копейки уплывут. А так – плевать мне на эту никому не нужную работу, ставший дурной привычкой с самого утра разговор с главным редактором о близком конце России. Или бы уж, правда, все скорее кончилось! То, что нынешние правители ненавидят «эту» страну – очевидно. Ненавидят народ, потому что он жрать хочет. Господи! О чем это я? Перестали бы грабить, уж прокормить-то себя как-нибудь сможем. Нет, эти жулики хуже алкоголиков в том смысле, что тех, говорят, вылечить можно, этих – никогда. Им всегда не будет достаточно и уж тем более – много. Какой там принцип разумной достаточности! И при чем тут разум вообще?.. Тьфу! Это ж надо, дома, наедине с самим собой продолжать разговор с редактором!

Опять с утра холодно, уныло. Тепло еще будет и уныние рассеется, но что-то говорит мне: радости впереди немного... Сын уже больше месяца учится в университете. Недавно перебирал его фотографии, на обороте одной из них надпись: три года, четыре месяца, первый класс лицея. С ума сойти! Сколько же можно учиться, чтобы так и не понять многих главных вещей в жизни! Это не учеба, это шествие в каком-то бессмысленном строю. Непонятно, кто ты, для чего на этой земле, зачем в этом строю? Что же это за правщик такой, если он все туже натягивает поводья, все сильнее разгоняет повозку, неся ее к пропасти? А ездоки, пассажиры гомонят в нетерпении, подгоняют. Может, в том и дело, что мудрый правщик давно разуверился в возможности населения этого челна прозреть, просветлеть, одуматься – и теперь специально увеличивает скорость. Да свершится скорее желаемое вами!

Мир голубеет реками, шелестит зеленой листвой, он по-прежнему удивительно красив и нов, только он отчего-то потерял силу учителя и не может вразумить чад неразумных. А они, чада, потеряли взрослость навсегда. Они переживают все пределы старения, но так и не становятся взрослыми.

Мелкие народы, обложившие себя чудесами так называемого прогресса, продолжают жить в первобытном состоянии. Им ли учить Россию, как надо вести себя на этой земле? Из-за этой ненасытной братии и загонит лошадей правщик, и свернет в обрыв, сбросит повозку вместе с ее пассажирами, не разбирая, кто в ней свят, а кто порочен.

Если мир будет сотворен заново, он пойдет, как и прежде, от огня и воды, создавших воздух, а затем все прочее. И твердь, покрытая зеленью,

явится на свет раньше человека. Однако вовсе не за тем, чтобы исчезнуть раньше него.

Варю борщ и думаю, что делаю это напрасно, потому как сын терпеть его не может. Ничего, перетерпит, должно же быть какое-то разнообразие. Честно сказать, за год непрерывного кашеварения моя поварская фантазия поиздержалась. Мой отец, помнится, вообще ничего, кроме сборной солянки, варить не умел. Правда, солянка была – ложку проглотишь! Но то случалось у отца в дни великого вдохновения, то есть крайне редко... Вообще-то, если честно, природа сегодняшнего борща проста: открыл холодильник и обнаружил там свеклу с капустой. Больше ничего пригодного для суповой заправки не было.

Пока кипело на плите, позвонила наборщица, вяло поинтересовалась, появлюсь ли я на работе. Если нет, она может продиктовать по телефону рецепт капустного салата. Ясно, сегодня день капусты – надежная и дешевая еда. Накануне несколько кочанов притащила соседка, сама, говорит, вырастила. Таким образом они меня жалеют.

– От капусты у девок сиськи растут, – ворчливо заметил сын.

– С чего ты взял? – опешил я.

– В интернете вычитал.

– Вот так специально взял и отыскал раздел, где сказано, отчего у девок растут сиськи?

– Да там на что только не наткнешься!

– А что, например, сегодня новенького?

– Гомофобы взломали сайт голубых. Те в ответ собираются запустить какую-то небывалую задницу... Команда «К» тралит наугад, но одного нашего, похоже, зацепили.

– Стоп! – В голове отозвалось что-то знакомое. Не могу вспомнить – что. – Команда «К» – это...

– Существует специальное подразделение, люди оттуда отслеживают хакеров, приходят, изымают винчестеры.

– А стереть нельзя?

– Только утопить, – усмехается сын. – Так и делают, если запускают что-то серьезное. Кстати, слышал, скоро Госдума будет рассматривать закон о цензуре в сетях.

– Да-а, цензура, команда «К», – задумчиво протянул я.

– Хакеры как были, так и будут на шаг впереди их.

Выхожу из квартиры с гвоздем в голове. Команда «К»... Веселенькое дело, хакеры, получается, не только двигатели прогресса в электронике, но еще и гаранты гласности. Спускаюсь пешком, потому что вчера дважды кто-то застревал в лифте. А третьего дня мужик с девятого так заскучал в кабине, что выпил весь припас к ужину. Без закуски получилось слишком круто, и мужика вытаскивали из лифта за ноги.

На площадке между седьмым и шестым спит бомж – явление для нашего подъезда обыденное. Но вот диво, сам он с головы до ног и пространство вокруг него густо посыпаны хлоркой. Да жив ли? – заглядываю в то, что было когда-то лицом, и отшатываюсь от ударившей в нос едкой смеси хлорки и перегара. Спит – и хоть бы что!

– Наш народ просто так не вытравишь! – гордо объявляю давно не мытым стенам.

Путь мой лежит в гостиницу «Империал», это недалеко, в десяти минутах ходьбы от нашего дома. Позвонила моя давняя сотрудница, ныне хозяй-

ка какого-то маленького рекламного агентства. Денег у нее отродясь не бывало, а тут – приходи, говорит, должок отдам.

– Куда? – переспросил я ошеломленный.

– Гостиница «Империал», – важно подтвердила она, затем назвала этаж и комнату.

Да-а! Верится с трудом, поскольку дороже места в городе нет... Иду – а в голове команда «К» и капуста. В армии я был заместителем командира взвода управления, и мне в какой-то мере подчинялся дивизионный повар. Когда солдаты узнали, что это по моей просьбе он слишком часто готовит блюда из капусты, они решили меня поколотить. В конце концов обошлось без кулаков, потому как мне удалось убедить их, будто бы я искренне заблуждался, думая, что капуста не может кому-то не нравиться.

– Тебе почти двадцать пять, – говорила наша медичка, быстроглазая и разбитная жена начальника штаба, – им по восемнадцать. Парням расти надо, а ты их капустой кормить надумал. С капусты, знаешь, что растет?

По какой-то причине она не успела ответить на собственный вопрос, и я только сегодня узнал, что же растет от капусты.

Меня не обманули. Двухкомнатный номер-полулюкс напоминал что-то среднее между фотостудией и аппаратной монтажа видеозаписи. Перед входом с вывеской «Северный ветер» толпилась весьма пестрая публика.

Знакомая сразу же потащила меня за собой в дальний угол.

– Шикарно выглядишь, – сказал я на всякий случай.

Она всегда носила джинсы. Свитера и майки чередовались в зависимости от погоды и времени года. Правда, все это было отменного качества и покупалось в дорогих магазинах. Как она умудрялась это делать при постоянном безденежье – загадка.

– Лесбиянки одолели, – то и дело жаловалась она, – за свою принимают.

Меня всегда подмывало сказать: как я их понимаю! Дело в том, что ее постоянный наряд дополняли туфли без каблуков, на толстенной подошве, короткая стрижка под мальчика и голос с сипотцой. При всем этом она замечательно красива. Тонкий нос с изящными крыльями ноздрей, в замысловатый каприз сложенные губы и огромные серые глаза, которые смотрят на тебя, как мне кажется, чересчур пытливо.

– Ты зачем такая умная? – спрашиваю полушутя. – Для дамского счастья вредно.

Умная она на самом деле или нет – по большому счету убедиться мне не довелось. За исключением нескольких эпизодов, связанных с совместной работой, встречи наши были коротки и к испытанию разума никакого отношения не имели. Иногда мы заходили в дешевые кафе, чаще же брали выпивку и шли к ее знакомым лесбиянкам. Те, словно дети, радовались любому приношению, ибо, сколько мне ни приходилось бывать в их домах – везде на удивление пусто.

– Где царит любовь, там не думают о бренном.

При этих словах моя подруга делала серьезное лицо, а я едва не подыхал от хохота.

Нам обычно стелили на полу, и мне не терпелось подглядеть, как это у них происходит.

– Дрыхнут, точно на двадцатый год супружества, – разочарованно пенял я подруге и приставал в очередной раз. – Ну, покажи, как вы это делаете? Расскажи хотя бы.

– Отстань! – сердилась она всерьез. – Не знаю, не пробовала.

Ее обижало не мое дурацкое любопытство, а чересчур легкое отношение к ней. Она знала, что у меня разлаживается семейная жизнь, то есть так получилось, что наше знакомство совпало с разладом. Думала со временем выйти за меня замуж. У нас, кстати, сыновья одногодки...

– Остап Бендер дитя по сравнению с тобой! – воскликнул я, узнав об источнике ее нового благополучия.

Она со своей компанией объявила конкурс «Мисс Реклама» и пообещала победителям постоянное участие в рекламных проектах. Каких, зачем, с чем, про что – никого это не интересовало. Удивительно доверчивый народ повалил валом, расставаясь с деньгами легко и непринужденно. Подруги идут парами, тройками, а то и целыми группами из близлежащих учебных заведений, любящие мамы чуть не за руку тащат дочерей.

– А мужчины, мужчины нужны? – выглядывает поверх голов прыщавая физиономия, принадлежащая персоне трудноразличимого пола.

– Мисс, по-вашему, какого рода? – рычит бывшая претендентка на место в моем паспорте.

Конкурс заключается в минутной съемке каждой из участниц на цифровую камеру. Затем отметка в журнале и...

– Результат вам сообщат по телефону.

Все. До свиданья. И ни одного вопроса!

– Аферистка! – шепчу, прикрываясь ладонью, затем показываю решетку из пальцев.

...После трудового дня ужинаем здесь же, в номере-студии. Молчаливый оператор, он же фотограф, сбегал куда-то и принес в двух пакетах набор еды и напитков.

– На самом деле ты зря пургу нагоняешь, никакого риска, – беззаботно сообщает моя подруга-сослуживица. – Конкурс проходил? Проходил. Кто скажет, что его не было? Вот уважаемая комиссия. – Она ведет рукой, охватывая жестом оператора, меня и свою помощницу, столь же невзрачную, сколь активную в разговоре. – Вот фотоматериал, вот журнал учета...

– Ты этот самый журнал будешь налоговой инспекции предъявлять?

Она морщится от моего занудства, и тут замша успевает втиснуться.

– Да нас тут через три дня не будет. Соберем капусту по жаркому наплыву и свалим.

«Ты где эту уголовницу нашла?» – хочу спросить, но вместо этого интересуюсь:

– А «Северный ветер» тоже на раз? И что это вообще обозначает?

– Да ничего! Несу этим дурам про холодную аристократическую красоту и всякую подобную лабуду. Они услышат слово аристократ – писаются, не сходя с места.

Сидим на каменном парапете за фонтаном. У нас за спиной толчется молодежь, играет громкая музыка. С нами бутылка вина, к сожалению, не портвейн, и пластиковые стаканчики. Говорить нам особенно не о чем, и она вспоминает, как мы ездили в командировку, как занимались любовью в жидких кустиках городского пляжа, как сильно она меня любила, как – вот дурато! – хотела выйти за меня замуж. И как потом ненавидела. Она изо всех сил пытается придать разговору шутливый оттенок, а мне приходит на память, как я удирал из той командировки, раздраженный и обессиленный.

– Ты мне так и не рассказал, почему тогда сбежал? – угадала она ход моих мыслей.

И я срочно перевожу разговор на детей, зная, что к этой теме она всегда готова. Мать она хорошая. Оказывается, сын ее уже давно спит с девочками, и она дает ему деньги на презервативы. Мой, выходит, сильно поотстал, хотя в его возрасте я тоже не имел любовного опыта...

– Ты мне, как это ни странно, и сейчас нравишься, – возвращается она к прерванному разговору, – не так, конечно, как раньше...

Она легко касается моего бедра, проводит рукой вверх, вниз, слегка перемещает руку, не оставляя сомнений, где закончится это путешествие.

– Можно, я тебя потрогаю? – с опозданием является просьба. – И ты, если хочешь, меня потрогай. – Джинсы у нее уже расстегнуты, она торопит. – Ну же, ну! Я знаю, ты хочешь, потрогай скорее.

Сын сегодня ночует у бабушки, ничего не стоит пойти ко мне, тут идти-то пять минут...

– Давай выпьем, – пытаюсь погасить возбуждение.

Она понимает, с готовностью берет свой стаканчик, и постепенно все оказывается в исходном положении. Жалею ее и ненавижу себя. Нельзя так с женщинами, идиот!..

Прощаемся наспех, обещаю, что вот-вот найду интересную работу, вытащу ее из небытия, опять будем что-нибудь придумывать вместе. Это будет южный ветер, самум, торнадо, мы же талантливы, мы еще не изжили себя...

Она улыбается, она уже больше не верит.

Я, диссидент в своем Отечестве, иду в старый двор, где прошло мое детство, откуда жизнь безжалостно вытолкнула меня, и я почти десять лет скитался по углам родного города, озверев от одиночества. Стою под окнами той, – знаю, она и сейчас живет здесь, – кого безумно любил в ранней молодости, кого желал всегда и всюду, кем никогда не мог насытиться. Мы с ней грешили на подоконнике, не дойдя пол-лестничного пролета до квартиры. На крышке пианино, с нее потом слез лак от любовного сока моей возлюбленной. Восторг и упоение в течение двадцати четырех часов в сутки!.. И что? Нынче никакого всплеска в душе, будто некий неведомый хирург проделал хитрую операцию и удалил орган, который выделяет гормоны радости и вдохновения.

А она, говорят, спилась окончательно...

Иногда я думаю, что душа моя покинула меня и давно уже наблюдает со стороны, как я там, без нее? Забавно ей, бессмертной, ставить надо мной опыты...

Во дворе темнота, осязаемая, вязкая, густая. Идешь – и ощущаешь себя пловцом в водах мертвого океана... Зато на проспекте светло и весело. Народ прогуливается, попивая на ходу пиво или колу, весело и беззаботно болтая. Народ наслаждается праздником задержавшегося тепла и нет ему дела до того, что осень – самое прекрасное, но и самое жестокое время. Уходящая натура, уходящая жизнь. Впрочем, сама жизнь, каждый ее новый день, час, мгновенье – это и есть уходящая натура. Смех, равно как и слезы, – всего лишь страх перед жизнью. Хотя у меня, кажется, остался лишь страх за детей. Вот тут и загвоздка.

Я уныло трезв и понимаю, что в таком настроении быть трезвым – преступление против личности. Хитрю, затягивая шаг, знаю же – спешу. В гараже у меня припрятана бутылка портвейна. До тестя мне далеко, тот забивал бутылками все уголки. Но времена были другие, цены... И все-таки спешить нельзя, необходимо продлить муки ожидания, оттянуть сча-

стливую минуту, отдалить ее, чтобы испытывать восторг обладания и в то же время пытку отдаления. Она моя, она в таком же нетерпении, мы любовники, мучающие друг друга, чтобы довести объятия до глубокого сладострастия, до изнеможения...

Минуты близости начинаются с прелюдии – с ощущения холодка темного стекла, с проникновения штопора в пробочную неподатливую и в то же время мягкую плоть. Несколько круговых движений, легкий хлопок – и вот уже искрящаяся влага натекает в стакан. И, наконец, первый глоток... Это каждый раз повторяющаяся первая любовь. Это совсем не так, как с женщиной, это глубже, целомудреннее. Это не усилие, не работа, напротив, расслабление, получение удовольствия в результате ничегонеделанья. Еще глоток, еще, еще... Высшая ступень удовольствия приходит не сразу, однако путь к ней – уже наслаждение. И не надо менять ритма, придумывать ухищрения для получения итога, нужны всего лишь незначительные движения губ, языка, глотки... После известной высшей ступени, достигнутой с женщиной, хочется порой отвернуться от нее, ты в эту минуту почти ненавидишь ее, ты пресытился, ты, наконец-то, разглядел кучу недостатков на лице и теле... Милый, возлюбленный портвейн! С тобой все по-другому.

* * *

Динамики громкой связи того и гляди лопнут от рева командира.

– Станция разведки, мать вашу! Сержант А.В.! Почему не вижу цели на индикаторе?

Надо же, у меня тоже экран пуст, хотя по данным радиотехнических войск цель уже давно в зоне нашего обнаружения. Но я ору с боевым задором:

– Цель вижу, веду по курсу, докладываю параметры.

– Ведем боевую работу вслепую! Сукин сын! Я тебя посажу до окончания службы! – буйствует командир, и я рад, что до его командного пункта от меня добрый километр. – Опять твоя Симка кабель перегрызла! Убью!

Поворачиваюсь к планшетисту и обнаруживаю на его месте нашу медработницу. Она наклоняется ко мне, жарко дышит в ухо и трогает его языком.

– Сейчас придет мой муж и застрелит тебя.

Она сладко закатывает глаза и пытается запустить руку ко мне в штаны.

– Операторы наведения взяли цель, – слышу доклад и с облегчением думаю, что на этот раз удалось избежать трибунала.

– Боевой капустой заряжай! – Рев командира невыносим, и я убираю громкость до минимума. – Товсь! Даю команду К-3!

В этот момент дверь моей станции распахивается, и я слепну от яркого уличного света. Однако вскоре различаю прямо у себя перед носом огромную сазанью морду.

– Извольте жаловать, – усмехается морда, – команда «К». Значит, грибы жарим, в то время как враг на подходе! Ну-ну... Вас здесь повесить или на плацу, с почестями?

...Первая мысль: забыл с вечера открыть форточку, духотища. Вторая: армия мне – сколько уж времени прошло! – ни разу не снилась. Третья: сазанья морда – не к добру.

Как-то особенно назойливо стучат часы. Вслушался – отчетливо выговаривают: не-дам, не-дам. А какой-то дурак придумал: тик-так. Ха-ха, стихи!

По утрам не дают спать мысли, связанные с деятельностью, будь то ры-

балка, многочисленные хозяйственные дела, работа, близость с женщиной. Лица тоже не приносят успокоения, они-то как раз больше всего и беспокоят. В итоге доспать никак не получается.

Печально ударил колокол на колокольне Никольского храма. Печально все вокруг. Вокруг, вокруг, и мысли вкруг...

Зелень появляется в свой срок на сером, на голых серых ветвях. Потом на зеленом появляется желтое, беспощадно поглощая его. Наконец, желтое переходит в серое – и круг завершился.

Живой мир знает множество цветов и оттенков, никому и никогда не воспроизвести их в полном объеме. Но целая жизнь укладывается всего лишь в эти три цвета – серый, зеленый, желтый – начало и конец, рождение и смерть. Кстати, рифма на желтый – пошел ты.

На днях ко мне в очередной раз обращались по поводу редактирования очередной газеты. Как всегда, стоило завести разговор о деньгах – неопределенность.

Открыл удивительную в своей простоте и очевидности вещь – сидение на месте замыливает взгляд, не дает возможности тренировать мозги. Это для одного справедлива формула Василия Розанова – «обежал все пространства, не выходя из ворот». Для другого сидение – смерть. Как бы умудриться сидеть дома и общаться с миром? Могли бы помочь новые умные люди. Увы, такое сочетание встречается еще реже, чем, к примеру, новые дороги.

Колокол умолк, солнце поднялось, вот-вот и печаль развеется. Взываю к замолкнувшим мудрецам минувших лет, к моим замечательным друзьям-художникам, семейной паре, к уголовнику-наркоману, к умершей жене. Отзовитесь! Подайте голос в защиту разума, дайте опереться на вас, ибо не на кого больше! Тупеет мир от лени и возросшего аппетита, и спасать его уже некому. Все разумные люди превращаются в великих печальников и молчальников. Уже нечем делиться. Мир обманул светлые молодые ожидания. Хотя нет, мир не обманывает, не может, не умеет. Ложью населяем его мы.

Пора подниматься. Делаю, насколько могу, резкий прыжок с дивана, думая в этот миг, что мышцы мои еще упруги, мы покуда поживем и поборемся. И попадаю ногой прямехонько в ведро с водой. Симка! Тварь негодная! С вечера я настроил новую ловушку с приманкой на щепочке, которая кладется поверх ведра.

– Верняк! – сказал сосед, торгующий подсолнечным маслом, уж он-то знает, как бороться с мышами...

Однако, странное дело, ведро я поставил в дальнем углу комнаты, отчетливо помню. Не могла же мышь перетащить его к моей лежанке! На всякий случай спрашиваю сына, но тот вообще не понимает, о чем речь.

Ну и дела! Я тупо разглядываю плавающие мои носки и думаю, что так, очевидно, начинают сходить с ума.

Отвлекает кухня, где я вожусь, приготавливая блюда под названием «макароны по-флотски». Так у нас именуется любая лапша или макароны, пережаренная с любым видом мясного фарша. Сегодня в качестве второго компонента выступает нечто, по форме напоминающее колбасу. Я купил это вчера, потратив из отданных мне денег совсем немного.

СПХ – это у нас сокращенное название продукта – сиськи, письки и хвосты. Сын поддерживает меня, что в подобных продуктах уж точно нет сои и всякой прочей гадости вроде размоченных картонных коробок. Смысла нет – коробки дороже.

– А что, и такое кладут? – усомнился я.

– Почему бы нет?

Мой образованный отпрыск пытается убедить меня, что вообще все дорогое – поддельное.

Вся моя жизнь наполняется простой и ясной задачей – как содержать ребенка. Вчера утром выяснилось: он как-то вдруг из всего сразу вырос. Стало быть, мне необходимо вырастать в доходах. Как?

Мальчику еще подходят мои свитера, но уже не налазят башмаки и брюки. Мальчик учится в университете, там ходят красиво одетые и просто красивые девушки. Мальчик уже больше года без мамы... Прости, любимая! Говорят, я своей тоской не отпускаю тебя в горний поход, ты вынуждена быть возле нас, чтобы помогать. Ничего, родная, мы справимся, еще чуть – и я отпущу тебя. Я тебе скажу то, что не могу сказать больше никому, в том числе и нашей родне. В последнее время мы плохо жили. В основном, из-за меня. Пожалуй, только из-за меня. Но это совсем не то, что может призвать избавление такой страшной ценой. Кабы знать мне, догадаться, что ты теряешь рассудок. Никому же не пришло это в голову своевременно – ни твоей матери, ни сестре-медику, ни лечащим врачам... Ты никогда бы не ушла в наказание мне либо в назидание. Ты не могла бы себе это позволить ни в каком случае. И у тебя был сын, он держал тебя так, как, очевидно, не мог уже держать никто.

Худо дело. Непоправимо. Как бы плохо мы ни жили, где бы я ни был, как угодно далеко – я бы знал, что ты есть. Ведь всякому понятно, одиночество и сиротство – не одно и то же. Где-то, без меня, с кем-то другим, но живая – это переносить куда легче.

Под макароны слушаем по радио о необходимости позитивного отношения к окружающему миру. Приходим к выводу, что это – проявление силы, заставить себя воспринимать этот мир подобным образом. Впрочем, если взять моих родителей и внимательно посмотреть на другие семьи, именно такое отношение старших к жизни вспоминается детьми с благодарностью. Стало быть, долой отрицание, критику, нытье... Вразуми, Господи!

Заканчивая тему, сын предлагает заняться исследованием позитивного начала у бомжей, коих крутится возле нашего дома великое множество. Ведь у этих людей нет ничего, что может вызвать отрицательные эмоции – ни квартиры, в которой обязательно побежал бы кран или лопнул унитаз, ни огорода, ни машины, ни проблем с образованием... Зато есть замечательный источник этого самого позитивного отношения к жизни – свобода.

– Ты бы телефон освобождал хоть иногда. Неужели модем у тебя в работе по шесть часов кряду?

– А по фигу! – с оптимизмом реагирует сын.

– Тебе по фигу, а мне нет.

– Так пусть и тебе будет по фигу.

И действительно, почему бы не так? И тут сын огорошил:

– Скажи, можно ли открыть счет в банке на вымышленное имя?

– Можно, если к нему приложить невымышленный паспорт. Зачем тебе знать про это?

– Да запросто можно было бы деньги туда закачивать.

– То есть перед тем откуда-то надо их выкачать. Сколько уж вас таких ушлых по всему миру повыловили. А вы все не переведетесь. Мечтатели! Честным-то путем никак?

– Честным – это как ты? – усмехается он.

– Так тоже плохо, – вынужден согласиться я. – Ладно, что там новенького, в твоих сетях?

– Хочешь сам пошариться?

Сын с готовностью предлагает мне место за компьютером, но я отказываюсь.

– На политфоруме кроют президента и правительство, но это уже мыло, никому не интересно. Хакеры заборзели, чуть высунешься – сразу зафлудят окно, мало не покажется.

– Что сделают?

– Ну, засорят. А спамом, левой рекламой, заваливают все, кому не лень. Сейчас гуляет этакий символ спама – «Продаем семена конопли для попугайчиков».

– Это что-то насчет наркотиков?

– Нет, на самом деле существует такой корм для попугайчиков, и кто-то его на самом деле продает. Правда, можно подумать, у них железнодорожные составы этих семян. Заходишь ты на сайт, открываешь окно – а тебе прилетает маленькое окошечко: купите семена конопли для попугайчиков! Потом еще одно такое же, потом еще... И вот уже у тебя все окно занято этими попугайчиками.

– А защита?

– Хороший вопрос! Сейчас лучшая защита – никакой. Чем лучше, тем у нормального хакера больше желания взломать ее. Интересно же.

3.

В городок на юге нашего края я приехал на такси. Те, кто меня нанял, денег не жалели. На вопрос сына, что мне там предстоит делать, я ответил: родину продавать.

– Много не дадут, – посочувствовал юный космополит и прагматик.

Часть родины – завод по изготовлению энергооборудования – тягали друг у друга нынешний директор со своими присными и финансово-промышленная компания откуда-то с Урала. Мне, нанятому уральцами, предстояло написать несколько статей и заметок о директоре-жулике. С первых же часов моего пребывания в городке стало понятно: работа предстоит несложная. Каждый второй из опрошенных возле проходной завода так и называл директора – жулик. Другая половина попросту отмалчивалась.

Представители уральцев, не таясь, снимали офис в центре города, гнали рекламу своей компании где только можно и скупали акции у обнищавшего заводского люда. Цену они давали в десять раз большую, чем могла себе позволить дирекция завода.

– У них на складах туалетной бумаги столько нет, – объясняли мне тактику веселые ребята из офиса и показывали мешки с деньгами.

– Я бы удрал с такими, – сказал я, вовсе не представляя, что бы «с такими» стал делать в действительности.

Очевидно, мои работодатели тоже жулики, только другого масштаба. Так или иначе, мне казалось, что от моей работы дурно пахнет. За три дня неустанных трудов я и на самом деле заработал ощущение, будто меня в дерьме изваляли.

Вечером в буфете гостиницы, где я снимал однокомнатный номер с ванной и телефоном, из напитков подавали только водку. Взял стакан, потом второй, уже в компании с одним из офисных мальчиков, тоже, как оказалось, снимавших здесь номера.

– Ни слова о работе, – сразу же предупредил он и крутнул головой по сторонам.

«Тоже отравленный, – подумал я, – или вымуштрованный. Обычно таким ребятам много болтать не рекомендуется».

За угловым столиком пили чай с плюшками гостиничные проститутки, как на подбор под сто восемьдесят ростом. Видимо, лучший товар здешнего ночного бизнеса. Они сидели и не обращали внимания ни на посетителей, ни друг на друга.

Дежурная по этажу, хорошо одетая седовласая дама, похоже, из бывших госчиновников, подчеркнуто вежливо раскланялась со мной, выдавая ключи. В номере я пощелкал телевизионными кнопками, но по всем каналам рябило и хрипело. Спать! – приказывала водка, и я уже готов был подчиниться, но зазвонил телефон.

– Не хотите ли провести этот чудесный вечер в компании красивой девушки?

Ах ты старая сводня! – узнал я голос этажной. А как излагает! Из актерок, не иначе.

– Видал я в буфете ваших лошадок, не в моем вкусе. Спокойной ночи, мадам!

Минутная пауза, в течение которой я успел подумать, что не так уж спать хочется и не воспользоваться ли предложением? Может, это как раз то, что мне сейчас и нужно? Снова звонок, тот же вкрадчивый и в какой-то мере властный голос.

– У нас есть и маленькие, крошки совершенные, пригласить?

Попробовал пробудить в себе гнев – ничего подобного!

– Давайте, посмотрим.

Я лихорадочно начал прикидывать, во сколько обойдутся мне ночные радости. Увы, здешние цены мне не известны. Хватить-то хватит, да уж больно непривычно все это. Деньги, запрятанные под обложкой паспорта во внутреннем кармане пиджака, получены авансом и полностью еще не отработаны. Мне приходит в голову, что надо сразу отделить часть, не шелестеть же купюрами при проститутках.

– Дурак, дурак – а сапоги под голову, – громко похвалил я себя и обнаружил, что пьян изрядно.

Вскоре в дверь постучали, и я впустил в комнату двух девчушек, действительно крошек, по метру пятьдесят, не больше. В буфете их точно не было. Та, что чуть старше, представилась и указала на подругу.

– Это моя ученица. Ей уйти? Могу уйти я, тогда она останется.

Я смотрел на девчонок с пьяным умилением. Наставница и ученица с разницей в год удивительно похожи, прямо-таки сестры-погодки. И на двоих сорока не наберется. Глазки круглые, кукольные, волосы рыжие, крашеные. Попытался уловить след мысли на лицах – не получилось, взгляд мой не фокусируется из-за проклятой водки.

– Лишнее, – произнес я, и они не стали интересоваться, о чем это. – А если обе останетесь, скидка будет? Как-никак в этом случае я тоже становлюсь как бы учителем.

Старшая усмехнулась невесело.

– Распоряжаюсь не я.

– Чем же мы будем заниматься? – задал я дурацкий вопрос пространству между ними, так и стоящими у входа спиной к дверям. – Наверно, надо сходить за шампанским?

– Принесут, – сказала девушка и, вопросительно глядя на меня, пошла к телефону.

Шампанское принесли сразу же, и оно оказалось отвратительным, самое настоящее пойло. Я и полглотка не сделал, а девчонкам хоть бы что – попивают, подливают. Младшая все время молчит, а у старшей вопрос не сходит с лица.

– Ладно тебе, – успокаиваю, – все под контролем.

Она опять усмехнулась, давая, очевидно, понять, что это у них, вернее, у сутенеров все под контролем. Час – оплата – и адью! Тем временем принесли вторую бутылку шампанского, а для меня водку. Все помаленьку разговорились, даже наша меньшенькая. О чем вот – убейте не вспомню. Не о работе, точно.

Я надрался уже всерьез и с легкостью отдал деньги еще на час вперед. Все отлажено: едва различимый стук в дверь – и мои подлые сребреники исчезают в дверной щели. И пошло-поехало! За шампанское, за девочек, за шампанское, за девочек... Третий, четвертый час, пятый...

– И куда это в вас лезет? – разгребаю ногами пустые бутылки и пытаюсь прочитать им строчки поэта Николая Олейникова: – «Жена кобыла – для большого пыла, жена корова – для тихого семейного крова, жена стерва – для раздражения нерва, жена крошка – для всего понемножку...».

Настоящий пьяный бедлам! – сказал во мне кто-то трезвый, но очень и очень далекий. Я послал его еще дальше и в очередной раз хлебнул водки. К этому времени на девчонках оставались лишь узорчатые чулки на липучках. Но это, как я понял, не снимается вообще, это для шика, для огня...

Они разрезвились, как в старшей детсадовской группе. Прыгали на пружинном матрасе, точно на батуте, из постели перескакивали на стол, со стола на тумбочку и в обратном порядке. Маленькая умудрилась взгромоздиться на телевизор и долго изображала комнатную антенну.

– Ну! Подключите же меня! – капризничала она.

«Классный вечерок!» – сказал я сам себе к концу шестого часа, пытаясь припомнить, занимались мы сексом или все еще нет? Эрекцию чувствовал и даже наблюдал, а вот что дальше? Какие-то черные дыры и провалы.

Этот кошмар закончился утром, когда я, проваливаясь в небытие, твердо решил устроить себе выходной. Меня долго качало на ласковой и в то же время удушливой волне. Кто-то сквозь туман кричал противным голосом:

– Покупайте попугайчиков!

Не менее противно вторило эхо:

– Попугайте покупайчиков!..

И тут меня поднял чересчур настойчивый стук в дверь. За тобой пришли, – выплыло из подсознания... Это была моя музейщица. Собирая в кучу остатки памяти, я вспомнил, что звонил ей в один из скучных вечеров в гостинице, приглашал приехать, благо, езды тут всего ничего. Вот она и приехала. Ничего не скажешь, вовремя!

Она спокойно и уверенно прошествовала к столу, будто под ногами у нее ковер из роз, а не бутылки, презервативы и прочие предметы, место коим в помойном ведре. И еще я совсем некстати в эту минуту подумал о библейском хождении по водам Генисаретского озера.

– Вот, – сказала, выставляя на стол чекушку водки, – тебе сейчас это необходимо.

А сама начала раздеваться: пальто, блузку, юбку – все на спинку стула. Два объекта перед глазами, и я смотрю на них, испытывая противоречивые

чувства. На водку – с вожделением и ненавистью, на женщину – с недоумением и боязнью. Только сцен мне не хватало!.. Однако она спокойно закончила раздеваться, не оставив на себе ничего. Так же спокойно и деловито поправила постель, сбросила на пол обертку от презерватива и улеглась.

– Ты не думай, я сегодня с мужем не спала, – зачем-то сообщила она, – это было бы слишком цинично.

– А я зато всю ноченьку кувыркался с проститутками, – взорвало меня. – Что, не видно?

– Ничего, отдохнешь.

Ее спокойствие казалось мне самым неуместным из всего что могло бы быть в эти минуты. Ненормальная! – думал я, забираясь в постель. У меня не оставалось выбора. Голым стоять – холодно, начать одеваться – окончательно оскорбить женщину.

Ее белое тело было напряжено в ожидании, губы подрагивали, бледные соски как-то по-особенному воинственно смотрели на меня. Если честно, я уже не был озабочен, произойдет ли сейчас что-нибудь или вообще ничего, мне было все равно.

– Лежи! – предупредила она мое нечаянное движение. Я сама все сделаю.

Так надеялся, что сразу же отключусь после водки. Не дали...

... – Меня нельзя не хотеть! – нахально заявила она, когда ее бесстыдные руки, жадные губы и горячее лоно распластали, расчленили, распылили меня в пространстве, потерявшем границы.

Ох уж эта женская наглость в минуты их коротких побед! Они тоже не знают границ, как не знают часа, когда победа переходит в поражение.

Тут и заторопилась моя деревенская подруга, домой надо, на работу. Неожиданно для самого себя решил и я поехать с ней. Так и так день пропал, погуляю на свежем воздухе.

Был я в этой деревне и не однажды. Странное ощущение не покидает меня, когда знакомлюсь со здешними жителями. Знаменитый их земляк прославил родные места, заодно наделил ядом земляков. Ненароком. Имя этой отраве – жажда славы. Иного способа заполучить ее, очевидно, они не знают, вот и пишут – стихи, художественную прозу, публицистику, эссе... Музейная подруга преподнесла мне однажды довольно толстый сборник стихотворений и рассказов местных жителей. Были там и ее стихи. Лучше бы мне их не читать! А то ее замечательному белому телу будто бы добавился некий непростительный изъян. Женщинам надо быть осторожнее, предъявляя свои таланты кому бы то ни было... Увы, весь сборник представлял невообразимо жуткое сочетание бездарности и амбиций.

– А если муж увидит или доброжелатели из соседей? А потом расскажут? – запоздало поинтересовался я, когда мы вошли в деревню.

– Я же работник общественный, вот привезла научного сотрудника.

– И вправду бывает, привозишь?

– Конечно.

– Где же ты с ними совокупляешься? В той роще?

Я кивнул на березовый островок, прилепившийся ко взгорку. Будто на редкость бестолковый экскурсант попался – так она глянула на меня.

– Это ты у нас удачливый такой, не всем одинаково везет.

– Тебя действительно невозможно разозлить?

– А зачем?..

Мы остановились возле здания, которое не то строили, не то разбирали.

Работали школьники и женщины в возрасте, должно быть, их учителя. Моя проводница отлучилась по какой-то надобности, а я остался, чувствуя себя не очень уютно под взглядами ее односельчан. Научный работник! Слушал я здесь этих самых научных работников – скука невообразимая.

Одна из девочек лет шестнадцати с озорно торчащими из-под шапочки с Микки Маусом хвостиками-косичками удостоверилась, что находится в поле моего зрения и вывела углем на белой стене известный матерок из трех букв. Оглянулась, посмотрела, еще раз подчеркивая: написанное предназначено тебе.

– И что, – кипятился я, когда вернулась музейщица, – чего она добивалась? Чтобы я достал и предъявил ей это самое, что она обозначила?

– Вряд ли, – нехотя возразила она. – Время такое, детки являют себя миру в самых невообразимых формах.

– Время! – не успокаивался я. – Да здесь заповеднику быть – вон сколько до столиц и новейшей современности.

– Ну, ты замахнулся! Все как раз наоборот. Столичных здесь бывает больше, чем в каком другом месте. Приедут, соберут народ – и давай ему рассказывать про чистоту и нравственность, про то, как он, народ, опаскудился и спился. А к вечеру нажрутся и блюют на берегу. Блюют, ты знаешь, прямо в светлые и святые воды...

Мы углубились в деревню, дома побогаче чередовались со скромными избенками – как везде.

– Здесь живет наш поэт. – Она назвала имя, показывая на запущенную насыпушку, до окон ушедшую в землю.

– Это тот сумасшедший, которому всегда есть нечего?

– Он не сумасшедший, – упрямо сложила она губы.

– Вы что, не понимаете, он же не написал ни одной приличной строчки. И не напишет, потому как болезнь у него такая – творческая немощь. Это как глухота, слепота, косоглазие или слабоумие...

– Нашел из-за чего горячиться! Это его жизнь – и всего-то.

А и правда, чего это я? Это его жизнь, это их жизнь. Голодный поэт, проживающий в конуре со своей возлюбленной музой-калекой. Два брата. Старший несколько лет просидел в библиотеках и архивах, написал труд в сотни страниц об истории родного села, собрал денег – сколько смог, со всех, кто дал. – Напечатал и переплел десять экземпляров. Работает в кочегарке и ночами сочиняет стихи:

Вот в этих топках всякий раз сжигаю
Не только уголь – мысли и мечты...

Другой творец живет один, сычом и, похоже, зол на весь мир. Написал эссе о литературе. Замечательное эссе, кстати, кое-что помню близко к тексту... Свобода есть вообще пространство духовного развития, а созерцательная деятельность человека в искусстве есть поиск своего пути к свободе... Свобода для мыслящего и творящего человека имеет бесконечную ценность. Ибо, как говорил Кьеркегор: «Высшее, что вообще может быть сделано для всякого существа – это сделать его свободным...».

Кстати, эссе называется так: «Почему не читают отечественных писателей?». Он замечает, что развитие культуры есть живой творческий поток во времени, разрывы его и резкие изменения имеют следствием общественные коллизии и общую деградацию духовности...

И еще автор любит повторять: миру не хватает безумцев! Наткнусь на эту фразу – и что-то знакомое начинает ворочаться в голове. Все не соберусь, но однажды пороюсь в памяти как следует – вспомню.

Мы поднялись на пригорок и увидели метрах в двухстах, возле самой мачты ретранслятора, красную легковую машину.

– Люди работать приехали, – усовестил я нас, праздных.

– Ага! – весело согласилась спутница. – Они здесь, как ты говоришь, совокупляются. Причем каждый день разные. Есть, наверно, в этом что-то – забраться повыше.

– Тогда бы на Белухе места свободного не было. У тебя больное воображение. Вот бы все средь бела дня...

– Пойдем посмотрим, – с готовностью предложила она.

– О, Господи! Что за деревня! Что за народ! Ты почему мужа своего не любишь?

Она нахмурилась, помолчала. Потом стала говорить и вроде бы совсем о другом:

– Мой папуля впервые явился, когда мне было двенадцать лет. Стоим друг напротив друга – дурак дураком. Я не знаю, как с отцами обнимаются, он не знает, как с дочерьми... Второй раз – я уже замужем была. – Я тебе золотую цепочку привез. – Зачем? Мне мама золото купила... Беременная была, думала: ребенка все должны ждать с нетерпением и радостью – и мать, и отец, и свекровь, и теща. А радовалась я одна...

Продолжать она не стала. Постояла в раздумье и двинулась молча. Мне ничего не осталось, как следовать за ней. Возле магазина она остановилась.

– Подожди меня здесь.

Вышла вскоре и протянула пакет.

– Пойду, пора. Автобусы ходят через каждые полчаса, дорогу к остановке знаешь. Пока.

Небрежный взмах руки, резкий поворот, уход без оглядки – все получилось как-то театрально и жалко. А ведь замышлялись твердость, уверенность, независимость, наверняка так. В пакете оказалась бутылка портвейна, каралька колбасы и сдобная булочка. Не сомневался, она знает про портвейн, зачем же утром принесла водку?.. И что же, я, как дурак, потащусь к автобусу с портвейном? Нет, самое лучшее сейчас посидеть у речки на камешках, поглядеть на воду и не придумывать, о чем бы думать. Вот речка, вот камешки, вот тополевый остров напротив – я это место давно заприметил. Стакана нет, так это ерунда.

Опять вспомнил своих одноклассников, с которыми мотался по городу в поисках кафе. Сезон летних столиков ушел, все перекочевали под крышу. Тут занято, там откуплено, здесь столики на троих... В итоге пошли ко мне домой, удивляясь, как такая замечательно простая мысль не пришла никому в голову сразу.

Появилось в наших встречах нечто новое – тоска по утраченному. Еще не слезная сентиментальность, но уже предстарческое умиление. И уже опаска, что вот встретимся ли через год. И уже подсчет ушедших навсегда. А сильнее всего – ощущение утраченного времени. Это поразительно! Ученые, доктора, профессора, уважаемые, известные люди – а будто все не то, все главное за званиями, чинами и успехами. Дети, внуки, уважение – и ни у кого нет в глазах счастья. Боже ты мой! Оно, по всей видимости, простонапросто изнашивается, стирается в этой каждодневной молотилке, как позвоночные диски с возрастом. Кстати, у всех, как выяснилось, позвоноч-

ные грыжи. Бедные посидельцы! Интеллектуалы и творцы! Главного не увидишь на экране монитора, не выведешь на бумаге, не высидишь за письменным столом. Главное всегда за окном.

Река, настороженно-холодная, но живая, говорливая, даже камни, которые таскает половодьем с места на место, – они живые, они в ожидании, когда им снова помогут сдвинуться с места. Заходящее солнце, голые тополя тоже знают, что снова будет лето, будут веселые рыбаки и грибные россыпи. Еще многое-многое будет...

Но что же нового я узнал о своих одноклассниках? Никто ничего, кроме болезней, забот и несчастий, не приобрел. Вот и итог. Вот и истина. Никто ничего никогда вообще не приобретает. Путь потерь, помимо самих потерь, обозначен лишь воспроизводством себе подобных, чтобы длился и длился этот нескончаемый перечень утраченного.

Заканчивается короткий октябрьский день, закончился портвейн.

На рынке у дороги, обычно шумном и многолюдном, почти никого не осталось.

– Молодой человек! Пирожки с чем угодно! Последние! – окликает бойкая торговка.

Мне льстит «молодой человек» и смешит сочетание «с чем угодно» и «последние». Тоже особенность этой деревни – все торгуют на трассе республиканского значения, по которой мчат машины со всей страны великой. Впереди горные красоты, и здешние торговцы эксплуатируют душевный подъем, вызванный скорой встречей с горами. Говорят, у многих адреналин повышает аппетит. Цены на рынке запредельные, однако проезжающие непременно останавливаются и берут товар, не торгуясь. Моя музейщица рассказывает, что тоже иногда приторговывает здесь молоком. А что делать? На музейную зарплату не прожить.

И тут я подумал о том, что знаменитый писатель оставил после себя много мудрых слов и наставлений для тех, кому жить после него. Об одном забыл, специально для земляков, а может, и не только: не пишите.

Частый рядок пернатых оседлал провод от столба до столба. Выходит, птицы еще не все улетели, еще в стаях доживают последнее тепло. Я пригляделся и не поверил глазам своим – попугайчики! Быть того не может, игра солнца, падающего к горизонту, угол зрения, что там еще – волновые искажения света... Подхожу ближе – никаких сомнений, самые настоящие волнистые попугайчики – лимонные, оранжевые, голубые, зеленые... Какие только окраски этих птиц ни доводилось мне видеть – все здесь. Я закрутил головой, поделиться с кем, спросить – но рядом никого не оказалось. Не бежать же назад, к торговкам, с расспросами. Снова поднял голову – и опять никакого сомнения!

Вспомнил, как кто-то рассказывал о здешних природных аномалиях, о неожиданно теплом климате, благодаря которому вызревают самые капризные сорта винограда.

Я сел в подошедший автобус, пробрался к заднему стеклу и долго еще провожал взглядом удивительную птичью снизку. «Кто-то сходит с ума!» – твердил я себе, так до конца и не поверив увиденному.

По ходу выяснилось, что автобус идет транзитом в мой родной город, делая остановку в центре городка, откуда рукой подать до моей гостиницы. Неожиданно для себя решаю ехать до конца. Повидаю сына, что-нибудь приготовлю в запас – и назад. Думаю, никто меня сильно искать не будет.

Осенью эта хорошо знакомая мне дорога, радующая глаз чередованием лесов, перелесков, рек, холмов и низин, кажется удивительно однообразной из-за сплошного серого цвета. Освещение уходящего дня добавляет пейзажу печали.

В автобусе совсем не много народа, и, что удивительно, все расселись по одному. Стало быть, кто-то из них сегодня вечером обязательно соединится с кем-то ожидающим. А может, все они. Что-то связывает людей на земле... Мой знакомый любитель марихуаны сказал жене в ответ на требование бросить курить: ты всего лишь мать моих детей! Тема плодотворна с точки зрения многовариантности, например: ты всего лишь женщина, по чистой случайности ставшая моей матерью. И так далее и тому подобное. Кровь не есть надежная скрепа, что уж говорить обо всем прочем!

Иногда, между тем, может возникнуть крепкая связь на почве нажитого. А еще есть психиатрия, та утверждает как возможную основу близости запах помоев возле отчего дома, уродство, увечье... Нет гармонии в человеке, любая изуродованная природой или тем же человеком березка во сто крат гармоничнее самого совершенного человеческого образца. Несовершенство человека, ошибка природы, принявшей его в свое лоно, не может дать совершенных отношений между людьми...

Дальше в голове у меня все перепуталось и смешалось каким-то странным образом. Калейдоскоп известных пейзажей и лиц покружил и неожиданно остановился на огромном попугае, развалившемся в кресле, напоминавшем трон. Попугай курит кальян, закатывая глаза от удовольствия. Делает несколько затяжек и тычет мундштуком в мою сторону, очевидно, предлагая затянуться. Делаю шаг, другой и вижу, как птица вместе со своим троном удаляется. И тут картина резко меняется. Мы сидим на открытой террасе клубного отеля на берегу Средиземного моря, в Анталии. Сын поедает уже восьмой шарик мороженого, и я опасаюсь, как бы он не простыл. Заходящее солнце нимбом сияет над головой жены, она еще красивей в этом контровом свете. Ей к лицу загар, сливающийся с золотом волос, делающий слаборазличимым переход к ним от высокого чистого лба. Строгие глаза смотрят мягче, и сейчас агатовая глубина кажется в них бездной. Кто-то же придумал называть агатовыми черные глаза! Ерунда! Черный агат есть, но он встречается куда реже, чем, допустим, серый или желтоватый. Я чаще всего встречал серый с темными или светлыми радиально расходящимися от центра прожилками... Глаза моей жены – именно серый агат. У нее был любимый перстень с большим агатом точь-в-точь цвета ее глаз. Он и менялся, как ее глаза – в зависимости от освещения. Однажды она сняла перстень и забыла на плите возле раскаленной конфорки. Камень помутнел и треснул... Через несколько дней мы узнали о ее неизлечимой болезни.

Я помчался в горную Колывань, на камнерезный завод, отыскал в отвалах ювелирного цеха несколько подходящих осколков и начал шлифовать их, разглядывая рисунок, сравнивая его с бельмастым камнем на перстне. Знакомые художники помогали мне, и вот, наконец, мы нашли то, что надо, самый настоящий двойник испорченного камня.

– Облачный агат, – сказал один из художников и пояснил: – Иногда так называют камень с таким рисунком.

«Облачный агат», – повторил я про себя. Название мне понравилось. Перстень с новым камнем нисколько не отличался от прежнего, все работы по доводке и оправке мои друзья выполнили безукоризненно.

– Тебе удалось отремонтировать камень? – удивилась жена, не обнаружив замены.

Слава Богу, в камнях она не разбиралась.

– Представь себе! Колыванские ребята – замечательные мастера...

Солнце, садясь, становится все больше, и вот уже его диск объял собой фигуру жены полностью. Закатный свет играет, забавляется, пробиваясь сквозь тонкий шелк кофточки, он искрится, путаясь в легком золоте волос. Мне кажется, я вижу протуберанцы восторга, вспыхивающие над границами солнечного диска. И это восторг желанного, долгожданного объятья.

После ужина мы перемещаемся в бар, где слишком много немецкой музыки и речи. Что поделаешь, многие турецкие курорты онемечены. Меня это обстоятельство поначалу раздражало, но однажды утром на выходе из коттеджа нас поприветствовала пожилая пара.

– Guten Morgen!

И столько неподдельного радушия было в этой паре слов, что я разом простил и турков и немцев.

После бара направляемся домой и с нетерпением ждем, когда сын уснет. Чтобы скоротать время, выходим на маленькую терраску – столик, два стула – потягиваем финскую водку, смешанную с кампари, и разглядываем черную ночь, в которой утонуло все. Днем сходства черноморского побережья и этого окажется совсем немного, а сейчас – это все та же южная черная ночь...

Твое тело обжигает, будто ревнивое светило, выпустив тебя из объятий, снабдило своим жаром для защиты. Оно просчиталось, оно не учло, что кто-то может перенять этот жар и вспыхнуть тем же самым огнем... Я должен бы слабеть от любовного безумства, но я, напротив, обретаю все новые силы. И так продолжается долго, до тех пор, пока единым мощным лучом не прожгло меня насквозь и не выбило разом все накопленные заново силы...

Солнечная женщина! Любимая! Я тону в этой черной ночи! Я тону, растворяясь в тебе!

...Сын еще не вернулся с занятий, на его неприбранной постели скомканная обертка от шоколадки и листок со знакомым почерком:

Если ты до кнопки в лифте
Все еще не достаешь,
Поищи себе подругу
С парой длинных стройных ног.
У такой на шее сидя,
Нажимая кнопки все,
С ветерком домчишься в лифте
До любого этажа.

Я с трудом дочитал до конца, глаза мои стали невидящими. Он вспоминает, он перечитывает, он страдает... Бедный мой сын! Кто и за что тебя так наказал?

* * *

Наших рыбок никто не покупает, зря тратим время на рынке. Но напарник гнет свое:

– Надо мозолить глаза, не то нас быстренько выдавят.

Кто выдавит, откуда, зачем? У других точно так же ничего не продается. Оглядываю закуток, где теснятся около сотни продавцов со всей аквариумной экзотикой мира, и думаю, что в нашем городе вряд ли найдется столько любителей, чтобы дать всем этим бедолагам заработать.

Напарник по-прежнему винит в наших неудачах затянувшееся тепло, и мне кажется, нет во всей необъятной Сибири человека, торопящего зиму более него. Однако он не теряет оптимизма:

– А с другой стороны это даже и хорошо, что рыбы у нас много. Вот поедем в Москву...

– Куда? – не поверил я собственным ушам.

– В Москву, – подтвердил он. – Там рынок сбыта больше. Я уже кое с кем перетолковал.

«На бензин бы дал», – думаю, но при помощнике просить не решаюсь. Все-таки он у нас наемный и не должен знать о нашей несостоятельности. «Да он больше тебя знает!» – одергиваю сам себя... Готов хохотать над этими своими мыслями, до того все абсурдно, чужое мне, ненужное. Но вообще-то не до смеха. Наш помощник, профессионал, в отличие от меня получающий зарплату, как-то попенял напарнику насчет меня:

– Пусть бы он хоть названия рыбок выучил.

– Вот-вот, – поддержал его напарник.

– Пошел ты! – не сдержался я, забыв, что уголовников, в том числе бывших, посылать нельзя. – Я ровно двадцать пять лет назад дал себе зарок ничего больше не учить и не запоминать. Голова лопнет... Между прочим, у меня сегодня день рождения. Поймать в честь праздничка вот этого урода – и на сковороду!

Я ткнул пальцем в сома-альбиноса весом килограмма на полтора. А мой напарник уставился на помощника: как он среагирует?

– Тыщь пять стоит, а то и все шесть, – выдавил тот из себя через силу.

– Дороговато, – согласился я, – да и невкусно однако...

Последние несколько дней рождения я проводил где угодно, только не дома. Покидаю в машину спальники, теплые вещи – и вперед по дороге. Остановлюсь где-нибудь у речки, разожгу костерок, выпью портвейна и смотрю на поплавок. Нынче тоже планировал куда-нибудь сбежать, сына предупредил заранее, однако не получилось. А жалко. С утра начали звонить разные люди, кто просто поздравлял, кто в гости напрашивался.

– Имейте в виду, у меня ничего нет, – предупреждал я всех.

Ничего – означает отсутствие денег, выпивки и еды. Последние деньги, оставшиеся от заплаченного мне уральскими жуликами, я истратил на мобильный телефон для сына. По крайней мере, смогу в любую минуту узнать, где он находится... Да врал я, врал! Была у меня и выпивка, и еда, просто не хотелось принимать гостей.

Сижу и перебираю рыболовные снасти. Племянник обещает взять на рыбалку. Увлекся, замечательно! Как будто ничего больше в мире не существует, только эти лески, поплавки, крючочки. В такие минуты – точно не существует. Звонки отвлекают от милого сердцу занятия. Говорю себе: это жизнь зовет. Вот день-то! Даже работу предложили! Но я попросил перенести разговор на другое время. Да, деньги крайне нужны, но сегодня призывы к деятельности не хочется отождествлять с зовом жизни. Лень – сестра философии, не помню, где я читал или слышал про это. Очевидно – мудрость постигается в бездействии...

Что-то мне подсказывает, что я становлюсь скучен, повторяем и предсказуем. А все дело в том, что давно подошло и пропущено время ехать в Горный Алтай, подправлять собственную биосистему...

Гости все-таки пришли. Старший сын поздравил и тут же убежал. Остались два бывших сотрудника, сосед-алкоголик и человек, называющий себя моим лучшим другом. Сосед пьет все подряд, друг – только водку, я портвейн. Смотрю сквозь них и рассаживаю гостей – желанных! – по-своему. Напротив меня отец с матерью, справа сестра. Рядом двоюродные братья и в самом конце стола, чтобы ближе было бегать на кухню, – жена... Застолье призраков хоть как-то отвлекло меня от скуки за столом.

– Хочу выпить за настоящего друга, – поднимается друг. – Он всегда найдет возможность выручить, помочь, причем сделает это даже в самые сложные для себя минуты...

Надо же! А я думал, мои «сложные минуты» к сказанному отношения не имеют. Когда у меня оставались деньги от продажи материной квартиры, он убедил меня вложить их в совместное дело. Что-то было связано с комплектующими для компьютеров. Я, как всегда, не стал глубоко вникать в суть, в этом, очевидно, моя беда. Деньги не любят, если к ним относятся абы как. Короче, лопнуло дело, плакали мои денежки. А друг беду перенес стойко, вскоре оправился. Смотрю – машину поменял, сделал ремонт в квартире, помог сыну выпутаться из какой-то финансовой передряги... Когда я в панике обегал знакомых и приятелей, чтобы найти деньги на похороны, пришел и к нему.

– Откуда! – развел он руками.

...Ушел на кухню. Как никогда хочется побыть одному. Сорок семь – это уже много, это уже куда больше, чем половина жизни. А в голове ничего интересного, никаких задач и построений.

Все в моей жизни уже случилось. Там, далеко, за голыми деревьями и обмелевшей рекой. Что бы сейчас сказали мои друзья и одногодки, не дожившие и до сорока. Как скучно ты без нас прожил, А.В.! Как пошло!

Или правда, все надо круто поменять? И не имеет значения возраст, причем тут он? Значение имеет лишь ответственность, проклятое свойство слабых натур. И за примерами ходить далеко не надо. Не сумел удрать из города на собственный день рождения, в последнюю минуту остановила мысль: а как тут без меня сын? Еще и обидеться может...

Уже выпита большая часть винных запасов, уже все позвонили и поздравили. Но мир не стал ни ближе, ни лучше, ни, впрочем, и хуже. Единственно, в чем его перемены к сему часу – ему еще в большей степени плевать на меня. Однако это частный случай и мой собственный вывод. Или вымысел. Замысел, промысел, домысел...

Я хочу на берег реки, но не еду. Я должен начать серьезную работу. Господь к тому призывает, толкает едва ли не силою. Он все лишнее отбирает у меня – деньги, друзей, благополучие, оставляя лишь время для дела. Не слышу, не внемлю, не пойму. Какое это заманчивое занятие – распылять себя по пустякам! Оглянешься вокруг – это, оказывается, любимое занятие народных масс. Они творят его в великом воодушевлении, потому что нет ничего слаще, чем обманывать себя.

День давно уже перешел за вечер. Я все так же сижу на кухне, спрятавшись от гостей. Разглядываю темноту за окном и представляю, как племянник собирает рыбацкие снасти, чтобы уехать к далекому Чарышу. И думаю опять, почему это я не могу вмешаться в постылое течение жизни? И понимаю, что вся неправда во мне самом. Господи! Изгони чертей из дома моего! Хотя подожди, зачем? Этот день уже отдан посторонним.

4.

Наутро я поехал на кладбище навестить дедов по материной линии. Не был я у них два года, слишком много кладбищ и могил случилось за это время. Раньше я навещал их регулярно и первые разы пытался начинать свой обход с деда. Знаю, где должна быть могилка – а найти никак не могу. Тогда отправляюсь к бабушке. Она умерла несколькими годами раньше деда и лежит совсем неподалеку от входа на кладбище. С трудом, но нахожу, случая не было, чтобы не нашел. Сделаю все, что положено – приберу, почищу, протру – и тогда уже к деду. Вот и он, нашелся безо всяких промедлений и заминок. Усы подкручены кверху, глаза смотрят строго, суровый был дед... И сколько бы впредь ни пытался я начинать с деда – та же история. Ну, кто скажет, что кроется за этим замыслом?

На удивление чистой, не заросшей, не забитой опавшими листьями и прошлогодней прелью оказалась могила бабушки. Будто ухаживал кто за ней без меня. Но я-то знаю – больше некому.

И дедов последний приют выглядит пристойно. На будущий год покрашу памятник и оградку, – пообещал я ему.

Тишина на кладбище – как тому и положено быть. Солнце легко проникает сквозь голые ветви деревьев, давно уже ставших взрослыми. Деда нет почти четыре десятка лет, а он здесь далеко не первый.

Подумалось: что-то в тебе помимо твоей воли говорит с ними, общается, сообщается и без речей, соединяется с отзвуками их далекой жизни. Что-то успокаивается, сравнивая твои поступки или бездействие с их жизненным устройством. Что-то, наоборот, отзывается беспокойством... Мои дети недополучили огромный кусок жизни, они не знали своих дедов. Младшему сыну я дал имя деда, спасшего семью от голодной смерти в блокадном Ленинграде, заставлявшего меня без особой нужды вести лодку против течения. Я плохо усвоил его уроки.

* * *

Нам поставили домофон, чтобы закрыть доступ бомжам, ночующим на лестничных площадках. Жалко их, а тоже хороши: поспят, тут же и поедят и нужду справят. Две единицы – такой код нам достался. Люди редко читают инструкцию, где написано, что надо нажимать две последние цифры от номера квартиры. И посему гости со сто десятой по сто девятнадцатую тупо попадают к нам. Первая ночь с домофоном пала на выходной. Спать не пришлось. Под утро так допекли, что я запустил прямо в микрофон матом. Сын, подхватывающий иногда вахту, сдержанно наставлял, чтобы читали инструкцию.

На неделе нашествие стихло. Два-три раза за вечер – это ерунда. А в пятницу нажали вызов и сообщили: служба доставки. Вопросительный взгляд сына, и тихая паника у меня. Служба доставки поздним вечером – это только телеграмма. Наши дни рождения прошли, стало быть, кто-то умер, не иначе. Я перепугался: муж сестры, живущей в Москве, давно уже плох. Правда, ходит, делает кое-что из несложной работы, но разговаривает с трудом, путает слова и мысли. Неужели он? А вдруг сестра? Тоже немолода, за шестьдесят. Хотя и любит повторять: мне и болеть-то нельзя, старый да малые – все на мне. Вышел на лестничную площадку встречать, но лифт остановился этажом выше. Загремели засовы, послышались возбужденные голоса, звякнула посуда, и среди многоголосья выделился бодрый басок:

– Служба доставки!

Суки! Это две шлюшки сверху посылали хахалей за водкой! Шутники!

Спал я плохо, с кошмарами. Среди ночи Симка затеяла гонки по квартире. Возня и топот затихли, когда я включил свет. Оказалось, моя непрошенная квартирантка играла в футбол сухариком. У нас по соседству в киоске продают такие засушенные хлебные кубики и называют их почему-то кириешки. Говорят, к пиву хороши, не пробовал. В нашем доме отродясь не бывало сухарей, наверно, от соседей притащила. Сытая, тварь этакая! Сухари не жрет!

Под самое утро все-таки удалось задремать, но ненадолго. Проснулся от ощущения, будто голова моя плавает в воде. И точно – лицо мокрое, подушка мокрая насквозь. Неужели я плакал? Готов поклясться, ничего мне не снилось, накануне не вспоминалось... Глянул на наше семейное фото, скосил глаза на лик Спасителя и остановил взгляд на потеках извести, раскрасивших обои по всей комнате. Известью закапаны настенные часы, картины, мебель... Надо бы оттереть, все не соберусь. Это следы последней побелки, когда жить моей жене оставалось совсем немного, и она плохо понимала, что делает. Ремонтом в доме всегда и безусловно занимался я, но в тот момент меня в ее жизни будто бы и не было вовсе... Стены плачут белыми слезами. Вот уже второй год...

Сегодня звон колоколов доходит особенно ясно. Так бывает далеко не всегда, в иные дни их совсем не слышно... Что сулит грядущий день? Неделя? Месяц? Не загадывай. Живи. Загад лишает воли, загоняет в угол.

Ну, не знаю я, где взять денег, а мысли об этом поедом едят, мучают, расчленяют, лишают здоровья. Я могу орать, я хочу орать: не надо мне денег! Но тихий, настойчивый голос твердит: надо! Дети! Сын!

Чудится, будто за ближними колоколами вызванивают какие-то другие, далекие и таинственные. О чем поют – мы вслушаться не можем. Они пытаются достать нас за сотни километров от дома. Они устают гоняться за нами, но мы не устаем бегать от них.

Кто-то придумал их, возвестников близкого неба, забыв придумать для человека специальный орган, чтобы он мог распознать, о чем это они? А может, человек изначально имеет способность слышать их, а потом теряет... Стал ездить – разучился ходить, пришел к попу – тот заменил Бога и стал толковать вместо Бога... Или, тонкая натура, поверил однажды, что те тайные колокола адресуются напрямую к душе. И согласился. Да так и не узнал никогда, что там, в этом диалоге?

Мой милый друг! Я беспокоюсь за тебя, как ты там, в своей сумасшедшей Москве? Какие-то нечистые полутона, хрипы в твоем еще летнем письме. Потом – ни строчки. Силы в тебе совсем не осталось. Так, разом теряют ее люди могучие, сильные по-настоящему. Жалко. Нестерпимо хочется верить в твою сегодняшнюю силу, до какого-то времени была жива надежда, что и я смогу подпитаться от нее. Пусть издалека – взглядом, дыханием... Увы, нам не построить дом на берегу озера, теперь уж нашей жизни точно не хватит на это. А ведь казалось такой ерундой, когда мы поднимали серьезные стройки и вытаскивали казавшиеся мертвыми проекты.

Почему мы перестали жить? Нас сломала какая-то несчастная смена власти, приход новых жуликов на смену прежним? Не много ли им чести! Боюсь, тут другое. А ну как нам в действительности представилась редкая воз-

можность быть счастливыми, а мы не сумели ее распознать, разминулись на каком-то переходе...

* * *

Еще одно из утраченных желаний – влюбиться. Но при том снятся юные девы, удивительно красивые и сексуальные, голова сама поворачивается вслед изнывающим от молодости и здоровья студенткам, в великом множестве проходящим мимо нашего дома. Сердце молчит, хотя головой я понимаю, влюбленность – лучшее средство для обновления организма, самой жизни, выход из заскорузлой действительности.

Осень дожигает последнее тепло. Мы стоим лагерем на берегу Чарыша, в месте его крутого поворота, где образуется яма многометровой глубины. Двести с лишним километров от города, тишина, далекие выстрелы охотников, на редкость неразговорчивая мужская компания. Племянник, которому сегодня исполняется тридцать пять, вспоминает Зилова из «Утиной охоты»:

– Мне уже тридцать пять, а я ничего не совершил!..

Он произносит это как бы в шутку, а в глазах глубокая печаль. Племянник имеет твердый заработок, помогает матери, содержит бабку, купил квартиру, – скоро новоселье, – достраивается деревенский дом, вот-вот родится второй ребенок...

Пьет стакан за стаканом и молчит.

Я развел костерок, но разговора не получилось и у огня. Рыбаки мои, едва начало смеркаться, улеглись спать. Попытался последовать их примеру, но около полуночи встал и уж не ложился больше. Иногда принимается моросить мелкий дождичек, однако он не мочит, так, обрызгивает. Все как запоздалой теплой осенью, то есть как тому и надлежит быть. За пределами этой ночи и нищета и морок бесконечных забот... Однако нет того восторга, который обязательно случается в эти часы на берегу. Обязательно! Как же можно без восторга!

Назавтра кто-то высказал желание поискать грибы в недалеком лесочке. Грибы... Когда-то любимое наше семейное занятие. Может, пойдем сейчас искать грибы, и, наверно, будет то же самое – без восторга. Куда сбежала моя радость? Может, она слишком долго жила со мной бок о бок? И ей надоело?

Здешний лес небывало величав. Сосновый настой в воздухе так густ, что, кажется, имеет вес и объем. Маслят столько, что их даже не хочется собирать. Мы и не собираем. Ходим по лесу, будто не знаем, зачем мы здесь. Немного совсем побыли и поехали домой.

По дороге заставляю себя вглядываться в краски, вбирать их в себя, запасаясь на семь долгих месяцев бесцветного существования. Желтые березы на фоне темно-зеленых сосен, черная пахота перемежается уже взошедшей ярко-зеленой озимью... Все-таки это необыкновенное сочетание – зеленое с желтым, рождающее, смешавшись, – синее.

Октябрь, последнее тепло. Сожаление об уходящем и страх ожидания. Даже не само ненастье пугает, а именно страх его ожидания. Умение наслаждаться минутой вряд ли спасет кого от этого страха, от отчаяния, от беспомощности перед грядущими морозами, перед обилием одежды, отгораживающей тебя, твое тело от воздуха, света, солнца... Лучше бы проспать нынешнее время и очнуться уже посреди снегов и бесцветья.

Дремлю в машине, перебирая в памяти полузабытые имена и лица. Замечательный поэт, известная личность в Сибири... Не могу понять, почему я так холоден был к этому человеку, не жалевшему для меня тепла и внимания. Это он возвел в ранг поэзии мои любовные развлечения в Пицунде, мои визиты к возлюбленной через балкон одиннадцатого этажа, мои сумасшедшие гонки за ней по всей стране. Он умел восторгаться другими... Да, ничто не может вернуться. Поэт умер, как многие замечательные люди, кому бы еще жить да жить, во сырой земле. Я остался им должен, и некому вместо них этот долг отдать.

* * *

Похоже, болезни взялись за меня всерьез. Теперь вот спина отказала. Веселый коновал с профессорским званием, разглядывая мои томограммы, заявил:

– А позвоночника-то у вас, батенька, нету! Это не позвоночник, так, жалкое воспоминание.

Да, вот они – мой волейбол, ломы, лопаты с бетоном на стройке, мешки с картошкой на огороде... Вроде во всем этом только единственный смысл и задумывался – наказать себя нездоровьем в будущем. Тут, наверно, ничего не поделаешь – молодость мнит себя бесконечной.

Сады Семирамиды, эдемские кущи, где царствуют музы, незвучно глаголят эфиры и мысли далеки от земных тягот – сказка. И, должно быть, скука ужасная. Боль – это живое ощущение, и человек невольно стремится к нему. Даже самое высокое – любовь – имеет своим итогом боль.

Мне нужна работа, потому что поизносились мы с сыном до предела, а все зарабатываемое мной уходит на еду и квартплату. Начал перебирать в уме – ничего, кроме работы ночного сторожа, в голову не приходит. Но эти места пенсионеры расхватывают моментально, не успеет появиться объявление о вакансии. У них своя система оповещения, свои связи, товарищи. Однако скоро и их потеснят. Молодые охранники из специализированных фирм тоже не дремлют. А их все больше и больше. Говорят, в одной только Москве – миллион. Кому-то есть что охранять, а кому-то негде больше работать. На самый крайний случай всегда жила во мне последняя надежда – пойду грузчиком. Все, нынче и эта надежда умерла. Спина!

Мысли о работе, о необходимости заработка далеки от того, что называется завистью, что рождается наблюдением чужой «успешной» жизни. Никто из «успешных» не видит пределов, а это рождает все новые и новые проблемы. И все-таки, все-таки...

Дьявол! Не берет снотворное, а чуть отключишься – мертвые гоняются, сменяя один другого. Да все не те, кого желал бы видеть. Великое, неразгаданное чудо сновидений все реже приносит сладкие минуты. Бабка сказала бы: и сны тебя наказывают за грехи!

А будни, наполненные грезами без сна, таковы, что мечтания становятся все скромнее и все недостижимее. Уехать в деревню, поселиться в маленьком домике – как просто! Только необходимо провести подготовку. Прежде всего – отторжение людей до полного неприятия последнего из окружающих. Это один из важных шагов. Отторжение бытовых забот – от хождения по магазинам до мелочной опеки сына. Потом на очереди разрыв отношений с женщинами, всяких и со всякими... В общем, подготовку нужно проводить в достаточно большом объеме. И... Не получить в результате домика, что-то на одном из этапов обязательно сорвется.

Почему? Почему я никогда не думал о поражении, не ждал его, не подгонял, однако чаще всего был побежденным? Значит, оно все-таки где-то под спудом поджидало, зрело? Ерунда все это! Просто мне не удавалось добиться своего с первого раза. Ну и что? Может, это говорит всего лишь о моем чересчур скоростном складе характера. Мир за мной не поспевает, вот и все. Я – побежденный с психологией победителя...

Встретил одноклассницу из тех, кто не ходит на наши посиделки. Ни дать ни взять – бабушка. Сказала мне:

– Ты такой красивый, талантливый и умный, а живешь как попало!

Я ответил, что это закономерно, поскольку все вокруг уроды, глупцы и бездари. Они не позволят жить мне как следует. Говорил одно, а думал другое. Создатель взирает равнодушно на наши заботы и страдания. Он снисходителен лишь к бродягам, которые никогда не убыстряют шагов на этой земле.

* * *

Курим марихуану в оркестровой комнате за сценой. Я долго отнекивался, потому что не испытывал ни желания, ни любопытства. В армии пробовал – тошнота, сухость во рту и через некоторое время самое настоящее похмелье.

– Это все твой портвейн! Святой дух несовместим с этой гадостью. Вчера пил?

– Нет.

– Тогда ничего страшного. Сейчас, еще немного – и зажжется лампочка. Тогда мы с тобой такое сыграем! Клавишные не забыл? Ничего, быстро вспомнишь. Вспомнишь, чего и не знал никогда. Со мной часто бывает... Это первосортный продукт, бухарская анаша. Мы с тобой в Голландию на следующий фестиваль поедем. Помни – двадцать первое сентября!.. У половины палаты лордов в Англии смокинги в отметинах от горящего табака с марихуаной. Когда Блаватская выпускала дым, комната наполнялась бабочками. Они были настоящие, живые они подлетали к форточке и выпархивали на мороз.

Слушаю его, а сам не могу понять, как мы сюда попали? Комната мне знакома, мы здесь репетировали когда-то с городским диксилендом. Но мой ученый уголовник играл на саксофоне с другим составом. И вообще – он же ушел в дом для престарелых!

– Святой дух! Канабис! – молитвенно поднимает он глаза.

Вспоминаю, как около Чемала молодые люди, больные туберкулезом, бродили по берегу Катуни и собирали конопляную пыльцу... Лица у них были отрешенные, они наверняка знали, что обречены...

В последнее время все чаще на ум приходит Чемал с его замечательными реликтовыми соснами, неповторимым воздухом, мягким климатом и храмом на островке с греческим названием Патмос.

– Хочу доживать свои дни в Чемале, – говорю скорее сам себе.

Мой философ смотрит на меня с презрением.

– А я в Индии. Имеют смысл действительно значимые цели. И я там обязательно буду.

Не верю ему, слишком безумной кажется затея – от дома призрения до Голландии, а уж до Индии – безумию нет предела.

– В Чемале! – В его усмешке еще больше презрения. – Всего-то и дел – сел да поехал.

Поехал, поехал, поехал... И тут я вспомнил, что на улице меня дожидается машина.

– Как я домой-то поеду? – задал я вопрос, ощущая себя разбалансированным и невесомым одновременно.

– Еще как! У тебя сейчас все чувства обострены, слух локатора, реакция зверя...

Нет, я точно пьяный, только голова действительно ясная. Это обстоятельство спасает, удерживает от того, чтобы я сел за руль. Пусть себе стоит, – махнул я рукой машине, – пойду пешком.

С трудом добираюсь до дома, вижу в зеркале огромные чужие глаза с сумасшедшим блеском и зрачками, закрывшими всю радужку. Падаю на диван с последней мыслью: проснуться бы до ночи, чтобы загнать машину в гараж...

Полуслышу, получувствую: расталкивают, пытаясь меня поднять. Тело налито свинцом, а голова по-прежнему ясная.

– Вставай! Картошку пора ехать копать!

Ну вот, и зима кончилась, и круги сошлись, и весна пришла, и зелень появилась, и дача, и картошка... Пожалуй, самое верное – вести отсчет дням по картошке: посадил – выкопал. А величие жизни... Оно или в простоте еще до картошки, или далеко за ней. Но посредине все-таки картошка!

«Уйдите! – пытаюсь отбиться. – Этот круговорот беспощаден!».

И что здесь делает богатая женщина, владелица нескольких хозяйственных магазинов? Она показывает пример, как надо жить, как надо двигаться вперед.

– Покажи мне участок в Чемале – завтра будет наш. Я займусь разработкой совершенно нового направления в косметике. А ты будешь строить кемпинг, такую небольшую базу отдыха для избранных.

– Мне тебя жалко, ты слепнешь! – шепчу я.

Не слышит, но знает, иначе зачем ей темные очки в моей темной комнате?

Странное состояние, губы выговаривают: не лезьте ко мне! А внутри кто-то перебивает: ну, почему никто ко мне не идет? И ведь правда, неясно до конца, или тебя затюкали вмертвую, или вообще никогда не обращали внимания? Я ведь, по сути дела, несамостоятелен, в придачу любитель спокойной жизни.

– Ну что же ты! – торопит бизнес-леди.

Ее медные густые волосы стекают по загорелым плечам. Красивая белоснежная блузка оттеняет этот загар, такой ранний – наверно, только что вернулась из Эмиратов. А ноги... Какие длинные, стройные и коричневозолотистые – им досталось солнца больше, чем всему остальному.

– Видишь, я в какой юбочке – ветром сдуть может. Я даже трусики не надела, чтобы ничего не останавливало тебя, не мешало. Ну же!

И тут появляется подвода, в которую впряжена подслеповатая гнедуха. Поверх кучи мешков восседает плосколицая баба в сапогах-кирзачах на босу ногу.

– Картоху хоронить собрались? Бог в помощь. А вот, кстати, и конопельку посадите, заодно. Семена афганские, первосортные, в любом климате дают отличный урожай...

Но почему так темно? Мы что, собрались сажать картошку ночью? И

вдруг меня подкинуло от неожиданности. Звонок! Где я, Господи? Иду на звук и по дороге начинаю соображать, что нахожусь в собственной квартире. Перед дверью толпа соседей, в глазах сочувствие и восторг первооткрывателей.

– Вашу машину взломали, приемник вытащили!

– А где она?

– Так у подъезда же!

Соседи, по всей видимости, сочли вопрос дурацким.

* * *

Наконец-то выпал снег. Тихо кружил всю ночь и к утру высветился под солнцем ровным белым полем. Чудо природы – это как раз никаких чудес. Солнце пробивает легкие облачка у горизонта, затем слоистые дымы и пласты смога над городом. Все красиво, все правильно. А я всегда подгоняю, тороплю зиму поскорее убраться, забывая, что зима – это тоже жизнь.

На далекой стройке, перебивая солнечный свет, мигает огонек электросварки. Что-то будет сделано, построено, и для кого-то в этот момент никакого завтра не существует. Вернее – он не думает о нем, чутко удерживает свою дугу, чтобы огонек не погас. Но удивительно безжалостная истина сильнее всего придуманного. Построил – чтобы жить завтра, поел – чтобы дожить до завтра, родил – чтобы часть себя оставить на завтра...

Едва поступил очередной заказ от торговцев родиной, у сына отобрали мобильник. Приставили к животу пистолет и вывернули карманы. Пистолет скорее всего был игрушечный, но парень перепугался всерьез. Доведись такое испытать любому взрослому – вряд ли кто станет определять, настоящий ствол возле его брюха или поддельный.

Дрожащим голосом сын сообщил мне по телефону:

– Я из милиции, тут говорят, чтобы ты пришел.

Понятно, нет восемнадцати – давай папу.

– Скажи ментам, что я в их услугах не нуждаюсь и тратить время впустую не намерен.

Через некоторое время позвонил следователь:

– А мы его без вас не отпустим.

Разъяренный я примчался в райотдел, но там сидят тертые ребята, они знают, как нужно успокаивать торопливых и строптивых. Продержали меня в коридоре два часа, а потом начали водить по кабинетам. Тут попишут, там поспрашивают.

– Давайте на спор, ничего вы не найдете и никого не поймаете, – предложил я молодому дознавателю в кожаном пиджаке.

В этот момент в кабинет зашла девушка с погонами старшего лейтенанта и мобильником на шее.

– Посмотри, сынок, – обратился я к отпрыску, – не твой?

– А срок не желаете схлопотать за оскорбление сотрудника милиции? – поднял голову от бумаг дознаватель. Голос – сама доброжелательность.

По дороге домой сын говорил что-то об унижении от бессилия, о ненависти ко всему, что его окружает, к городу этому «быдлячему». Первый раз встречаюсь с таким определением. Подумал было повторить рассказ о собственном опыте, о необходимости стать сильнее... Да что-то удержало. Решил отложить разговор до вечера.

Сейчас мне предстоит встреча со старым знакомым. Он приехал из Москвы навестить сына и сегодня возвращается назад. Интересный малый, ког-

да-то он отсидел порядочный срок, говорили, за убийство, сейчас осуществляет посредничество в особо крупных коммерческих делах между уголовным миром и высокой властью. Я особенно не расспрашивал, как это осуществляется, все равно ничего не расскажет. Однажды я позвонил ему на сотовый.

– Ты где?

– В Минске. Извини, некогда.

И дал отбой. За короткое время связи я успел услышать несколько выстрелов.

– Просто захотел глянуть на тебя, – предупредил он мои расспросы.

Полупустая комната, шкаф для одежды, диван, на котором восседает, поджав под себя ноги, московский гость. Он отец ребенка, проживающего в этой квартире, очевидно, с матерью. Я почти ничего о нем не знаю и не знал бы никогда. Просто однажды по чистой случайности выручил его деньгами. Сейчас смешно об этом вспоминать, денег он может иметь сколько угодно. Зачем? С ним всегда рядом смерть. Власть, деньги, политика – с этим он имеет дело ежедневно, и цена всему этому, по его убеждению, – дерьмо. Ему нужно лишь на чай и сигареты. Он не смотрит телевизор, не читает книг в пестрых обложках. Он читает Пушкина. На нем нет живого места от шрамов и наколок, руки всегда спрятаны в карманы, потому что они в синих перчатках... А он читает Пушкина! И стреляет в людей! И читает Пушкина!

Я поведал ему про наше телефонное приключение, про гопников, которые достали сына до отвращения к жизни, и предположил, что силу надо ломать силой. Может, пускай ходит с бейсбольной битой – вроде как спортивный снаряд? А то я у него на столе обнаружил безобразно заточенный напильник – ни лезвия, ни острия, но видно – попытка сделать оружие.

– Остынь, – спокойно заметил он, и на землистого цвета лице отразилось что-то вроде сожаления. – Против биты найдется лом, против заточки – ствол, против пары кулаков – восемь пар сапог. Так и будет – только чуть обнаружь желание противостоять. Уходить, обходить за улицу, за квартал. Ни в коем разе не вязаться! Нет у него силы против этого зверья, ни у кого нет. Так ему и скажешь. Это не бессилие, это военная хитрость.

Честно скажу – удивил. А подумал – ему видней. Он на войне все время.

Вечером я повез его к московскому поезду.

– Ох и долго ж он тащится! Почему не самолетом?

– Боюсь, – усмехнулся он.

А я запоздало оценил всю праздность моего вопроса. При посадке в поезд пассажиров не досматривают.

5.

Небо угрожающе опустилось, хмурится. И снег, и тепло – погода ломается. Подчиниться. Любой погоде, любому воздействию извне. Однако надо кормить ребенка и искать дополнительный заработок, то есть идти против течения, вопреки своей возлюбленной лени. Вся философия мира ничто, когда за тобой кто-то...

А я поеду в деревню, прямо вот сейчас и поеду. А я укрою розы и побелю яблони. А я придумаю, как заработать денег, когда буду возиться в огороде. Мне всегда в это время приходят замечательные идеи. А еще я совсем немного буду думать о том, как жить завтра, про послезавтра я запрещу себе

думать, пока не придумаю про завтра... Вопреки – это один из актов насилия, произвола. Игра. Очевидно, она необходима, чтобы жизнь приобрела другие оттенки. Однако и тут помеха – возраст.

– Так ли это?

– Да! – отвечает с преувеличенным восторгом моя далекая знакомая.

И я вижу за далью, отмеренной сотнями километров телефонных проводов, ее заплаканные глаза.

Еду я не к розам, еду с удачливой торговой подругой в ее японском джипике, похожем на горбатого клопа, по трассе, в сторону Горного Алтая. Я люблю эту дорогу, она приводит к волшебным камням, к бирюзовой воде, к Чемалу, где моя подруга вроде бы уже совсем собралась строить базу отдыха для богатых. «Ну, построй! – мысленно заклинаю ее. – А мне где-нибудь на задах – флигель, сторожку». Я и хочу быть всего лишь сторожем... Не ври себе, и не тешь надеждами понапрасну! Либо ты въезжаешь сюда полностью – с паспортом, без честолюбия и вечно любимой лени – либо ты не получаешь ничего.

Сегодня дорога не радует. Не сезон – это первое, а второе – отчетливое понимание, что до гор мы не доедем.

Постояли на обочине лицом к полной и удивительно близкой луне. Покурили. Странные у нас отношения – настоящей близости нет. Силимся, будто хотим обмануть судьбу, а она, настроенная против, не обманывается. Подруга на редкость молчалива, а мне надоело говорить. Помню, когда я ездил с бригадой по стройкам, у работяг считался мудрецом молчаливый каменщик, красным лицом напоминавший банщика. Большой авторитет среди строителей, он изредка ронял, оценивая то или другое: говно! Кроме этого он вообще ничего не говорил, мудрец!

Утомленный бесконечным молчанием, пытаюсь разнообразить обстановку, говорю, что напряженный фаллос – главное оружие в завоевании женщины.

– В чем же дело? – усмехается она и откидывает сиденье.

– Ты же знаешь, я так не могу, не хочу. Ну что, мы не можем найти нормальную постель?

А мой внутренний голос кричит-надрывается: ну, не люблю я тебя! – Зачем же в таком случае женщине про фаллос, идиот! – Это еще кто? – обращаюсь к своему нутру. – Вас там уже двое? – А то он без любви их не пользовал! – Мои незваные собеседники уже не обращают на меня внимания. – Похоже, действительно идиот, эта, по крайней мере, богатая...

– Хорошо, – говорит она, любовно поглаживая свои загорелые, длинные ноги, – через месяц будет готова моя новая квартира и никаких проблем...

Прошу остановить меня у дорожного кафе, выпиваю две большие порции какой-то гадости, именуемой коньяком, беру бутылку с собой. Едем. Мой замечательный водитель по-прежнему молчит. Отпиваю из горлышка и смотрю, как огромная луна следует за нами параллельным курсом. Вот она как раз пробегает деревню, где наша дача. Сейчас пора, когда мы с женой на несколько дней оставались вдвоем, чтобы окончательно вычистить огород, укрыть розы, побелить яблони. Вечером мылись в бане, я натапливал печку в доме, но мы отчего-то не торопились в тепло, долго сидели на летней кухне, кутаясь в ватники и теплые накидки. И пили мартини, любимый напиток жены. Она видела особый смысл, чтобы дорогое вино пить в самой неподходящей обстановке.

Поначалу я не понял, отчего остановилась машина, почему подруга смот-

рит на меня как-то по-особенному. Первый раз сочувствие в ее взгляде, участие. Слезы залили мое лицо, я слишком поздно спохватился.

...Заратустра вошел в город с названием Пестрая корова... Почему? Откуда это у Ницше? Очевидно, иногда не надо искать никаких объяснений – и все встанет на свои места. А Заратустру я вспомнил, потому что сын увлекся Ницше. То и дело он заходит ко мне в комнату и цитирует великого сумасшедшего. И еще мне вспомнился деревенский писатель со своим эссе. Там у него, помнится, про то, что миру не хватает безумцев. Теперь ясно, откуда сие произрастает. Ницше говорил о необходимости прививки безумия...

Сын пытается доказать мне, что смысл жизни лучше постигать с помощью философов, чем через общение с друзьями-недоумками и пустыми учителями.

– Сынок! – говорю ему с излишней приподнятостью. – Солнышко за окном! Воспользуемся еще одним шансом жить – новым днем.

А по радио с утра – дебаты очередных кандидатов в очередные депутаты.

– Прекрасная зарядка! – говорю сыну. – Столько умных и порядочных людей изо всех сил рвутся во власть – самое глупое и бесстыдное на свете. Твой немецкий умник определил стремление к власти проявлением себя как инструмента и одновременно предмета жизни. Подумай, как отнести это к нашим политикам.

Заставить бы этих философов испытать излагаемое ими на себе. Иногда создается впечатление: им не дано возможности жить, лишь – рассуждать о жизни.

Что касается нынешних политиков, они давно уже играют сами с собой, отрабатывая технологии, как обойти избирателей. Народу это не нравится, он не верит ничему, однако от участия в этом празднике цинизма пока не отказывается. Этот урод – вся жизнь уродлива, за него и проголосуем. Этот врет – кругом одно вранье, за него. Этот гладкий, тот круглый, другой, наоборот, угловатый...

Мир людской счастлив способностью отторгать и проклят необходимостью вбирать в себя. Однажды наступает время, когда уже не нужно учиться жизни. Иначе перебор, переполнение информацией, которая, если не разорвет, то полезет через край... У человека есть ряд защитных систем – потеря памяти в тех или иных обстоятельствах, умение находить заменители информации. Рыбалка, охота, грибы-ягоды, огородик, цветничок... Радости растительной жизни куда более насыщены философией, чем собственно философия. Не отгадаешь, у кого более цветные миры проносились перед последним взором – у дяди Саши на скамеечке, вынесенной в деревенскую улицу, или у холодеющего среди своих гениальных трудов Иммануила Канта.

* * *

Не знаю, почему я редко делаю генеральную уборку? В ходе нее обязательно что-то выбрасывается, от чего-то освобождаешься, воздуха становится больше. У меня есть знакомый, так он, если вещь не попалась на глаза в течение трех месяцев, уносит ее на помойку. Ни цена, ни ценность значения не имеют.

Сегодня я выбросил мешок старых журналов. Даже листать не стал. Попытался оттереть потеки на стенах – ничего не вышло. Вместе с известковыми слезами начал стираться рисунок на обоях. Оставив бесполезное заня-

тие, я открыл шкатулку с женскими мелочами. Запах сандала от бус, привезенных из Индии много лет назад, все еще жив. Поездка в Индию – мой подарок жене за сына. К тому времени его уже отняли от груди, и теща милостиво согласилась остаться с ним. При условии, что я на время отсутствия жены перееду к ней – под надзор и в помощь... Следующая памятная вещь – мартинец, два кружочка, красный и белый, связанные друг с другом. В Болгарии его надевают девушки, когда хотят родить. Наш сын долго не желал появляться на свет. И жена носила этот амулет месяцами... Бусы из агата, нашего любимого камня, – это память об Италии или Югославии, точно не помню. А вот и перстень с облачным агатом. Подношу ближе к глазам, и передо мной вспыхивает такой знакомый взгляд!

Снимаю с полки фотографию в застекленной рамке. Жена сидит в темной комнате, на ней вечернее платье и темные очки, закрывающие пол-лица. Загадочная фигура в таинственном обрамлении теней. Неловкое движение при попытке вернуть фотографию на место – и она выскальзывает из рук. На стекле появляется трещина, а мне будто по сердцу огнем прошлись. Понимаю, что это плохой знак, но не пытаюсь связать его с чем-либо. Однажды мы поссорились так, что решили, было, развестись. Моя мудрая жена сразу же после скандала уехала к подруге в Алма-Ату. В аэропорту, прощаясь, сказала мне:

– Поберегись! Через три дня тебя ожидает серьезная беда.

Через три дня я на высокой скорости врезался на машине ее отца в бетонный столб. Все обошлось, но случай запал в память, потому что это было в первый раз, когда она проявила свои необычные способности.

Шальные денечки – предвыборная суета. В течение десяти лет я регулярно окунаюсь в это дерьмо. Из-за денег, разумеется. Считаюсь специалистом в области рискованных технологий. Выборы... Державное предательство с одной стороны, и какая-то немыслимая оторопь – с другой. Власть не оставляет никаких шансов нашим детям. Против заговора нескольких сотен нечего противопоставить миллионам. А надежда, заставляющая жить, – это надежда, что от большого пирога тех самых сотен отломится хотя бы самая малость. У кого-то надежды более радужные, они или глупее или самонадеяннее.

Бывший колхозник говорит, глядя на спивающихся односельчан:

– Вот и ладненько, вся мерзость сопьется, нам, умным, хитрым и непьющим, больше достанется.

Он не скажет: брось пить, Ваня! Тошно, понимаю... А то пойдем поработаем, забудемся за делом... Нет. Пей, Ваня! И сдохни поскорей! Этот новый пролетарий капитализма, сам еще не капиталист, только мечтает – кровно заинтересован, чтобы большая часть деревни, где половина – его родня, – исчезла бы совсем. Большие богатства уже поутягали большие люди, ему осталось что во дворах – у него да у пьющих соседей. Эгоизм и эгоцентризм на современной российской почве не снились Гоббсу, Гельвецию и Риккардо.

Сын рвется делать рекламу. Молчу, хотя думаю, что перспектив в этом занятии мало. Вскоре вся реклама превратится в простые объявления о продаже – более или менее удачно сляпанные. Дорогостоящая реклама будет исчезать, поскольку предметы продажи на суперрынке, где в сделках участвуют лишь очень богатые, не нуждается в рекламе вовсе. Смешно рекламировать яйца Фаберже или полотна Гогена. Впрочем, пока еще рекламодатели могут соревноваться, у кого дешевле...

На самом деле все не так уж плохо, ибо на плите варится суп с говяжьей грудинкой. Думаю, в кастрюле слишком много мяса, часть можно будет отделить на ужин. О! Макароны по-флотски, любимое блюдо сына.

– Тебе помочь? – заглядывает он на кухню.

В последнее время этот вопрос связан, в основном, с очисткой лука. Едва я начинаю сдирать шкуру с этого зловредного овоща – чихаю, не унять.

– Не надо.

– А то у меня есть рецепт замечательного салата, называется...

– Mein Kampf на виноградных листьях? – высказал я догадку.

– Нет, «Пояс шахида под майонезом».

– Иди-ка ты! – отослал я его к компьютеру.

В избирательный штаб я шел, разгребая слякоть своими протекающими туфлями. Нет, обувь – это свято, обязательно куплю со следующих денег.

Все рекламные места в городе заняты кандидатами в депутаты, но вот один здоровенный постер – удивительно! – не поддался. Он призывает меня открыть красоту жизни в Горном Чарыше. А чего ее открывать? Давно открыта. Хоть сейчас туда, только пока у меня так: пути открыты, но нет дороги. Город – муравейник, наполненный смрадом. Вот тут-то, кажется, и нет места для жизни, а люди живут и еще стараются украсить свою жизнь в этом вонючем мешке. Не знаю почему, но хочется довести в себе отвращение к своему родному городу до крайней степени. А потом... На несколько дней в деревню, пожить одному. Ни с чем не сравнить это ощущение, когда выходишь за край села – и перед тобой огромное ровное поле, а за ним опояска из ветел и разного мелколесья. Воздух, простор, достающие до живого горячие земные токи. Разряд, осуществляемый прямым контактом между землей и небом. Заряд, достигаемый тем же самым контактом. И нет ничего более значимого – стоять на земле, упираться головой в небо, одновременно и глубоко ощущать твердь и эфир, дышать, смеясь и плача. Жить... Жду этих дней и боюсь не дождаться...

Я ведь так никуда и не двинулся от постера с чарышской рекламой. Помнится как вчера – после окончания школы были мы с сыном на Чарыше. Поездку устроил племянник жены. Он, его семья и мы – такое условие поставил перед хозяином базы отдыха. И добавил: баран чтобы был восьмимесячный. Мне почему-то больше запомнился день накануне поездки. Был Ильин день, к вечеру ударила гроза и пошел дождь. Иду – мужик прячется под деревом, пьет пиво из бутылки.

– Мужик, – говорю, – ты чего прячешься, дождик-то святой, как раз и надо помокнуть. Ильин день нынче.

Думал, скажет в ответ что-нибудь этакое, а он вылез с готовностью и давай благодарить... Да, дождь с грозой в Ильин день. По небесному плану совершается то, что и должно происходить. Люди тут не властны, и это обнадеживает.

А на Чарыше красиво – река, горы, корявые сосны, цепляющиеся за камни, чудесная погода и покой. И еще замечательный шулюм из баранины. Накануне в этом местечке под названием Чулан останавливался президент страны. Перед тем место проверяли оперативники из спецслужб, вчетвером одолевшие несколько ящиков водки. Потом песни пели и развлекались, точно дети малые. Ставили на тропах к туалетам, в других посещаемых и проходных местах учебные растяжки, всякие прочие мины и петарды. Все это жутко бухало по ночам, пугая людей и медведей.

Три дня среди этой безумной красоты, как ни странно, душа моя оставалась взаперти. Что-то мешало ей раскрыться...

– Мужчина! – окликнула меня тетка с лотком под полиэтиленовой пленкой. – Пирожки с картошечкой на конопляном масле, тепленькие, не желаете?

– На чем? – переспросил я.

– На масле, – отчего-то испугалась тетка.

Дома сын сообщил, что он устроил хакерскую атаку на кандидата.

– Да не разбираюсь я в ваших штучках! – попытался отмахнуться я.

– Ну, спама всякого на его сайт нагрузил, дохлых кошек и компру на него, любимого самим собой и массами.

Про дохлых кошек я уточнять не стал, поинтересовался лишь, кто же счастливый избранник? Оказалось, мой кандидат, именно тот, на кого я работаю. Замечательно! Я копаюсь в дерьме, чтобы заработать хоть немного денег, а мой собственный сын мешает мне в этом!

– Ну-ка покажи.

На экране высветилась заставка: орел (фамилия кандидата Орлов) с заячьим хвостом и ушами. Затем шел текст, из которого следовало, что единственный шанс кандидата – выдвинуться в городе, где его знают мало. Что он и сделал. У себя на родине он служил градоначальником и появись теперь он там – закидали бы тухлыми яйцами. Далее шли факты замечательной биографии господина Орлова, на наградной лист они явно не тянули.

Сын смотрит на меня выжидающе и с некоторой опаской.

– Ты, оказывается, знал, что это мой красавец. – Я утверждал, не спрашивал. – Молодец, все правильно. В конце концов, моя зарплата мало зависит от итога.

Я не стал продолжать, что несмотря ни на что надеюсь еще и премию получить, потому как мой кандидат все равно выиграет. При нашей избирательной системе результаты известны заранее.

* * *

Я снарядил новую, сверххитроумную мышеловку кусочком сала и лег поверх постели. Ни света, ни телевизора – ничего не хочу. Хочу молиться. Читаю Отче наш, поскольку других молитв не знаю... Во тьме бытия все равно что-то происходит, хотя зачастую не видно пути, не видно движения, не видно выхода... Может быть, однажды все разрушающая гадость и мерзость выработает своего антипода, некий фаг, который пожрет материнское начало... Святый дух есть высшее мерило и главный арбитр. Если это не так, тогда действительно нет смысла в жизни. Но я не хочу подольститься к Нему, чтобы урвать кусочек счастливой вечности. Я просто хочу верить, что Он есть, и это Он дает мне возможность не творить зло, жить в ладу, если не со всем миром, то хотя бы с крохотной его частью...

Кого Бог больше любит? Тех, у кого характер, деньги, убеждение, что никогда ничего просить не надо? Может быть – поскольку они меньше досаждают. Или других, молящих с утра до ночи: дай, Господи! С одной стороны, кому же нравится, когда его засыпают просьбами? С другой – все-таки блага истинные за неимущими. Пускай себе просят, дети неразумные, они не получат того, что может их испортить. Вера и Надежда куда ближе друг к другу, чем сестра их – Любовь.

Симка сожрала сало и благополучно смылась.

– Подожди! Вот кошку притащу! – пообещал я. – Посмотрим, кто из вас хитрее.

А ведь завтра уже наступило – подсказал кто-то. Ну и что? Заглядывая вдаль, ты привстаешь на цыпочки, то есть лишаешь себя возможности идти. Здесь и сейчас – самые правильные слова.

Племянник объявил меня пессимистом. Однако, что есть пессимизм, если в это подлючее время человек умудряется жить? Хотя как знать, можно желание жить и принять за самый что ни на есть пессимизм. А самоубийц – за великих оптимистов. Добровольно перейти границу между здесь и там – надо верить, что там лучше. Суицид – потеря контроля над собой или, наоборот, обретение самого жесткого контроля?

– Стрелять пора! – заявил сын с порога. – Этот быдляк ничего, кроме пива, не хочет!

Он зашвырнул рюкзак в угол и сел к компьютеру, обхватив голову руками.

– Ну, почему никто ничего не делает? Ненавижу!

– Сынок! – Я положил руку на его стриженый затылок (с тех пор, как он порвал с национал-большевиками, волосы отращивает чуть длиннее, на сантиметр). – А что ты им предложил вместо пива?

Сказал – и пожалел. Он тут же начал лихорадочно перелистывать страницы файлов.

– Вот, вот, вот!

– Подожди, не успеваю.

Он откинулся на стуле, и я смог разглядеть строки.

С кем вы, господин президент? С теми, кому каждый раз лучше, когда стране хуже, или с теми, кого до сих пор принуждают к ежедневной борьбе за выживание в богатейшей стране? Вы по-прежнему будете вслед за американским президентом рассказывать нам о «международном терроризме», который «наш общий враг»? Или пора отделять себя от тех, кто использует терроризм в целях завоевания глобального господства, в частности, вытеснения России с Кавказа, из западных областей? Вашим советникам не хватает воображения и профессионализма, видимо, поэтому тексты для ваших выступлений приходится абзацами списывать с речей президента США и других светочей человечества...

– Что это?

– Открытое письмо ученого-политолога, – пожал сын плечами. – Подумаешь, есть покруче. Да только фигня все это! Стрелять пора! У нас на рынке можно автомат купить?

– Можно. – Я попытался придать теме легкость. – У нас на рынке все можно купить. Но сынок! – Тут же меняю тон. – Ты рожден для любви. Мама оставила свою любовь к тебе в этом доме, она никуда не девалась, ты по-прежнему вдвойне любим... Я восемь месяцев не спускал тебя с рук, потому что доктора обнаружили у тебя родовую травму и засунули в корсет. Я по шесть часов кряду возил тебя в коляске по городу, на улице ты сразу же засыпал, и неудобство от этого проклятого корсета забывалось. Я бросил все дела, чтобы выходить тебя. Я отвозил тебя в садик, потом в лицей, потом в школу, я забирал тебя оттуда после занятий. Я ходил на собрания в школу, где нашу маму не знали. Она стеснялась бывать там, думая, что из-за болезни выглядит старой. Мы-то с тобой знаем: это не так. Я выслушивал твоих учителей, не всех и не всегда умных, и я старался не возражать им... Не горячись, сынок, и пойми: ты еще не отец. Это отцы нынче перепуганы насмерть...

Постояв еще немного возле него, я ушел к себе в комнату. Поднял глаза к

фотографии жены и неожиданно обнаружил новую трещину. Вчера ее не было – это точно! И тогда я понял: она рвется к нам!

* * *

Иногда мне кажется, что топят себя в работе люди невпечатлительные, с ограниченным воображением. Им скучно с самими собой наедине, поговорить не с кем, поспорить, позлословить... Они бегут от себя пустых, как всякий бежит от пустоты. А вот возьму и переверну все наоборот. Работу ищет человек впечатлительный, ранимый, ему страшно бывать подолгу с собой наедине, потому что он начинает судить себя, придумывать себе неприятности вплоть до скорого окончания жизни. Ему непременно надо понять истоки этих неприятностей, и он начнет пристально вглядываться в свое темное нутро и обязательно обнаружит там нечто, делающее его виноватым, лишним, убогим... Зная себя такого, он бежит от себя к работе. И кто же из нас прав, я или я? Я I или Я II? Скорее всего, как обычно – никто и оба.

Ветер разогнал смог. Дальняя стройка высветилась, приблизилась. Огонек сварки на ней все так же неутомимо вспыхивает. Подумать только! Изо дня в день человек приходит на работу, надевает робу, маску, берет пачку электродов и сваривает металл с металлом. В годы развитого социализма ему дали бы медаль и сказали: за свою трудовую жизнь ты сварил столько швов, что ими можно было бы обернуть Землю по экватору дважды. Сейчас никому в голову не придет измерять швы и вовлекать сварщика в соревнование. Он сам с собой соревнуется, чтобы удержаться на работе и получить побольше денег.

А завораживает огонек! За ним виднеется телебашня и там же начинается великолепный ленточный бор. Там нет смога, там чистый снег и сосновый запах... И все это близко, десяток остановок на трамвае. Но дело обстоит так: для того, чтобы жить, надо жить плохо. В грязном районе, в тесной квартире с шумными алкоголиками по соседству. Именно здесь построено жилье, что тебе по карману, отсюда ближе до работы, здесь школа и садик для твоих детей. В общем, здесь жизнь, хотя все противно жизни.

Доктор прописал мне спортивную ходьбу ежедневно по пять километров. Где это я их столько наберу, а главное – когда? Пытаюсь. Тороплюсь до ломоты в тазобедренных суставах. Торопился я так однажды по одной из боковых улочек в сторону конторы, а мимо меня, спокойно переставляя ноги, прошествовала девушка в джинсах, кроссовках и легком пуховичке. Вот, не поверить, как стоячего обошла! Ей-богу, давно я так не хохотал!

6.

Снегу выпало много, надо идти откапывать гараж. Первый, кого вижу, – самый гнусный из моих должников. У него маленький склад, где он торгует поношенными тряпками, которые тюками возят из-за границы. Их пропитывают какой-то дрянью, этой же дрянью пропах и он сам. Свое дело этот старьевщик открыл с моей помощью, вернее, с помощью моих денег. Смотрю на него и думаю, как был бы богат – верни мои деньги все должники! Материна квартира – вот что я распылил по всем этим ненасытным друзьям.

– Здорово! – машет он приветливо. – У меня тут есть!

Он подносит палец к горлу, другой рукой показывает на гаражную дверь. Смотрю – соседи подтягиваются, видно, им уже предложили. Старьевщик

приторговывает спиртом, потому всегда наготове. Вот и дружок мой на подходе – еще один. У меня отчего-то перехватывает дыхание.

– Деньги! – говорю через силу, вплотную придвигаясь к старьевщику.

– Я же тебе сказал, – громко оповещает он округу. – Я твой долг заморозил.

– Мой? – с трудом пропихиваю в себя воздух.

– Ну, мой, какая разница! Деньги-то как бы твои, появятся – отдам.

– Как бы, – тупо повторяю за ним. – Они у тебя всегда были. И когда я просил на похороны, и когда парню на зиму нечего было надеть...

Чувствую, сейчас упаду. Из последних сил пытаюсь ударить его лопатой, но едва лишь взмахиваю ей. И опять красные круги перед глазами, небесная карусель над головой... Нет, я не потерял сознание, потому что отчетливо слышу, как друг втолковывает кому-то, мол, мне надо было бы расписку брать.

– Сейчас по расписке любой суд махом решение выносит в пользу того, кому должны. И к бандитам ходить не нужно, судебный пристав на это есть. А так – конечно...

Лежу на мягком сугробе и думаю, что я уже в аду, беседую с чертями.

– Вы, подлецы, живете чужими бедами.

А они:

– Счастье в забвении.

Почему-то со мной обходятся, как с проституткой: пригласили, использовали, заплатили – и расстались навсегда. Другие делают ту же самую работу хуже меня, однако с ними так не поступают, их пристраивают дальше служить. За верность, за преданность. Может, в том-то как раз и дело, что я слишком выкладываюсь, работая на всю эту политнечисть. Это не нужно, недопустимо. Заказчику, оценивающему мою работу, неудобно за то, что ему приходилось оценивать ранее у других, неудобно за себя, неудобно, что он вынужден оплачивать мой труд наравне с другими, неудобно за неудобства, которые я причиняю, нарушая устоявшиеся схемы. Поначалу так: чьи-то оценки моей деятельности приманывают, толкают нанять меня. И тут же наступает разочарование: это слишком уж выходит за рамки стандартов, это не поймет простой избиратель, это, знаете ли, неудобно во многих отношениях... Я – лежанка с гвоздем, на ней всегда неудобно.

Выборы прошли вяло и как-то глуповато. Их окончание совпало с морозом за тридцать, обвалившимся на нас после долгих оттепелей. Бунтарский наш резко-континентальный климат, увы, не породил подобный характер, как некое устойчивое явление. Народ увял, будто из него выкачали жизненные соки в пользу немногих расцветших и распухших.

* * *

Я уже упоминал, что гости в нашем доме – редкость. А тут явился человек, именуемый себя писателем, принес свой новый роман. Где он только ни подкарауливал меня со своими романами! Зачем он с таким упорством сует их мне? Когда он их пишет? По-моему, если бездумно вести пером, не отрывая его от бумаги круглые сутки – столько не успеть.

– О чем на этот раз? – спрашиваю.

– О директоре завода... – и называет реальную фамилию. – А что, заказывают, в очередь стоят.

Гений графомании, он вызывает зависть серьезностью отношения к себе. Его жалеть надо, а ему завидуют.

– Вот, – без лишних слов протягивает он толстую книжищу в корявом переплете.

– Ты не пробовал пересчитать их? Толстой далеко?

Он не понимает, не принимает шутки.

– Если не брать романы в стихах – тридцать два.

Молчу, пытаясь в очередной раз понять это чудо. Не могу, не понимаю. На обороте, где значится цена книги, на его томах стоит число двести с добавкой единиц в зависимости от годовщины со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина: двести два, двести три и так далее.

– Это в рублях? – спрашиваю.

– Кому как нравится, – важно ответствует он, – в рублях, в долларах, в евро, я всякую валюту принимаю. Один привез два центнера мяса. Взял. Правда, были трудности с реализацией.

– И что, все разбирают?

На последней странице значится: тираж – тысяча экземпляров.

– Хоть заново запускай станок.

Смотрю на него во все глаза. Не хочу так смотреть, нехорошо это, но ничего не могу поделать, пялюсь против воли. Кто у нас сошел с ума – мир, я, этот писатель-чародей или все вместе? Верчу в руках книгу, удостовериваюсь, что фирменный знак на месте. Он сам придумал серию для своих изданий, и называется она простенько так – «Пушкин и поэт». Боже! Помоги удержаться от греха!

– Ну, я пошел! – откланивается писатель, делает шаг к двери и прощается окончательно. – Не торопитесь в Красную книгу! Жизнь – это прекрасное недоразумение!

Сила поэзии, подземный огонь... Кто измерит, ощутит близость его, контакт? Из шести спичек можно выложить четыре равносторонних треугольника только в трехмерном пространстве, построив пирамиду. В двухмерном – никогда. Замечательная вещь – теорема Курта Геделя «О неполноте». Суть ее в том, что выявление системных ошибок невозможно, если исследователь остается в рамках лишь рассматриваемой системы...

Можно ли воспитать в себе гиганта, наблюдая в собственной душе пигмея? Я велик! Повторяй без конца и будь великим! Ха-ха! Сила, полученная не от Всевышнего, рано или поздно обойдется двойной слабостью. Ницше, отрицавший поповские постулаты о бренности сущего, должен был бы безумно любить жизнь. Но как он мог бы испытывать это чувство с его дикими, непроходящими головными болями?

* * *

– Пивной флеш-моб! – хмуро бросил с порога сын.

Понимай так: все и всюду дружно пьют пиво. И правда, что они находят в этом пойле?

– Вот, держи! – Он протягивает мне сотню. – Честно заработал.

Сын делает газетные макеты, верстку, у него специальная издательская программа. В этом он обогнал своих однокурсников. Делает за них задания, продает интеллектуальный продукт.

– А это не...

– Это нормально, – обрывает он.

Я плохо понимаю нормальность такого товарообмена, но почти горжусь сыном. Может, действительно, научится деньги зарабатывать, не то что отец.

– Оставь себе, – решительно отказываюсь от денег, хотя уже успел прикинуть, что можно бы купить на эту сотню.

– Слушай, пап, а если б я в Москву уехал, ты как?

– Что как? – пытаюсь выиграть время.

– Ну, не против?

– А бабушка? Это, во-первых. Что ты там будешь делать? Как быть с университетом?

– Работа есть, друзья есть, зовут. Игровая журналистика, слышал?

Понимаю, все это так, выстрелы наугад, никуда он на самом деле не собирается, пока, во всяком случае. Хотя вполне закономерно, если засело в нем великое стремление его матери во что бы то ни стало отправить сына на учебу в Москву, где училась она сама. Ее понять тоже можно, наш город она терпеть не могла, считая законченным болотом. Окружающие платили ей тем же, не прощали отказы от чая во время работы, от праздных разговоров, легких отношений. Она считала все это мушиным зудом. Она меняла место работы – и все, что оставалось у нее за спиной, без нее хирело, увядало, умирало окончательно. Никто ни разу не стал ее заместителем, последователем, учеником, никому это оказалось не под силу.

– У меня знакомый, – напомнил о себе сын, – великолепный веб-дизайнер, все знают, второго такого в городе нет. Сидит на чемоданах второй год, ждет место в Москве или еще где в приличном городе. Только не здесь...

Вспоминается мне, жена с сыном ездили в Москву, там встречались с нашими друзьями, и те заклинали: в столицу! Только в столицу! У них есть свободная квартира, где мальчик сможет спокойно жить на время учебы. Да какие вообще проблемы! У них есть знакомые в университете, помогут, подтолкнут. Решайтесь, вы, провинциалы! Иначе никуда ваш ребенок не пробьется. Сами же говорили, сколько там талантливого народу безвестно пропало.

Когда жена умерла, я позвонил в Москву.

– Нам приехать? – спросили меня.

Много дней спустя я подумал: разве об этом спрашивают? Либо приезжают, либо нет. А тогда я, помнится, сказал.

– Не надо, зачем?

Еще раз я позвонил, когда мы с сыном мучительно раздумывали, куда ему податься после школы. Год для поступления в вузы выдался тяжелый.

– Насколько мы помним, – отозвались наши друзья, – речь шла о Томске или Екатеринбурге...

Я потом пожалел, что позвонил им в присутствии сына. Впрочем, он отреагировал по-взрослому.

– Я их понимаю.

* * *

В последнее время на портрете жены появились еще две небольшие трещинки. «Надо поменять стекло», – подумал я.

* * *

Каждый день смутно напоминает какую-то дату. За ней наверняка где-то в далеких годах прячется событие. Не вспомнить просто так, без напряжения, память перенасыщена. Но бывает подсказка, вот как сегодня. Вчера был день рождения моей матери, и было бы ей семьдесят восемь. Стало быть, неспроста пришли мысли о датах. Ровно через полгода день рождения отца.

Эти числа – символы, вешки, напоминающие, что ты не всегда был сиротой, сигналы родства. А еще подсказка, что взрослость – череда невзгод и потерь, огромный занавес, который постепенно все больше и больше закрывает сцену по имени счастье. Хотя, надо признать, это правило на сегодня и для меня. Моя мать была удивительно счастливым человеком, так, во всяком случае, она заставляла думать нас. Она убеждала нас в этом своей улыбкой, постоянной занятостью безо всякой необходимости что-то делать и легкостью, с которой она вершила все свои дела.

По Владимиру Соловьеву, тайна прогресса в движении вперед с тяжестью старины на плечах. И не важно, веришь ты в ждущий тебя успех или нет... Утрами я варю сыну еду – это необходимость и какое-никакое движение. Впрочем, Соловьев вряд ли брал в расчет физиологические отправления. Шаги – это шаги, и кастрюльки тут ни при чем.

Город в дымах и морозах. Тяжело ему под этим гнетом, неуютно. А люди, населяющие его, шевелящиеся во чреве домов и на тропинках улиц, не дают уснуть, не дают вздохнуть. И то сказать, город – произведение людей – дома, улицы, дымы... Они когда-то испугались жить в одиночестве, стали сбиваться в кучи. Страх все сильнее – кучи все больше. И это стали называть цивилизацией. Пусть урбанизацией – кому как больше нравится. Наверно, самые большие города населены самыми напуганными и оттого полны страха.

Позвонила старая знакомая, отношения с которой давно превратились в ничто. Она так часто и так подолгу отлучалась в поисках счастья, что я привык к ее отсутствию куда больше, чем к пребыванию в городе. Она теперь успокоилась, живет с матерью и изредка напоминает о себе, никогда не говоря напрямую, чего же хочет. Секса? Все это было так давно, что сам собой возникает вопрос: стоит ли возобновлять? Можно, конечно, ответить на вопрос опытным путем, но для этого нужно, по крайней мере, встретиться. А неохота. Любви? Это уже смешно. Иногда мне кажется, что меня можно представить, как некую перспективу – вдовец. Сам я в этом смысле считаю собственную персону безнадежной. Во мне осталось лишь мужское любопытство к женской плоти. Это не желание, именно любопытство. И какая-то пагубная страсть, – то есть теперь уже отголоски ее, – к обладанию как можно большим количеством женщин. Однако спорт не для моего возраста. К тому же все на свете рано или поздно становится скучным.

– Что тебе, родная?

Задаю очередной бесполезный вопрос и в действительности ощущаю родство с этой потерявшей телесную оболочку частью моей жизни.

Бывало, в радужные утра хотелось повторять за классиком: милые люди, здравствуйте! Нынче подобное в голову не приходит. Помнятся выборы 1994 года. Жил я в каком-то небытие: работал шофером у мелкого клерка, получившего в избирательном штабе должность, и в свободные минуты, – бывало прямо в машине, – писал за него статьи и заметки. В те дни еще удивляли истерические порывы желающих властвовать. Но уже тогда не хотелось произносить вслух хорошие слова...

Не пойти ли к какой-нибудь ведьме? Пусть научит убеждать себя самого, что я все могу. Или устроить сеансы аутотренинга. Кричу:

– Я все могу!

А из глубины – шепотом, покрывающим крик:

– Не можешь!

Но всего-то следует уяснить: из работы появляется результат, из результата – вера в себя. Мир складывается из простых истин, мудрость – из простых слов. «Что не обусловливает нашу жизнь, то вредит ей». Все тот же Ницше. Спасибо, сынок, навязал попутчика!

* * *

Командир ведет меня за казармы расстреливать. Это происходит каждую субботу после стирки, помывки в бане, смены белья. «Хоть чистым грохнет», – думаю на ходу. Виноват я всегда, должность у меня такая – заместитель командира взвода управления. Под моим началом водители, повара, отделения связи и разведки и даже свинарь. Все они, кроме разведки, службу несут постольку-поскольку, в наряды и караулы не ходят, в общем, особая каста в солдатской среде, вольняшки. Шофер вино в часть привезет, повар масло у молодых урежет, каптерщик старикам на подменку выдаст новое обмундирование, свинарь... За свинаря-то меня точно чуть не застрелили. В тот раз виноватых оказалось много – повар, давший команду капитально промыть кухонные емкости, рабочие по кухне, бухнувшие хлорки, не пожалев, дежурный, не проследивший, чтобы хлорные отходы не вылили в пищевые... В итоге все поголовье дивизионного свинарника в одночасье приказало долго жить. Командир гонял меня по суточным нарядам из караула на кухню и обратно, не давая спать.

– Достань мясо где хочешь, иначе под трибунал пойдешь!

Глупость какая! Где я его достану? Но командира понять можно. Когда наезжает командующий корпусом, первым делом направляется в свинарник, образцово-показательный по всему соединению. К слову, у нас в дивизионе все образцово-показательное, оттого никакой жизни ни солдатам, ни офицерам. Если в свинарнике все в порядке – свинки чистые, сытые, приплод имеется – вывод командующего известен: подразделение боеготово, и вся наша армия непобедима.

– Приедет генерал – я что ему буду показывать? – беснуется командир...

Допек. Я едва не решился на отчаянный шаг. Моя станция разведки и целеуказания в километре от основной позиции, ее обступают глухая тайга и скалы. И надо же такому случиться – прямо возле капонира устроила лежку взрослая лосиха. Места у нас дикие, людей она видела мало, оттого, наверное, не боялась. Однако, завидев меня или еще кого из отделения, она поднималась и не спеша уходила в глубь тайги. Полторы, а то и две коровы мяса – прикидывал я, оглядывая крупное животное. За браконьерство судить не будут, сюда не то что егерь, собака его не сунется. В части же только спасибо скажут, в этом я не сомневался... Хоть и загрыз командир совсем, не могу я в нее стрелять, она же меня не боится, можно сказать, доверяет. А слух о лосихе уже пошел, и в один прекрасный момент я понял: так и так животине не жить. И давай я ее шугать. Разворошил всю лежку, набросал туда металлического хлама, прочего неудобного мусора, начал кидать в нее палками, делать вид, что гоняюсь за ней. Однажды, убегая, она вдруг встала, как вкопанная, развернулась ко мне, голову чуть наклонила. Ну, думаю, все, добегался, что ей моя палка! А она постояла, посмотрела, долго так и, как мне показалось, печально. И ушла. Не побежала, ушла. И больше я ее не видел.

Все наши старшие офицеры прошли Вьетнам, и, честное слово, лучше бы им самим застрелиться, чем так жить. Пьют до полусмерти, ночуют в лужах, бывало, захлебывались насмерть, на боевой работе дико

болеют с похмелья, а разговаривают – только орут, благим матом, до крови на белках глаз...

Сегодня командир, как всегда по субботам, в спортивном костюме, гладко выбрит, надушен и пьян лишь самую малость. В руках у него «Макаров» и... клетка с попугаем. Это-то зачем? А главное – откуда? До сего дня этой диковинной птицы в расположении дивизиона не наблюдалось. Попугай был крупный, все тело и крылья ярко-зеленые, а голова красно-желтая. Клюв потрескавшийся, стертый, старая, видать, птица. Он важно восседает на жердочке, поглядывая на все вокруг свысока.

Командир отходит от меня на несколько шагов, ставит клетку на землю, поднимает пистолет. Ну, думаю, сейчас опять будет рассказывать про свинарник и генеральскую немилость. Десять минут трепа, – вытерплю, дело привычное, – красная рожа, искаженная криком – и все, затвор мягко спущен, и я отправлен в очередной наряд...

– Значит, план по заготовке семян конопли сорван, – абсолютно спокойно начинает он.

«Какой конопли?» – в изумлении гляжу на него, но знаю, что бы ни случилось, надо молчать.

– Это при том, – продолжает он так же, не повышая голоса, – что другие дивизионы и полк в целом задание перевыполнили.

На последних словах он открыл задвижку в клетке. Попугай нехотя выкарабкался наружу и взобрался на вершину проволочного купола.

– Стало быть, кто-то потрудился за нас. Армия, как известно, не любит тех, кто прячется за чужими спинами. Кто руководил уборкой урожая у нас в дивизионе? Вы. Вы, товарищ сержант. Вам и отвечать по всей строгости армейских и человеческих законов. Что скажете, товарищ командующий? – обратился он к нахохлившейся птице.

Та встрепенулась, завращала глазами, вытянула шею в мою сторону, клекнула, будто горло прочистила, и как заорет:

– Пли-и-и!

Выстрел слился с командой...

...Ощупываю грудь в области сердца, в нем боль пульсирует горячей точкой, будто и впрямь там засела пуля. Нет, я живой. Только выстрел был, точно, я его слышал, это не могло присниться. Обвожу трудно проясняющимся взглядом комнату. Вот оно! Фотография жены упала с полки, и стекло разлетелось вдребезги. Я вытащил из рамки оставшиеся осколки, погладил фото и решил, что надо придумать другую оправку, более устойчивую.

...Утверждение ереси против истины есть сама истина, только вектор сбит и проверяющий задание пьян. Денег нет, а дитя кормить надо. Нет и надо – вот два ключевых слова. Впрочем, есть еще одно – дети. Пожалуй, в них ответ о продлении себя во времени. Нет, иллюзия, продлеваешься не ты – так, набор хромосом, иногда черт характера. А с тем – заряд конфликтов разной силы и степени опасности. Примеров ненависти сыновней не меньше, чем любви. Хотя любовь во всем этом – единственное лекарство, единственный смысл.

В телевизоре теперь ежедневно сообщают, сколько дней осталось до Нового года. Все меньше – без телевизора понятно... Блаженный писатель-графоман где-то тихо ходит, тихо живет и с упорством тихо помешанного изводит тонны бумаги. И ему на все наплевать! Святой!

Полить цветы, которым после смерти жены ни от кого нет внимания.

Полюбить дачу, которую, теперь некому стало любить. Сделать ремонт в квартире. Купить стулья. Да, для начала купить стулья!

Сын принес пачку сушеных кальмаров, изготовленных специально к пиву.

– А пиво?

– Социализироваться захотел? Все равно денег не хватило бы.

– И сколько это добро стоит?

– Тридцать рублей.

– С ума сошел! Можно было купить тебе шоколадку для мозгов, а мне, так и быть, пиво. Или тех же кальмаров за пятнадцать, есть, я видел.

– А вот умру и жалеть буду, что не купил кальмаров за тридцать рублей.

– Когда умрешь, ни о чем уже жалеть не будешь.

– Как же! А что я там делать стану в ожидании Страшного суда? По полям шататься да ромашки собирать?

Вот, поговори с ним! Купил и купил, ладно... Недавно он завел сайт специально для меня и снабдил электронным адресом. Спросил:

– Тебе как у президента?

– Не понял.

– AW@kremlin.ru.

– Зачем мне твой кремль?

– Говорю же – как у президента.

По прошествии нескольких дней на мой электронный адрес залезла реклама семян для попугайчиков, навязчивая Нина с предложением встретиться для начала серьезных отношений, чуть менее навязчивая Люся с «фантастическим» бизнес-планом.

– Имей в виду, – объяснил сын, – все эти нины и люси на самом деле сетевой администратор Вася из какой-нибудь конторы «Рожки вверх».

– И зачем я им?

– Сети на лохов забрасывают, мало ли...

– Например?

– Если тебе предложат деньги, ты откажешься? Нет. А они повернут именно так, что ты не усомнишься: деньгами пахнет.

После этого разговора я вспомнил отдых на Кипре. Нам хватало всего – моря, солнца, фруктов и любви. Хотя сервисное обслуживание значилось – для эконом-класса. И вот однажды сваливаются на нас этакие веселые молодые ребята, красавцы как на подбор, национальность не отгадаешь – тарахтят на любом языке. Особенно мне запомнился выхоленный двухметровый негр (с этим трудности в определении национальности, понятно, не было), изъясняющийся по-русски не хуже меня. Мы еще не поняли толком, о чем речь, а уже было сказано:

– Все бесплатно.

Оказалось – бесплатный автобус, экскурсия по супер-отелю, ланч и подарки. Жена мне подмигнула: поехали! По дороге объяснила, что будут заманывать в какое-нибудь предприятие, скорее всего, это – тайм-шер, она о таких игрушках кучу чего читала и слышала. Главное, повторила несколько раз, ничего не подписывать.

– Нас обязательно разведут в разные комнаты, и все равно – ни одной подписи. Подумаю, скажи, – и все.

Так и случилось. Только прессинг оказался намного более жестким, чем я мог предположить. А предлагали нам ни много ни мало этот роскошный отель, куда нас привезли, в собственность. Самый настоящий дворец с несколькими бассейнами, площадкой для гольфа, казино... Первый взнос –

небольшая сумма в несколько сотен долларов – это не только плата за акции совладельца, но еще и право приехать сюда с семьей на следующий год. Вы участвуете во всех делах отеля и его служб, захотите расширить свое влияние – пожалуйста, вносите дополнительные деньги.

Говорилось много – вроде бы ясно, конкретно, но в то же время на удивление туманно. Заболтать, утомить, ошеломить, завлечь и запутать – я понял их задачу.

– Еще кофе?

Негр уже начал нервничать. А то! Я прикинулся полной бестолочью, и вскоре сожаление во взгляде бомонистого негра сменилось лютой ненавистью.

Жена, как она потом рассказала, напротив, давила своего агента интеллектом. Он сначала пытался поддакивать, – а речь шла о театральных и книжных новинках мира, о знаменитых композиторах, певцах и архитекторах, – но вскоре сник, поскучнел. Однако под конец ей удалось расшевелить его снова. Она сказала, что в анкете наврала, никакой она не телевизионный обозреватель, а самый настоящий специалист по тайм-шеру, игре, которой они тут пытаются ее обучить. Мало того, она знает несколько способов, как заманить лопоухих, и эти новшества не могут быть известны им, детишкам-приготовишкам. И один рассказала – сочинила на ходу. И удивила на самом деле.

Когда нас свели в одну комнату, негр, презрительно глядя на меня, улыбнулся с натяжкой.

– Вышла небольшая неувязка, автобус сломался, и вам придется добираться назад своим ходом.

– Что вы, что вы! – засуетился обработчик моей жены. – Ни в коем случае, я увезу вас на своей машине.

Моя жена – само обаяние и простота:

– Разумеется. А кофе у вас дрянь, не благодарю. И где обещанные подарки?

Хозяева сделали вид, что они маленько подзабыли, спохватились и вот уже торжественно вручают жене золотую головку богини Ники на золотой же цепочке, а мне – сертификат на авиабилет от Москвы до Кипра или Испании, или Таиланда, или Эмиратов. На выбор. Та бумажка, кстати, валяется у меня где-то и по сей день.

– Откуда ты все это знаешь? – не удержавшись, шепотом спросил я ее в машине.

– Я уже тебе говорила – газеты надо читать.

...На мониторе замелькали портреты президента в разных ракурсах.

– А человека, похожего на президента, с девочками в бане у вас нет?

– Подумаешь, проблема! – брезгливо скривился сын. – Кремлевские забавы поинтересней. Серьезные денежки, большая коммерция. Еще та игра, такого футбольного поля нигде не найдешь – от Атлантики до Тихого океана. Причем везде семейный подряд.

– Ты бы лучше уроки учил! – Я сделал вид, что рассердился.

– Уроки – это, папа, в школе, ты заблудился во времени.

– Плевать! Задания, лекции, что там у вас... Кстати, – знаешь, за что убили Хлебникова *(Поль Хлебников – редактор отдела журнала «Форбс», убит в Москве. – А.К.)?* Говорят, слишком близко подобрался к кремлевским деньгам.

– Я тебе вот что скажу. – Сын развернулся ко мне всем телом. – Если уж я не могу их перестрелять, пускай меня застрелят! Чем жить среди всего этого дерьма!

Вот тут мне стало по-настоящему страшно. И не от слов его, не от горечи, не оттого даже, что он копает в опасном месте. От безысходности, оттого, что я не могу ни возразить ему, ни успокоить. Оттого, что у меня две главные задачи – накормить его и дать ума-разума, а я с первой-то справляюсь едва-едва... Я хотел ему сказать, что он родился ровно через девять месяцев после смерти своего деда, моего тестя. Замечательный был мужик, добрый, умный, суровый и нежный... Он уступил место тебе, моему сыну. Но на этот раз я промолчал, вспомнив, что нечто похожее в подобной ситуации я уже говорил.

Я ушел к себе в комнату, долго смотрел на портрет жены, пока еще не застекленный. Из затемненной комнаты, сквозь темные очки она внимательно и строго смотрела на меня. Она, очевидно, хотела сказать что-то уместное, нужное сию минуту, но неведомое мне.

– Я не слышу тебя, дорогая! Я не слышу...

7.

Мой нетерпеливый племянник начал развозить подарки за несколько дней до Нового года. Наверно, чтобы не забыть кого из родни. Вручил нам с сыном пятидесятидолларовые карточки для мобильных телефонов и здоровенный кухонный комбайн.

– Инструкции на русском не оказалось, так, поди, разберетесь. – И ткнул сына в бок. – Это не сложнее компьютера.

Обнял нас и умчался счастливый от сознания, что кого-то осчастливил.

Сын быстренько перевел с английского что к чему, мы, строго следуя инструкции, нажали все кнопки, но чудо-машина не захотела работать.

– Наверно, мы делаем что-то не так, – почесал я в затылке.

– Поехали в магазин, – предложил сын, – вернем технику и заберем деньги. На хрена она нам? Я тебе на терке и на мясорубке все перетру и перекручу.

Предложение заманчивое, на деньги за эту технику можно полтора месяца прожить. Однако речь идет о подарке любимого племянника, нельзя, обидится.

– Насчет магазина стоит подумать, – прикинул я возможные варианты. – Давай поедем и попросим включить такую же. Все станет понятно.

Поехали. Попросили. Включили. Консультанты сделали все то же, что и мы дома, только магазинная техника в отличие от нашей заработала. Вот тут бы в самый раз и сдать ее, но нам растолковали, что магазин назад покупки не принимает, а поскольку у нас гарантия, надо ехать в гарантийную мастерскую

– Адресок указан в паспорте, – улыбнулась обворожительная ведьма.

Дома мы еще раз попробовали завести комбайн – бесполезно. Стали внимательно изучать документы, убедились, что гарантийный талон в порядке и обнаружили небольшую приписку в паспорте: без проверки. Понятно, этот торопыга схватил в магазине запечатанную коробку и умчался. Как еще гарантийный талон догадался заполнить? Звоню ему.

– Племяш, твоя штуковина не работает. Там в паспорте такая пометочка есть: куплена без проверки. Знаешь, как это переводится на русский язык? Ты – чудак на букву «М».

– Какие проблемы! – успокоил он, просмеявшись. – Сейчас подъеду и увезу.

Сижу и завидую племяннику, удачно торгующему металлом, соседу по гаражу, занимающемуся отделкой квартир и офисов... Увы, не мое, не мое, не мое... Как-то бы победить эту ситуацию, но как? Надо изуродовать себя, чтобы вписаться в этот изуродованный мир. Надо иметь два себя – две сути, два времени, два здоровья, две нервные системы...

А лесные поляны спят под снегами. Я скоро к вам приду, вот настанет весна. Никому, самому себе не объяснить, как это случается такое – под июльским солнцем на клубничной поляне приходят счастливые мысли... Ощущаешь себя творцом, исторгаешь что-то, как тебе кажется, новое и умное... Вот оживут поляны... А я уж и не хочу избавляться от дачи, а я уже думаю, как выровнять забор, напоминающий испуганную пиявку.

* * *

Сколько звуков вокруг! Гудит стройка под окном, визжит вентилятор в пекарне, где почему-то работают одни туркмены, у соседей сверху гудит пылесос, внизу песни поют вторые сутки без передыха... Помимо того, дом мой наполнен памятью о звуках. Открываю стихи Левитанского. Своеобразно письмо его, кинематографично. Сборник так и называется – «Кинематограф». На полях пометки, сделанные рукой жены... Как трудно жить в доме любимого и умершего... Музыка вступает некстати. Тишина обрушивается на тебя – некстати. Стихи падают с полок, несутся, вламываются в тебя – некстати. Твоим миром управляют звуки, строки, мысли, молитвы – тихие и отчаянные, – песни, безгласые крики и нервные мазки исчезнувших художников... Все, все некстати. Они меня не спрашивают, они здесь большие хозяева, чем кто бы то ни был. Мера любви, той, прижизненной, определяет право властвовать в доме.

Очевидно, меня любили больше, чем я. Но ведь я сильнее никого не любил, это я точно знаю. Все равно мало, да? Наверно. Любви никогда не бывает много. Я проплутал в лабиринте, где выход к любви ужасно запутан. Я проплутал всю жизнь. Хватит! Остановись! Пусть уже другие тычутся в глухие углы и попадают в тупики.

Увы, жизнь не подвластна разуму и поставленным раз и навсегда задачам. Она тянет за рукав: иди! Ей нет дела, что ты упадешь где-нибудь в изгибе лабиринта, не дойдя, не найдя...

Однако в последнее время меня все больше и больше влечет домой. Может, вся эта дисгармония и есть настоящий лад? Кто знает? Во всяком случае, не хочу ничего менять, разве что перетрясти книги, вытереть с них пыль и... наткнуться на строчки:

Бремя фамильного сходства
С Богом и горсточкой праха...

Вчера побывал в елочном городке, думал, елку уже зажгли. Нет, пока еще стоит без огней. Шла репетиция открытия елки, репетиция Нового года. Встретил знакомого шофера, он возит одного из самых больших краевых начальников. Говорит, его шеф хорошо обо мне отзывается. Боже ты мой! Весь мир населен идиотами или это лишь мне посчастливилось жить в таком особенном городе? Я же сколько раз просил взять меня на работу, в том числе и у этого самого начальника! Если я, на ваш взгляд, умею делать дело,

что ж вы не даете мне его? Смешные люди! Я сказал об этом шоферу, и он припал к моему уху:

– А они тебя бздят!

Он пошел восвояси, а я долго стоял в недоумении: что же во мне такого страшного для вас, сильных мира сего? Я сам перепуган до смерти нынешней жизнью.

Нет, все не так, опять векторы сбиты, задание не выяснено. Единственное средство борьбы с миром – любить его. Любить все подряд – врагов, грязь, безденежье, не думая, будто кто-то или что-то любви недостойно. Позвольте! Но в таком случае надо быть сумасшедшим, иначе можно всю жизнь положить на то, чтобы заставить себя любить ВСЕ ЭТО! Осознанно потратить собственную жизнь на достижение недостижимого!

Уже который год я смотрю в одно и то же окно. И за окном одно и то же: дымы, новостройки, усыхающий частный сектор, который теснят каменные гиганты, телевизионная вышка, темная полоска бора... И мысли одни и те же, по кругу, по кругу... Вдали заснеженное Заобье, великие неосвоенные просторы и – призрачный шанс на прорыв из этого мрачного замкнутого пространства. Какой шанс? Направить свои тускнеющие очи в ту сторону?

* * *

Несть числа дням, как не могу дозвониться своему напарнику-рыбоводу. Дождался выходного, поехал на рынок. И каково же было мое удивление, когда на привычном месте, где располагался наш работник, я обнаружил тетку, раздутую от обилия одежды, словно мячик. У нее был красный нос и в тон ему толстенный мохеровый платок. Но самое невероятное – тетка торговала волнистыми попугайчиками! Подошел покупатель, и она извлекла из клетки бело-голубого красавца. Стала объяснять, что вот этого еще можно научить говорить, но уже без гарантии, возраст для обучения критический.

Я переводил взгляд с тетки на птицу, с попугая на покупателя, с того на мешок с конопляным семенем, стоящий в ногах у продавщицы, и в какой-то момент мне показалось, что эта самая тетка сидела на телеге возле моего дачного дома, когда мы сажали картошку. Хотел было спросить, куда подевался наш продавец, да передумал. И так ясно: меня надули в очередной раз, и больше я уже никогда не увижу ни своего напарника, ни денег от нашего рыбного бизнеса. Я подался к выходу, и вдруг со спины явственно донеслось:

– Попугайте покупайчиков!

Обернулся – ничего в наблюдаемой только что картине не изменилось, и до меня по-прежнему никому нет дела.

Сделал несколько шагов по улице – вот теперь что-то стало меняться, что – не пойму. А легко-то как! А воздух как необыкновенно свеж! А как заманчиво пахнут чебуреки на лотке у девчонки в грязном фартуке, как соблазнительно! Не иду, а плыву – поверх снегов, поверх машин, поверх голов... Господь избавил меня от друзей, Господь избавил меня от обязанности трудиться, от гибкого позвоночника, от денег, от сумасшествия любви!..

* * *

Я живу под снегопадами. Метели кружат, будто февраль на дворе, а не конец декабря. А что если, не раздумывая, натянуть старые башмаки, сесть в трамвай седьмого маршрута и уехать в лес. Несколько глубоких вдохов сре-

ди сосен – это самое полезное и правильное из того, что можно придумать вот так, вдруг. А по дороге я куплю маленькую елку. Нельзя нам без елки, жена не простит. Боже мой! И я еще думаю о каких-то шансах! А жизнь взяла да и обрушилась, не оставив ни одного! Скоро будет полтора года...

Что-то давно на моем пути не попадается хромой ученый из политехнического института. Раньше дня не проходило, чтобы мы не встретились. Тело его изуродовано детским полиомиелитом, в своих ортопедических ботинках он передвигается, как причудливая каракатица. Представляю, каково ему сейчас, в этакий гололед. Впрочем, для него гололед – вся жизнь, где он отлучен от нормального существования, от любви. Человек, обреченный ненавидеть, потому что любовь требует ответа, а кто ответит ему?

Однако и за ним целый мир. Как-то мы весь вечер посвятили разговору о портвейне. Оказалось, он неплохой знаток вин и большой любитель портвейна. Надо сказать, редкость в наше время... Впервые я встретил его, когда он, стоя поблизости с нашим домом, разглядывал звездное небо. Полный невежда в астрономии, я выслушал его маленький урок о каком-то созвездии и тут же забыл все напрочь. Запомнилась лишь одинокая увечная фигура на фоне бескрайнего неба. Одиночество его тоже показалось мне бескрайним.

За время, прошедшее со дня нашей первой встречи, один гололед сменился другим, рухнули миры, погасли звезды... Но что такое исчезнувший где-то там мир, погасшие в неизвестном далеке звезды, если я перестал улыбаться!

Однообразие задач угнетает. После Нового года моей зарплаты едва хватит, чтобы оплатить жилье и коммунальные услуги. Проклятый электросчетчик и прочие «Водоканалы», которые отсчитывают нашу жизнь по количеству смытого дерьма и перхоти!

Ладно, это все завтра, а пока мы наряжаем елку, которую, кстати, не пришлось покупать. Вдруг явился замечательный человек из Горной Колывани, директор камнерезного завода. От него пахло горами, нездешним снегом и какой-то особенной печалью, какая прячется в заснеженных скалах. Отдал елку, молча перекрестился на портрет жены, с которой они, бывало, подолгу вели разговоры под близким колыванским небом – и ушел.

Игрушки в большинстве своем старые, их навешивали на елку еще мои деды. Иные до того стали хрупкими – рассыпаются в руках. Оказывается, стекло тоже стареет.

– Ах, сын мой! – приговариваю, нацепляя гирлянду. – И почему никому не удается превратить жизнь в наслаждение? Зеленые от собственной застарелой скуки философы никак не могут примирить мудрость с улыбкой. Законы нравственности зачастую скучны и непотребны... Наслаждаться – занятие дорогое, трудное и, как ни странно, не очень разнообразное. Очевидно, призвание святых – неумение наслаждаться. Попы-расстриги, тайные греховодники – этих много и они попали на службу по ошибке. Они хотели изнасиловать самих себя, подольститься к горнему свету и тем обмануть природу, даровавшую им возможность наслаждаться хотя бы изредка. Лукавые нищенки, зло побивающие случайных побирушек, – начало лицедейства еще до входа в храм. А там – суетливые мелкие служки, расторопные алтарщики, подвижные диаконы, степенные иереи – и в каждом борьба...

Мне однажды сказали: праздновать Рождество тогда-то. Все. Еще и бумажки в виде календарей выпустили – помни. Меня связали. Да разве ж одним этим! Маркс, по-моему, отметил: «Животное хочет того, в чем нуждается, человек нуждается в том, чего хочет». Экое торжество разума!

– А Ницше сказал, – поддержал разговор сын, – «Вы поверили в меня еще до того, как поверили в себя, оттого вера так мало значит».

Сильный строитель из числа разрушителей! У меня возникает подозрение, что в жизни Ницше был слаб духом. Сама жизнь – и его, и нас всех – учит доказывать многое от обратного. Усилие его в признании мужества за главное мерило попытки жить кажется мне беременным отсутствием мужества. «Уйдите от меня и только тогда вы сможете по-настоящему придти ко мне...». Многое – котурны, искусственные поддержки, иголка в руках невропатолога, чтобы обнаружить в пациенте чувствительность.

* * *

А надо ли покупать стулья? Можно спокойно сидеть на старых еще несколько лет. Можно их подправить, склеить, посадить кое-где на шурупы и металлические уголки. И жить дальше, не думая о стульях. Не обращать внимания так же, как и на залитые стены, ободранные обои, растрескавшиеся плинтуса. Перед глазами квартира моего московского друга, где стены оклеены газетами сорокалетней давности. Когда их клеили, они были свежими.

В наш город на гастроли приехало шоу попугаев. Едва приметное объявление среди почерканных и покромсанных лиц бывших кандидатов: во Дворце моторостроителей только два выступления. Я решил сходить, потому что в последнее время эти странные – мудрые и тут же дурковатые – птицы каким-то образом влезли в мою жизнь.

Маленькая арена, устроенная на сцене Дворца, напоминала цирк в миниатюре. Под потолком трапеции, обручи, внизу ковер, ограниченный барьером. На подходе к залу, в фойе, в здоровенных стеклянных клетках-вивариумах удавы и удавчики вдохновенно пожирают белых крыс и серых мышей.

Представление ничего необычного не явило, разве что двух попугаев-гигантов, наряженных во фраки. Один изображал из себя директора труппы, другой, очевидно, его помощника. Они обменивались вполне внятными репликами, обращались к залу и вот тут дрессировка иногда их подводила. Нет-нет – да и ляпнут что-нибудь невпопад. К примеру:

– В восьмом ряду сидят одни дураки.

Впрочем, это могло быть домашней заготовкой. Как известно, чаще всего восьмой ряд отводят для начальства. А в остальном – прыжки, упражнения на трапеции под куполом, игры в арифметику, в отгадывание имен и карт. Надо сказать, довольно скучно. В зале отчего-то оказалось сильно натоплено, и меня в конце концов разморило.

Тут вижу выход новой, весьма живописной группы. Почти все похожи на тех двух птиц-гигантов строгой, официальной одеждой. Однако есть и отличия: тульи цилиндров обернуты национальными флагами различных держав. Один, судя по всему, главный, очень мало походил на попугая. Ноги ему достались от кого-то вроде цапли, головка маленькая, синичья, зато клюв крупного хищника. Цилиндр его охватывал звездно-полосатый флаг, потому всякие сомнения по поводу, кого он тут изображает, сразу же отпадали. Остальные тоже были узнаваемы. Долговязый и абсолютно лысый с выдающейся далеко вперед верхней частью клюва; хорошо сложенный блондин с кудрявым хохолком на голове; лысоватый, подергивающий плечами и загадочно улыбающийся – его манишка сидит на черно-желтом поясе, указывающем на какой-то дан в карате. Прически удалось разглядеть, потому что они в какой-то момент разом поснимали головные уборы. Были еще и дру-

гие, в большом количестве, но какие-то незапоминающиеся, особенно эти, желтые с черным оперением – ну прямо-таки на всех одно лицо.

Они важно прохаживались по сцене, затем долгоногий с орлиным клювом взмахнул крыльями – точь-в-точь хлопнул в ладоши – и в кругу появилась огромная карта мира. Все разом столпились вокруг, а хищник взобрался прямо на карту и начал тыкать своим куцым крылом в разные стороны. Сначала он указал на район бывшей Югославии и при этом криво усмехнулся, затем потоптался на Украине, указал южное направление, на что немедленно отреагировала крупная птица с неизвестным мне флагом. Отличительная особенность – клюв у неё еще более крючковатый, чем у главного. Попугай взмахнул было крылами, но тут же увял под строгим взглядом птицы-гибрида. А та уже вела крылом над Камчаткой, Курилами, Японским морем и грядой островов вблизи Китая. Желтоперые оживились, загалдели, но быстро стихли и стали внимательно слушать, о чем пойдет речь дальше. В зале слов не слышно. Интересно было наблюдать за вертким, спортивного сложения попугаем. Он быстро передвигался из стороны в сторону, изредка потирал руки, шептал кому-то на ухо и все время как-то вкрадчиво улыбался. Несколько раз звездно-полосатый бросал на него строгие взгляды, в ответ все та же улыбка и согласное покачивание головой...

Я уходил из зала одним из последних. Остановился возле огромного стеклянного куба с юной анакондой. Долго ждал, когда она, наконец, втянет в себя толстый крысиный хвост, выглядывающий из пасти, но удав, похоже, не торопился, он спал.

В дурной траве силы больше. Закон природы. Теща уверяет, а оно, очевидно, так и есть: весь травяной сор во дворе, чему не страшны ни засуха, ни ранние заморозки, что живет и здравствует при всякой непогоде, – это и есть лучшее лекарство от всякой хвори. В нем сила, дающая силу человеку. Вот и ходит бабушка по двору, поедает травушку. А бабушке пошел восемьдесят восьмой год, и она в здравом уме и крепкой памяти.

На работе мне подарили цветок. Мало того, что он похож на фаллос, через неделю он сделался, как вареный, и рухнул.

– Это что за намеки? – изобразил я обиду.

А мне объяснили, что теперь надо ждать девяносто дней, когда луковица проснется, и росток опять воспрянет. Зато на пустом месте в том же горшке весело попер навстречу солнцу росток конопли. Резные листочки бодро выглядывали в окно, требуя света, тепла и внимания.

Опять вспомнился Чемал, туберкулезники из санатория, собирающие пыльцу с конопли, и друг мой московский, его оклеенная старыми газетами квартира, где мы мечтали когда-нибудь уехать в Горный Алтай и поселиться там навсегда... По сию пору не занято место под скалой у маленького озера. Я представляю, как мы готовим фундамент, завозим стройматериалы, вычищаем озеро. Это обязательно – чистить озеро и подходы к нему... Наверно, можно еще куда-нибудь уехать, совсем в другую сторону. Мои любимые места вдоль Катуни все давно уже скуплены. И все-таки я хотел бы поближе к Чемалу, где реликтовые сосны и воздух, настоянный на их хвое, напоминают Пицунду...

Мой одноклассник застолбил неплохой участок на берегу Катуни в нескольких километрах от Чемала. Другие владельцы кемпингов, лагерей и стоянок ютились на крохотных пятачках, а у этого – сумел же! – футбольное

поле, волейбольная площадка, стоянка для машин и еще куча свободного места, где он собирался строить новые домики, кафе и ресторан.

– Денег нет, – пожаловался он, – всего десяток летних домиков – это не размах.

Мы с женой поселились в крайнем из двухместных домиков с видом на Катунь. Мимо нас никто не ходил, и это, по-моему, понравилось ей больше всего. У нас была своя беседка, летний очаг и даже мангал для шашлыков. Жена неважно себя чувствовала, редко выходила из домика, читала. Впрочем, это лишь поначалу. К вечеру для нас истопили баню, и мы ныряли прямо из парилки в ледяную Катунь.

– Ты чего так кричишь? – спрашивает она.

– Бесов изгоняю. Говорят, лучший способ.

И мы хором орем, распугивая ночные призраки.

– А-а! О-о! У-у!

Тело после такой бани горит, кожа становится шелковистой, и горькие морщинки возле губ разглаживаются.

Я пьян от бани и влажного прибрежного воздуха, который вечером совсем не тот, что днем, а утром не тот, что ночью. Здесь от часа к часу все меняется намного сильнее, чем на равнине.

А еще – дым разожженного мангала, от него я тоже пьян. Портвейн не в счет. Жена нанизывает куски мяса на шампуры и подает мне.

За нами наблюдает девушка лет девятнадцати в зеленой майке и таких же шортах. Она похожа на армянку, невысокого роста, немного полноватая. У нее красивая, слегка вытянутая вперед шея и выразительные глаза, я бы даже сказал – чарующие. Она сидит в нашей беседке, в трех шагах от мангала, и хотя бы на мгновение не пытается отвести взгляд. Смотрит и смотрит.

– А мне льстит, что мой муж до сих пор нравится молоденьким девочкам, – говорит жена, не оборачиваясь в ее сторону.

И в этот момент я нахожу в них некоторое сходство: гладко зачесанные назад волосы, овал лица, выразительные глаза... Девушку нисколько не смутили слова жены, она не поменяла позу, не отвела глаз. Наливаю мартини в пластиковый стаканчик, протягиваю ей. Не отказывается, пьет. Затем подходит очередь шашлыка – и его она принимает без жеманства, с достоинством арабской княгини. Мне надоедает эта игра.

– Вы же, если не ошибаюсь, восточная девушка...

Я попытался вложить в эту полуфразу и осуждение ее навязчивости и просьбу дать возможность побыть нам вдвоем. Однако ее ничто не задевало. Тогда я пошел купаться в ночной Катуни, порожистой и холодной, опасной. Темно, поэтому я вошел в воду голый, а, выйдя на берег, оказался лицом к лицу с девушкой. Она все так же не отводила глаз, не смущалась и ничего не говорила. Это уж совсем не нормально! – подумал я и поднял голову. Жена стояла на крыльце и смотрела на нас – круг света от последнего фонаря самым краешком касался полоски воды, меня и девушки.

– Пойдешь к ней? – спросила жена, когда мы, наконец-то, остались одни и зашли в домик.

– Немного сумасшествия в горах, где все хотя бы ненадолго, хотя бы чуть-чуть становятся идиотами, так, да?

Жена загадочно улыбнулась, и я подумал: как она еще красива и молода!

– Впрочем, надо ли куда-то идти, – не теряя улыбки, произнесла она, – мы ведь похожи, мы одно лицо, я – это она.

– Неправда, ты ни на кого не похожа, ты неповторима. Не-по-вто-ри-ма!

– Ерунда! Всегда на Земле есть пара похожих людей, есть даже двойники. Но это другое, я – это она, – повторила жена тоном заклинания. – Мне еще нет двадцати, я увлечена тобой, твоя спортивная фигура явила мне абсолютно неожиданную мужскую красоту. Иди ко мне! В этой пьяной ночи нет неверных... Есть моя чистая, южная, смуглая кожа, мои волосы до колен, это неземное покрывало, которое, касаясь, наполняет тебя током любви. Иди же, иди!..

Я ощущал себя где-то за пределами яви. Это была сумасшедшая ночь, фантастическая, незабываемая...

Утром я прятал глаза, а жена весело хлопотала над завтраком. Стол – как мы любили накрывать на юге – крупно нарезанные овощи, много зелени, фруктов. А вот этого на нашем утреннем столе не было никогда – бутылка мартини. В какой-то момент я задержал на ней взгляд. Она ответила тем же, и мы расхохотались.

– Надо же! Ты опять мне изменил! – сказала она со смехом.

А потом я пошел бродить по прибрежным скалам. Отчего-то вспомнился Кипр, и счастливая мысль пришла мне на ум. Очертя голову помчался к однокласснику, в служебный домик.

– Есть предложение. Ты ставишь на своей территории домик за мои деньги. Сколько раз, по-твоему, я сюда смогу за год приехать? Три, от силы четыре по три-четыре дня. Вряд ли будет возможность на большее. Будь любезен, предоставь на это время домик в мое распоряжение. Зато все остальные дни в течение сезона ты эксплуатируешь его как захочешь. Сдаешь, пускаешь друзей. В доходы от домика входит оплата сторожа и прочие твои расходы на поддержание порядка, налоги и всякое такое. Просто!

Одноклассник согласился с небывалым энтузиазмом, понятливый, ничего не скажешь. Более того, он сказал, что найдет еще нескольких желающих из хороших знакомых и таким образом расширит жилой массив своей базы.

– Пошли искать площадку под домик, – предложил я.

Не сказал, правда, что давно уже нашел. Позвал с собой жену, объяснил что к чему.

– Цивилизованный тайм-шер, – сразу же поняла она замысел.

И вот я раздвигаю заросли акации и багульника – и перед нами открывается удивительная терраска, закрытая от трассы и всего лагеря отвесной скалой, нависающая над бурлящей Катунью и в то же время весьма прочно стоящая на мощном каменном подпоре.

– Господи! – прижала руки к груди жена.

– Считайте! Должно быть ровно семь!

Я кружил по площадке, отыскивая в траве маслята, которые накануне успел пересчитать. Светло-желтые грибочки в капельках росы едва выглядывали из зелени.

– Семь, – обреченно повторил одноклассник.

Оказалось, что он давно уже облюбовал это место для себя, но никуда не денешься. Я схитрил, перед нашим обходом поставил условие, что сам выберу площадку, а он согласился.

Тут же я выложил сумму, равную полной стоимости домика с учетом всех затрат на подготовительные работы, материал и само строительство. Поговорили о сроках, о цене на лес, о возможном моем участии в строительстве кафе под скалой у живописного ручья. Мне уже рисовались перспективы туристического бизнеса, замечательной работы, связанной со здоровьем...

И глаза моей жены лучились восторгом. Мы без пяти минут хозяева домика у Катуни неподалеку от Чемала! Вчера не поверили бы в этакое. Никто никогда наше место не займет! Не надо ни палаток, ни мешков с припасами, все на месте! Мы уже почти создали свой маленький рай на любимом берегу! Мы заплатили деньги! Без скарба, в белых сорочках, блузках и шортах мы выезжаем из города и через четыре часа мы в своем маленьком бунгало среди багульника, сосен и ворчанья Катуни...

Через неделю мой одноклассник погиб в автомобильной аварии. Причем случилось это не на горной дороге, а возле самого города, на ровном месте. За рулем сидел сын, он не справился с управлением, врезался во встречную машину.

Не знаю почему, но сейчас мне кажется, что именно с этой непоправимой беды началась и наша катастрофа.

* * *

Росток конопли окреп и уже напоминал взрослое растение, только в уменьшенном виде. Я даже умудрился повесить на него маленький новогодний шарик и ленточку слюдяного дождя.

8.

В канун Нового года пестрый люд, именующий себя творческой интеллигенцией, устроил тусовку в модном кафе под названием «Гараж». Наши гаражные посиделки с собутыльниками-автовладельцами – тихие ангельские сходы по сравнению с этим вертепом. У девиц, коих здесь большинство, голодные глаза и до высшей степени раскрепощенные руки. В ходе приветствия или знакомства они хватают тебя за причинное место, будто прикидывают вес и объем.

– Откуда этот обезьянник? – спрашиваю газетчика, с которым не так давно пьянствовал после митинга.

– Новое поколение рекламных топ-менеджеров, пиар-агентов, пресс-секретарей.

– Неужели они могут хоть что-то написать?

– Зачем? Пишут несколько «негров» за копейки, а эти юные акулы пристраивают, заманывают, выбивают. Кстати, зарабатывают раз в десять больше тебя, можешь не сомневаться.

– А счастья нет...

– Чего?! – возопил газетчик, будто я позволил себе крайнюю непристойность. – То, что ты понимаешь за счастье, им – доплачивай – не надо.

Я решил не продолжать тему, потому что иначе придется задать вопрос себе: а что же я понимаю?..

Мужчин, как я уже заметил, раз, два – и обчелся. В окружении полудюжины девиц восседает главный архитектор города, человек еще довольно молодой. Говорят, талантливый. Уверенный в себе – это видно. Он громко рассуждает о том, как надо противостоять мафии, чтобы архитектурный облик города не превратился в помойку. Тем временем две девицы, мешая друг другу, пытаются залезть к нему в штаны, а третья высказывает предположение, что вероятнее всего он и есть часть этой мафии.

– А то! – поддерживает ее газетчик.

Сам он тоже обзавелся парочкой быстроглазых и длинноногих девчонок.

– Практикантки, – пояснил коротко.

На моих глазах практиковались они – как бы в одном предложении произнести не больше двух нематерных слов.

В общем, народ пришел отвязаться по полной программе. Хотя и заразительная штука – безумное расслабление – к этому тоже надо быть готовым. Сижу и выбираю, что для меня лучше: или уйти прямо сейчас, или срочно принимать анестезию? Выбираю второе, однако из чего попроще в баре только ненавистная водка. Прошу закрасить чем-нибудь – получается еще отвратительнее. Да и ладно! Стакан, другой – на вкус уже внимания не обращаю, очертания вокруг чуть смазываются, краски расплываются, зато в голове замечательно легкий звон и ничего больше.

Одно бесспорно: они все здесь безумно молоды. Им хочется всего – в любом виде, в любой форме – кроме отеческих постулатов. В какой-то момент мне тоже всего этого захотелось – шума, дыма, великолепную задницу, обтянутую кричаще желтыми колготками, финансовой свободы, когда я могу подойти к бару и потребовать два коктейля «Манхеттен». По-моему, дороже тут ничего нет, американофилы вы мои ненаглядные!

Все кружится и сверкает в причудливых сполохах стробоскопов и другой световой техники. Смотрю на девчонок, напоминающих пестро разнаряженных мартышек, и думаю, что дожил до срока половой лености. Будет женщина под боком, не будет – как-то все равно. Самое время – под водку-то, после вывода о половом безразличии! – задуматься, осуждаю ли я себя за неразборчивость в связях? Нет же, конечно, нет! Сладкий грех, который по большому счету никому не приносит вреда. Название ему – прелюбодеяние, что ж, пусть так это и называется. А кто мне скажет, что осталось настоящего в человеческих отношениях? Или так: что есть более настоящее, чем близость мужчины и женщины? Я каюсь в своих грехах, но вместе с тем жалею, что имею возможность близости с ограниченным числом женщин...

И тут – о, ужас! – только тут я обнаруживаю, что все это говорю девушке, обхватившей коленями мои ноги. Колени эти затянуты в линялые джинсы, над поясом полоска загорелой кожи с разноцветной звездочкой вокруг пупка, выше кофточка, которая могла бы сойти за шарфик, а еще выше хулиганская мордашка с неуместно внимательными глазами. Не могла же она всерьез вслушиваться в мои фантазии на тему... Самое замечательное в ней прическа – этакая взбитая чересполосица розового, зеленого и желтого.

– Тебя как зовут? – спрашиваю обалдело.

– Поговори еще, – просит она, оставляя вопрос без ответа.

А мне уже все равно. Мне нравится, что в мои ноги уперлась девчонка, младше моего старшего сына лет на десять. Мне нравится, что от нее совсем не пахнет духами. А чем же? Табаком? Нет, это запахи за околицей моей деревни, когда только что прогонят стадо, взволновавшее воздух и поднявшее пыль. Но вот беспокойство в воздухе улеглось – и предвестники вечера – тишина, первая роса, робкие ароматы пробуждающихся ночных цветов – обнимают землю...

И язык мой, не повинуясь голове, следует ее команде.

– Возвращаюсь из самовольной отлучки в больницу – и вот он, мой лечащий врач. Она не так молода и совсем не привлекательна, однако улыбка ее хороша – широкая, открытая и немного дерзкая. Она выговаривает мне за нарушение больничного режима, а я смотрю на ее длинные стройные ноги и думаю о нарушении совместном. Вот бы спросить: а на период моего стационарного лечения половые контакты разрешены или нет? Если да, то какая поза предпочтительней, чтобы особенно не перегружать мой больной позвоночник?..

– Ну и сказали бы вслух. Любая женщина хочет греха, только не каждая сознается в этом.

– Милая! Сразу видно, что ты еще не попадала в больницу, да и слава Богу! Сказать-то я мог, только в лучшем случае получилась бы дискуссия безо всякого сексуального начала и уж точно – без перспективы. Таковы отношения больных с докторами. В больницах, еще раз подчеркну.

А сам думаю: да что же это такое я несу! Пьянь старая! Просветитель! Тем временем вижу – девушка смотрит на меня доверчиво и печально. Неужели она тоже из этих – пробивающих и выбивающих? Не очень похожа, те, наверно, на все должны смотреть оценивающе... Впрочем, ничего я не понимаю. Ничего!

Мы поднялись одновременно, да так, будто наши бедра, локти, плечи были прочно склеены. Я испытывал небывалый прилив самой настоящей похоти, я боялся отклеиться от нее, упустить... Толкнулись в несколько запертых дверей и, наконец, оказались в умывальной комнате.

Она подняла на меня глаза и тихо попросила:

– Не смотри.

...Ситуацию и обстановку романтической не назовешь, но, как это ни странно, я испытывал к ней благодарность и даже что-то вроде нежности. Мы вернулись на прежнее место в баре, она молчала, и это было в данный момент самое лучшее. Меня угнетало единственное – какую жуткую чушь я ей напорол! Зачем?

А потом мы чересчур много пили.

А потом невесть откуда появился попугай в большой клетке. Чем-то он напоминал одного из героев цирка. Этот был без облачения, зато так и сыпал политическими терминами из современного обихода.

– Мы должны стремиться к многополярному миру. Для того государствам, имеющим контроль над ядерным вооружением, необходимо выработать консолидированную позицию. Необходимо обеспечить развитие демократических процессов во всех государствах, в том числе на территории постсоветского пространства, и особенно, где велика этническая пестрота...

Я сморю на птицу во все глаза – обыкновенный какаду грязно-белого цвета, перевожу взгляд на публику – никто внимания на птицу не обращает.

И тут замечаю, что девушка куда-то исчезла, я потерял ее. Не успел оглядеть кафе – слышу крик от входных дверей:

– Пустите меня!

Мою новую знакомую, уже одетую в вязаную шапочку и пуховик, удерживали несколько человек и среди них мой газетчик.

– Не надо, – уговаривали ее, – видишь, он хочет быть один.

– Не хочет! Он боится! Это вы его приговорили! Пустите!

– Он старый, больной человек, – отчетливо произнес кто-то. – Иди себе.

Это обо мне, – подумал я, как будто кто еще из присутствующих мог быть старым и больным.

«Но вы же не совсем правы, вы совсем не правы!» – хотелось мне крикнуть им. И еще хотелось подойти к ней, обнять и уйти вместе с ней от этих чересчур молодых и здоровых. Но я не сделал ни того, ни другого. Я сидел на своем стуле, сжимая в руке стакан, и смотрел на все происходящее, как на экран из зрительного зала.

Потом все стихло, исчезло куда-то, в заведении осталось человек шесть-семь, не более. И мне надо было идти, но почему-то совсем не хотелось двигаться. Благословенное ощущение пустоты! С ним не так-то легко расстаться.

А этой что нужно? Я не замечал ее до сих пор, какая-то смытая, растворенная в кричащих красках, бликах, зовах пола... И одета не в здешнем стиле – простой серый свитер, серая юбка чуть ниже колен.

– Можете выбрать любой, можете забрать оба.

Она протянула два листа чуть более плотной, чем обычная писчая, бумаги. На обоих изображен я.

– На этом совсем не похож, а здесь похож чересчур, как на фотографии.

– Стало быть, оба неудачны, – невесело усмехнулась она и порвала оба листа пополам.

Мне стало стыдно, как-никак человек старался.

– Извините, с возрастом одни начинают забывать то, другие – это. Я, очевидно, забыл слова благодарности. Спасибо. Видите, вспомнил, дело, знать, не такое пропащее. Можно, я все-таки это заберу?

Не дожидаясь ответа, я сложил обрывки в карман.

Потом мы ходили по городу, загадывая, вот было бы здорово – сохранись такая теплая и безветренная погода на Новый год. Оказалось, оба мы терпеть не можем сидеть за праздничным столом – скука. У нее интересная привычка забегать на полшага вперед и заглядывать собеседнику в лицо.

– А я вас видела на каком-то семинаре, забыла уже, чему посвященном. И потом, если честно, искала встречи.

– И что, меня так трудно найти?

Я подумал, на каком это семинаре мы могли встретиться, если она...

– Вы же художница? – решил я проверить свое предположение, наброски были сделаны вполне профессионально.

– Смеетесь! И даже не пыталась ей стать. И вообще я никто, так, жена своего мужа. Плохая жена.

Плохая жена была полноватой шатенкой. Мне, если честно, такие никогда не нравились. Но в ней была какая-то беззащитная открытость, что удивительным образом притягивало. Еще там, в кафе, мне в какое-то мгновение захотелось провести рукой по ее не тронутым краской темно-русым, едва доходящим до плеч волосам. У моей жены были очень похожие волосы.

– А почему, если не секрет, плохая?

– Только не ждите, что я, как все юные соблазнительницы, буду говорить, будто не люблю своего мужа и все в таком роде. Бывает же, человек не рожден тем же художником, а я вот – женой.

– На юную соблазнительницу вы уж точно не похожи.

Я намеренно произнес бестактность. Она хоть и не так молода, как большинство посетительниц «Гаража», но гораздо моложе меня. И тут я получил по полной программе.

– Вы, конечно, хотите домой, вы устали. Еще бы, секс в туалетной комнате с молоденькой девочкой, когда вот-вот могут войти. Стресс, напряжение, выпитый алкоголь мешает закончить по-быстрому...

– Стоп! – Я поднял руку. – Вот теперь я, кажется, действительно устал. Я в этом забеге не участвую, и вообще здесь дорожка для младшего и среднего возраста, моя ближе к кромке.

Она внезапно остановилась и, резко повернувшись, придвинулась ко мне вплотную.

– Вы и вправду заканчиваете свои забеги. Отныне и до конца дней вы будете получать лишь то, что предложит вам женщина. Старая, молодая, принцесса, уродина – не важно, как получится. Вы дойдете до абсурда, до соития с самой грязной обитательницей помоек, стоит ей только захотеть...

– Ах ты сука!

Я схватил ее поперек туловища и потащил, не задумываясь, где мы, что вокруг, кто... Ночь, темные дворы, девятиэтажки с редкими огнями – это все едва отмечалось в каком-то глубоком подвале сознания. Заставив ее уцепиться за металлическое ограждение, я с удивительной легкостью и быстротой освободил ее и себя от застежек и прочих помех и так же легко вошел в нее. Никогда бы не подумал, что бешенство может вызвать такой взрыв мужской силы. Но мысли появились потом, задним числом, а в тот момент я попросту ничего не соображал. Я лишь повторял одно и то же:

– Ах ты сука!

А она пела! Ей-ей! И тогда, и много дней спустя я не мог подобрать другого слова. Пела!

– Замечательно! Еще! Люди добрые! Я не оставлю вам ни кусочка! Я в тряпку его превращу! Больно, милый! Ну, давай же, давай!.. Я лопнуть хочу!

Было поздно. Было так поздно, что даже самые неленивые из жильцов не позвали милиционеров. Когда мы пришли в себя, выяснилось, что металлические трубы, за которые она держалась, были ограждением бетонной площадки с мусорными баками.

– Кое-что уже сбылось, – не сдержался я.

* * *

В самый канун Нового года, буквально за несколько часов до его наступления, я кинулся искать настольную лампу с синим абажуром. Ту, старую, мы не забрали к себе, когда стали жить отдельно. Она осталась у тещи, однако спустя несколько лет мы перерыли весь дом – не нашли.

– Наверно, кому-то я ее отдала, – твердила теща без надежды вспомнить – кому.

Некоторые магазины еще работали, и я кинулся обшаривать прилавки. Бесполезно. Нигде не было ничего похожего на настольную лампу с синим матерчатым абажуром. Похоже, такие попросту перестали делать. И тогда я купил лампу с синим стеклом.

Я поставил ее на кухонный подоконник, рядом пристроил портрет жены, не тот, другой. На этом все было залито светом – большой телевизионный павильон. И она в центре, крупно, сосредоточенная и спокойная...

Два несравненных облачных агата смущали этот мир, потому что он знал: глаза любого другого человека видят в несколько раз меньше.

Она всегда знала, где я был, у кого.

– У нее длинные тяжелые волосы, совсем не такие, как у меня. Прямой пробор, веснушки, нос красивый... В общем, ничего. Сказать, как зовут?

Она гнала от себя свое умение быть ясновидящей, морила тело постами, а дух укрепляла молитвами. Закрыть глаза не трудно, представляю, каково наложить табу на другое зрение, дарованное избранным. Иногда она не в силах была сдержаться, сообщала некоторые приметы моей очередной подруги и добавляла:

– Это что, так легко – взять и лечь с другой? Ты делаешь мне больно.

Я никогда не шел на продолжение разговора, лишь гордо напоминал о своем принципе: было, не было – никогда не сознаваться. Таким образом я сохранял семью. Смешно!..

Это невыносимо! Синяя лампа, портвейн и ясные агатовые глаза! Я мог сколько угодно уговаривать себя, что на фотографии, запечатлевшей рабочий момент, в них никак не может быть любви. Да какой толк в этих угово-

рах, если я точно знал – они полны любви всегда – на работе, на покое, в жизни, на портретах, за темными стеклами очков и за закрытыми веками...

Кто-нибудь – огромный, сильный, всемогущий – запустил бы камнем и достал бы до этого моего окна на восьмом этаже, до этой синей лампы. Все-то здесь подделка под то, настоящее. И тут мне, непутевому, приоткрылось, за что же она меня любила. Да просто я и был тогда тем самым, всемогущим, мне действительно было плевать, третий этаж передо мной, восьмой или пятнадцатый. Я достал бы, потому что все было настоящим.

Сын мой всю новогоднюю ночь просидел за компьютером. Перед тем, как уединиться, он поведал, что провел в интернете несложное исследование. Надо было ответить на вопрос: будете ли вы встречать Новый год? Ответили пятеро. Один сказал нет, потому что «обломался с хатой», второй не приемлет праздника во время поста. Рождество – другое дело. Трое посчитали вопрос идиотским.

* * *

Каким быть году, если он начинается с похмелья? Как бы там ни было, он начался. Глубокой ночью за нами приехал племянник, и мы с его милой женой плясали на площади вокруг елки. А у племянника тоска в глазах: сейчас оказаться бы где-нибудь на речке!..

За окном рассвет, и все – какое-то чужое. Будто сонный и пьяный мир забыл перешагнуть в следующий год, все еще дремлет в предыдущем. А может он умер? Взял тихонько так – и расстался с жизнью, решив, что нечего ему больше делать в этом свете.

Сижу и гадаю: позвонит или нет? Позвонит – и мы поедем на речку, просверлим лунки и терпеливо будем ждать поклевки. А вокруг такие же терпеливые мечтатели и романтики.

Племянник позвонил и сообщил первым делом, что не может взять в толк, кто проснулся на его месте вместо него.

Загудел лифт, народ зашевелился. Сын сбегал на улицу и сказал, что город не так уж мертв, как видится из окна. Большинство, по его словам, бегает в поисках опохмелки.

А вот и взошло солнце первого дня нового года.

А кто проснулся на моем месте вместо меня? Вопрос не такой уж праздный. Время уносит мгновения, а с ними все сущее. Бесконечный прожорливый Космос! Бесконечное странствие по бескрайней пустыне! Время и Пространство – больше нет ничего. Они однажды заключили договор и по нему беспрестанно перемалывают плоть, камни, воды. Они – истинные властители, им все равно, они даже не усмехнутся, взирая на потуги всякой мелочи жить.

На льду огромного обского затона никого кроме нас. Это обстоятельство приводит племянника в восторг, и он открывает шампанское. Повсюду вмерзшие в лед деревянные колышки, консервные банки, бутылки, прочий сор – следы человека. Сюда, бывает, съезжается несколько тысяч рыбаков.

Торопиться нам некуда, и рыба не торопится: за полчаса попадается подлещик да пара чебаков. Вот и ночь близится, но по-прежнему никого кроме нас. Бледная луна, едва сквозящая через облака, и бескрайние снега – замечательная эта картина вызывает первородные чувства. Видимо, от избытка их племянник пьет водку стакан за стаканом. Бросив удочки, он разгуливает под крутым берегом: сотня шагов туда, сотня обратно.

– А ты знаешь, распродав все, я смог бы обеспечить безбедную жизнь всей семьи, тебя в том числе, на тридцать лет. И никому ничего не надо

было бы делать. Представь только, все это время живешь наполненной духовной жизнью.

– Продай, – пожимаю я плечами, – а то жена твоя жалуется, все книжные магазины скупил. Читать-то когда?

– Некогда, – соглашается он. – А продать не могу, машина раскручена, я в ней маленький механизм. Она без меня ничто, но и я без нее мертв.

Бог его знает, где правильные ответы и решения? Когда он читал книги по нескольку штук за неделю, наверняка жизнь его была другой. Вернее сказать – это было совсем в другой жизни. Как-то он посетовал: искренности не то что в отношениях, в словах не стало... Да, дорогой, искренность – девица нагая, а на нее вон сколько понавесили!

Счастливый! Столько водки, чтобы отрубиться на полуфразе, мне давно уже не выпить. Опять я один, на этот раз посреди белой пустыни... Время итогов закончилось вчера в полночь, сегодня день новых иллюзий и усилий. Праздник так называется – первое января. Но я не успел отчитаться за прошлое. Забылось, заспалось. Теперь уж поздно, а потому и новый праздник, выходит, как бы не для меня.

Я не умею торговаться и торговать, не умею идти к цели напролом, не умею быть инициативным. Я всегда жду: вот случится – и тогда начну действовать... Все просто, я – это, прежде всего, моя замечательная лень. Мне лень начинать за себя, а уж за других – подавно. Я оправдываю себя собственной уверенностью, что нормальные люди ленивы, у них нет зуда переустройства и совершенствования. Новый проект мироздания – нечто совершенно иное, чем предполагают известные политические деятели и неофилософы. Новый президент или парламент должны бы объявить первый Указ о ничегонеделании с точки зрения переустройства и совершенствования. Второй – о массовом оттоке в деревню и организации жизни по законам природосообразности. Для тепла, для тела, для желудка – все, что растет на земле и от земли кормится. Труд на восполнение потраченного. Возвращение к натуральному образу жизни – единственный путь спасения. Знаю, что мысли мои далеко не оригинальны, однако, скажите, кто-нибудь хотя бы попробовал? Так, единицы, их показывают по телевизору, как новинки зоопарка.

Часть идиотов, признающих, что Земля со всеми ее ресурсами конечна, очевидно, верит в возможность заселения космоса. Ждали вас там! Хотя очень может быть, что кому-то уготовано жить в консервной банке.

Эгоизм, обжорство, ненависть к будущему, безразличие к детям – замечательные характеристики моего современника-согражданина...

Вот уже три часа, как проснулся мой племянник – и ни слова. Весельчак и балагур ушел в себя до какой-то немыслимой глубины.

– «Для чего у нас есть слова, с тем мы уже и покончили», – процитировал я Ницше.

Мой златоголовый родственник долго и внимательно смотрит на меня и, наконец, молвит осевшим от долгого неупотребления голосом:

– Я люблю свою жену, но иногда пользуюсь проститутками.

* * *

Моя жена в морге. Я в растерянности звоню кому ни попадя, в том числе бывшим ее однокурсникам, друзьям, сослуживцам от Калининграда до Владивостока. Оторопел от неожиданности, будто не я сам жму кнопки, – когда услышал в трубке голос моего московского друга. Ему-то зачем? Он пособолезновал, а на мой дежурный вопрос – как дела? – ответил, что его сегод-

ня уволили... Я посидел немного у телефона просто так, пытаясь собраться с мыслями, и снова стал звонить и звонить. Но так и не мог сказать себе – зачем? У большинства настороженное недоумение в голосе и этот самый вопрос – зачем?

Отвлек меня стук в окно. Не успев удивиться, я обернулся и увидел за стеклом весело улыбающегося молодого человека.

– Швы заделывать будем?

Я не понял, о чем это он?

– Ну, швы между панелями, чтобы не дуло.

Жена все время мерзла в нашей квартире и все время говорила об этих проклятых швах.

– Заделывайте, – обреченно сказал я. – А сколько это будет стоить?

– Сейчас обмерим.

Значит, еще и для этого нужно искать деньги. Сколько их всего мне потребуется, у кого занимать – я представлял себе довольно смутно. Одно ясно – много.

Позвонил старый друг семьи, как ни странно, патологоанатом, пообещал, все, что связано с похоронами, устроить подешевле. Принесли счет за уже оплаченный поминальный обед в кафе недалеко от дома. Обед оплатила контора жены. Решив, что пора прекращать звонки и идти к должникам за своими кровными, я пошел в комнату переодеться и обнаружил там Симку и какого-то облезлого попугая за картами. Они азартно резались в дурака, смачно пришлепывая листами...

Так, значит, и это все забавы памяти. В последнее время я стал обнаруживать собственное погружение в небытие, лишь когда натыкался на что-то из ряда вон выходящее. Все иное повторяется в точности, как это было в жизни, до мелочей.

Я почти наверняка знаю, что моя жена, особенно в последние годы, жила в этом пограничном состоянии, между здесь и там.

Швы тогда заделали, а мой московский друг вскоре после нашего разговора по телефону прислал крупный денежный перевод. Эти деньги покрыли все мои расходы и на похороны, и на швы. Единственный из друзей, кто мне ничего не должен, к тому же оставшийся без работы.

* * *

Полтора года, как не стало моей жены. Сердце сжимается уже не с такой отчаянной силой. Это правда – время сильнее всего. Говорят, оно еще и лечит. Может быть. Кого-то или Нечто – от человеческого горя, перегружающего пространство.

Неутомимый сварщик все сыплет и сыплет искры сверху вниз. Недавно я узнал, что стройка, где истово трудится сварщик, – будущая контора Управления по налогам и сборам. Очевидно, у этих дела идут неплохо.

Я продолжаю разводить комнатные цветы. Набрал отростков у соседей, принес из гаража земли, припасенной для огородной рассады. Цветы, в основном это были фиалки, против ожидания принялись дружно. Помимо того, из земли полезли всякие не предусмотренные моей агрономией росточки. Компанию незваной конопле составили мокрец, лебеда и вьюн, который, едва поднялся на несколько сантиметров, начал активно цвести.

Между делом подошел март. Ну и скорость у времени! Не вызывает сомнения, что ее величина прямо пропорциональна возрасту. Это как с горы катиться – все быстрее и быстрее.

Мой сын по-прежнему не отлипает от компьютера. Виртуальный мир за экраном монитора – может быть, не такой уж и скверный замысел. А то временами этот, настоящий, весьма непригляден. Иногда приходит отчаянье, и думаешь, что пытаться извлекать золото по крупинке на тонну отвала – бессмысленное занятие. Времени у человека не так уж много.

Сказать, что ничего не происходит, – неправда. У нас очередные выборы, и суета вокруг них немыслимая. Я постарел. Или стал старше? Как будет правильнее, если дело к пятидесяти?

Я вырастил детей, посадил кучу деревьев и построил дом... Вот незадача – когда дело доходит до итогов, впереди ничего не остается. Можно по-другому: я еще ничего толком не сделал. Тоже плохо, потому что неправда. Я сделал, но недостаточно. И что? Это принять за стимулятор дальнейшего движения? Неубедительно.

Ну вот, свершилось, у нас в крае новый губернатор. Вряд ли это обстоятельство что-то поменяет в нашей жизни. В моей – безусловно, нет. Народ суетится: кому надо уберечься, усидеть, кому пристраиваться заново. Надежды и прогнозы – бега... А я нашел монетку в пять центов. Почему-то иностранные деньги обладают особой притягательностью. Вот положу в уголок – будет пятицентовик прирастать богатством. В квартире наших знакомых художников мелочь всегда разбросана по углам. Деньги призваны приманывать деньги.

* * *

Попытался найти девушку с разноцветными волосами, спрашивал про нее у газетчика, еще у нескольких человек из рекламного бизнеса. Оказалось, никто ничего о ней не знает. Зато объявилась художница, которая, по ее собственным словам, и не художница вовсе. Она живет в городке-спутнике совсем неподалеку от краевого центра. Привезла кучу подарков – вязаные носки, перчатки, четыре плитки шоколада и кулек мандаринов. Я прямо сказал, что после смерти жены никого к себе не приглашаю.

– Конечно, – согласилась она, и мы отправились к каким-то ее не то родственникам, не то друзьям.

Частный дом на окраине города, дурноватый кобель, успокоившийся, когда его назвали Цезарем, едва задержавшееся после утренней протопки тепло, чужая постель... Впрочем, она не позволила мне напрягаться по поводу всяких неудобств, вообще не позволила мне напрягаться.

– Я сама, – расшнуровала мои башмаки, пристроила верхнюю одежду. – Я сама, – отвела мои руки от брючных застежек. – Я сама...

И я решил, что мне не только нет надобности принимать участие в происходящем, можно даже не думать об этом, вроде бы меня все это не касается...

Увы, ласковые руки, требовательные губы, жаркое тело умелой, а главное – самоотверженной любовницы не надолго позволили остаться моим мыслям в стороне, а мне самому в безучастии.

– Я люблю тебя! Я люблю тебя! – твердила она, лишь только губы ее освобождались на секунду.

Вот тут я определенно не мог проявить участия. Спасибо ей, она и не ждала ответа.

Мы вышли за ворота.

– Возьми. – Она протянула сторублевую бумажку.

Господи! Что они меня испытывают, сначала сын, теперь эта... А как кста-

ти были бы они сейчас! И этот мотив знаком! – пытался я одернуть самого себя... Могло бы хватить до зарплаты – хлеб, лапша, рис и паштет из киоска, где по дешевке торгуют чуть примятыми банками.

– Нет! – Я постарался придать голосу твердость.

– Просто хочу поделиться. Видишь, – показала она еще одну бумажку, – у меня столько же.

Будь я проклят! Будь проклят кусок земли под моими башмаками!.. Я взял эту бумажку. И сразу же ушел. Не прощаясь, не спрашивая: может быть, ей в ту же сторону?

На первой пресс-конференции нового губернатора в составе журналистской бригады из Москвы я увидел своего ученика. Он кивнул, давая понять, что дальше общаться не собирается. Нормально. Пришло время. Или правильнее – случилось время. Досадно? Мне всегда было немного жалко его, потому как жить ему приходилось в вечных потугах. Не дал Бог таланта, зато наделил даром быть тружеником... Неужели у всех такая готовность отвернуться от прежнего? Оно ведь всегда лучше. Оно жило бок о бок с твоей молодостью...

9.

Сегодня день такой – все за окном будто приблизилось ко мне – облака, стройка, телебашня... Снег. Благовещенье. Убывает долгая зима, которая становится уже не временем года, а тюремщиком. Впрочем, каждый сам себе тюремщик. Найдутся доброхоты и объяснят, что в том есть нравственность, и религиозная мораль тому подтверждение. Но жизнь находится в состоянии вечного спора с ней. Умники и тут подскажут: в этом двигатель самой жизни. Призывая в каждом удобном случае себе на службу мораль, они будут яро отрицать ленивый покой и философию неучастия, они назовут это атрофией жизни.

Тележурналисту из Москвы, прошедшему корреспондентские пункты ближнего и дальнего зарубежья, очевидно, нет смысла признавать учителем журнального сотрудника из заштатного сибирского городка. Смешно! Теряясь в догадках, как пополнить его словарный запас, я играл с ним в «виселицу», где надо придумывать новые слова, чтобы не быть повешенным...

На ночь я наладил новую хитроумную мышеловку. Поллитровая стеклянная банка ставится горлом на ребро монеты так, что приподнят один край. Изнутри на стенку банки прилепляется жеваный хлеб с кусочком сала. Чтобы достать сало, мышь пытается упереться в стенку. Банка соскальзывает с монеты, ловушка захлопнута.

Ночью на моей, ставшей вдруг огромной – с вековую сосну – конопле зажглись огни и осветили необычное украшение. На ветвях развешены компьютеры, пиломатериал, ношеные тряпки и полуживые рыбы, которые напоминали аквариумных, но были чрезмерно велики. Некоторые из них как будто обгорели. Внезапно в круге света появился хромоногий ученый звездочет и указал на обгоревших рыб:

– Арджуна, один из братьев Пандавы, показал другим братьям, как действует пащупати – и вода закипела, и земля оплавилась...

Затем откуда-то высыпали упыри-уроды, – у всех было по нескольку конечностей, по нескольку голов, а на тех по нескольку ушей, глаз, носов, – и пустились хороводом вокруг конопли во главе с ученым. Я переводил взгляд с них на гигантскую коноплю и понимал, что на ней развешено то, на что в разное время при различных обстоятельствах ушли мои деньги.

– Шурш! – прикрикнул ученый, и упыри исчезли.

Он постоял в раздумье, затем своей палкой начертил на земле звездную карту.

– Сириус – тройная звезда, это окончательно стало известно только в 1862 году. Еще позднее было открыто, что Млечный Путь имеет спиралевидную форму. А некоторые западноафриканские племена знали об этом несколько веков назад.

Он перечеркнул свой рисунок, отбросил палку и звонко щелкнул пальцами. Заиграла лихая музыка – дикая смесь русской плясовой с немецким атональным джазом – и хромой пустился в пляс...

...На сей раз мышеловка захлопнулась. Банка запотела изнутри, но видно было: кто-то там есть. Я заглянул под посудину и обнаружил выпачканного в кале и моче крохотного мертвого мышонка. Вероятно, под банкой задохнулся кто-то из Симкиного потомства.

* * *

Чистый четверг. Хорошо бы иметь чистые помыслы. Восстание против жизни, которая неумолимо заставляет двигаться, бесполезно. На память приходят деятельные натуры. Где он, человек, сказавший мне однажды:

– Господь не отпустит тебя из этой жизни, пока ты не сделаешь назначенное им.

Где-то творит назначенное. Он – торговец по сути, образованию, по крови наконец. Но он не жаден, деньги видит как инструмент для работы, не более. Почему-то у него, торговца, в наш век торговли не заладились дела. Может, таков высший замысел. Одна из его последних работ – продажа сборных домиков, изготовленных у нас в Сибири для установки их в Сочи. Вот и замысел: скиталец-коробейник продает то, что накрепко привязывает человека к месту.

Он никогда не считает прожитое время потерянным. Я с ним не спорю, я пытаюсь вобрать в себя его оптимизм. Оптимизм неудачника – это сила!.. Где ты, доктор? Приди и излечи от болезни, когда в голове одно: все – пыль. Дни, обращенные в пыль, годы, события, люди, покрытые пылью и постепенно становящиеся ей. И ничто не может спасти, даже эгоизм, который гонит к постижению тайн, к познанию и размножению, который мешает задуматься о том, что человек явился в этот мир для самоуничтожения. Может быть, это его главная миссия. Вот славно: эгоизм – как высшее проявление нелюбви к себе!..

Человек – подобие Божие, жизнь человеческая – подобие судьбы мира. У человека рождение есть первый шаг к смерти. У миров – то же самое.

Вторые сутки не стихает проливной дождь. Но наш город не утонет, он стоит на наклонной местности, и вся лишняя вода стекает в Обь. Впрочем, нижняя часть города несколько раз тонула.

С мрачным негодованием расправляется весна с остатками снега, заливая их тяжелым дождем. Все смешано, как на палитре отчаявшегося живописца – грязные рваные облака, сырой морок, вселенская серость.

Три дня назад в далекой деревеньке встретился я с пенсионером, бывшим управляющим совхозного отделения. Застал его в огороде, трудится.

– Вот, – показал на свежевскопанную землю, – цветник разбиваю.

Ничего себе! Оказывается, есть еще люди, для кого первая крестьянская забота по весне – цветник разбивать!

Знакомая профессор-филолог воскликнула с горечью: ну, почему у нас в

крае все гибнет? И правда – почему? По какой-то неведомой причине здесь не вызрел дух науки, искусства, интеллектуального приоритета, свежести мысли. Самый лучший, самый современный специалист – веб-дизайнер – второй год сидит на чемоданах, чтобы уехать отсюда. В наше время потерять год – не догнать за всю оставшуюся жизнь. А он все ждет. Для него главная цель – уехать отсюда. Почему же, почему же, почему? Ни красота, ни святость земли не вдохновляют...

Вчера была Пасха. Ездил в лес в весьма странной компании – три женщины и девочка лет четырех, дочка одной из них. Позвала меня и привезла на своем джипике моя торговая знакомая, которая, очевидно, еще не потеряла надежды на какие-то отношения. Надо отдать должное, она не была назойливой. Помню, она сказала однажды:

– Я делаю три попытки, к чему бы ни приступала. Запомни – три.

Не знаю, как их считать, да и не собираюсь.

Жарили мясо и рыбу на углях, пили молодое красное вино и люто скучали. Женщины все из торговли, все молоды, красивы, все трое за рулем дорогих машин. Я, злой от скуки, подумал: у них мир полнее, потому что меньше объемом. А тот, другой, мне возразил. Это снобизм, дорогой А.В.! Что с того, если твой мир больше, и ты не можешь заполнить его? Ты не можешь быть интересным даже этим молодым женщинам из торговли. Ты можешь лишь презирать их. Эко дело!

Потом ездили смотреть новую квартиру моей знакомой, где одна кухня, по ее словам, стоит, как крыло от Боинга. Потом гости засобирались уходить, поднялся и я с ними. Хозяйка даже не попыталась меня задержать.

На улице я попрощался с подругами, отказавшись от автомобильных услуг. И тут мне стало легко и весело. Пусть кто посмеет сказать, что мне не хватает огня радоваться земной красоте... Сколько живу – ничего не знаю лучше – долгой дороги, боровика под сосной, окунька на крючке, горы, выплывающей вдруг из-за ровного горизонта... Будто специально Господь поселил в Сибири, дал всего три месяца летнего счастья, чтобы не обкормить, не пресытить, чтобы то счастье имело цену великую, чтобы пробудить жадность и досаду – отчего так мало!

Живу – и люблю, люблю – и живу. Величайшая, труднопостижимая наука дается вовсе не высокообразованным, начитанным, вдумчивым. Это чудо гения. Потому – редкость.

И я упрямо жду лета, упрямо мечтаю о горах и вижу домик, прилепленный к скалам на берегу озера. Дорогой друг! Отзовись! Что же так отняло у тебя силы? Ты смог поднять забытое, заброшенное с царевых времен производство, ты сделал немыслимое! А выстоять в нынешней жизни не сумел. Что тебя сломало, сильного, уверенного в себе? Что нас ломает, как сухую солому? Высохли – вот и ломает. Отчего же высохли? От одних ли лет?..

* * *

Вот и опять картошка, и новый круг начинается. Мы с тещей и сыном быстренько зарыли ее, нам совсем не много надо.

И заработал безжалостный счетчик, лето полетело. Хочется дни уплотнить, наполнить смыслом и содержанием. Но что-то постоянно расслабляет. Наверно, надо утихомирить упоение жизнью, восторг от нее... Да, летняя жизнь непродуктивна с точки зрения деятелей.

Побывал на открытии выставки главного архитектора города. В после-

дний раз я видел его в «Гараже». Довольно интересные портреты, и на всех – сам автор. Почему бы и нет? Я сам – никогда не исследованная до конца территория. А уж торопимся исследовать мир... На вернисаже стареющие и постаревшие художники, молодых совсем не видно. Мне приходит в голову странная мысль. Вроде бы я – часть мира, и он, такой большой и долгий, должен бы длить и меня. Увы, ветшают декорации, морщинятся лица статистов и главных героев, стареет все без исключения.

Двадцать первое сентября 198... года. День рождения Девы Марии. Ночь опускается стремительно, и холмы под грузинским местечком Бакуриани расцветают кострами. Большой праздник. На открытом огне готовится мясо, разносится аромат неповторимых кавказских приправ. Люди, переходя от костра к костру, угощают друг друга вином. Великолепное кахетинское – Кахетия совсем рядом. Негромкие речи прерываются нежными песнями, а те в свою очередь рассыпаются под коротким гортанным криком, точно вспугнутая птица обронила неосторожный глас.

Молодой грузин во все глаза смотрит на мою жену. Сколько уж раз я замечал, что в ней вдруг проявляются черты того народа, с которым она общается в данную минуту. И вот сейчас передо мной грузинка, грузинская княгиня. Грузин не обращает внимания на меня, он выписывает круги возле жены, изображая свадебный голубиный танец. На него с сожалением и восторгом смотрит пожилая грузинка, старшая сестра или, может, мать. Внезапно она затягивает глубоким и выразительным контральто:

Не уезжай ты, мой голубчик,
Печальна жизнь мне без тебя...

Они плачут, я плачу, и только жена моя смотрит нездешними глазами мимо, вдаль. В глубоких ее агатах отражаются костры, древние сполохи, далекие миры. Она будто бы налаживает связь с тайнами, далекими от наших восторженных слез и печальных песен.

* * *

Представители новой администрации несколько раз заводили со мной разговоры о работе. Так, ничего серьезного. Однажды я сказал им:

– Учителя работу учеников не выполняют.

Вскоре интерес ко мне поугас, а потом и вовсе закончился. Это опять же Бог бережет меня – от близости к власти. Гонит от искушения, за волосы оттаскивает.

Да где же волшебная жизнь? Когда откроется бездна, наполненная звездами? Должно быть, и тут весь смысл в поиске. Это то же самое, что счастье: есть только путь к нему. Остальное – мгновенье, двадцать пятый кадр, нечто за пределами пяти чувств.

* * *

Острая необходимость жить не имеет ничего общего с количеством посадок на нашем огороде. Меня, участника всех работ, хозяина, поразили их масштабы. Как правило, зимой мы договаривались с женой сократить наши посадки. Иногда нам это удавалось, но приходил срок, и мы замечали, что между нашими всходами картошки, отстоящими на метр друг от друга, появлялись дополнительные. Теща росла в крестьянской семье, и картошкой

они спасались в войну... Но нынче-то, нынче! Убывшими силами мы насажали куда больше прежнего. Ну, кто даст ответ, зачем мне, ярому противнику огородов вообще, надо было ехать на рынок и покупать рассаду перцев на деньги, за которые можно было купить полцентнера готовых овощей? Самое главное – никому, ни при каких условиях не съесть такое количество. Что это? Чувство вины? Страх быть осужденным? Да кем же? Та, под чьим знаком я старался, была на моей стороне. Мелко все, неправильно, не нужно, однако с этим приходится жить.

Садовая незабудка расцветает одна из первых, когда еще и зелень-то не вся поднялась. Однако она быстро роняет цвет и стоит сирая до следующей весны. Хозяин сада радуется первым цветам, любуется ими, любит их. Но время пришло, цветы опали, цветок забыт. Растение мучается без внимания и влаги.

Сын успешно закончил первый курс. Это произошло тихо, буднично, куда как менее заметно, чем окончание школы. Я посадил его в машину и повез за город на большую торговую площадь возле леса. Там жарят вкусные шашлыки. Это, наверно, самое легкое – дополнить радость насыщением. Или использовать еду в качестве катализатора радости. Конечно, куда лучше путешествие по Волге или поездка в Испанию. Да будет вам, господа!

* * *

Какая-то конференция с учеными, приехавшими из столиц. Что-то об искусстве, литературе в частности. Почти не слушаю, хотя все говорят вроде бы разумные вещи. Слово теряет цену, инструмент для продвижения сюжета – самое важное его назначение сегодня в литературе. Оно уже не самодостаточно... Мир не теряет абриса, наружных красок, и все-таки вместе с глубинными изменениями происходят и внешние. Архитектура давно сдалась. Смешение стилей, вычурность, архаика и модернизм вперемешку – при чем тут классические основы? Живопись традиционно угрюмая и отчаянно драчливая соседствуют с большей пользой для второй, а неожиданное, странное избранничество, поддержанное толпой, тоже ничего не может поведать о преимуществах классических начал. Музыка – от Прокофьева, Шостаковича, Шнитке – к самым сегодняшним – пинок Чайковскому, Глинке, Свиридову... Пытливый разум продолжает вечную погоню за неизведанным. Но почему сознание вывернуто наизнанку, психическая эквилибристика доведена до смертельных трюков – а материалы, инструменты все примитивнее? Будто в который уже раз нового человека пытаются вылепить из глины. Ау, новый человек! Ты идешь, чтобы освоить новый мир с помощью лишь одного – своего нового опыта, рожденного эклектикой познания и желанием пополнить собой мировую копилку.

Мы все дальше уходим от понимания собственной ничтожности по сравнению с миром. С помощью нового сознания, введенного в науку, а затем в технологии мы уже до невозможности изнасиловали этот замечательный, щедрый предмет познания. У человека все меньше остается возможностей для насилия над миром, уже почти все средства использованы. Осталось немного: взорвать все одним разом, а перед тем оголиться окончательно и явить миру все срамные места...

Сквозит пустотами остановленная стройка, давно исчезли обнадеживающие огоньки. Наверно, новое реформирование правительства внесло коррективы в расходы налоговиков.

* * *

Великолепная торговая работница остановила свой джип прямо у моего подъезда. Она, как всегда, демонстрирует твердость и прагматичность.

– Если мы едем в Горный Алтай, ты должен рассчитывать на свои финансовые возможности.

Конечно! На чьи же еще! Вот глупец, мне и в голову не приходило, что она может думать, будто я встречаюсь с ней из-за ее денег. Но, во-первых, наши встречи, как правило, случайны, бессистемны, так богатых невест не обрабатывают. А во-вторых, с чего я взял, что меня заподозрили в алчности? У некоторых людей такая манера вести разговоры, вот и все. В общем, выяснили: у меня возможностей нет, и мы никуда не поедем.

Она уезжает, на прощание обвинив меня в эгоизме. С чего взяла? А я думаю о невозможности влюбиться, чтобы перешагнуть все это.

Народ изумляется, насколько быстро улетает лето. Не один ли корень в словах лето – летать? День долгий, одна радость, и все-таки в конце дня чувствую необходимость быть пьяным. Что толку гонять мысли по одному и тому же кругу? Напиться – и забыть.

Идет фундаментальное отчуждение жизни. Я не могу поехать на могилу к матери. Я не могу самого простого – поехать в лес за ягодами и грибами. Не могу поехать в Горный Алтай. Не могу, не могу, не могу...

Одно спасение – пока есть дача. И пускай река Лосиха мелеет, меняет русло, в ней все меньше и меньше рыбы. Говорят, вход в реку из Оби на несколько рядов перегорожен сетями. Человек везде человек. Нашу деревню обходят дожди с тех пор, как повернули русло Лосихи из-за строительства нового моста. Клещи, комары, прочая кровососущая рать допекает безмерно, однако работа в огороде дает мышцам хоть какую-то силу. Бабке восемьдесят семь, копается в огороде с утра до захода солнца. Иногда приезжает племянник, то есть ее внук.

– Я тебе, бабуля, продукты привез. Ты еще не всю траву в огороде съела?

Больше пяти минут он не задерживается. Окинет взглядом возделанные просторы, передернется от отвращения – и был таков...

Пытаюсь отыскать своего старого друга, директора камнерезной фабрики из Горной Колывани. Отзовись! – молю я, набирая номера. А в голове: завод оплатит мне дорогу, я поеду с дюжиной здоровых мужиков в открытом кузове трехосного грузовика-вездехода. Мы отправимся далеко в горы за камнем для фабрики. Мы наработаемся, потом устроим настоящую таежную баню, будем прыгать из нее в ледяные воды, едва успевшие скатиться с близких белков. Мы пойдем в гости к старому знакомому пасечнику-отшельнику, нанесем ему подарков и будем пить молодое медовое пиво... Мы натаскаем камней столько и таких огромных, что корзины, сплетенные из толстых стальных тросов, расползутся, измочалятся, как веревочные... На все это уйдет дней десять, и это должно произойти со дня на день, потому что нынче самая низкая вода в Коргоне, и наши трехосные грузовики только сейчас смогут переехать его...

Мой друг уже не директор завода. Жена сказала, что он в больнице, инфаркт.

– Но вы все равно приезжайте, – упавшим голосом заключила она. – Берите с собой жену, сына...

Она еще ничего не знает.

* * *

Племянник свозил нас с женой на рыбалку. Она сама попросила взять ее, это большая редкость. К вечеру с уловом он привез нас в недальнюю деревню к своим знакомым. Зачем? До сих пор не пойму. Сам он то и дело куда-то уезжал, возвращался, снова уезжал. А потом уехал насовсем. Знакомые его, муж и жена, – обоим лет по тридцать. На нем черная кожаная жилетка поверх дорогой сорочки из голубого шелка, она одета в нарядное платье из какой-то легкой, почти воздушной ткани. Сказать – приоделись в честь выходного? Нет, просто они никакие не деревенские, живут в деревне да и только. А еще – она показалась мне красивой. Широко поставленные голубые глаза огромны, прямой, слегка удлиненный нос говорит о породе, чуть впалые щеки подчеркивают продуманные контрасты в лепке лица.

Выпивки после рыбалки осталось много, зато закуску мы подъели основательно. В доме хозяев – шаром покати. В разгар гулянья вспомнил, что сегодня у мужа сестры день рождения. Позвонить неоткуда, на мобильнике знак: связи нет. Без того знаю, сколько уж пытался связаться с городом – бесполезно. Тогда я залез на высоченный сеновал и с первой же попытки Москва ответила. Девичий переполох – все мои племянницы и внуки собрались на дедов день рождения. Я в восторге, радуюсь вместе с ними, будто и я пьян в его честь. А он совсем плох, разговаривает с трудом, но твердит неустанно:

– Приезжай, у меня для тебя работы море!

У него всегда работы невпроворот, замечательный труженик-романтик с кучей идей в голове. К концу жизни он ничего не заработал, пенсию начал получать после семидесяти... Так ведь он же романтик! Как жаль, что жизнь уходит от таких людей! От них, может быть, мало проку, как и от нас, ленивых, но от них куда больше света, солнца, жизни. Если он в запальчивости врет, то, прежде всего, самому себе.

Этот пропахший луговыми травами сеновал обратился в некий символ случайной удачи. Я не мог дозвониться за десяток километров до дома, дозвонился за три с половиной тысячи верст – до Москвы. Может, сила родства сильнее спутников связи? Последний островок моей кровной родни перенаселен, как Ноев ковчег. Туда, в две комнатки, несбывшиеся надежды согнали дюжину моих родственников, от голопузых до седых, умирающих. Они все любимы, но недоступны. Когда мать еще была жива и приезжала поклониться могилам родителей, она сказала, опираясь на оградку и глядя в сторону своего теперешнего дома:

– Земля едина, сынок, и разведет кого, а все равно потом соединит.

Моя жена спокойно бродила по двору, иногда заговаривая с хозяйкой. А вот хозяин, казалось, не интересовал ее вовсе. Муж и жена, оба шумливые, пьяные, нисколько не раздражали ее. Как всегда, она смотрела поверх всего, что недостойно настоящего внимания. К ночи ей отвели комнату поглубже в доме и почище, а я так и уснул на сеновале, кусаемый комарами, пьяный и почти беззаботный.

Как потом выяснилось, ночью приезжал племянник, но меня не нашел и уехал снова.

И было раннее утро, опять с комарами. Когда эти твари спят? И была ранняя водка от соседей-бутлегеров. И был маленький поход за грибами. Потом опять водка и глупые разговоры. Все ненужное, необязательное и в то же время какое-то теплое, близкое. Эти люди, похоже, лишены прагматического подхода к жизни, они по-своему тоже романтики. Даешь им денег на хорошую водку, а они приносят отвратительный самогон, зато много. С ними можно трижды напиться, рухнуть, опять подняться...

В огороде чертополох, за неделю предыдущей пьянки съедены две свиньи, содержавшиеся на паях с городскими родственниками. Молоко у коровы, которую доят от случая к случаю, перегорело, соседская коза дает больше. Во всем запустение и разор. Но где-то за деревней они строят новый дом. Может, там предстоит им жить по-новому.

– У тебя что-нибудь с соседкой было? – спрашивает она и бешенством затекают огромные голубые глаза.

– Честно? – уточняет он. – Было.

Идиот! Что он делает! Ну, было, разве ж можно об этом жене?

– У меня свой подход, – объясняет он мне.

Через некоторое время задаю вопрос ей:

– Почему у вас нет детей?

– Детей заводят, когда любят, а я его ненавижу!

«Неправда, – думаю, – нет здесь ненависти, нет даже равнодушия, с которым кончается все». Это такая любовь. Слова для них не имеют значения. Они с пониманием относятся к своему пьяному состоянию, я бы даже сказал, – с уважением.

– Проспится – человек человеком, – в разное время сказали он и она.

Как бы там ни было, мы уходили от них с легким сердцем. Подошедшие к полудню новые гости и хозяева – все до одного лежали замертво, а водки и пива оставалось еще слишком много. Последнюю краюху хлеба на заляпанном столе облепили мухи. С потолка свисает длинная липучка, и на ней нет просвета, чтобы приклеиться еще хотя бы одной.

Возле рынка в центре деревни мы поджидаем транспорт, чтобы уехать домой. Какой-то мужичок стертой наружности продает нам две длиннющие папиросы, и мы не спеша глотаем терпкий дым на крылечке магазина. Я вдруг с удивлением обнаруживаю, что бабки, теснящиеся за коротким прилавком, продают манго, авокадо, ананасы и еще какие-то нездешние плоды. Мимо нас проходит женщина с павлином на поводке и бультерьером в птичьей клетке. Прямо к нашему крыльцу лихо подкатывает желтое маршрутное такси.

– А рванули водой! – высовывается из кабины водитель в соломенной шляпе с надписью по тулье – «Мальборо».

И мы рванули. Мы пулей промчались сквозь негустой сосновый лес, вылетели на крутой берег Оби и, не раздумывая, сиганули с него.

* * *

Как ни удивительно – все еще лето. Сын прав, я заблудился во времени. Вчера позвала с собой на дачу вернувшаяся из очередных скитаний старая подруга. Мне казалось, она уже оставила вечные поиски счастья. Ан нет... В другое время рванул бы с ней, не задумываясь, а нынче думал, думал – и не поехал. Все чаще приходят в голову слова племянника, которые он повторяет то и дело: а оно тебе надо? Люди, ушедшие в себя, никогда уже не отзовутся на твой призыв полным сердцем. Встречи, кроме истертых слов, не приносят ничего, лишь отнимают остатки жизни. Тебе это надо?

Ах, племяш! Ты неглуп и практичен, и ты понимаешь, что человеку необходима не прививка безумия, а самая простая радость. Но и ты – в затянувшемся побеге от нее. И не остановиться, стопчут, сомнут. Весь этот мир богатеющих и терпящих бедствие, называемое счастьем, живет на великой скорости и в постоянном страхе. Он жесток, безжалостен и... беззащитен, этот их мир.

* * *

Два года как умерла моя жена.

В гараже никого, это очень кстати. Я потихоньку пью портвейн, разложив на верстаке ее фотографии. Она редко смотрит в объектив – старая школа телевизионного работника. И оттого у меня ощущение: она уходит и уходит. Перехожу от фотографии к фотографии и повторяю:

– Я люблю тебя, мне ведь больше некого любить. Ты не оставила никакого БУДЕТ. Сейчас некого, завтра БУДЕТ НЕКОГО.

Хочется поднять на смех и обругать всех умников и придурков мира, рассуждающих на тему любви. Ницше, возражая Шопенгауэру, который видит красоту как освободительницу от полового влечения, приводит слова Платона: всякая красота возбуждает к произрождению. А немец с вечно больной головой подводит итог: «Любовь к одному есть варварство, ибо она осуществляется в ущерб остальным. Так же и любовь к Богу».

– Дети! – кричу я им, указывая на портрет, от которого исходит необыкновенный свет. Его излучают волшебные агатовые глаза. Далеко за пределами объектива они видят неисчислимые стаи птиц и звезды, притаившиеся в дневном свете. – Что вы знаете о любви!?

Возвращаясь, увидел в подъезде на стене свежую надпись.

БОГ МЕРТВ.

Ницше.

НИЦШЕ МЕРТВ.

Бог.

– Ты писал? – спросил я у сына.

– Нет, – твердо ответил он.

Для него так и не было никакого лета, за компьютером, при задернутых шторах все едино. Показывает на монитор, читай.

«Покупаю ваши души. Цена договорная...». Далее предложена форма договора, которым не предусмотрено обсуждение вопроса, для какой цели. «Я, такой-то, продаю свою душу такому-то для использования по его собственному усмотрению...».

– Ничего себе! Новый Чичиков отыскался!

– У Гоголя речь шла о мертвых душах, здесь живые.

– Чушь какая-то, злые игрушки!

Я не могу взять в толк, что это, для чего, зачем? Как это объяснить с точки зрения здравого смысла?

– Откуда это появилось? – спросил я.

– На иркутском сайте выложили, – ответил сын.

– И что, есть предложения?

– Сколько угодно!

– Нет, кроме шуток...

– Абсолютно всерьез. Даже почти не торгуются. Иногда дуркуют, вот, к примеру. «В обмен на твою симпатичную задницу». Есть другие. «Уже продана, однако старый хозяин обещал вернуть за ненадобностью. Тогда – твоя».

– А тебе не кажется, что в вашем виртуальном мире это в некоторой степени опасно? Душа ведь тоже субстанция виртуальная.

– Пап! – Сын повернулся ко мне. – Это я придумал, никакой не Иркутск.

– Ты?

– Понимаешь, это всего-навсего социальный эксперимент.

– Эксперимент! Он не может быть «чистым» по многим позициям и в силу целого ряда обстоятельств.

– Ты прав. Но это все не так уж важно. Душа, значение, цена... Даже не звуки – воздух, пустота. Через слово присутствуют, а на самом деле – опостылевший, никому не нужный спам, вроде семян для попугайчиков.

Я почувствовал небывалую усталость, отошел в дальний угол комнаты, присел так, чтобы не видеть ненавистный экран.

– Ты еще молод, еще многому не научился. Мир всегда другой, чем мы его себе представляем...

– Странно от тебя это слышать. Изначальная враждебность мира философами признана как константа. В то же время, к примеру, Альбер Камю утверждает, что мир неразумен (или по-другому – он же не имеет смысла). А если не так? Если изначальная враждебность мира, признанная людьми, как раз и вызвана ожиданием, а затем приходом человека? Это предположение не отменяет утверждение Камю. Будь мир умен, не допустил бы homo sapiens с его замашками убийцы. Каждый сам готовит себе палача. Мир тоже явился себе на погибель, усадив вблизи своих кровеносных сосудов существо самой великой разрушительной силы. Удивительно, что жертва и палач одинаково неразумны. Человек исполняет свое предназначение, не зная его, потому тратит силы на создание так называемых условий жизни, сотканные из множества надуманных, лишних забот...

– Чушь все это!– остановил я его. – Эквилибристка! Дантовские игры современных мальчиков, которые, несмотря ни на что, жить-то хотят! И это нормально. Человек и его мир погибают, пытаясь все-таки спастись. А вы что делаете? Хотите разменять, распылить, обесценить душу, последнюю надежду человека.

– Папа! – спокойно одернул меня сын. – Я же сказал, что это – эксперимент. А все остальное – я зачитал тебе часть своего реферата...

Я посмотрел на кактус, стоящий рядом с компьютером. Цветок выбросил несколько длинных усов, очевидно, собрался цвести.

– Тебя давно Симка не донимала? – спросил я.

Сын наморщил лоб вспоминая.

– Думать уже забыл.

– И я что-то не слышу.

– Наверно, ушла. Вот как ты убил ее сына, так и ушла.

Меня потрясли простота и жесткость объяснения.

– С чего ты взял, что это был сын?

– Не сын – так дочь, детеныш, какая разница?

10.

Еще одно лето пролетело незаметно. Лежу в постели, спина отказала напрочь. А с воли – неистребимый зов картошки, надо кому-то ее копать. У меня большое желание похоронить корнеплоды под снегом.

Дни стоят удивительно теплые, только при постельном режиме это ничего не стоит. Через несколько дней сыну начинать учебу в университете, а он с тоской и завистью говорит, что его бывший одноклассник уже давно бросил школу и торгует шашлыками. Скоро купит себе квартиру.

– Сам, что ли, он вышел на дорогу с мангалом?

– Почему? С отцом.

А вчера ночью в окно заглядывала на редкость круглая и яркая луна. Она была голубая и необыкновенно близкая. В мире идет война за богатство, за обладание собственностью. Есть великое желание отмахнуться от всего этого всерьез. Научиться не обращать внимания на людей. Совсем. Пусть себе кружатся и жужжат...

С картошкой вышло – проще некуда. На дачу приехали оба сына, выкопали, сложили в мешки и покидали их в машину, которую прислал племянник.

* * *

Очень многое во мне состарилось. Неожиданно, исподволь, необъяснимо. Мозги не включаются в тот режим, когда любое, самое обыденное событие может вызвать поток мыслей, освеженных новыми идеями. Полное отсутствие контактов с умными людьми, они будто бы исчезли с планеты. А ведь вроде не так давно были поблизости. Нынче кинулся искать – их нет уж и вдали. Нигде нет.

И все-таки истинная причина во мне самом. Скорее всего моя возлюбленная лень мстит мне за чрезмерную любовь к ней. Она целует меня в лоб, и поцелуй этот – прикосновение льда. Меня уже заморозили. Я сам себя заморозил.

Думал, что избавился от своей пригородной знакомой навсегда. Когда она приезжала в последний раз, я сказал, что раздал все ее шоколадки, фрукты, варежки знакомым девушкам. Думал, обидится, а она в ответ:

– Ничего, свяжу другие.

И все-таки исчезла на два месяца.

Появившись, поведала историю своего отсутствия, и мне стало дурно. Чтобы остудить домогания своего собственного мужа, – зачем он ей, когда есть я? – она устроила дома пьяную оргию с участием подруги. Пили, занимались любовью вперемешку. Рассказывая, она особенно выразительно копировала подругу, умоляющую мужа побыстрее кончить.

– Миленький! Ну, давай же, давай! – стонала та.

Наутро, когда подруга ушла, они с мужем жутко поскандалили, и он воткнул ей в живот нож.

– Почти две недели бултыхалась между жизнью и смертью, – весело сообщила она. – Если бы не ты... Только о тебе и думала, этим спаслась. Девчонок попросила – разрешили: в реанимации из рук не выпускала платочек. Ну тот, помнишь? На нем твои сладкие следы остались.

Потом она продемонстрировала безобразно кривой шрам от пупка до грешного места. А я, едва сдерживая дурноту, повторял про себя одно и то же: зачем мне это надо?

– Мы можем исхитриться, я – запросто, – с готовностью перешагнула она через трусики.

– Не надо! В другой раз! – замахал я руками.

* * *

На рынке мне вырезали стеклышко по размеру рамки для фотографии. В тот самый момент, когда я вставлял его, позвонила жена банкира, которого сжили со света власти, очевидно, чтобы свалить на мертвого свои грехи. Она нашла какие-то книги каких-то ученых, которые умеют оживлять умерших. Уже оживили сына одной дамы. Было ему тридцать пять и умер он двадцать лет назад. Она хочет оживить своего мужа. Для этого, ей сказали, необходимо поменять сознание. «Интересно, – подумал я, – а не надо ли заодно поменять физику, химию, еще что-нибудь...». Сейчас она переписывает от руки многостраничную ученую книгу по поводу оживления. Она уверена, что и я захочу всем этим заняться. У меня давно появилось подозрение, что банкирша тронулась умом, но то, с какой настойчивостью она продолжает связывать свою жизнь с умершим мужем, вызывает если не уважение, то, по крайней мере, сочувствие.

Как-то жена сказала:

– У нас в городе трамваи ходят, где им заблагорассудится. Сколько раз видела, как с Октябрьской трамвай уходит на Советскую. А откуда там рельсы?

Ходили смотреть вместе.

– При тебе у них не получается! – смеялась она.

Опять явился начальник с рыбьей мордой. На этот раз он был в охотничьем облачении – сапоги, костюм из маскировочной ткани, на макушке некое подобие тирольской шляпки. Я только успел удивиться, зачем ему два ружья, как он протянул одно мне.

– Я буду бить косачей, глухарей, может, зайчишка какой выскочит. А ты стреляй попугаев.

– Откуда у нас в лесу попугаи? – изумился я.

– Да сколько угодно, патронов не хватит. Вон он, смотри!

Он развернул меня за плечи, и я увидел шагах в двадцати моего рыбного напарника.

– Ну, стреляй! – скомандовал начальник.

– Не могу, это же...

– Стреляй, тебе говорят, иначе тебя грохну!

Внезапно на месте напарника оказался дальний родственник, про которого моя жена еще лет десять назад сказала: этот человек тебя обязательно предаст. Предал-таки! Совсем недавно. Безжалостно и бесповоротно. Я уж было начал поднимать ружье, но начальник придержал стволы.

– Это еще не попугай, это попка, мелковат.

И тут все разом исчезло, в том числе и ружье из моих рук. А вместо него – корзина с белыми грибами. Похоже, я давно уже их собираю и ушел Бог знает куда. Известно, за белыми в этих местах надо походить. Ключи от машины, как всегда, у жены, она далеко не отойдет, знает: все равно заблужусь. Выхожу на трассу, чтобы сориентироваться – бесполезно. Возвращаюсь в глубь леса и бреду наугад. Вдруг навстречу мне выкатывает моя машина, а за рулем – жена!

– Ты же никогда не умела водить! – опешил я.

– А! Пока ты блудил – научилась.

Так и поехали дальше, она за рулем, я в качестве пассажира. Повиляв по лесным дорогам, – машину она вела безукоризненно, – мы подъехали к какой-то сторожке, обнесенной ветхим забором только с двух сторон. Я подумал: зачем он в таком случае вообще нужен? Навстречу нам вышел любитель травки, посещающий Голландию в день рождения Девы Марии.

– Значит, ты ушел из дома престарелых? – первым делом задал я вопрос.

Он ничего не сказал, лишь усмехнулся.

– Что это у тебя? – указал я на сваленные вдоль уцелевшего забора странные растения.

– Видал! – В голосе его гордость. – Настоящие деревья, до шести метров в высоту!

Я присмотрелся и узнал.

– Это же конопля! И где ты такую вырастил?

– У тебя на огороде, где еще! Вот тоже хозяин, у себя под носом ничего не видит! – Он прошелся вдоль забора и будто бы сделал вывод из сказанного. – А мы сейчас будем пить чай.

Взял под руку мою жену, подвел к полочке под навесом и стал подносить к ее лицу баночки с травами – понюхать.

Пили чай, говорили о пустяках, но все-таки он зацепился за свою любимую тему о презрении к человечеству за его предательство Духа Святого в пользу телесных образов и жертв.

– Человечество глупеет – это очевидно. Кто-то подметил, что развитие общества идет вверх по спирали, но не растолковал свой вывод до конца. Вверх – это значит, по оси Y. Но это движение не может быть бесконечным, потому что бесконечность в развитии рода человеческого исключена. Деградация более продолжительна, однако тоже не бесконечна. Усовершенствование технологий, всевозможная машинизация, механизация, электронизация – все это показатели подъема. А как быть с остальным? Дикость, зверство, самоистребление и саморазрушение, корысть, жадность – это куда отписать, тоже движение вверх? Добро и зло имеют одно направление, так? С точки зрения социального и имущественного неравенства мы вернулись к рабовладельческому строю, по оценке стоимости жизни человеческой – скатились еще ниже... В общем, если сложить различные движущие силы, как центробежные, так и центростремительные, сложить разнонаправленные векторы взаимодействия человека с человеком, человека с обществом, со средой, получится всего-навсего точка. Пусть она будет выглядеть огромной кляксой, которая, подобно мембране, вибрирует, живет, но в масштабе Вселенной это точка. Главный секрет как раз в том, что никакого движения вообще нет. А вибрация, подобие движения – это работа челюстей. С таким остервенением пожирать свою мать-Землю могут только отпетые самоубийцы.

Он закончил говорить и закурил уже готовую папиросу.

– А теперь давайте выпустим на волю все, что вы там наловили.

Я в недоумении отправился за ним к нашей машине. Он попросил открыть багажник и сдернул тряпицу с корзин. О диво! Из багажника рванула на свободу целая туча разноцветных попугаев. Они расселись по веткам и стали орать хором:

– Даешь социализацию!

Жена подошла к машине, захлопнула багажник и протянула мне ключи:

– Поезжай один, я остаюсь в лесу.

* * *

Увезли мою соседку по даче, шумливую и колготную старушку. Перед тем она долго болела и уж совсем не могла управляться по хозяйству. Забрала ее к себе дочь, по всей видимости, умирать. Огромный огород, добротный дом разом осиротели. Некопаная картошка забита сорняками и сплошь усеяна колорадскими жуками. Оказывается, даже наши морозы не берут эту нечисть иностранную...

Не вернется сюда старушка, она перешагнула рубеж, по одну сторону которого жуки на картошке и прочее земное, по другую – кто бы знал... Но уж точно – ни картошки, ни дождика. И чем же мерить человеку прошедшую жизнь? Ведрами? Мешками?

Смотри на себя! Смотрю – ничего особенного. Загляни в себя! И что – сомнения и страхи. А странно, чего можно бояться, если самое страшное уже случилось... Вот они, грядки, две трети населения страны с упоением копается в них. И ты должен считаться с этим для того, по крайней мере, чтобы считались с тобой.

Плюнуть! Отвергнуть! Отвернуться! Пусть все будет ценно и самоценно за пределами моего зрения. В Чемал! Спиной ко всем и ко всему! Хватит запасов знания об этом обществе, о маргинальных началах в любом и каждом!..

Сын предложил мне вступить в асоциальное общество.

– Движение уже идет вовсю, к зиме будем собирать съезд. Как ты думаешь, где лучше, в Екатеринбурге или в Питере? Кстати, можем вместе поехать.

– Да мне-то там что делать? И вообще я понятия не имею, про что оно, ваше движение или общество?

– Между прочим, ты самый что ни на есть асоциальный тип.

– Это потому, что я по полдня готовлю тебе обеды вместо того, чтобы сидеть на работе?

– И поэтому тоже, – нахально подтвердил сын.

За окном ничего не меняется. Замерла налоговая стройка, и вместе с ней будто бы замер весь мир.

Когда-то прямо к нашему дому хотели пристраивать другой. Жильцы, понятно, восстали, написали кучу протестов во все мыслимые и немыслимые инстанции, на что строители спокойно ответили: все равно построим. Эта борьба пережила несколько этапов и длилась три года. И я включился было, но жена сказала, тоже спокойно и уверенно:

– Никто и ничего не будет здесь строить.

Она подчеркнула интонацией слово «здесь». И вот два дня назад строители, победившие в бумажной войне, прикатили нам под окна бурильную машину, скорее всего, для забора проб грунта.

Едва бур вошел в землю – оттуда хлынул мутный фонтан. Машина несколько раз переезжала с места на место – результат один и тот же.

– Так мы что, на болоте стоим? – задавали вопрос сами себе ошеломленные соседи.

– Ага! – злорадно подтвердили строители и убрались восвояси.

А я вспомнил случай, когда брат моего соседа по гаражу выбросился с четвертого этажа. Родня заговорила о похоронах, уж так тяжел был парень. Все были убеждены, что сделал он это под воздействием минуты, назавтра и думать бы забыл... Моя жена долго смотрела куда-то вдаль, за Обь, потом сказала:

– Он будет жить, ничего страшного с ним не произойдет. Полностью поправится и будет жить.

Никто ничего подобного не ожидал, но именно так все и получилось.

* * *

К нам в дом пришли какие-то люди и потребовали осмотреть компьютер.

– Команда «К»! – вырвалось у меня.

– Что? – не поняли пришедшие. Или сделали вид, будто не поняли. – Это не совсем обыск, просто специальное мероприятие. Вот разрешение на него.

– Сына нет, а я даже включать эту штуковину не умею.

Сказал – и тут же послал проклятья самому себе. Предал мальчонку, продал! Мог бы взять все на себя, а теперь...

– Ничего, мы сами.

Пришедшие напоминали скорее установщиков холодильников, чем ребят из спецслужб. Однако сомнений быть не могло, и у меня заныло сердце... Они по-хозяйски расположились за монитором, начали перебирать клавиши, двигать мышью. Что-то нажали – и на весь экран выплыло: «Покупайте семена конопли для попугайчиков!». Еще несколько манипуляций – та же самая реклама. Она выходила из плавающей кривой, наезжала из точки, разворачивалась из тонкой, как лезвие, полоски. В какой-то момент повисела на экране – и начала дробиться: два квадратика с «попугайчика-

ми», потом четыре, потом восемь и так, покуда весь экран не покрылся точками, внутри которых, понятное дело, ничего не различишь.

Все трое приникли к аппаратуре, а я тихонько пробрался на кухню и набрал текстовое сообщение сыну на мобильник: они пришли за тобой, выбрасывай все.

Я уже понял, что дома они ничего не обнаружат, сын, должно быть, приготовился. Вернувшись в комнату, я застал на экране все тот же спам с троицей попугаев на жердочке.

– Где сын? – спросили меня.

– На учебе.

И они ушли, прихватив с собой блок постоянной памяти. Фараоны несчастные! Даже расписки не оставили! Я тут же кинулся звонить сыну.

– Все знаю, – спокойно ответил он. – Ничегошеньки там нет, чистый винт и попугайчики.

Но меня долго еще трясло. Я мотался по квартире из угла в угол, хватая в руки что ни попадя. Остановил взгляд на портрете жены – а там нет стекла – как и не было! Подошел ближе и обнаружил россыпь мелких осколков перед фотографией.

* * *

Глупо сердиться на дождь, сержусь однако. Осень – самое время сходить с ума. Кто это придумал – чудным образом соединить умирание природы, человеческое слабоумие и самоубийство? Этой порой в общем незнании человека вопрос – для чего жить? – встает с особенной остротой.

Божий день. Воскресение. Сижу на даче. Теща торопит с уборкой последних овощей, а я мысленно тороплю ее: поскорее бы остаться здесь одному дня на три-четыре. Уж так-то скучно наблюдать здесь лишь одну огородную суету! Когда Камю говорил, что жизнь слишком быстро входит в привычку, он наверняка имел в виду скуку жизни, необходимость прохождения общего пути...

Взялся за рамку – и она развалилась в руках, неумело скрепленная мной, когда вставлял стекло. Из-за фотографии выпал маленький листок. Странно, по-моему, в прошлый раз его не было.

Я стою на зловещем ветру
Перекрестка раздумий, тревог.
Ночь прошла. Я глаза утру
И пойду по одной из дорог.
Я уйду навсегда. Дай-то Бог,
Чтобы сын мой стал лучше меня,
Чтобы Ты хоть его уберег,
Чтоб он горя не знал ни дня.

* * *

Теща наконец-то уехала. Я сижу на даче один и потихоньку перебираю в памяти дни.

День первый.

У жены на томографическом снимке обнаружили какую-то опухоль. Она держится стойко, вида не подает.

– Не понимает! – шепчет ее сестра.

Смотреть жалко. Ну, почему это случилось именно с ней? Разве мало она

настрадалась со своей хронической болезнью? Ответов нет и, наверно, быть не может. Накануне наши верующие родственники рассуждали об ответственности потомков за грехи предыдущих поколений. Да неправда все это! Господь милостив, не может он заложить в чье бы то ни было древо жизни месть. Это изощренные умы земных жителей напридумывали всякого.

Наш сын не готов остаться без матери. Эта мысль назойливо лезет в голову, сколько ни повторяй себе: она будет жить!.. А жизнь подсовывает помимо главных обстоятельств всякую ерунду – деньги, дача, устройство прочих мелких дел... Да, вечные истины не правят нами.

День второй.

Бесконечные консультации с врачами. Все говорят о необходимости немедленной операции и тут же высказывают сомнения, вряд ли она перенесет ее. Оперировать нельзя ждать. Поставить точку в любом месте – таков выбор.

День третий.

Занимаемся огородом, обычный летний день, обычная работа. После обеда едем в лес и – неожиданность! – набираем большущую корзину опят. Это в июле-то!

Потом я режу грибы, раскладываю на сушку, маленькие и мясистые жена маринует. Никто так вкусно не умеет мариновать грибы, даже моя мать так не умела.

Удивительно плотный, насыщенный день. Мы еще успеваем съездить на речку искупаться и посидеть на берегу. О болезни ни слова.

День четвертый.

Придя с работы, обнаружил, что вся квартира залита известью. Мебель, стены, картины, ковер, книги – все пришлось оттирать. Да не все оттерлось.

– Тебя разве допросишься! – раздраженно бросила жена.

А я и не помню, чтобы разговор о ремонте возникал. Мы однажды и навсегда постановили: лето для другого. В сердце кольнуло – она торопится успеть...

День пятый.

Поход еще к одному доктору, последний, как сказала сестра, решающий. Медицинское светило ситуацию определило коротко и ясно. Немедленно на операцию!

Сегодня состояние ухудшилось. Пытался говорить с ней – беседа немого с глухим.

Ощущение – она глубоко в себе.

День шестой.

Потребовала везти ее на рынок. Внимательно перебирает куски мяса, осматривает другие ряды. Потом заходим в магазинчик с семенами.

– Вы мне дали бракованный пакет, там все семена высыпались, – говорит жена продавцу.

Та не понимает, но я-то знаю: мы здесь ничего не покупали. Делаю ей знаки, но продавец не понимает и меня.

– И пятьдесят копеек забыли сдать. Вот только что я купила...

Жена для достоверности пытается вывернуть сумочку наизнанку. Прода-

вец смотрит на меня с ужасом. Еще бы! Эту красивую пару даже пожилой назвать язык не повернется. И надо же быть такому!.. А из меня льются слезы.

День седьмой.

Больница. Теснота, духота в палате, и мы стараемся почаще выходить на улицу. Однако жена быстро устает и просится назад. Она почти все время молчит. Мы с женой племянника дежурим по очереди. Оставлять одну нельзя, убегает. Уже несколько раз ловили на трамвайной остановке.

– Пустите меня к сыну! – рвалась она изо всех сил.

– Нет его дома, он в лагере, – пытались втолковать ей. – Вот приедет – сам сразу же прибежит сюда.

Я и вправду отправил сына на две недели в международную деревню. Специально отправил.

* * *

Операция прошла успешно. Реанимация, дежурства у постели в палате интенсивной терапии... Дни перемешались с ночами. Хотя общий счет этим дням и ночам после операции хорошо известен – шесть.

Перед самой операцией у меня на глазах ее увели и подстригли наголо. Как, оказывается беспомощна женщина без волос! Это невыносимо! И тут я как-то потерялся. У меня уже было такое, когда умирал отец. Сознание отключено, ты делаешь какие-то движения, что-то предпринимаешь, ищешь медные монеты, чтобы положить их на глаза... И только потом, какое-то время спустя протестующий голос поднимается в тебе.

– Ведь это твой отец! Он еще минуту назад дышал! Он, может, и теперь еще дышит!..

Я стриг ей ногти – положено перед операцией, – сделал больно, но что-то торопило, мешало быть внимательным и аккуратным. Потом стаскивал обручальное кольцо, именно стаскивал, потому что оно никак не снималось... И как же я посмел тогда не крикнуть: дорогая моя! Любимая! Мы обязательно выберемся из этого! Я с тобой! Мы справимся! Держись и помни: я с тобой!..

После палаты интенсивной терапии ее почему-то опять перевели в реанимацию. Нас отправили из больницы, сказав, что все идет по плану, все нормально.

Ночью она умерла. Когда наутро нас с женой племянника оповестили, маленькая, тихая женщина бегала по отделению и грозила всех здесь поубивать. Было воскресенье. Дежурный врач – и никого больше.

* * *

Все пусто. Одно перед глазами: жена в больничной кровати, в интенсивке, голова перевязана. Она в полубессознательном состоянии, очень тяжело дышит, изредка чуть приоткрывает глаза. Все тело ее в каком-то беспокойстве, плохо, неудобно ему, больно. На запястье крестик, снятый с шеи перед операцией. Он покачивается в такт беспокойному движению руки. Второй рукой она пытается взять его, потрогать, но координация нарушена, нет сил, чтобы сосредоточиться. И это понимание, это желание дотронуться до креста, до спасения вызывает у меня, сильного и здорового, невероятную муку.

Я все это вижу каждый день, третий год подряд. Это и сегодня невыносимо больно.

* * *

А потом был сороковой день. Приезжала подруга жены из Питера. Она добрая, умная, и муж у нее хороший, только отчего-то взяли и разошлись. Неужели надо потерять, чтобы понять? Потерять навсегда, безвозвратно, когда горевать уже поздно, когда понимание твое бестолково... Пути ошибок, точно тропа, выбитая в бетонном полу камеры-одиночки, – хожены-перехожены, давно известны и... повторяемы из раза в раз.

* * *

Обнаружил на даче аккуратно сложенную стопку выстиранных и выглаженных моих рабочих брюк, рубашек, маек. Стирала их жена регулярно, а вот чтобы гладить – нет смысла. Несу эту стопку на вытянутых руках, а навстречу теща, – она нашла косынку, в которой жена ходила к причастию. Оба рыдаем в голос.

– Она знала, – сказала теща.

– Она считала дни, – поведала подруга из Питера.

* * *

Она нежно и трогательно прощалась с миром, тихо, наедине. До самых морозов я обнаруживал все новые и новые цветы, каких у нас отродясь не бывало. Вот зацвели синие и фиолетовые сентябрики – мохнатые звездочки на мощных стеблях, соединенных в кусты. Раньше они никак не хотели приживаться у нас. Тут и там появляются островки портулака, красные, белые, желтые – все разные. Совсем неожиданно поднялся георгин – откуда взялся? Плющ болел и кое-как выживал от года к году – а тут вымахал до крыши. Но самое удивительное – в один из дней обнаружился густой ковер красно-оранжевых бархаток, расцветших одним мгновением под окном моего кабинета. Я принял это, как последнее послание мне, последний призыв к любви.

Сороковой день. Все, до встречи, любимая!

* * *

Смотрю из дачного окна на осень. Желто все и серо. Сумрачно и стыло. Еще вчера было тепло, и я управлялся по хозяйству, готовя дом и огород к зиме. Убирал на хранение вещи, через одну – жены. Прошло два месяца, вроде тяжесть начинает уже понемногу отпускать. Но... Цветут сентябрики, доживают бархатки и астры. Убило морозом клещевину, портулак, плющ, отцвели безвозвратно розы. Всему когда-то приходит конец. Но бесконечна печаль. Как скучны, неинтересны все вокруг, как мало стоят по сравнению с ней. Не уберег. Поздно. Октябрь... Через неделю сыну исполнится шестнадцать, нынче он пошел в последний класс. Я плохой отец, это почему-то всем известно. Может быть и так.

А осень бессердечна, да еще и отнимает сердца. Любить больше не хочется. Хотя что я без этого? Что без этого все? Но уж невозможное из невозможного – заставить любить. Пока остается одно – проистекать во времени.

* * *

На перроне незнакомого вокзала я провожаю какую-то многочисленную делегацию. Что интересно – из провожающих я один. Постепенно серая масса отъезжающих приобретает лица знакомых мне людей. Соседи по гаражу ходят взад-вперед в обнимку, иногда останавливаются, достают из пакета бутылку, пластиковые стаканчики и выпивают. «Спирт», – почему-то

приходит мне в голову. Моя жаркая любовница из пригорода отчитывает за что-то девочку с разноцветными волосами из «Гаража». «Вот и нашлась!» – шевельнулась во мне радость.

Вечная путешественница беспрестанно сморкается. Наверно, опять возила туристов по южным странам, а там в автобусах безжалостные кондиционеры, от которых простуды не проходят. Моя докторица из нейрохирургии издалека грозит пальцем и громко наставляет:

– Запомните, от нервов все болезни, даже венерические!

Запыхавшись, спешит мой напарник с двумя аквариумами-садками. Он крутит головой, пытаясь высвободиться из туго обернутого вокруг шеи шарфа. Далекая деревенская подруга тащит огромный чемодан и картонную коробку. На ней немыслимая шляпка с вуалью и огородом. Она показывает на свой багаж:

– Здесь презервативы! – оповещает народ, а затем обращается ко мне: – Не волнуйся, дорогой, нам хватит.

Спешным шагом, постукивая своей тростью, движется по перрону образованный курильщик гашиша. Господи, как он худ! – только сейчас замечаю я.

– Так, – направляет он трость на любовницу из пригорода, и я вижу в руке у нее авоську, набитую шерстью для вязания. – Вы в Индию, значит, ваш вагон...

Он сверяется со списком. Видимо, он здесь старший.

– В Индию. В Индию, – отсчитывает он одного за другим. – Вы, – тычет тростью в меня, – в расход. – И дальше: – В Индию, в Индию, в Индию...

Странно, в расход только меня. Но еще более странно – я не ощущаю страха. Постепенно народ рассасывается, и тут на перроне появляются трое, те самые, кто копался в компьютере у сына. Только теперь головы их покрыты фуражками с кокардами, на руках алые повязки с изображением снопиков конопли.

– Вы смонтировали и запустили в интернет снимок, где президент занимается мужеложеством с неким неизвестным.

– Почему неизвестным? – говорю и понимаю, что говорить-то не надо. Однако ничего не могу с собой поделать. – Вполне даже известный. Это ваш премьер-министр.

– Не имеет значения. Вам полагается смертная казнь прямо на месте.

– Это не я! – кричу. – Я знаю кто, за тринадцать полторашек пива изладили! На фига мне пропадать из-за придурков!

– Приговор окончательный, сейчас вот только командира дождемся.

И тут я вправду испугался. На перроне, печатая шаг, появился мой дивизионный.

– Товсь! – рычит он еще издалека.

Но его перебивает голос диктора по вокзалу:

– Пассажирам, отправляющимся в Амстердам, немедленно занять свои места!

– Куда? – удивился я, и тут же дурновато-пьяный вопль повторяет:

– Товсь!..

– ...Пап! А пап! – Это сын трясет меня за плечо. – Дай денег, на диск не хватает...

* * *

Давно уже не поддерживаю разговоры в конторе о близком конце России. По традиции в понедельник собираются все, это у нас нечто вроде армейс-

кого развода. До обеда обсуждаем дела, а потом можно собрать свои бумажки – и хоть до следующего понедельника.

Утро. По улице медленно бредет женщина. Уже одно это почти невероятно. Надо же торопиться, день начинается для того, чтобы все спешили заработать! Шалишь, брат, так заведено для всех других, а для наших жить – это не одно и то же, что зарабатывать. Идти не спеша – это вызов, это отчаянная попытка остаться неизменным среди всего меняющегося.

* * *

Первая весна после смерти жены явила мне на даче жестокую картину. Из двух берез одна погибла, из двух белых ломоносов, которые стойко переносили любую зиму, одного не стало. Две вишни долго маялись без плодов – одна отмаялась. Из двух яблонь тоже осталась одна. Я сбился со счета перебирать разбитые пары. Кроме того, погибли клубника, малина, крыжовник... Остались деревья-одиночки, привезенные мной из тайги – лиственница, пихта, кедр.

* * *

Этот город на неизвестной планете напоминал древний город инков Мачу-Пикчу. Сложные архитектурные сооружения, напоминающие земные загадки, – дольмены и кромлехи – стоят в окружении гигантских каменных деревьев. Каменный город, каменные поляны, каменный лес... Поначалу мне не попадается ни одной живой души, затем из-за огромной каменной глыбы-менгира выходит, семеня, согбенный старец в рубище с непокрытой седой головой. Мне кажется его изборожденное морщинами лицо знакомым.

– Серафим Саровский, – представляется старец, и я узнаю монаха с открытки, привезенной женой из Свято-Данилова монастыря. – Экскурсия, – следом сообщает он.

Не понимаю, оглядываюсь вокруг.

– Вы на экскурсии, – поясняет старик, – потому что вы мертвый, а здесь обитают только живые.

Он плавно ведет рукой, и из-под нее вырастают близкие мне люди. Друзья, с которыми поднимался на белку, – одного убили московские бандиты, другого местные. Поэт, искренне любивший меня, но так и не дождавшийся хотя бы признательности в ответ. Промелькнуло и тут же исчезло лицо матери. А вот и московский друг, спасший меня однажды от лютого безденежья. Но он-то что здесь делает среди покойников? Четыре месяца никакой весточки – все может быть... Да о чем это я? Сказано же – я покойник... Здесь даже моя любимая учительница, отстоявшая меня, когда исключение из школы было делом решенным. За драку.

– Значит, вас все-таки переселили с Земли? – задал я вопрос и сам удивился, как это из меня вылетело?

– А Земли уже нет, – сказал старец, – ее опустили.

И по-старчески хихикнул, будто кашлянул.

– А как же я? Если это экскурсия, значит, надо будет назад возвращаться. И куда?

– Для вас, таких, специальный отстойник устроили, на Сириусе Б. А потом – кого куда, может, и здесь кто окажется. Это – Атлантида среди планет. Все думают, что она исчезла, а она очень даже есть и заселена избранными.

– Скажите, – решился я наконец, – а со своей женой я могу увидеться?

– Я же сказал, ты пока еще мертвый. Там видно будет.
– Но их же я вижу, – показал я на движущиеся тут и там фигуры.
– Они мертвы наполовину.
Промолвил это и исчез. И только удаляющийся голос донес до меня:
– Иди и готовься! Готовься!
...Я стою возле сына, глажу его вихры и повторяю, показывая на зачетку:
– Готовься!

* * *

Безжалостный календарь отмеряет время и живым, и мертвым. Уж давно пошел третий год, как нет ее с нами.

Небо сегодня живое, оно несет остатки тепла и дает надежду. Спина опять разболелась, будто не лечился.

Сегодня я разбил фарфоровую кружку, подаренную женой. Не знаю, берег ли я так хоть что-нибудь еще. Увы, хочешь сберечь посуду – спрячь ее. А я хотел ее видеть всегда, пользоваться ей до конца дней своих... На кружке было нарисовано сердечко и написано по-английски: «I love you». Даже у сына такой кружки не было, ее ни у кого больше не могло быть. И я знал, что это правда: я люблю тебя!.. Не уберег.

Я действительно испугался, будто произошла самая страшная потеря из всех возможных потерь. Как будто у меня отняли последнюю зацепку за все настоящее, что было в жизни, и сказали: вот без этого ты окончательно пропадешь! И поделом тебе!

* * *

Октябрь. Холодная морось. И... Перед моим окном с трейлера сгружают каток. Наверно, будут укатывать очередной слой асфальта. Все повторяется, как год назад. С неумолимой точностью.

* * *

Позвонила жена банкира. Ощущение, будто от звонка к звонку она все больше сходит с ума. Сообщила, что в клубе моторостроителей завтра в восемнадцать часов состоится очень представительный семинар по оживлению. Приедут и будут выступать с опытами светила науки.
– Вам обязательно надо быть!
... Может, и правда, когда-нибудь удастся оживить ее?
Но я-то мертвый! – вспомнил я приговор старца.

* * *

Мой телефон показал пропущенный вызов. Странно, он все время лежит у меня перед глазами. Нажал на кнопку – определитель высветил в окошке: ГАЛЯ

Юрий МАНАКОВ

НЕ ЗАМУТИТЬ КОЛОДЦА НЕПОГОДЕ
Повесть об отце

ПРОЛОГ

Как сейчас помню теплый солнечный майский день 1965 года – праздник Победы. Около чугунной литой ограды отцы нашей дворовой ребятни. Кто стоит на асфальтовой дорожке, кто сидит на решетчатой изогнутой скамейке. Все веселы, смеются, позвякивают медалями, посверкивают орденами. И только у моего отца на клетчатой рубахе кроме нагрудного кармана и светлых пуговичек – ничего. Помню, как я побежал тогда домой, потому что не мог этого вынести, забился в угол между диваном и окном, где стояли в ряд мои оловянные солдатики и пластмассовые пушки и танки, и заревел как последняя девчонка. Мама не могла понять, откуда мои слёзы – рос я упрямым, среди ровни был коноводом, слезу из меня вышибить не умели и старшие ребята, а здесь вдруг – плачу навзрыд. И только когда в комнату вошел отец, видимо, уловивший что-то неладное в моём поведении во дворе и вернувшийся домой, меня прорвало.

– Папка, а где твои медали, папка? – кричал я на всю квартиру. – У других есть, а у тебя почему нету, папка?

Помню, как отец потемнел лицом, растерянно заморгал, отвернулся и ушёл из дома. Вернулся он вечером крепко выпивший. Пошатываясь, молча прошёл к себе и затих.

МАНАКОВ Юрий – поэт, прозаик. Автор многих рассказов, повестей, публиковавшихся в центральных и областных российских журналах. Член Союза писателей России. Живёт на Алтае.

Часть первая. РОДНЯ

Глава первая. КОСМАКИ

Сельская бревенчатая школа-четырёхлетка, добротный крестовик раскулаченного и сосланного на север Урала крепкого хозяина и несговорчивого мужика Андрея Ильича Коростина. Светлое помещение с окрашенными белилами стенами и резными окнами оборудовано под классы. Уроки в две смены ведёт одна учительница: с утра скрипят перьями, обмакивая их в чернильницы-непроливашки, первый и третий классы; с обеда второй и четвёртый. Третьеклашкам намедни выдали новые тетрадки в сиреневых обложках, и теперь ребятишки старательно выводят слова диктанта. Учительница, сухонькая старушка в пенсне, занесённая в эту берёзовую и озёрную глухомань в первые годы революционного слома, да так и прижившаяся здесь, медленно прохаживается между партами, диктуя. Тишина такая, что слышно как осенние мухи с разлёта бьются в оконные стёкла; но тут начинается возня и шум у первоклашек за перегородкой. Учительница спешит узнать что там, у малышей.

Чернильница рядом, места на полях чистенькой страницы вдоволь, чтобы нарисовать смешных человечков, можно сюда же поместить галок и сорок. Кустистые их гнёзда не так уж и давно, по весне, они с соседскими ребятами зорили, набирая полные шапки крапчатых яиц, чтобы потом сдать это богатство в обмен на леденцы и рыболовные крючки деду-заготовителю, что всегда в ту пору на старенькой телеге пригромыхивал в деревню. Сёмка так размечтался, что опомнился, лишь когда подошедшая сбоку учительница попыталась вырвать из рук его, а он, намертво вцепясь и сминая сиреневую обложку, не желал отдать свою тетрадку. Чтобы проучить своевольного мальчишку, учительница недели две не выдавала ему тетради ни в линейку, ни в клетку. Сёмка расчертил поля старых газет и на этих клочках решал примеры и записывал предложения.

Как-то под вечер, когда слабый ветерок доносит через раструбы улочек, сбегающих к озеру, голоса мужиков, выбирающих в лодки неводы с дневным уловом сазанов, карпов и карасей, посиживал Сёма на бревнышке и прутиком расчерчивал тёплую пыль.

– Сём, знаешь, что есть у меня? – подсел рядышком верный товарищ Алёшка Пичугов. Шмыгнув конопатым носом, он стрельнул глазёнками на две стороны улицы и заговорщески прошептал: – Чекушка! Тятька уснул, а она укатилась под крышку голбца, я её и стянул. Айда, попробуем.

Горькую тепловатую жидкость Сёмка сглотнул, обжигаясь, разом; и спустя некоторое время – пил-то первый раз за свою десятилетнюю житуху – опьянел. Ближние избы, заборы, жёлтолистые березки, багряные клёны и яблоньки осветились каким-то нездешним, но всё равно родным и чуть-чуть, ну, самую малость, грустным светом. И надо же такому случиться, по преображённой муравушке на противоположной стороне улицы идет злюка-учителка.

– Ах, вот ты где! – Сёмка неверным шагом пересёк дорогу и сходу выбил из рук растерявшейся женщины стопку тетрадей, исступленно выкрикивая: – Хочу учиться, хочу чиркать, где хочу!

Очнулся он дома, на полатях. Попробовал пошевелиться, звякнуло желе-

зо. Осмотрелся, понял, что приковали его, покуда был он в беспамятстве, к толстому поперечному брусу, уходящему от русской печи в паз бревенчатой стены, и одному, самостоятельно из этих оков не выпростаться. Сёмка глянул с полатей вниз, в избу, там было безлюдно; оконца, выходящие в палисад, приоткрыты. Мохнатые, словно плюшевые, георгины и штакетник, отгораживающий усадьбу от деревенской улицы, освещены солнечными лучами слева, значит, утро. Свесив всклоченную голову с полатей, стал Сёмка ждать, не пройдёт ли кто из знакомцев. Минут пятнадцать улица была пустынна, и вот, озираясь, будто выискивая кого-то, показался Алёшка Пичугов. Сёмка радостно окликнул дружка, и когда тот опасливо перешагнул через порожек в избу, растолковал, где в сенях лежит топор, надобный для перерубки цепи. Били по звеньям так старательно, что щепа от бруса летела, и лунку надолбили с ладошку-лодочку, пока не смекнули: надо хотя бы кусок никудышной железяки под цепь подсунуть. Как догадались, перерубили в три удара. Однако с рук-то оковы, не отворив ключом, не сдернуть. Похлопал Сёмка по накладным карманам висевшей в горнице на венском плетёном стуле материнской кофточки, вытащил гранёный ключ с полым отверстием и освободил кисти рук от замка и цепей. Закопав повреждённую цепь и замок на пустырьке за огородом, отправились друзья через деревню в березовый колок полакомиться сентябрьской костяникой. Дорога лежала мимо детских яслей, где работала воспитательницей тётка Капитолина, Сёмкина мать. Как она поглянула в окошко, всплеснула руками, да и обронила нянечкам: «Посмотрите-ка, я его на цепь приковала, а он с неё сорвался». И пошла эта присказка гулять по деревне. И стар и млад остановят, бывало, Сёмку и ну его расспрашивать, как, дескать, ты с цепи-то сорвался? А тому лестно такое внимание, да и ум детский прост и ясен, Сёмка и ответствовал, горделиво подбоченившись: «Меня и в тюрьме в цепи закуют, так я всё равно сорвусь и убегу!». Эх, знал бы малец, что судьбу свою проговаривает, да вот близок локоток, а не укусишь.

Как бы там ни было, но с этого случая так и покатилось по деревне: кто бы где чего не отчебучил, какую прокуду не сотворил, все шишки Сёмке. Правда, и он хаживал с удалью да молодечеством в обнимку. То парни постарше подучат его: «коль уж ты у нас такой бедовый, вымажи ворота дёгтем вон той неотдатливой девахе». Ей – известная слава, Сёмке – почёт.

А то в сеноуборочную страду, проходя ватагой мимо сельского погоста с полевого стана, опять же старшие подначат мальцов: «а не слабо ли кому из мелюзги притаранить на похожалую дорогу крест с могилок? Кто не сдрейфит, получит пачку махорки нераспечатанную». Ребятишки робеют, жмутся друг к дружке. Один Сёмка, не страшась ни темени, ни жутких уханьев ночной неведомой птицы, смело продирается сквозь заросли акации и волчатника и вскоре возвращается, волоча потемневший деревянный крест. «А не хочешь ли, Сёма, заработать коробку первосортных папирос? Принеси ещё один крест, но только чтобы с врезанной иконкой. Ну, шагай, ждём!».

С первым светом, подоив коров и накормив ребятишек, топают на стан деревенские бабы. И вдруг, посреди дороги, обложенные дёрном и рыхлыми комьями суглинка, их встречают кресты. Бабы бежать обратно в деревню, но на полпути, запыхавшись, останавливаются, торопливо крестятся и раздумывают вслух – что, мол, это было, неужто мертвяки с космака убегли. Тут одна и вспоминает, как приметила уже по

темноте на задах своего огорода, что кто-то, схожий обличьем с Сёмкой, промышлял на морковных и огуречных грядках. Знать, и здесь его работа бедокурная!

Между тем, парни постарше и мальцы полеживают на полевом стане в шелковистой тени берёз, покуривают себе и посмеиваются: что-то, дескать, долгонько баб с деревни нет. Но вот на просёлке показываются возбуждённые женщины. Перед бригадиром выступает известная своей крикливостью Маланья.

– Что бы ты подумал, Петр Игнатьич, ведь нонешней ночью с космака сбежали упокойники, скучно им там, в этой яме-то, народу живого не видят и не слышат. Так они даже и кресты с собой прихватили, и на чистом поле при дороженьке и поустроились.

После кощунственного номера с крестами Сёмку наказали штрафом на пять трудодней. Заработок подростка тогда, в середине тридцатых годов, составлял за день примерно 0,35-0,50 трудодня взрослых колхозников.

Глава вторая. ПОПУТЧИК

– Сёма, поглянь-ка, машина к конторе катит, небось, из района, – глаза Алёшки Пичугова восторженно горят, да и есть от чего: автомобиль в деревне в диковину. – Бежим туда, поди, разживёмся резиной на рогатки!

По хрустящей под валенками дорожке мальчишки выскочили со школьного двора и сноровисто обследовали со всех сторон полуторку-АМО. Сёмке повезло, слева под деревянным кузовом он обнаружил металлический ящичек, ловко развязал медную проволочку, приподнял крышку и перебрал гаечные ключи, болты, монтировку, но заветной резины в ящичке не оказалось; а из колхозной управы уже выходят незнакомые мужики в овчинных тёплых полушубках и направляются к полуторке. Сёмка, прихватив из багажника три электролампочки, отбежал за угол и там притаился. Взревел мотор, и грузовик, взвихривая снежную пыль, укатил из деревни.

Назавтра в школе на переменке Сёмка дал одноклассникам одну из лампочек: вот, мол, глядите, что у меня есть. Ребятишки сбились в кружок, а тут незаметно подошла учительница и приказала им немедля отдать ей эту вещицу. На что Сёмка махнул рукой – у меня, ребята, еще две есть.

Утром следующего дня к Сёмке домой прибежал посыльный и потребовал, чтобы они с матерью срочно явились в сельсовет.

– Что же ты, Капитолина Андреевна, такого сорвиголову р*о*стишь? – не поздоровавшись, начал неласково председатель Михаил Евстафьевич. – Давеча сообщили с МТС, что из машины, она третьего дня была у нас, на возвратном пути все инструменты и ключи из ящика повываливались, а ночью буран сугробов таких намел, не отыщешь теперь ничего, не сберешь. Да и сдается мне, Сёмка твой очистил этот ящик, да испужался, что найдут-де у него эти железяки и поскидал их на озере в пролубь. А вещи ой какие ценные, на МТС позарез нужные, насчитают столь, ты за жизнь не расплатишься.

Дома получил Сёмка от матери добрую взбучку. Пока его пороли ремнем, он, стиснув зубы, молчал, когда же Капитолина Андреевна обессилено опустилась на табуретку у обеденного стола и, обхватив руками голову с выбившейся из-под ситцевого платка седой прядью, приглушенно всхлипнула, Сёмка зло, по-взрослому, бросил, что из дома он всё равно сбежит. Тогда-то

и была определена ему в сторожа нанятая матерью деревенская побирушка Анка Шубенка. Теперь Сёмка лишь в ее сопровождении шествовал в школу. Там она караулила в коридорчике на низенькой скамейке, греясь у печи-голландки. В обед под тем же присмотром – домой. Старушка оказалась цепкая, глазастая, репей, да и только. Но и Сёмка – не промах, удумал, как избавиться от охраны. Январским морозным вечером, лишь стемнело, он попросился у матери сходить «на двор», а уборная находилась в теплом пригоне, где зимовала домашняя скотина и птица. Анка Шубенка осталась за порогом хлева; подмораживало, она прохаживалась, был слышен скрип её стареньких валенок. Сёмка быстро пробежал к противоположной стене, где, отогнув висевшую на оконце металлическую сетку от веялки, вынул раму и ящерицей выскользнул наружу. Их огород примыкал к озеру, по льду которого он перешёл в соседнюю деревню Пески, где первый год учительствовала старшая сестра Мария.

– Что-то ты, Сёма, поздновато нынче. Мама, говоришь, отправила тебя за валенками в Могильное к пимокату, и деньгами наказала снабдить; да ты грейся, вот уже и чай из душицы и смородиновых листьев поспел. Почаёвничаем, и будем укладываться спать, путь-то неблизкий, двадцать вёрст, да ты у нас ходок известный. Помнишь ли, как мальцом в Скоблино ходил? – сестра нежно погладила подростка по вихрастым волосам. – Наделал ты нам переполоху. Тятя тогда еще жив был, он всю округу взял на Гнедке, коня запалил.

* * *

Через открытое в палисадник окошко в горенку струился мятный запах дозревающего лета. Пётр, русобородый ширококостный мужик пятидесяти лет, сидел за столом, убранным белёной холстиной, и водил узловатым пальцем по странице, усыпанной церковно-славянской вязью. Марфа, дородная жена Петра, негромко постукивала деревянной и берестяной посудой за перегородкой в кути. Был полдень. Вдруг эти обыденные звуки вытеснило частое звяканье. Кто-то неумело и настойчиво бил бронзовым кольцом в окованные железом ворота. «Марфа, глянь, кто долбит с улицы?». Та, обсушив о передник руки, подалась во двор. «Кто там?» – спросила через ворота. «Тён Тич Ков», – донесся сквозь толщу дерева и железа детский голос. Женщина отворила. На деревенской улочке, босой, с ботинками через плечо, стоял их пятилетний племянник и ясными серыми глазами смотрел на Марфу. Она вышла на дорогу и глянула по сторонам: «Сёма, дак это ты у нас Тён Тич Ков – Семён Лукич Манаков? А тятя-то с мамкой у кого из наших опнулись?». Мальчуган замотал русой головкой: «Я один, тётя, сам пишел». «Как сам! Двадцать вёрст лесом!». «Я доёгу знаю». Тётка всполошилась, подхватила ребенка на руки и бегом в избу. «Петруша, запрягай Карьку, поедешь в Вишнёвку к Луке, там, небось, уж с ног сбились, мальчонку утеряли. А я покуль Сёму накормлю да выведаю у него поболе, как это по глухомани он к нам добрался, ведь и поселья в этаких чащобах не единого не сыскать. Ох, Сёмушка, бедовый ты у Капитолины! Да ты ешь, оголодал за дорогу-то, дитятко». «Здоровы ли тятька с мамкой? – переменила было разговор Марфа, но не утерпела и снова: – Ты, Сёмушка, нас-то как отыскал, был ведь единожды с родителями на Троицын день, а, поди ж ты, прибрал в память. Не боязно идти-то было. Небось, лешаки да ведьмаки из-под всякого кустика стращались? Тьфу ты, что ж я старая с языком своим!». Маль-

чуган в ответ лишь весело кивал, уминая густо заправленную домашним коровьим маслом пшенную кашу, запивая её молоком из деревянного долблённого узорного стаканчика.

Меж тем Пётр приготовил бричку и вернулся в избу. Он сел на лавку сбоку от устья печи напротив племянника и постарался придать своему широкому лицу суровое и строгое выражение. Но тут же тепло и с любовью глянул на Сёмку: «Варнак ты, Сёмушка, однако ж. Как знал, что мы с Карькой застоялись да засиделись, давно пора промяться. Ты, Сёмушка, вожжами-то распоряжаться могёшь? – как с равным пошутил Пётр. – Марфа, управляйся нонче одна, что, дак сынов кликни, пособят. Я буду завтра к обеду, коль вышел случай родню проведать. Идём, удалец».

– Маша, не расстилай мне, я ухожу, ночь ясная, не так морозно, до света буду в Могильном. Там, у дяди Васи обогреюсь. – Сестра знала, что старший брат их матери всегда рад племянникам; а еще Марии, как и всем деревенским, было известно, что лучше Сёмушки никто не знаком с окрестными сёлами и дорогами к каждому из них. Потому она спокойно завернула в чистенькую тряпицу деньги, и, накинув на плечи шаль, проводила брата до калитки.

Отгостив день в Могильном у дяди, Василия Андреевича, Сёмка на попутных санных подводах, под скрип полозьев, доехал до железнодорожной станции.

Тамбур, куда пробрался Сёмка, был хоть и прохладный, зато безопасный, в хвостовом, последнем вагоне пассажирского поезда. В протаявших пятнышках заиндевелого дверного оконца убегали в морозную даль стальные рельсы, и уж сюда-то точно никакой контролёр не сунет носа – что себя знобить лишний раз. Однако одиночество было недолгим. На одной из остановок разжился Сёмка новым товарищем, да таким, что еще поискать. Горбоносый и лопоухий, с круглыми чёрными глазами, Дамир захватывающе поведал Сёмке о своих многочисленных поездках и приключениях и так расположил того к себе, что дальше странствовать они решили вместе.

– Теперь у нас зима, холод собачий, поэтому, Сёма, давай-ка, мы поедем в Ташкент. Я ведь там уже бывал, теплынь, на базарах можно запросто стибрить хоть тебе арбузы, хоть дыни. А про абрикосы ты, поди, и не слыхивал в своей деревне? – Дамир покровительственно усмехнулся. – Ничего, скоро я тебя угощу всякими фруктами. Держись меня – не пропадёшь!

Поезд начал сбавлять ход, вагоны дернулись и остановились. Путешественники прильнули к боковому оттаявшему окну. Огромный вокзал, каменные станционные постройки, ларьки со всякой снедью, парнишки догадались, что они прибыли в какой-то большой город.

– Сёма, я лучше тебя разбираюсь в этих делах вокзальных, меня никто не проведёт. Но ты же видишь, какая на мне одежонка, давай поменяемся, и тогда не один лягавый ко мне не пристанет. Жрать-то хочется страсть. Где там у тебя деньги-то? Потом, как добудем, я тебе всё верну.

Когда товарищ в овчинном полушубке, добротных, подшитых валенках и утеплённых холщовых штанах растворился в привокзальной толпе, Сёмка бегло оглядел свой «новый» живописный наряд: пальтишко в лохмотьях, шапка засаленная, с надорванным ухом, стоптанные ботинки на одну ногу, причём разные: один 41-го, второй – 43 размера. Минут через десять вернулся Дамир, принёс в кульках конфет, пряников, булочек, карман оттопыривался пачкой дорогих папирос.

– Живём, братка! Вперед, в Ташкент!

В эту ночь впервые за дорогу Сёмка хорошо выспался. А разбудили его пронзительные паровозные гудки и громкий женский казенный голос, объявляющий по репродуктору о прибытии какого-то поезда. Сёмка открыл глаза, но товарища в углу тамбура, где тот с вечера устроился на ночлег, не увидел. «Наверно, снова ушёл купить чего-нибудь», – Сёмка сладко потянулся, сел на пол и стал ждать Дамира. Однако вместо закадычного дружка через некоторое время в тамбур вошли два сердитых проводника: «Всё, шпана, приехали, станция конечная», и вытолкнули мальчишку на заснеженный перрон, где его тут же на привокзальной площади Свердловска заприметил дежурный милиционер и отвёл в детскую комнату. А уже оттуда с группой таких же малолетних оборванцев Сёмка был отвезен в детский приемник.

До мартовских оттепелей прожил Сёмка в кельях с овальными каменными сводами. Еще недавно, при царском режиме, здесь был женский монастырь, теперь же в этих намоленных стенах обитали, чуть ли не с самой революции, – беспризорники. Их вот уже вторую пятилетку отлавливали и определяли в эти пенаты с толстыми стенами и высокой оградой. Мыли, уничтожали насекомых, кишащих в грязных лохмотьях, кормили; узнавали адреса родных, если таковые имелись, и с одним из воспитателей отправляли юных пилигримов к местам прежнего проживания. Сёмка еще при задержании фамилию назвал не свою, по бумагам он значился Иваном Петровичем Смирновым; а вот откуда он родом, от него выведали только спустя полтора месяца. Пожилая воспитательница с добрым русским лицом, чем-то неуловимо похожая на мать, терпеливо и непринужденно вела долгие беседы с Сёмкой. Он охотно отвечал на всякие вопросы, но о доме молчал.

Однажды Пелагея Филипповна, так звали воспитательницу, вдруг начала рассказывать о своих детских годах. Оказалось, что она тоже из деревни, и больше всего тронуло сердце мальчишки то, что деревня этой доброй женщины так похожа на его родную Вишневку, и на глаза сами собой набежали слезы. Он решил рассказать Пелагеи Филипповне о старшем брате Андрее, служившем в рабоче-крестьянской красной армии здесь недалеко, в Челябинске и дать ей адрес воинской части брата.

– Как мне увидеть красноармейца Андрея Лукича Манакова? – обратился к дежурному на КПП сопровождающий, пожилой мужчина в драповом пальто и шапке-мерлушке и усмехнулся: – Вот гостинец ему привез.

Мужчина кивнул в сторону жавшегося в углу подростка в лохмотьях, правда, теперь это одеяние было чистым и подштопанным, но ботинки-то попрежнему смотрели носками в одном направлении. Дежурный отдал распоряжение посыльному. И вот уже через расчищенный от снега плац к пропускному пункту в долгополой шинели и островерхой буденовке торопится рослый и статный Андрей.

– Брат, ты как здесь и что это с тобой? – растерянно проговорил он, окидывая недоуменным взглядом Сёмку. Вперед выступил сопровождающий и пояснил, откуда они прибыли и с какой целью. Андрей, оставив их на вахте, ушел к командиру доложить о том, что произошло и посоветоваться, как быть в этой необычной ситуации. Вернулся он не скоро, но с радостным результатом: Сёмке разрешено побыть некоторое время в части при брате. Однако здесь случилось непредвиденное. В бумагах, что при сопровождаю-

щем, о Семёне Лукиче Манакове нет и буковки единой, а Андрей настаивает, что перед ним именно он, его младший брат. Долго они рылись в документах, пока Сёмка не догадался и не сказал, что-де по записям, я, мол, Иван Петрович Смирнов. Напротив этой фамилии и расписался Андрей.

Служба, что продолжалась для Сёмки неполных три дня, запомнилась ему на всю оставшуюся жизнь. Поселили его в небольшом кабинете, где из мебели стояли: широкий стол, и в углу – массивный шкаф. К вечеру брат приносил, постелить в голова и укрыться, три полушубка. В столовую Сёмка не ходил, паек дневальный доставлял прямо сюда. Кормежка пареньку понравилась, еще, наверное, и потому, что дома, в деревне, этого ничего не было. Днем Сёмка слонялся по расположению воинской части, иногда солдаты брали его с собой на стрельбище. Там он из безопасного укрытия наблюдал, как старший брат с товарищами поражали звучными выстрелами из винтовок фанерные мишени. Ту затрапезную одежонку, в которой он прибыл, сразу же сожгли в армейской кочегарке, теперь он щеголял во всем новом и добротном; где уж военные отыскали такие опрятные штаны, рубашку, свитер и меховую борчатку, шапку-ушанку и серые, подшитые рифленой резиной, пимы, в которых ногам уютно и тепло, об этом Сёмке никто не докладывал. Но то, что он в центре всеобщего доброжелательного внимания, это мальчишка ощущал все дни и ночи, пока они с братом не уехали в деревню. Андрею был дан пятидневный отпуск, чтобы доставить Сёмку домой, к матери, которая уже, наверное, все глаза себе выплакала, ожидаючи вестей о сгинувшем в зиму сыночке.

И опять Сёмка у всей деревне на слуху. Взрослые посмеиваются да подначивают мальцов, у которых старшие братья тоже служат в армии: «Видите, Сёмка поехал и брата в отпуск привез. Теперь вам очередь, спросите у него, как до части быстрее добраться. Иль кишка тонка?».

От брата Андрея Сёмке досталось лишь однажды. Как только они переступили порог дома, мать, сидевшая на стульчике у окошка, выронила из рук прялку, глубоко вздохнула и, закатив глаза, повалилась на бок. Андрей в последний момент успел подхватить Капитолину Андреевну на руки. Он бережно проводил мать в горницу, там усадил на деревянную кровать и подложил под спину подушку. Сёмке приказал зачерпнуть воды и дать попить матери. У опамятавшей Капитолины Андреевны по щекам бежали слезы. Андрей вышел в сени, снял со стены кожаный ремень, вернулся в избу и, подозвав младшего брата, больно стеганул его. Это случилось в первый и последний раз, когда Андрей, а был он старше Сёмки почти на тринадцать лет, применил силу к младшему брату.

Глава третья. ИЗ ИСТОРИИ РОДА

Пращур рода Манаковых пришел в Вишневку на берег округлого и рыбного озера в пору, когда доблестный и трагический 18 век добирал свои остатние годки. Допрежь Василий Максимыч жег древесный уголь для демидовских плавильных печей в дремучих лесах у подножия Уральского Камня. Светло-русый волос, взятый в скобку, серые ясные глаза, косая сажень в плечах, приветливость, но никак не угодливость в речах, словом, глянулся пришелец селянам. Община отвела молодому мужику место под избу и нарезала у березовых заливов земельки под хлебушко. Недолго походил холостым Василий, отыскалась ему и пара – статная и серьезная не по годам Настасья

из Песков, избы этой деревни исстари гнездились на другом берегу. Сыграли свадьбу, родились сыновья: Максим, Варвасей и Захар. Род Манаковых деловито пускал корни и взращивал свое генеалогическое древо в южноуральской глуши. Сын Варвасея, Петр с женой Екатериной подняли и определили в жизнь восьмерых деток. Вот они в порядке рождения: Иван, Василий, Александра, Марфа, Настасья, Лука, Ефим и Михаил. Некоторым из них судьба выпала трагическая. Василия убили в 1906 году, убили подло двумя выстрелами из ружья, встретив его на стыке улиц у подворотни, когда возвращался он с вечерок. Накануне, отвергнутый разбитной зазнобушкой, местный богатей Баев застал восемнадцатилетнего парня у этой самой девицы, пробовал схватить Василия за грудки. Тот, не шибко размышляя, сгреб соперника и выбросил в распахнутое окно, прямо на прохожую дорожку, рядышком с цветущей и благоухающей черемухой.

От сурового и справедливого срока богатей-убийца откупился и уже через два года вернулся в Вишневку. Подпив, ввалился к тетке Катерине, ползал по полу, хватал ее за натруженные, разбитые извечной крестьянской работой пальцы, винился; крестясь, клал поклоны перед божницей, умолял отпустить ему тяжкий грех. Женщина, молвив неслышно: «Бог простит», выпроводила убийцу сына, и в тот вечер уже более не проронила ни слова.

Однако подросший Лука решил все по-своему. Первый раз он встретил Баева у той самой подворотни. Мужик, опустив голову, хотел было прошмыгнуть незамеченным, но Лука, преградив путь, наотмашь ударил того в переносицу с бегающими под густыми бровями плутоватыми глазками. Баев кулем рухнул в пыль. Лука перешагнул через поверженного и ушел, ни разу не обернувшись. Теперь Баев стал панически бояться деревенских улиц, везде ему мерещился Лука, потому как любая встреча с ним заканчивалась для Баева кровавым падением в пыль. Отчаявшись, надумал Баев застрелить непреклонного Луку. Вызнал тропку меж плакучих берез у озера, по ней Лука обычно возвращался от песчанских товарищей, прилег за расщепленным корневищем и стал поджидать парня. Любовно поглаживая отполированное цевье, он предвкушал, с каким наслаждением всадит в ненавистного Луку весь заряд двустволки, а потом размозжит прикладом череп. И тут-то на него обрушилось сверху нечто, свет померк, ружье куда-то уплыло из ватных безвольных рук, а следом поплыл по воздуху и он сам. Правда, плыл он чуть более секунды, пока не ударился о ствол березы-вековухи; страшная, нечеловеческая боль пронзила все его тело, затрещали ребра и, корчась, примял Баев мягкую, волнистую траву под собой. Разлепив с трудом, в кровавой пелене, глаза, он усмотрел стоящего над ним и недобро усмехающегося Луку: «Кровь убитого тобой брата меня ведет. Так что не балуй!». Обезумевший Баев заметил в руках у парня свое ружье; сердце, торкнувшись, упало куда-то на сломанные, дико ноющие ребра, поверженный мужик последним усилием сомкнул веки и стал ждать выстрела. Но раздался лишь сухой треск ломаемой древесины. Лука, взяв стволы в руки, разбил ружье о березовое корневище и бросил погнутые железки прямо Баеву в бороду. Затем он перешагнул через поверженного и ушел, как всегда, ни разу не обернувшись.

Если Василий похоронен на родовом погосте, где окрест лежат все свои, то чья земля приняла и упокоила косточки меньшого брата, Михаила, неведомо. Да, может, и вовсе не земная твердь, а морская пучина предстала пред очами воина-отрока колчаковского ополчения в тот маняще-пугающий миг, когда душа оставляет бренное тело и возносится ли в несказанные выси,

либо же обрушается на адовы уголья. Как ушел он в 1919 году, с пылкой мечтой о единой и неделимой России, так и канул. Единственная весточка была от Михаила из-под Кургана. Вернувшиеся в деревню мобилизованные Колчаком обозники обсказали тетке Катерине, что сын жив-здоров и кланяется ей, тяте, сестрам и братовьям. А более этого из непросматриваемых по причине жуткой задымленности далей гражданской войны ни голоса, ни крохотного лучика надежды. Мир праху твоему, Михаил, бескорыстный воин Белого движения!

Лука действительную воинскую службу проходил в Санкт-Петербурге в лейб-гвардии Семеновском полку, ибо он соответствовал всем предъявляемым условиям: был грамотен, высокого роста, имел светлый цвет волос и пригожее лицо. Вероисповедание у Манаковых православное, старого обряда, относили себя они к беспоповцам двоеданского толка. Однако в делах веры не все здесь гладко и кругло как на пасхальном яичке, и поэтому без пояснения повествование будет неполным.

Молельное каменное здание без каких-либо архитектурных излишеств возвышалось между околицами и напоминало скрепляющую пряжку, если деревни, облегающие озеро, представить в виде двух широких и неровных ремней. Хотя жили рядом и православные нового обряда, так называемые «мирские», но их здесь было считанные дворы, а высоченный кирпичный пятиглавый храм их находился в селе Таловка, в пяти верстах отсюда. Вообще-то, Манаковы: и пришелец Василий, и сын его Варвасей – определяли себя сторонниками новой православной веры и даже приняли посильное участие в возведении храма в Таловке, в частности, оно заключилось в заготовке на сосновых делянах и подвозе на своих лошадях бревен на строительную поляну в центре села. Поручали вожжи и малолетнему Петруше, и он, подражая взрослым, покрикивал на тройку каурых, правя порожнюю подводу в сосновый бор. Но вырос Петр, полюбил Екатерину, дочь Федора Тельманова, девушку с тугой русой косой и открытым и ласковым взглядом. Празднично одетые, с рушниками, лентами, дорогими подарками переступили порог дома Федора Мартыновича сваты, начали было распевно и торжественно: «Вот купец наш молодец...», но хозяин резко оборвал запев и сурово молвил: «Перейдет Петр в нашу, древлего благочестия, веру, будет ему Катерина женой. Нет, дак и мой ответ также нет! Вот Бог, а вот порог». И круто поворотясь могучим корпусом, удалился Федор Мартынович в горницу изучать далее псалтырь.

Так и перешел Петр с никонианской щепоти на исконное двуперстие.

Первенец Иван, Лука и Ефим, предпоследний из детей Петра и Катерины, хлебнули лиха отступления и торжества блистательных побед, а Иван еще и задыхался при немецкой газовой атаке, на полях Первой мировой, называемой в народе также второй Отечественной войной, а промеж большевиков и другого деклассированного элемента, презрительно именуемой «империалистической». Напомню, что первой Отечественной русский народ назвал войну с Наполеоном в 1812 году. Ефиму посчастливилось участвовать в знаменитом Брусиловском прорыве и, хотя он служил писарем, так как был не только грамотным, но и обладал каллиграфическим почерком, ему тоже пришлось в той мясорубке брать в руки трехлинейку и штыком и прикладом отбивать атаки осатаневших австрияков.

Вскоре после февральской, суматошной революции, весной 17-го, сельчане избрали вернувшегося с фронта Луку Петровича председателем сельского совета Вишневки. Сынишке Андрюше шел тогда шестой годок. Капа,

как ласково называл жену Лука, подрабатывала белошвейкой, времена-то зыбкие, то война, то смута. В председателях Лука не засиделся. По натуре крутой, прямодушный, думал он наладить жизнь в деревне; было у земляков к нему уважение еще с прежних времен: несколько лет учил деревенских ребятишек в местной церковно-приходской школе, в свое время фрунт держал пред самим государем, в Первую мировую ходил в штыковую на швабов. А теперь вот надо бы направить в твердое и надежное русло вскипевшее бучило житья-бытья земляков. Однако народишко уже крепко избаловался. Поначалу баламутили по деревням пришлые смутьяны и шныри; местные голодранцы, потершись среди засаленных тулупов залетных пролетариев, чуть позже, после октябрьского переворота, сами вошли в темную и безнаказанную силу, а войдя, перво-наперво переизбрали в председатели своего, кровного, с кем перепито и наворовано столь, что никакого застолья не хватит, чтоб все, смакуя, вспомнить. Не такой власти чаяли крестьяне, да плетью обуха не перешибешь, тем паче, что и топорище, ручка коего упёрта в златоглавую, не простое, а самое разжелезно-безжалостное. Да и лезвие острое, лишь глянешь – обрежешься, а уж попадешь в круг его взмаха, не токмо своей головушки не сносишь, но и деток малых, и близких родичей не сбережёшь.

Отстранился Лука от общественной коловерти, дни и ночи пропадал на летнем займище, что пригородил еще до смутных времен у лесного, обросшего прямым и звонким камышом, рыбного озера. Здесь он холил и лелеял свой табунок, насчитывающий породистого, с мускулистой грудью и высокими беспокойными ногами вожака-жеребца, трех кобылиц, двух покладистых меринов и трех игривых стригунков. Управлялся Лука в одиночку, изредка прибегал из деревни быстроногий Андрюша порыбачить с плоскодонки в камышах да когда подсобить тятьке сгрести подсохшее сено. Силы Лука имел запас изрядный. Так, он единственный на несколько окрестных деревень мог без особой натуги перебросить двухпудовую гирю поверх въездных ворот, под перекладиной которых свободно проезжала лошадь с возом сена. Или в хлебоуборку, когда крестьяне ссыпали некоторое количество своего зерна в общий амбар, и, чтобы доверху заполнить хранилище, затворяли широкие двери и приставляли пологую деревянную лестницу с перилами к высокому чердаку с просторным входом, Луке клали на спину крест-накрест три мешка с пшеницей, и он легко взбирался с этой 10-12 пудовой поклажей на чердак. Это не было бахвальством, просто ему так сподручней, да и разгрузка шла быстрее, а значит, и подъезжающим на подводах сельчанам меньше томиться, ожидая своей очереди на сдачу резервного зерна.

Или еще случай, свидетелями которому стали мужики, вывозившие в тот сентябрьский день сено. Известно, что весной два ведра воды – ложка грязи, а осенью: ложка воды – два ведра грязи. Проселок развезло. Крестьяне правили своих лошадей с возами ближе к обочине, где потравенистей и меньше глины наматывалось на тележные колеса. Уже показались за березовыми стволами крайние овины, обозу осталось сделать последний нырок в пологий ложок, и – дома. Но в этой-то впадине и крылась опасность: мутная растекшаяся лывина неопределенной глубины, а коли возьмешься ее объехать, крюк надобно давать версты в полторы. Мужики заробели спускаться в злополучный лог, один Лука спрыгнул с воза и, ступая сбоку, стал вожжами править солового мерина вниз по дороге. Конь уже почти протащил воз че-

рез лывину, Лука правил, перескакивая с одной подсохшей кочки на другую, и вот он – взгорок и долгожданная сушь, но здесь-то и увязли выше втулки тележные колеса. Мерин, приседая и шарахаясь в оглоблях, пытался вырвать воз из хлюпающей и чавкающей грязи, но не тут-то было. Тогда Лука, разувшись, поставил в сторонке бутылы, заскал повыше портки, и босиком зашел в студеную воду. Быстро распряг и вывел из оглобель мерина, привязал к одинокой ветле и вернулся к возу. Взяв оглобли в руки, он попробовал качнуть телегу, она подалась сначала вглубь лужи, потом Лука, напрягшись всем корпусом и нащупав босыми ступнями дно потверже, рванул воз вперед, и напряженно переступая ногами, медленно повлек телегу с сеном за собой, на сухое место; там он вновь поставил мерина в оглобли, бормоча себе под нос: «О, бедный, ты мой конек, вишь, как тебе оно, коль и я-то еле вытащил». Вообще, коней он любил до беспамятства, р*о*стил их, нянчился, знал и норов, и повадки; когда наступала пора объезжать молодого жеребца, привязывал того к вкопанному намертво посередке загона столбу и сбоку подходил с попоной и седлом. Ежели конь брыкался, не давал накинуть на круп попону, Лука откладывал сбрую, заходил к упрямцу спереди и, резко взмахнув рукой, наносил тяжелый удар кулаком по плоскому покатому лбу жеребца. Животное падало на передние ноги. Лука стоял рядом. Через минуту конь приходил в себя, отфыркиваясь, он недоуменно вращал сливовыми глазами, которые постепенно наполнялись не только слезами, но и осмыслением того, что детство кончилось, хозяин теперь вовсе не шутит, и лучше будет, если все его действия и команды станут непреложным законом. Обычно после этого жестокого урока коня можно было спокойно седлать и ехать, хоть по деревне, хоть в березовые заливы, но только Луке. У остальных – как получится.

Бои братоубийственной войны не опалили смрадным дымом ни Вишневки, ни Песков. Наезжали конные казачьи разъезды, реквизировали часть продовольствия и гужевого транспорта для нужд белой армии; спустя неделю-две вламывались красные, добирали, что сплоховали спрятать понадежней крестьяне и, пьяненькие, с новыми революционными песнями, перекроенными из старинных, народных, отбывали восвояси. Большого урона не принесла и мобилизация. Деревни зажиточные, откупались, кто как мог, и от красных и от белых. Однако не сумели матери отговорить, а отцы убедить некоторую часть деревенской молодежи: подались самые горячие и нетерпеливые на обе стороны фронта гражданской междуусобицы, да и поскладали многие там свои буйные головушки.

Когда настал конец войне, не пришло замиренье в кровоточащие сердца насельников российских. Коль образовалась трещинка в народе – будет и полынья, да такая ненасытная и охочая до людских судеб; расползаясь, она поглотит и пожрет не только несогласных и чужеродных, а и тех, кто эту самую полынью-воронку промыслил и выпестовал. К последним можно отнести вылупившихся из лона кровавой распри коммунаров и комбедовцев. Недобрая слава о них долго чадила горелой головешкой. Им вменялось, что позарившись на чужое добро, они стряпали дела на неугодных и несговорчивых, раскулачивали и середняков, и многодетных; им не простили односельчане, как в разгар экспроприаций, сведя с разоренных дворов 18 крепких рабочих лошадей и заперев их без какого-либо корма в огромном амбаре, эти горлопаны и активисты по своему революционному обыкновению организовали грандиозную пьянку. Пока они без памяти безобразничали в большом, похожем на терем с высоким крыльцом, доме

арестованного и высланного на днях в Нарым вместе с женой и четырьмя детишками Пантелея Николаевича Четина, бедные запертые животные сгрызли в амбаре дощатые полы, но без воды долго не прожить, и кони пали. Слезы наворачивались на глаза у мужиков, проходящих мимо этого страшного узилища, когда слышали они жалобное ржание обреченных. Замок на дубовых дверях висел пудовый – не сорвать, к коммунарам сунешься – устыдить, пристрелят спьяну. Уже и без того в доме палили, вон стекла побиты, на одном оконце рама свисает наружу. Услыхав стрельбу, бабы опасливо, но с потаенной радостью, перекрестились, думали, всё, аспиды порешили-таки себя, ан, нет, выяснилось позже, комбеды просто состязались в стрельбе из наганов по божнице, да разве поразишь цель, коль руки хотят ходуном, а вся твердость выблевана на узорчатые половицы! Спустя неделю очухалась, протрезвела до той поры, чтобы без поддержки выйти во двор, окаянная новая власть и, пошатываясь, наведалась к амбару. Распахнули дубовые двустворчатые двери, в заросшие опухшие рожи пахнуло спертым запахом тухлого мяса. Власть поморщилась, выматерилась, и, приказав крутившимся тут же прихлебателям очистить помещение от падали, пошла догуливать. Там, за стаканчиком-другим она принялась с азартом обмозговывать, как, чем и с каких дворов восстанавливать эти непредвиденные потери.

Луки к упомянутым событиям в деревне не было, полгода, как с семьей он выехал на заработки. Надо сказать, что и до отъезда Лука давненько был уж безлошадным: свой табунок он, скрепя сердце, распродал, насмотревшись еще в первые, после октябрьского переворота, годы на выкрутасы ошалевшей от неслыханного фарта голытьбы. Такой удачи – раскулачить самого Луку Петровича – он коммунарским в их прилипчивые руки не дал. Когда хмельной, вольной походкой шел он по деревне, калитки на нижнем, бахметовском, краю Вишневки – там обитали в кануны раскулачиванья активисты – как по команде захлопывались и запирались на крепкие и надежные засовы. Все знали тяжелый и гвоздящий кулачище Луки Петровича, ведомо им было и то, что от пули он заговоренный еще с младых лет. Но все-таки исхитрились собачьи дети, отыскали способ, как избавиться от непокорного земляка.

Зачин лета. Троицын день – этот православный праздник в Вишневке престольный. С окрестных деревень, по старой, еще с царских времен, навычке съезжаются сюда не только вся родня, а и просто веселые и разные люди. За овинами и полоской зеленеющей пшеницы, в березовом колке устраиваются игрища, молодежь водит хороводы, мужики состязаются в силе и ловкости – это и бег наперегонки в мешках, и борьба на поясах, и кулачные бои до первой крови, и подъем и перенос тяжестей. Призами победителям, в лучшие, доколхозные годы, отдельно в уголку поляны богатым ворохом посверкивали на солнышке новые хромовые и яловые сапоги, тюки с шелковыми и атласными отрезами и ворсистым сукном, лагушки либо с медом, либо с пивом. Да и позже, даже когда уже опутал, но еще не удушил деревни зудящий чертополох недобрых перемен, люди старались держаться старины. Новая власть, хотя сама и не принимала участия в праздниках, но сквозь пальцы наблюдала издаля за этими старорежимными потехами.

Лука и друг его закадычный Лабазуха, силач и гуляка, напротив, не проходили мимо ни одного состязания, откалывали такие представления, что долго потом вспоминались в округе. Однажды, даже и не доходя до празд-

ничной поляны, заработали они лагун медовухи. У околицы, на обочине, с оных времен лежала, невесть кем забытая, неподъемная сосновая, кондовая лесина. Толпа мужиков, что с песнями да прибаутками шествовала на березовую поляну, решила размяться и перенести могучее бревно на другую сторону дороги. И установили приз: как всегда он был щедрым – двухведерный бочонок с крепким пивом. Разделились на команды, по шесть человек в каждой. Пока рядились, кому первому тащить, подошли подвыпившие Лука и Лабазуха. Узнав условия состязаний, вызвались вдвоем перенести лесину, и добавили для затравки, что, мол, ежели не управимся, – лагушок с нас. Мужики одобрительно усмехнулись и согласно закивали головами: кому лишняя выпивка, да еще в праздник, помешает. Ударили по рукам. Лука зашел с комля, Лабазуха с другого края, крякнули, взвалили лесину на плечи, пошатываясь, перенесли ее на противоположную обочину и бросили в пыльную крапиву. Мужики оторопели, однако обещанный лагун выставили.

После одного из таких праздников, Петрова дня, маялся Лука похмельем, лежа на топчане в прохладном тенечке под навесом за избой. От калитки окликнули. Лука вяло отозвался. Лабазуха, поблескивая хмельными очами, подъедая окончания слов, сбивчиво сообщил, что коммунарские с утра заходили к нему домой, угостили вот самогонкой, предложили мировую, чтоде им все волками ходить по одной улице. Давай, мол, сходи за Лукой, а мы покуда столы накроем у Вавилы Игнатьича. Закрепим, как положено, наше примирение.

Пока толковали, выискивая подвоха в предложении активистов, через двор прошел в избу Андрей. Теперь это был крепкий плечистый парень с внимательным взглядом широко посаженных спокойных глаз. Он поздоровался с Лабазухой и скрылся в дверном проеме. Лука махнул жилистой рукой: «Что с нами сбудется, того не миновать, пойдем уж, Михал Митрич. Отбиться всегда отобьемся!».

Их ждали. На завалинке сидели и курили, оживленно разговаривая, шестеро мужиков. Завидев приближающихся, они радостно и возбужденно поднялись навстречу Луке и Лабазухе: проходите, мол, в горницу, мы вас заждались, и, приглашая жестами гостей, первыми ступили на крыльцо. Стол действительно ломился от закусок и угощений, в запотелых графинчиках томилась холодная водка, в центре возвышалась граненая четверть самогона-первача.

– Ну что, Лука, выпьем за мир в нашей деревне, – с чувством произнес главарь комбедовских Евген Бахметенок, когда все расселись, и стаканы наполнились горькой и прозрачной, как слеза, жидкостью. – Кто старое помянет, тому глаз вон, да и худой мир, сам знаешь, лучше доброй войны. Ну, будем!

Настороженность, с которой Лука переступил порог этого дома, постепенно таяла. Разговоры велись за столом как бы и ни о чем, так, о видах на урожай, о дождях, коим бы сейчас не время – страда вот-вот, потом разговор соскользнул на больную для крестьян тему объединения в коллективные товарищества и хозяйства, но все это толковалось невнятно и как-то вяло. И вдруг Лука приметил, что с каждой выпитой чаркой глаза хозяев наливаются не только хмельной поволокой, но и злобой. Он пробовал ногой придавить сапог сидящего рядом Лабазухи, чтоб тот хоть глянул в его сторону, но товарищ так увлеченно доказывал что-то соседу заплетающимся языком, что Лука понял: Лабазуха ему не помощник. И точно, спустя минут пять напарник уронил чубатую голову свою в миску с недоеденным студнем и

сладко захрапел. Тут и началось. Сидящий справа Евген вроде как потянулся за пузатым графинчиком, чтобы наполнить опустевшие стаканы, но над столом перехватил графин за горлышко и попытался ударить им Луку по голове. Но Лука опередил. Наотмашь ребром правой ладони он врезал Евгену промеж глаз, тот рухнул, опрокидывая лавку. Через стол Луку хотел достать Сашка Кривой, но его Лука успокоил, резко выбросив вперед кулак левой руки. Алешку Красного, что подвернулся тут же, он сгреб и легко перебросил через широкий стол прямо на расписной сундук у стены. «В избе тесно, надо во двор, уж там они попляшут!» – мелькнула бесшабашная мысль.

Лука перевернул стол, краем глаза он увидел, как спящий Лабазуха отвалился под оконный проём, там он не на глазах, может, его и не тронут; а вот и выход в сени, темновато, но, вперед, к свету. Однако в этот миг Лука почувствовал, что кто-то сзади бросил лавку под колени, ноги сами собой подломились, он потерял равновесие, и здесь враги навалились, стали топтать и бить коваными каблуками сапог, а низкорослый Витька Хлыщ изловчился и дважды ударил обухом топора по коленям лежащего. Последним усилием воли Лука приподнял свое избитое туловище над полом, перехватил чей-то метящий ему в лицо кулак, резко, двумя руками, рванул его на себя и тут же круто вывернул. Хруст ломаемых костей и визгливый истошный вопль слились воедино.

Не обращая внимания на сыплющиеся сверху и с боков удары, Лука пополз к дверям, выходящим на крыльцо. Теперь его били припрятанными заранее скалками и железными курками от тележных колес, метя в окровавленную голову. Лука уже почти терял сознание, когда двери распахнулись, и летний свет хлынул в сени, удары ослабли, и сквозь пелену Лука услышал звонкие голоса Андрея и Федора, одногодка и верного друга сына. Перевалясь на бок, Лука Петрович утер рукавом залитые кровью глаза и стал лихорадочно наблюдать, как парни, сноровисто орудуя увесистыми колами, роняли на пол комбедовских. Загнав противников в избу, Андрей и Федор подперли дверь одним из колов, подошли к пытающемуся сесть Луке Петровичу, осмотрели, целы ли кости, и, бережно подняв избитого, повели его домой.

Целебными лесными травами и народными снадобьями отпаивала Капитолина Андреевна своего мужа. И наверняка поставила бы на ноги его, кабы не открылся у Луки Петровича туберкулез. Отбитые легкие его и без того были повреждены, когда в конце двадцатых выезжал он с семьей на заработки в Казахстан, на железнорудные карьеры. Восемь месяцев катал Лука Петрович тачку с рудой, работал в непродуваемой пыли на дробилке. Капитолина Андреевна определилась в прачки, перестирывала горняцкую робу, Андрей и Мария ходили в школу, что находилась здесь же в рабочем поселке, прямо за бараком, в котором их семье отгородили угол. Четырехлетний Сёмка сразу по приезду перезнакомился со всеми жильцами не только в своем бараке, но и в двух соседних, и чувствовал себя здесь как рыба в воде. Однако Капитолина Андреевна и сама не спускала с младшенького глаз, и старшим детям строго наказала приглядывать за Сёмкой в оба. А причиной тому был случай, приключившийся с ними на чугунке, по дороге сюда, в Казахстан. Тогда на вокзале в Кургане сидели они всей семьей в многолюдном зале ожидания, коротая время до прибытия поезда. И вдруг по вокзальному репродуктору сообщают о том, что потерялся маленький мальчик, и родителей просят зайти в отделение милиции.

– И куда только смотрят такие вот нерадивые мамаши,– громко, с нотками негодования в грудном красивом голосе, обратилась к соседке справа, но

так, чтобы слышали и остальные, Капитолина Андреевна. – Сама, небось, дрыхнет где-нибудь на узлах, а ребенок в милиции. Ой-люшки, а где же мой-то Сёмушка?

Капитолина Андреевна вскочила со скамьи, потерянно прижала сцепленные руки к груди и беспомощно обвела взглядом вокруг себя.

– Андрюша, Мария, бегите, найдите тятю. Нет, беги ты, Мария, а ты, Андрюша постереги вещи, покуль я сбегаю к милиционерам. А вдруг это наш Сёмушка у них?

В отделении милиции пожурили заплаканную мамашу, наказали впредь не отпускать мальца от себя, а тут и их поезд объявили.

Работа на руднике была хоть и тяжелая, но денежная, все бы ничего, да изболелась душа и у Луки, и у Капитолины по родимой сторонушке; всякую ноченьку снились им гладь озерная, избы с резными наличниками, а в чистых просторных березовых колках алые грозди спелых ягод на кустах дикой вишни. Намаявшись сновиденьями, собрались они однажды, да и вернулись на родину. А там как раз в эту пору затевалось и набирало дьявольские обороты невиданное от веку злодеяние: обобществление, нивелировка, а затем и угробление самобытности, да и просто уничтожение, физическое, хлебороба – мужика, подмена русского кормильца интернационалистом-пролетарием.

За год угас могучий некогда Лука Петрович. Прознав, что он безнадежно болен, наведались к нему и вчерашние коммунары, заправилы колхозных новшеств и экспериментов. Дыша перегаром, просили активисты прощения у больного: дескать, бес попутал нас, Лука. Повинились мужики и сидящей тут же, в изголовье у умирающего сына, бабке Катерине. Старуха лишь скорбно и внимательно оглядела топчущихся у порога активистов и, тяжело вздохнув, отвернулась к окну, ничего не промолвив. Лука же в ответ слабо приподнял лежащую поверх одеяла правую руку и кивнул покоящейся на подушке седой головой: Бог, мол, простит, я вам не судья.

Но были, оказывается, судьи помимо небесного престола и в земной юдоли. Спустя пять лет Федор, верный друг Андрея, посреди деревенской, широкой улицы, принародно, средь бела дня расправился с главарем и организатором избиения отца своего друга Евгеном Бахметенком. Ударами в лоб и в небритую скулу он сбил активиста с ног, и когда тот начал подниматься, потряхивая свалявшимися космами и выплевывая выбитые зубы, Федор извлек из-за голенища тележный курок и стал наносить сокрушительные удары Евгену по голове, спине и плечам, громко приговаривая при этом: «Это тебе за дядю Луку!». Пять раз ударил Федор, за каждый год, прожитый Евгеном после расправы над Лукой, поквитался. На десять лет лагерей за убийство осудили его. В последнем слове на суде Федор не просил снисхождения, а только обронил: «Я приму любой приговор. Пусть дядя Лука спит спокойно, он отомщен».

Глава четвёртая. УХОД С ВОЕННОГО ЗАВОДА

Федор поквитался с Евгеном в июле, а осенью вернулся из армии Андрей. Службу закончил он младшим командиром. Жизнь к тому времени в деревне пусть и со скрипом, но налаживалась, руководящие активисты либо замерзли по пьяному делу в предзимних лужах, либо за перегибы и по доносам

товарищей по оружию были увезены в наглухо закрытых автомобилях НКВД в невозвратную ночь. Сельские пролетарии мелкого пошиба вроде Алешки Красного, что прославился при раскулачивании своей неслыханной жадностью, когда он вырывал из-под сухоньких седовласых старушек, по их немощи пристроенных на подводы, стеганые одеяльца и простенькие подушки, эти тоже притихли, оттесненные выравнивающейся властью на обочину. Ни хлебной должности тебе, ни почестей.

Андрея приняли секретарем в сельсовет, а спустя полгода, видя его расторопность, открытость и старание, назначили председателем. Весной, в пору черемухового и яблоневого цвета Андрей привел в дом молодую жену Антонину. Постаревшая Капитолина Андреевна, всплакнув, перекрестила и благословила молодых. Сёмка под присмотром старшего брата подтянулся в учебе, в восьмом классе вместе с ровесниками вступил в комсомол; не сказать, что уж сделался подросток паинькой, но озорничать стал меньше, за что первым в Вишневке среди сверстников был поощрен новеньким велосипедом с деревянной рамой. Для этого Андрей подкопил деньжат и специально съездил в райцентр Юргамыш за диковинной покупкой. По субботам, ближе к вечеру, из Песков приходила Мария, поспевала на остатний жар в семейной баньке, ее еще покойный Лука Петрович поставил на бережку озера, под вековыми ивами. Знатно после ядреной парной с духовитым березовым веничком и с хлебным кваском, наплесканным на раскаленную каменку, броситься с дощатых платцев в озерную глубь, широко раскинув невесомые руки; знатно после помывки, уже в ограде, чаевничать до первых звезд, вспыхивающих в голубовато-сумеречном небе, и вести задушевные беседы с родней, а потом как сладко идти в избу по мягкой, щекочущей босые ноги, муравушке.

Зимой Капитолина Андреевна слегла. Андрей Лукич привозил докторов из райцентра, те посоветовали отвезти больную в Юргамыш, там, дескать, при больнице больше возможностей остановить съедающую мать хворь. Полтора месяца лечили Капитолину Андреевну районные доктора, уже и дыхание стало ровней и даже, пусть бледный, но румянец обрела больная, обесцветшие было глаза вернули свою прежнюю живую голубизну. В каждый приезд сына мать умоляла Андрея забрать ее с собой в деревню, так ей опостылели и палата, и микстуры, и томительное лежание в то время, когда за окном ликовала расцветающая весна и заневестившаяся земля звала Капитолину, дочь крестьянскую, чтобы та, как всегда, обиходила кормилицу, определила своей умелой рукой место под солнцем и зерну, и семени, и клубню.

В первый же день по возвращению домой попросила Капитолина Андреевна Марию и Сёму проводить ее в палисадник к цветочным клумбам. Там она присела на крохотную табуреточку и попробовала ножичком взрыхливать земельку вокруг пионов и лилий; но минуты через три у нее на лбу, под выбившейся из-под платка седой прядью, выступила крупная испарина. Она слабым голосом окликнула детей, и те проводили мать обратно в избу.

Капитолину Андреевну похоронили в конце октября, а спустя месяц у Андрея родился сын. До того времени, покуда племянник, которого назвали Юрой, не перебрался из зыбки на пол и не стал ползать и протягивать ручки к находящимся в горнице взрослым, Сёма его будто и не замечал. Но все изменилось, когда сноха Антонина вернулась в фельдшерский пункт, где она работала до родов, и теперь Сёма остаток дня после школы нянчился с младенцем. Первый шажок Юра сделал под доглядом Сёмы; да и сам

Сёма уже с нетерпением ждал окончания уроков, чтобы забрать малыша из яслей и с весело лопочущим Юрой идти по затравевшей тропинке домой. Общий язык они нашли скоро, понимая друг друга с полуслова; да вдобавок Сёма обрел еще и навыки толмача, переводя в понятную родителям плоскость детский лепет племянника, когда «анти» – это всего лишь сахар, «кынки» – конфеты, а «бынди» – любимые Юрой семечки.

– Тоня, война! – таким взволнованным и растерянным Андрея жена видела впервые за все послесвадебные годы. Она разогнула поясницу и выпрямилась над грядкой с редиской: это солнечное, июньское воскресенье Антонина решила посвятить прополке. – Я сейчас из сельсовета, там репродуктор не смолкает. Немцы бомбят наши города на западных границах. Я на минутку, меня к ужину не ждите, если что, пусть Сёма принесет в контору к вечеру чего-нибудь горячего.

Андрей приобнял жену, поцеловал русый завиток у нее на виске и размашисто, по-военному четко выдерживая шаг, пошел от калитки по направлению к сельсовету.

Навсегда запомнил Сёма тот октябрьский, блеклый денек, пересыпанный частым и нудным дождем. Притихшая родня провожала Андрея Лукича на фронт. Накануне он добился в военкомате, чтобы с него как советского работника была снята бронь. И вот теперь он во главе команды из десятка новобранцев со станции Юргамыш уезжал в Челябинск, чтобы уже оттуда в эшелоне отправиться на защиту Москвы. Перед отправкой зашли в столовую Дома колхозника, где мужчины выпили по стопке водки, а женщины пригубили по рюмке вина. Налили и семнадцатилетнему Семёну. Когда вышли на перрон, Андрей, ласково взглянул на жену и запел свою любимую:

Что затуманилась зоренька ясная,
Пала на землю росой?
Что припечалилась девица важная,
Очи блеснули слезой.
Жаль мне спокинуть тебя одинокую,
Жаль мне забыть про тебя.
Чару мне, чару мне, чару глубокую
Лей поскорее вина.

Андрей Лукич взял еще стопку, молча выпил. Мария и сродные сестры заплакали, Семён насупился, сродные братья: сын Ивана Василий и сын Ефима Александр, потупили взоры. У них уже тоже были повестки на руках, через два-три дня проводы. Антонина упала на грудь мужу и надрывно закричала: «Андрюшенька, зачем ты нас покидаешь?». Андрей Лукич обнял жену, погладил по голове и, тяжело вздохнув, обронил: «Ничего, Тоня, вы с Марией проживете, ну, а ты, Сема, горя хватишь». И снова все в слезы. Один маленький Юранька, которого отец к тому времени подхватил на руки, смотрел на взрослых растерянными глазенками, не понимая, в чем же здесь дело, вроде и не больно, а все плачут.

В начале декабря 41-го вызвали повзрослевшего Семёна в райком комсомола и предложили поехать по комсомольской путевке в городок Копейск на спешно возводимый военный завод. Пятнадцать добровольцев из Юр-

гамышского района разместили в двух землянках, где в углу печь-лежанка, а на столбе, подпирающем продольную потолочную матку посредине низкого помещения, на штырьке подвешена керосиновая лампа со стеклянным колпаком; по обе стороны от столба восемь, заправленных лоскутными одеялами, кроватей; противоположную от утепленных, оббитых войлоком, дверей стену венчает подслеповатое оконце, с толстым слоем наросшего инея: на дворе редкий даже для этих мест мороз в сорок – сорок пять градусов.

– Братцы, там опять мертвяков из соседней землянки вытаскивают и загружают в сани, на кладбище повезут! – прямо от двери, еще в клубах морозного пара, взволнованно и торопливо проговорил Петька Романов, щуплый парнишка, тоже доброволец из соседнего с Вишневкой села Петровского. – Опять армяне, азербайжаны и грузины из трудармии померзли. Ох же, неспособные они здесь быть, одежонку-то видели, какая она у них, легкая да дырявая. Итак черные, а поморозились, дак и глянуть страшно – как покоробило да изъязвило их! Они и землянку свою за ночь выстудили страсть как. Ох, ребяты, как оно дале-то будет! Мы-то будем ли живы?

Сидевшие полукругом у жаркой печи парни невесело переглянулись, но разговора никто не поддержал, все сосредоточенно курили и смотрели как Семён, открыв железную дверцу, шуровал в печке кочергой, расчищая место для новых березовых поленьев. Всего неделя, как прибыли сюда, а уже столь повидали, так тошно на душе, что хоть волком вой. И разве ж это подвиг: с утра до ночи катать тачки с комьями мерзлой земли или бесконечно перекладывать штабеля стылого теса, – то ли дело в теплушке мчаться на фронт, а там уж так задать проклятым фашистам, чтоб пятки сверкали у них аж до самого, что ни есть, Берлина! А что, рожденных в 1923-ем уже берут в армию, весной и нам, 24-му году, идти. А покуда давайте-ка по деревням обратно. Даже если поймают и осудят – так это всего на три-четыре месяца. Отбудем – и в армию!

Уходить решились трое. А здесь и случай подоспел: начальство ожидало со дня на день какую-то важную комиссию; трудармейцы и комсомольцы отдалбливали лед с небольшого плаца с красным знаменем на флагштоке, подметали и расчищали территорию около землянок. Как стемнело, их построили и повели в баню на окраине Копейска – негоже обовшивевших показывать высокому начальству. Ночь хоть выколи глаз – ничего не видать. Вышли за ограду военного завода, позади остались КПП и вышки по периметру забора. Улучив момент, Семён тронул за рукав телогрейки Петьку Романова, тот коснулся плеча Николая Выходцева, и все трое канули в темень.

Глава пятая. ТЮРЬМА

На третий день, наморозившись в открытых тамбурах товарняков, достигли беглецы Юргамыша, а уж отсюда и до родных деревень рукой подать. В Таловку въехали на попутной подводе, здесь и простились, в три стороны разошлись заснеженные проселки, самая дальняя дорога в пять верст – у Семёна. С последними лучами скупого декабрьского солнца переступил он подоткнутый ворсистой дерюжкой порожек отчего дома. В жарко натопленной избе, застеленной толстыми домотканными цветными половиками, у заиндевелого оконца на узорно окованном медью плоском сундуке, в теплых носках и шерстяной детской безрукавке сидел маленький Юра. Рядом с

ним лежала на боку деревянная раскрашенная лошадка и выструганный Семёном, незадолго до его отъезда в Копейск, солдатик. Сноха Антонина, услышав, как хлопнула в сенях дверь, выглянула из кути, где готовила ужин, узнать, кто пришел, и изумленно всплеснула руками, перепачканными мукой: «Сёма, как же ты? Кто тебя отпустил? Никак убежал – это с военного-то завода? О-ох, Сёмушка, а у нас ведь горе! Горюшко-то какое!». Антонина, тяжело и прерывисто всхлипнув, застонала и подалась вперед, не успей подхватить Семён сноху на руки, она бы рухнула на пол. У парня в груди вдруг что-то лопнуло и оборвалось. Семён все понял. Он бережно провел рыдающую Антонину в передний угол к накрытому цветастой клеенкой столу и осторожно усадил ее на табурет. Быстро зачерпнул ковшиком свекольного кваса из бочонка у дверей и заставил сноху сделать несколько глотков, чтоб успокоиться и прийти в себя. Маленький Юра так обрадовался появлению любимого дяди, что слез с сундука на пол и побежал было навстречу тому, но все, что произошло только что, повергло мальчика сперва в растерянность, а потом и в слезы. Семён поднял плачущего племянника на руки и прижал к себе. Глаза у него повлажнели.

Придя в себя, Антонина поднялась с табурета, прошла в горницу, где взяла с верхней полки ажурной этажерки сложенный вдвое листок казенной серой бумаги и, вернувшись к столу, протянула этот листок деверю. Семён опустил с рук племянника и развернул письмо. «Командование части сообщает вам, что ваш муж Андрей Лукич Манаков геройски погиб под Волоколамском, защищая подступы к столице нашей Родины г. Москве» – с трудом, сквозь туман слез, разобрал написанное на похоронке Семён. И такая пустота образовалась в душе, так все немило стало парню, глаза высохли, но взгляд потух. С этим потухшим взглядом и ходил он неприкаянно по деревне все последующие дни. Придет, бывало, в контору, где у печки-голандки коротают долгие зимние вечера, обсуждая последние известия с фронта, старики, а возле них колготится и зеленая молодежь; председатель колхоза, припозднившийся здесь же, хромой Алексей Степанович Кокорин сразу к Семёну с вопросом: когда, мол, Сёмка, ты на работу выйдешь? На что парень равнодушно ответствовал: не колхозник я, дескать, и в колхоз никогда не вернусь. Поворачивался к дверям и уходил в сумрачную морозную ночь.

Однажды вот так же бесцельно пробродил он до полуночи по утонувшей в сугробах Вишневке; наведался и в Пески, и лишь потом, уставший, вернулся в дом, и тут же уснул без сновидений. Очнулся Семён оттого, что кто-то, хоть и не больно, но настойчиво, теребит его за уши: «Дядя Сёма, вставай, на, кури». Открыл глаза, а это Юра, племянник, сидит у изголовья и протягивает ручонку, где в пальчиках что-то скрученное из бумаги наподобие папироски. Семён окончательно проснулся, бросил взгляд на пол, а там валяется комсомольский билет с вырванными страницами, одну из которых Юра, желая угодить любимому дяде, уже свернул в самокрутку. Семён быстро поднялся, собрал вырванные листки, расправил и вложил обратно в билет. Теперь надо ехать в райком комсомола, рассказать, как все было, поди, поймут и обменят испорченный билет на новый.

Однако в этот же день, ближе к обеду, на пороге появляется посыльный и сообщает Семёну, что его срочно вызывают по какому-то неотложному делу в контору. Открыв дверь в председательский кабинет, и увидев за массивным, покрытым зеленым сукном, столом самого Алексея Степановича и сидящего рядом пожилого мужчину в милицейской шинели и шапке-ушанке с кокардой, парень обо всем догадался.

– Ну, что Сёмка, в колхозе не схотел работать, так в тюрьме тебя заставят! Ужо не отвертишься! – председатель самодовольно хохотнул. – Вот он, огурчик наш малосольный, товарищ милиционер. Берите, он ваш. Давай, арестант, грузись в подводу.

– Хорошо. Но и ты, председатель, запомни: я ведь когда-нибудь освобожусь, приеду, и вторую ногу тебе вырву, – Семён широко улыбнулся. – Так что до встречи, Алексей Степаныч!

В камере предварительного заключения юргамышского райотдела Семёна встретили сникшие Петр Романов и Николай Выходцев.

– Слышь, Сёма, по-нашему-то не вышло: срок теперь – так меня следователь стращал – за побег с военного завода не четыре месяца, а от четырех до шести лет, – Петька сокрушенно покачал короткоостриженной головой. – Мы убежали 27-го, а указ вышел накануне – 26 декабря. Вот вляпались дак вляпались! Как выкарабкиваться будем? Еще следователь говорил, что судить нас будут показательным судом, чтобы другим неповадно было.

– Не переживай, Петруха, на суде мы попросим отправки на фронт, хоть в штрафную роту, скажем, что кровью искупим свою вину, – успокоил друга Семён. – Тем более с первых чисел января уже наш год призывают. Так что держи хвост пистолетом, слабаков на войну не берут!

Но судьи в глухих френчах – дело рассматривалось в открытом суде, но чрезвычайной тройкой – не вняли детскому лепету подсудимых. Слушание проходило недолго, но сурово. Когда Семён попытался было вставить словцо о том, что вину свою они осознали и готовы искупить ее кровью на фронте, один из военных, с изможденным лицом и запавшими, то ли от бессонницы, то ли от хворобы какой, глазами, зло усмехнулся: мы, мол, тебя и здесь помучаем. В ответ парень запальчиво бросил: посмотрим, кто кого, и вместо покаяния в последнем слове попросил у судей папироску. Зачитывал приговор все тот же изможденный: исприкаявшимся, потерянным Петру и Николаю дали по четыре года, а Семёна осудили на шесть лет лагерей, припомнив ему и дерзкое поведение в суде, и истрепанный комсомольский билет с вырванными страницами. Всю троицу по этапу увезли в Курган.

Глава шестая. ПЕРВЫЙ ПОБЕГ

В тесной, переполненной заключенными, схожей с каменным мешком, воняющей никогда не стиранными портянками, камере старой пересыльной тюрьмы на берегу Тобола Семён находился недолго. Его с группой таких же только что осужденных, в колонне, под усиленной охраной, пешком провели на одну из городских окраин, где на пустыре готовилась стройплощадка для очередного эвакуированного с запада военного завода. Рядом, огороженная свежим высоким забором, с колючей проволокой поверху и с бдительными автоматчиками на вышках, серела правильными рядами палаток наспех сварганенная лагерная зона.

Работа здесь мало чем отличалась от той декабрьской в Копейске, только, если там кормежка была сносная даже для военного лихолетья, то здешняя пустая баланда с плавающей сморщенной долькой мороженой свеклы в миске и мерзлой краюхой хлеба, испеченного пополам со жмыхом, ничего кроме головокружения и поноса не вызывала. Одно хорошо, зима заканчивалась, и морозы не так донимали, правда, и тепло в брезентовых палатках сберечь за ночь было мудрено, спали зеки в телогрейках, ушанках, обувь

тоже старались не снимать. Утром осторожно, хоть и поспешно, опасаясь поскользнуться в проходе меж нар на льду пролитой с вечера баланды, пробирались к выходу на лагерное построение. Все страшно чесались – неуловимые, так называемые окопные блохи одолевали заключенных, мучили людей даже, наверное, больше, чем голод. Днем, во время изнурительной работы, как ни странно, зудящий натиск насекомых ослабевал, тогда хоть можно было дух перевести.

В середине марта начальство лагеря смилостивилось над зеками, договорилось с администрацией одной из близлежащих городских бань на помывку арестантов. Мыться водили партиями по десять человек, под охраной двух вооруженных карабинами конвоиров. Семён попал в предпоследнюю партию, уже когда на улице стемнело. Усилив конвойных третьим, решили все же закончить помывку в один день. Утомленные однообразием, конвоиры лениво покрикивали на сгрудившихся у входа заключенных, объясняя им, что, де, баня общественная, в ней сейчас моются, кроме нас, и вольные; ваше место в раздевалке в углу, одежку с насекомыми складывать отдельно в специально припасенные кули; после прожарки, что здесь же, в кочегарке, сделают банщики, пока вы моетесь, разберете, каждый свою; и чтобы с гражданскими ни-ни.. «Шаг влево, шаг вправо – считается побегом», – размягчено пошутил самый молодой из конвойных. Конвоиры сдвинули лавки у входной двери, здесь и свету от лампочки побольше и никто незамеченным не прошмыгнет, посредине поставили табурет, достали потрепанную колоду карт и принялись резаться в подкидного.

Секунды хватило вышедшему в предбанник, отдохнуть после парной, Семёну оценить свои шансы на побег. В тамбуре у входа охрана так распалилась игрой, что и голов не повертывала узнать, как там их подопечные; на скамье, ближе к выходу из предбанника, покуривал седобородый дед, поминутно утирая капельки чистого пота мохнатым полотенцем, сбоку от деда лежала холщовая сумка с бельишком, поверх нее покоился влажный березовый веник. Рядом, на деревянной вешалке, прибитой к стене, висели полушубки, штаны, пиджаки, рубахи, а на крашеном, в мокрых разводьях полу стояли в ряд кирзовые сапоги и ботинки моющихся сейчас вольных. Семён неслышно проскользнул к вешалке, натянул на голое тело первые попавшиеся брюки, босыми ногами влез в подходящие по размеру сапоги, водрузил на мокрые, едва отросшие волосы чью-то шапку, набросил на голые плечи овчинный полушубок, ловко и быстро похватал и запихнул в штаны скомканные свитер и ситцевую рубашку. Стараясь придать своей походке легкость и беспечность, он подошел к деду, уже собравшемуся уходить, небрежно подхватил правой рукой сумку, переложил веник в левую, и с мольбой посмотрел деду в глаза. Тот понимающе кивнул, и они гуськом: дед впереди, Семён след в след, прошли мимо конвоиров. Те, увлеченные картежной игрой, даже и не посмотрели в сторону этих вольняшек в кургузых полушубках. На дворе подмораживало. Семён торопливо сунул деду банные принадлежности, благодарно кивнул и растворился в мартовской темноте.

В этот субботний день Мария пораньше отпустила ребятишек с уроков: в интернате топили баню, и перед тем, как идти домой, решила забежать к завучу за расписанием на неделю. В кабинете, кроме Анастасии Федоровны, на стуле сбоку от стола сидел незнакомец в милицейской форме. Сразу закололо сердце.

– Мария Лукинична, с вами все в порядке? – заметив, как побледне-

ла вошедшая учительница, обратилась к ней завуч, и быстро переглянулась с худощавым милиционером, что-то внимательно изучавшим в бумагах на столе.

– Ничего страшного, Анастасия Федоровна, просто я, видимо, переутомилась сегодня, – рассеянно ответила Мария. – Пойду домой, отдохну, и все пройдет.

По раскисшей деревенской улице летела Мария, не чуя под собой ног. Вот и аккуратная избушка ее однокомнатная. Распахнула дверь, и – точно ведь: у печи сидит младший брат и курит, пуская кольца дыма в приоткрытую чугунную дверцу.

– Сёма, ты как пришел? Сбежал опять? – с плачем кинулась на грудь Семёну сестра.

– Да, сбежал.

– Куда ж я тебя дену? Ведь здесь, в Песках, милиция. Тебя они ищут, больше-то кого! – только и успела прокричать сквозь слезы Мария, как в дверях вырос тот самый, из интерната, милиционер и отрывисто бросил растерявшемуся Семёну: «Все парень, отбегал, я тебя арестовываю!».

После долгих уговоров согласился Никита Алексеевич Лятин, как отрекомендовался мужчина, лишь только улеглось всеобщее возбуждение, произведенное арестом Семёна, оставить ночевать арестанта у сестры, взяв с Марии расписку о том, что, если Семён сбежит за ночь, сидеть за него будет она. Ночевать Лятин отправился в помещение сельсовета. Мария сходила в интернат, взяла у сторожа ключ от неостывшей еще бани, Семён помылся и переоделся в чистое белье. Поужинав картошкой с хлебом, легли спать. Впервые за два месяца Семён лежал на чистых хрустящих простынях в уютной кровати. Мария постелила себе на полатях. Однако за всю долгую ночь ни разу не сомкнули они глаз. Мария, всхлипывая, уговаривала и умоляла брата не убегать из тюрьмы, обещала регулярно навещать его в заключение, приносить передачи, только ты уж, Сёмушка, терпи, может и послабление какое выйдет тебе, ты же работящий, будь послушней, выполняй все приказы начальства. Я тебя никогда не оставлю.

Утром Мария охлопотала у директора интерната подводу, чтобы отвезти Лятина и брата до станции. Уже смеркалось, когда возвратила Мария уставшую лошадь с повозкой на конный двор.

Скопив за несколько недель матерчатый мешок сухарей, прикупив на последние деньги свежего хлеба, и выправив отпуск на неделю, отправилась Мария пешком, с котомкой за плечами, за 80 километров, в Курган. Там отыскала тюрьму, спросила в окошечко у дежурного, нет ли среди заключенных Семёна Лукича Манакова. Тот куда-то сходил, вернулся и сказал через оконце, что, мол, был, да вот недавно отправлен по этапу на север. Слезы навернулись на глаза Марии, не разбирая дороги, вышла она за тюремную ограду и, обессиленная, присела на прогретый апрельский бугорок с краю широкого большака. Чуть в стороне от ограды человек двадцать заключенных, под недремлющим оком вооруженных конвойных, копали траншею. Мария развязала котомку, достала хлеб и стала, отламывая от буханки ломти, подавать их тем зекам, что были поближе к ней. Конвоиры только поглядывали, не препятствуя Марии кормить людей. Вдруг от них отделился, показавшийся ей знакомым, сухощавый милиционер, и прямехонько направился к Марии. Это был Лятин.

– Здравствуйте! Вы, я вижу, к брату пришли?

– Да, но его здесь, говорят, уже нет.

– Как нет! Я только сегодня его видел. Пойдемте-ка со мной.

Лятин привел Марию в тесное помещенье, где стоял продолговатый стол и две лавки, это была комната свиданий, и ушел. Через некоторое время молчаливый солдат привел грязного, оборванного Семёна.

– Сёма, а твоя одежда, что я тебе давала, она где?

– Сняли в первый же день.

– Братик, я вот здесь принесла тебе хлебца и сухариков. Поешь хоть.

– Маша, я возьму, поем немного, остальное ты отдай Лятину. Пусть он мне помаленьку выдает, а то, если в камеру понесу всю передачу, то её у меня тут же отберут. Там такое шакальё, не отбиться.

– Так и сделаю, Сёмушка, как ты скажешь, только уж не убегай больше, поймают ведь, хуже будет.

Семён молча кивал в ответ, но в глубине серых затравленных глаз брата она уловила какую-то отчаянную решимость и заплакала, всё поняв и испугавшись этого своего понимания. Всё равно, значит, уйдет, но ведь и подстрелить могут.

Глава седьмая. ВТОРОЙ ПОБЕГ

Весна 42-го на Южном Урале выдалась теплая, солнечная, она будто извинялась за лютую, с жестокими морозами и буранами зиму. Ласковое солнце щедро отогревало не одну лишь промерзшую землю, но и озябшие от худых вестей с фронта, надорванные потерей близких на войне людские души. В начале мая Семён опять в колонне заключенных был препровожден из тюрьмы в знакомый уже лагерь на окраине Кургана. Рядом с их зоной возвышались заводские почти достроенные корпуса, из которых был хорошо слышен шум работающих станков, а над широкими дверями каждого отдельного цеха висели красные транспаранты, и даже с лагерной вахты Семён мог, не напрягая зрения, прочитать известный лозунг: «Все для фронта, все для победы». Однако заключенных теперь на территорию завода не допускали, они, как и зимой, продолжали рыть траншеи и котлованы, сегодня работы велись как раз в промежутке между заводской оградой и нефтебазой невдалеке, пузатые стальные емкости и резервуары которой, окрашенные в серебристый цвет, хищно поблескивали на солнце.

Траншея копалась легко, углубление было уже по колено, на бруствере росла светло-коричневая россыпь сухого суглинка. Время к обеду. Сомлевший от безделья конвойный, стоящий метрах в десяти от Семёна, чтоб разогнать полуденную дрему, решил покурить. Он присел, поставил автомат прикладом на землю, сжав его для удобства коленями, достал кисет с табаком, листок бумаги. Любовно завернув «козью ножку», сунул ее в щербатый рот под пшеничными усами, и, отвернувшись от ветерка, что дул как раз со стороны Семёна, принялся чиркать о коробок спичку. Именно этого мига ждал Семён. Он резко выпрыгнул из мелкой траншеи и, что есть мочи, побежал, петляя, по направлению к нестерпимо сверкающим и слепящим глаза резервуарам с горючим. Всего единственную автоматную очередь успел выпустить вслед беглецу оплошавший конвоир, одна из пуль, чиркнув, обожгла мякоть обеих рук повыше кистей, боли в горячке сумасшедшего бега Семён не ощутил, еще пару петляющих прыжков и – он в безопасности, в мёртвой зоне. Теперь уж наверня-

ка выстрелов вдогонку не будет: ёмкости запросто могут взлететь на воздух, а тогда не поздоровится ни лагерю, ни заводу, взрыв будет такой, что мало не покажется!

Обогнув неогороженную пока нефтебазу, Семён, не сбавляя бега, пересёк измочаленный тракторными гусеницами пустырь и пропал в спасительном, заболоченном березняке. Погоня с собаками пометалась на кочках этого болотца и потеряла след беглеца.

Глава восьмая. ГОРНО-ТАЁЖНЫЙ ГОРОДОК

Тетка Лизавета, крупная и подвижная старуха, подвязанная тёмным старообрядческим платком по самые острые и строгие глаза, только что выгнала подоенную корову с бусой тёлочкой за поскотину поселья Шаравка на сочный алтайский лужок пастись. Теперь надо процедить парное молочко в прохладные глиняные кринки и отнести их в погребок под разлапистой пихтой. Вскоре из-за скалистых пиков Ивановского белка взойдёт солнышко, и с первыми его лучами подъедет на бричке Еремей и как обычно заберёт молоко да плетёную из дранки пестерюху, доверху наполненную матовыми свежими куриными яйцами, и отвезёт на городской базар на берегу говорливой Быструхи.

Вот уже десятый годок минул, как в одну из кромешных ночей погрузила Лизавета своих детей-подростков и узлы с немудреным скарбом на подводу, коей тайно снабдил ее младший брат покойного мужа Ивана, сельсоветский писарь Ефим. Он же накануне и оповестил потаённо, что со дня на день должны придти активисты, раскулачивать ее, больно уж глянулся пролетариям крепкий сосновый пятистенок, что срубили братья в канун мировой войны. Рассовав по родне, распродав за бесценок сытую и ухоженную свою живность, бежали они на Алтай, где, по слухам давно уже и прочно обосновались единоверцы. Здесь, среди таёжных отрогов, в предместье рудничного городишка Риддера, выросли и повзрослели дети, всё же город – это тебе не раздолбанная комбедовцами несчастная русская деревня. Здесь и заработки, – да и хозяйство личное, для своего достатка и удовольствия власти дозволяют держать. Не ленись, не валяйся на боку, и будешь жить. Эх, кабы не война проклятая! Где-то сейчас Васенька? Отписывал, что, де, под Ленинградом воюет. Как он там? Уехал-таки перед войной на Урал: на родину, сказывал, хочу, в деревню свою, к родне. И ведь какой боевой да настырный: дом у активистов отсудил, мы, говорит, не кулаки, и нас никто не раскулачивал, сами уехали с мамой за лучшей долей. И даже дом, как положено, заколотили досками крест накрест и замок на дверь повесили. Всё ведь помнит,– а как же не помнить? – в тот чёрный год было ему, слава Богу, без малого пятнадцать. Старуха горестно вздохнула своим мыслям: «ох, же война ты проклятущая».

Взлаял цепной лохматый Музгар, тётка Лизавета выглянула из летней повети, посмотреть, кого там несёт. У калитки плечистый парень, улыбается, правда, улыбка настороженно-выжидательная.

– Здравствуй, тётя Лизавета.

– Будь здоров, коль не шутишь.

– Не признаёшь?

– Может, где и встречались, да не припомню где ,– что-то было неуловимо знакомое в круглом, с близко посаженными серыми глазами, лице пар-

ня. Тётка Лизавета напрямки и рубанула: – Сказывай, чей будешь, что игры со мной играть!?

– Семён я, Манаков, сын Луки Петровича.

– Да неужли ты уж так вырос, Сёмушка? Сейчас-то откуль, не с московского ли ночного? А нас-то как отыскал? Язык до Киева доведет, говоришь? Отворяй воротца, да заходи. Что, так и будем через забор вести переговоры, – тётка Лизавета, обтерев о фартук влажные руки, радостно обняла племянника.

Вечером в Лизаветинской светелке собрались все оповещённые родственники. За столом главенствовала Лизавета, по лавкам и на мягком диванчике сидели её дети, старшие сродные сёстры Семёна: Агрипина с мужем Перфилием, Стюра и Катя. Разговор шёл о том, как помочь Семёну с документами. Двадцатитрёхлетняя Катя, работавшая секретарём Пригородного сельсовета, обнадёжила брата, пообещав достать чистый бланк под паспорт и вписать туда все данные Семёна, но коль его теперь уж, наверное, ищут по всему Советскому Союзу, то надо в этих, новых, документах, изменить хотя бы фамилию. Семён из кринки налил себе стакан холодного молока. Выпил залпом и весело произнёс: «Что ж, вот и стану с сегодняшнего дня Молоковым». Сёстры одобрительно улыбнулись.

Так и выправила родня Семену новый документ. Была небольшая заминка с печатью, что недоступно хранилась в сейфе у председателя, и все операции Катя делала только в его присутствии, но умелец Перфилий, лишь единожды глянув на оттиск в своем паспорте, вырезал в срезе твёрдой картофелины и буковки, и циферки, и двойной кружок – залюбуешься. Обмакнул изделие в чёрную тушь и наложил оттиск на бланк. Комар носа не подточит. Спустя неделю носил Семён в кармане пиджака новенький паспорт. А здесь подоспели и экзамены в горный техникум, двухэтажное каменное здание которого занимало часть парковой усадьбы в междуречье Филипповки и Быструхи. Купили в базарной толчее чистый аттестат о девятилетнем образовании, внесли в него оценки и новую фамилию владельца; и, сдав успешно вступительные экзамены, поступил Семён на горняцкое отделение техникума. Сёстры написали Марии на Урал письмо, где между строк, намёками, оповестили, что брат здесь, у них, и у него всё ладом. В конце августа Мария была уже в Риддере. Устроившись воспитательницей в местный детдом, она сняла на окраине, в частном секторе, домик на две комнаты и кухоньку с аккуратным, но маленьким огородом, стиснутым с трёх сторон глухими заборами соседей.

Семёну учиться нравилось, задачи он решал, как семечки щёлкал, быстро и в основном правильно. Времени хватало и на то, чтобы дать списать менее сообразительным товарищам. Лишь один из однокурсников не уступал Семёну в учёбе – это Илюша Ананьин. Хоть и был он годами помоложе, но ум имел цепкий, живой. Наверное, это и способствовало их сближению. Парни крепко подружились, Илюша был местный, из бергалов, так здесь называли потомственных горняков-рудознатцев, знал все тропки к заповеданным ягодным и грибным уголкам в труднопроходимой буреломной горной тайге. А Семён едва ли не с пеленок приохотился к собиранию, да так проворно и быстро это у него получалось; когда кто-нибудь другой рядом только-только отбарабанит по дну ароматной клубникой ли, упругой ли смородиной, а у него уже посуда наполовину полна. И, ведь собирая, ни разу единого не опустится на колени, не присядет, не приляжет облегчённо

на призывную травушку, чтобы обобрать всё вокруг, сминая кусты. Перегибаясь пополам, на ходу, он ловко срывал, как правило, самые крупные ягоды, и вот он уже, продравшись сквозь древесные сплетения дикой акации, на другом, заросшем дурбеем склоне, и оттуда перекликается с отставшими ягодниками.

В марте 43-го, отработав практику в забое шахты одного из рудников, некоторые из студентов получили повестки на врачебную призывную комиссию. Вручили повестку и обрадованному Семёну. Всё, наконец-то, настал срок поквитаться с фашистами за Андрея!

Мария обменяла на базаре свою новую шерстяную кофточку на внушительную куриную тушку, и к возвращению брата с военной комиссии приготовила наваристую, с жёлтыми плавающими кружками жира лапшу, достала из подпола ядреных солёных огурчиков, хрустящей капустки, и стала поджидать Семёна, изредка поглядывая поверх ситцевых занавесок через кухонное оконце на улицу. Она не заметила, как Семён прошёл по двору, лишь услыхала скрип двери в сенцах, и в избу ввалился мрачный и какой-то весь взъерошенный брат.

– Маша, милая сестричка ты моя! Не берут меня на фронт, не годен я, видите ли, бить фашистов. Докторам не нравится, что я не слышу на левое ухо, дак я одним правым услышу больше, чем кто другой двумя сразу. Жил, нормальным был, в тюрьме сидеть годен, а за брата отомстить, так, вишь ли, не годен, – Семён прошёл к накрытому столу, сел, отодвинул от себя снедь, и, обхватив голову руками, застонал. Шести лет отроду простудился он, когда по недосмотру взрослых упал со сходен в студеные воды ноябрьского озера; случилось осложнение, и вот теперь левое ухо не слышит, и больше того, при малейшей простуде из уха сочится тёмно-зелёная липкая жидкая масса. И поэтому у Семёна в раковине левого уха почти всегда неприметная ватка.

– Я уж просился и в нестроевые подразделения, но доктор, гад, только посмеялся: учись, мол, студент, и в тылу люди нужны.

– Ничего, Сёмушка, не горюй и не убивайся ты так. Оно ведь, действительно, и в тылу работать кому-то надо. Жалко, ой как жалко Андрюшу нашего, – Мария утёрла платком набежавшие слезы, и, горестно вздохнув, продолжала: – А вдруг и тебя бы там убили! Я-то куда тогда одна-одинешенька. Тоня с Юранькой теперь от нас далеко: она, я ведь тебе говорила, перебралась в Кособродск, ближе к Челябинску, там с работой проще и родственники есть. Так что, Сёмушка, поешь лапшички и успокойся. Окончишь техникум, пойдёшь на свинцовый завод работать, пули-то, которыми наши бойцы разят проклятых фашистов, они почти все отлиты из алтайского свинца. Большая победа, она всегда складывается из таких вот крохотных частей, а ты будешь, я в этом уверена, работать обязательно по-ударному, ты же по-другому не умеешь, и врага мы сломим. И Андрюше нашему, там, где он сейчас пребывает, наверное, тогда будет хоть на немного, но легче.

В садах у бергалов, по лощинам и гребням окрестных сопок закипала белопенная пьянящая черёмуха, в городке этот запах смешивался со сладковато-удушливым дымом, валившим из труб свинцового завода и устилавшим тесные переулки и подворотни ближних к кирпичной заводской ограде городских районов. Вечерело. Семён поднимался на горушку по булыжной мостовой, ещё с десяток метров – и свороток в их переулок. От черёмухового куста, что через плотный забор свешивался из огорода на улицу, отделилась

фигура и взволнованным голосом Илюши Ананьина окликнула Семёна по имени. Парень свернул с мостовой и по траве направился к другу.

– Семён, я тебя уже больше часа караулю здесь. Нельзя тебе домой, там милицейская засада. Я когда подходил к вашей калитке, заметил, как один в окно выглядывал. Пришлось, чтобы не заподозрили и не привязались следом, попетлять по городку. Уезжай, пока они не спохватились.

– Да куда же я теперь без документов, эти-то засветились, можно хоть сейчас выбросить.

– Не паникуй раньше времени. Давай-ка, сделаем так, идём ко мне, ты подождешь за изгородью, у ветлы, я вынесу тебе свой паспорт. Фотографию сдерешь со своего, и мы её подклеим заместо моей. Лады, брат?

Утром следующего дня, рискуя быть пойманным, Семён подстерёг на дорожке, ведущей через сосновый бор к массивному одноэтажному зданию, в котором располагался детский дом, понуро бредущую сестру, тихо окликнул её из-за толстого, в обхват, ствола. Мария встрепенулась, испуганно озираясь вокруг, подошла и прислонилась к сосне с другой стороны.

– Сегодня я ухожу из города, где буду, не знаю, – раздался из-за дерева глухой голос брата. – Как появится возможность, дам о себе знать. Прощай, Маша. Даст Бог, свидимся ещё.

– Береги себя, брат, – сестра судорожно хватила воздуха, но сдержала рвущиеся из горла рыдания. – Я буду молить Богородицу, чтоб ты был жив. До свидания, Сёма. Уходи, кто-то незнакомый идёт от ограды. Беги, Семён!

– Что это вы, гражданочка, никак с деревом беседуете, – запыхавшийся мужчина в гимнастёрке, галифе и блестящих хромовых сапогах быстро обежал вокруг сосны, шнырнул острым взглядом по цветущим кустам черёмухи у забора и вернулся к Марии. – Или с братцем беглым общались, Мария Лукинична?

– Да полно вам, закружилась голова, вот я и прислонилась к дереву, дух перевести.

– Вот что я вам скажу: брата вашего неуловимого мы всё равно не сегодня-завтра арестуем. Срок у него теперь ба-альшущий, за побеги набежало ещё годков эдак с десяток. Так что теперь не скоро свидеться доведётся. А вам из города не уезжать, мы уж за вами, Мария Лукинична, для пущей верности – присмотрим.

И незнакомец, круто развернувшись, заторопился к воротам. Мария осталась одна стоять на посыпанной мелким гравием дорожке. Слёзы ручьем текли по её щекам.

Глава девятая. РУБЦОВСКИЙ ТАНКОВЫЙ

Этот завод стал третьим военным, после двух на Урале, в судьбе Семёна. Приняли парня на работу легко, документы, едва глянув и переписав что-то из них в карточку, тут же вернули. Мария ничуть не преувеличивала, говоря о том, что спустя рукава Семён просто не умеет работать. Уже через месяц его назначили мастером участка сборочного цеха, а спустя полгода – мастером смены. С конвейера этого завода, бывшего в мирное время тракторным, ежедневно сходили и тут же грузились на железнодорожные платформы и мчались на пожиравший все живое и рукотворное советско-германский фронт танки Т-34.

Жил Семён – правда, для окружающих он был теперь Ильёй Васильевичем Ананьиным – в общежитии при заводе, да оно так было и удобнее: цех рядом, в Рубцовске всё равно ни родных, ни близких. На свой страх и риск побывал он однажды на вокзале, подгадал к прибытию поезда на Риддер. Потолкался по перрону среди пассажиров, поезд здесь стоит сорок пять минут, поинтересовался, едет ли кто до конечной станции, до того самого таёжного городка, в котором его едва не взяли оперативники. Едущие до конца среди пассажиров были. Он отвёл мужчину в годах, вызвавшего своим бесхитростным обличьем наибольшее доверие, в сторонку и попросил того передать по означенному адресу письмо. Для верности Семён достал из кармана ассигнации и отсчитал несколько купюр. Мужчина запротестовал было, дескать, доставлю и без всякой оплаты. Тогда Семён сложил все деньги в одну пачку и сунул пассажиру в руки со словами: «здесь хорошая сумма, возьмёте себе, сколько посчитаете нужным, а остальные отдайте женщине вместе с письмом». Недели через полторы в общежитие пришёл ответ на имя Ананьина. Мария писала, что все живы и здоровы, всё хорошо, наказывала Илюше беречь себя. Ещё одно письмецо от сестры спустя месяц получил Семён. А потом всё оборвалось.

До пересменка оставалось четверть часа. Только что из цеха своим ходом прогрохотали по бетонному полу три новеньких, тёмно-зелёного защитного цвета, танка, сейчас водители-испытатели сделают несколько кругов на площадке полигона, и боевые машины погрузят на платформы. Настроение у Семёна было отменное, приятная усталость разливалась по телу, после смены надо обязательно зайти в душ и – спать. И вот тут-то он увидел приближающихся к нему начальника цеха в сопровождении незнакомого подтянутого мужчины в штатском. «А выправка-то военная», – машинально отметил Семён. И перевёл взгляд на своего начальника. «Но почему же лицо-то, Николай Прокопьич, у тебя такое белое? Да это ж по мою душу пришли!» – опалила сознание запоздалая обвальная мысль. Бежать было некуда. Щеголеватый опер не стал марать свои руки обшариванием карманов задержанного, лишь ловко щёлкнул наручниками на запястьях, своём и Семёновом, так оно будет надёжней.

Районное отделение милиции, куда опер доставил Семёна, располагалось недалеко от завода и находилось в состоянии затянувшейся долгостройки. К недоогороженной территории райотдела примыкал полуразрушенный квартал с ветхими лачугами, видимо, эта была очередная расчищаемая площадка, предназначенная для новых корпусов расширяющегося танкового завода. Семён глянул в маленькое зарешеченное окошко камеры предварительного заключения, и в голове пронеслась шалая идея. Он подошел к железной двери с круглым глазком, прикрытым снаружи, и постучал кулаком.

– Эй, кто там есть! Откройте, на двор надо, мочи нет. Что ж это у вас параши в камере не имеется? Открывайте, а то прямо под дверями схожу!

Загремел засов, дверь, противно лязгнув, отворилась.

– Давай, живо, времени нет тут вас разваживать, – сонный увалень, с румянцем во всю щеку, сапоги гармошкой, гимнастёрка сидит мешком, пропустил арестанта вперед и забросил карабин за плечо. – Смотри, дёрнешься – уложу на месте!

Покосившаяся уборная притулилась на заднике милицейского дворика. На середине пути к ней, метрах в пятнадцати от тропинки, по которой сейчас часовой в развалку вёл арестанта, зияла внушительная дыра, размыкаю-

щая деревянный забор. Семён внутренне весь подобрался, чутко прислушался к ровному дыханию беспечного конвоира, шедшего в шаге позади, резко присел на корточки и молниеносно выпрямился, отбрасывая своё тело назад, и попадая затылком в толстые губы конвоира. Удар головой был настолько неожиданным и сильным, что увалень растянулся вдоль тропинки, придавив собой карабин. Пока он, ошарашенный, приходил в себя и грузно подымался с земли, Семён был уже далеко за забором. Причем, и документы, целёхоньки, лежали во внутреннем кармане пиджака, так как Семёна второпях впихнули в камеру, даже не сняв с него брючного ремня и не изъяв шнурков с ботинок, а про обыск и вообще речи не было. Видно, начальство полагало в течение часа-другого переправить задержанного в тюрьму, да только вот арестант оказался больно прыткий, хотя, впрочем, и в розыскных бумагах особо подчеркивалось, что субъект этот, несмотря на молодость, непредсказуем в своих действиях и склонен к побегам.

Глава десятая. ТАШКЕНТ – ХЛЕБНЫЙ ГОРОД БАСМАЧЕЙ

Пыльная, прокалённая безжалостным азиатским солнцем, стиснутая высокими глинобитными стенами, улица старого Ташкента. Августовский оплавленный день клонится к закату. От духоты не спасает и тень, отбрасываемая справа на узкую пешеходную дорожку вдоль стены. Впереди Семёна, укутанная с ног до головы в чёрное одеяние, семенит, мелко перебирая невидимыми из-за длинного подола башмачками, женщина. На плече она несёт кувшин с водой, придерживая ношу ладонями изящных смуглых рук. Метрах в десяти перед женщиной, лениво переговариваясь, неспешно идут три дехканина в длиннополых полосатых халатах, подпоясанных кушаками. Навстречу им от поворота, поскрипывая огромными колёсами о мостовую, катится арба, в которую запряжён серый ослик. На плоском сиденье сгорбился, перевязанный верёвками, седоусый и меднолицый узбек в тюбетейке. Осликом правит, идя перед животным с поводьями в руках, молоденький узбек-солдат в выгоревшей гимнастёрке и с винтовкой, переброшенной за спину. Позади повозки, с карабином наперевес, шагает, напряженно всматриваясь в лица встречных, пожилой красноармеец с жёлтыми сержантскими лычками на малиновых тряпичных погонах. Едва арба миновала трёх дехкан, как началась беспорядочная стрельба. Пожилой сержант, споткнувшись, на какое-то мгновенье опёрся на дуло карабина и ткнулся лицом в пыльную мостовую. Парень бросил поводья и побежал вперед, на ходу пытаясь достать из-за спины винтовку, но, не пробежав и пяти метров, упал, сражённый револьверными выстрелами. Опешивший было Семён, быстро пришёл в себя и вжался в крошечный выступ в стене. Мимо него прогромыхала арба. Теперь на ней сидели двое. Один из нападавших, разрезая путы, освобождал связанного. Двое других бежали за арбой, что-то яростно и радостно выкрикивая на птичьем своём языке. На Семёна никто из них даже и не глянул. Он постоял еще с минуту и устремился в противоположную сторону, мимо расстрелянных басмачами охранников, мимо лежавшей в луже собственной крови и растёкшейся из разбитого кувшина воды, женщины, убитой шальной пулей наповал. «Что-то везёт мне в последнее время на покойников», – нервно усмехнулся Семён, сворачивая в первый пустынный проулок.

Третьего дня, усталый и голодный, шел он из глинобитного Чимкента

сюда по утопающим в песке шпалам прославленного Турксиба. Силы иссякали, жутко хотелось есть, Семён шарил горящими глазами по железнодорожным откосам, в надежде отыскать хоть чего-нибудь съестного, выброшенного из проезжающих иногда здесь пассажирских поездов. Однако ничего, кроме лоскутков обёрточной бумаги, блестящих и ржавых смятых пустых банок из-под консервов и тушёнки, да серых колких шаров верблюжьей колючки на волнистых жёлтых барханах, на глаза не попадалось. И вдруг впереди, в ложбинке между железнодорожной насыпью и нависающим над ней крутым песчаным козырьком, что-то обнадёживающе забелело. Семён ускорил шаг, а потом и побежал, перескакивая через две шпалы, тратя последние силы, и предвкушая скорый и сытный обед. Расстояние между Семёном и белеющим пакетом, видимо, случайно выпавшим из проходящего состава, резко сокращалось и вот уже можно различить, что же это за предмет и сослужит ли службу какую голодному бродяге. Не добежав метров десяти до места, Семён резко сбавил обороты и, осторожно, как бы крадучись, стал приближаться к лежащей в неестественной позе мёртвой обнажённой женщине. Лицо убитой было прикрыто густой, выпачканной в крови, белокурой прядью роскошных волос, молодое тело, как у брошенной куклы, переломлено пополам. Судя по тому, что зелёные блестящие мухи еще только делали первые пробные круги над трупом, можно было с уверенностью предположить, что женщину выбросили из поезда не позднее, чем сегодняшней ночью. Грохот не этого ли состава слышал под утро Семён, отдыхая и набираясь сил для дальнейшей ходьбы, в медленно остывающих складках недальних барханов? Минутная оторопь мгновенно улетучилась, когда парень мысленно посмотрел на себя со стороны. Это же верная вышка! Жертва, и убийца, застигнутый на месте преступления. Семён, ни разу не обернувшись на страшную находку, ускорил шаг, чутко прислушиваясь, не гудит ли где поблизости паровоз, чтобы вовремя и незамеченным укрыться в барханах.

Пошатываясь от голода и нестерпимой жажды, прошёл он почти весь день, миновал волнистые барханы и выбрался на местность с редкой, колючей травой и кривыми чахлыми саксаулами по горизонту. Идёт Семён по шпалам, глаза в знойной пелене, и вдруг – ну не мираж ли! – видит, метрах в пяти от насыпи, вытянувшись во всю свою богатырскую мощь, подогнув,– коленом в небо, левую ногу в кирзаче, спит, сладко похрапывая, мордастый обходчик. Рядом лежат в чехле два флажка, красный и жёлтый, два огромных гаечных ключа. Под головой вместо подушки – торбочка, наверняка с харчами. В метре от обходчика забит колышек, от него тянется верёвка к пасущемуся в колючках ишаку. Семён бесшумно подкрался и, сняв верёвку с колышка, привязал её на два узла к ноге обходчика, который всё также громко храпел. Зайдя тому за голову, Семён резко вырвал торбу из-под спящего и отбежал к насыпи. Обходчик подскочил и тут же упал, петля затянулась на ноге. Перепуганный ишак бросился в степь, волоча за собой отборно матерящегося железнодорожника. Давненько так вкусно не едал Семён: в торбе были большая лепёшка и баклага кислого молока.

В Ташкенте Семён обосновался в подворотнях вблизи галдящего на всю вселенную днём и пустого и необычайно тихого ночью восточного базара. Купить здесь можно было всё, украсть, подрезать поясную косынку с деньгами у степенных узбеков в роскошных халатах – тоже, ежели ты сам парень не промах, а чумазые и разноплемённые дружки все твои команды улавливают с полувзгляда. Шайка, которую организовал и возглавил после двух

кровавых потасовок с претендентами на лидерство Семён, состояла из полутора десятков оборванцев и занималась тем, что тащила всё, что плохо и без присмотра лежит. Одно, но жесткое условие поставил вожак босякам: бедно одетых эвакуированных не обманывать, и ничего у них не красть. Зато уж отыгрывались ребята, когда совершали дерзкие налёты на фруктовые и овощные прилавки жирных, с заплывшими щелками глаз, и обладавших фантастической жадностью торговцев в цветных богатых чапанах и халатах. Катились по межрядным проходам полосатые, круглые арбузы и желтые овальные дыни, рассыпались и лопались спелые персики, абрикосы, груши и гранаты. Милиционеры, как подметил наблюдательный Семён, прибегали, свистя пронзительно в свои особенные свистки, как правило, в тот момент, когда у юных разбойников карманы были забиты до отказа всякими фруктами, а рассыпанные на земле и раскатившиеся по базару плоды были незаметно подобраны худенькими и стеснительными женщинами и подростками из эвакуированных. При виде синих с малиновым кантом фуражек, парнишки растворялись в толпе; лягавые терпеливо выслушивали сбивчивый и крикливый гвалт потерпевших, приглашали их пройти в отделение, что в двух кварталах от базара, чтобы там по всем правилам и согласно закону написать заявление и составить протокол о причинённом ущербе. Потерпевшие отмахивались пухлыми ручками: пока мы туда-сюда ходи, кто за товар смотреть будет, всё укради. Нет, начальник, мы тебе фрукта давай, ты бумага здеся пиши. Вора хватай, тюрьма сажай.

Милиционеры сразу делались строгими и неприступными: да как вы смеете власть подкупать! В кутузку захотели! А сами как бы ненароком поворачивались к взяточнику боком и указательным пальцем тыкали в глубокий карман своего галифе. Перепуганные и растерянные торговцы торопливо совали смятые рубли, куда было указано, и, кланяясь, пятились и ретировались к своим разорённым прилавкам.

До весны хозяйничала шайка на городском базаре, изредка вступая в драки с местными узбеками, однако хорошо организованная и бесстрашная в своей сплоченности, она всегда бивала трусоватых противников и отгоняла от хлебной и наваристой территории.

Однажды светлым апрельским вечером сидел Семён на шершавом корневище древнего саксаула у журчащего арыка. Базар, находящийся рядом, уже угомонился. Прохладный, освежающий воздух поднимался от поверхности желтоватой воды и растекался по окрестности. Тишина напитывалась ароматами близких садов. Умиротворение снизошло на раскалённую за день местность. Неожиданно до слуха парня донеслось с высоких тёмно-синих небес журавлиное протяжное курлыканье. Семён вскинул вихрастую голову к небу. Там, в вышине, серый птичий клин тянулся по направлению к северу, к уже различимо мерцающей Полярной звезде.

С этого вечера Семён затосковал и засобирался в дорогу. Купил подходящий неброский костюм, аккуратный портфель-балетку под сменное бельишко, мыльные принадлежности. Только вот прибор для бритья не стал покупать: опасную складную бритву парень, как приобрел после бегства из Рубцовска на барахолке в Семипалатинске, так и не расставался с ней. Правда, и в дело ни разу не пускал, хотя передряги случались и в притонах с разношерстными блатняками, и на пёстрых и неизменно грязных азиатских вокзалах с быстроглазыми и плосколицыми аборигенами. Всегда обходился жилистыми кулаками, а в драках с сильными противниками применял уда-

ры головой. Этим сокрушительным и чисто зековским приемам Семёна еще в курганской тюрьме обучил один старый арестант. Видя, как мордуют деревенского парня камерные шакалы, старик выбрал минутку затишья, подозвал Семёна к себе, расспросил о родне, о Вишнёвке, а потом, хитро прищурясь, молвил, что, дескать, голова у тебя, парень большая и, по всей видимости, крепкая, а вот использовать это свое преимущество ты как-то всё не догадаешься. Показываю один раз, и старик ловко крутнулся на месте и лбом сбил Семёна с ног. Потом он в несколько слов объяснил парню, как сшибить головой врага в ближнем бою, как действовать, если противников двое или трое. Вечером этого же дня под одобрительный гул сокамерников разбросал Семён по углам ошалевших от неслыханного отпора шакалов. И отстали шестёрки от парня.

– Все, братцы, прощайте, уезжаю в Россию, – неслышно подошедший Семён обвел внимательным взглядом разноплеменных своих корешей, сидящих вокруг очага в глухом дворике с высоким глиняным забором и маленькой неприметной дверцей наружу. – С собой не зову – знаю, не пойдёте, от добра добра не ищут: здесь тепло и сытно. С местными держите ухо востро, но не поддавайтесь, иначе стопчут. С лягавыми старайтесь жить в мире, а жирных басмачей требушите, пусть учатся делиться, или страна у нас не рабоче-крестьянская? Так что, бывайте, ребята, к холодам, может, и вернусь.

Глава одиннадцатая. ОДЕССА, ПРИТОНЫ, КАРТЫ

Полтора года минули, как, бросив балетку под голову, уехал на третьей багажной полке общего вагона Семён из Ташкента. Уже отгремели салюты Победы, схлынула ошеломительная новизна мирной жизни. Устроиться легально где-нибудь на работу, такая крамольная при теперешней его жизни мысль ни разу не ворохнулась в сознании у парня. Он давно уже стал своим в том невидимом, параллельном мире, что давно и справедливо у рядовых обывателей окрещен как преступный. Приходилось Семёну подламывать ларьки и магазины, среди них попадались и ювелирные, опустошать кассы, но никогда не покушался он на личное имущество обыкновенных граждан. Брать у государства – это одно, обирать простых людей – совсем другое. Еще ему несказанно везло в картах, хоть в буру, хоть в «двадцать одно». Играли, как правило, на хатах, игра шла честно. За шулерство спокойно могли и на ножи поднять, и опустить. Законы в этом параллельном мире были написаны едва ли не в средние века, иерархия блюлась непререкаемая, если ты вор в законе, то ты умрёшь от голода у чужого изобильного стола, но не притронешься к яствам, если тебя, конечно, не пригласит разделить с ним трапезу кто-нибудь достойный. Кусок хлеба, даже и с чёрной икрой, из поганых рук вор в законе не примет и под страхом смерти. Это как раз тот случай, когда авторитет превыше самой жизни. И для настоящего вора потеря авторитета страшнее во стократ, нежели для правоверного фанатика-коммуниста исключение его из пламенных рядов горячо любимой партии. Урки, жулики, ссучившиеся, красные шапочки, шестерки – вот далеко не полный перечень обитателей этого внегеографического мира. А были еще и – мужики, те, кто уходил на зону по так называемым бытовым статьям, частью вливаясь спустя какое-то время в мутный поток рецидивистов. Однако самыми бесправными и прокажен-

ными в лагерях и тюрьмах, как главных составляющих и своеобразных питомниках преступного сообщества, были тогда пресловутые «враги народа». Это довольно-таки пестрая публика, намешанная из бывших яростных и несгибаемых ленинцев, троцкистов, сталинистов, власовцев и прочих фашистских прихвостней и шпионов, а также из бедолаг, попавших за колючую проволоку по любимой поговорке вождя: лес рубят – щепки летят. Их по закону революционного абсурда вымела из рядов строителей светлого будущего железная и неумолимая сталинская метла.

Никаких обрядов посвящения Семён не проходил, числил себя мужиком, но с ворами ладил, их понятия уважал, и к нему урки относились спокойно. За годы странствий заглядывал Семён и в первопрестольную; где проехал, а где и протопал ходкими ногами по освобожденным и лежащим в руинах городам средней полосы и юга России, побывал в Киеве. Но самое страшное впечатление оставил в душе у парня Симферополь. Казалось, в нём не осталось ни одного целого дома, он был практически стёрт с лица земли. Даже Севастополь, где по рассказам местных жителей шли наиболее ожесточённые и кровопролитные бои, сохранился лучше, здесь хотя бы некоторые здания уцелели, а наши разведчики, вырезав финками взвод немецких сапёров, не дали тем взорвать заминированный морской порт.

Послеобеденный лёгкий бриз гонит через прибрежные отмели белые барашки волн, однозвучно шелестит прибой. Семён, разувшись и сладко вытянув ноги к морю, сидит на тёплом песке. Вокруг него ходит, размахивая руками, черноволосый крепыш в остроносых лакированных туфлях и брюках клёш. По леву руку от приятелей покатое побережье бугрится пирсом одесского порта, над которым металлическими цаплями громоздятся гигантские портовые краны. У причала идёт погрузка-разгрузка сухогрузов и баржей. На рейде дымят пароходы торгового флота, как под советскими, красными, так и под флагами зарубежных стран. Восстановленный одесский порт имеет чин международного.

– Ты пойми, Илья, удача сама прёт к нам в руки. Мы при деньгах. С командой я договорился, люди проверенные. Завтра, как стемнеет, нас проведут на пароход. В трюме, в кочегарке, у них там есть специально оборудованное место, куда нас положат и дадут каждому по резиновой трубке для того, чтоб можно было дышать, когда присыплют сверху углём. Через день будем в нейтральных водах, там нас откопают. Отдышимся, перекусим, и та же процедура уже в Италии, где тоже есть верные люди, главное, чтоб деньги и цацки были, а они у нас, как ты знаешь, имеются. Так что, решай: либо здесь тебя сцапают и закатают в лагеря, либо в загранке будешь человеком, пусть и капиталистическим, зато свободным! – весело закончил крепыш.

– Да я уже всё давно решил, Коля, – Семён был серьёзен как никогда. – Видишь ли, мне и здесь-то, в России, деревня чуть ли не каждую ночь снится: озеро наше, берёзовые заливы и колки, ребята, с которыми рос, родня. Ты знаешь, сколь у меня родни: половину Южного Урала, а теперь вот и на Алтае укореняется наша родова. Уедь я к твоим буржуям хвалёным, кто меня обратно пустит? Да я там со всеми этими цацками твоими сдохну от тоски. Нет, уж пусть лучше здесь, дома, что будет, то и будет. Бог не выдаст, свинья не съест. Я, Коленька, родину не меняю.

Крепыш в сердцах сплюнул на прибрежный, переливающийся перламутром от сбежавшей только что волны, песок и досадливо махнув напоследок мускулистой рукой, энергично зашагал в направлении порта.

Глава двенадцатая. ЗДРАВСТВУЙ, БРАТ!

Мартовская теплынь основательно подъела серые, отёкшие, ноздреватые сумёты по обочинам просёлка. Вокруг белоствольных, с розоватым налетом на тонких упругих ветках, нераспустившихся берёз уже вытаяла земля, и получалось, что деревья стояли как бы в живых и пахнущих осенней прелью лунках. Сама дорога подсохла, лишь кое-где, в широких колеях, в стоячей талой воде отражалось синее промытое небо, подёрнутое с краю алым закатом. Рядом тенькали невидимые весёлые синички; дорожная, мелкая галька в такт пичужьему пенью позвякивала под утеплёнными американскими ботинками на толстой каучуковой подошве, выигранными Семёном еще зимой в «буру» у порывистого армянина. Тогда, в Крыму, в одной белёной хате проигрался этот невесть как очутившийся среди матёрых уголовников торговец в пух и прах, до исподнего шёлкового белья. Поначалу карта ему шла, горка смятых купюр возвышалась на столе перед ним. Она была чуть меньше, чем та, что лежала в центре, на кону в банке. Всё складывалось так, что и эти деньги азартный армянин вот-вот сгребёт нервной волосатой рукой в свою сторону. Но карта Семёна перебила армянские козыри. Торговец буквально взвился над карточным столом, потом сник, успокоился и начал методично просаживать деньги, потом извлёк из внутреннего кармана дорогого костюма пригоршню драгоценностей, затем на стол были последовательно брошены роскошное пальто с каракулевым воротником, кашне и бобриковая легкая шапка, костюм, ботинки. Кончилось тем, что босой, щуплый горбоносый человечек, покрытый, как кольчугой, блестящими кольцами волос на груди и спине, ходил в кальсонах по накуренной комнате и выпрашивал у нелюдимых блатарей пистолет, чтобы пустить пулю в свой, в седых завитках, висок. Но ему накинули на плечи какую-то рваную дерюжку, дали стоптанные тапочки и вытолкали за двери в крымскую, усыпанную звёздами, декабрьскую ночь.

Семён поднялся на косогор, с которого открывался великолепный вид на весенние родимые окрестности. Дорога в две колеи спускалась на равнину и, петляя, бежала через берёзовые колки прямо к двум деревням, обнимающим красноватое от заката, подёрнутое лёгкой рябью, озеро. Вдохнув полной грудью родного, пахнущего талой водой воздуха, Семён свернул с просёлка и направился к рощице, где кривые вётлы перемешивались с нарядными расцветшими вербами. Здесь он решил дождаться сумерек, чтобы неузнанным войти в деревню.

Александр, или Шуретка, как ласково и по привычке с детства называли его близкие, только что вернулся из Скоблино, куда ездил договориться на завтра с печником перебрать некстати задымившую в горнице печь-лежанку. Он распряг Мухортого, набросил на взмыленную спину тому сухое одеяльце, и, проводив коня в стойло, вышел во двор.

– Шуретка, иди на два слова, – негромко позвала его от калитки тетка Лизавета, в конце войны вернувшаяся с Алтая в родную деревню.

– Случилось чего, што ли, тетушка?

– Ступай до Василия, да только тихо. Семён там. Пришёл, откуль неведомо. Вестимо, скрывается он. Велел тебя кликнуть.

– Спасибо, тётушка, бегу!

И Александр, ломая сапогами схватившийся в лужах ледок, заторопился

на соседнюю, вторую от озера, улицу, где в добротной, но тесной избушке жил Василий с молодой женой Катей.

– Здравствуй, брат! Живой, целый, ну и, слава Богу. – Александр, едва переступив порог, стиснул в железных своих объятиях Семёна. – Это ж сколь мы не видались? Да ведь шесть лет! Ого-гошеньки! Мы с Василием уже почти два года, как с войны пришли. Женатые оба теперь. А ты-то как, откуда?

– Да я, можно сказать, проездом. Истосковался по вам всем. Думал заночевать, а утром раненько уйти, да, видимо, не получится. Шёл-то я улицей, надеялся, стемнело, никого не встречу. Но сдаётся мне, одна бабёночка, обличьем вроде знакома, а фамилии не припомню, так вот она, когда столкнулась со мной нос к носу, так зыркнула, так блеснули глазки её в сумерках, что лучше мне здесь не задерживаться до утра, а то неровен час, облаву объявят. Я ведь уже шестой год, как в бегах.

Василий, старший из сродных братьев, пригласил Александра и Семёна к накрытому столу, где среди отваренной картошки в мундирах, солёной капусты, шматков розоватого сала и ломтей ржаного хлеба стояла, запечатанная тёмным сургучом, поллитровая бутылка водки, припасённая Василием для такого вот именно случая. Братья сдвинули гранёные стаканы над столом и, встав, выпили до дна. Похрустели капусткой, закусили.

– Теперь-то ты, брат, куда путь держишь?

– На восток, на Алтай постараюсь пробраться. Там Мария, она ведь тоже без вестей обо мне.

Братья, прислушиваясь к редкому, ленивому тявканью собак в уснувшей деревне, проговорили до полуночи. Но лишь настенные ходики пробили двенадцатый удар, Семён поднялся из-за стола, взял с вешалки свою двубортную тужурку-москвичку, оделся, крепко обнял поочерёдно Василия и Александра, и, сказав, чтоб не провожали, вышел в сени. Здесь он нахлобучил на лоб, почти до самых повлажневших не ко времени глаз, шапку и исчез в ночи.

Светало, когда Семён, одолев двадцать вёрст, вышел на Куртамышский большак. Еще каких-то три километра и – вот она станция Юргамыш, где, если даже и не останавливаются, то всегда притормаживают что пассажирские поезда, что товарняки. И тут парень сначала почувствовал на себе чьи-то пристальные взгляды, а потом, еще даже не обернувшись, услышал мягкий на земляной дороге топот конских копыт. Семён повернул голову и увидел выезжающих с просёлка на большак двух верховых в милицейских синих шапках и длиннополых, подоткнутых к портупеям, шинелях. Кони шли бодрой переступью, вот-вот верховые нагонят, уходить куда-либо с большака поздно: разом настигнут, собьют лошадями, и – прощай моя воля! Милиционеры по-хозяйски подъехали к Семёну с двух сторон, так, что он оказался между ними, посередине. Молодые весёлые ребята, скорее всего даже ровесники его, были так близко, что в ноздри ударил острый запах дёгтя от смазанных накануне сапог, перемешанный с характерным запахом разгорячённых коней.

– Откуда и куда в такую рань? Предъявите ваши документы! – ровным голосом произнёс тот из служивых, что был крупнее. И было трудно понять: просто ли это дежурная проверка, либо же им что-то уже известно о Семёне. Поэтому раздумывать стало некогда. Семён разбросил руки, пружинисто подпрыгнул, поймал не ожидавших подобных действий милиционеров за тугие воротники и с усилием свёл руки над собой. Милиционеры звонко стукнулись лбами, шапки слетели наземь, а затем и они сами грузно сползли

с сёдел. Семён оттащил с дороги в кусты обесчувственных противников, одного на правую, другого на левую обочину. Там крепко связал им руки и ноги брючными ремнями, поймал лошадей, вынул у них из пасти удила и отогнал пастись на вытаявшие проталины. На всё это ушло минут восемь. Большак по-прежнему оставался пустынным. Почти бегом достиг Семён станции. Наудачу на путях попыхивал под парами товарный состав. Семён пробежал вдоль вагонов, нашел один с открытой платформой, только взобрался и пристроился в уголке, где меньше задувало, как состав тронулся на восток, в сторону Кургана.

Утром, чуть свет, вывел Александр запряженного в бричку Мухортого и уже занёс ногу, чтобы влезть на сиденье, как его окликнули. Шуретка обернулся: по тропинке рядом с разбитой уличной дорогой к нему спешил участковый, придерживая левой рукой полевую кожаную сумку сбоку синей шинели.

– Доброе утро, Александр Ефимыч. Давненько не виделись. А тут, иду мимо, гляжу, сбираешься раненько куда-то ехать. Может, по дороге нам?

– Не знаю, мне надобно в Скоблино, печника привести, печь худая, дымит. – Александр беззаботно скосился в сторону участкового.

– Да нет, мне в Таловку надо бы. Живешь-то хорошо? Родня как? Семёна-то Лукича когда видывал? Говорят, бывал он у вас здесь недавно? – как бы между прочим бросил пробный, неуклюжий камешек милиционер.

– Что ты, Яков Сидорыч! Как простились мы с Сёмой в Юргамыше осенью 41-го, когда уходил я на фронт, так, почитай, уже шесть годков ни слуху от него, ни духу. Присаживайся в бричку, или уж не обессудь, тороплюсь я, печник ждать не будет.

И Александр, взяв в одну руку вожжи, в другую длинный ивовый прут, стегнул Мухортого. И тот резво зарысил от раздумчиво покачивающего головой участкового.

Глава тринадцатая. СЕНОКОСНАЯ ПОРА НА РУДНОМ АЛТАЕ

Паровоз, пыхтя, дал протяжный гудок, и пассажирские вагоны, лязгнув, остановились. Старая кержацкая деревенька Бутаково томилась в июльском знойном мареве, лежа в межгорье, по обе стороны железнодорожной насыпи. Семён спрыгнул на низкий перрон, сбитый из лиственного теса, и огляделся. Было малолюдно, это и хорошо, хотя в неприветливой деревне, где, если и дадут тебе в жаркий полдень напиться студёной водички, то ковшик выбросят за ограду следом, у Семёна знакомцев не водилось. Но, учась в техникуме, приезжал парень с группой студентов в этот колхоз, в двадцати пяти вёрстах от Риддера, на уборку свеклы и моркови. Жили тогда ребята в бревенчатом клубе; с местной, неразговорчивой и застенчивой молодежью городские, разбитные студенты так и не нашли общего языка. Назревали неизбежные стычки, но всё обошлось, потому что вскоре студентов отозвали в город: их молодые и свежие силы понадобились для работы в шахте. А вот обычай этот суровый, когда на тебя смотрят даже не как на просто растение, а как на сорняк, и взгляд, направленный исподлобья, таит затаённое в глубине презрение и превосходство кондового старовера по отношению к отошедшему от истинной веры никонианину, этот обычай Семёну запомнился. Хотел как-то он сказать вечно насупленному клубному сторожу, с бородой до пупа, что вы, мол, носы-то воротите, мы одного корня, просто

вы – алтайские самодуры и федосеевцы, а я уральский двоедан. Похотел, да раздумал, к чему набиваться в родню, да и не растопить разговорами эти синие льдинки холодных цепких взглядов из-под кустистых бровей. И потом, какой ты, Сёма, блюститель древлего благочестия, когда обряды и обычаи тебе известны понаслышке, а школьные годы твои выпали на самый, что ни на есть, адов пожар жидовского мракобесия, их зловещего натиска на русское православие! Да, истовые старухи и несгибаемые, спокойные старики не отступили ни на йоту, порой ценой жизни сберегали заветы и предания, но их считанные ряды, тогда как осатаневших легионы, и правит ими мистическая, покоящаяся в мраморном саркофаге на заглавной площади советского государства, не погребенная мумия. И перед ней отчитываются, на нее равняют свою разрушительную поступь разнокалиберные вожди и вождята.

Скорым шагом Семён миновал деревню. Вот и поскотина. Теперь по каменистой дороге, повторяющей все изгибы таёжной, прозрачной и всегда студёной Бутачихи, вверх, в ущелье, где на карнизах скал растут могучие сосны-одиночки и кудрявые, бесстрашные березки, а тесные распадки забиты островерхими пирамидками темно-зелёных пихт. Обогнув урочище Марьиной речки, парень вскарабкался на заросшее шелестящим осинником седёлко, что круто переходит в трёхглавую, в зазубринах остроконечных скал, вершину горы Теремка. Отсюда, с высоты, отчётливо видны крыши, огороды и единственная улица селеньица Большая Луговатка. Где-то здесь, как объяснили Василий и Александр, живёт крепкая кержацкая семья Поляковых. За их младшим сыном Иваном, фронтовиком и инвалидом войны, а также одногодком Семёна, вот уже год как замужем сестра Мария.

Последние лучи заходящего солнца еще золотили издырявленные ветрами скалы Вострушки. Здесь же, в долине, уже легла через всю деревню широкая, свежая и прохладная тень. Мария весело гремела ведрами, управляя вернувшихся с лугов коров. Настроение было такое, что хотелось петь и плясать. Причины женщина не доискивалась, коль хорошо на душе, так и ладно. Мария процедила парное молочко, сполоснула посуду, накрошила в молочные ополоски разваренных картофелин, намяла тюрю и понесла Дозору, радостно вставшему на цепи на задние, мощные и упругие лапы. Вывалив в миску похлёбку, Мария развернулась и пошла по выложенной плоским скальником дорожке к крыльцу, но тут ее остановил яростный собачий лай. Она поворотила голову и, обмерев, душа ее, сначала рухнула куда-то вниз живота, и здесь же, восторженно и ликуя, вознеслась вверх. Не помня себя, Мария бросилась к запертой калитке, распахнула её и без чувств упала на грудь возмужавшего брата.

– Ну, что ты, Машенька, не плачь. Вот мы и свиделись, – успокаивал растроганный Семён сестру. – Веди, хозяйка, в дом, а то вон уже соседи из-за заборов выглядывают. Мне же лишние глаза ни к чему. Да и на ваше крыльцо какой-то свирепый бородач вышел, и вид у него такой, будто раздумывает: сейчас сбегать за топором и вилами, али погодить. Никак это свёкор твой, сестрёнка. Пойдём, познакомишь. Меня представь так: что вот, мол, брат мой, с родины приехал проведать, как живу, ну, и погостить маленько. Новые родственники-то хоть слышали обо мне чего? Так, краем уха, и не знают, что я в розыске. Это хорошо. Пусть, Мария, всё так и остается. Я побуду у вас, осмотрюсь, а там и решу, как быть дальше.

Семён пропустил сестру вперед, и следом, степенно и не торопясь, под-

нялся по устелённым половичками широким ступеням на высокое и просторное крыльцо с резными перилами.

– Папа – это Семён, мой младший брат с Урала, – почему-то заробев, промолвила Мария. И отступила в сторонку, к стоящей в бревенчатом, побелённом простенке узенькой лавке.

– Добрый вечер и крепкого здоровья вам, вот приехал к сестренке. Не прогоните? – попробовал пошутить слегка потерявшийся под изучающим, показавшимся парню недружелюбным, взглядом старообрядца Семён. – Да вы не беспокойтесь, если вам устав не позволяет, и посуду боитесь замарать, так я могу пожить и в баньке. Буду всегда чистым и не на глазах.

– Не ершись, парень, – басом, с расстановкой, произнес суровый дед. – Мария, проводи гостя к рукомойнику, пусть ополоснётся с дороги. И давайте в дом. Там на столе, прикрытый рушником хлебушко испечённый, еще должон горячим быть, да парным молочком попотчуй. А я покуль баню затоплю. В аккурат к возвращению Ванюши из Риддера поспеет, вот и попаримся.

После жаркой баньки вечерять сели в ограде, за круглый, с выгнутыми ножками стол под раскидистой, усыпанной зелёными ранетками яблонькой. Григорий Григорьич в честь гостя выставил графин доброй, из погребка, настоявшейся медовухи.

– Отведай, Сёма, нашего алтайского целебного напитка. Оцени. Но сразу говорю, будь с ним начеку, ежели навыка не имеешь, – дед лукаво ухмыльнулся в седую окладистую бороду. – Не встречал я покуль мужика, кто бы устоял апосля моей-то медовушки. Проверим, каков будешь ты.

Выпили. Напиток Семёну понравился, тягучий, кисловато-терпкий, отдающий медком, он благостно растёкся по телу, но в голову не ударил. Наоборот, сознание, казалось, прояснело, мысли преобразились. Сидящий по праву руку Иван, большелобый, с ранними залысинами муж Марии, понимающе глянул на Семёна и предложил еще по чарочке. Женщины, Мария и тетка Авдотья, мать Ивана, отказались, а мужики чокнулись и выпили еще по стаканчику.

– А я ведь, Ваня, нонче устыдил-таки Митюху Бутакана, носом ткнул горлохвата, – Григорий Григорьич весело откинулся на высокую спинку ладно сработанного стула. – Я тебе не сказывал, как удумал одну штучку, штоб разоблачить его воровок-пчёл. Вот и слушай. Вчерась, на утренней зорьке, насыпал я на порожки летков беленькой мучки, а то ведь, вижу, близь ульев в траве битой пчёлки изрядно. Наши-то смирные, работящие. Знамо дело, повадились воровитые, со стороны, а откуль, как не от Митюхи, здесь и лёту через горочку, да и они, как и сам хозяин, на даровое падки. Я уже и прежде схватывался с Митюхой: угомони, мол, своих диверсантов, таскают они мой медок; пчёлку, што за свое вступается, не хочет отдавать, насмерть бьют. Так вот. Как отметил я мучкой-то свои ульи, живо оседлал Серка и к Митюхе. А он как раз на пчельнике меж колодок прохаживается, довольнёхонький, рожа лоснится. Я к нему: давай, мол, сообща будем вести наблюдение, как твои воровки мой мёд сюда притаскивают. Он взвился свечкой: чё ты, старый, напраслину на моих тружениц наводишь, проваливай отсюдова, покуль собак не спустил. А я в ответ: охолони, Митя, пойдём, в тенечек присядем, всё обскажу и удостоверю. А потом, говорю, сам решай, чем рассчитываться будешь. И выложил Митюхе про свою удумку. Он сначала взъерепенился, растопорщился на весь тачок, даже сват его, Митюхин-то, из дому прибёг, чё это у вас, дескать, за мировая война здесь открылась, рёв стоит на всю округу. Я и его просветил. Опнулись мы чуток в тенёчке, да и вышли на та-

чок, глянуть на летки: чисты они, аль замараны мукой. И што вы думаете, не только на дощатых порожках белые полосы сплошь да рядом, а и подлетающая пчела через одну, как вывалянная в мушице. Сошлись на том, што осенью доставит мне Митюха флягу мёда, погасить ущерб, нанесённый его диверсантами. А вот как отвадить Митюхиных пчёл пакостить на моём тачке, здесь надобно крепко подумать.

Семёну легли на сердце добродушие, с нарочитой суровостью, и житейская сметка Григория Григорьича, молчаливость и умные внимательные глаза Ивана, да и само это нечаянное застолье в таёжной глуши, с соловьями в ближних зарослях черемухи и щедрой на обещания многих и безоблачных лет кукушкой в пихтаче на той стороне говорливой Луговатки. К тому времени, когда настала минута идти спать, парень уже знал, что он среди своих, и на душе было тихо и благостно, наверное, впервые за многие годы. Однако подняться самостоятельно из-за стола Семён, недоумевая и посмеиваясь над своей беспомощностью, не смог. Ноги, его ходкие, прошедшие пешком пол-России, ноженьки, стали бессильными и невесомыми. Больше того, было ощущение, что они вот-вот сплетутся, перекрутятся в такой узел, что и не развяжешь! Ай да медовуха! Опираясь на костистые, выступающие плечи старика и поддерживаемый Иваном, Семён добрался до приготовленной для гостя в горнице деревянной кровати. Григорий Григорьич, молвив, что, дескать, к утру ноги будут как новенькие, и пожелав добрых снов, ушел, а Иван присел на краешек постели и они разговорились.

Еще за столом Семён приметил, что новоиспеченный зять и чарку, и ложку держал левой рукой. Правая, пальцы которой были прижаты к ладони, покоилась на столе. Семён с расспросами не лез. А сейчас Иван сам, неторопливо и как-то обыденно даже, поведал шурину, как был призван и направлен на краткосрочные офицерские курсы на самую южную точку Советского Союза – в гарнизон Кушки; как оттуда попал в страшную мясорубку Курской дуги, в пехоту, командиром взвода, а уже через неделю боев командовал ротой, «потому что людей выбивало ежедневно и ежечасно столько, что и до сих пор ни единой ноченьки не сплю спокойно. Чуть больше месяца отвоевал, фрица тогда переломили и погнали, и вот, в одной из атак, мы уже почти ворвались в окопы, чтоб там схватиться в рукопашной, как меня подрезала очередь. Одна пуля расщепила приклад моего автомата, а две впились в правую руку, выше кисти и под локоть. Приклад, я так думаю, спас мне жизнь: та пуля шла точно в печёнку. Я еще по инерции пробежал несколько метров и выронил разбитый автомат, вот тогда-то мне и стало по-настоящему нестерпимо больно. Санитары тут же перевязали меня, а в санбат дошёл своими ногами, крови-то не успел много потерять. Пули извлекли, но рука от локтя теперь бесполезная, все нервы перебиты. Видишь, и пальцы-то как сжимали автомат, так и сжимают, скрюченные, до сих пор. Ну ничего, я освоился левой, как правой всё делать. Даже пишу, только вот интересный наклон букв – в другую сторону, чем если бы писал правой. Я, кстати, еще в войну выучился на бухгалтера, и теперь работаю на горном комбинате здесь, в Риддере. Обещали комнату дать нам с Марией. Тогда проще будет, а то ведь я неделю там, она здесь, у стариков живет. Как определимся с жильем, заберу в город. Уже из интерната спрашивали, когда Мария Лукинична вернется на работу, ждут её там».

Семёна разбудил птичий гомон, лившийся в раскрытые окошки, выходящие в огород. Парень оторвал голову от подушки, сел на постели и стал

смотреть на гору, что круто начиналась сразу за изгородью. Было такое впечатление, что гора живая и приветливая именно многоголосием певчих пернатых. Подумалось: гора-то поющая. Как, впрочем, и другие лесистые сопки вокруг просыпающейся деревеньки. Неслышно вошел в горницу Григорий Григорьич.

– Как самочувствие, Сёма? Крепко ли спалось?

– Доброе утро! Я вроде как вновь родился. Такая лёгкость и сила. Гору бы свернул!

– Вот-вот, это ты верно сказываешь. Там Авдотьюшка уже на стол собрала, подкрепимся и – на покос. Покуль доберёмся, сено в валках подсохнет, в самый раз копны ставить. Ванюша на ключ побежал, он завсегда студёной водичкой с утра освежается. Коли што, дак тропка одна, от бани и в низа, отыскать по глазам любому.

Пока парни плескались, дед запряг Серка в оплетённый упругой лозой ивняка, с высокими бортами ходок, и поставил лошадь у ворот на улице. Позавтракали. И стали усаживаться на повозку. Григорий Григорьич взялся за вожжи, и в это время в ограде напротив скрипнула калитка и на дорогу выступила живописная старушка в старомодном сарафане поверх шерстяной кофты и повязанная тёмным платком по самые брови. Однако не одежка обращала на себя внимание: старушка вокруг пояса была обвешана десятком миниатюрных плетёных корзинок. Она кивнула в полупоклоне соседям и уже было повернулась идти, как вышедшая проводить мужиков Авдотья брякнула через улицу: «Хавроньюшка, ты куды в этакую рань-то?». Старушка вмиг опала с лица и в сердцах бросила: «На кудыкину гору, кукушек щупать. Ох, Дуня, пошто дороженьку-то мне закудыкала?». И старушка, поворотясь, исчезла в своей ограде. Григорий Григорьич и Иван заулыбались, а Авдотья сокрушенно обронила: «Чё же я, старая, в толк не возьму – говорить-то надобно: далеко ли, Хавронья, путь держишь, а я опеть на те же грабли да лаптями брякнулась! И оставила без ягодок и целебных травок соседушку». Просмеявшийся Иван объяснил Семену, что эта старушка известная на весь околоток травница и ведунья, даже и риддерские горняки тайно лечатся у нее, однако есть у знахарки такая вот странность. И теперь уж сегодня она никуда не пойдёт и ничегошеньки с земельки не возьмёт, хоть ты рассыпь у порога вагон ягод и грибов, ни самой малости не подымет и не уложит в свои заветные, отдельные для каждого цветочка и клубники, малинки ли плетеные, изящные корзиночки. Потому как – дорога и добыча закудыканы.

Обогнув выступающий в лощину и заросший непролазной акацией утёс, ходок въехал на широкую, овальную поляну, подрезанную с одной стороны прозрачной Луговаткой. Правильными рядами от предгорных черёмуховых зарослей к речному, обрывистому берегу уходили пахучие валки скошенного вручную сена, перечёркнутые лишь двумя пыльными колеями петляющей дальше в сопки просёлочной дороги. Григорий Григорьич убрал ходок под гору, в тень, вывел из оглобель коня, спутал передние ноги и пустил того пастись к реке; окликнул Ивана и Семёна, и они по довольно-таки просторному, утоптанному коридору углубились в дебри. Там, в своеобразном древесном гроте, зелёные своды которого переплетены черёмуховыми ветвями со свисающими с них кистями бурой, неспелой еще ягоды, вокруг толстого, с обрубленными понизу сучьями, потрескавшегося от возраста ствола, черенками вниз стояли вилы и грабли. Мужики взяли этот первейший на уборке

инструмент и вернулись на луг, где сразу же принялись сгребать подсохшее сено и складывать навильниками в копны. Семён, отвлекшись на минутку, невольно залюбовался, как сноровисто управлялся Иван с сенными пластами. Гладкий черенок вил был накрепко примотан холщовой тряпицей к покалеченной правой руке, теперь и вилы, и рука составляли как бы одно целое. Левой рукой Иван давал направление вилам, после чего рычагом правой подворачивал внушительный пласт и забрасывал его на закругляющуюся копёшку. Мария уже сходила на речку, принесла ведро холодной воды и, накрыв от слепней и оводов чистой холстинкой, поставила его под ходок, в место, недосягаемое для солнечных жарких лучей в течение всего долгого июльского дня, а сама, выбрав лёгкие грабельки с деревянными зубьями, присоединилась к мужчинам.

К обеду вся поляна бугрилась частыми копёшками. Сухое, светло-зелёное с жёлтыми соцветьями пижмы, красно-фиолетовыми кистями клевера и розовыми подвяленными колокольчиками цветков кипрея сено хорошо бралось пластами, не рассыпалось на вилах; сгребать и складывать его мужикам было просто в охотку. Мария шла следом и подчищала отаву, собирая редкие сенные осыпи и клочки в аккуратные кучки. Потом, когда дед поймает Серка и приладит его в сделанные из двух слег с поперечными жердями волокуши, эти кучки также будут подобраны и найдут себе место в круглых и высоких копнах.

Пообедали, когда солнечный диск упёрся в зенит, прямо перпендикулярно поляне. Смотреть на него было невмоготу. Семён, прикрыв глаза, подумал, что это уже вовсе и не солнце, а открытый зев вселенской печи, через который вытекает расплавленная лава и сжигает все живое на земле. Но тут тебе не Средняя Азия, можно и уползти в тень, под черёмуху! Так что живем, Сёма! Через часок жара спадет, и дометаем оставшиеся копны. Хорошо-то как, так бы и убирал это скошенное алтайское сено всю жизнь, и ничего, ну ничегошеньки не надо больше! Сестра рядом, и по всему видно, что счастливы они с Иваном, поди уж скоро и детишки пойдут. А я бы деду на пасеке помогал, да и скотину управить умею. Вялые мысли слипались, как дремотные глаза.

– Гляньте-ка, никак участковый верхом на Карюхе скачет,– издалека, сквозь дрёму, услыхал Семён голос Ивана. – А едет-то, как пестик в ступе толчется. Уж на что Карюха смирная да покладистая, а, гляди ж ты, и с ней совладать не может. Вот что значит – городской.

Пока Иван выдавал эту несвойственную ему по колкости тираду, Семён успел откатиться от расстеленного на манер походного стола старого одеяла с остатками недоеденной снеди под стоящий рядом ходок и замер там, прикинувшись уснувшим после сытного обеда. Уходить в тайгу было поздно, всадник в выгоревшей гимнастерке, в милицейской фуражке с ремешком через подбородок и кобурой на боку уже останавливал возле покосников лошадь.

– Хлеб с сахаром вам и доброго здравия! Как нынче сено? На зиму-то хватит скотине, Григорий Григорьич? – понятно было, что служивый, бессознательно или же с умыслом, хотел быть своим, и для этого даже пробовал упростить речь.

– И тебе, Афанасий, чаю с мёдом! Што касаемо сена, мы только первые копны складаем. Трава нонче отменная. До сеногнойных дожжей поспеем убрать, будем зиму с молоком. А ты, далёко ли путь дёржишь?

– Да вот надо бы заглянуть на Марьину речку, к Варфоломеичу. Медведь

у него шалил, говорит, три корпуса с пчелами раскурочил, а пасека-то колхозная, осмотрю, и акт составлю, чтоб всё по закону. А ну как вредительство! Мне же первому головы не сносить! Так-то, Григорий Григорьич! Смотрю, вы гуртом сегодня на покосе. И молодые при деле, а под телегой-то кто, что-то не признаю?

– Шурин, Марьин брат. Наведался к нам погостить, а в страду, известно, лишних рук не бывает. Да, видно, пристал парень с непривычки, сморило, пущай отдохнёт. Жара схлынет, у нас работы, сам вишь сколь.

– Ну, бывайте! Но-о, Карюха, но-о, заветная моя! – участковый, подпрыгивая в седле не в ход конской рыси, ускакал, поднимая фонтанчики пыли, к расщелью лесистых утёсов.

Вечером, когда возвратились с покоса, Семён выбрал минутку и сообщил сестре, что, вот, мол, «картина опять вырисовывается не ахти какая. А никудышность её в том, что даже, если сегодня участковый, выпив медовушки с Варфоломеичем, останется ночевать на пасеке, то уж назавтра-то точно милицейская труба или долг ищейки призовёт его обратно на службу. И пусть он лица моего не разглядел, я нарочно отвернулся и отполз так, чтобы голова находилась за ведёрком с водой, но справки навести о приезжем незнакомце – это святой долг и почетная обязанность каждого, даже самого зачуханного, лягавого. Так что, Мария, делать нечего, надо уходить. Вижу, новая родня у нас хорошая, ты им скажи, что, мол, брат вспомнил о каких-то неотлагательных делах своих и вынужден был срочно, не попрощавшись, иначе опоздает на московский поезд, уйти отсюда прямо на вокзал. Или уж, не знаю, не говори ничего. Прощай, сестренка, даст Бог, свидимся еще».

– Мария, зови брата вечерять, мне не по глазам, сутемень, вишь ли, – настрой у свекра, ополоснувшегося только что тёплой, нагретой за день в кадке водой и смывшего всю сенную труху и былинки с тела, был благостным. – Мать сготовила, как вчерась, под яблонькой. Али Сёма с Ванюшей на ключ убёгли? Ох, молодёжь, молодёжь. Да на тебе, девонька, пошто лица-то нет? – с тревогой в голосе обратился Григорий Григорьич к вышедшей из тени сарая Марии. – Стряслось ли чего?

– Простите меня, папа! – Мария заплакала и прижала кончики белого ситцевого платочка к глазам. – Брат мой в розыске, его вся милиция Советского Союза ищет.

И Мария сбивчиво, но внятно, рассказала Григорию Григорьичу и подошедшему Ивану всё об изломанной судьбе Семёна. Иван, как только она дошла в рассказе до приезда брата сюда и, не выдержав, вновь разрыдалась, подошёл к жене и сочувственно обнял её. Григорий Григорьич принял известие о том, что новый родственник беглый арестант, спокойно. Помолчал. А потом негромко, но твердо и с расстановкой молвил: «Зря парень ушёл. Мы бы его и здесь, подальше в тайге, на Убинских перекатах так укрыли, што ни единой ищейки не сыскать. И паспорт такой бы выправили, што хоть к самому Сталину на приём, без очереди определят. Э-х-хе! Сёмушка ты, Сёма, голова бедовая...».

Глава четырнадцатая. ДОНЕЦКАЯ ЗАПАДНЯ

По многолюдной улице осеннего шахтерского Донецка Семён шел вразвалочку, спешить ему было некуда. Новый кожаный реглан, бостоновый тёмно-синий костюм, лакированные колхики-туфли. Накануне он на весёлой

хавире удачно откатал в «двадцать одно», теперь денек-другой освежиться и – на юга, к незамерзающему морю, к закрытию бархатного сезона поспеть, на зиму где-нибудь среди крымских олеандров гнездышко свить под боком у чернобровой хохлушки. А что? Бабки есть, да и отвернуть угол на балочке-базаре у барыги-спекулянта дело минутное. Парень победно поглядывал на встречных прохожих: женщины с озабоченными, как бы стёртыми лицами, сосредоточенные мужчины, предстоящая зима уже явственно проступала не только в сиротливых облетевших тополях и серых от сумрачного неба стенах каменных зданий, но и на лицах спешащих куда-то людей.

Наверное, эта вот беззаботность и фраерская расслабуха и стали причиной того, что удар по голове рукояткой пистолета Семён пропустил. Однако на ногах он устоял и даже успел обернуть лицо к своему обидчику, парню примерно его лет, в элегантном длиннополом плаще и фетровой шляпе. И тут же на темечко Семёну обрушился еще один удар, и тоже рукояткой ТТ, но с другой стороны. Ноги подкосились, Семён упал навзничь, но сознание не потерял. Он видел, как над ним склонились двое, причем и второй был в шляпе и плаще, вот разве что выражением скуластой физиономии свирепей. Они подняли безвольные ватные руки Семёна, соединили кисти и щелкнули наручниками. После этого оперы, а это были, безусловно, они, подхватили задержанного под мышки и поволокли через толпу зевак к стоящей в сторонке машине.

– Ну что, Илья Васильевич, будем рассказывать, с кем вскрывали кассу ремонтно-механического завода? – моложавый следователь, сидящий за столом напротив Семёна, повертел в руках потрепанный паспорт задержанного, отложил его и поднялся со стула. – Тебя мы взяли тёпленьким, подельников твоих тоже возьмем. Что ж это вы у трудового народа кровное отнимаете? Вон какой мордоворот, шел бы работать, глядишь, и в передовики бы выбился!

Следователь не спеша прохаживался по кабинету, был он явно в настроении и, наверное, поэтому склонен к плоскому философствованию.

– Начальник, ты бы распорядился браслетики с меня снять, руки так затекли, спасу нет, – Семён поерзал на прикрученном к полу табурете.

– Нет, гражданин задержанный, не распоряжусь. Ты ведь у нас непредсказуемый. Да, Илько? – следователь зашел как раз за спину Семёну. Парень теперь слышал только вкрадчивый, убаюкивающий голос да равномерное поскрипывание портупеи и яловых сапог. Некстати подумалось, – под такую монотонную болтовню хорошо погружаться в сладкий сон где-нибудь в мягкой постели. И вдруг резко, как ослепительная молния в кромешной ночи, безнадежно и обрывисто, как горный камнепад: – Всё, Семён Лукич, добегался! Теперь ты наш! Сколько верёвочки ни виться, а конец всегда у нас!

Следователь хохотнул и, потирая потные ладони, вернулся за стол, открыл ящичек и выложил серую папку, перечеркнутую по диагонали жирной красной линией. Линия эта предупреждала, что тот, чья биография хранится здесь, опасен своей склонностью к побегам. Всего-то три дня, как взяли, а гляди ты, уже не только докопались, а и личное дело из Москвы успели пригнать. Да-а, работает система, не зря лягавые свой хлебушко с маслицем жуют. Семён, опешивший в первые секунды, сейчас подобрался и неожиданно даже для себя, успокоился и мысленно махнул рукой: будь что будет!

Суд проходил закрытым. Семёна, как привели в зал в наручниках, так и

оставили в них до зачитывания приговора. По совокупности прежних «заслуг», побегов и взлома заводской кассы Семён был осужден на 20 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительных трудовых лагерях; и первым этапом, также в наручниках, отправлен в старую, мрачную, похожую на средневековую рыцарскую крепость, с каменными стенами метровой толщины, харьковскую тюрьму ждать своего покупателя.

Глава пятнадцатая. ПЕСНИ ХАРЬКОВСКОЙ ТЮРЬМЫ

Просторной, с тремя зарешеченными окнами-амбразурами и двумя рядами двухъярусных нар, а также каменным мешком-карцером в глубине, была камера, в которой Семён перекантовал зимнюю стужу в ожидании, когда румяные краснопогонники-покупатели наконец снизойдут до него. Почти каждую неделю кого-нибудь из сокамерников выгребали на этап и определяли на исправление в недальние лагеря. Но красная жирная полоса в личном деле Семёна была подобна невидимой, зловещей стене, за которую покупателям даже и заглядывать-то не хотелось. Этот неуправляемый арестант, как правильно думали они, ничего, кроме подмоченных показателей, им не даст, да и зачем возиться, когда можно эту серую папку небрежно и брезгливо отбросить в сторону, благо выбирать есть из чего.

Но жизнь, она везде жизнь. Семён и здесь неплохо отмазался в карты. Харч, курево, тряпки – все это под рукой, бери, не хочу. Да и народ подобрался в основном подходящий: у окна, недалеко от Семёна скучал задумчивый вор в законе, около – неспешная свита; по вызову подлетали и, получив указания, исчезали шестерки с бегающими беспощадными глазками; мужики кучковались по своим углам.

– Давай, дядя, делись с парнями, здесь тебе не твое министерство, – услышал Семён шум на шконке у дверей и обернулся от окна, в котором с любопытством только что разглядывал крыши и окна жилых домов за тюремной, высокой, с кольцами колючей проволоки поверху, оградой. Тюрьма располагалась в черте города. – Ты, врубись, дядя, хата у кума – это не курорт, и хозяева здесь – мы. Это там, на воле, ты был замминистра. Да наслышаны мы, решил стибрить у родного государства ткани. И подумайте только, люди добрые, не какой-то завалящийся отрез, а самые что ни на есть километры первосортного ситца, шелка и крепдешина! – шестерки плотным кольцом обступили сутуловатого, с благородным, породистым, но каким-то потерянным лицом мужчину средних лет. И самый бойкий из них, долговязый малый по кличке Нюхач вдохновенно витийствовал:

– И что же провернул этот дядя? Он приказал своим подельникам-директорам гнать тканевые ленты на фабриках легкой промышленности нашей славной Украины всего-то на один-единственный, не учтенный нигде, сантиметр поуже, чем положено. А какой навар этим расхитителям социалистической собственности давал этот самый сантиметр с многих километров выпущенной ткани, мы можем судить по крайне скромному сроку в 25 годков, что ему отвесило наше родное правосудие. Забирай, братва, всю посылку, нечего народному врагу жрать колбаску да балык.

– Сгинь, шушера, – Семён был уже рядом. Шакальё расступилось. Семён обвел тяжёлым взглядом прячущих от него глаза шестёрок и, остановившись на сутулой фигуре бывшего замминистра легкой промыш-

ленности Украины, сказал тому негромко, но твёрдо: – Возьми посылку, она ведь твоя.

После чего неторопливо вернулся к окну с широким и углублённым подоконником, разглядывать дальше весенние блики на чисто вымытых к первомайскому празднику стёклах соседних вольных домов. Блатные тоже наблюдали за всем происходящим; когда Семён отошел к окошку, они переглянулись с вором, тот слегка покачал седой головой, мол, мужик правильный, не трогать.

Воспрянувший духом замминистра разложил на своем одеяльце снедь и пригласил сокамерников отведать гостинца с воли. История эта имела последствием один, весьма положительный факт для арестантов. Теперь в камеру еженедельно подкупленные вертухаи доставляли увесистую посылку с деликатесами для вельможного сидельца, и он щедро делился продуктами с Семёном, мужиками и блатными. Иногда крохи перепадали и шестёркам, но весьма редко.

Сидел в их камере за доведение неверной жены до попытки самоубийства оперный певец. Это был молчаливый красивый мужчина с изысканными манерами, которым, здесь, конечно, не было абсолютно никакого применения. Но породу в карман не спрячешь. Камера относилась к нему не только с сочувствием и пониманием, но присутствовала в этом отношении и немалая доля уважения. А дело у певца и вправду было необычным. Случай, казалось бы, банальный: ну, застал муж жену с любовником, а там уж всё зависит от степени любви и темперамента рогоносца. Певец жену, надо полагать, любил. Но и честолюбия, видимо, тоже лишён не был. Убивать голого, перепуганного, в одном носке, с дыркой на пятке, сопляка, зав. литературной частью их театра, он не стал. А приказал тому одеться и привести себя в порядок. Укрывшейся же под одеялом обнажённой жене металлическим, ровным голосом посоветовал лежать смирно и не вздумать трепыхаться: сразу, мол, убью. Вышел на минутку в ванную комнату и вернулся оттуда с бритвенным прибором, мыльницей и кисточкой. Все это торжественно вручил трясущемуся любовнику, рывком сорвал с жены верблюжье, пышное одеяло и кинул себе под ноги. Растелешенная по кровати голая жена слабым движением лишь прикрыла длинными точёными пальчиками пианистки малую часть упругой своей груди с крупными, в тёмно-коричневых кружках, сосцами. В глазах у женщины застыл ужас, слезы текли по матовым соблазнительным щёчкам и с влажного подбородка скатывались в ложбинки ключиц. Певец отвёл взгляд от жены, жестом подозвал к себе любовника, указал литератору на тёмноволосый пушок внизу пупырчатого, подрагивающего живота неверной супруги и приказал тщательно выбрить это место. Когда дело было сделано, он достал из кармана портмоне, раскрыл его, извлёк оттуда десятирублевую ассигнацию и вручил окончательно потерявшему возможность что-то соображать любовнику: это тебе за хорошо выполненную парикмахерскую работу. Пошёл прочь, цирюльник! И вышвырнул того за двери. Воротясь в спальню, он снял со стены их свадебную, помещённую в изящную рамочку, фотографию, вытащил её и, порвав на мелкие кусочки, высыпал на плачущую жену. А под стекло рамки втиснул разглаженный червонец и повесил этот новый символ их семейного благополучия на прежнее место, тихо сказав при этом: снимешь – убью. С этого дня певец перебрался спать на роскошный диван в зал, но каждое утро начиналось с того, что он входил в спаль-

ню, мягким прикосновением руки будил жену, вручал ей сухую тряпку и заставлял тщательно протирать стекло на рамке. Всё это он делал спокойно, не проронив ни слова, он вообще с женой теперь не разговаривал, но и развода не давал. Так продолжалось полгода. Однажды вечером, певец в это время был в театре, по какому-то незначительному пустяку к ним наведалась теща. У нее имелся свой ключ, она отворила дверь и прошла в апартаменты, окликнула дочь, ответа не было. Старушка заглянула на кухню, и через полутемный коридор направилась в спальню, где горел слабый ночник. Дочь, одетая в дорогое платье с глухим, по тогдашней моде, великолепным воротом и с брошью с сапфирами на груди слева, разметавшись на смятой постели, лежала уже без сознания. На полу рядом валялись коробочки от таблеток и пакетики из-под порошков. Дочь спасли, а зятя осудили на пять лет. И теперь он, как и многие из арестантов, ждал отправки в лагерь.

В мае в камере стало душно, и тюремное начальство разрешило открывать массивные, зарешеченные окна. Вечерами, на закате, певец садился на каменный подоконник поперёк окна, обращал свое лицо на волю и начинал петь. А как он пел! Мощный баритон звучал не только над квадратным двориком для прогулок заключенных, не только часовые на вышках по углам забора поворачивали головы в синих, с малиновым кантом фуражках; распахивались окна, люди выходили на балконы многоэтажных домов близлежащих городских кварталов и слушали пушкинское:

Сижу за решеткой в темнице сырой,
Вскормлённый в неволе орёл молодой.
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюёт под окном.

Клюёт и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно;
Зовет меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет: «Давай улетим!

Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!»

Заканчивалась песня, и в наступившей, звонкой тишине вдруг раздавались отдалённые, приглушённые расстоянием аплодисменты и слышалось с воли, с балконов и окон восторженное женское «браво!».

Этого кругленького, похожего на бочонок, с пухлыми ручками и короткими, косолапо подвернутыми ножками, мужичка арестанты ждали. Однако два дюжих охранника, втолкнувшие того в камеру, провели затравленно озирающегося мужичка сразу в кандей и заперли на внутренний, проворачивающийся со скрежетом, замок. Выходя из камеры, один из конвойных бросил: что, мол, братва, не выгорело, он нам до суда нужен живым. Арестанты понимающе закивали стрижеными головами.

Спустя полчаса после ужина камера запела. Открылся глазок на внешней железной двери, недоумённый надзиратель оглядел стоящих посреди каме-

ры и сидящих на шконках и подоконниках поющих заключенных, хмыкнул и защелкнул глазок. Распевка так распевка, абы не бузили!

Накануне днём, через растворённое окошко по верёвочной повеле из камеры с нижнего этажа прислали маляву. В ней кратко сообщалось, что к ним направляют одного типа, зверски изнасиловавшего и затем убившего свою 11-летнюю падчерицу. И сейчас, под пение бодрых советских маршей зеки вершили свой суд. Просунув в тесный каменный мешок, метр в ширину и два в длину, через объемистый глазок в двери метлу на прочном деревянном черенке, она всегда стояла у стены рядом с парашей, арестанты, периодически меняясь, щекотали жестким веником забившегося в угол насильника. Идиотские, истеричные, душераздирающие хохот и хрюканье, доносящиеся из карцера, гасило громкое хоровое пение. Так продолжалось, пока за дверью кандея всё не стихло. Зеки вытащили метлу и вернули её к бачку с парашей. Переполох, вызванный смертью насильника, быстро улегся: дверь в кандей заперта, замок цел, тюремный врач констатировал разрыв сердца, решили, что негодяй кончился от угрызений вдруг проснувшейся совести. И дело закрыли.

А в первых числах июня нашлись покупатели и для Семёна. И не только для него, а и для других сокамерников, у кого срок от десяти лет и выше. Поздно ночью всех их, предварительно подвергнув жесточайшему, до узелка и нитки, шмону, погрузили в глухие «воронки» и увезли на харьковский товарный перрон. Там, при слепящих огнях прожекторов и злобном лае натасканных овчарок, их сначала посадили на корточки, пересчитали, а потом, отрывисто выкрикивая фамилии, через двойную цепочку автоматчиков бегом погнали в вагон-заки. Дошла очередь и до Семёна.

– Заключенный Семён Лукич Манаков, он же Семён Лукич Молоков, он же Илья Васильевич Ананьин!

– Здесь!

– Бегом марш в вагон!

Под утро, когда в узенькие продолговатые зарешёченные щелки-оконца под потолком стал просачиваться снаружи серо-молочный свет, и в приснопамятном столыпинском вагоне проступили очертания трехъярусных нар, лязгнула сцепка и состав, дёрнувшись, выровнялся и потянулся на восток.

Часть вторая. КОЛЫМА

Глава первая. «Я ПОМНЮ ТОТ ВАНИНСКИЙ ПОРТ»

Месяц везли их этап через всю Россию, то загоняя в тупики, то открывая зеленый свет. Везли, пока не кончились, причем в самом буквальном смысле, рельсы. Жарким июльским днем вытянул трудяга паровозик, пыхтя и посвистывая на крутых таежных поворотах, из кудрявых, поросших дальневосточной березой и темным игольчатым ельником невысоких сопок на прибрежную полоску Татарского пролива десяток вагон-заков. Побережье было изрезано скалистыми, выступающими в море, безлесыми, с выгоревшим редким кустарником косогорами; в пологих, зигзагообразных складках которых лежали, огороженные глухими заборами с колючей проволокой и вышками по углам, лагеря Дальстроя. Всего их здесь насчитывалось 15, и в каждом до десятка тысяч заключенных. Жизнь, и какая жизнь кипела здесь,

на одной из самых гигантских пересылок Советского Союза. Ниже, в овальной, вытянувшейся на несколько миль глубоководной бухте, в море были выдвинуты бетонные причалы Ванинского порта. Рядышком деловито сновали юркие буксиры, а на рейде поодаль дымили циклопические океанские лайнеры – плавучие тюрьмы, каждая вместимостью до пяти тысяч арестантов.

Только через две недели подошла очередь Семёнову этапу грузиться в гулкие и глубокие трюмы огромного корабля с многозначительным названием «Дзержинский». В трюмы зеки спускались по крутым металлическим лестницам с отполированными поручнями. Как только последний заключенный ступил на клепанный железный пол, лестницы подняли и люки задраили. Но в трюмах было относительно светло, свет давали круглые иллюминаторы, расположенные по бортам, выше ватерлинии. Пять тысяч арестантов, втиснутых в четыре автономных отсека, по одной тысяче двести пятьдесят человек в каждый, были на время плавания до магаданской бухты Ногаево предоставлены сами себе. Те же деревянные многоярусные нары, только от материковских они отличались тем, что вдоль края нар были прибиты широкие доски, чтобы во время качки либо шторма люди не вываливались со своих лежанок. Посредине трюмов, как раз напротив люков, стояли огромные чаны. Назначение этой ёмкости из нержавеющей стали в своем отсеке Семён поначалу никак не мог понять. Однако вскоре все выяснилось.

Вечером открылся люк, и на веревках были спущены в трюм несколько десятков бумажных мешков. Сверху прокричали: «Получите ужин! Да смотрите там, делите поровну – каждому ломоть хлеба и кусок горбуши». И люк задраили. Заключенные самоорганизовались. Еда была поделена примерно поровну, хватило практически всем. Смущало только одно: почему рыба крепко соленая, а ни баланды, ни воды не дают. Утром процедура с пищей повторилась. А к обеду люди зароптали и, чтоб их услышали наверху, на палубе, стали яростно стучать и бить чем попало по бортам, по порожнему железному чану и кричать в тысячи пересохших глоток: воды, воды! Вновь открылся люк, и в него метра на два вниз был спущен пожарный шланг. И полилась, забрызгала по стенам чана живительная влага. Да ведь это всего лишь ничтожная капля на такое количество жаждущих! Люди, давя друг друга, бросились к чану, кто-то с заветной алюминиевой кружкой, кто-то срывал на ходу с ноги ботинок и норовил зачерпнуть в него побольше воды, а кто-то уже даже не стонал, раздавленный товарищами по несчастью и лежащий теперь с выпученными, потухшими глазами на полу. Он и мёртвый помогал тем, кто невольно стал причиной его гибели, потому что на его истерзанное тело вставали, чтобы ловчее дотянуться до воды и утолить нестерпимую жажду. Конвойные, состоящие в основном из широкоскулых и узкоглазых казахов и мешковатых, с продолговатыми носатыми физиономиями, азербайджанцев, сверху наблюдали эту апокалипсическую картину, изредка на ломаном русском весело комментируя и отпуская шуточки в адрес обезумевших арестантов. Но не все из охраны были такими. Вот подошел к веселящейся группе рослый голубоглазый сержант-славянин, бесцеремонно отодвинул сослуживцев от люка, подтянул шланг и стал поматывать им из стороны в сторону. Вода полетела вниз, рассыпаясь на мириады пресных дождинок. Сдавленные, смятые в невообразимую кучу, люди в трюме, словно птенцы, подняли лица вверх и раскрыли пересохшие рты. Капли попадали на измождённые, заросшие щетиной лица, в запавшие слезящие-

ся глаза, а некоторым везло, и они судорожно и счастливо сглатывали эти капельки жизни.

На третий день плавания Семён почувствовал, что его меньше стала мучить жажда, а сам паёк с куском солёной горбуши и ломтем чёрствого хлеба с каждым разом становился почему-то вкусней и вкусней. Видимо, включились резервы молодого организма, и он, как это не парадоксально, освоился и в этих диких обстоятельствах. А здесь еще, когда «Дзержинский», обогнув Сахалин, выбрался на коварные просторы Тихого океана, обрушился на них семибальный шторм. Это был уже второй апокалипсис за неделю. Людей выворачивало, весь пол в трюме был заблёван. Для сорока трёх арестантов этот первый шторм стал и последним. Когда океан улёгся, умерших отволокли в дальний и весьма холодный угол трюма и положили рядом с десятком скрюченных тел: жертв давки, качки и неизбежной при таком скоплении отпетых зеков поножовщине.

Глава вторая. «ГЛЯНЬТЕ-КА, ЗДЕСЬ ДАЖЕ ПЧЁЛ ДЕРЖАТ»

В бухту Ногаево «Дзержинский» вошел на следующий день за своим предшественником, тоже плавучей тюрьмой, пароходом «Ногиным». Когда два мощных буксира подтягивали «Дзержинский» к пирсу, на «Ногине» давно уже завершилась выгрузка заключенных, сейчас из трюма извлекали мертвых, а их из пяти тысяч живых и здоровых, погруженных в Ванинском порту, оказалось шесть сотен. Позже, когда были подсчитаны потери на «Дзержинском», и начальство «Дальстроя» сравнило ущерб, то корабль, носящий фамилию «железного Феликса» предстал в более выгодном свете: здесь до пункта назначения живыми не довезли всего-то четыре сотни заключенных.

На причале стояли в ряд, открытыми бортами к морю, грузовики, на которые штабелями зеки складывали своих погибших товарищей. Эти похоронные автомобили курсировали между портом и кладбищем в отдаленных от города сопках. Чуть в сторонке от этой невеселой процессии виднелся еще один ряд студебеккеров с нарощенными бортами. Внушительная колонна машин была предназначена для доставки живых в пересыльный лагерь на окраине Магадана.

Жаль было Семёну расставаться со своим синим бостоновым костюмом, да ведь его особо-то никто и не спрашивал, просто их группу, выгрузив в глухом дворике пересылки, загнали в просторный предбанник и заставили раздеться донага. Быстро скинув с себя одежду и ожидая, пока разденутся другие, Семён смотрел по сторонам. В углу помещения стоял широкий сосновый чурбан. Рядом с ним возвышалась пестрая горка порубленной в лоскуты одежды. Невысокий солдатик острым топориком тюкал по подтаскиваемым другим служивым брюкам, пиджакам, рубашкам.

Помывочная, с душевыми у стен, была, если можно так выразиться, сквозной, поскольку арестанты вошли в одни двери, а, наскоро сполоснувшись, вышли в противоположные, где вертухаи пошвыряли им перетянутые жидкой веревочкой комплекты с серой робой из грубой ткани и летними, тоже грязновато-серыми кальсонами и нижней рубашкой. Дали еще пять минут, чтобы зеки подобрали себе по ноге обувь, твердые кирзовые ботинки. После этого их выгнали на улицу, где, проведя перекличку, погрузили в кузова все тех же студебеккеров, впритык друг к другу так, что кто-то пошутил: наби-

ли, как селедку в бочку. Заскрежетав, раскрылись огромные ворота пересылки, и колонна в несколько десятков машин, с атоматчиками в кабинах и в сопровождении взвода вооруженной охраны, выползла из Магадана на сусуманскую трассу.

Семён, прижатый к борту, с любопытством поглядывал на невысокие сопки с редким леском, на зеленеющие и поблескивающие водой на солнце необширные болотца, на хибарки-времянки за обочинами трассы.

– Гляньте-ка, братцы, пасечники, – Семён мотнул головой, поскольку руками, вытянутыми по швам, и прижатыми, одна к шершавой бортовой доске, другую придавил сосед справа, не шевельнуть. У хибарок действительно копошились какие-то люди в сетках, напоминающих те, что всегда используют пчеловоды в своей работе. – Вот только ульев что-то не видать.

Все объяснилось, когда колонна километров через десять сделала вынужденную остановку. Вот тогда-то зеки и взвыли: руки прижаты, освободить их совсем не просто, а гнус, не сдуваемый встречным ветром, так облепил лица, что живого места не осталось. Да мало того, эти крохотные кровососущие проникли и под робу, вонзили свои хоботки, вызывающие страшный зуд, во все открытые участки тел горемык. Теперь эти люди на своей шкуре удостоверились, что разговоры на этапах о том, как за одну ночь эта гнусная тварь объедает привязанного к дереву в тайге человека до костей, вовсе не какие-то досужие байки, а так оно и есть. Благо, заминка их на дороге длилась недолго, а то бы неизвестно, что с ними стало, может быть, в отчаянье даже и на автоматы кинулись. Таков он был, этот первый урок Колымы.

Глава третья. «ЗВЕЗДА УРАЛА» УВЯЛА

В Сусумане арестантов поместили в тесные от большого наплыва вновь прибывших пересыльные бараки. Шмон проводился неожиданно и часто, перетряхивали нехитрый зековский скарб и шмотки и днем, и ночью. На третий день, под утро, в слепящих огнях прожекторов, под остервенелый лай рослых овчарок загнали большую партию заключенных в оборудованные для перевозки людей грузовики, и те, урча, поползли по зыбкому, в оттаявшей вечной мерзлоте, большаку в отдаленный лагпункт на берег своенравной Колымы.

Еще на пересылке мужики условились держаться вместе, все-таки их почти два этапа, и при входе в лагерные бараки не подчиняться, а биться со старожилами до последнего. Стоит дать слабину, прогнуться, и ты останешься бесправным рабом, в лучшем случае до прибытия следующего этапа. И ничего, что после тотальных шмонов у нас нет ни финок, ни заточек, но если мы встанем стеной, нас будет сбить нелегко.

Грузовики остановились снаружи, перед вахтой, огороженной высоким забором зоны, что угрюмо громоздилась в лощине меж поросших причудливо изогнутыми карликовыми березками пологих сопок. Прибывших построили в колонну и под дулами автоматов провели на территорию лагеря. Там их разбили на группы и определили, кому идти в какой барак. Грело северное солнышко. Здесь, внутри лагеря, не было ни гнуса, ни мошкары, стой да напитывайся солнечной силой. Но вот дошла очередь и до Семёна. Его направили в группу из пятнадцати человек, среди которых и похудевший замминистра, и знакомый еще по плаванию на «Дзержинском» земляк-уралец Толик, отпетый урка и никогда не унывающий весельчак. До

барака, второго от глухого закалюченного забора, их проводил вертухай с красной широкой повязкой на рукаве добротного серого пиджачка. Указал на дверь и исчез. Мужики подобрались, переглянулись и, распахнув двери, ступили в сумрак плохо освещаемого помещения. Прямо за тамбуром был свободный, метра четыре окружностью, промежуток, дальше вглубь шел неширокий проход между двухъярусными нарами.

Их ждали. Только они переступили порог, как двери захлопнулись, и сзади выросли угрюмые бугаи, с хищно поблескивающими заточками в руках.

– На середину, – хрипло скомандовал один из них. Прибывшие невольно подались вперед от темных дверей к тусклому свету на свободной площадке и оказались прямо перед двухъярусными нарами, которые в тот же миг ощетинились двумя десятками зеков с перекошенными в неверном свете и озлобленными физиономиями. В руках у этих было что-то наподобие дротиков с прикрученными веревками и проволокой ножами, виднелись два-три зловещих лезвия топора.

– Я – «Звезда Урала». Поздравляю вас с прибытием на чудную планету под названием «Колыма», – в проходе, на безопасном расстоянии от прибывших стоял плотный, среднего роста азиат. – Мы будем к вам благосклонны, если вы безоговорочно нам подчинитесь. Что нужно делать, вы знаете. Иначе – смерть! – И сверкнув в тусклом свете раскосыми глазками-буравчиками, татарин резко и громко бросил: – Покоряйтесь!

Что тут началось! Спутники неуклюже, с шумом, попадали, ткнувшись испуганными лицами в пыльный пол, и покорно вытянули вперед безвольные руки. И лишь Семён и Толик остались стоять. Толик был ближе к нарам. Семён в какие-то доли секунды краем глаз зафиксировал, как тело земляка, в которое одновременно вонзилось десятка полтора ножей, барачные зеки на самодельных дротиках подняли и, пронеся по воздуху над замеревшими на полу этапниками, бросили в угол. И тут же над головой Семёна сверкнуло широкое лезвие прикрученного к деревянному черенку топора. В последний миг парень успел отшатнуться, чтобы топор не раскроил пополам ему череп, но все же скользящий удар пришелся в висок. И Семён потерял сознание.

Первое, что, очнувшись, и еще не открыв глаза, почувствовал Семён, это запах больницы и чистых простыней, а еще необыкновенную легкость в теле и какую-то отдаленную тупую боль в виске. Потом он открыл глаза. Белые стены, белые простыни, белесый цвет неба в оконном проеме и приглушенный шум и шорох рядом. Семён повернул на подушке голову набок, чтобы получше рассмотреть, что же это за шум. Из просторной палаты выходила, в окружении военных с накинутыми на плечи белыми халатами, женщина, чье лицо показалось Семёну родным и знакомым. Он слабым голосом спросил соседа, сидящего на кровати напротив, кто, мол, это? – Лидия Руслановa, – последовал ответ. Семён приподнял голову, чтобы еще раз увидеть прославленную русскую певицу и народную любимицу, тоже, как он слышал еще на материке, зечку, но свита уже покинула палату.

– Душевная женщина, – уловив, что Семён смотрит вопросительно на него, сказал сосед. – У неё тоже срок. От мужа своего, генерала, не отказалась, не предала, вот и влепили ей, как соучастнице. А в чём вина-то? В том, что трофеев из Германии привезли. Дак все везли. И правильно делали. Они, гады, у нас полстраны пожгли, сколько людей безвинных угробили, осиротили. Надо бы всю эту Германию разобрать по кирпичику и нам – на восста-

новление. Чтоб неповадно было в другой раз так пакостить. А у Лидии Руслановой теперь негласные гастроли по Колыме. Начальство-то сразу, как ей огласили приговор и привезли на Дальний Восток, смекнуло, какая может быть выгода от известной на всю страну сиделицы. И втихаря поставило дело это на лад. А Лидия, она по-настоящему народная, и здесь тоже с народом. Нас вот проведать не побрезговала, пришла. Поздно ты очнулся, браток, а то бы услыхал, как она здесь распоряжалась. Оно ведь и то, как узнало начальство, что знаменитость наш лазарет посетит, так такой шмон здесь устроили, простыни, наволочки, матрацы вонючие обменили, бельишко наше тоже. Видишь, и ты в свеженьком в этот бренный мир вернулся. Жалко, что на концерт её не попадем. Её ведь, Лидию-то нашу, – продолжал словоохотливый сосед, – возят теперь по лагерям, где она выступает со своими песнями не только перед краснопогонниками, а и нам, горемычным, толика радости перепадает. Слышал я, это её, Руслановой, такое условие, а она бабёнка крутая. Ну да ладно, песен не послушали, но хоть её живьем, воочию, узрели. Вот и ты сподобился очухаться в самый раз. А хоть знаешь, сколько ты был без памяти, на волосок от смерти? Больше месяца с тобой здесь экспериментировали, жил-то на глюкозах и системах. Сам врач, он у нас добрый, гадал: выживет парень, иль нет. Сначала большое сомнение у него имелось, а потом, понаблюдав, сказал: жить будет, организм не только молодой, но и такой, что дай бог каждому. Да, забыл представиться – Шарик.

– Как Шарик? Имя, ты извини, земляк, собачье какое-то, – Семён чувствовал, что сидящий перед ним невысокий, сухощавый зек средних лет не такой уж и простой, каким прикидывается. Какова его игра? – подумал про себя, а вслух произнес: – Прозвище-то больно обидное.

– Ничего подобного, браток, – сосед весело рассмеялся. – Сам посуди, что такое шарик? Это предмет, который катится туда, куда ему заблагорассудится, он и взлететь может, да так высоко, что не достать никаким вертухаям золотушным. Кстати, тобой здесь недавно интересовались, как, мол, ожил или саван шить. И знаешь кто – твой крестный, тот, что всю бодягу тогда в бараке замутил, – «Звезда Урала», как помпезно он себя величает. Ему, ссучившемуся вору, надо свой авторитет подмоченный утверждать, как он полагает, вот и сколачивает лагерную кодлу, ломает мужиков. А ты, видишь, не сломался. Так что жди скоро гостей, браток.

И точно, через день, Семён только прикемарил после обеда, как его кто-то осторожно тронул за плечо. Семён машинально сунул руку под подушку, где лежала припрятанная, подаренная словоохотливым соседом заточка, и настороженно открыл глаза. Над ним склонился мутноватый мужичонка и, воняя гнилым щербатым ртом, прошепелявил, что к нему, к Семёну, сейчас наведается сам «Звезда Урала». Готовься, мол, парень, но дергаться не вздумай, враз добьем. Окончательно проснувшийся Семён обвел напряженным взглядом палату. У окон стояли в накинутых на плечи халатах трое субъектов с характерными красными рожами. Обитатели палаты занимались каждый своим незначительным делом: кто штопал дырку на больничной пижаме, кто читал помятую газетку, кто делал вид, что спит, укрывшись от назревающих событий стеганым одеяльцем. Словоохотливый сосед, накрывшись с головой простынкой, тоже будто бы дремал.

Однако никаких особых событий не произошло. Подошедший через минуты три татарин цыкнул на шестерок, чтоб слиняли к дверям, присел на краешек кровати и вполголоса обратился к Семёну. Со стороны

казалось, что говорить урке было трудно, слова он как бы через силу выдавливал из себя.

– Жив, значит. Ну, что ж, выздоравливай. Я тут тебе гостинец принес, яблочки с материка нонешние, папиросы «Казбек», сгущенку. Ешь, поправляйся, а про старое забудь. Осечка вышла у нас с тобой, – Семён не мог уразуметь, жалеет что ли посетитель о том, что не убили сразу Семёна, или что-то другое, совсем уж непонятное имеет в виду этот черноволосый, с бегающими прищуренными буркалами, землячок. А дальше случилось то, чего Семён ну никак не ожидал. Татарин скрипучим тяжелым голосом продолжил: – Ты уж прости меня, Сёма, за всё. Давай дальше будем рука об руку. Твоя настырность и моя власть, все нам покорятся, зоной править станем вместе. Заживем, как у аллаха за пазухой.

– Не-эт. Говоришь, ты – «Звезда Урала», – Семён нехорошо усмехнулся. – А я скажу так: «Звезда Урала» увяла! – парень еле сдержался, чтоб не пырнуть посетителя в жирную бочину зажатой в правой руке под одеялом заточкой. Поэтому он, приподнявшись на подушке, демонстративно отвернулся от растерявшегося татарина и стал смотреть в окно на разноцветные осенние сопки, показывая тем, что разговор окончен. Ярость душила его, выходило так, что, ежели не получилось убрать сразу, значит, будем дружбу водить да совместно авторитет нагуливать до первого удобного случая, чтоб тишком где-нибудь, после того, как в лагере уляжется буза и ропот на блатных за их беспредел, пришить Семёна. Он слышал, как тяжело поднялся и, громко топоча каучуковыми, толстыми подошвами американских ботинок, ушел «Звезда Урала» из палаты.

– Что же ты с ним так невежливо, – раздался над ухом еще не остывшего от встречи Семёна голос Шарика. – Авторитет надо уважать, а ты его по шапке да мордой в грязь. Да, забыл тебе, Сёма, сказать: выписывают завтра меня. Хватит, говорят, жирком обрастать, бронхи будто бы чище стали. А ты набирайся сил, и не о чем печальном не думай. Всё в руках всевышнего и кума!

Спустя неделю к ним в палату привезли покалеченного драгмашиной зека, он оказался из того же лагеря, что и Семён. Среди негустых новостей одна впрямую касалась Семёна. Два дня назад утром, отправляясь в общую уборную справить нужду, зеки наткнулись на сидящего на очке мертвого ссучившегося вора с помпезной кличкой «Звезда Урала». Он был убит одним ударом ножа прямо в сердце.

Глава четвертая. ПЕРВАЯ ЗИМА

Вернувшись из лазарета в барак, Семён задурел. Бригадир и отрядный жаловались лагерному начальству на неподчинение приказам упрямого зека.

– Ты почему отказываешься от работы? – наседало на Семёна начальство, – ведь ты же мужик, а не блатной. Будешь норму выполнять, тебе срок скостят, досрочно освободишься. У тебя нет поражения в правах, можешь сразу уехать на материк. Так что давай в строй и на прииск, колонна ждать не будет.

– Нет, гражданин начальник, мне беречь себя надобно, – дерзко отвечал мешковатому, с капитанскими золотистыми погонами замполиту Семён. – Пройдут годы. Ты, выслужив свои северные, будешь где-нибудь на солнечном Кавказе, среди минеральных источников беспечно прогуливаться с ру-

мяными внуками, а я все еще здесь буду колупать стылый грунт да мыть песок, отыскивая камешки желтоватого цвета на благо нашей Родины. Так что, по-всякому, мне нужно набираться сил, чтобы потом, когда окончательно окрепну, работать только по-ударному.

– Ну что ж, будь по твоему, – в тон Семёну произносил едва сдерживающий себя замполит, – на своем веку мы здесь и не таких артистов видывали и обламывали. Охрана, препроводите заключенного в барак усиленного режима, пусть он там, на ледяном полу и без пайки обдумает с такими же весельчаками, как и за счет чего будет повышать свою производительность при добыче необходимого стране золота. Кстати, уж в БУРе-то с тобой цацкаться не будут. Так что, оздоравливай дальше, парень.

Сентябрь на Колыме – первый месяц зимы, и если общие бараки хоть как-то отапливались печами, в БУРах этого предусмотрено не было. Бунтари и провинившиеся долгими северными ночами спасались, кто как мог. Уркам подкупленные конвойные тайно передавали тушенку, хлеб, спирт. Мужики перебивались мерзлыми сухарями да тепловатой бурдой, которую вертухаи, ставя ржавый бачок с этим пойлом один раз, в полдень, в тамбуре барака, насмешливо называли чаем.

И вот однажды конвойный негромко окликнул Семёна. Парень подошел. Тот, отвернув овчину теплого полушубка, извлек холщовый мешочек, и зорко поглядывая по сторонам, сунул его Семёну: это тебе, мол, от друзей. – От каких друзей? – хотел спросить заключенный, да вспомнив старую народную мудрость: дают – бери, молча спрятал гостинец под телогрейку. В своем углу, выбрав минутку, когда рядом поменьше глаз, Семён осторожно развязал гостинец и поочередно вытащил на свет три банки говяжьей тушенки, фляжку спирта и десяток запашистых поджаристых сухариков.

В этот вечер наконец-то попировали, расположившись на дальних от входа в барак нарах, и мужики. Семён угощал, да и сами приглашенные пришли не с пустыми руками. Кто-то принес неведомо как раздобытую банку сгущёнки, кто-то сэкономленные сухарики, в крошках махорки, а один даже выложил на импровизированный столик слегка подмороженную головку, невесть как попавшего сюда, репчатого лука. Это был поистине экзотический для подобных географических широт продукт. И как нельзя кстати, потому что кое у кого из заключенных уже начиналась цинга. Лук бережно разрезали самодельным, из расплющенного гвоздя, ножичком на равные дольки, и пиршество началось. Урки хоть и косились, но не рыпались.

К концу первой зимы на Колыме Семён, изведав все «прелести» местных БУРов и ЗУРов (уже не бараков, а зон усиленного режима), стал втягиваться в однообразную и бесцветную, как холодное январское колымское небо, жизнь зека – долгосрочника. В марте получил посылку с Урала от брата Александра. Еще осенью Семён написал ему письмо, где просил выслать дефицитного на севере репчатого лука. Больше трех месяцев тащилась через страну посылка, но хоть дошла в целости, думал Семён, под приглядом охраны отдирая взятыми у барачного сапожника старенькими пассатижами гвоздики на крышке и разворачивая оберточную серую бумагу. Куски сала, в крупицах крупной соли и с дольками чеснока, прилипшими к розоватой, в прослойках мяса, мякоти, выглядели аппетитно и были целехоньки. А вот ядреные и тугие с виду головки репчатого лука, рассыпанные по ящику, на поверку оказались мягкими и дряблыми. Наверное, где-то по дороге сюда посылка была подморожена. Но даже и такой лук – это все равно витамины. Десны и зубы в эту первую зиму Семёну удалось сохранить.

Глава пятая. ШАРИК

– Давненько мы не виделись, Сёма, – Шарик открыто и весело ощерился в улыбке, бросая свой тощий сидор на нижние нары напротив, через проход, и подсаживаясь на заправленную стеганым одеялом постель, рядом с только что разувшимся и приготовившимся ложиться, Семёном. – Будем соседями. Вишь ли, на дальних приисках не нужен я стал, сюда этапировали, к вам. А по мне, дак оно без разницы, абы срок шел. Я уж где только и не побывал, чуть ни до Якутии по зимнику возили. А ты-то как, освоил колымские заповеди? Обвыкся?

– Да вот жив, как видишь, – Семён был рад встрече с этим таинственным человеком. Они разговорились. Выбрав момент, Семён решил задать Шарику тот вопрос, что еще с лазарета не давал ему покоя: – Дело прошлое, Шарик, но ответь мне на одну закавыку. Хотя я, кажется, и сам знаю ответ, но все же: это ты, опередив меня, завалил «Звезду Урала»?

– Догадливый ты, Сёма. Да, я убрал эту нечисть с лица земли.

– Но тебе-то какой резон? Ты его, может, и знать не знал!

– Ошибаешься, брат. Я не первый год на Колыме, да и до этого жил тоже не на луне. Просто гадов этих не выношу, и все тут. Чем больше я отправлю этой заразы к праотцам, тем людям будет дышать свободнее.

– Ты, конечно, можешь не отвечать, но все-таки любопытно: кто за тобой стоит? Насколько я слышал, ты не законник, хотя и живешь по понятиям? И с блатными, и с мужиками ты свой. Меня вот упредил.

– Больно ты, Сёма, любознательный и открытый для той клоаки, в которой мы нынче с тобой обитаем. Здесь ведь лишнее слово стоит жизни. Ну, да ладно, нравишься ты мне, младшего братишку моего незабвенного шибко напоминаешь. Царствие ему небесное. Убили его в сорок третьем под Орлом. Вот ты спрашиваешь, под кем я хожу? А не под кем и никогда. Я здесь всякой мрази сам и судья, сам и палач. Я ведь, Сёма, тоже воевал, и не где-нибудь, а в полковой разведке, с сорок второго и до Победы.

И Шарик, он же кавалер многих, отобранных позже, при аресте, орденов и боевых медалей, старший лейтенант Пётр Никандрович Ермаков, поведал Семёну о своей, закрученной в тугую спираль, жизни. Рассказал он, как, вернувшись с войны в родной городок в низовьях Волги, не застал в живых своей любимой красавицы-жены, честно ждавшей его все годы, и буквально перед приездом Петра Никандровича наложившей на себя руки.

Работала Татьяна Михайловна бухгалтером в военкомате, на ухаживания разбитных щеголеватых офицериков-тыловиков не реагировала. Военком, демобилизованный по ранению молчаливый майор, видно было, что держал ее сторону, урезонивал, как мог этих, по связям где-то наверху увильнувших от фронта, жеребчиков. Бывало, не выдержит, вспылит и, прихрамывая, бросится к сейфу, где хранился его именной браунинг, да те, нахально похохатывая, разбегутся по своим кабинетам. Так вот и жили до того майского дня, когда изнуренная долгим лихолетьем огромная наша страна, наконец-то взликовала победными салютами и праздничными застольями. Соорудили к вечеру славного дня под белоснежными цветущими яблонями и вишнями во дворике военкомата сдвинутые столы с выпивкой и закусками и работники этого учреждения.

Были искрометные тосты, были танцы, была неописуемая радость отто-

го, что все мрачное и страшное позади, а впереди ясное и счастливое завтра. Но не оказалось этого завтра у побывшей за общим столом и решившей пораньше уйти домой Татьяны. Молоденькие шустряки, распаленные выпитым, подстерегли женщину в темном проулке, зажали рот и уволокли на глухую полянку, на берег мутной городской речушки. Было их трое, тех, что, вдосталь поизмывавшись над обезумевшей жертвой, уже за полночь оставили истерзанную женщину одну, а сами, смыв грязь и кровь с рук, как ни в чем не бывало, вернулись к полуопустевшему к этому часу столу, освещенному специально подвешенными над ним фонарями.

Утром пришедшие поставить на пескарей мордушки подростки остолбенели, увидев мертвую женщину с растрепанными волосами и в изорванном платье, висевшую на толстом суку старого расщепленного тополя в углу поляны. Следствие виновных особо не искало: налицо факт самоубийства, хотя военком и изложил даже в письменном виде свои соображения по данному прискорбному случаю, однако никакого хода этому дано не было, знать, крепкая поддержка наверху имелась у этих сопливых нелюдей.

С трудом опамятовав от жуткого и тягостного, раздавившего всё живое в душе известия, Петр Никандрович на третий день по прибытию в город сходил на кладбище, посидел у свежего холмика, под которым покоилось все самое любимое, что оставалось у него в этой жизни. Вечером того же дня заглянул на огонек к одиноко живущему майору-военкому, где молча выложил на стол фляжку спирта. О чем проговорили почти до утра два фронтовика, это неведомо никому, но с восходом солнца Пётр Никандрович, свежий и подтянутый, гладко выбритый, бодро, будто бы и не было бессонной ночи, появился у каменной ограды военкомата. На груди его поблескивали в два ряда ордена и боевые медали, при ходьбе поскрипывали ремни портупеи: демобилизованный лихой разведчик-офицер явился вставать на учет по месту приписки.

Первого насильника он зарезал своей финкой, когда тот, смертельно побледневший, приподнялся из-за стола навстречу вошедшему. Второго молниеносным ударом в сердце прикончил прямо в дверях. Третий, опрокидывая столы и переворачивая стулья, пробовал уйти через окно, но окна в подобных учреждениях, как правило, зарешечены. Вот и сполз он с подоконника на пол, с аккуратной дырочкой под левой лопаткой на коричневом кителе из дорогого сукна. После этого, отбросив финку с окровавленным лезвием в угол, вышел Пётр Никандрович в общий коридор навстречу военкому, спешащему к нему с двумя автоматчиками, но рук вверх не поднял. И поэтому бойцы вскинули оружие, готовясь в любую секунду сразить старшего лейтенанта очередью, но военком резко скомандовал: отставить, и сам проводил до карцера в конце коридора и там запер на ключ спокойного и равнодушного ко всему случившемуся Ермакова.

Статья Шарику корячилась расстрельная, но, учитывая прежние боевые заслуги и блестящую характеристику, присланную в суд из воинской части, в составе которой он воевал, а также приобщенные к делу письменные показания военкома, расстрел заменили двадцатью пятью годами Колымы.

В этот апрельский солнечный, но с морозцем, день выпала Семёну поблажка: работа не с бригадой в карьере, а при зоне, на одном из строящихся двухэтажных бараков. Сидел он себе на стропилах под крышей и выковыривал топором пазы в сосновых ошкуренных матках. Сквозь окон-

ные, еще без рам, проемы хорошо была видна заснеженная, с расчищенными подходами площадка перед бараком. Вот на тропинке показался бригадир-еврей в добротной двубортной москвичке, известный в лагере стукач, из ссучившихся, как говорят, блатных. Деловитой походкой, похрустывая по насту подшитыми черными валенками, этот пухлый здоровяк, видно было, что спешил куда-то. Однако чей-то невидимый дружеский окрик остановил его. Секунд через тридцать Семён увидел приближающегося к еврею Шарика. Следом семенил конвойный в полушубке и с карабином за плечом. Шарик что-то весело сказал бригадиру, они оба засмеялись и вошли в помещение. Теперь еврей и Шарик оказались в пролете между этажами, прямо под отложившим в сторону топор и затихшим Семёном. Его они, естественно, не видели, какой интерес им задирать головы вверх, а они перед ним – как на ладони. Тучный бригадир был почти в два раза крупнее Шарика. Видно было, как он со снисходительным презрением поглядывает на что-то увлеченно доказывающего ему Шарика. Но высота мешала разобрать смысл того, о чем говорили внизу. Да, собственно, Семён и не прислушивался, меньше знаешь – крепче спишь. И вдруг краем глаза Семён отметил нечто интересное. Шарик, всё еще продолжая что-то весело рассказывать великану, жестом указал на оконный проем. Тот лениво повернул свое сытое, с крючковатым, типичным носом лицо в направлении указанного. А Шарик тем временем неуловимым движением выхватил стилет, свободной рукой отогнул меховой левый ворот москвички. И вот уже из бригадирской груди торчит наборная рукоятка. Гигант пошатнулся и, тяжело ступая, пошел к выходу. Не дойдя до порога двух шагов, он грузно рухнул на свой неохватный живот, головой на улицу. Встрепенувшийся конвойный живо передернул затвор и направил дуло на показавшегося следом в дверях Шарика. Тот громко крикнул:

– Не пали, служивый, попусту. Видишь, сдаюсь.

– Лягай на снег и руки за голову, – истошно расхорохорился конвойный. – И не шевелись, враз стрельну.

От недалекой вахты на шум прибежали охранники. Шарика увели. Вскоре пришла команда бесконвойных заключенных с носилками, и с едкой руганью погрузила громадный, еще не остывший труп и, также с остервененьем матерясь, утащила его в лагерный ледник, примостившийся в хибаре на задах зоны. Семёна никто не заметил.

Позже он узнал, что Шарика судили, а поскольку срок и так под завязку, дополнительных годков уже некуда лепить, то единственное, что смогли сделать шишки в золотых погонах, – это сослать его еще выше, вернее, ближе к Ледовитому океану. И если уж даже здесь, на средней Колыме, лето куцее и бледное, то там оно вообще с мышиный глазок. Наверное, этого несломленного искателя и вершителя справедливости в другое, да хоть бы и в недавнее, время, скорее всего без долгих разговоров и в назидание остальным просто шлепнули бы, а дело бывшего разведчика списали в архив, но конец сороковых двадцатого столетия – это два-три года так называемой «эры милосердия». Тогда рябоватый усач высочайшим своим повелением отменил смертную казнь на шестой части земли, потом, правда, спохватился, и карающий, не успевший размякнуть бронепоезд продолжил свою давильню. Однако этого чудного промежутка хватило, чтобы Шарик остался жить.

Глава шестая. ОТОРВАННАЯ ПОДОШВА

Колымские будни – это изнурительная, однообразная каторжная работа в сереньких сопках, обкусанных неглубокими карьерами с золотоносными жилами или рытье в мерзлоте поисковых шурфов. Орудия механизации – тачка, лом, кайло, лопата. Экскаваторы и бульдозеры не везде и не всем.

В те годы население Колымы колебалось по численности от 2,5 до 3 миллионов человек. Теперь уж никогда, наверное, такого уровня заселенности этих нелюдимых северных широт не достичь. Это тогда, в начале тридцатых, еще не остывшую и не опомнившуюся от горячки гражданской междуусобицы, а уже подброшенную на штыки сомнительного, добровольно-принудительного энтузиазма и обстрелянную кинжальным огнем всеобщей подозрительности и доносительства страну можно было под улюлюканье да истошные вопли: «распни» и максим-горьковское «кто не с нами, тот против нас!», – сворачивать в любой бараний рог и вытворять с ней всё, что только мог наслюнявить в маниакальные и мохнатые уши новых правителей небезызвестный персонаж библейских сюжетов. Кровавое эхо того партийного зачина раскатывалось здесь до середины пятидесятых. Оно и в последующие годы не смолкло, но звук его и прежний эффект увяли.

А сегодня в России и таких людских ресурсов не сыскать, да и запасов золота в подобных масштабах не наблюдается, они в основном, увы, уже вычерпаны. Может быть, где-то у кромки Ледовитого океана есть богатые жилы. Да ведь и страна за полста лет, прошедших со времен, описываемых в этой не придуманной повести, убавилась не в одних лишь территориях, а и народ, к прискорбью, поубавился, да вдобавок и поизмельчал, избалованный порочными достижениями прогресса, давно уже прорвавшего все плотины и дамбы совестливого и необходимого. Справедливости ради надо сказать, что и в упоминаемые костоломные годы натиск на то сокровенное, что, собственно, и делает разрозненное сообщество цельным и нравственным народом, был необычайной силы и давления (стоит вспомнить одно лишь разорение православной церкви, или истребление крестьян при насаждении колхозов). Но в ядре народном, у простых людей еще сохранялся дух общины, понятия святости и стыда.

Однако вернемся в русло нашего повествования. Большинство, причем самое подневольное, колымскому народу давали заключенные. Вторыми по численности шли те, кто бдительно стерег первых. Третьим, негустым сословием здесь значились вольнонаемные, то есть те, кто прибыл сюда заработать, или как тогда говаривали – «за длинным северным рублем». Жили эти люди в поселках, в домах из бруса, среди семей лагерного начальства и прочей челяди.

Отношения между этими тремя категориями складывались по-разному. Например, Семён не раз, выиграв в «буру» за ночь граммов по сто золотого песка, обменивал по договоренности его у вольнонаемных на спирт, тушенку и табак. И все стороны оставались довольны. Куда уж пристраивали это «рыжье» вольняшки, Семёна мало интересовало, зато, освобождаясь от золота, он выходил из опасной черты, когда кто-нибудь из алчных товарищей по неволи мог, позарившись на металл, прирезать где-нибудь в укромном уголку, либо когда при неожиданном шмоне вертухаи могли найти мешочек с золотым песком. А это уже, в лучшем случае, добавочные года в твое пухлое, личное дело. А в худшем – об этом и думать не хотелось! Бук-

вально на днях, вымотанный работой, Семён, как рухнул после вечерней поверки и отбоя на свои нары, так и проспал мертвецким сном почти до утра, лишь однажды ворохнулся он, потревоженный капелью с верхних нар, но, сонно проведя ладонью по лицу, повернулся набок и снова провалился в забытье. Проснувшись утром, он глянул на свои ладони – они были в засохшей крови. Сосед с правых нижних нар сначала молча и понимающе указал рукой Семёну на его испачканное кровью лицо, а потом перевел свой угрюмый взгляд на верхние нары. Семён встал во весь рост и, уже примерно зная, что там есть, осмотрел постель соседа сверху. Этот недавно пришедший по очередному этапу урка, вчера удачливо откатал в «двадцать одно», сорвал приличный банк «рыжья», а сейчас вот лежал окоченевший, с отрезанной, покоящейся отдельно на окровавленной подушке стриженой головой. Долго потом пришлось Семёну отмывать студёной водой из бочки в умывальном углу барака бурые пятна со лба и щеки. Конечно, как всегда бывает в таких случаях, вертухаи подняли шухер, прошла волна шмонов и допросов заключенных, кто что видел, кто что слышал. Но все в эту ночь спали на удивление крепко и даже без сновидений. А что касается «рыжья», то никакого золота в перетряхнутых на сто раз матраце и скарбе убитого и в помине не было.

Вторую свою колымскую зиму Семён почти до половины отмантулил в бригаде на карьере, что недавно начали разрабатывать за лесистыми сопками недалеко от их лагеря. Это, в общем-то, сказывалось на производительности: расстояние близкое, люди не так уставали от ходьбы, сбереженные силы правильно тратились при выемки породы в карьере. Может быть, Семён на этом участке и весну встретил бы, да вмешался, как всегда, господин случай.

Колонна заключенных, прибыв к дощатой раскомандировке, как обычно поутру, была ознакомлена с нарядом. Семён, услышав, что он сегодня трудится на отколке и погрузке породы в тачки, расписался у бригадира в засаленной тетрадке в получении кирки и лома, и весело оглядев конвойных, расставленных через равное расстояние друг от друга по верху карьерного среза, стал спускаться к своему рабочему месту. В этот день ему выпало нагружать в тачки среди других заключенных и своему старому знакомцу по харьковской тюрьме – бывшему замминистра легкой промышленности Украины. Работа только закипала, когда тот, выбрав минуту, что никого не было рядом, торопливо и сбивчиво обратился к Семёну.

– Нет моих сил больше тачку вверх толкать, чую, не выдержу, упаду. Что делать, Сёма? Может, я подошву у ботинка оторву, и меня заменят на тачке? Кайлить-то я бы смог. Это же не ходить, а стоять на месте. А норму не выполню, баланды лишат, да могут и в карцер упрятать! Как быть, друг?

– Какие здесь могут быть друзья, Валентин! Каждый сам по себе. Да и я тебе какой советчик? Решай сам.

Еще одну ходку сделал Валентин. Пошатываясь, скатил он тачку и прислонил ее к скале. Сел на стылую землю и, стянув правый ботинок, поддел ветхую подошву острым базальтовым осколком, затем рукой надорвал ее и опять обулся. Заключенные тачечники, задержанные этой заминкой, недовольно покрикивали на сходнях уступа. Расталкивая их, подбежал сверху мордатый бригадир.

– Что за дела? Почему сбой в работе, саботажники? Ты чего, министр, расселся?

– Да вот, гражданин бригадир, подошва совсем оторвалась, ступать нету мочи. Вы меня замените кем-нибудь другим, а я бы встал на кайлу.

– Ты что, собака, хитрее всех, што ли. На вот тебе, вражина! – и бригадир наотмашь врезал вытянувшемуся в струнку бывшему замминистра в ухо, да так, что у того слетела шапка-ушанка с головы и сам он, ударившись о скалистый выступ затылком, медленно сполз на землю.

В то же мгновенье стоящий рядом Семён перехватил в руках тяжелый лом, и со всей силы припечатал разгоряченного бригадира вдоль спины этой восьмигранной железякой. Сипло ойкнув, бригадир ткнулся сытой мордой аккурат в оторванную подошву Валентина и затих. В карьере воцарилась звенящая тишина, которую вскоре нарушило характерное клацанье винтовочного затвора. Это конвойный наверху, метрах в пяти, прямо над Семёном изготовил свое оружие к бою. Семён поднял руки и сцепил на темечке пальцы. Рукавицы и лом лежали перед ним около брошенной тачки. Рискуя получить пулю, он разнял пальцы, быстро наклонился и подхватил теплые верхонки. Конвойный, безусый срочник из вологодских, угрожающе провел дулом от Семёна к верхнему срезу карьера, давай, мол, выбирайся, пока не пристрелил. Семён, с руками за головой, перешагнул через лежащего без памяти бригадира, прошествовал мимо пришедшего в себя и испуганно озирающегося вокруг Валентина, мимо посторонившихся молчаливых тачечников. Но едва лишь он выбрался из карьера, как подбежавший запыхавшийся старший конвойных, с револьвером в руке, скомандовал Семёну: лечь на снег, лицом вниз и руки за голову.

Так и пролежал Семён около трех часов на колымской мерзлоте в телогрейке и ватных штанах, примерзших к обеду к снегу. Когда колонна выстроилась идти обедать в лагерь, Семён с большим усилием оторвал свое окоченевшее бесчувственное тело от земли, и с трудом передвигая затекшие ноги, встал в хвост колонны. Размявшись в ходьбе, Семён окончательно пришел в себя, вроде бы ничего не поморозил, тёплой баландой отогреюсь. Но в хозблок попасть в этот день ему было не суждено. Только прошли вахту, как конвойные отделили Семёна от строя и увели в БУР. Но и в этом ледяном бараке Семён забузил, и его за постоянное нарушение режима продержали на черствых сухарях и воде почти до первых оттепелей. Такой запомнилась Манакову-Молокову-Ананьину вторая колымская зима.

Глава седьмая. ДВА ВЕДРА БРУСНИКИ

Пусть и короткое, ощипанное заморозками с обеих сторон северное лето, однако щедрое оно на грибы, но больше все-таки на сладчайшие россыпи голубики, черники, морошки, и особенно, рубиновой брусники. Это третье колымское лето Семёна выдалось, как никогда, урожайным. Окрестные сопки переливались в лучах янтарного солнца несказанным обилием переспевающих ягод. Да вот только арестантам, уныло топающим мимо этого богатства в серых колоннах под дулами карабинов, эту роскошь можно было пожирать лишь голодными глазами, жадно сглатывая при ходьбе табачную слюну. Шаг влево, шаг вправо считается побегом, а с беглецами здесь разговор один: девять граммов.

Еще не стёрся в памяти переживших зиму зеков апрельский случай. Морозным ясным утром после монотонной переклички с металлическим скрипом отворились широкие ворота на вахте, и колонна привычно потянулась из

лагеря на прииск. Но как только последняя шеренга заключенных вышла за ворота, прозвучала резкая команда: «Колонна, стой! Направо!». На очищенном от снега пятачке около двух лежащих в ватниках и добротных телогрейках с незакрытыми изумленными глазами мертвецов бодро прохаживался, поскрипывая меховыми бурками и удовлетворенно похлопывая кожаными, утепленными перчатками себя по бокам, сам кум – начальник лагеря. Вот он остановился и повернул свое тяжёлое и строгое, со шрамом через всю левую щеку, лицо и хрипло и отрывисто бросил: «Так будет с каждым, кто задумает бежать из вверенного мне лагеря! Колонна налево! Шагом марш!».

Вечером до самых потаённых шконок дошелестели подробности того, как всё произошло. Побег готовился скрытно, знали о нем всего несколько человек. Сначала уходить вызвались четверо блатных, но в последний момент двое отказались, упирая на то, что в распутицу, которая грянет со дня на день, якобы и до трассы, не говоря уж о материке, не дойти. Дескать, отложим до лета, когда и света вдоволь, да и тайга прокормит. Однако двое отчаюг, заручившись молчанием подельников, все же ушли вчера после вечерней поверки через тайно прорубленный лаз в заборе на задах, за лагерной санчастью. Воодушевленные удачным началом, беглецы успели обогнуть лишь одну сопку, за второй они попали в яркие снопы автомобильных фар, ослепившие их неожиданно и сокрушающе. «Всё, начальник, сдаемся. Бери нас!» – прокричали в ночь арестанты. Из темноты выступили настороженные автоматчики, следом показался и загадочно улыбающийся кум. В правой руке его поблескивал вальтер. Продолжая улыбаться, начальник лагеря громко, чтобы слышали все, крикнул: «А вы мне живыми и не нужны!». Хлопнули два выстрела, откинувшие зеков на заснеженную обочину. Начальник лагеря, посмеиваясь, повернулся и направился пешком в сторону зоны. Вертухаи, пропустив под мышками длинную веревку, обвязали убитых и, прицепив к заднему борту грузовика, подвезли остывающие тела зеков к вахте, где и уложили их на расчищенном участке.

Больше двух недель лежали несчастные на вечной мерзлоте, лица их окостенели и покрылись инеем. Ежедневно утром, идя на прииск, в полдень, перед обедом и после него, и вечером, по возвращению с работ, арестантов на этом месте ждала одна и та же канитель: самодовольная рожа и хриплый рык кума, и два закоченевших трупа. А вот подельники, те почти в это же время нацепили на рукава красные повязки и перебрались в барак к вертухаям, обнадеясь, что бережёного кум сбережет. Любопытна и поучительна судьба этих двух стукачей, но о них позже. А пока вернемся в колымское, плодоносное лето.

Настоящей мукой было для Семёна ежедневное хождение мимо ягодных полей, и вовсе не потому, что докучал голод. Это-то как раз для молодого и выносливого организма было, пусть и не самой приятной, но всего лишь деталью. Семёна съедала его врожденная страсть к собиранию ягод ли, грибов ли. В колонне он проходил как бы по кромке ликующей природы, а все его естество желало одного: погрузиться в нее, пройти по пружинистому, мшистому ягелю; в счастливом порыве нагнуться над зовущими, провисшими под спелой тяжестью ягодами, подставить снизу пригоршню и, касаясь большим пальцем каждой ягодки по отдельности, сдаивать их в ладонь, наблюдая, как благодарно расправляются освобожденные упругие стебли и продолговатые темно-зеленые листики. Усилием воли он обуздывал это желание, старался не смотреть по сторонам, тушил свой взгляд на серых кепках и стриженых затылках впереди идущих. Но кто бы знал, как скорбела в эти минуты его мятежная душа!

Вольнонаемные и лагерная обслуга в благодатные деньки все свободное от службы и работы время паслись с разнокалиберной посудой на ягодных плантациях. Шла кипучая заготовка впрок витаминных даров севера.

В начале августа Семёна наконец-то расконвоировали. «Рыжье» и спирт, переданные через вертких людишек в нужные руки, чрезмерно способствовали этим самым рукам вывести правильные слова на характеристике трехфамильного заключенного. И стал-таки авторитетный лагерный мужик бесконвойным. Теперь он ходил, что за колючкой, что по другую сторону ограды, на прииски без дышащего в спину охранника. И пусть иллюзорная воля была четко ограничена лагерем, прииском и каменистой дорогой между ними, но все равно это был глоток свежего воздуха после череды затхлых лет, спрессованных и кандальных.

– Слышал я, Сеня, умелец ты по сбору разных ягод, – рябоватый конвоир явно старался придать своему грубому, прокуренному голосу мягкую, доверительную интонацию. – У меня есть к тебе предложение. Завтра группа заключенных под моим присмотром отправляется на заготовку дров. Я похлопочу, чтоб и тебя включили в нее. Но у меня два условия. Первое – я даю тебе два ведра под бруснику, ты набираешь: одно тебе, только потом посуду верни, второе мое. Другое условие – коль ты попадаешься за сбором ягоды начальству, – я тебя не посылал, отмазывайся, как сумеешь сам. Идет? Вот и ладушки, будем считать, что столковались.

Наутро так и вышло. Шагал Семён в колонне зеков с пилами и топорами, за спиной у него во вместительном вещмешке позвякивали пустые ведра. От деляны в лесистой лощине до брусничника на солнцепеке хоть и рукой подать, да только ведь это уже запретка, даже и для бесконвойных. Ну, да где наша не пропадала! А ягодка-то рясная, отборная! Вот она забарабанила дробью по дюралевому дну первого ведерка, да так мелодично и звонко, что душа Семена радостно подхватила этот извечный, бесхитростный мотив, и он стал тихонько напевать старинную русскую ямщицкую песню, сюжет которой хоть и драматичен, но вместе с тем и светел:

– Почему ты ямщик перестал песни петь,
Приумолк и какой-то угрюмый.
Колокольчик вдали продолжает звенеть,
Но тебя не слыхать, друг мой милый?

– Это было давно, год примерно назад,
Вез я девушку трактом почтовым.
Круглолица она и как тополь стройна,
И покрыта платочком шелковым.

Попросила она, чтоб я песню ей спел,
Я запел, и она подхватила.
Кони мчали стрелой по дороге степной,
Словно гнала нечистая сила.

Вдруг жандармский разъезд перерезал нам путь.
Тройка наша, как вкопана, встала.
Кто-то выстрелил вдруг прямо в девичью грудь.
И она, как дитя, зарыдала...

Только допел этот куплет забывший о том, где он находится, Семён, как и впрямь грянул гулкий выстрел. И второе, свободное пока ведро, стоящее в траве, выше того места, где он еще секунду назад сбирал спелую ягоду, сбитое пулей, покатилось по склону. Семён вжался телом в землю, а мысль чиркнула сознанье: бесполезно всё, коль ты как на ладони на этой злополучной брусничной поляне, видно, вторая пуля уж точно будет твоей. Однако вместо выстрела раздался зычный и хриплый рёв все того же кума со шрамом через щеку: «Руки за голову! И медленно спускайся ко мне!». Семён прошел мимо перевернутого, с рассыпанной брусникой ведерка и стал спускаться по склону, сцепив руки на затылке и глядя прямо в свирепые глаза начальника лагеря. Странно, но чувства страха Семён не испытывал. Было жалко потоптанной, помятой ягоды и незадачливого конвоира, потеряно стоящего рядом с кумом.

– Кто позволил тебе на вверенной мне территории самовольничать? – начальник сверлил своими безжалостными глазами подошедшего зека. – Или это надо понимать как репетицию побега?! Так знай: от моей пули еще никто не уходил! Марш в карцер! А вам, сержант, на первый раз я делаю устное замечание. И впредь, чтобы подобного не повторялось. Бдительность не терять!

Начальник лагеря еще раз окинул свирепым взглядом Семёна, стоящего теперь между двумя автоматчиками, круто повернулся и бодро зашагал по дороге в сторону лагеря, вышки которого торчали вдали, над невысокими елями и осинами.

Глава восьмая. «А ТЫ ЗНАЕШЬ, НА АЛТАЕ-ТО РЕЗНЯ!»

Этого рослого горбоносого чеченца Семён знал еще по сусуманской пересылке. Тогда в неспешном разговоре за карточной игрой выяснилось, что они будто бы даже и земляки: только вот Семён ушёл в свое время от риддерских ищеек, а Иса судом этого городка был приговорен к восьми годам лагерей за драку и поножовщину.

В конце войны самонадеянный Сталин решил-таки, как он полагал, вековечную кавказскую сумятицу – взял и вырвал с корнем целые народы, которых не без определенной прозорливости еще Лев Толстой сравнивал с колючим, в ярких цветках, татарником при дороге. А «мудрый Иосиф» мановением великодержавной руки не нашел ничего более умного, как развеять живучие и злые семена упомянутого растения по всей России-матушке. Так, к примеру, во всех мало-мальски приспособленных к быту местах Рудного Алтая: в горной тайге на лесозаготовках, в рудничных поселках и городках под пристальным оком военных комендатур и отделов милиции теперь расселились изгнанные из родных гор общины чеченцев. Жили они вначале замкнуто, скреплённые между собой прежде всего суровым уставом горцев, ну и, конечно, горькой участью невольников режима. После войны им дали послабление, выразившееся в свободном перемещении по населенным пунктам, где они находились под надзором. Вот тут-то и вышел на передний план тот неприглядный и отталкивающий образ переселенцев, заключающий в себя наглость, вероломство и жестокость. Простые русские доверчивые люди, поначалу с сочувствием и состраданием отнесшиеся к привезенным во вшивых теплушках чеченцам, после того, как участились

грабежи и разбои на улицах городков и сёл, а через те кварталы, где обосновались переселенцы, стало опасно проходить даже среди белого дня, эти коренные жители в ужасе отпрянули от пришельцев.

– Земляк, отойдем в сторонку, базар есть, – в черных глазах Исы Семён прочитал напряженное смятение, чего раньше с чеченцем никогда не случалось. Отошли под навес барака, и тут Иса тяжело выдохнул: – Резня у нас на Алтае неделю назад была. Один знакомый телефонист из охраны шепнул. Войска вводили, говорит. Что там сейчас творится? Кто жив, кто нет?

А случилось следующее. Напряжение между чеченцами и местными с каждым годом нарастало. Безжалостные горцы пытались установить свой, незримый для властей, но непререкаемый и обязательный для обычных людей беспредел. Уважая своих старцев, они ни во что не ставили ни женщин, ни стариков приютившего их народа. В магазинах молодые чеченцы расталкивали очередь и, нагло ухмыляясь, брали себе товары и продукты.

Схожее произошло и теплым июльским днем в привокзальном пивном павильоне Риддера. Эта пивная была на хорошем счету у любителей «жигулевского», поскольку находилась недалеко от пивзавода, снабжавшего ее всегда свежим и холодным напитком. Вот и сегодня только что поменяли бочки, из-за этой заминки наросла очередь, но мужики, а были здесь в основном навербованные со всего Союза на риддерские рудники бывшие фронтовики, терпеливо ждали открытия долгожданного окошечка, чтоб наконец-то получить из пухлых ручек разбитной и румяной Надюшки пару пенистых гранёных кружек. Окошко распахнулось и, первые счастливцы начали отходить к стойкам, торжественно пронося мимо очередных вожделенное пиво и сушёную рыбку в бумажных свертках. Безмятежную картину отдыха горняков после рабочей смены сломала группа задиристых чеченцев, с гоготом и выкриками ввалившаяся в павильон. Самый дерзкий из них сразу направился к окошечку, уверенно отодвинул стоящего первым низкорослого мужичка и ослепительно осклабился, наклоняясь к продавщице.

– Надюша, мнэ как всэгда. Только, дэвушка, болшэ пива, мэншэ пэны!

Очередь зашумела. Кавказец поднял свою шевелюру с кольцами черных вьющихся густых волос и отрывисто гаркнул:

– Цыц, или мигом пёрышком пощэкочу. Ну, кто пэрвый? Дава-ай!

Вперед вышел крепкий дядька с проседью в русых волосах и якорем, выколотым на сжатом кулаке правой руки.

– Встань в очередь, герой! – голос мужика был спокоен и тверд. – Людей надобно уважать, сынок.

– Ах ты, старая баржа, – чеченец мгновенно вскипел, – да я тэбя на кусочки парэжу и шакалам скормлю!

И он, чуть сбоку, метя в печень противнику, ударил ножом. Но в последнюю секунду неуловимым движением перехватив волосатую руку, крепыш мгновенно подвернул её лезвием в живот чеченцу и вдавил нож в подрагивающую плоть врага. Чеченец взвизгнул и, обмякнув, рухнул на заплеванный пол. Группа, пришедшая с ним, ощетинилась ножами и стилетами и бросилась на невозмутимого мужика. Но не тут-то было.

Разъяренные фронтовики, видавшие в своей жизни и не такое, дружно похватали кто кружки, кто стулья, а некоторые извлекли из карманов ножи. Резня в павильоне была скоротечной, лишь один из чеченцев сумел вырваться из кольца фронтовиков, пораненный, он, с выкриками на своем гортанном языке, добежал до двух станционных бараков, в одном из которых

по горькой иронии судьбы жили русские семьи, в другом – чеченские. Что уж там накричал своим соплеменникам этот истекающий кровью чеченец, неизвестно. Но через несколько минут мужское население чеченского барака, лет от четырнадцати до шестидесяти, с топорами, кухонными ножами, один даже с чугунным, на углях, утюгом, ворвались в подъезды ничего не подозревающего русского барака и порезали, и растерзали всех попавшихся им на глаза, оказавшихся в квартирах в этот роковой час жильцов. Правда, недолго ликовали убийцы детей, стариков и женщин. Подоспевшие вербованные свершили свою расправу над чеченским бараком не менее жестоко.

В этот же день кровавые волны резни прокатились и по областному центру Усть-Каменогорску, где далеко не все из чеченцев ушли от преследователей вплавь по Иртышу, оставляя обагрённой картофельную ботву на прибрежной пашне. Полыхнули горняцкий Зыряновск и хлеборобная Шемонаиха. Ночью во все эти города были введены войска и объявлен комендантский час. Результатом стихийного бунта стали заполненные изувеченными телами городские морги, десятки осужденных с обеих сторон, и, кроме того, местное население дало понять, что и оно имеет предел терпению, и русский бунт бывает тоже страшным. В течение нескольких последующих лет, вплоть до хрущевской амнистии, когда многие чеченцы вернулись на Кавказ, таких кровавых разборок уже не случалось. К счастью для Семёна, никто из родни во время жуткой и замалчиваемой властями резни не пострадал.

Глава девятая. ЛАГЕРНАЯ ПОЛИТГРАМОТА

И еще одну лютую колымскую зиму перемог Семён со товарищи по золотоносной каторге. Теперь он числился в прочных старожилах. Ничего особенного в эти суровые снеговеи не случилось в их лагере, если не брать во внимание февральское противостояние мужиков с урками.

Изрядно обесцветилось сословие блатных за последние несколько лет. Кто-то из авторитетов отошел в мир иной, кто-то ссучился. У всех на памяти было недавнее событие, когда двое бывших воров в законе – Иван Костыль и чеченец Ваха – якобы встали на путь исправления. Эта широкая рекламная кампания была организована политотделом Дальстроя. А суть ее заключалась в том, что двое ссучившихся воров под усиленной охраной ездили по разбросанным аж до тундры лагерным пунктам и агитировали блатных немедленно рвать со своим прошлым, сулили бывшим корешам молочные реки с кисельными берегами, если те, конечно, перейдут на их, правильную, сторону. Но как поется в одной полузабытой песенке: «недолго музыка играла, недолго фраер танцевал...». В конце четвёртой недели пропагандистского турне нашли активистов в комнате одной из поселковых гостиниц с отрезанными головами. Причем, и двое часовых при дверях, и отдыхающая смена охранников в соседней комнате во главе с политруком, отвечающим за это агитационное мероприятие, ничего не заподозрили и никого не заметили. А ларец открывался просто. Чрезвычайную комиссию, перещупавшую и перебравшую буквально все, до чего могли дотянуться руки, вдруг осенило проверить на надёжность не только окна и стены, а и деревянные, из сосновых досок, полы. Две широкие струганные плахи легко поддались, и членам комиссии открылся сухой и тесный лаз, который вел к дальней завалинке, в ней-то и находилась дощатая задвижка, искусно присыпанная снаружи, со стороны леса, снегом. Умельцев, как не тщились, не отыскали.

Однако брожение среди блатных расползалось по лагпунктам, уже и сявки лезли в рулевые, и шестёрки, которым здесь, на северах, имя было – «двенадцать пополам», мордовали теперь не только политических, а и доходягмужиков, чтобы те выполняли норму уже и за них. Схожая обстановка царила и в том лагере, где зимовал Семён. Шакальё зверело, урки проигрывали в карты не только телогрейки мужиков, но даже ватники и нижнее бельё соседей по бараку.

Два раза в неделю, после обеда, зекам выпадала краткая передышка. Либо замполит, либо сам начальник отряда проводил с ними политзанятия, где вслух прочитывались статьи из партийной газеты «Правда».

– ТАСС сообщает... – торжественным громким голосом начинает попка-замполит, окидывая самодовольным взглядом стриженную под ноль аудиторию, и с чувством продолжает: – Заключённые одной из американских тюрем в знак протеста против нечеловеческого обращения с ними охраны, объявили голодовку. Вся прогрессивная общественность Америки глубоко возмущена вскрытыми фактами издевательств тюремной администрации над бедными заключенными. Советский фонд мира выражает солидарность с голодающими и клеймит американских наймитов империализма.

Колымские зеки, которых попка-замполит приглашает проявить пролетарскую солидарность с заокеанскими «коллегами» по неволе, угрюмо отмалчиваются. Но замполит настаивает, и тут не выдерживает, поднимается со своей лавки Семён.

– Дорогой наш гражданин начальник, – также торжественно начинает он. С аудитории будто невидимая рука снимает воздушное покрывало легкой дремоты, зеки переглядываются: что-то отчебучит сейчас их неуёмный товарищ, – мы тоже, как и советский фонд мира, глубоко скорбим за наших друзей по несчастью в Америке, мы с ними во всем солидарны, так и запишите, гражданин начальник. А еще впишите, ежели вас не затруднит, нашу просьбу: пусть в знак пролетарской солидарности все те пайки, от которых отказываются американские зеки, они перешлют нам сюда, на Колыму. – Семён перевел дух и закончил: – А то ведь мы уже семнадцатый день не видим даже мёрзлого хлеба, одна пустая баланда с сушёной картошкой.

– Ты что себе позволяешь! – замполит властно поднял правую руку, чтобы перекрыть гул недовольства, прокатившийся по бараку. – Ты почему заостряешь вопрос на наших временных задержках с доставкой продуктов в лагерь. Всем известно – зимники перемело, бури-то какие ломали здесь всё! Через день-другой дорогу расчистят и всё уладится. А ты, Манаков, льёшь воду на мельницу врага, это тебе даром не пройдет.

Но, видимо, остатки совести где-то на донышке замполитовской души еще поплескивались. Это дерзкое, по сути антисоветское выступление Семёна дальше лагеря не ушло.

А быть может, разверстке политического дела помешали события, начавшиеся в зоне на другой день. С какой оказией и кто передал блатным из недалёкого вольного поселка фляжки со спиртом, тушёнку, галеты, осталось тайной, но к вечеру урки были навеселе, ну, а весёлых да сытых хлебом не корми, а дай порезвиться.

– Лапотники! Выходь на средину барака, – щербатый ухорез Чекмарь, пьяно пошатываясь, пробовал построить мужиков для одному ему известного спектакля. Подходил к нарам, стаскивал и сбрасывал на пол недавно пришедших с прииска зеков. Оголодавшие от пустой баланды, уставшие от кайлы мужики покорно сгрудились под тусклой лампочкой. – Я предлагаю

вам честную игру в «очко», с каждым отдельно. Условия такие: мой выигрыш – ваша жизнь, если кто из вас обыграет меня – кружка спирта тому. Я как честный вор даю вам фору: можете бросить жребий, кто первый со мной сразится. Время пошло!

Блатные, рассевшись на ближних нарах, одобрительно загудели: мы, де, тоже имеем желание поучаствовать, и нам бы тоже по мужику для игры!

Семён уже укладывался спать, когда к нему подбежал запыхавшийся Валентин и сбивчиво рассказал о том, что творится в их, соседнем с Семёновым, бараке. Раздумывать было некогда. Значит, последней капле быть кровавой. Семён собрал мужиков, послал троих оповестить в другие бараки, сказал, чтобы брали в руки всё, чем можно резать и бить, и злые и решительные мужики ворвались в барак, где уже начали разыгрывать жизни доходяг. Большое дело – единый порыв. Через десять минут все лагерные урки, избитые, без шапок, в разорванных кофтёнках и пиджаках были вытолканы на мороз. Зачинщик Чекмарь окровавленным мешком остался лежать посредине опустевшего барака.

Всполошилась охрана. Ослепительные лучи прожекторов расчерчивали стылое пространство, озлобленно лаяли овчарки. Огромная толпа мужиков, подгоняя пинками и тычками ополоумевших блатных, гнала их прямо на хорошо освещенную вахту, к воротам, у которых густой цепью встали автоматчики во главе с позеленевшим от злости кумом.

– Гражданин начальник! Отворяй ворота! Дай нам выбросить из лагеря эту поганую нечисть! И не вздумай стрелять! Нас тыща, все сметём! Даём тебе минуту на размышление, а потом всех урок мочим прямо здесь!

Нехотя, с тяжёлым скрежетом раскрылись ворота, и блатные сломя голову бросились прочь из зоны, туда, где хоть и лютый мороз, да есть шанс выжить.

Два дня бузила зона. Два дня урки стыли на снегу, согреваясь горячим пойлом в наспех натянутых палатках. Ультиматум мужиков был прост: любого блатного, вернувшегося на территорию лагеря, сразу же и кончат. На третий день подъехала колонна грузовиков, обмороженных блатных погрузили и развезли по другим лагерным пунктам.

Глава десятая. ШИЛА В МЕШКЕ НЕ УТАИШЬ

Пришло время поведать и о судьбе двух стукачей, скостивших себе сроки ценой жизни бывших подельников.

Март 53-го года. Утро. Морозный воздух настолько разряжен, что при выдохе глухо звенит пространство, а плевки замерзают на лету и о наст стучат уже окатышами. Сумрачная колонна заключенных угрюмо переминается на обледеневшем плацу, исподлобья наблюдая как не менее сумрачное – у многих почему-то припухшие и заплаканные глаза – руководство лагеря стягивается к низенькой, припорошенной снегом трибуне. Зеки с недоумением замечают, что даже сам свирепый кум в какой-то необъяснимой растерянности. Напряжение нарастает. Начальник лагеря выходит вперед и нерешительно стягивает шапку с кокардой. Вслед за ним обнажают свои головы и остальные офицеры.

– 5 марта перестало биться сердце вождя всех времен и народов великого нашего учителя Иосифа Виссарионовича... – куму не хватило дыхания, он всхлипнул, собрался с силами и почти выкрикнул: – Сталина!

Ошеломляющая тишина длилась секунд пятнадцать и неожиданно лопнула мощным рёвом «Ура-а!», слышимым далеко за лагерной высокой оградой. Помятые ушанки заключённых дружно полетели вверх. Люди ликовали. У опешивших потерянных офицеров вытянулись лица. Они еще с пяток минут помялись на плацу, и кум прорычал, что «сегодня в связи с кончиной вождя первого в мире социалистического государства объявлен всесоюзный траур, работ никаких не будет, дисциплинированно расходитесь по баракам».

Ветры перемен коснулись и этой, казалось бы, давно и бесповоротно закоченевшей от боли и смертей неласковой северной земли. К лету подгадала первая, бериевская, амнистия. Затем начали пересматриваться дела так называемых «врагов народа». Репрессивная пролетарская машина, как всегда увешанная крикливыми лозунгами и призывами, стала давать задний ход, выплёвывая на волю заглоченных ранее, да покуда уцелевших, как еще не так давно говаривал почивший намедни вождь: «временно изолированных». Так он выразился однажды в ответ на дотошный вопрос одного из иностранных корреспондентов, когда тот запальчиво спросил: сколько, мол, миллионов советских людей томится в тюрьмах и лагерях? Сталин ухмыльнулся в свои знаменитые усы и как всегда мудро и с расстановкой ответствовал: «Господин журналист должен бы знать, что в победившем фашизм СССР нет заключенных, а есть только временно изолированные граждане». И пожурил того, что, дескать, надо бы более дружелюбно относиться к стране-союзнице. И все присутствующие на пресс-конференции отодвинулись от этого корреспондента, как бы осудив тем самым незадачливого выскочку. По крайней мере, так растолковывал колымчанам уже известный нам попка-замполит.

Бурливая речка Быструшка, к середине лета мелея, отступала от обрывистых, подъеденных паводками берегов. В успокоившихся омутах, будто в глубоких тёмно-синих блюдцах с неровным окоёмом серого галечника, на дне ворочались тяжёлые налимы и таймени, по серебристым, переливчатым стремнинам, соединяющим эти омута, взмывали вверх по речке проворные хариусы. Заядлые рыбаки из вольнонаемных днями пропадали на Быструшке. И вот как-то под вечер трое из них перебрались через шивера по перекату и вылезли на мелкотравчатую прибрежную полянку, в глубине которой, перед светло-зелёной стеной листвяжного подлеска стояла могучая сосна. На одной из нижних, толстых веток её, хорошо видимые от реки, висели два мешка. Рыбаки заинтересовались, что бы это могло быть в столь отдаленном и нелюдимом месте. Подошли, глянули и в ужасе отпрянули: мешки были в тёмных пятнах от засохшей крови и густо облеплены жирными мухами. Да вдобавок от них пованивало так, что не каждый выстоит рядышком.

Прибывшие наутро из лагеря замполит, фельдшер и охранники с командой заключенных обрезали веревки, осторожно положили мешки на траву и раскрыли их. Окровавленные тела были голыми и исколоты, скорее всего, шилом, потому что раны мелкие, частые, напоминающие сито в бурых подтёках. Однако распухшие лица с обкусанными лиловыми губами были узнаваемы – ни одного укола шила на них не видать. Замполит, когда пригляделся к убитым, в сердцах матюгнулся, сплюнул, отошёл в сторонку, и уже больше не приближался, похаживая по-над речкой и временами досадливо сбивая прутиком головки скупых северных цветков. В трупах он признал тех двух «красных шапочек», что так тщательно оберегались лагерным началь-

ством на протяжении полутора последних лет. И ведь освобождены-то они были чуть ли не втайне, и зону покидали вроде бы без особой огласки, подгадывали так, чтобы никого в этот день из освободившихся не выпускали из лагеря, под разными предлогами перенеся им день выхода на волю. Но все равно варначье как-то вызнало и подкараулило. И где сейчас искать убийц, когда сегодня по бесчисленным, хреновым амнистиям зеки пачками покидают лагеря. Да, жалко ребят, такими преданными псами служили и так зорко углядывали всякую мелочь в зоне, так красиво рапортовали, видно, такой страх сидел в печёнках за предательство и смерть своих подельников, что лучше и не придумаешь. Верили, надеясь, что огородим и спасем их от расплаты, да вот не уберегли. Э-хе-хе. И замполит, ожесточенно сбив очередной цветок, вернулся к сосне, где заключенные уже прихлопывали лопатками небольшой холмик, под которым в мелкой могиле – мерзлота не дала вырыть яму на положенную глубину – нашли последний приют двое бывших блатных.

Глава одиннадцатая. «Я ЭТОГО ГАДА ЗНАЮ»

Прошёл еще один год послабухи. На Колыме теперь бывало различных комиссий и делегаций, наверное, больше, чем назойливых мух в вонючих хозблоках. Зимой Семёна перевели из их отдалённого от трассы лагеря в лагерь ближе к Сусуману, что означало по неписанным колымским законам грядущий пересмотр личного дела и возможное досрочное освобождение. Еще с осени закончил он при зоне краткосрочные курсы бульдозеристов, пригодился опыт работы с механизмами на Рубцовском танковом, опробовал на карьере, вгрызаясь стальным ножом в подорванную тротилом мерзлоту, силу гусеничного Т-50. Тогда же чуть было из-за этой железной громадины не отдал богу душу.

В негаданную декабрьскую оттепель они с напарником меняли лопнувшую звездочку на тракторе. Домкратом приподняли махину, подложили под ось деревянные колодки, и Семён заполз под днище, откуда сподручнее выбивать заклинившую переднюю звёздочку. Лишь два раза успел он ударить кувалдой с короткой ручкой. Звёздочка вроде бы подалась, но тут же накренился и весь бульдозер – вытаяла земля под одной из колодок – катки вдавились в рыхлый снег, и угол днища больно вжал через ватную телогрейку грудь Семёна в подтаявшую мерзлоту. Затрещали ребра. Перехватило дыхание. Если бы и дальше трактор продолжил свое сползание с колодок, Семёна бы раздавило как щепку. Но махина замерла. Перепуганный не на шутку напарник с минуту бестолково бегал вокруг бульдозера. Семён, пересиливая боль, прохрипел: «Давай за подмогой, не выдержу!». Парень убежал к бревенчатому гаражу, и скоро подъехал допотопный кран, место происшествия заполнили бесконвойные заключенные. Они деловито пропустили под днищем предусмотрительно захваченное с собой толстое бревно, чтобы трактор не смог вдруг продолжить сползание, после этого продёрнули трос под обеими наклоненными осями, и кран осторожно начал выравнивать бульдозер. Как только стало возможным, мужики бережно извлекли Семёна из-под нависшей над ним громадины и на куске брезента вчетвером понесли его в санчасть. Врач определил: месяц находиться Семёну в лазарете на голых досках без подушки и матраца – кроме ссадин и синяков были сломаны два ребра слева, а чтобы кости правильно срослись, нужна была жесткая постель.

Тягомотно вылеживать такому человеку, как Семён, без дела, и он, как только почувствовал, что вроде бы что-то там внутри срослось, сгрёб в сидор манатки и вернулся в барак. Вопросительно глянувшему на него отрядному он небрежно бросил: в лазарете, мол, мне скверно, жутко тошнит от запаха карболки, так что принимай назад, командир. Отрядный кивнул и поставил Семёна на довольствие. Он знал, что этот настырный зек все делает по-своему. Так, пару зим назад был с ним чудной случай, о котором потом с некоторым удивлением рассказывали в лагере. Возвращался однажды поздно вечером из поселка Семён, а ходил он тогда расконвоированным. Путь лежал через участок, где только что нарыли глубоких разведывательных шурфов – метр в ширину, два в длину, и до десятка метров вниз. Ночь тёмная, хоть выколи глаз. Семён понадеялся на свою зрительную память, да и в лагерь надо было успеть до вечерней поверки, поэтому не до бдительности, а лишь топай да топай подшитыми пимами по хрустящему снегу. Вот и рухнул камнем, как в пропасть, в свежий шурф, только свистнуло в ушах. Но в последнюю долю секунды инстинктивно успел Семён распереться по отвесным и стылым глиняным стенам локтями и коленками. Пока доехал до дна, стёр новые ватники на ногах и телогрейку в рукавах до дыр, а локти и колени прожёг до костей. Зато остался жив, правда, ночь протомился внизу, поминутно прикладывая иззябшие ладони то к нестерпимо ноющим и кровоточащим локтям, то к подкашивающимся онемевшим коленям. Утром зеки, приготовившиеся к спуску в шурф для продолжения рытья, ахнули, конвойные лишь покачивали изумленно головами, увидев вытащенного на верёвках из земли арестанта, которого уже успели объявить сбежавшим. Дивились, как он остался, низвергнувшись с такой высоты, жив, может, поэтому даже и в карцер не поместили, а от лазарета, после того, как были перевязаны бинтами раны, Семён и сам наотрез отказался.

Приходилось Семёну здесь, на севере, самому себе вырывать больные зубы. На четвёртый год одолела его цинга. Зубы гнили, выкрашивались, выпадали. А этот коренной вверху справа, вроде бы и разрушился, да, видно, корень оказался крепким, а вот нерв оголился. До того стало Семёну невмоготу, что хоть лезь на стенку, да кабы помогло! Промаялся день, к ночи думал, с ума сойдёт. Наконец собрался с силами и доковылял до соседнего, не жилого барака, приспособленного под сапожную мастерскую. На северах так заведено: сапожники днем спят, ночью, покуда зеки отсыпаются, чинят им обувь. Семён поздоровался с мужиками и попросил у одного из них плоскогубцы. Отошел в тень, достал из кармана початую бутылку спирта, полил горько напахнувшей жидкости на инструмент, давясь, отхлебнул большой глоток и сунул рифленые концы в десны. Нащупав и захватив корень, сдавил обмотанные липкой чёрной изолентой ручки плоскогубцев и резко дёрнул их изо рта. Боль вспышкой ударила в голову, полость рта наполнилась солоноватой слюной, зато корень вместе с волокнами дёсен можно было рассмотреть теперь под жестяным абажуром тусклого ночника. Остаток спирта выпили с сапожниками за здоровье всех присутствующих. Через неделю ранка во рту затянулась.

В придорожных перламутровых майских сопках с самого солнечного утра неведомая пичуга выводила простенький напев, мелодия которого напоминала звонкую и однотонную фразу: «скоро домой, скоро домой!». Семён и двое бесконвойных мужиков распиливали на деляне сучковатый сушняк на чурки. Стаскивали валежник и разделывали, уже выросла внушительная гор-

ка дров. Мужики были малознакомые, но вроде от работы не отлынивали. Раскряжевав очередную лесину, присели покурить, и вот оно начальство лагерное. Мужикам было известно, что в зоне сменился кум, но в лицо нового начальника лагеря до сегодняшнего дня никто не видывал. А он сразу взял быка за рога – начал с обхода приисков и прилагерных делян. Мужики встали, сдернули кепки с голов, цигарки подвернули в горсти. Но кум со свитой прошествовали мимо, лишь мельком глянув на вытянувшихся зеков, начальство торопилось на карьер, что в метрах пятидесяти, за болотистой лощиной. Только они миновали зеков, у Семёна невольно вырвалось: «А ведь я этого гада знаю! Нелюдь!». Да и как было забыть ему того свирепого, со шрамом во всю щёку, офицера, что когда-то расстрелял порожнее ведерко на брусничном склоне. Соседи по деляне молча переглянулись и взялись за пилы.

Вечером в барак пришёл дневальный из срочников и велел Семёну следовать за ним.

– Ну, что? Видно, зря я тогда пожалел тебя, надо бы пристрелить. Ягодник хренов! – хрипло прорычал кум, лишь только Семён переступил порог его кабинета. Жесткое лицо начальника налилось кровью, безжалостные глаза так и сверлили заключенного, спокойно встретившего эти пустые молнии – времена на дворе нынче не те, и об этом знали они оба. – Ты думаешь, руки у меня сегодня коротки? Ох как же ты ошибаешься! Эти либеральные игры скоро закончатся, и уж тогда-то я тебя найду! От меня еще никто не уходил! А теперь пошёл вон!

Семён смерил долгим взглядом взбешенного кума и вышел из кабинета.

Утром Семёна упекли на самый отдалённый лагпункт, где он пробыл в северной тайге безвылазно восемь месяцев, пока в январе 1955 года прокурорские о нем не вспомнили. Был пересмотр дела, суд, амнистия, а коль нет поражения в правах, то хоть сейчас езжай на материк. Ты свободен!

Кто из двух пильщиков вперед донес на него куму, этого Семён не узнал никогда.

Глава двенадцатая. ХОРОША ТЫ КАЧКА В РЕСТОРАНЕ

У юркого ходкого буксира, на который устроился Семён матросом, работы в магаданском порту всегда хватало: то надо срочно вывести в море сухогруз, то проводить до пирса пассажирский лайнер. Иногда буксиру выпадало тянуть баржи в отдалённые посёлки вдоль колымского, скалистого побережья. Две цели определил для себя Семён, идя в матросы. Первая – заработать денег, поскольку тех, что при освобождении дали в лагере на дорогу до материка, давно уже и след простыл. Вторая, и основная, цель заключалась в том, чтобы всякими правдами и неправдами попасть в закрытый режимный город Владивосток, а там каких-то пару часов до Находки, где еще в тридцатых годах нашла себе приют раскулаченная семья старшего брата матери, Семёнова дяди, Константина Андреевича Лукиных. Их адрес сообщила Мария в одном из своих писем на Колыму.

Экипаж из десятка матросов, в просоленных бушлатах и тельняшках, с весёлым капитаном и молчаливым, требовательным боцманом Семёну пришелся по душе. Люди были разные, некоторые, как и он, недавно из-за колючки, в работе настырные, в гульбе бесшабашные.

Как-то выпала их буксиру передышка. А коли есть окошко в деле, айда, братва, кому очередь на берег. Сборы недолги, шлюпка ждать не будет. Го-

ните, братцы: ты, Петро – штиблеты, они у тебя лакированные, ты, Серега – пиджак свой твидовый, а ты, Сёма – брюки клеш. В городских кабаках фасонистым особый фарт! Знатно – вдрызг! – гуляли матросы магаданского пароходства. Команда буксира, покачивающегося на приливной, ночной волне, вполголоса переговариваясь, ходила по палубе и завистливо вздыхала, не ложась спать. И не только их экипаж, а и остальные суда, ночующие у причала, тоже бодрствовали. Потому что главное действо начиналось за полночь, когда на освещённый фонарями пирс выезжал долгожданный грузовик-самосвал, кузов которого под завязку был набит пьяными до бесчувствия мореходами. Их по всем ресторанам Магадана собирала милиция и везла к тому месту, где они несколько часов назад твердым и жаждущим приключений шагом сходили на берег. Из кабины самосвала высовывался старшина и в рупор прокрикивал: «Капитаны! Разбирай каждый своих! Пока не померзли!». И повернувшись к шоферу, кивал: давай, мол, выгружай. Кузов медленно поднимался, и пьяные в стельку матросы кулями шмякались на пирс. Шлюпки от всех пароходов скользили к берегу, каждый экипаж отыскивал в шевелящейся куче своих бедолаг и доставлял на борт. Закон морского братства всегда исполнялся неукоснительно. Ведь в следующий раз увольнительная в город может осчастливить и тебя. И тогда уже тебе будут вручены все лучшие вещи, что имеются в личных чемоданчиках у экипажа. Тот, кто сходит на берег, одет должен быть с иголочки. И это тоже святое правило морских бродяг.

До мая проходил Семён на буксире. Получил приличные деньги, переговорил с капитаном сухогруза, идущего во Владивосток, и, несмотря на то, что ему, как недавнему зеку, въезд в режимные города был заказан, тот согласился взять Семёна матросом в рейс.

Глава тринадцатая. НАХОДКИНСКАЯ РОДНЯ

Дом за глухим забором, на одной из улиц Находки, уходящих в распадки субтропических сопок, Семён отыскал без труда. Постучал бронзовым кольцом в обитые железом ворота. Долго никто не выходил. Семён уж было решил перейти улицу и посидеть на лавочке, прилаженной снаружи у соседей напротив. Но внутри двора что-то звякнуло, громыхнул засов и ворота чуть приоткрылись. В широкую щель выглянул седобородый дед и негромко спросил: «Чего тебе надобно, парень?». Семён по синим глазам, высокому лбу и прямому носу узнал постаревшего дядю, у которого он часто с матерью гостил в детстве. «Не узнаешь меня, дядя Костя? Манаков я – Семён, сын Луки и Капитолины».

«Погоди, погоди, парень. Андрея у Луки знаю, Марию – помню. А вот тебя не признаю». «Да меньшой я самый. Вас когда ссылали, я пешком под стол еще ходил». «Погоди, погоди, обличье-то вроде наше. Капы и Луки сынок, говоришь, што ли? Ну, коли так, проходи в избу, гостем будешь».

Вечером, когда из грузового порта вернулись работающие там докерами два сродных брата Семёна Иван и Николай, в горнице уже был собран хороший стол. На домотканой скатерти, среди диковинных салатов из морской капусты и трепанга грудились салаты из редиски в сметане, возлёживали зелёные пучки лука с белыми, очищенными головками, рядом с мисками красной, зернистой кетовой икры соседствовали деревянные, долблёные корчажки с дымящимися, изящными, ручной лепки, пельменями. Наре-

занный кусками, сочащийся каплями вкусного жира палтус горячего копчения был для куража переложен золотисто-обжаренной корюшкой-зубаткой. В ладных берестяных туесах, возвышавшихся рядом с запотелыми графинчиками с холодной, остуженной в голбце водкой, томился такой же студёный брусничный морс. Узорная, плетёная из тала плоская тарелочка полнилась ломтями домашнего пористого хлеба. Его накануне испекла тетка Лукерья в русской печи, массивный шесток которой был виден в проём двустворчатой резной двери из горницы в куть.

– Со свиданьицем, Сёма, – Константин Андреевич в правой руке поднял гранёную на толстой матовой ножке рюмку, при этом левой торжественно оглаживая седую пышную бороду. – Выпьем за то, что как бы нас ни хотели угробить, а мы живы. Страшное колесо проехало по нашей родове: нет Луки, нет сестры, Андрей погиб под Москвой. Царствие им небесное и вечный покой. Где-то в Красноярском крае прижился брат Василий с семьей – не схотел глядеть, как переделывают, разоряют родимую деревню. А мы сколь хлебнули, когда с малолетними Коленькой и Ванюшей, в чем были, нас утолкали в товарняк и три голодных недели везли, как скот, а потом выгрузили в болота под Уссурийском. Чаяли, нехристи, – сгинем, пропадем. Не вышло по-ихнему. Все мы, слава Богу, сохранились. К концу тридцатых гнёт ослаб, и мы, почуяв это, перебрались сюда, к океану. Оно здесь и сытнее – море кормит, и паспорта выправили себе. А Николай наш, – дед кивнул в сторону внимательно слушающего отца чубатого синеглазого крепыша, – даже и японцев колошматил на Курильских островах. Ване не хватило лет, а то бы тоже помстил косоглазым за русско-японскую 1905 года, когда они отхапали у нас пол-Сахалина с островами. Я хоть и мальцом тогда был, да помню, как ревели бабы, оплакивая убиенных в Мукдене и Порт-Артуре мужей, сынов и братьев своих. Еще раз, Сёма, со свиданьицем, и – будем здравы!

Спустя неделю, крепко обняв напоследок вышедших проводить его прослезившегося дядю Костю, тётку Лукерью и братьев с их женами, Семён на попутном грузовике, обогнув по объездной дороге Владивосток, добрался до ближайшей железнодорожной станции. Там купил билет в плацкартный вагон до Новосибирска на скорый поезд «Владивосток – Москва», и вот уже колеса выстукивают на стыках немудрёную, но такую душевную мелодию: «Вперёд – домой! Вперёд – домой!».

Сразу проехать в Вишневую Семён решил погодить, а для начала посетить родню на Рудном Алтае.

ЭПИЛОГ

Минуло несколько лет. За это время отец съездил на Южный Урал, где продал родительский дом, а вырученные деньги поделил поровну с сыном Андрея, Юрием, превратившимся за эти полтора десятка лет в высокого плечистого парня. Тётя Мария, которую мы с младшей сестрой впоследствии звали только Лёлей, потому что она была нашей крестной, от причитающейся ей доли отказалась, сославшись на то, что у них с Иваном есть свой дом, и деньги брату и племяннику сейчас нужнее. Сродная сестра отца тётя Стюра познакомила его с нашей будущей мамой, Ниной Алексеевной, с которой она вместе тогда работала на хлебозаводе.

В первый год семейной жизни отец устроился бульдозеристом в геологоразведочную экспедицию, работал по заездам в тайге. А потом, присмотрев-

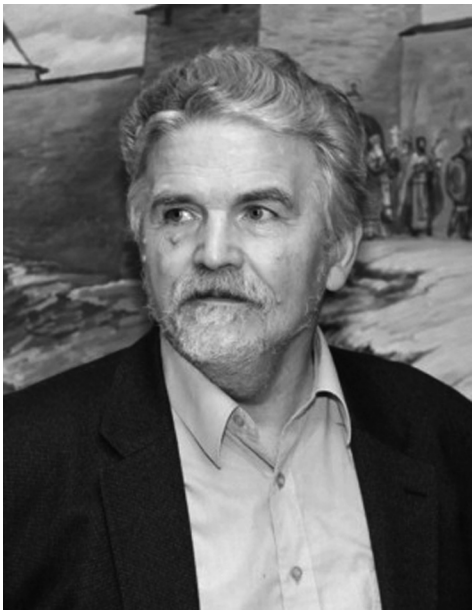
шись поближе к новому родственнику, родной дядя матери Михаил Григорьевич Лямкин, в прошлом герой-партизан Белорусского полесья, а ныне командир отделения военизированного горноспасательного отряда при риддерском полиметаллическом комбинате, крепко похлопотал, и отца взяли в отряд бойцом. И это несмотря на то, что судимость еще не была снята, и на левое ухо отец был, как известно, глух с детства. Всё, однако, объяснялось просто. У отца, прошедшего колымские лагеря, полностью отсутствовало чувство страха. Завалы в те годы и аварии на шахте случались едва ли не еженедельно. Породы слабые, осыпи, заколы. В штреке либо на подэтаже в камере обрушение, горняк придавлен кусками породы, надо спасать, нависают, готовые в любую секунду рухнуть многотонные расшевеленные каменные плиты. В этот ад добровольно вызывались идти бывший армейский разведчик Василий Федорович Антропов и бывший заключённый, мой отец Семён Лукич Манаков. Не один десяток человек спасли эти двое повидавших в жизни всякого горноспасателей. Наверное, поэтому на судимости и глухоту отца начальство закрывало глаза. И все восемнадцать лет, что проработал до ухода на пенсию, сначала бойцом, а затем и командиром отделения, отец, комиссию по слуху за него ежегодно на профилактических осмотрах проходил, в конце сороковых перебравшийся из Вишнёвой сюда, на Рудный Алтай, старший сродный брат Василий.

Сегодня я сам далеко уже не молодой человек. Посмотрел мир, пожил в нём, кое-что пережил. Что-то стёрлось в памяти, забылось, что-то хочется забыть, но есть и такое, при воспоминании о котором ком подступает к горлу, так жаль того, чего уже никогда не вернуть. А есть и одна, особенная картина в моей душе.

Мы жили в пятиэтажном доме в рабочем горняцком поселке на склоне, заросшем черёмухой и берёзами и заканчивающимся крутым обрывом, под которым грохотала горная белопенная река. За нашим домом и рядами кирпичных гаражей, по самой кромке яра предприимчивые горняки понастроили дощатых и шлаколитых сараев. В них держали кроликов, кур, поросят. Был такой сарайчик и у нас. Окна одной из комнат нашей квартиры выходили как раз на эти гаражи и дорогу к ним. Не однажды, не видимый отцу, я наблюдал через стёкла, как папка идёт по этой земляной, укатанной машинами и мотоциклами дороге с ведром наваристого пойла для наших поросят. Идёт он своей лёгкой походкой, а за ним, весело повиливая хвостом, бежит лохматый бездомный любимец дворовой ребятни, пёс Дружок. Отец, конечно же, останавливается, ставит на землю ведро, вылавливает из него куски каши и кладет рядом. Дружок подбегает и, не жадничая, аккуратно подъедает. А в это время из подвала нашего дома, через квадратные отдушины, каким-то своим сверхъестественным чутьем уловив, что их благодетель на дороге, выбираются живущие там кошки и, задрав к небу хвосты, радостно бегут к отцу. Он и им кладет отдельно на травку по кусочку. Поднимает ведро и продолжает свой путь к сараю, но теперь уже отец не один, а в окружении почётного эскорта из братьев наших меньших.

И вот именно эту картинку я считаю одной из самых трогательных и светлых, из всех тех, что хранятся в моей памяти.

Риддер, Рудный Алтай



Николай ДОРОШЕНКО

ЗОЛОТОЙ ВЕК

Историософское размышление

Глава 1. ***О том времени, когда меня во мне не было***

В тысяча девятьсот шестьдесят первом году в свои десять лет я почему-то никак не решался заглянуть в личико только что привезенного из роддома племянника – еще красненькое, еще словно бы недосотворенное, но уже обрамленное тем белым, с тонюсенькими кружавчиками, чепчиком, который сшила моя старшая сестра Нина, а теперь, значит, уже – его мать.

А тётя Фрося очень уж настойчиво меня подбадривала:

– Ты не бойся, ты подойди поближе, *оно* же тебя не видит! *Ему* пока еще ангелы небесные поют!

Да и Нина при этом мне улыбалась так, как будто я уже и не я, и она уже – не она. А её муж Алексей попытался было спичкой поджечь свою папиросу, но тетя Фрося сразу же его прогнала.

Видимо, сколько-то шагов я все-таки сделал в приближении к племяннику, но потом тихонечко отступил и вышел во двор к Алексею, одиноко и с папиросой в оскаленных зубах сидящему у порога. Он меня тут же подхватил за пояс, рядом с собой примостил, совсем не по-взрослому спросил:

– Ты-то хоть *его* разглядел?

ДОРОШЕНКО Николай Иванович родился в селе Сухиновка Курской области. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Член Союза писателей России с 1985 года. Автор книг прозы "Тысячу километров до Москвы", "Хозяин неизвестного музея", "Видения о Липенском луге", "Ушедшие", "Дерево возле дома" и др. Лауреат Большой литературной премии за повесть "Запретный художник", Литературной премия им. И.А. Гончарова за повести "Ушедшие" и "Выстрел" и др. Живет в Москве.

И я, уставясь на мысок его до блеска начищенного хромового сапога, вдруг понял, что и он, до сих пор одним только своим встрепанным чубом, одною только своею совсем уж занебесной улыбкой всегда повергавший меня в щенячий восторг, может оказаться таким же неприкаянным, как и я.

И с этого мига я полюбил его уже как обыкновенного человека, а не только как того вихря, который на своем редком по тем временам мотоцикле или иным способом вдруг возле нашего двора появлялся и столь весело да напористо с нами разговаривал, что каждый раз, когда Нину, им все-таки завоеванную, он уводил прогуляться до клуба, то и я, и даже мои родители какое-то время должны были приходить в себя.

– А правда, что ангелы ему поют? – спросил я у Алексея.

– Да так поют, что даже, ты ж видишь, тетка твоя меня от него прогнала! Только возле роддома сегодня утром дали чуть на руках подержать! – жарко и отчаянно ответил он и сунул в зубы новую папиросу.

Впрочем, в дальнейшие их церемонные у нас гостевания был он уже более спокойным, но – и не прежним парубком, а всего лишь веселеньким мужичком с теплыми и волглыми, как согретый воск, глазами в темных и острых ресничках. И едва мой племянник успевал хныкнуть с нашей кровати, поперек которой его укладывали, Алексей тут же устремлял к Нине свой вдруг весь заострившийся, как и его реснички, взгляд. И у меня сердце начинало щемить от этого его беспокойства, а Нина Алексею в ответ улыбалась как-то очень уж снисходительно; и мне казалось, что это от одной лишь её улыбки, медленной, для меня пока непривычной, племянник мой опять затихал. Алексей же, нашарив в просторном кармане своего пиджака папиросы, устремлялся на волю двора.

И я по своей щенячьей привычке вслед за ним выходил. А он то ли приобнимал меня за плечи, то ли даже меня ощупывал; и с восхищением мне сообщал:

– Вот станет он таким же, как и ты, хлопчиком с косточками, буду я его от мамки даже и на покосы с собою брать!

Мой отец тоже выходил к нам. Садился рядом с Алексеем, чтобы с торжественной оцепенелостью помолчать.

– Что ли и вам не позволяют его на руки взять? – начинал допытываться у него Алексей.

Отец ничего не отвечал. Потом, опамятовавшись, напоминал нам:

– К столу надо идти, а то всё стынет там...

Потом, как самое неважное, добавлял:

– А чё тебе, Алексей, его на руки брать, пусть растет себе оно и растет... А когда ты понадобишься ему, то никуда не денешься...

Потом, на Алексея не глядя, строго добавлял:

– Ты ото папиросы свои выкинь... Какой пример будешь подавать, когда оно вырастет... Ты ж с сих дней уже перестал быть парубком...

И за столом, чтобы не потревожить Колю (племянника назвали, как и меня, Колей), он в женские тихие разговоры не встревал.

А я уже вполне смело подкрадывался к племяннику, стремясь снова и снова увидеть, как он безмятежно посапывает в своем – словно бы от всех нас далеком-далеком – сне.

И казалось мне удивительным то, как он, все-таки уже почти настоящий человечек, в своей далечине пока еще не догадывается, что я на него – уже смотрю.

А вот теперь я много отдал бы за то, чтобы вспомнить пение также и своих ангелов.

Может быть, пение это еще не истаяло; может быть, где-то в самых уже неразличимых потемках моей памяти оно хранится. Может быть, я теперь всего лишь не могу различить его сквозь тесную толщу своих прожитых лет, а оно, уже и неслышное, само во мне потихонечку длится и длится.

Однако же, хоть и смутно, но помню тоненькое посверкивание голоса моей матери над, должно быть, моею подвешенной к потолку люлькою. Или – это даже не столько голос матери мне запомнился, сколько впервые запечатленный в моем сознании её образ, от которого все-таки сбереглось во мне вот это, как вечный небесный жаворонок, невесомо и неумолчно звучащее мерцание.

Трудно мне теперь угадать, что обнаружил я рядом с собой, впервые открыв глаза.

Да уже и стал я путать то, что запомнилось мне увиденным наяву, с тем, что увидел я в своих первых и причудливых сновидениях. Потому что, едва я просыпался, мать всегда с певучей радостью спрашивала: «А что моей пчёлочке золотенькой присни-и-илося?» И я невольно оглядывался в свой сон прежде, чем успевал его забыть.

К тому же, рождение моего первого племянника окончательно спутало всё, что я о своем младенчестве в тогдашние десять лет не успел забыть, а что из забытого, на нового Колю глядя, вдруг припоминал.

Например, когда мать по своей крестьянской простоте советовала Нине пеленать Колины ножки потуже, «чтобы они у него не кривенькими выросли», то я вроде бы как вспоминал собственные колени, стиснутые пеленками или – уж не знаю, во что меня заворачивали в послевоенной нищете моего тысяча девятьсот пятьдесят первого года рождения. И когда племянник приучился ползать, я, сострадая его ненасытному упрямству, обнаруживал, что и мои ладони да коленки всё еще хранят память о бугорочках узелков на наших самотканых половичках, о гладких, утром холодных, а к полудню горячих камнях у порога нашего дома, о шершавом, в гусином помете и пухе, пространстве нашего двора и о ласковой, как тонкий шелк, земляной пыли у амбара, в которой, видимо, издревле купались и нежились все поколения наших кур.

Моя младенческая память оказалась живучей еще и по причине того, что слишком долго на мне, как на самом младшем, было сосредоточено в нашей семье всеобщее внимание. Не давали моей памяти обесцветиться постоянные, из года в год, рассказы и пересказы о том, как и по каким причинам я рыдал, чем меня от рыданий можно было отвлечь, чему я, «делая губы колечком», внимал наиболее охотно и радостно.

Брат Саша был старше меня на пять лет, а сестра Катя – всего лишь на три года. Но именно они оказывались моими сторожами и пастухами после того, как мать, убаюкав меня, спешила на огород. И когда я просыпался, то они должны были со мною изо всех сил играться. Но я уползал от них в поисках матери, я начинал плакать, когда они моему устремлению препятствовали. И пока я полз, брат и сестра, видимо, играли в то, что вот я все-таки ползу, а они мне, как плененной божьей коровке, не позволяют выбрать неверный путь.

Хотя, не могу я теперь понять, как эти малыши, сами нуждающиеся в опёке, меня опекали. Да и через много лет однажды нашел я на чердаке сплетенную из тонкой лозы, наподобие корзины, «стоячую люльку», в которой,

как оказалось, мать всех нас в нашем беспомощном возрасте, спящих или бодрствующих, вслед за своими заботами по хозяйству переставляла, в том числе и на огороде. Может быть, всего лишь несколько раз она меня оставила на попечение сестры и брата, а я это на всю жизнь хоть и смутненько, но запомнил.

Да и предположим, что аж до полутора лет – но ведь не дольше же? – ползать мне было сподручнее, чем ходить. Но – ладони мои и колени всё еще отчетливо помнят гладенькую тропочку огородной межи, мягенькие кудряшечки травы по её обочинкам (эта трава почему-то называлась «гусиными лапками»), а также вездесущий молочай и суховатые, всегда припыленные листки подорожника. И невольно чуть ли не вздрагиваю я до сих пор, когда вспоминаю, как вдруг обжигал мое голенькое плечо свирепейший наждак стеблей или листьев подсолнухов, высаженных по обе стороны этой моей первой и, как мне тогда казалось, бесконечно длинной дороги. Еще помню, как вдруг под, видимо, особо крупными листами подорожника обнаруживал я внимательно вглядывающиеся в меня круглые и влажные глаза огромной лягухи, как пережидали мы вместе с нею свой осторожный друг к дружке интерес, и как она вдруг упрыгивала с межи в свою тайную лягушечью жизнь. И еще помню, как не без удивления поглядывали на меня ногастые кузнечики своими цяточками глаз, как я пытался хотя бы одного схватить, как эти кузнечики в сей же миг неизвестно куда пропадали. И помню, как брат опережал меня, когда я пытался сунуть себе что-нибудь или кого-нибудь в рот. Помню, с каким трудом проглатывался мною воздух, настоянный на теплой земляной влаге, на душных запахах картофельной ботвы, на медвяном гуле пчёл, на прозрачном и призрачном стрекоте и шорохе всяких иных насекомых; как сонный, но хладенький ветерок эти запахи и шумы то ли шевелил, то ли взламывал и тем помогал мне их все-таки вдыхать и выдыхать. И, помню, как уже в полном изнеможении я начинал различать голос матери: «А кто это мамочку свою наше-о-ол, кто это к мамочке припо-о-олз, а кому я огурчик, а кому я самую красненькую морко-о-овочку тута нашла-а!»

В теперешней своей взрослой жизни, когда день пролетает, как единый миг, мне, наверно, за многие годы не выпадает столько умственных и переживательных усилий, сколько испытывал я, проползая от порога дома до той огородной грядки, где мать и Нина ловко орудовали своими тяпками. Каждая былиночка была для меня удивительной и своим стебельком, и своими боязливо замершими листиками; каждые встречные муравей или жучок меня завораживали ниточками своих лапок, своими, похожими на посверкивающие бусинки или даже на сундучки, тельцами.

И, конечно, отчетливо помню себя уже не на четвереньках, уже самостоятельно поедающим неподалеку от матери то ли первую завязь огурца, то ли с первой краснотцой помидор, то ли огромный, скрученный в бараний рог, стручок сочнейшего сахарного гороха; то ли уже на полуголом огороде терпеливо ждущим, когда брат наконец-то выкатит палочкой из костра нестерпимо горячую картофелину или, например, обскоблит такой же обугленный корень сахарной свеклы, который я затем поедал как самую огромную и самую сладкую конфетину.

А вербы в конце огорода – таинственные, темные и чужеватые – обозначали границу, продвигаться за которую мне не позволялось. И что было там, за вербами, а так же – что таилось за всеми нашими плетнями, за воротами, за всеми доступными мне пределами, я не знал. Да, вроде бы, и не стремил-

ся узнать. Иной раз мать выносила или выводила меня на улицу, но на всё, что там мне встречалось, я глядел так, как теперь гляжу лишь на бесконечно далекие звезды, для жизни моей посторонние. Какая-нибудь старуха подходила ко мне, чтобы беззубо прошепелявить: «А вот заберу я тебя у мамочки! А вот заберу-заберу!», но мне достаточно было отвернуться, чтобы разглядывать уже не её усохшее лицо, а цветастую мамину кофту. Если же старуха не отставала, то я прижимался к маминому плечу и весь пропадал в нём – таком бесконечно теплом и мягком, что лишь в его укромнейшую тишину я невольно вслушивался и врастал.

Заметную часть времени проводил я, конечно же, и во дворе, где отец в иной день с утра до вечера тюкал и тюкал своим острющим топором по звонким бревнам, а я подбирал длинные, в кольца свитые щепы и тоже что-то свое из них то ли городил, то ли мастерил. А когда начинался дождь, отец меня ставил рядом с собой под скат соломенной крыши сарая, и мы молча глядели, как тонкие водяные струи стекают перед нами, слушали, как чуть в сторонке от нас вкрадчиво ропчет под колкими дождевыми каплями наш, как мне тогда казалось, бесконечно просторный сад.

Отец чаще молчал со мной, чем разговаривал. Потому что всегда так выпадало, что вместе с ним мы либо каждый в своем деле копошились, либо, «для передышки», смотрели на скачущих у собачьей миски воробьев, на кур, безруко слоняющихся у плетней, или – на беззвучнейшие пожарища заходящего солнца, или – даже на восходы огромной и красноватой луны. При этом я вцеплялся в полу отцовского пиджака или в его штанину, а он накрывал мою голову рукою, как большою и теплою шапкою.

Да вечно же мне было на что-то глядеть. Например, на огромную мосластую лошадь, которую отец приводил с колхозной фермы, чтобы вспахать огород или мало ли для чего другого. Или на собаку, вылезающую из будки и во весь свой алый рот зевающую. Или на петуха, зорко и грозно с плетня на всех нас посматривающего. Или на нашего гусака, который всегда на меня шипел, всегда пытался меня ущипнуть.

Впрочем, вряд ли я тогда гусака боялся так, как, например, уже в школьном возрасте страшился свирепейшего колхозного быка. Утром я стремился прокрасться на порог раньше, чем гусей выпускали к пруду; и не успевал как следует угреться на солнышке, гусак вдруг вскидывал голову, а завидев меня, начинал своим гусыням что-то гортанно кричать, а они ему что-то на своем гусином языке отвечали, а гусята тоже начинали пищать, мол, мы видим, мы тоже этого Колю видим! А нагоготавшись, гусак расправлял паруса своих могучих крыльев, и, уцелив в меня свой тяжеленный клюв, неспеша да косолапо ко мне устремлялся. И сердцу моему становилось так жарко, что я уже на месте усидеть не мог и заворожено полз или шел гусаку навстречу. Но тут чьи-то руки меня подхватывали, я взлетал над гусаком и с выси своей глядел, как он, победно крича, возвращался к стаду. Гуси же все разом встречали его такими истошными криками, что уши у меня закладывало.

Но, помня вот этот жестяный и надсадный гусиный звон в ушах, я не помню себя тогдашнего.

И свои оцарапанные коленки, и свои, вечно в занозах, пятки, и свои ладони, и свои обожженные подсолнуховыми наждаками плечи я помню. И как сердце мое, когда гусак на меня наступал, будто кипятком ошпаривалось, я помню, а себя, а того человечка, который моими глазами на гусака при этом глядел, я не помню.

Как на фотографиях остается все, что увидел фотограф, но нет самого

фотографа, так и в картинках моей памяти нет воспоминаний лишь о том, кем я в своем младенчестве был и что теплилось в моей душе.

Например, вроде бы я частенько плакал. Но было ли моей душе горько при этом? Или – еще чаще я чему-нибудь удивлялся либо радовался. Но – чем отличались все мои плачи от всех моих радостей?

Что ли они, как вихри в поле, хоть и во мне, но ко мне непричастно зарождались и сами неизвестно куда пропадали?

Или – кого-то я, например, нетерпеливо звал, кому-то о чем-то кричал. Но почему кричал? Какая у криков моих была причина?

По рассказам матери, я громко гыгыкал брату: «Гы! Гы!». «Гы-гы», – охотно и на моем языке отвечал брат, видимо, передразнивая меня. И потом мы, нагыгыкавшись, сияли друг другу глазами.

Но не из пустоты же сияли мои глаза брату Саше в ответ на его сияние?

Вот же, отчетливо помню себя в более старшем возрасте и уже от всех отдельного, уже во что-то свое погруженного, уже от кого-то уворачивающегося, а кому-то стремящегося попасться на глаза. Как, например, дядьке Максимычу, нашему соседу. Мол, гляди ж, дядька Максимыч, это я тут по улице иду, я! Чтобы он вдруг с восхищенным изумлением объявил чуть ли не на всё село:

– Люди добры! А поглядите, какой Мыколище тута вышагивает! Еще б усы ему под нос прицепить, да шашку сбоку подвесить – и от истинного казачка было б не отличить! Ай да хлопец у Григорыча уродился, ай да парубок у нас на селе появился!

И я при этом тайно пузырился и чуть не лопался от ощущения великой своей значимости. И понимал, что это я шлепаю по дорожной пыли босыми пятками, а не кто-то другой.

Но ведь и раньше все обязательно обращали на меня внимание, а вот что за существо ответно из меня выглядывало на всех наших сельчан, а также и на всех всматривающихся в меня кузнечиков, воробьев и ласточек, кто глядел из меня на наши огненно рдеющие помидоры, на надсадно орущего с плетня петуха – вспомнить я не могу.

Но – не могло же быть во мне тогда так пусто и тихо, как бывает пусто и тихо лишь там, где пока еще никого и ничего нет?

Или и на самом деле во мне в ту пору пока еще не душа теплилась, а сохранялась нетронутой та первозданная тишина, в которой только и можно было различить чистое и прозрачное, как сам невесомый воздух, пение небесных ангелов?

Глава 2. ***О том, как в начале жизни я, подобно Адаму и Еве, пребывал в райских кущах***

Теперь даже в переполненном вагоне нашего московского метро, где все мы, как шпроты в банке, друг к дружке притулены, если нечаянно за чей-то взгляд зацепишься, тут же куда-то в сторону свои глаза отвернешь, дабы не выглядело так, что покушаешься на частность такого же, как и сам, человека. И если он спросит о чем-то, ответишь вроде охотно, но именно непространным своим ответом вроде как проявишь уважение к этому человеку. И на улице если кто заговорит о чем-то неопределенном, вроде того, что, мол, как же надоела эта жара, то точно так же, как если бы этот человек споткнулся, а ты его за локоть осторожненько поддержал, ты отвечаешь ему вполне

участливо: «Да, дождик не помешал бы...» «Уже ж и трава на газонах вся выгорела!» – не унимается, допустим, этот неизвестный тебе человек. И ты вроде бы не молчишь, разговор продолжаешь вполне душевно. Но так и голубь, бывает, садится на подоконник моей кухни, и мы друг на друга смотрим, пока он не улетит или пока я сам не шагну к плите, чтобы снять с неё наконец-то зашумевший чайник. Но если б двойных стекол в окне не было, то и голубь, наверно, на мой подоконник не сел, а если бы и сел, я бы машинально его прогнал.

Вот и все люди в тесноте наших нынешних тротуаров и где угодно теперь друг на друга если и поглядывают, друг с другом если и вступают в разговор, то словно бы сквозь двойное стекло.

А иной раз идешь по улице, а навстречу женщина малыша за руку ведет. И малыш этот на тебя своими глазками глядит, и, допустим, пусть он при этом даже не улыбается, пусть он даже вроде бы куксится, но – все равно, весь он ясненький, так что и вся его кукса сквозь него просвечивает, как нити жилочек в кленовом листике, попавшем под ослепительный солнечный луч. Так что вдруг захочешь ты ему хотя бы подмигнуть, чтобы тем самым обрадоваться его пока еще легкой, как пух, жизни. Но, из приличия, эту свою радость утаишь, мимо, как и подобает уличному прохожему, пройдешь.

Хотя – все-таки нечаянную светлотцу от этого ребеночка в себе ощутишь и далее уже с этой светлотцой сколько-то минут проживешь.

А в ту далекую пору, когда я был таким же малышом, все мои односельчане по своему простодушию стремились мне в лицо заглянуть, все пытались меня либо погладить, либо даже потискать, либо, по крайней мере, сунуть мне конфету или пряник. И в памяти у меня остались ласковейше притишенные голоса этих со всех сторон устремляющихся ко мне односельчан.

Пройти мимо птичьих мельканий их рук было невозможно. Даже глухой на оба уха дед Яшка – мне особо запомнившийся своей приземистостью, необыкновенно широкими и кверху, как у орла, вздернутыми плечами, а также тонкой и длинной шеей, а также носом увесистым, вытянутым далеко вперед, и губами впалыми, будто проглоченными, – даже вот этот удивительнейший дед Яшка если заходил к нам во двор и, громко прокричавши моему отцу: «Иван Грыгорыч! Не одолжишь ли бурав на часок? А то, будь оно неладно, дырку кой-где пробуравить надо!», – то затем же и непременно спрашивал: «А твоего меньшенького почему не видно?» А обнаружив во дворе и меня, руки длиннющие растопыривал и, как гусак, шел мне навстречу. А затем, с растопыренными руками, обмирал, и непонятные губы его раздвигались в улыбке, а глаза умилительнейше зажмуривались. Отец подавал ему свой плотницкий, свой тяжеленный, не магазинный, в кузне выкованный и на каменном круге заточенный бурав, что-то и сам кричал ему в ухо, но дед Яшка не сводил с меня своих восхищенных глаз и уже как не глухой, уже голосом обыкновенным, тихим, пытался со мной заговорить. А я, может быть, даже рот раскрывши и не дыша, зачарованно глядел на его огромный нос, на его пожамканное, в глубоких и темных рвах морщин, лицо, на его будто проглоченный рот, на его огромный кадык, на его орластые плечи.

Полагаю, что в деде Яшке и во всех моих, в возрасте, односельчанах лишь с наибольшей непосредственностью проявлялось общее для всех много поживших людей стремление узнать в каждом детском лице то чистейшее мерцание, из которого когда-то вылепились и их собственные души, – затем, может быть, жизнью обугленные, болящие, но и хранящие, все-таки по-

мнящие в себе хотя бы самую малую искру изначального покоя и ничем не замутненного первородного счастья.

Потому как, где бы ни родился человек – в избушке ли, по пояс в землю вросшей и со слепыми окошками, или в вызолоченном дворце – в начальную пору жизни для него это были такие же райские кущи, как и те, в которых обитали самые первые люди – Адам и Ева – до их изгнания.

Когда твоя душа еще не знает ни добра, ни зла, когда твоя душа, как утренний воздух, абсолютно безмятежна, то вкус картошки так же приятен, как и вкус любого самого изощренного явства; и не было у меня тогдашнего гордыни, ради которой вкусу простого сахара предпочел бы я сладость более редкую. Да и вручную сколоченная и непокрашенная, воистину деревянная наша табуретка с её за многие годы отполированными до янтарного блеска жилами, с буграми её твердейших сучьев, с её, между толстых ножек, перекладинками, о которые можно упереть свои не достающие до пола пятки, была для меня тем же самым, что и для кого-то иного дорогущее кресло; да и ни что, – ни золото, ни серебро – так завораживающе не блестит под солнцем, как живая капля на промытом дождем оконном стекле, ни что так не драгоценно, как тонюсенькие розовые лепесточки обычного для тогдашних сельских изб цветка, называемого «семейной радостью», ни что так не удивительно, как неутомимый маятник жестяных часов, приржавевших к стене рядом с семейными фотографиями, как огонь, жарко мерцающий сквозь щели меж чугунными блинами грубки, как посапывание ветерка в печной вьюшке, как отцовский карман, в глубинах которого, едва отец возвращался с работы, нетерпеливо добывал я гостинчик, переданный мне летом от «ласточки», а зимой от «зайчика», и ни что меня так не насыщало уютным покоем, как несмолкающий голос матери, и ни что меня в моей жизни уже так не воодушевляло, как, например, вот эти «ласточки» и «зайчики», никогда обо мне не забывающие, вечно обо мне помнящие и вечно меня одаривающие если не конфетой, то необыкновенно вкусным кусочком хлебушка, который я не разжевывал, а – дотаивал во рту до его сладчайшей и воистину чудесной сути.

Мне довелось родиться хоть и в избе старинной, подслеповатой, по тому времени вполне обычной для нашего Курского края, но – установленной на высоком кирпичном фундаменте; и, конечно же, со светлицей, с кухней, которая почему-то называлась «черной комнатой», с просторнейшей печкой, с темным и широким жерлом подпечья, с множеством печурок, с широкими запечными полатями, а так же с сенцами, с кирпичным подвалом, с чуланом – притягательно сумрачным, освещенным лишь сквозь, величиной с кулак, отдушину.

Теперь не понятно мне, как мы все – мои отец, мать, брат, две сестры и я – в теснотушечке такой не наступали друг на друга, как помещались в черной комнате еще и другие полати, более широкие, чем запечные, а также накрытый клеенкой стол, посудница, лавки, табуреты, а в часы ежедневного «поранья» – еще и деревянное корыто для мойки картофеля, стада чугунов, ведер, кувшинов... Или – как в комнате «светлой» помещалась старинная, с резными спинками, кровать, всегда украшенная вышитыми подзорами и кисейным да кружевным покрывалами, самодельный, отцом выструганный диван, широкий и толстоногий стол, стулья, сундук такой, что на нем даже спать было можно, и сундук другой, в виде большого фанерного чемодана, ножная швейная машинка, дощатый шкаф, а также все те мелочи, которые уже не перечислить.

Но можно же было мне вместе с котом надолго от всех затаиться под просторным столом, можно же было мне подползти к подпечью и украдчиво заглянуть в его тьму, как в бездоннейшую пещеру, или подкрасться к самой нижней печурке и вытащить оттуда гребешок со сломанными зубьями, пустой спичечный коробок, катушку без ниток, или совсем уж крошечный пузырёчек, или почти не ржавый гвоздочек, или отливающую перламутром пуговицу, или совсем уж драгоценные, но, как ты их внимательнейшее ни разглядывай, совершенно не нужные бусины, или даже расписной, может быть, братом забытый глиняный свисток, или даже шпульки от того ткацкого станка, который отец зимой ненадолго устанавливал в «светлой» комнате, – так что, пока мать ткала половики или рядна, взрослому человеку можно было пройти мимо неё только боком, переступая через массивные и древние балки станочных стоп.

Даже притом, что на всю глубину печурок длины моей руки не хватало, богатства мои приумножались бы с каждым днем, если бы я их тут же не терял или если бы я благополучнейше не забывал о них, где-то вроде надежно припрятанных. Но с ненасытной надеждой на будущие свои поживы всякий раз я поглядывал и на печурки верхние, мне пока не доступные.

А в одной из печурок я однажды нашел, видимо, часть той конопляной кудели, из которой мать пряла нити для своего тканья. И когда я эту кудель попробовал вытащить, отец мне усмешливо сообщил, что это какой-то бородатый дед давным-давно к нам заходил, но бороду свою забыл, и вот теперь она его тут, в печурке, дожидается. И я уже к этой печурке не приближался. Хотя частенько глазами своими упирался в жутковато выглядывающие из неё волосья бороды, и не будучи в состоянии осмыслить эту тайну, щупал собственный подбородок, с которого, как пообещал мне отец, когда-то у меня вырастет борода такая же.

Помню, однажды, обнаружив фанерный сундук открытым, я вытащил оттуда отцовские, от войны, медальки, а мать, удачам моим обычно радующаяся, эту находку у меня отобрала, и я было разрыдался, но брат вдруг извлек из своего кармана куда более важное сокровище – складной ножичек. «Хочешь увидеть, как он режет?» – спросил он торжественно и подобрал у печки оставшуюся от растопки щепочку, и начал её строгать. Я, конечно, рыдать перестал, потянулся к ножичку, а брат с великою важностью меня предостерег: «Этот нож такой сильный, что у тебя он из рук, как царапучий кот, вырвется, и сделает тебе бо-бо...» И осторожненько уколол меня кончиком лезвия в ладонь. «Бо-бо! Бо-бо!» – с не меньшей важностью стал я показывать всем свою тронутую удивительным ножичком ладонь. Но напрочь забыл и о медальках, и о ножичке, когда увидел, что отец, вооружившись самодельным совком, отправляется в чулан за зерном для гусей. О, у меня мурашки по спине ползли то ли от холода, то ли от жути в этом нашем сумеречном чулане, где вдоль одной стены простирались массивные и, чтобы мыши их не прогрызли, окованные железом закрома, а над ними свисали с потолочных крючьев мешочища и мешочки с сахаром, с маком, с горохом и фасолью, с сушеными для взвара фруктами и мало ли с чем еще. А вдоль другой стены были полки, и кроме отцовских столярных и плотницких инструментов, которые я уже мог отличить, всё прочее на этих таинственных полках мне было непонятным и то ли виделось, то ли жутковато мерещилось.

Лишь в подвал мне долго не удавалось заглянуть, потому что, если его открывали, чтобы извлечь из него, допустим, банку с вареньем или капусту,

или моченую в капусте антоновку, то меня тут же кто-то подхватывал на руки, на что-то другое отвлекал, и я, по простоте своей, даже об этом таинственнейшем подвале в единый миг забывал.

Родительские или Нинины руки, а также Сашины и даже самые незамысловатые Катины хитрости, подобно явлениям природы, сверху и с боку, и отовсюду чинили препятствия всем моим устремлениям, но и тут же прицеливали на что-то другое. Все меня переставляли и передвигали с места на место, как табурет, вечно откуда-то меня выманивали и куда-то заманивали, и я, насытившись в кочевьях своих по дому, иногда садился поближе к матери на половичок и начинал хныкать, возможно, по тем же причинам, по которым, например, люди взрослые и степенные даже во время самых веселых застолий вдруг с особым наслаждением начинают петь какую-нибудь свою самую что ни на есть печальную, самую заунывную песню. Сестра Катя пыталась на что-то меня отвлечь также и от этого моего хныканья, а мать ей говорила: «Если ему так сподобилось, то пусть же он погудит...»

Еще не зная жажды добра, я никого из не позволяющих мне покрутить колесо прялки или достать из кошелочки первого и особо приманчивого цыпленочка не мог заподозрить во зле, а не зная горя, я не понимал, что счастливей, чем я, быть уже невозможно. Как сытая рыба-кит блуждает по океану, так и я блуждал под столом и вокруг стола, а также от чулана к печке, а от печки в светлицу, например, к совсем уж волшебной швейной машинке «Зингер», чтобы, не успевши вздрогнуть от прикосновения к ней хотя бы кончиком пальца, вдруг обнаружить, что Нина под ту табуретку, у которой в сиденье была дырочка от выпавшего сучка, ставит устланную тряпицей кошелочку с цыплятками, чтобы я, желтеньким и писклявеньким комочкам этих цыпляток не причиняя вреда, как Нина меня уже научила, кидал им сквозь дырочку пшенную кашку, а потом глядел, как пушистенькие цыплятки эту кашку склевывают своими крошечными клювиками. Ах, вряд ли кто-нибудь и для кого-нибудь, как для меня моя удивительная сестра Нина, создаст такую же – из табуретки с дырочкой, из застеленной тряпицей кошелочки с цыплятками и пшенной кашки – фабричку по производству той нежности, которою я согревался и насыщался, то кашку сквозь дырочку прокидывая, то под табуретку на удивительные живые комочки цыпляток, кашку склевывающих, заглядывая.

Да и уже мало кто, видимо, помнит, что когда-то каждый сельский дом был истинным Ноевым ковчегом, странствующим в вечных потопах крестьянского бытования. В пещере подпечья иногда вдруг появлялся в качестве жильца купленный отцом на базаре опасливый и глупенький поросеночек, которого невозможно было обнять так же, как и, например, кота, но, если удавалось почесать его за ухом, то он вдруг этой ласке подчинялся, становился покорным и смирным.

А еще иногда все пространство возле печки мои родители выстилали золотою, пахнущей морозом соломою, а потом вносили на рядне только что родившегося теленочка и укладывали на эту солому. И он тут же пытался встать на свои дрожащие ножки. И я заворожено на него глядел. Я пытался погладить его мордочку, а он пытался поймать своими мокрыми и теплыми губами мои пальцы, полагая, что это, может быть, коровье вымя. И мать давала мне бутылку с соской: «На, покорми своего дружка...» И вместе мы кормили жадного к молоку теленочка. Мать при этом бутылку держала, а я осмеливался её лишь касаться.

Все те несколько первых дней жизни теленка, пока его не переселяли в

коровий хлев, я не отходил от него, то трогал его шелковую шерстку, то просто глядел в его сказочные, в длинных ресницах, глаза.

А к весне под кроватью светлой комнаты и под полатями черной комнаты вдруг поселялись гусыни. Они сидели в своих плетеных из ивовых прутиков гнездах, и перед каждой стояли мисочки с водой и едой. И так было для меня в охотку дотянуться до теплых и с каждым днем все более бледных их клювов. «Чавш-чав-чавш», – шершавым шепотом они отвечали на мою ласку к ним. И ночью, засыпая, я слышал, как они мне вышептывали: «Чавш-чав-чавш». И так таинственна была их спрятанная под кроватью и под полатями жизнь. А потом вылуплялись под ними их шустренькие гусятки. Из гнезд мать пересаживала этих гусяток в просторшейшую кошелину. И мне, опять-таки, позволялось лишь глядеть на них, поскольку я, однажды одного выхвативши, чуть его от восторга не задушил...

А едва началось настоящее лето, из дома я выбирался, блуждал по необъятным просторам нашего двора, нашего сада, нашего огорода. И, как пчела добывает мед во мреющих огнях цветущих подсолнухов, так и я упрямо напитывался либо долгими созерцаниями вот этой пчелы, либо первыми сроненными с веток яблоками белого налива, либо накаленною солнцем, во рту жарко и сладко тающей малиной, либо – мало ли еще чем.

А недавно мне довелось найти в Интернете весьма добротное киноповествование о жизни того народца, который пока еще из лабиринта амазонских джунглей в наш нынешний взрослый мир из своего золотого века не выкарабкался и свой младенческий образ пока еще не утратил. Когда глядел я, как трое первобытных и бесштанных мужчин заостренными палочками ради пропитания неторопливо выкапывали анаконду из неким зверем покинутой норы, то в их воистину безмятежных лицах я считывал то, что в свои незапамятные детские времена испытывал и сам, когда с отцом мы кормили кур или гусей, когда возле матери я пасся на огороде, когда вместе с братом мы пекли в нашем осеннем костерке картошку и сахарную свеклу, когда с сестрой Катей мы щепочками проковыривали из дождевой лужи тонюсенькую ниточку собственного укромного ручейка.

Вот же, даже и изгнавши нашу пытливую человеческую породу из рая, Господь все-таки дает нам возможность оглядываться из своей уже отнюдь не райской жизни на покинутые нами райские кущи.

И орлиный дед Яшка с его длиннющим носом и огромнейшим кадыком, с его великой, сквозь первую, свозь гражданскую и сквозь вторую войны, сквозь голодоморы проросшей жизнью, – вот этот дед Яшка если растопыристо устремлялся ко мне, еще младенцу, то – только потому устремлялся, что понимал, что я пока еще тот Адам, который из рая не изгнан, который жизни в крови и в поте лица еще не знает.

Глава 3. ***О том, как я себя в себе обнаружил***

Потом я все-таки стал иногда прокрадываться аж к краю огорода, почти под вербы. Но огромные, сталисто посверкивающие кроны этих верб так незнакомо встречали меня, и с такою могучею и тяжкою ко мне безучастностью шумели на высоком ветру, что я, прозрачнейше постояв у них на виду с полминуты, помимо своей воли возвращался к тому месту среди огорода, где в своей цветастой кофте и с тяпкою склонялась над кудрями картофельной ботвы вместе с Ниной или без Нины моя мать.

При всем том, что мать никогда не упускала меня из виду, очень уж радовалась она моему возвращению или, вернее, моему все-таки бегству от далековатых и тревожных верб. Но вот только я, никогда не успевающий оголодать без её ласки, всегда этой её лаской пресыщенный, делал вид, что мать даже и не слышу, что сам собою я тут на огороде живу. А вернее, под защитною сенью её голоса я действительно жил-поживал так, как хотел. Лишь когда мать умолкала, когда на лице её обнаруживалось одно только строгое внимание к лезвию тяпки, стремительно подрезающему сорняки и заодно пеленающему картофельные стебли мягеньким порохом нашей живородной землицы, я, опять же помимо своей воли, приближался к ней, и либо утыкался носом в её бок, либо просто цеплялся рукою за её юбку. «Да как же птяшеняточко по мамочке своей соскучилось!» – опять радовалась она. И, оставив тяпку, начинала меня целовать и обнимать. А я из её объятий опять выпутывался, уходил, например, к густо усыпанной желтыми чашечками цветков огуречной грядке, чтобы проверить, не появился ли там огурец хотя бы толщиною с мой тонкий палец.

– А было ж времечко, когда тебя отлепить от себя не могла, – певуче жаловалась мне мать на меня самого. – Да для чего же я тебя в капусте искала, если к тебе теперь уже и не приласти́ться?

И кое-когда со стороны верб мимо нас в сторону двора, как вспугнутый заяц, очень уж шустро пробегал по меже мой брат Саша. И мать, с трудом разгибая натруженную спину, кричала ему: «Там на окне кувшин, дак ты хоть заодно молочка попей!» Он на её голос оглядывался, но лицо его оставалось и для меня, и для матери посторонним. И мне казалось, что это когда под вербами пробегал он с того лужка, на котором паслись наши гуси, то, может быть, ледяной вербный шум все его лицо выпил. Мать же опять начинала мне жаловаться: «Неужели и ты, пчелочка моя роднесенькая, к товарищам из своего гнездочечка вылетишь, и таким же, как Саша, малахольным станешь?..» А вскоре брат мчался обратно – уже с куском, толсто отрезанным от самопечной паляницы и обмакнутым в сахар. «Хлеба всухомятку наешься, а скоро обед!» – опять пыталась докричаться до него мать. А у меня тоже вдруг возникало желание откушать нашего ржаного хлебушка. И мать охотнейше уступала: «Ну, пойдем же, пойдем, отломлю и тебе кусочек, а заодно хотя бы разогнусь...»

Лишь отец оставался невозмутимым, когда Саша даже и на обед опаздывал, а прибежавши, еду в себя запихивал наспех и ни на кого не глядя. Мог отец лишь спросить: «А гуси где?» «Да в пруд я их загнал! – отвечал Саша вроде как недовольно. – Там хлопцы уже, небось, с обеда вернулись и купаются, так что и я побегу!» «Вот так растишь, растишь этих деток, а они, еще и не выросши, от сердца твоего уже спешат отлепиться...» – опять начинала жаловаться мать. «Ему в эту осень в школу идти, а ты его у подола хочешь удержать. Пусть же приучается жить положенной ему жизнью», – сурово отвечал отец и меня, пока еще от их сердца не отлепленного, поглаживал по голове своей шершавой, как подсолнух, ладонью.

А я и сам страдал оттого, что Саша прибегал с завербного лужка столь чужим. Помню, в один из ясных и, видимо, воскресных дней, отец не на работе пропадал, а, пользуясь погодой, разостлал по двору все наши самотканые рядна и высыпал на них зерно для просушки. А затем приказал Кате сменить Сашу возле гусей на завербном лужке, чтобы, значит, Саша тут во дворе прогонял от зерна очень уж вороватых воробьев.

Воробьи же сидели всюду: на плетнях, на ближних яблонях сада и даже

на соломенных крышах сараев. И отважно поглядывали они на отца. А едва отец отходил от ряден, сразу они серыми тучами устремлялись к зерну. «Пырр! Пыррр!» – кричал на них отец с такою свирепостью, что я и сам пугался. И, чтобы отец поскорее становился обыкновенным, я собственными криками начинал прогонять этих крылатых грабителей: «Пырль! Пырль!»

Саша обиженно и как-то боком-боком вернулся с лужка и, ни слова не вымолвив, уселся на угол крайнего рядна.

«Ты не сиди, ты и зерно иногда шевели, чтобы оно быстрее проветривалось. А после обеда будем с тобою его засыпать в закрома», – велел отец Саше и, напоказ пошуровав по золотому зерну своею ладонью, ставшей похожею на лопату, ушел. И воробьи тут же и с крыш, и с плетней, и с яблонь на рядна спикировали. Но брат, вскочивши, эту атаку их молча и мрачно отбил. Когда же они на свои прежние позиции вернулись, он принялся швырять в них всем, что под руку ему попадалось. И лишь после того, как в зоне нашей видимости ни одного воробья не осталось, опять мой брат стих и скукожился. И на меня даже не взглянул, когда я попробовал ему показать собственное умение зверски супить брови и комья земли кидать. Не обратил он своего внимания и на мою попытку шевелить золотое зерно выпрямленной наподобие лопаты ладонью. Так что уже ничего мне не оставалось иного, кроме как подойти к Саше, да и притулиться лбом к его остренькому плечу.

– Вот же, еще и с тобою тут нянчиться.., – вымолвил брат вроде и не сердито, но обращаясь явно не ко мне, а к собственным хмурым мыслям.

И в этот миг во мне, где-то под сердцем, вдруг впервые вспухло и зашевелилось нечто пока еще для меня незнакомое. Может быть, позже из этого горячего, перехватывающего дыхание комка, вдруг обнаружевшегося в моей груди, затем выткутся по отдельности и моя грусть, и моя щемливистая тоска, и мои самые жгучие обиды, и мои леденящие одиночества, но тогда это всё было слеплено в единый под сердцем комок, и я, не сумев ни захныкать, ни расплакаться, всего лишь потверже уперся лбом и носом брату в плечо и затих, полагая, что уж брат-то знает, как дальше мне быть.

То есть, всегда было так, что и отец с его топором, и мать с её либо чугунами возле печи, либо с тяпкою на огороде, и Нина с её веселым да ласковым нравом, и Саша с его всегда участливыми ко мне выдумками, и Катя, пытающаяся Сашу предо мною пересиять, до сих пор жили-поживали только ради меня, а теперь вот впервые я обнаружил, что у Саши есть та своя завербная жизнь, по которой он только-то и тоскует, в сравнении с которой я уже для него мало что значу.

То есть, получилось так, что душа моя для меня различимою стала лишь тогда, когда впервые оказалась отдельной от Сашиной, уже завербной души.

– Ты чё, так и будешь тут носом своим в меня дышать? – спросил брат, уже, видимо, ко мне потеплевши. – Иди к матери, там хоть гороха наешься...

Я послушно от Саши отлепился, но не на огород отправился, а в сад, к кустам смородины, в которых вроде как воробей какой-то все-таки затаился. Жалобным и уже одиноким голосом вскрикнувши: «Пырль! Пырль!», я и ком земли докинул в кусты, но оказалось, что за воробья я принял досрочно пожухший лист.

Потом я, брату ненужный, прокрался и на огород. Мать, собиравшая созревшие помидоры в большую корзину, тут же, конечно, начала радоваться моему появлению. Но именно обыкновенность этой её радости показалась мне предательской.

И я вдруг разрыдался так, как, может быть, еще никогда не рыдал.

И мать перепугано поставила корзину меж помидорных кустов, ко мне подбежала, стала взволнованнейше допытываться: «А что случилось? А кто моего пташеняточку обидел? А никому да я не позволю моего Колечку обижа-а-ать!»

Но эти, теперь уже не ко мне прежнему относящиеся и потому напрасные, её причитания лишь прибавили мне обиды даже и не на Сашу, и даже не на тот помидор, который мать в отчаянии начала мне совать со своими обычными, горячими, но – ко мне нынешнему все-таки безучастными словами: «А ты ж да глянь, какой приберегла я помидорчик тута, а ты ж да только откуси чуточек, а ты ж да и выплюнь, если тебе не понравится...»

И чем больше она старалась утешить меня, тем с большим отчаяньем я рыдал.

Она подхватила меня на руки и попыталась к себе прижать, но я с яростью, до сих пор мне неведомой, принялся визжать и вырываться.

И неизвестно, чем кончилась бы эта наша борьба, с её стороны, наверно, абсолютно слепая, да и моя такая же, если б не подошел к нам отец.

– Это почему он так орет? – расслышал я его хрипкий голос.

– Да сама не знаю, отчего вдруг будто сказился он... – с жалобною беспомощностью ответила ему мать.

– А ты его отпусти, – строго велел отец.

– Да куда ж такого его отпускать...

– А куда он хочет, туда ты его и отпускай... Не будешь же ты его вот так до скончания света держать...

Мать осторожно поставила меня на землю. И на этом не только мои рыдания в миг прекратились, а и вообще прекратилось всё.

Потому что, когда отец, уходя, напоследок сказал матери свое хмурое: «Ты ж, кого хочешь, можешь довести до скажения своими вечными причитаниями...», то я, сам не понимая зачем, поплелся вслед за ним. Да так потом и пробыл возле него. Отец шел в чулан возиться с закромами, а я стоял возле чулана. Он уходил в глубь двора вытряхнуть мешки от пыли, а я останавливался возле него; хотя вроде бы и в сторонке. Он туда, и я туда, он сюда, а я туда, но и – получалось, что вслед за ним.

И он, наконец, спросил:

– А ты чего тут, как рыба, плаваешь?

И я плечи свои угнул. Я, наверно, действительно был как рыба, готовая отчаянно занырнуть в для всех невидимую океанскую глубину.

А поскольку в рыбу я не мог превратиться, и потому деваться мне было некуда, то из своего одиночества я невольно вслушивался и в куриные квохтанья, и в гусиные гоготания, и в пчелиные жужжания, и в воробьиные чириканья, и в тревожные вздохи ветра в неподвижных яблоневых ветвях... И впервые под небесами я вдруг различил тонюсенькие, но очень уж беспокойные и настойчивые завербные голоса Сашиных товарищей. Словно бы, пока тут Саша молча томится у ряден с зерном, пока воробьи сторожат ту минуту, в которую он от зерна отвлечется, пока отец копошится то ли опять в чулане, то ли опять во дворе, пока мать собирает в кошелки помидоры, эти голоса, как искры из невесть когда и зачем потревоженного костра над всею землею вдруг взметнулись, да вот же теперь и не могут ни потухнуть, ни каким-то иным способом достичь для себя того мига, после которого им можно успокоиться и утихнуть.

Так почему же эти хлопцы там за вербами кричат и накричаться никак не могут?..

Мать, вернувшаяся с огорода и заметившая, что я стою, как вкопанный, и впиваюсь глазами в далекие, застившие своею шеренгою половину неба заогородные вербы, тоже прислушалась и со вздохом пояснила:

– Это там наши хлопчики, наверно, в лапту или в свой футбол играются...

И в сердце у меня стало нестерпимо пусто от того, что у меня самого нет повода таким же всполошенным криком от земли оторваться и взвиться под самые небеса.

А тут еще и со двора вдруг пулею улетел мой брат, все-таки отцом досрочно на свободу отпущенный.

Вечером же, пригнавши гомонливых гусей во двор, Саша уже никуда не спешил, был обыкновенным, даже сам подошел ко мне и с привычной, чуточку насмешливой ласковостью спросил: «А хочешь, покажу тебе собаку?» И действительно, его ладонь силуэтом своим стала похожей на собачью голову, и при этом пальцы его раздвигались так, словно собака еще и зевала или лаяла. И не успел я убедиться, что мои пальцы меня не слушаются, растопыриваются невпопад, он опять спросил: «А что у тебя в кармане есть?» В карманах моих большеватых штанов, от брата доставшихся, в три заворота засученных и на помочах подвешенных, всегда было много чего припрятано. И я долго выуживал то, что было менее драгоценным. Нашел, может быть, ржавую гайку, где-то во дворе подобранную. Брат не менее долго тряс её в своих сомкнутых ладонях, при этом успевал ладони размыкать и почесывать себе то ухо, то ногу, то где-то в боку, а потом вдруг показал мне два кулака и спросил: «А теперь угадай, в какой руке твоя гаечка?» После некоторых размышлений я ткнул пальцем в один из его кулаков. Он разжал кулак, но гайки в его ладони не оказалось. «Ну, а теперь где она?» – нетерпеливо спросил Саша. Я, конечно же, ткнул пальцем в другой его кулак. Но и там было пусто. И не успел я запереживать о потере гайки, он, от удовольствия даже и носом пришмыгивая, предложил: «А теперь в вот этом моем кармане пошарь, вдруг эта гайка такая, что сама и невидимо в мой карман запрыгнула!» И сунул мою руку в свой карман, где я свою потерю вдруг обнаружил.

Катя, завидуя моему восхищению Сашей, тоже пыталась меня чем-нибудь удивить. Но придумать ничего не могла. И потому ей оставалось лишь уличать брата в обмане.

Я же с каждым днем все крепче убеждался в том, что за вербами, где брат и его ровесники пасут гусей, одни только чудеса и творятся.

Особенно же меня поражало то, что Саша мог сомкнуть свои губы каким-то особым манером и свистеть ими гораздо ловчее, чем даже настоящим, купленным у ганчурника, свистком. В то время как из моих губ, сколько я ни старался, вылетала вместо свиста сплошная слюна. Иной раз от долгой натуги голова у меня разбаливалась, но – получалось только сссю, ссю, сю...

А когда я затем, стремясь быть похожим на брата, расхаживал по двору или по огороду в рубашке расстегнутой аж до пупка, тут же кто-нибудь, вроде бы как даже пугаясь своего недогляда за мной, за маленьким Колей, торопился застегнуть мою рубаху до самой верхней пуговицы. Но, словно бы полагая, что аж с лужка, аж из-за верб брат и его неведомые мне товарищи меня видят, я опять, как у Саши, пуговицы расстегивал, кулаки, как Саша, в карманы совал, ноги пошире, как Саша, расставлял, мол, не одни хлопцы там на лужке, а и я тута не абы кто и не абы какой.

И сосед Максимыч мне кричал из-за плетня, разделяющего наши дворы:

– О, Мыколе-Мыколе! Да ты всем Мыколам Мыколище! Ах, какой же паренек у нас уродился, ай, какой же у нас в селе казачек появился!

И я глядел на Максимыча и с благодарной враждебностью, и с ощущением своей торжественнейшей от него и от всех отдельности.

Лишь ночью одиночество было нестерпимым. Но мать напоследок после ушедшего дня с жаром целовала меня, а отец хоть и скупо, но и с невольною теплотцою говорил мне: «Теперь же ты засыпай», и я, укутанный их голосами, засыпал, одиночества своего уже не замечая, до утра забывая, что я уже одинок...

Глава 4. ***О том, как я решаюсь за пределы своего рая шагнуть***

Да, именно в тот день, когда Саша, из-за верб отозванный во двор сторожить зерно, столь сильно тосковал о своей, мне пока неведомой завербной жизни, что даже и на меня не обращал внимания, я помимо привычных куриных кудахтаний, ласточкиных безмятежных чириканий и всякого прочего привычного шума да гама стал различать в воздухе еще и голоса Сашиных товарищей, тонко и настойчиво с лужка доносящиеся.

Да, что-то под сердцем у меня само набрякло и вызрело, когда Саша, меня не замечая, не только ушами сторожил, а словно бы даже и ноздрями впивался в очень уж ненасытную тревожность далеких завербных криков.

И в последующие дни, подкрадываясь к краю огорода, я отчаивался и содрогался уже не от чужеватости холодных, ветром выстуженных высоченных вербных крон, а оттого, что крики Сашиных товарищей, пронзающих мрачноватую вербную шеренгу, оставались мне непонятными.

Но однажды, покружив возле матери по огороду, я к вербам невольно приблизился и сквозь их заслон прошел, а затем, наверно, не дыша, лишь цепко хватаясь за траву, росшую по краям представшей предо мною глубокой канавы, выбрался и на сам лужок.

И на меня вдруг обрушилось огромнейшее, воистину бесконечное и мне пока неизвестное пространство, пред которым даже высокие вербы, теперь оказавшиеся за моей спиной, присмирели, и за которым стали видны в совсем уж головокружительной далечине синие, подобные присевшим на землю облакам, наши холмы.

К Сашиным товарищам, кружком, кто на корточках, кто по-иному присевшим и игравшим, наверно, «в ножичек», я, понимая всё свое ничтожество, шел медленно.

Но и заметил, что чуть поодаль от их кружка стоят в таких же, как и у меня, штанах на помочах, и в меня глядят мои ровесники.

И еще более оробел.

И вдруг все братовы товарищи от игры своей отвлеклись, тоже стали в меня глядеть.

– О, Сашко, да это ж твой Колька тут наконец появился! – вскричал кто-то моему брату, и уже как Сашин брат, а не абы кто, я стал продвигаться в их сторону более осмысленно.

И – как всегда и везде, рука невесть откуда взявшейся матери меня подхватила, и я взмыл так высоко, что далёкие синие холмы от меня даже и отпрянули.

Но тут и брат из играющего «в ножичек» кружка вынырнул и радостнейше вскричал:

– Да ты, мамо, не бойся, пусть с малышнёю он тута побудет, а я его да простерегу!

И мать, подчиняясь радости его голоса, не просто покорнейше опустила меня на лужок, – нет, она поставила меня на мои босые ноги в мягенькую, гладко остриженную гусями траву с такою же обреченностью, с какою, наверно, яблоня перед морозами роняет на землю свое самое последнее яблоко.

Сашины товарищи сразу продолжили свою игру, а такие же, как и я, со штанами на помочах, ребята стали ко мне приближаться, стали меня окружать и ко мне примериваться.

А я, оглохши от простора этого завербного лужка или непонятно от чего, ног под собою не чувствовал.

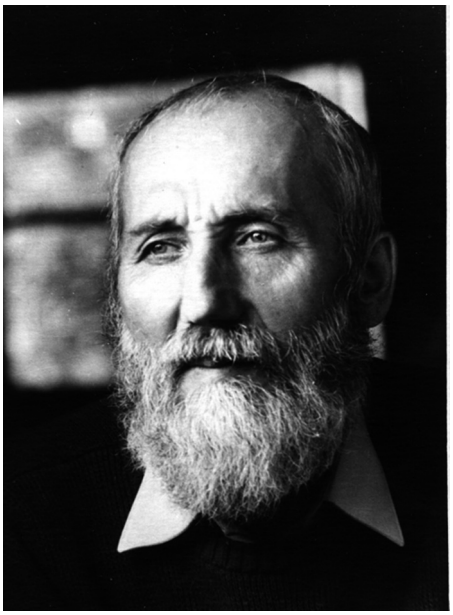
То есть, никаких мыслей в моей голове не появилось, ничего я не понял из нового своего положения и ни о чем не задумался.

Я просто стал на своих ровесников глядеть из последних сил, – уже готовый увидеть всё, что мне, если уж на то пошло, было суждено в них увидеть.

Или, может быть, я тогда от волнения не различил ни зеленого лужка, ни наших широченных, за лужком, полей, ни наших далеких и прозрачных, с небом сливающихся холмов, ни вот этих своих, в засученных штанах, будущих товарищей. Может быть, я всего лишь с опаской ухватился за подол своей матери; может быть, затем она сама меня подтолкнула к ребятне, мол, иди уж.

Может быть, это потом, во все следующие дни, я наконец-то разглядел и уже на всю жизнь запомнил наши заогородные, наши завербные просторы, а тогда я, может быть, сквозь мглу самого великого в своей жизни волнения даже и лиц своих будущих товарищей не мог различить.

Но – именно так, а не как-то иначе, началась та моя новая и уже вольная жизнь, в которой я помню себя среди своих вдруг обретенных товарищей то в обмороке безмятежнейшего с ними единения, то в самых трагических противостояниях с ними; и, наверно, – я был в той своей новой жизни похожим на муравья, упрямо шевелящего всеми своими лапками ради каких-то своих уже одиноких, уже никому, в том числе и самому ему, муравью, неведомых смыслов, объятого одним только слепым и жадным азартом к жизни такой, какая она есть на самом деле.



Сергей ЩЕРБАКОВ

АЛЕША И СВЕТА

Рассказ

Как говорят водители, «поймал я колесом гвоздь». Пришлось ехать в автомастерскую. Мужики здесь, почти как в бане: травят анекдоты, спорят о политике, конечно, про женщин не забывают и матерятся без удержу... А новый слесарь Алексей, чинивший мою машину, резко от всех отличался. В общем веселье не участвовал, на соленые шутки в свой адрес и бровью не поводил. Вспомнился Пришвин: «Человека невозможно унизить, если он сам не унизится». Я почувствовал в Алексее родственную душу: мне тоже было здесь скучно, душно... Потом узнал, что он воевал в Чечне, и понял, почему при знакомстве вспомнились строки из песни «Стоит над горою Алеша, в Болгарии русский солдат...». Алеша – солдат из Чечни.

При встречах с Алексеем я всегда разговаривал с ним. Однажды прямо спросил: «Веруешь ли в Бога?». Алеша ответил уклончиво: «Кто на войне побывал, тот не может быть неверующим». Мне очень хотелось развеять его постоянную грусть. Я рассказывал, что настоящая жизнь не только на вой-

---

ЩЕРБАКОВ Сергей Антонович родился в 1951 г . в забайкальском селе Мухоршибирь. Служил на корабле в одном из красивейших на земле мест, в краю вулканов и гейзеров – на Камчатке. После демобилизации строил Вилюйскую ГЭС. Автор книги прозы: «Царапина», «Путные рассказы», «Про зырянскую лайку», «Рабочая собака», «Ближние» и др. Рассказы и повести печатались в журналах «Молодая гвардия», «Москва», «Наш современник»... Почти все рассказы звучали в радиоэфире. За рассказ «Про гусей» Сергей Щербаков удостоен международной литературной премии имени Андрея Платонова «Умное сердце». За книгу «Ближние» присуждена премия имени Евгения Носова.

Живет и работает в Москве и в ярославской деревеньке Старово-Смолино, в трех верстах от древнего Борисо-Глебского монастыря.

не, что у нас в Борисоглебе она прекрасна, – надо только прилепиться душой к монастырю, пройти в Иринарховском крестном ходе, и тогда можно очутиться в *Борисоглебском лете*.

Я делился с ним драгоценными камушками *Борисоглебского лета*: именно в Иринарховском крестном ходе уразумел, что если бы после возвращения из армии исполнил просьбу мамы, посидел первый вечер в семейном кругу, а с друзьями – на следующий день, то моя жизнь пошла бы прямо, прекрасно. Но я побежал сразу к друзьям, и столько потом нагрешил, накуролесил – не приведи никому, Господи! В *Борисоглебском лете* я узнал, наконец, какое это счастье исполнять просьбы матери... Но Алешу и эти драгоценности не обрадовали. Я понял, почему. Он же не сказал: «Я верю в Бога», – а повторил известную истину: кто воевал, тот не может быть неверующим.

Потом Алеша вообще куда-то пропал. Однажды я смотрел новости из Чечни и даже вскочил со стула от радости: на экране возле боевой машины пехоты стоял мой подопечный. Журналист задал ему всего один вопрос: «Террористы хорошо воюют?». Алеша ответил: «Хорошо, но мы – лучше». Мелькнул на экране на несколько секунд, и всё. Словно только затем, чтобы я успокоился: жив мой Алеша, более того, он, наконец-то, в своей стихии. Впервые увидал на его лице улыбку. Но война закончилась и Алеша вернулся в Борисоглеб; снова тосковал, не мог найти себе места. Однажды встретил его в монастыре, но спешил он не на службу в храм, а, как многие невоцерковленные борисоглебцы, сокращал путь – входил в северные Сергиевские ворота, а в южные Сретенские выходил. Сквозил мимо. Выглядел мой подопечный угрюмо, и вином от него попахивало. Потому, когда он спросил денег взаймы, я не дал, хотя было это неимоверно трудно: Алеша из тех людей, которым даже как-то стыдно отказывать, как-то это не по-мужски мелко. Он это знал и удивленно глянул на меня.

В последний раз наши пути пересеклись возле его дома, напротив монастыря. Тень от высокой стены монастырской падает вечером на Алешины окна. Знаю: даже тень эта благодатна. Мой друг поэт Костя Васильев, тоже живший рядом с монастырем, всегда категорически отказывался переступать порог храма, а за несколько дней до смерти ноги сами привели его в монастырь. Был он крепко выпивши, зайти в храм святых страстотерпцев Бориса и Глеба у него не хватило духа, но, сидя на ступенях, Костя пообещал наместнику монастыря игумену Иоанну: «Я приду, приду...». И вскоре после гибели явился во сне матери и попросил передать в монастырь густо исписанный листок. Конечно, это было Костино покаяние, просьба к матери, близким: молиться за упокой его души. Такова благодатная сень монастырская – Бог разрешил ему явиться... Костя пришел...

Алеша уже садился в свою «Оку», но, заметив меня, остановился. Я сразу начал объяснять, почему не дал тогда денег, но он поднял раскрытую ладонь к плечу, мол, это лишнее. В двух словах рассказал, что у него всё наладилось, что работает теперь в Ярославле. Я догадался, почему наладилось, – наконец по своему военному призванию устроился. Алеша кивнул как-то уклончиво. Стало понятно: не в армии устроился, а где-нибудь в охране у какого-то ярославского богатея, но уточнять не стал. Надо было бы, сам рассказал. Только мелькнуло в голове, что это все же не за Родину воевать; что там, где большие деньги, всегда грязь; но сказал я другое: «Алеша, у меня новая книга вышла. Правда, тут о Боге много; будешь ли читать?». На этот раз он не стал повторять известные истины, а ответил прямо: «Это хорошо – я теперь

в храм хожу». На прощание, единственный раз в жизни, крепко по-мужски обнялись.

Сколько потом времени пролетело, я не знаю, может несколько месяцев, может год... Как-то в сентябре звонким солнечным деньком бабьего лета шли с Маришей по Борисоглебу, любовались осенним золотом, особенно кленовым. В начале прошлого века Есенин погрустил: «Клен ты мой опавший...». Да, ничего нет краше осеннего клена. Даже на земле пятипалые его листья долго не утрачивают свою красоту. На моей родине в Забайкалье кленов нет, и в детстве меня поражало, что на деревьях осенние листья так прекрасны, а на земле они такие жалкие, с ржавыми и черными пятнами. Сказал об этом Марише. Она живо откликнулась: «Летом листья и сами деревья сливаются в одно зеленое, а осенью каждый лист, каждое дерево видно в отдельности... Потому что перед смертью?». Я сначала не согласился, дескать, какая смерть, – когда такая красота. А потом понял, Мариша права: золотом осени Бог напоминает нам, что люди, как листья, пока они на дереве в небо стремятся – они прекрасны. И зазвучала в сердце строка из стиха моего друга Евгения Юшина:

Но черный лист грустит о всех,
В реке холодной проплывая...

Да, с Отцом Небесным – мы живы, прекрасны, как листья на дереве...

Возле Алешиного дома в палисаднике какая-то женщина копается в земле. Увидав меня, разогнулась, взглянула так выразительно, что я догадался: она меня знает и хочет что-то сказать. Но почему-то не решилась, и мы прошли мимо. Я предположил, что это Алешина мама. Рассказал жене о наших встречах с ним. Мариша, конечно, удивилась, даже опечалилась, что я не остановился.

Невольно вспомнил последнюю встречу с Валентином Григорьевичем Распутиным в Союзе писателей России. Он разговаривал с известным критиком Николаем Михайловичем Сергованцевым, но, увидав меня, взглянул также выразительно, как эта женщина. При всей своей сдержанности Валентин Григорьевич даже подался немного в мою сторону, но я почему-то прошел мимо. Теперь очень жалею об этом – что-то великий русский писатель хотел сказать мне... Когда Союз писателей выдвинул на Шукшинскую премию меня и Николая Дорошенко, Распутин одобрил: «Достойные люди». А у него слова на вес золота!

О встрече с женщиной я успокоил Маришу: «На обратном пути непременно поговорю с ней». Так и вышло: она все еще копалась в палисаднике: «...Да, я Алешина мама. Я вас знаю – у нас ваша книга есть». Спросил про Алешу. Начав говорить, она вдруг стала задыхаться, едва смогла вымолвить: «Алеши больше нет... Машина в Ростове сбила». Немного успокоившись, с горечью рассказала, что машина протащила его метров двадцать, что женщина, сидевшая за рулем, скорее всего открутится от тюрьмы... Я подумал, что мама Алешина неверующая – для верующего другое важно: успел ли перед гибелью исповедовать свои грехи, причаститься тела и крови Христовых, дела, Богом возложенные, довершить... Так и оказалось: на мое предложение помолиться в монастыре, чтобы утешить душу (я видел: от боли у нее заходится сердце – еле она слова выдавливала), Алешина мама покачала головой: «Я не верю». Я не стал ее уговаривать, но на прощание все же обмолвился: «Я подам в монастыре сорокоуст об усопшем рабе Божьем воине

Алексии и, наверное, напишу о нем». Видимо, откликнувшись на мои последние слова, она печально произнесла: «Он часто меня спрашивал: мама, ну почему я такой? А что я могла ему ответить? Я не знаю». Я тоже не мог понять, почему Алеша погиб так нелепо? Ведь он уцелел в горах Кавказа! К Спасителю пришел! Могу только предположить, что Всемилостивый просто спас Алешу, забрал к Себе, пока он ничего страшного не натворил – у богатых много грязи... Может быть, может быть... А что ещё? Я тоже не знаю, один Бог ведает.

Недели через две шел я полевой дорогой от нашей деревеньки Старово-Смолино в село Сабурово. Все эти дни Алеша не выходил у меня из головы. С тоской глядел я на голые пустые поля, на голое пасмурное небо, на голые деревья. Только затухающие костры берез еще грели душу. Но скоро и они догорят, и придет зима. Совсем тоскливо стало. Вдруг слышу над моей головой пронзительное: *курлы*, – словно кто-то зовет на помощь. Поднял глаза вверх – одинокий журавль. Силясь догнать свой далеко улетевший клин, отчаянно машет крылами. Перекрестил бедолагу троекратно: «Господи, сохрани его, пусть он долетит». Я всегда крещу перелетных птиц и молю Бога, чтобы они долетели. От одной мысли: сколько им надо морей преодолеть, сколько бурь, душа от жалости обмирает. С перелетными птицами есть у людей таинственная связь, только теперь редко кто ее чувствует. Еще в моем детстве отец, уже не встававший с кровати, часто просил поставить на патефоне песню «Летят перелетные птицы ушедшее лето искать...»; мама же тихонько вытирала слезы: «Не хочет Антоша от нас улетать...».

Всем, кто видит перелетных птиц, нестерпимо хочется, чтоб они долетали. Словно без этого жить нам нельзя. Мариша моя однажды даже удивилась: «Как ты их всегда видишь?!». Я ответил: «Я их жду...». Но чаще их сначала слышишь: журавлиное *курлы*, гусиное *га-га-га*, а потом уже ищешь глазами. Осенью я постоянно прислушиваюсь к небу – не летят ли мои дорогие, любимые, бесценные... Вспоминаю отца... и пою: «Летят перелетные птицы в осенней дали голубой, летят они в жаркие страны, а я остаюся с тобой. А я остаюся с тобою, родная моя сторона...».

Провожая взглядом журавля, подумал: Бог вложил ему в сердце, чтобы он курлыкнул надо мной – Всеведущий знал, что я его перекрещу и с помощью Божьей несчастный долетит. И Алеша, как этот одинокий журавль, отставший от своего «клина» воинского, сложившего головы в горах Кавказа и на русских полях, заросших всяким «чертополохом», «курлыкнул» надо мной. Подал я сорокоуст об упокоении его бессмертной души и каждый день молюсь за него с земными поклонами. Мать у него неверующая, отца нет. Некому за него у Бога просить, чтобы он долетел до Рая... А Алеша – русский солдат, проливавший свою кровь за Россию-матушку! Не мог Всесправедливейший допустить, чтобы никто за него не молился. Алеша за Родину хорошо воевал! И, пролетая надо мной, курлыкнул...

* * *

Догорели костры берез, и пришла зима. Сердце мое забарахлило. Иногда, словно гвоздь в него втыкали. Поехал на починку в Борисоглебскую поликлинику. Здесь при встрече в коридоре обыкновенно спрашивают: «А ты чего тут?». Спрошенный начинает виновато оправдываться... Как истинный борисоглебец я тоже теперь спрашиваю и тоже не расстраиваюсь, что очереди большие, а вступаю с кем-нибудь в обстоятельный неспешный разговор...

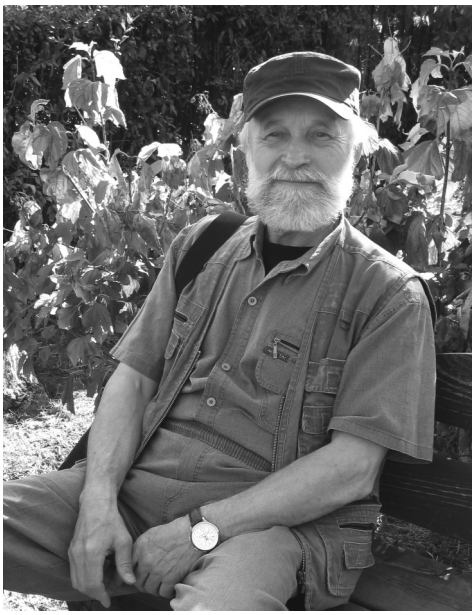
В процедурной встретила новая медсестра Света. С улыбкой, ласково встретила – сразу настроение поднялось. Уколы делает так, что не чувствуешь. Лекарство вводит, не торопясь, плавно. В отличие от некоторых своих коллег, ворчащих, что вены тугие, она уверила, что веночки у меня хорошие. Как-то подумал: «Прекрасная кому-то жена достанется». Спросил: «Света, жених у тебя есть?». Она просто рассиялась: «Есть. В армии служит. Сто три дня ему осталось». Я был потрясен: не месяцы, а дни до возвращения считает...

Потом не только в поликлинике, но даже с другой стороны улицы, вместо «здравствуй» я всегда спрашивал Свету: «Сколько еще осталось?». Она радостно: «Семьдесят пять... тридцать два... семнадцать...».

Когда «дни» закончились, я забеспокоился: многим девушкам очень нравятся вернувшиеся со службы бравые солдаты – как бы Светиного жениха тоже не закружили... Она дни считала, а он... Не выдержал я – наведался в поликлинику. Подопечную свою не застал, но узнал, что все слава Богу – Света с Володей сыграли свадьбу.

Через несколько месяцев снова попал к ней на уколы: «Все, Света, дни уже не считаешь?». Она опустила счастливые глаза: «Я теперь другие дни считаю». Понял: Света понесла под сердцем плод. Обрадовался вместе с ней. Жаль, не доживу до тех пор, когда ее дочь начнет «дни» считать... Иногда я прошу: «Господи, пусть у нас на Руси солдаты верно Родине служат, как мой Алеша служил, а их верные невесты, как моя Света, дни считают... И все у нас будет прекрасно...».

Деревня Старово-Смолино



Михаил ПОПОВ

СЕ ИСТИНА...

Новеллы, притчи

ПУТЬ К НАЧАЛУ

Притча

Посреди земли жил-был бедняк. Звали его Акер. Он имел крохотный надел. В лачуге его поселилась нищета, рубище было ветхим и жалким, а в сердце свила гнездо птица Печаль.

Акера удручало одиночество, беспросветность и бессмысленность существования. Но больше всего бедняка угнетала несправедливость, царившая в государстве. Баям да вельможам богатство, казалось, само течёт в руки, словно вода в широкий арык, хотя особого усердия они и не проявляют, а большинству, как Акер, достаются только жалкие струйки той живительной влаги.

ПОПОВ Михаил Константинович, 1947 года рождения, уроженец Русского Севера, с берегов реки Онеги. Образование – высшее, окончил Ленинградский государственный университет, факультет журналистики. Работал на оборонном предприятии, в геологоразведке, служил в армии, был профессиональным рыбаком. За его плечами – полдюжины газет различного уровня, в которых он прошёл все ступени профессионального и карьерного роста. Был создателем и редактором ряда литературных изданий. Сейчас главный редактор литературного журнала «Двина». Автор двух с половиной десятков книг, в том числе прозы, публицистики, изданий для детей и юношества. Некоторые его произведения переведены на основные скандинавские языки, одна повесть – на английский. Ещё одна повесть экранизирована. Лауреат ряда общенациональных премий и двух международных – имени М.А.Шолохова и «Полярная звезда». Живёт в Архангельске.

Возвращался как-то Акер со своего высохшего от зноя поля и встретил дервиша. Кому пожаловаться на судьбу, как не мудрому страннику! Может, совет какой даст. Ведь в ожидании неведомо чего и жизнь пройдёт. Не успеешь оглянуться, как подступит старость, а у тебя ни кола ни двора, ни жены ни наследников. Один как перст на всём белом свете. Даже воды некому подать.

Выслушав жалобы бедняка, дервиш отряхнул с хламиды дорожную пыль и сказал так: «Не горюй, брат! Ступай в Вавилон, там строится башня, – он так вскинул голову, что едва не обронил свой островерхий колпак. – Когда башня достигнет небес, ты следом за другими поднимешься к Богу и поведаешь Ему о своей нужде».

Послушался Акер странствующего мудреца, оставил своё чахлое поле и отправился в столицу. Дервиш сказал правду: башня и впрямь строилась. Она поднялась уже так высоко, что тень её покрывала четверть царства. До небес казалось совсем близко. Обрадовался Акер, что чаяния его скоро могут сбыться, и, не мешкая, присоединился к строителям.

Башня Вавилонская напоминала громадный муравейник, на котором копошились тысячи муравьёв. Она росла не по дням, а по часам, всё выше и выше возносясь к небу. И наравне со всеми копошился здесь Акер.

Как и все, Акер трудился от рассвета до заката, прерываясь только на скудный обед да короткий сон. А потом вместе со всеми вновь устремлялся на строительные леса, обуреваемый страстным желанием скорее достичь чертогов Бога. Но вот что он вскоре стал замечать: чем выше возносилась башня, тем становилось очевиднее, что у каждого здесь трудившегося – и простого каменщика, и десятника, и начальника – своя цель.

Когда башня достигла Первого неба, Акер узнал, что многие каменщики, как и он, мечтают испросить у Бога надел плодородной земли, полноводный арык, обильную скотину, широкое пастбище и, само собой, – просторный и светлый дом, в котором могло бы плодиться и радоваться жизни счастливое семейство.

Когда башня поднялась до Второго неба, открылось, что иные из десятников смотрят дальше: поднявшись к Вышнему, ты вправе уже и требовать чего хочешь, рассуждали они.

Когда башня вознеслась к Третьему небу, то обнаружилось и вовсе неслыханное: первостроители и начальники, достигнув Небесного царства, желают встать рядом с Богом, а может... и сместить Его.

Акера охватил страх: как они смеют! И неужели Всевышний это спустит? Ведь стоит Ему только бровью повести, как на ослушников обрушатся валуны туч, грянет оглушающий гром и полыхнут испепеляющие молнии.

Всевышний и впрямь разгневался, узнав о помыслах верховников. Однако испепелять заблудших Он не стал. Бог поступил иначе. Нагнав с окоёма туч, Господь обрушил на Вавилон такой дождь, который лил три дня и три ночи, а потом в радуге, что выгнулась над башней, как Его бровь, перепутал цвета. Только и всего. Зато чего достиг?

Радуга, отразившись в радужках человеческих глаз, произвела путаницу: белое одни стали принимать за чёрное или синее; зелёное иным казалось красным, а иным – оранжевым... Отсюда возникла сумятица. Каменщики требуют известь, а им заместо неё поднимают нефтяную смолу. На верхотуре ждут кирпич, а вместо него туда тянут древесный уголь. Дальше – больше. Неразбериха в цветах обернулась неурядицами в делах: верхние венцы стали качаться, рушиться, а вместе с ними – и порядок, заведённый в этом человеческом муравейнике. Каменщики перестали понимать десятников,

десятники – верховных строителей, а верховники – всех своих подчинённых. Все перессорились, переругались и, утратив надежду достичь Божьего Царства, один за другим разбрелись.

Акер покинул стройку последним, до того ему жалко было терять надежду. Выйдя за ворота Вавилона, он уже направился в родные места, чтобы возвратиться к своему скудному наделу. Но тут на его пути оказался ещё один дервиш. Выслушав бедняка, странник пал на колени прямо в дорожную пыль, словно подавая Акеру пример, и молвил так:

«Муравью ползти на небо – это грех. К Богу надобно обращаться с молитвой. – Он покорно склонил голову, придерживая свой пёстрый тюрбан. – Следует кланяться и твердить молитву. А чтобы она достигла Божьего Царства, надлежит вырыть глубокий колодец. Эхо и донесёт обращение Всевышнему. А чтобы эхо не рассеялось, колодец лучше рыть прямо под башней», – дервиш показал на рукотворную вершину.

Выслушав наставление, Акер вернулся в город. Там он собрал остатки строителей и поведал им о своей встрече. Воодушевлённые словами странствующего мудреца, строители вновь принялись за работу. Только теперь их взоры были обращены не в небо, а к земле, которую они рыли.

Глубинная страда длилась долго, ничуть не меньше, чем возведение башни. Котлован не раз затопляло подземными водами, которые становились особенно обильны в сезоны дождей. Воду приходилось вычерпывать, отводить её по арыкам, кои тоже надобно было рыть. Всему этому, казалось, не будет конца. И всё же однажды работы завершились. Колодец вышел глубокий. Его глубина оказалась сравнима с высотой башни, которая над ним возвышалась, они были равновелики.

И вот настал долгожданный час. Произнести заветное слово землекопы поручили Акеру – он должен был обратиться к Всевышнему и попросить у Него для себя и для них долгочаемых благ – ведь именно Акер сподвигнул их на новое дело. Акер кивнул, в знак благодарности за честь сложил на груди руки, потом помедлил, собираясь с духом, подошёл к краю колодца, опустился на колени и, склонив голову, обратился с молитвой.

Человеческий голос слаб, ему недоступны звёзды. Однако голос, многократно усиленный глубиной, зарокотал, как подземный дух, и, отражённый от дна, устремился к небесным звёздам. И тут произошло непредвиденное. От этого гласа с башенной верхотуры посыпались песок, известь, камни, башня задрожала, зашаталась. И едва Акер со своими товарищами выскочил из-под её венцов, как башня рухнула и, словно меч в ножны, вошла в бездонный колодец.

Всё происшедшее настолько поразило Акера, что он оцепенел и потерял дар речи, ведь рухнула не просто башня – рухнула его надежда, обратившись в прах.

Оглушённый, онемевший и убитый горем, Акер побрёл куда глаза глядят. Пыль от рухнувшей башни затмила белый свет, Вавилон и его окрестности окутал сумрак, и бедняга брёл в потёмках как слепой.

Долго ли коротко продолжались блуждания Акера – месяц или век, кто знает, ведь в смятении, как и в радости, человек не замечает времени, – но однажды в зыбкой пелене он разглядел огонёк. Двинувшись на свет, Акер увидел человека. Облик его был необычен: в чёрной бороде вились огненные нити, в чёрных глазах плясали отблески костра, а на круглой шапочке, которая покрывала голову, стоял тигель, и на нём, точно птица, билось пламя. Радушно улыбнувшись, Хозяин Огня пригласил Акера разделить тепло очага и скромную трапезу. Акер зарёкся ещё когда-нибудь знаться с

дервишами, но голод и холод поколебали зарок. Он принял приглашение и, молча поклонившись, сел на предложенное место.

Хозяин Огня угостил Акера лепёшками и ключевой водой. Тепло да пища размягчили закаменевшее сердце, глаза Акера наполнились слезами, и к нему вернулся голос.

«Где же истина?» – устало забормотал он, по привычке обращаясь к самому себе. Ответа он не ждал, уже заключив, что такового и нет. Однако неожиданно его получил. Хозяин Огня, выслушав печальную исповедь, утешать бедняка не стал, но сделал так: достал из своей поклажи медный шар, пронизанный отверстиями, наполнил его щепой сандалового дерева и возжёг, зачерпнув горстью огонь костра.

«Вот, – молвил он по-персидски, благоговейно глядя на огонь, – Атар – твой поводырь. Ступай за ним. Когда огненный клубок заменит среди бела дня Хвар Хшаета, Солнце Блистающее, – он возвёл глаза к небу, – ты познаешь Ардвахишт, Величайшую Истину».

С этими словами Хозяин Огня опустил медный шар в клубок перекати-поля, раздвинув его железные колючки, и кого-то окликнул.

«Вата!» – сказал он по-авестийски. На этот зов тотчас примчался ветер. Невидимые мехи вздули видимое пространство, и перекати-поле, а в нём огненный шар понеслись в ночь.

«Догоняй!» – велел Хозяин Огня.

Акер вскочил и кинулся за мерцающим светлячком.

«Кто ты?» – успел крикнуть он.

«Зара... – донеслось в ответ, а концовку принесла уже заря: – ...туштра».

Долгим был путь Акера к Истине – ведь подлинная мудрость не лежит на торных путях. Иногда он шёл за своим поводырём сутки напролёт. Иногда ветер-вата уносился прочь, оставляя странника в тишине, и тогда Акер отдыхал, кормил хворостом своего поводыря, пёк на его раскалённых боках нехитрые лепёшки. Потом ветер возвращался, и они вновь устремлялись в путь. То вслед за солнцем, то вспять. То при луне, то в кромешном мраке. Ветер-вата был непоседлив, точно человеческая мысль – никогда прямо, всё в метаниях да сомнениях, но к Истине ведь и нет прямых дорог.

Сколько длился этот поиск, кто ведает. И час, и день. И месяц, и год. И век и два. И ещё много... Но всему есть предел, свой отмеренный срок.

Однажды Акер оказался у ворот большого города. Было заполдень, солнце клонилось к земле, однако до заката оставалось ещё далёко, оттого огненный проводник едва мерцал. И вот тут-то среди бела дня на землю внезапно пал мрак, поглотив ближние и дальние окрестности. Огненный поводырь озарился неистовым светом. Ответно забилось сердце Акера, вспомнившего наказ Заратуштры.

А дальше было так. Стремительный вихрь взметнул перекати-поле и помчал огненный клубок мимо городской стены. Акер едва поспевал за ним. Ноги от быстрого бега закаменели, сердце рвалось из груди, норовя обернуться птицей. И вот когда силы почти оставили странника, огненный поводырь внезапно присмирел. Но отчего? Ведь холм, который ему предстояло одолеть, был не ахти каким крутым. На пути, бывало, встречались и горы. Что же замедлило его стремительный лёт?

Поравнявшись с поводырём, Акер подтолкнул перекати-поле и ветер-вата снова помчал его. Однако длилось это недолго. На пути вновь возникло препятствие – так заключил Акер, потому что внезапно огонь замер. Запыхавшийся странник вновь достиг поводыря. Он не ошибся – впереди

оказался столб, столб-то и остановил перекати-поле. Однако поводырь больше не рвался вперёд. Нетерпение и жар его сменились слабым трепетом, он никнул и опадал, готовый, кажется, угаснуть.

Переведя дыхание, Акер поднял голову. Сполохи присмиревшего огня осветили перекладину. То, что разглядел Акер, привело его в смятение. Это были человеческие стопы. Обескровленные, омертвелые, они были пробиты гвоздями. Голени в темноте едва угадывались, а тела совсем не было видно.

«Се Истина?» – вопрошающе прошептал Акер.

Он склонил голову, словно ожидая ответа от лучившегося в медном сосуде огня. В этот миг на клубок перекати-поля упал терновый венец – он был такой же сухой, как и колючки перекати-поля. На мёртвых шипах и ветвях его тускло мерцала запёкшаяся кровь.

Акер скорбно опустился на колени. «Ардвахишт – по-персидски не только истина, но ещё и месяц цветения», – вспомнил он и подумал, что эти сухие ветви уже никогда не покроются цветами – в мире нет такой силы, чтобы они ожили, даже если их напоит река. Акер вздохнул. И только он вздохнул, как случилось чудо: на тех местах, где запеклась кровь, вспыхнули цветы. Цветы были столь ослепительно белые, что чёрный терновый венец обернулся нимбом.

«Се Истина!» – ещё не до конца поверив, прошептал Акер и стал медленно поднимать голову.

СВЕТ НЕБЕСНЫЙ

Новелла

В селе Товуй, что прилепилось ласточкиным гнездом к крутояру Онежского озера, жили-были муж и жена. Детей у них не было. Мечтая о чаде, супруги неустанно взывали к Господу. И Всевышний услышал их. Уже в зрелые поры родился у них сынок. Назвали младеню Зосимой, что по-гречески значит стойкий, жизненный.

Богоданное дитя стало для родителей избяным солнышком. Мати и тятя души в чаде не чаяли. А Зосимушка рос ласковый да заботливый. Едва встал на ноги, всё норовил подсобить: воды наносит в ушатец, репище огородное прополет, курушкам пшена натрусит... А когда подрос – нанялся в подпаски. Пас разну деревенску лопоть – овечек, коровушек, лошадок. Да столь ладно у него это выходило, такая удоволенная животинка возверталась с луга, что через год-другой сельчане доверили отроку всё стадо.

Пасёт Зосима коровушек, козочек, ягняшей, играя на жалейке, доглядает за общинной пасекой, что стоит на краю цветущего луга. А помогает ему караулить домашню лопотину ручной медведко, который остался сызмала сиротиной и был вскормлен сердобольным семейством. Ни зверь, ни какой лихой человек и близко не подступятся к общинному стаду – мохнатый подпасок живо окорот даст.

Для животины да пчёл топтыгин был неусыпным стражем, а для Зосимы – верным товарищем, если не сказать – наречённым брателком. В селе их так и звали: Зосима-белый (за льняную головушку отрока) да Зосима-бурый. А родителям и любо это: почитай, два сынка в семье подрастают...

Проходило-пролетало пастушье лето. Наступала осень. Медведку по его лесовому обычаю начинали готовить к спячке. Зосиме, знамо дело, было грустно расставаться с таёжным брателкой, утайкой даже плакал, да делать нечего: природу обманывать нельзя, беду можно накликать. И он сам сытно

потчевал топтыгина овсом, отмерял ему щедро медовую десятину: мол, лакомься, мишута, нагуливай брюшину да вались почивать – животина стоит в хлеву, а тебе на зиму берлога на опушке сготовлена.

Славно жилось христовому семейству. Беды-напасти обходили стороной, никакое горе не омрачало жизни Зосимушке, его тяте и матушке. Глядючи на них, и соседи расцветали, учась ладному да справному житью. И всё село Товуй, ровно пасхальный пирог засияло, отражаясь в водах Онего-озера.

Не понравились благие перемены в Товуе нечестивому. Заело его, что миром-ладом живут здешние насельники, наслал он беса, повелев для начала извести отрока Зосиму и его родню. Бес так и этак подкатывался к изобке, где жило богоугодное семейство, – ничего не выходило. Ангелы небесные все напасти отводили от молитвенников. И всё же бес исхитрился...

Было это на лугу, где паслось стадо. Зосимушка играл на рожке, оберегая покой коровушек. Медведко лежал в тенёчке, в полглаза карауля окрестности. Ничего не предвещало беды.

И вдруг – жужжание. Медведко вяло отмахнулся – мало ли округ летает ос, пчёл да оводов. Но на сей раз он ошибся, то был не шмель, не пчела – это бес обернулся ядовитым шершнем. Не успел топтыгин глазом моргнуть, как шершень ввинтился в его ухо. Неистовая боль оглушила медведя. Он заревел, встал на дыбы, глаза налились кровью, он вмиг обезумел, превратившись из добродушного, покладистого топтыгина в лютого зверя. Ничего не соображая, медведь стал задирать коров, рушить ульи, а Зосиму, который бросился его усмирять, в ярости зашиб, сбив с его головы овчинную шапку, что покатилась в траву-мураву.

Стряслась эта беда в аккурат на Ильин день – светлый православный праздник. Илья Пророк на тот час как раз выехал на своей колеснице на небесные просторы, дабы полюбоваться Божиим миром да удостовериться, что всё идёт ладом. А тут такое...

Разгневался Громовержец, разразился молнией, враз утихомирив несчастного лесного буяна. А из уха того бес вылетел – мохнатый, ровно шершень. Трещит, шипит, как дымная головешка, норовит улизнуть, схорониться под защиту нечестивого. Да не тут-то было. Метнул Илья стрелу-молонью – от беса только сажа посыпалась.

А что же Зосима? Поверженного отрока Илья Пророк взял на небо, как некогда самого Илью взял на небо Господь. «Будешь кобылиц моих пасти!» – заключил он, а приметив, как закручинился Зосима о матушке да батюшке, посулил замолвить слово перед Господом, коли отрок небесную службу исполнит.

Вот так Зосима стал конюхом самого Ильи-Громовержца. Службу нёс прилежно и усердно, показывая и терпение, и смекалку. Небесные кобылицы, случалось, зарезвятся, заплутают во вселенских лугах – никакой оклик не достанет, не то, что погудка пастушеского рожка. Тогда Зосима обращался к пчёлам, своим верным покрученникам. Ведь это они, собравшись роем, подняли сбитую овчинную шапку и, водрузив её на голову поверженного отрока, вместе с ним очутились на небе. Поднимет Зосима краешек мохнатой папахи, скажет заветное слово «Окарай!», вот рой и вылетит из своего улика. Устремятся пчёлы в небесные дали, пулями полетят во все концы занебесья, и где хочешь сыщут ретивых кобылиц. А уж тем особого приглашения не понадобится. Едва заслышат настойчивое жужжание, как сами стремглав и сломя голову понесутся к небесной конюшне.

Миновало семь лет. Илья Пророк, довольный службой конюха, как и

обещано было, дал ему вольную. «Господь велит отпустить тебя на землю. Ступай себе с Богом да помни милость Его!».

Очутился Зосима снова в родном селе. Матушки и батюшки он не застал – они почили, не вынеся разлуки с любимым чадом. Погоревал-покручинился юноша на могилах родителей и, молясь за упокой их, обратил глаза к небу.

Господь дал ему жизнь, притом дважды. Как Его отблагодарить, чем ответить на такую милость? Тут раздался гром, хлынул светлый дождик, в лучах низкого солнца вспыхнула радуга, а в серёдке её восковой свечечкой засияла христова церковь. Это было знамение. Возвести храм – земную обитель Господа, вот что надлежит выполнить. Но где? В вечереющем небе замерцала Матка – Полярная звезда. Вот где!

С Онега-озера, родимой вотчины, отправился Зосима в полуночную сторону. Ноги привели его на край земли – берег Студёна моря. Там он встретил двух Божьих людей, Германа и Савватия, также призванных на христианское служение. Вытесали они чёлн, переправились с матёры на Соловецкий камень, оставленный Господом на серёдке морской хляби для Своего Замысла, и принялись обустраиваться. Для почина поставили поклонный крест, усердно помолясь, отрыли землянку, наплели мёреж для лова рыбицы... Пришла пора возводить обитель. И тут обнаружилось, что у христовых строителей нет единого замысла.

Савватий поминал Кирилло-Белозёрский монастырь, мол, вот достойный пример. Герману было любо, как на Выге всё обустроено. А Зосима молча поднимал глаза к небу.

Долго маялись христовые, усердно молились, ища разрешения своим сомнениям. Наконец сошлись, что остров – не матёра, а стало быть, и обитель здесь должна быть наособицу.

«На море, как на небе», – заключил Зосима и при этом зажмурился, словно воочию увидел занебесный свет. «Но какой?» – спросили его. «А вот какой», – сказал Зосима и поставил на камень-валун свою овчинную шапку. Из-под шапки потекли на белый свет его верные пчёлы. Они закружились в загадочном вихре и тогда перед пустынниками предстала дивная картина. Тут высились башни, похожие на баранью шапку, их соединяли стены того же замеса, а за стенами сияли белые храмы, которые венчали золотые купола. И до того всё выглядело благолепно, искусно и могуче, что христовы покрученники прослезились.

Ещё совсем недавно они маялись, колебались, спорили, не уступая один другому. Однако теперь с Божьей помощью все сомнения улеглись. Обитель будет, и будет такой, какой её представил брат Зосима. Ведь недаром же над его челом сияет медовый нимб.

ИМЯ

Притча

Роза. Это было её имя и её суть. Я имею в виду белую розу. Редко случается столь точное совпадение имени и человеческой натуры. Овал лица Розы совпадал с овалом распускающегося бутона, а цвет лица – с цветом нежных лепестков. Это совершенство не портили даже густые чёрные волосы. Напротив. Волосы прихотливо оттеняли матовость лица, в котором, казалось, не было ни капли крови. Собирая их в тугую длинную косу, Роза

вплетала маленькую, как мазок на китайской акварели, розовую ленточку. И по цвету эта ленточка напоминала её губы.

Для небольшого северного городка, который создан был в военных целях и работал на войну, Роза казалась существом странным и нездешним. Она выглядела укором милитаристской сущности места и времени, но одновременно – и некой зыбкой мечтой, идеалом какого-то далёкого светлого будущего.

Помимо обычной средней школы, Роза занималась в музыкальной. Она училась в классе фортепиано и в ту осень начала последний учебный год. Причём все семь лет Роза отходила в музыкальную школу с одной и той же изящной папкой. На папке была вытиснена лира, а ручками служили два черных шелковых шнура.

Роза жила с родителями в каменном четырехэтажном доме. Его строили пленные немцы. Улица, на которой стоял дом, называлась Полюсная. Она была устремлена, как магнитная стрелка, с юга на север. На этой же улице, только в южном конце, стояла двухэтажная деревянная музыкальная школа. Когда Роза, сосредоточенная на вариациях произведений Листа или Бетховена, шла в южном направлении, то есть к школе, то казалось, что следом за нею крадется зима. А когда, благоухая музыкой, Роза возвращалась с южной стороны домой, с нею рядом, держась за шелковый шнурок папки, шагала сама весна.

Такой видел Розу юноша Радий, её ровесник. Он тоже посещал музыкальную школу и жил в соседнем доме. Отец Радия был начальником физической лаборатории и страстным поклонником супругов Кюри. Своих детей он мечтал назвать их именами. С дочерью забот не было: Мария – имя интернациональное. А с именем Пьер в загсе возникли проблемы, тем более что шел второй год войны. И тогда, помешкав, отец назвал младенца по имени редкого белого металла, который сыграл в жизни супругов Кюри решающую роль.

Радия называли только Радий – и дома, и в обеих школах, и во дворе. Ни Радик, ни Радька – только Радий, до того он выглядел не по годам взрослым и серьезным. Это впечатление усугубляло поразительное сходство с отцом. Как и отец, Радий был такой же чернявый, такой же кудрявый, такой же изящно-носатый. Отношение к отцу, серьезному, сосредоточенному человеку, невольно переносилось и на сына.

Лаборатория отца, принадлежавшая военному предприятию, находилась за проходной. Отсутствие надлежащего режима, а ещё необычайное сходство с отцом позволяли Радию бывать там и что-нибудь мастерить. Но в те дни, когда у него бывали занятия в музыкальной школе, отец не дозволял ему приходить сюда. Спор между физиками и лириками, который разгорелся в следующем десятилетии, отец Радия решил досрочно, воздав должное и тем и другим. «Гармония – это порядок!» – поднимал он скобкой большой и указательный пальцы, это напоминало подковку магнита и одновременно вилку камертона.

Радий занимался в музыкальной школе по классу скрипки. Однако душой он больше тянулся к мандолине, потому что мандолина своими линиями повторяла овал лица Розы. Отложив скрипку, Радий глядел на мандолину и подолгу молча говорил с нею.

Это началось три года назад, когда Радий был еще подростком. Все эти годы Радий неотлучно следовал взглядом и мыслями за Розой. Но Роза упорно

не обращала на него никакого внимания или обращала, но не более чем на других. Чего только ни делал Радий, чтобы заинтересовать её!

В городке появились первые асфальтированные дороги, и Радий сделал самокат на подшипниках. Высекая букеты искр, он с торжествующим видом лихо пролетал мимо окон Розы, надеясь выманить её на улицу. Но тщетно. Роза не выглядывала в окно.

На другой год среди мальчишек городка началось увлечение поджигахами. Полый ключ или запаянная с одного конца трубка, гвоздь на веревочке, щепотка натолканной в отверстие спичечной селитры и – а-а-ах! – шляпкой гвоздя об угол дома. Грохот стоял повсюду, точно во время первой немецкой бомбежки, которую многие горожане ещё хорошо помнили... Радий размениваться на мелочи не стал. Усовершенствовав принцип поджигахи, он в лаборатории отца тайком смастерил пистолет. Причем пистолет не просто грохал – он стрелял. В начале очередного учебного года Радий выстрелил из него в ствол осины, стоящей возле музыкальной школы. Из сквозной осиновой раны потекла бледная кровь, а бурые листья вскоре побледнели. Роза увидела то, что сотворил Радий, но ни изумления, ни – тем более – восхищения он не дождался. Напротив. Роза насупила красивые брови и так прикусила нижнюю губку, что из неё выступила алая кровь. «Золы!» – скомандовала Роза. Юные музыканты живо исполнили повеление своей королевы. И Роза, мешая слова «зло» и «зола», золу и землю, и кропя всё это водой, самолично залепила рану осины. А чтобы рана скорее затянулась, перевязала осину лентой из своей косы и наказала своим слугам дежурить тут днем и ночью.

Радий был обескуражен, но виду не подал. Он собрал вассалов своего королевского двора – разнокалиберных малолеток и выдал им по кусочку мела. На всех заборах, на всех домах улицы Полюсной, на всем пути шествия Розы появились надписи «Р + Р = Л» – даже на дверях её собственного подъезда. Никто из писавших и даже Радий не ведали, что эта формула означает не столько реакцию соединения, сколько деления. А уж итог её знал, наверное, только отец Радия, хотя и тот по причине недостатка опытных сведений толком не понимал, что такое «лейкемия».

Долго искал Радий способ заставить Розу обратить на него её взор, пока ни понял, что самое сильное средство – сила искусства, точнее музыка. С помощью музыки, игры или пения сердца дам покоряли не только композиторы и исполнители, но и странствующие идальго, ваганты, миннезингеры... Серенады служили зыбкой, но крепкой лестницей к балконам возлюбленных во все времена.

Для своей затеи Радий выбрал самое зажигательное произведение, которое он знал, – «Чардаш» Монти. Он задумал сыграть эту пьесу так, чтобы гордая Роза, заслушавшись, наконец, раскрыла бы все свои лепестки. А для этого ему пришла в голову мысль усовершенствовать скрипку.

Первую, самую тонкую струну Радий покрыл золотом. Сперва он хотел сковырнуть золотую коронку со своего коренного зуба – такие коронки «на черный день» ставили всем членам их семьи, достигшим совершеннолетия. Но потом сделал проще – он откусил кусочек золота от фамильной броши своей бабки, пережившей ещё кишиневский погром и выжившей из ума.

Вторую струну Радий покрыл серебристым металлом, который стащил из лаборатории отца. Кусочек этого металла хранился в свинцовой капсуле, на которой было написано «Ra», а впереди стояли маленькие цифры «226». Капсула была красивая, но тяжелая. Радий оставил её на месте, а кусочек

металла запихал в нагрудный карман вельветовой куртки, которую носил и в музыкальную, и в обычную школы. Третью струну Радий сплёл из трех волосин. Одна была из гривы буланого жеребца, который уже месяц летал по арене приезжего цирка-шапито. Другая – из шиньона своей матери – артистки городского драматического театра, а третья – из косы самой Розы. Добыть волос с головы любимой Радий подговорил одного мальца-первоклассника, который осваивал в музыкальной школе геликон. На перемене тот как бы нечаянно, играя с ровесником, окатил Розу водой. Роза была вынуждена расплести набрякшую косу, чтобы высушить волосы и расчесать, вот тут-то шкет и умыкнул драгоценную добычу.

А крайнюю, самую толстую струну Радий свил из яремной жилы быка. Эту жилу он добыл на городской бойне. Но прежде чем вить, пропитал её бычьей кровью, последом коровы, а ещё перламутровой канифолью своих жгучих поллюций.

Сыграл Радий задуманную мелодию под вечер теплого сентябрьского дня, когда наступило бабье лето. Что это была за музыка! Весь дом, где жила Роза, отворил окна. Безумство, необузданная воля, гонимая по бесконечному кругу; неукротимая страсть; безоглядная нежность – тут было всё, что помнили составные новоделанных струн. Люди плакали и смеялись. Но Роза окно не отворила.

Роза полюбила другого. Роза полюбила Бога. Кто был её возлюбленный – говорили разное. Одни – что это Иегова, другие – что Христос. В коротких репликах поминались и адвентисты, и пятидесятники. В те вынужденно-атеистические времена люди стереглись рассуждений на такие темы. Но скорее всего юная Роза не отходила от традиций предков и обратила взоры к богу Яхве. Зачем еврейской девушке искать истину в другой вере? Её имени роднее сады Ханаана.

Ну а Радий? На исходе бабьего лета, когда зыбкая паутина, как вуаль, облепила лицо судьбы, Радия нашли под березой во дворе Розиного дома. Он застрелился из своего убойного пистолета. Из сердца юноши текла белая кровь. Все говорили, что кровь у него побелела от несчастной любви к беломраморной Розе. Но я думаю, что это не совсем так или даже совсем не так. Кто же называет человека именем радиоактивного вещества, тем более такого, у которого период полураспада полторы тысячи лет?!

ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ

Новелла

«Пыль с копыт в свой след не оседает».
Чингисхан

Времени нет. Есть только пространство. А время – это изменения в пространстве. И если ты это сознаёшь, то можешь пребывать в любой точке изменяющегося пространства, которое по привычке зовут временем.

Наш посёлок стоял посреди киргиз-кайсацких степей, где пространство измерялось гектарами, а время – трудоднями. Над восточным окоёмом еще висела пыль, поднятая конницей Чингисхана, над западными окрайками ещё зыбились миражи всадников Батыя, Чингизова внука, по южным отрогам ещё топотали некованые лошади Пржевальского, по северным рубежам ещё погибельно ржали конные армады Дутова и Фрунзе,

схлестнувшиеся в сече, а землю эту, утрамбованную мириадами копыт до железного гула, уже начали вспарывать шестилемешными плугами. Земля была чёрная, словно съестная конина, отбитая под кайсацкими сёдлами. Подмётки её, вывороченные стальными лемехами, живо прошивала навощённая дратва побегов. Испод выворотня мигом покрывался зелёной щетиной, щетина на глазах вздымалась, ость начинала колоситься, желтеть, прогибаясь под тяжестью зёрен, а потом в одночасье всё пашеничное поле никло под ножами косилок, и земля снова становилась чёрной, пока её не оболакивало снежным саваном.

Так минувшие перемены в пространстве я воспринимаю нынешними глазами. А тогда, в детстве, всё выглядело совсем иначе.

Наш посёлок стоял посреди целинных и залежных земель. Здесь всё казалось незыблемым и неизменным – и земля, и одноэтажные саманные бараки, построенные на скорую руку, и даже люди. Если что и менялось здесь, так только облака.

Посёлком и землёй вокруг него, раскинувшейся от горизонта до горизонта, управлял председатель колхоза, здоровенный широколицый дядька по имени Батыр, который настолько слился с конём, что, поглядеть нынешними глазами, напоминал кентавра. А небесным полем над нами заведовал Уча, самый старший из поселковой ребятни, почти подросток, но внешне маленький и тщедушный.

С утра Уча забирался на сараюшку, в которой хранился кизяк, брикеты торфа, сплющенные стопки перекати-поля, брал в руки кривой шест и начинал им размахивать. Со стороны поглядеть, он походил на голубятника, который гоняет стаю. Но на самом деле Уча разводил облака, погоняя одних в одну сторону, других – в другую. Так он объяснял.

– Уча на посту, – замечали соседи, – значит пора на работу.

– К дожжу, видать, – рассуждали старухи, которыми уже обзавелся наш молодежный посёлок.

– Дурачок, – необидно сплёвывал мужик-тракторист, забираясь в кабину своего ДТ-54.

– Убогий, – вздыхала Учина бабка, сокрушённо поджимая губы.

В апреле-мае Уча обыкновенно исчезал из посёлка, и возвращался назад к середине лета, когда, по выражению его бабки, завершалась «либеритация». На небесном поле в отсутствии Учи творилось неладное – облака не ведали ни своего места, ни назначенного пути. Требовалось устранять непорядок. Уча, сознавая свою ответственность, тотчас заступал на свой пост и приступал к наведению порядка. Трудился он дни напролет и не покладая рук, находя место и направление самому захудалому облачку.

Сократ, помнится, обронил, глядя с башни на толпу, что в поведении облаков и общества есть много общего. Учу общество не интересовало – душа его была устремлена к облакам. Облака были выше толпы.

К осени облака превращались в тучи, тучи, словно обросшие грубошерстные овцы, начинали сбиваться в отары, потом отары сливались в одну чёрно-серую овчину, из которой беспрестанно текла вода. В эту пору Уча сидел дома. Мы, соседские шкеты, тоже никуда не высовывались и так выходило, что один за одним шмыгали в Учину комнатку. Бабка Учина на наши слётки ворчала, но всё же не препятствовала им. Той порой, пока Уча был под нашим призором, она могла сбродить до сельпо или на почту, куда ей раз в месяц приходили переводы.

Сидя дома, Уча не бездельничал. Он и здесь продолжал свою учётно-

облачную работу. Только заместо небесного поля ему для этого служили листы бумаги. Каждую неделю бабка покупала ему тонкий дешёвый альбом, в котором Уча рисовал цветными карандашами «Спартак» или акварельными красками. Говорил Уча мало и плохо – ко всему прочему у него была «заячья губа». Но зато рисовал удивительно. И чаще всего облака. Облака были на всех пейзажах. Обыкновенно они занимали большую часть листа, потому что Уча по-настоящему жил только в небе. Но даже и дома, сооружения, которые Уча изображал, казались облачно-воздушными.

Один такой рисунок Уча мне подарил. Это была неведомая крепость, сложенная из валунов. Я никогда такой не видел. Книжек в наш поселок, где ещё не открылась школа, не привозили. Поселковая библиотека умещалась на двух полках правления и там стояли книжки двух типов – про шпионов и по агротехнике.

Потом, когда я уже стал учиться, то не раз обращался к этому рисунку, воображая, что это крепость Измаил, а позднее – что это бастионы замка Иф. А Уча, когда дарил этот рисунок, пояснил, что эту крепость строили из его облаков. Он подбирал облака и посылал в ту сторону, чтобы не переводился строительный материал. Слышать такое даже в детстве было странно. Но Уча до того убедительно объяснял, что сомнения как-то таяли, словно облака, утекавшие за горизонт.

Однажды обострение случилось почти сразу, едва Уча вернулся из больницы. В то лето дули беспрестанные суховеи, а в августе занялись похожие на пожары закаты. Вот такой закат и пал Уче на глаза. Закат полыхал сквозь длинные облака, напоминая горящий сруб, охваченный огненным маревом. Уча тыкал в небо пальцем, губы его кривились, грудь сотрясала икота, а изо рта вырывалась розовая пена. «Господи! – крестилась его бабка. – Бедное дитятко! Не забыл... Доколе же, Господи?!». И велела нам бежать к председателю, чтобы тот дал машину.

И ещё один рисунок, что вышел из-под руки Учи, я запомнил. Он рисовал его сначала карандашом, а потом акварельными красками. На листе был изображён дворец. Построенный из продолговатых светлых блоков, он походил на лёгкое облако, пронизанное лучами. Впечатление создавали его прозрачные, будто хрустальные, стены, а ещё – птицы, что обитали внутри. Мы были в недоумении – ведь это не скворечник, не клетка, пока Уча не пояснил, что внутри не птицы, а люди. Мы пригляделись. За хрустальными стенами проявились лица. По дворцу летали не птицы, а крылатые люди. А чтобы нас окончательно в этом убедить, Уча изобразил парящих людей и за пределами прекрасного дворца – одни стояли возле колонн, другие опускались на дворцовую площадь, а третьи парили над крышей. И что самое замечательное – у всех были счастливые открытые лица.

Облик счастливых людей окрылил нас. После этого мы принялись сооружать крылья. Мы мастерили их из вощёной, пропитанной солидолом бумаги, из обрывков толя, из мешковины и вовсю прыгали с дровяников, мечтая тоже воспарить, пока один из нас не разбился настолько, что его увезли без сознания в больницу.

Я не помню всего, что там было, в нашем посёлке. Помню только, что однажды Уча куда-то исчез и больше уже не вернулся. А следом исчезла и его бабка. Осталась от Учи только светлая, как облачко, память да ещё рисунок.

Служить я попал на Северный флот. Наш сторожевик гоняли по акваториям Баренцева и Белого морей. А однажды направили на Соловки. Вот тут-то всё и замкнулось.

При виде Соловецкого кремля в памяти моей возник Учин рисунок. Я немедленно написал домой, и мне этот рисунок выслали. Всё, что рисовал Уча, устремляя глаза в облачную даль, предстало передо мной воочию, а то, что предстало, полностью соответствовало рисунку. Я специально сравнил валуны в кладке Северной башни с теми, что изобразил Уча, и не нашел никаких различий.

Смятенный и очарованный, я долго сидел на берегу гавани Благополучия и смотрел на закат. У ног плескалась зелёная вода. Круги от весёлка преподобного Зосимы Соловецкого сшибались с зыбью очередного ядерного взрыва, докатившегося с Новой Земли или Хиросимы. И вот тогда я вспомнил другой рисунок Учи – хрустальный дворец и парящих счастливых людей.

С тех пор, точнее с того места в изменяющемся пространстве я брожу по свету в надежде отыскать то, что видел Уча. Сердце моё, как картушка намагниченного компаса, – повсюду, но стопы мои застыли посреди вновь заброшенных и вновь ставших залежными земель. Пыль, поднятая конницей Чингисхана, почти улеглась, только пахнет ещё пряным духом шафрана, что принес на лошадиных гривах и хвостах Удэгей, потомок Батухана, вернувшийся из похода к Ионическому морю. Я гляжу на все четыре стороны света, пытаясь связать концы и начала. Кругом ни варана, ни орла. Только суховей гонит из конца в конец огромный ком перекати-поля. Что это, гадаю я. Каркас облака, которое из далёкой дали отправил мне Уча? Или молекулярная решётка чьей-то не воплощённой мечты? Или остов глобуса как зримое напоминание того, что ковёр пространства уже сворачивается в изначальный свиток?

г. Архангельск

Алексей ЛИСНЯК

КОЛЯ ИЗ ДЕРЕВНИ ЗУЕВО

Рассказы

СЛОН ЗАБРАЛСЯ В ОГОРОД

Когда Володя Капустин овдовел, ему показалось, что жизнь окончена: сорок семь лет, дети разъехались, с работы сократили, ибо в век инноваций зоотехники никому не нужны, – одно к одному. Но хозяйственные хлопоты, как известно, врачуют. Было дело, раньше хлопоты врачевали покойную супругу, теперь же они принялись за его – Володино – исцеление. Он и сам не заметил, как «рана на душе» зарубцевалась, а слёзы высохли: в хлеву у Капустина мычит, в курятнике кудахчет, в закуте хрюкает – всё требует хозяйских рук. И в огороде тоже – не горюй, успевай-поворачивайся.

На полустанке, где сидят с домашним товаром сельские торговки, Володя занял место своей покойницы. Когда из электрички вытекал на платформу охочий до «экологии» дачный народ, Капустин громче соседок провозглашал своё: «Молоко, молоко домашнее! Картошечка, тёпленькая картошечка! Маслице!». Со своей тележкой вдовец проворно суетился и нерасторопные старухи, оказавшиеся вдруг при этаком соседстве в финансовой яме, сильно его невзлюбили. Ходили слухи, что бабка Галя, которая торгует прогорклыми семечками, посетила как-то местную шепталку, чтобы та извела

ЛИСНЯК Алексей Александрович родился в 1975 году в Воронежской области. Окончил Воронежскую духовную семинарию. Служил в армии. С 1999 года по сей день является настоятелем Богоявленского храма села Орлово Воронежской области. Прозаик. Печатался в журналах «Подъём», «Наш современник», «Сибирские огни», «Москва», «Русский дом», церковной и светской периодике. Автор книг нескольких книг прозы. Член Союза писателей России.

конкурента проклятого. Но знахарка, видать, накануне не выспалась и вместо того, чтобы околеть, Капустин смастерил себе тележку больше прежней и расширил ассортимент.

Дом энергичного вдовца приятели теперь обходили. Вечерами одинокий уставший Володя усаживался в кресло, гладил пухлого рыжего кота и смотрел дремотными очами программу «Время». Однажды сосед привстал на цыпочки, с надеждой посмотрел в капустинское окно, и скис: «Гляди ты, даже и не выпьет! Сбрендил, – и философски заключил: – Всё. Нет былого огня в Вовиной крови».

Но огонь в Вовиной крови бушевал! Правда, бушевал, в основном, по ночам, поскольку днём не до огней. После крестьянского дня Владимир зевал, выключал телевизор и вырубался. И снилась ему одинокая дачница Елена Сергеевна, которая проживала в доме с запущенным садом на краю села. Снились её длинные волнистые волосы, её не по возрасту хрупкий стан, её свободное длинное платье и не только. В полночном пруду плавала луна, седина лезла в Володину бороду, зудело ребро. А сны витали над его изголовьем, как в далёкой допризывной юности.

Однажды на улице дачница подмигнула Капустину, Капустин пришёл домой и произнёс: «Женюсь». Кот, дремавший в кресле, приподнял рыжую голову и услышал от хозяина следующее: «Пойми, балбес, человеку одному на земле противопоказано. По хозяйству одному уже никак. А дети? Дочке отправить надо? Надо. Двум пэтэушникам в общагу надо? Надо. И пирогов домашних хочется. Да и вообще. Сегодня и посватаюсь». Кот зевнул, покачал головой. В его зелёных глазах читалось: «Давай, приводи ещё рот на нашу сметану. Самим мало».

– Приведу, – пообещал Володя.

Актёр Тихонов в известном фильме как-то сообщал, что от людей на деревне не спрятаться, и был прав. Среди торговок на полустанке про Елену Сергеевну поговаривали, что будто бы на заре она купается нагишом, мяса не потребляет, а вечерами из её окон гундит странная песня, в которой поминаются такие предметы: харя, крыша, снова харя и почему-то рама. Какая такая эта рама, торговки не знали. А ещё у неё временами гостюют лысые друзья. Капустин смекал, в чём дело: сам когда-то живя в общаге сельхозинститута, дружил с бритым наголо лоботрясом Костей. Костя плясал на левой ноге, звенел колокольчиками для донки и горланил «харе Кришна». За прогулы Костю отчислили, а Капустин и без Кости потом ещё долго слушал Гребенщикова и временами Рериха полистывал. И хотя по всему выходило, что Елена Сергеевна «из этих», но ещё одна пара рук в хозяйстве не была лишней, а ночью и вовсе нет разницы из тех она, из этих, или ещё из каких.

Вечером Капустин побрился-собрался, начистил туфли. Долго думал, что взять в качестве гостинца. Сало и окорока, по понятным причинам отпадают, вина-коньяки – тоже. Остаются цветы, вон их сколько в палисаднике, но с ними за двор – никак, старухи заклюют. Капустин – практик, решил задачу так: взял сметаны, банку мёда, головку домашнего сыра и, оглядываясь, огородами двинул на край села, где в запущенном осеннем саду стоял домик яркой цветастой дачницы.

К подворью дачницы вела заросшая бурьяном тропа, Володя обстрекался крапивой и нацеплял на штаны репьёв. У калитки отряхнулся, оправился. Во дворе некошеный бурьян стоял лесом. «Мужика нет, – убедился Капустин, – а то б скосил». Он толкнулся в калитку, калитка упала. «Починим», – решил Володя и воззвал:

– Хозяйка! Гостей принимай!

Дверь тягуче заскрипела, будто это и не дверь вовсе, а сам дом норовит стать к лесу задом, а к гостю передом. На крыльце показалась хозяйка, одетая, будто давняя студенческая подруга недоучки Кости, что скакала тогда под его рыбацкий колокольчик. Хозяйка поклонилась, её седеющие волосы вблизи не показались Владимиру такими уж привлекательными. Гнилые ступеньки крыльца зловеще скрипели, когда гость поднимался, а одна и вовсе провалилась. Мужика дому не хватало давно.

В комнате назойливым комаром монотонно звенит и постукивает незримый гаджет. В скрипе-постукивании слышна нудная песня про ту самую «харю», о какой судачили на полустанке. С потолка свисают пыльные бумажные гирлянды, с картины пялится страшное синюшное существо. Другая картина а-ля Рерих изображает горы. После срочной службы на Кавказе Капустин горы ненавидел. Он считал, что равнина, особенно русская, это самое живописное явление. Что может быть живописнее майского заливного луга? Или реки? Или луга у реки? В юности Вова искренне недоумевал, почему Рериху всегда требовалось рисовать именно горы, и подозревал у художника расстройство психики.

Владимир подмигнул хозяйке, выложил на стол свои домашние гостинцы и тут же у его ног засуетились две тощие кошки. «Кошки-то совсем чабошные, – отметил Володя, – ничего, откормим». Оглядел хозяйку: – «И её откормим». Сладко-горький дымок струится под закопченным потолком, тускло мерцают свечки, комариным роем звенит нудная песня. Хозяйка жестом Зиты (или Гиты) указала гостю на старомодное кресло, гость сел.

– Знаю, что привело тебя в мой дом, – пропела хозяйка голосом, похожим на голос артистки Касаткиной, что озвучивала чёрную, как гудрон, наставницу индуса Маугли. – Ты ищешь свет, ты ищешь истину.

– Видите ли, Елена Сер...

– Молчи, – перебила Елена Сергеевна и приложила палец к губам, – тиш-ше. Тебя привёл он, – она указала на стену, где синеет существо с дудкой, – Сейчас мы будем пить чай, и ты попробуешь торт. Ты любишь торт? Молчи. Ты ещё не знаешь, какой изумительный торт мне привезли.

«Эге! – подумал Капустин. – Эта тебе – не вахлачок Костя из общаги. Эта сразу – за рога да в стойло!». А хозяйка продолжила:

– После чаепития тебя коснётся он, – и указала на синерожее существо.

Володю передёрнуло, он не хотел, чтобы его касалась эта потусторонняя личность.

Хозяйка удалилась. Спустя минуту она внесла залапанные чашки и крохотный тортик. Володя решил, что после чая он и расскажет хозяйке, что пришёл не за какой-то там истиной, а за ней, за Еленой Сергеевной, расскажет, как они с ней заживут. Ведь у него и корова, и прочее, и дом – полная чаша. Всё есть, а хозяйки нет, и принялся жевать торт, отдающий резиной. Первый кусок никак не хотел проглатываться. С трудом Владимир одолел его и тот – шлёп! – упал в утробу. А следующий кусок шлёпнулся почему-то в голову. В черепе пошёл эхом гулять звон. Потом горы на картине задрожали и комната завертелась в трёх направлениях. «Э, да она же ведьма!» – подумал Капустин, и его замутило. Захотелось переловить невидимых нудных комаров, захотелось, чтоб заткнулись голодные кошки. Синий портрет с дудкой зловеще выпучил свои добрейшие глаза, раздул ноздри. Хозяйка что-то шептала, прикасалась ко вдовцу одинокими горячими руками, которых было ровно пять. И сквозь огоньки, скрипы, жесты, дудки, сквозь горы и

шёпот далёким ветром доносило до слуха Капустина хрюканье голодного капустинского борова и мычание не доенной капустинской коровы – самой обыкновенной коровы, не священной, а потому глупой и вряд ли одобряющей священную кулинарную наркоманию. За окнами порозовело вечернее небо. Володя собрал остатки воли, поднялся, прицелился в двоящуюся дверь и выскочил на воздух. Раздосадованное синее существо выдохнуло в свою дудку, гора на репродукции уронила камень. Елена Сергеевна ничего не заметила – она пребывала уже не здесь, она спускалась к Великой реке, созерцала круги на воде, оставляла следы на песке и ощущала синее просветление. Мир не трогал её обрахмапутренного слуха.

Утром у Владимира Капустина трещала голова и ломило суставы. Так всегда бывает. Сердобольная вдовая соседка Валя кружилась по капустинскому хозяйству. Управилась с капустинской Зорькой и теперь хлопотала на кухне, гремела посудой. В доме пахло мятой и чабрецом. Поцокивали ходики, потягивался и зевал рыжий кот. Володя лежал с мокрым полотенцем на голове, которое гасило вчерашнее эхо, без интереса щёлкал пультом, переключал каналы. Крышу мыл сентябрьский дождь и радости на свете не было. Володя листал каналы, с отвращением вспоминал вчерашнее, и думал о своей нынешней помощнице-соседке. Сколько раз она выручала. И с поминками... тогда... когда это... Сам много ли успел бы? И когда к детям в город отлучиться, она за его скотиной приглядит. И вот сейчас. А оно ей надо?.. Пусть она и не яркая, как та, пусть не умеет нарядиться. Ну и что? Сам тоже ведь давно уже не тово-этово. А она и пироги умеет, и возится тут с ним, хворым...

Володя снова щёлкнул пультом и влип в экран, и даже привстал на постели: показывали Индию! Леся и Бедняков рассказывали о просветлённых индусах и показывали их. В телевизоре трясли перед камерой своей голой непосредственностью голодные рахитные ребятишки, в грязной лохани грязная женщина полоскала грязное бельё. Мухи облепили нечто прямо посреди тротуара. Потом показывали столичный вокзал. Там граждане бомжеватого вида штурмовали побитую электричку и топтали друг друга босыми ногами. Капустин позвал соседку и ткнул в экран – гляди! На городском бульваре что-то подбирал из-под грязных прохожих ног и совал в свой беззубый рот косматый старик. Поодаль макаки вычёсывали блох и переругивались на своём макакачьем наречии. А над всем этим житьём-бытьём, с фасада единственного приличного здания английской постройки, застенчивый синий Кришна благословлял дудкой своих верных просветлённых подданных.

– Гляди ты, – вздохнула соседка, – а посмотришь ихние фильмы, так сплошной праздник с танцами. А у самих – вон, вон, гляди! – слон забрался в огород!

– Это не огород, – сказал Капустин, – нет у них огорода, просветлённые они. Это он так просто шастает, улицу удобряет.

– Ох, смотри, до чего народ-то чабошный, то-ощий! Да в их климате можно было б три раза в год картошку копать! А они...

Рядом с людьми пялился в телевизор рыжий кот. Может быть ему нравился слон, может быть мартышки. Никто в мире не знает, что творится в маленькой кошачьей голове при виде слона и мартышек...

Включилась реклама.

Володя сорвал с головы повязку: «Просветлённые, туды их!».

...А потом в телевизоре сказали, что в следующей серии Леся и Бедняков отправятся теперь к другим просветлённым гражданам, в соседнее королевство Непал, прямо в его столицу, в Катманду. Это слово Капустина согрело:

– Точно! В Катманду! Туда вам и дорога, – имея в виду свою вчерашнюю неудавшуюся невесту и всех её коллег по просветлению и кулинарии, сказал Володя Капустин. И повторил: – В Катманду.

По-прежнему шумел по крыше дождь, сидела рядом потрясённая слонами соседка Валя. Где-то у дальнего пруда мок под дождём пастух, и жевали печальную осеннюю траву Вовина и Валина коровы.

Головная боль помаленьку отпускала.

КОЛЯ ИЗ ДЕРЕВНИ ЗУЕВО

Коля из деревни Зуево это настоящий богатырь. Плотный – кровь с молоком, и кулачищи – во! Плечи широченные, а душа ещё шире. Коля добрый, как медведь из детской сказки: чеши его против шерсти, тяни его за уши, хоть запряги его – всё стерпит медведь с улыбкой. Но зато, если унюхает кому несправедливость, или ещё хуже – кощунство, тут уж лучше сразу улепётывай.

Вот, когда ещё Коля ходил в парнях, деревенские повадились на дискотеку в район. На чужом пиру, известно, пришлым иногда не везёт – прилетает. Ребятки и брали с собой Колю «на счастье». Он войдёт с ними, станет в уголке, топчется. Местные видят с кем Коля и деревенских не задирают. А Коля ждёт, пока парни надрыгаются с девками под «Руки вверх», охраняет. Потом вместе возвращаются шумной кривоватой компанией.

Вот идут они как-то раз подогретые, весёлые. Перед их деревней на дороге ржавый знак «Зуево». Обладая остроумием никак этот знак не миновать. Остряк в компании есть – это Эдик. И как он раньше-то всегда мимо проходил?! А тут... «Зуево»... Замазал Эдик первую букву грязью, и пальцем по грязи вывел изящный икс. Ржали все, дружно. И Коля тоже сначала ржал. А когда сообразил, что это над его родной деревней совершилась такая несправедливость, кощунство... Ох... Эдик не успел ни испугаться, ни вякнуть, летел с насыпи в канаву – кусты трещали. Пацаны на Колю вылупились, мол, ты чего? А он в землю уставился: «А чего он!..». Эдика из канавы достали, и Коля сам же помогал ему выдирать репьи из кудрей и грязь снимать со знака.

Время идёт, Коля взрослеет. Отслужил срочную, вернулся к отцу с матерью. Тут колхоз развалился... Коля стал наниматься общественным пастухом и привык к этой должности, как будто для неё родился. А чего ему: на лошадёнку всем миром скинулись, он и рад.

Собирает Коля на зорьке коров со всех улиц на своей клячонке – кажется, вот-вот надорвётся под ним бедная лошадь, сдохнет. Пригонит стадо на луг, кляча отдышаться не может, язык высунула, а он дремлет в теньке под вязом. Чем не жизнь! Лежит Коля радуется, кулак под голову, гоняет в зубах травинку. Всё лето – праздник! Всю зиму отпуск.

Годы потихоньку идут...

Пора бы Коле оженитьcя, а он стеснительный. Да и нет в Зуево нормальных невест. Нормальные разъехались.

Но зато пришёл час, дождалась Зуевская заброшенная церквушка себе настоятеля. Прислали батюшку старенького, лысого, совсем постного. Од-

нако весьма бодрого. Батюшка сразу деревню обошёл, со всеми перезнакомился. Коля ему очень понравился. И как так получилось, что Коля к батюшке тоже сразу привязался. Душа запросила, что ли? Сроду ведь он до своих тридцати трёх попов не видал. А батюшка и рад – помощник ему, кадило подавать. И стал Коля алтарником. Пошили Коле стихарь-дирижабль...

Вот идут они на малый вход: бабульки чуть слышно попискивают с клироса, алтарник со свечой боком еле-еле просовывается во вратницу – вот, гляди, дверной проём лопнет, разойдётся – ступает, половицы под ним гнутся, а следом маленькой бесплотной тенью отец-настоятель. И голосок его такой:

– Прему-удрость, про-ости! – искушение, прости Господи!

Ну как тут молиться?

Вскоре затеял батюшка в храме ремонт, и началась у Коли хлопотливая пора. Успевает и со стадом, и в церкви. Что-то грузит, что-то месит, что-то пилит всё лето. А ближе к осени послал где-то Бог настоятелю средства и тот заказал комплект колоколов.

Вот привозит машина заказ, манипулятором всё сгружает. Собрались возле церкви люди, глядят: пять колокольчиков – так и сияют, новые. Главный, наверное, под центнер, остальные поменьше. Солнце на них поигрывает. Зуевские о таком и не мечтали, радуются. Батюшка к народу повернулся: надо, мол, кран нанимать, поднимать их на колокольню. А тут Коля: зачем кран, я сам подниму и сам повешу. Никто не удивился. Немного, конечно, посомневались для порядка, но на том и порешили. Назначили дату, пригласили благочинного, фотографа из районки, начальство...

В назначенный день собралось всё село, все три сотни. Благочинный в шёлковой рясе, сельсоветский глава на УАЗике, участковый. Коля – при своей вечной телогрейке. Отслужили молебен, погундели речи и началось. Четверо мужиков подняли большой колокол, Коля под него головой подлез, принял на плечи. Благочинный открыл рот:

– Вот это ж бывает такой медведь!

Фотограф забегал вокруг, щёлкает.

Коля качнулся и двинулся к трапу – колоколенка невысокая, трап положили от пожарной машины, длинный, не шибко крутой. Мужики засуетились вокруг медведя, под ногами путаются, как будто помогают. Вот Коля шагнул на трап, тут помощники отстали, пошло легче. Трап прогнулся, заскрипел. Народ примолк, батюшка крестится. Коля шагнёт – приставит ногу, ещё шагнёт – постоит. Видно и такому богатырю тоже не всё просто. А на полпути, сам потом говорил, даже испугался. Духу, говорит, вовсе не осталось, назад нельзя, вперёд не могу. Не бросать же. Стал про себя молиться и как-то, сам не заметил, добрался до верха. Тут сразу и мужики за ним по трапу бросились колокол принимать, крепить. Следом и фотограф. Коля на цыпочки привстал, поднял колокол к хомутам, мужики сунулись было вставлять клинья – глядь, а клиньев-то и нет. Заорали вниз в народ, чтоб там на земле поискали. Слава Богу, быстро нашли их, возле молебного столика валялись. А Коля всё держит. Клинья принесли, опять Коля на носки приподымается, мужики давай клиньями в ушки целить, а тут фотограф: «Дай-ка с этого боку щёлкну. Да погоди, вот теперь отсюда зайду». Коля на него даже заругался. Потом спохватился, что Божье дело совершает, и позволил щёлкать этому ироду, сколько влезет. Ну, с Божьей помощью всё прошло хорошо. Колю потом долго в народе хвалили. После и газета пришла, фотографию разглядывали: впереди благочинный – шёлк переливается, с ним –

глава, сбоку участковый цветёт, где-то вдалеке батюшкина бородка отсвечивает. А позади всех, почти не видно – мужик с колоколом вместо башки...

С новой звонницей Зуево будто ожило. Вроде всё по-прежнему: ни работы, ни дорог, ни фельдшера, ни газа, а только слышишь, как утром колоколенка поёт, и на душе праздник – самое что ни есть Светлое Воскресение. Местные ребятишки намостырились хорошо звонить. Батюшка сам с ними лазил, обучал...

Как-то на зорьке Коля гнал своё стадо, посвистывал. Вдалеке, в пойме – видно – туман. И зябко пастуху туда глядеть и радостно. Давит свою клячонку, улыбается. Стало стадо дорогу переваливать и немного замешкалось – взросло что-то вкусное по неезженым обочинам. Коровки пасутся, Коля на кляче, как Санчо Панса на ишаке, сидит. И сроду в это время никого по дороге не носило, а тут сразу целый Лексус. Розовый и номера столичные, гудит:

– Эй, деревня, коров убери!

Коля стал просить, чтоб не гудели, коровы пугаются. А те светом моргают и ещё шибче. Коля извиняться, мол, мы сейчас, мы скоро. Ну, замешкались чуток, это же животина, глупая. А те опять на Колю, мол, это ты животина: козёл ты и коровы твои – козлы. Коля давай их упрашивать, мол, если уж совсем спешите, так на вашем джипе можно ведь и сторонкой вот тут вот запросто объехать. А Лексус ни в какую, дай ему дорогу и всё. Тут, как на грех, в деревне колоколенка запела. Коля картуз долой, как был на лошади, так и давай креститься на деревню. А эти в машине увидали и совсем разозлились:

– Козёл, – говорят, – ты. Но не простой козёл, а православный! И церковь твоя...

Ну... Зря они так. Ох... Коля покосился на них, перекрестился последний разок, картуз натянул. Поравнялся с розовой машиной, к самому окошку подъехал, откуда лаялись. Немного на лошади склонился, будто хотел в окошко заглянуть...

Хорошо, что водитель отстранился. Медвежий кулачище летел полукругом, снизу. Если б челюсть поддел или ухо зацепил, то грех был бы великий. А так изнутри шарахнул в крышу, как раз над водителевой головой, и ладно. Тогда уж джип гудеть перестал и объехать согласился, как Коля и просил в самом начале. И всё благополучно, миром и добром.

Наверное, до сих пор торкается где-нибудь в столичных пробках красивый розовый джип с огромной шишкой на темечке...

Лето – самая пастушья страда. Это только со стороны так, будто ему – пастуху – не бей лежачего. А кто пробовал сам, тот знает, каково оно: ты их для начала попробуй собери в кучу, попробуй перегони куда-нибудь, если конечно получится собрать. Тогда уж и рассуждай. А если пастух со слабинкой, они это чуют. Шалят, как всё равно сговорились. Лезут, глупые, во все стороны. А Колю коровки слушаются, как своего. Он только подумает, поднимется им сказать, а они уже угадали и идут, куда полагается. И народ доволен, что не надо больше всем по очереди пасти.

В церкви совсем сделалось уютно. Всё оштукатурено, побелено, печку к зиме переложили, дров запасли.

Но вот, совсем гладко-то всё не бывает...

Как-то смотрел Колин отец перед сном новости. Коля мимо проходил и тоже уставился в ящик. А там... Ох... Увидал Коля, где-то батюшку обижают.

Одного обижают, а другого убивают. Задышал Коля как-то нехорошо, глядит. Отец на Колю косится, уже что-то чует. А в телевизоре теперь школу бомбят. Коля не моргнёт, уставился, а там стали церковь обстреливать. Ох... Зря они так. Поиграл Коля желваками, пошёл к соседу, постучал. Сказал ему, чтоб он стадо принимал, отвёл ему свою клячу. Вернулся в хату, собрал рюкзачок, сунул в штаны паспорт с военником. Мать спросила, мол, ты куда? Коля на телевизор кивнул: «Туда». И на заре уехал.

Плохо стало без Коли, пусто. Коровы с утра мычали, ни в какую не слушались нового пастуха. Тот даже матерился.

Да и не одним только коровкам худо: как-то батюшка сам уголь в кадило сыпал, неуклюже сыпал, отвык, подрясник прожёг. Всё что-то из рук валится.

А ещё потом было, один Зуевский мужик как-то поехал в район картошки продать, вернулся без картошки и без денег, и в глаз получил. Говорил: «Был бы здесь Коля, шиш бы они мне».

И так-то всё кругом провисло, ослабло...

Но зато потом Колю увидели! Увидели в новостях. Со спины, правда. Подхватил медведь одной ручищей раненого, бежит, свободной лапой пятерых зелёных раскидал. Пули свистят – его не берут! Мины воют, земля дыбится, страшно. Увидал на бегу – ещё один свой сковырнулся, и того подобрал. Живёт силушка, других из-под смерти уносит!

Ну, и кто же это ещё, как не Коля?

Батюшка среди недели затеял по этому случаю обедню о здравии, Колю поминать. Колокольня разливалась! Обрадовались все, что Коля нашёлся, только об этом потом и разговаривали.

Больше всех, конечно, этой новости радовался пастух: совсем ведь пастуха ни одна скотина не слушает, измучился. Говорил: «Раз Коля там объявился, значит, всё у них теперь наладится. Будем ждать».

И то правда, скорее бы уже наладилось, скорее бы уже возвращался Коля – скорее бы Зуевским коровкам облегчение...

Максим ЯКОВЛЕВ

ВЫБОР

Рассказ

Он зашёл на избирательный участок, подошёл к длинному столу с табличками: на табличках чётко названия улиц и номера домов.

– Как дела? – спросил жену.

Она сидела за столом вместе с другими членами комиссии, вторая справа.

– Пока тихо. Ты хоть позавтракал? – улыбнулась она.

Он кивнул и посмотрел на сидящих в комиссии.

– Паспорт-то предъявлять?

– Да ладно, – она подвинула ему журнал, – вот тут, Игорь Степанович...

Он расписался. Жена проверила, так надо.

– Как вы там? – спросила, как будто в чём виновата. – Славик ещё спит небось, вчера до полночи торчал за компьютером в этих чатах своих, вставала к нему два раза со скандалом, ты спал, не слышал. Пилата покормил? Я ушла не клала ему ничего.

– Холодца положил, вроде съел. Ну всё, пошёл голосовать.

– Ну иди. Там пельмени и борщ в холодильнике, вам на вечер. Хлеба зайди купи.

Он взял бюллетени, отошёл к кабинкам для голосования. Перед ним стоял и ждал своей очереди дед с темной суковатой палкой...

– Голосуем, сограждане! – ввалились в комнату двое парней. – Где он! Где самый достойный? Подскажите!..

ЯКОВЛЕВ Максим Леонидович родился в 1955 году в Москве. По образованию – художник-оформитель. Писателем стал в зрелом возрасте, до этого освоил несколько профессий. Член союза писателей России. Автор книг рассказов «Время дороги», «Ничего не бойся», «Димитрий и Евдокия».

– Не хулиганьте здесь, – сказали им из комиссии.

– Мы не хулиганим, мы пришли отдать голоса за того, кто будет потом нас это... в общем, короче, вести вперёд! Вперёд, Россия! Нас не догонят!.. хотим отдать голоса. Мы их не прятали, не зарывали там нигде, мы их принесли отдать, один мой, другой его, всего два...

– Ты глянь сюда, – показал ему другой на плакаты, – вот они, кандидаты! А почему у вас у этого кандидата портрет больше, чем у других? Это что, типа намёк такой? Это нарушение!..

Все посмотрели на портрет президента. Приятель глотнул из пивной бутылки:

– Действительно.

Наблюдатели, сидевшие вдоль стены, зашевелились, один встал, собираясь что-то сказать.

– Кандидаты, кандидаты... – произнёс дед, – кандидат в переводе с латыни значит «чистый».

Он шагнул в кабинку. Игорь Степанович зашёл в освободившуюся соседнюю.

– Чистый? – засмеялся парень с бутылкой. – Ну, тогда мы в жизни никогда никого не выберем!

– Вы что. Не знаете, за кого голосовать? – подошёл к парням представитель комиссии. – То есть я хочу сказать, вы ещё не определились с выбором? В таком случае, выйдите сейчас на улицу, определитесь, а потом приходите, без лишних вопросов, спокойно проголосуйте.

– Да мы уж были на улице, дядя!

– Мы только сейчас оттуда, ты чего? Там нечего выбирать...

Игорь Степанович вышел из кабинки, опустил бюллетень в прорезь урны. Уходя, он хотел махнуть рукой жене, но она склонилась, заполняя журнал перед очередным избирателем. Парни тоже достали паспорта; появилась милиция... Он вышел на улицу, постоял, глядя по сторонам.

– Чистый, нечистый... – сказал, вздохнув. – А что значит чистый?

Тут же вспомнилось выражение: политика – дело грязное. Если так, то значит, кого выбирать-то, нечистых, что ли? Нечистые, стало быть, нечисть... Ему очень вдруг захотелось сказать: да, так оно и есть, в самом деле, она и заправляет тут всем! Но почувствовал, что есть в этом что-то топорное...

– Ну, куда теперь? – сказал он себе. – Пойдём-ка за хлебом.

Прибавилось народу на станции и на рынке. Повысыпали, как из худого мешка, из домов, из электричек, теперь будут ходить по улицам кто куда – пришло время хождений. Кое-кто и на участок избирательный завернёт. Хотя никому, похоже, не интересно, что будет завтра, к чему всё идёт и чем всё кончится, всяк сам по себе... Настроение всеобщей разрозненности от избытка никчёмности – сформулировал в уме Игорь Степанович, и даже похвалил себя за оригинальность.

Он вошёл в магазин, но дверью не хлопнул, попридержал.

– Да ты хоть в глаза-то не ври, а то мы не знаем, в каком ты доме живёшь!..

– А что им, к себе-то улицу они, что ни год, асфальтом стелют – шары катай, да ещё и за наши деньги, а мы по колено в грязи, от забора к забору бегаем...

– Чай они у нас не хуже других живут, слуг народных...

– Пришёл в простой магазин, в очередь встал, глядите, какой простой, голосуйте за него, выбирайте на новый срок...

Часть очереди обступила фигуру в светло-кофейном пальто. Игорь Степанович узнал главу местной управы Макалова.

– Думаешь, забыли, как ты тут на площади в девяносто восьмом ворованными велосипедами торговал, на пару с Витькой Карасёвым? Потом Карася посадили, а с тебя как с гуся вода, – распалялся потрёпанный мужичок в кепчонке.

– Ну, зачем же вы так? – Макалов повернулся к потрепанному мужичку. – Карася за другие дела посадили.

– Вот и тебя туда надо бы! – раздалось с другой стороны.

– Вы же у меня их и покупали «велики» те, сограждане! По дешёвке вам скидывал, как своим, – ответил Макалов, он пытался сохранить улыбку, – и вообще, я же ни за кого не агитирую, выбирайте, кого хотите, хоть сами себя... И всё будет то же самое, даже хуже.

– Да им наплевать на нас, они своё получили! – не выдержал кто-то. – Понахапали себе!..

– Чего орёте-то? – крикнули в ответ остальные. – Разорались тут, как бараны.

Игорь Степанович вытащил сложенный из кармана пакет. Что тут стряслось? Отчего весь сыр-бор загорелся? Что-то он видно сказал такое, Макалов, или повёл себя не так. И чего его сюда занесло, не мог в другом месте отовариться... Удивительно было то, что Макалов и не собирался ретироваться, он продолжал стоять в очереди за старушкой, которой завешивали сколок мороженой мойвы...

– Улицы нарочно не убирают, чтоб мы в этой помойке задохнулись и передохли все!

– Сами же и бросаете, – произнёс Макалов.

Но его не расслышали.

– Конечно, им-то что, огородились стенами крепостными, да забавляются там на лужайках своих с проститутками...

– Всю Россию не пойми во что превратили, за свиней нас держат, и землю, и реки, и воздух – всё загадили, дети мрут один за другим, такого даже в войну не было...

– На это у них денег никогда нету!

– Но Путин же не виноват!..

Продавщица посчитала сумму, убрала рыбу с весов.

– Всё, бабулечка?

– Ещё колбаски мне ливерной, как прошлый раз, сколько там у меня осталось-то?

– Ливерной нет, кончилась. Докторская есть, хорошая, но тут у тебя... – продавщица посчитала мелочь с ладони старушки, – тут у тебя на сто грамм даже не хватает.

– Завесь ей полкило, я оплачу, – сказал Макалов.

Старушка сначала не поняла, в чём дело.

– Добренький... они все добренькие за наш счёт, – высказался кто-то сзади, но никто не поддержал почему-то.

Макалов взял кусок колбасы и положил в старушкину сумку:

– На, бери, бабуля, это тебе с праздничком.

– С праздничком... – растерялась она, – это с каким праздничком? Евдокия сегодня...

– Выборы, родная, главу государства выбираем и местную власть заодно. Ходила на выборы-то?

– На выборы не ходила я, – сказала она.

– Вот, иди голосуй.

– Пойду, миленький, раз такое дело, пойду. Вот спасибо-то, вот люди-то... за кого ж мне голосовать-то? – спросила. – Ты мне скажи, может я старая не расслышала, за кого голосовать надо... не поняла я.

– Что тебе, бабка, непонятного, – сказали ей, – кто дал колбасу, за того и голосуй.

– Ты их не слушай, бабуля, – улыбнулся Макалов, – иди голосуй, за кого хочешь, а не хочешь – не голосуй. Иди, родная.

Он повернулся к продавщице и что-то назвал ей, показывая на лоток с местной выпечкой.

– Вот так они и покупают за кусок колбасы...

– А что ей, много надо, что ли?

– В открытую уже действуют, оборзели! Никого не боятся!

– Правильно, они теперь добрые и чистые, а мы плохие – сидим по уши в дерьме!

Всё это летело в Макалова до тех пор, пока он вдруг не обратился к ним с серьёзным вопросом:

– Господа, а что вы скажите на то, если б каждому из вас выдать, прямо сейчас, по 1000 американских долларов, то есть это будет где-то под 60 000 рублей? Как вам такое?

Все замолчали, как бы прикидывая, сколько всего можно будет купить за такие страшные деньги... Макалов оглядел присутствующих, словно считал всех по головам; рука его полезла в карман...

– Вот выдай вам каждому по пачке хрустящих баксов, прямо сию минуту, персонально в руки, и сразу всё станет прекрасно, правда? И все довольны, и все мы будем «братья и сестры». Разве нет?..

В затянувшейся паузе Макалов расплатился с продавщицей и вышел из магазина...

Тут уж не до хлеба, Игорь Степанович, опомнившись, рванулся за ним, выскочил, не помня себя, на улицу, напугав встречную парочку, но увидел лишь уплывавшие огоньки «Мерседеса». Его трясло, трясло так сильно, как когда-то перед дракой в ночной электричке...

– Гад... гадина!..

Через дорогу появилась свадьба: жених с невестой выбрались из машины и вошли в избирательный участок, следом толпа с шампанским, цветами и кинокамерой. Додумались же... Игорь Степанович подобрал выпавший из руки пакет, встряхнул его от талого снега.

– Пойдём-ка мы лучше к рынку, там купим.

Прошёл несколько метров и встал. К нему навстречу шёл Пашка Голиков, его давнишний с детства приятель, с которым у них была одна компания, включая Пашкиного брата-близнеца Тольку. Что-то хмурый...

– Привет, – сказа он, будто только вчера расстались.

– Туда, что ль? – кивнул Игорь Степанович в сторону избирательного участка.

– Туда.

– Понятно, без вас разве выберут. А кстати, где Толян? Вы же обычно вместе такие мероприятия посещаете.

– Он свое уже выбрал, второй день, как похоронили.

– Да ты что, Паш! Я ж его видел вот, недавно, на рынке...

– Повесился в бане. Теперь общественные посещаем... хоть разбирай ее совсем.

– И не сказал мне?!

– Я звонил, ты трубку не брал.

– У меня же теперь новый номер!

– Я так и понял.

– Ай, Пашка-а!..

– Давай помянем, что ли. Подожди только, проголосую, пойдём ко мне, я один сейчас. Лелька у дочки в Германии. Подождёшь?

– Конечно.

Толька всегда «коммунистом» был, рубился за Сталина на застольях: «Он силу давал! При нём сильно жили, сильно работали, да! И сильно любили, и сильно ненавидели, пусть! Но и строили сильно, и писали, и пели, и вам не понять, как это – сильно жить!..». Однажды зимой, когда вырубили свет по всему поселку, он один на своей боевой «пятёрке» добрался до этой электростанции, которая даже не охранялась как следует, и заставил включить рубильник! Там никто не ожидал, что такое возможно в принципе, чтобы кто-то из народа смог вот так войти к дежурному оператору, взять за шиворот этого перепуганного до смерти человечка, и вернуть свет в дома, больницы, школы, военную часть... мало того, несмотря на лепет бледного ответственного лица, что, мол, «я выполнял распоряжение сверху», что «мне приказали...», посадил его рядом с собой в машину и повез в детскую больницу, а там прямиком в предоперационную (главврач понял всё с первых же слов и сам провёл их туда), поставил его перед детскими кроватками: «посмотри на того малыша, посмотри на этого... смотри в глаза им, тебе приказали убить их, давай, убивай, ну! Или ты думаешь, рубильником легче? Гуманнее? Показательнее, чтобы знали, кто здесь хозяин над нами, так?!».

Анатолий, Толька, Толян по прозвищу Буй-Тур повесился. Жил в одном доме с братом, бездетный, потому что не простил жене измену, оставил ей дом, а прочие женщины не могли заменить её. Брата любил, ставил выше себя и всё прощал ему...

Игорь Степанович дождался Голикова; ни слова не говоря, зашли они в магазин, взяли бутылку водки, закуску и пошли поминать человека, которого больше не было.

В доме у Голикова они сидели в комнате у окна, прислушиваясь невольно к вороньему граю, который то разрастался, то ненадолго смолкал в берёзовой роще...

– Спать любил в последнее время. «Я, – говорит, – засыпаю, и мне всю ночь тьма снится – ничего и никого, всё на нуле, – одна тьма... а просыпаюсь, мне всё внатяг, всё поперёк души!». Я думал, хандрит, он зиму всегда трудно переносил, а тут ещё возраст, давление, болячки всякие наши, думал, вот небушко просинеет, сосульки загорятся, он и оживёт понемногу.

– Я с ним недавно на рынке виделся, вроде ничего такого, над Жириком посмеялись...

– Да нет. «Хочу, – говорит, – совсем заснуть во тьме, не верю никому, там лучше, и катись оно всё!..». С людьми уже ни с кем говорить не мог по-нормальному, это он с тобой так, тебя он всегда признавал, а с другими никак: «Не могу я жить среди этих козлов, с которыми делай, что хочешь, а они будут только пить и молиться, ныть и молиться, всему кланяться и всё уступать, уступать! уступать!».

– Кризис сознания. Эх, Буй-Тур ты наш...

– Ступор полный. Сидели вот так же с ним, за день до смерти, говорю, давай дом продадим с участком, уедем куда-нибудь под Кострому, в глухо-

мань, уж там есть куда руки приложить, и ничто поперёк нам не станет, там и людей-то вряд ли осталось. А он мне: «А зачем? Ради чего жить, скажи! Смысла нету, не вижу! Куда живём? В Европу? В Америку? В Африку? В Россию уже не живём? Никто не знает, не говорят!.. Вот я каждый день себя спрашиваю, утром встал: кофе, булочка с ветчинкой, салат, – ради этого жить?.. по телевизору: взрыв, катастрофа, реклама, хихи-хаха, – ради этого?.. доски строгаю для полок: стружка льётся смолистым мёдом, все ладные, одна к одной, по разметочке, – что, ради этого, что ль?.. и читал, и курил, и обедал всласть, вышел из дому: снег, луна, у соседей гулянка... по мосту поезда стучат... может быть, ради этого? Тысячу раз всё видел, знаю, что завтра будет всё то же самое, день прошёл, и жизнь так пройдет! Ради чего же всё это? Чего мы хотим?!». Не нашёлся я ему тогда чем ответить. Не думал, что так забрало его, до дна.

– Ладно, давай помянем, что ли. Жаль, сказать-то ничего нельзя, так и не покрестился он, прости ему, Господи...

– Не уговорили. «Церковь, говорил, это такое русское утешение, вроде обезболивающего, чтоб душу до смерти не отшибить, да и церковь-то не та уж, вот если б в ней Ермоген новый нашелся или Василий Блаженный, тогда, может, и я б там был». После уж в комнате его таких же вот пустых бутылок девять штук насчитал под кроватью. Видно и он напоследок отцовской напасти не избежал, «прилежаша пития хмельнаго». Ладно, как там говорят-то, мир праху твоему, брат.

Выпили.

– А знаешь, – сказал Голиков, – мне вот кажется, будь он верующим, так из него какой-нибудь святой подвижник вышел, не меньше.

– Ему теперь всё понятно, Паш, там нет вопросов.

– Думаю, да, ты прав, там область одних ответов... За кого хоть голосовал-то?

– Ну за кого же ещё, за него, конечно, а из местных наших, за лётчика этого, как его... забыл, может, у него что получится. Не за Макалова же. Я его сегодня в магазине видел, в «армянском», имел удовольствие!..

Игорь Степанович рассказал про магазин, про Макалова, про всё, что там было.

– Он же меня поймал, Паш, почти поймал, гад. Он чуть было не купил меня, ты понимаешь? Я уж почти взял эти баксы, пропади они пропадом, мысленно взял, готов был... ведь я же на руку его смотрел, ждал уже... потом как током ударило: что я? что со мной? что я такое делаю?!

Голиков рассмеялся:

– Поди уж успел себе новый холодильник купить?

– И не говори, и стиральную машину новую, не мешало бы, и Славке кой-чего на лето, на зиму...

– А я вот слышал, Макалов-то двоих сирот приютил у себя, после пожара на Песчаной, даже усыновил, – сказал ему Голиков.

– Ну, усыновил... ну и что, Паша? А я думаю, что если на дерьмо шоколадом полить, оно всё равно дерьмом будет. Нет, Паша, тут что-то не то, я чувствую, нельзя так смешивать, понимаешь?

– Может, ты и прав. А пожалуй и прав, может, это-то и тормозит нас всё время, только руку-то занесём, чтобы схватить мерзавца, а он, глядь, вдруг каким-нибудь положительным обернётся: старушку-мать нежно любит или лосёнка пожалел... жалостливые: ну, гни нас и дальше, мерзавец ты наш, так нам и надо. И брат прав, предки-то поумнее нас были – «Москва слезам не

верит» и баста!.. А насчёт свалки мусора так скажу: абсолютно то же самое происходит в духовном пространстве нации – вот где свалка-то настоящая с ядерными отходами!.. Вот и получается, раз ничего не светит, раз ничего не дорого, будем жить, как придётся, в режиме маленьких шкурных радостей и большого плевка – на политику, на начальство, на землю, на всё... большинство так и живёт, потому и не голосует.

– Но президент же не виноват?

– Конечно, нет, у нас во всём виноваты Сталин, Горбачёв и Ельцин. Ну, и коррупция, конечно, без неё, как без хлеба.

– Я теперь догадываюсь, как ты проголосовал.

– А ты не догадывайся, всё равно не догадаешься. Давай ещё по одной?

– Половинку только, хорош. Нам тут тоже легко с тобой о власти рассуждать под это дело. А что мы знаем по большому счёту? Что мы вообще можем? Мы кто? Нас там не было, нет, и не будет никогда, и слава Богу, – сказал Игорь Степанович, наблюдая, как оживился при этих словах старый приятель.

– Ты так думаешь? – ответил Голиков. – Тогда послушай, что скажет простой школьный учитель-словесник.

– Ну, ну.

– Вот представь, пришёл ты вечером домой, садишься как обычно со своими у телевизора, а там, вместо кровавых новостей и прочих сплетен, сидит президент России, глава государства, причём, сидит просто, без галстука, по-домашнему, глаза в глаза и говорит: «Добрый вечер. Я хочу обратиться к вам, к моим согражданам, чтобы поговорить о самой важной проблеме. О нашей общей беде. Нам предстоит нелёгкий разговор...».

– Эх, кабы так! Да народ моментально бы прилип к экрану, со всех каналов переключился на президента – сто процентов, побросав футбол и прочие сериалы.

– ...А президент и говорит: «Скажу одно только слово. Дети! Вот с чего надо начинать наводить порядок, вот в чём главная пробоина наша, детей спасать надо! Срочно! Посмотрите, кого мы растим? Жестокость, цинизм, разврат, наркотики, историческое беспамятство, неспособность к труду и к ответственности – в этом по нашей вине растёт наше будущее, наша будущая Россия. Что будет, когда они сменят нас? По ним уже сейчас видно какого они духа, а мы всё рассуждаем про мировой терроризм, про модернизацию... про какое-то ВВП, кому оно нужно будет потом?».

– Президент так не скажет.

– Значит, скажут другие. А почему не скажет? Они у меня на глазах, каждый день, детишки-то наши. Пустышки! Дрянь, трусливая, подлая, равнодушная дрянь, ничего не знают, одни удовольствия подавай им. «Президент не скажет». Вот то-то и оно, что не скажет!

– Да брось ты, Паш, я понимаю, у тебя своя боль, ты учитель и всё такое, но вон, показывают же, талантливые ребята, говорить умеют, выступать не стесняются, с заскоками своими, конечно, но уж всех чернить...

– Я о массе говорю. Ты меня слушай, я хочу, чтобы выслушали меня, учителя с почти сорокалетним стажем: того, что творится, у нас ещё не было. То, что в них сейчас безобидным кажется, потом – беда, полный гроб! «Бери от жизни все» – вот что им забили в башку... Ты сходи на кладбище, посмотри даты на могилах – одни юнцы, много они успели «взять»-то? Пули, они тоже вроде все в одно место летят из ствола, а взял чуть выше или чуть в сторону – так все мимо цели и просвистят...

– Не худо бы ещё и цель знать, и в какой стороне она находится эта цель.
– Цель одна – порядочный человек, патриот своей Родины!
– Ну, ты ещё цензуру введи.
– И введу...

Так они говорили, перескакивая с одного на другое, вспоминали прежнее время, там, казалось, всё было чище и проще... возвращались в детство, где остались молодые матери и отцы, соседи, приятели, одноклассники: а помнишь? а помнишь?.. Но стоило вспомнить про школу, и Голиков опять заводил речь о детях, опять «о ярко выраженном деструктивном характере системы образования, о сознательной политике по растлению русского кода личности средствами современной культуры и телевидения», что является «настоящим ужасом нации»...

Игорь Степанович пытался увести разговор на другую тему, и было досадно, потому что с одной стороны Голиков прав насчёт «ужаса», а с другой стороны, в настоящий момент не то чтобы не чувствовалось этого ужаса, но не хотелось пускать его себе в душу, где и так не всё было на своём месте.

– И чего ты завёлся, Паш, ей-богу...

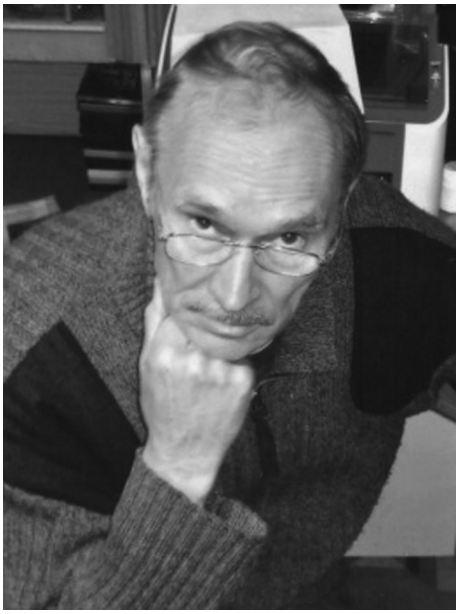
Настроение было выпить. Игорь Степанович разлил по рюмкам остатки водки, и они выпили, успев поговорить ещё о футболе...

Домой он возвращался под вечер. Шёл, поторапливаясь, знакомой исхоженной улицей, с подслеповатыми фонарями, покачивая на руке пакетом с банкой домашнего сала и засоленными груздями, которыми снабдил его Голиков на прощание; шёл по размокшей земле, по крупчатому снегу, обходя натаявшие за день лужи, – всё-таки весна. Весна пока мало чем отличалась от зимней оттепели, но одно существенное отличие всё же было: она пришла.

А Пашка Голиков всё торчал одиноко на ступеньках освещённой веранды, дышал воздухом, и состояние души его не пускало его ни в дом, ни из дому. Может, не договорил чего, а может, пропади оно действительно пропадом всё... Шутка. Просто надо же немножко подышать человеку; день, в общем-то, кончился. Отдохнули, проголосовали. Страна в очередной раз выбрала себе того, кому согласна вручить себя, своих детей и свою судьбу, что звучит довольно высокопарно, хотя в чём-то и соответствует действительности; так или иначе, мы его выбрали, не слишком задумываясь о том, что он не Бог, не царь и не герой, а всего лишь один из нас, обречённый принимать решения, за которые, как всегда, будем отвечать мы сами, своими жизнями и смертями. Но кому-то же надо быть там – на узкой вершине власти, куда если и доносятся слабые отголоски нашей треклятой обыденной жизни, то в виде каких-нибудь докладных записок, отчётов, докладов, оперативных сводок и прочей статистики. И каждый раз, выбирая Надежду, почему-то возлагаем её целиком на одного человека, на плечах которого она превращается в чудовищную, неподъёмную для простого смертного ношу ответственности; и тогда, кто знает, достанет ли у него силы духа и чести держаться под этой ношей, или он начнёт перекладывать её на плечи своих подчинённых, оставляя себе лишь функцию координатора-модератора, а те, в свою очередь, имея моральное право действовать по такому же принципу, станут скидывать на других, а те – на ещё менее подготовленных к этому... и так, в конце концов, докатится до нас самих, и наша надежда вернется к нам, как ни в чём не бывало, только выпотрошенная до невесомости праха...

Голиков тяжело вдохнул сыроватый воздух, пропуская его через свои проспиртованные хмельными парами лёгкие; постоял, неподвижно глядя перед собой, махнул на что-то рукой, собираясь вернуться в дом, и неожиданно замер... уловив среди прочего в мире шума далёкий, но отчётливый звон, повторявшийся ещё и ещё, с каждым ударом крепнув и возрастая... Звонил монастырский колокол, и Павел стоял, поражённо вслушиваясь в эти мерные, растекающиеся под небом звуки, словно впервые слышал... звуки, которые застали его врасплох, в ту минуту, когда хотел он выругаться, и бранное слово уже готово было сорваться с губ, но вместо этого стоял и слушал, будто в предчувствии приближающейся разгадки...

И всплыла перед ним та – луговая, исходящая песнями и печными дымками... родная, простодушная, необъятная... в крестьянах, князьях, в улыбчивых старцах, в умельцах и воинах, всё превозмогшая, – та самая, казалось бы безвозвратно ушедшая, прожитая и позабытая навеки Россия... Нет... не прожитая, не забытая, и ничего не забывшая, но глядящая сейчас миллионами влажных глаз с неожиданно близкого, дохнувшего прежней росою Неба.



Иван МАШИН

ЧЕЛОВЕК, ИЩУЩИЙ ЗАБЛУДШУЮ ОВЦУ

Новеллы

БЕДУИН

Здесь рано вечереет. Солнце пустыни, кутаясь в бледно-фиолетовый облачный хиджаб, опустилось за иерусалимские холмы, но свет его, отраженный зеркалом моря и нагоревшими до красноты иудейскими нагорьями, возвращался из-под небесного свода долгими, донными, прозрачными сумерками. Ни вечер, ни ночь – вечеровье. Из прохладных щелей заверещали, зазвенели, заскрипели сонмы невидимых насекомых; проклюнулись первые звезды. Без городской подсветки они выглядели на порядок ярче и крупнее – висели, словно чудесные плоды огненного сада...

Не спалось. Было одиноко среди огромности Мертвого моря и вечернего неба – в этом чужеродном мире, который, казалось, жил и дышал по каким-то своим законам.

Вдруг на краю черного каменного гребня, амфитеатром облегающего Лунный залив, возник силуэт бедуина. Я подошел ближе, рассматривая незваного гостя. Накрученный на голову платок, длинная до колен белая руба-

---

МАШИН Иван Иванович. Родился 5 декабря 1938 года в селе Банаки Рязанской области в крестьянской семье. Стихи начал писать в 12 лет. Печатался в республиканских газетах и журналах, много переводил с таджикско-персидского современных и классических поэтов Востока. Несколько книг переводов опубликовано в центральных издательствах. Закончил Высшие литературные курсы при Литинституте. Член Союза писателей СССР-России с 1987 года. Живет в Сочи.

ха, поверх ее халат, что-то еще кроме, и все это покрывает отливающая вороненой сталью шерстяная хламида. Не человек, а кокон.

– Куджо меравед? Нагз ми? (Куда путь держите? Какие проблемы?) – спросил я его по-таджикски. Этот среднеазиатский язык – близнец персидского.

Бедуин ответил гортанным голосом на смеси арабского с персидским:

– Ищу пропавшую овцу. Не видели?

Слова его по отдельности были неразборчивы, но общее звучание фразы высветило смысл; я отрицательно покачал головой.

Бедуин спустился к морю, зачерпнул ладонью воду, зачем-то попробовал на вкус, вытер руку об одежду и, не обращая на меня внимания, побрел вдоль пепельно-серебристого, мерцающего Мертвого моря. По-видимому, без пропавшей овцы я не представлял для него никакого интереса – мало ли тут бродит всяких соглядатаев и туристов. Такое отношение к моей персоне слегка задело за живое: пастух, нищий насельник пустыни, а поди ж ты...

– Всего доброго! – кинул я ему вослед. – Желаю вам найти свою овцу, – и неожиданно для себя добавил: – А вам не хотелось бы пожить в городе?..

Бедуин остановился, подумал, глядя в землю, и неторопливо ответил:

– Я жил в самом Иерусалиме у сына, водителя. И там – суета... По-настоящему Бога слышно только здесь, в пустыне...

– Значит, в городе нет Бога? Я правильно вас понял?

– Не совсем. Он есть. Но в городе из-за криков и шума Его не слышно, потому оглушена совесть. Только в пустыне человек становится человеком. Слух его открыт, взгляд не бегает, – нет витрин и бесстыдно оголенных женщин... В пустыне только сердце и Небо...

– А камни? – цепляюсь я.

– Камни молчат, – не болтают, – ответил он с такой мерой серьезности, что я устыдился своих слов.

Только теперь, уже подходя к нему, я обратил внимание, что бедуин опирался на черную палку, перехваченную металлическими кольцами. Прокопченное солнцем нефритовое лицо его было одухотворено какой-то глубинной, сокровенной мыслью; в повороте завернутой в платок головы сквозило природное благородство. Подумалось: в профиль он похож на летящую птицу.

– Здесь, – бедуин показал окольцованной палкой в воду, – на дне моря покоятся пять городов. Адму, Севоим, Сигор вы вряд ли знаете, но два из них – Содом и Гоморру – знают все. Вот, города оказались – на дне. Почему?..

– Да-да, это известная легенда! – воскликнул я.

– Это не легенда, это правда, – сказал он, словно приложил печать.

Мы встретились взглядами: алмазно-черные глаза бедуина были первобытно чисты и спокойны, полны тысячелетней печали, усталости и мудрости. Возражать ему расхотелось, но привычка к легковесным дискуссиям взяла верх.

– Здесь произошла какая-то страшная природная катастрофа, в результате которой...

Бедуин отвернулся от меня и пошел прочь. Я чувствовал, что он не сказал мне главного и потянулся за ним, как тянутся за магнитом металлические опилки, пытаясь-таки на ходу вразумить незнакомца:

– Некоторые ученые утверждают, что это было извержение вулкана в истоках Иордана, другие...

Бедуин остановился и, словно бы обращаясь к земле, ответил:

– Была переполнена мера беззаконий. Так чаша переполняется водой. Мера исполнилась, и все лишнее, греховное выплеснулось через край...

– Да-да, есть гипотеза мгновенного тектонического разлома, – продолжал я гнать пену слов. – Другие говорят о столкновении Земли с огромным метеоритом...

– Вот здесь были эти цветущие города, богатые скотом, серебром и золотом, – не слушая меня, показал бедуин своей черной палкой туда, где Иордан впадает в Мертвое море, – тут бурлили базары, хлеба было в избытке, овощи и фрукты валялись под ногами. Но избыток страшнее нищеты. Наступило пресыщение, которое всегда приводит к преступлению и к извращениям. Земля эта растлилась перед лицом Божьим и наполнилась злодеяниями. Бог наслал на эти города огонь с серой, и города провалились. Теперь на этом месте вот... это Мертвое море...

– Стало быть, все дело в пресыщении? – остановился я как громом пораженный.

– Именно так, – спокойно ответил бедуин, глядя в тускло искрящиеся звездным светом дали Мертвого моря и продолжил: – Избыток – это смерть. Если лить под дерево воду больше чем ему надо, оно засохнет.

– Может, из этих соображений следует превратить мир в такую вот пустыню? – съязвил я, обводя вокруг пальцем.

– Так будет. Избыток для тела ведет ко греху, а грех – к смерти.

Мне стало не по себе, словно он обличал мою жизнь.

– Кто вы такой, чтобы исповедовать нищету и пустыню? – пошел я напролом.

– Я человек, ищущий заблудшую овцу. Мне туда, – показал он своей окольцованной палкой на бедное селение у подножия дальней горы, состоящее из четырех изодранных шатров и каких-то пристроек из деревянных и картонных ящиков среди редких кустов тамариска и различного мусора.

– Уж не здесь ли обитает Бог? – ядовито спросил я незнакомца, пытаясь вывести его из равновесия.

– Именно здесь, – невозмутимо ответил бедуин и, опираясь на черную палку, зашагал к шатрам, оставляя следы на белой от соли земле.

Ночью бедуин мне приснился, но почему-то в белой одежде и без черной, перехваченной металлическими кольцами палки.

– Я знаю: вы идете искать пропавшую овцу, – выпалил я, обрадованный предстоящему общению с ним.

– Так... – задумчиво произнес он и добавил: – Точнее сказать – заблудшую овцу. Но я уже ее нашел...

Взгляд мягких агатовых глаз его остановился на мне, вселяя в душу необъяснимую робость и тревогу.

Проснувшись, я быстро собрался, плеснул в лицо из фляги остатки пресной воды и почти бегом отправился на то место, где мы вчера расстались. Из-за синих Моавитских гор, словно звучащий гонг времени, вставало медно-красное Солнце; лучи его, пролетая над Мертвым морем, упирались в дальнюю гору, где я видел вчера шатры бедуинов. Теперь их там не было. Качались на ветру кусты тамариска, сверкала курчавая от соли земля, пролетела какая-то птаха. Не поверив своим глазам, я обследовал побережье.

Исчезли не только шатры и ящики пристройки – от стоянки не осталось даже следов.

Я взбежал на каменный гребень: передо мной простирались опожаренные Солнцем пустынные холмы и нагорья. В крайнем недоумении и растерянности я вернулся на то место, где мы расстались вчера с бедуином. Но, не обнаружив на заиндевевшей от соли земле его следов, долго стоял, подобно соляному столбу.

ДЕНЬ АНГЕЛА,
или
ПОХОРОНЫ БОЛЬШОГО ЧЕЛОВЕКА

Держу курс на высоченный, увенчанный каравеллой, блистающий в синем небе шпиль морского порта, пересекая по знакомой диагонали людные улицы и глухие переулки. В глазах уже пестрит от ярких лозунгов, транспарантов, плакатов с утра митингующего народа, как всегда, недовольного вороватой властью, которая, как всегда, не слышит его, пока, как всегда, не получит по жирной харе, извините...

И вот оно – море! Ветер сдувает с воды последние белые клубы зябкого ночного тумана, открывая полыхающую синевой холодную ребристую зыбь. На душе пустынно и тихо.

Привет, свободная стихия,
Не в первый раз передо мной
Ты катишь воды голубые
И блещешь гордою красой,

– выбросив руку, продекламировал я вслух, безбожно перевирая неподражаемого Александра Сергеевича, – прости меня, «наше – всё». Я знаю: он не рассердился, а улыбнулся, может, погрозил пальцем.

В морском порту безлюдно. У пирса пришвартован белоснежный туристский лайнер, который недавно был захвачен в Турции террористами, но отбит малой кровью, и вот теперь снова, как ни в чём не бывало, собирал богатых и праздных людей для зарубежной прогулки.

Рядом, распахивая раннюю алую воду, причаливает порядком изработанный мазутно-чёрный буксир. Как мал этот трудолюбивый мураш на фоне блестящей громады лайнера! Через борт свесилась маслянисто-жёлтая псиная голова. Четвероногий боцман наблюдает за швартовкой.

Из иллюминатора лайнера кому-то машет рукой красотка. Кормит чаек. Алчные птицы обезумели: кружат, орут, дерутся, подхватывая на лету хлебные крошки.

Пёс спрыгнул на причал раньше моряков. По-хозяйски принюхиваясь, подробно обследовал пирс. Столкнулся с лохматым, замурзанным сородичем. Изучающе обтыкал его таможенным носом. Но не обнаружил ничего примечательного. Поднял ногу над кнехтом. И потрусил к своему плавучему дому. Высокомерное равнодушие четвероногого боцмана потрясло сухопутного бродягу. Обиженно тявкнув, он увязался за морским волком. Тот остановился, смерил преследователя презрительным взглядом. И степенно поднялся по трапу на палубу буксира.

Я помахал красотке. Хорошее настроение, знаете... Она пошевелила паль-

чиками. Кокетство. В каждом движении, в любом жесте. Но вот и она скрылась за кисейной занавеской.

– Пошли, Барбос, ты же видишь: мы здесь лишние, – сказал я собачьему бомжу.

Обыскивая, ощупывая меня глазами, пёс склонил набок голову и завилял пыльным дремучим хвостом: «Видно, свой брат, может, что и обломится». Но, хорошенько присмотревшись ко мне, разочарованно потрусил прочь.

Я поднялся по узкой бетонной лестнице на южный мол. Не обнаружив среди рыбаков моего давнего знакомого, завзятого удочника Кузьмича, отправился в центр города.

На Платановой аллее меня подхватила и властно увлекла богатая похоронная процессия. Стало завидно: бывают же порядочные покойники! Из черно-красного катафалка белело длинное «лошадиное» лицо, сверкали квадратные носки огромных начищенных туфель.

В ветвях полуоблетевших платанов бродил – стоял – витал белый сквозящий туман, накатывающий временами с остывающего моря. Дохнул лёгкий бриз; проглянуло солнце; засияли влажные крыши, витрины, вывески; зажглись квадратные носки огромных туфель...

Как оказалось, хоронили «правую руку» мэра города, рэкетира Эпохи Великого Ограбления, без одобрения которого не принималось ни одно постановление городского парламента. Но что-то просмотрел, что-то фукнул, что-то не поделил он с главой города, тоже крупным махинатором, и был застрелен на пороге своего роскошного коттеджа. Отбыл в мир иной, как видно, человек незаурядной натуры и разносторонних интересов: за гробом шли не только господа из верхних эшелонов власти с дюжиной широких в кости востроглазых охранников, но и рабочий люд, представители городских «низов с помойки», а также люди интеллигентного вида и просто златозубые «братки».

Туман с моря накатывал на город, с каждой волной становился плотнее, – застил свет, клубился, буквально заглатывая похоронную процессию, словно кит Иону; временами казалось, что всё это мне снится в каком-то тягучем, липком сне; я шёл вместе со всеми, точно сомнамбула, переставляя ноги, чтобы не упасть, и не отдавая отчёта – зачем иду...

«Ах, да – сегодня же мой день Ангела!.. И надо кое-что прикупить к праздничному столу...».

На повороте к городскому кладбищу я увидел вывеску супермаркета «О кэй» (о, это наше языковое лакейство!), но по инерции прошёл мимо, заинтригованный загадочным покойником.

Кладбище заполонил бурьян. Солнце осветило известковый кладбищенский забор, на котором кто-то синей краской вывел: «Америка – дерьмо, Трамп – козёл, мы – за Сирию!». Чудесная триада. Но зачем писать об этом на кладбищенской ограде? Загадка русской души! М-да...

Чуть дальше белел меловой образчик армейского творчества:

Когда у русского солдата
Есть порох, спички, самогон –
Пусть «хрен» сосут солдаты НАТО
И встанет раком Пентагон!

Здесь были ВДВ, поминали своих

Я улыбнулся этой воинственной инвективе, о которой, к сожалению,

никогда не узнают натовцы и Пентагон. А жаль. Им полезно было бы знать истинное мнение о них русского солдата, которого они время от времени пытаются устрашить.

Запомнились две-три надгробные речи. Ухоженный, розовенький, точно Пятачок, оратор из местных олигархов:

– Дорогие друзья, сегодня мы провожаем в последний путь одного из самых талантливых предпринимателей России, которому не было равных среди нас в борьбе за место под солнцем. В бытность свою партийцем он много потрудился на общественной ниве. В одном из швейцарских кантонов, говорят, есть город, в котором центральная улица названа именем этого Большого человека. Его не раз подставляли, но он не прогнулся, потому что масштабно мыслил и творил. С юных лет он читал «Капитал» – песнь песней прибавочной стоимости. Но жизнь не стоит на месте. Маркс устарел. Настольным писателем покойника стал наш блестящий классик Дарвин. Именно потому классовая борьба у нас плавно перешла в клановую, строго говоря, в борьбу видов. С большевистской беспощадностью топил покойник врагов либеральных ценностей, но уже не революционными, а гуманными методами, ибо настало время свободы и демократии...

После него выступил крепкий седобородый старик с ярко-синими печальными и лукавыми глазами, в подпоясанной белой косоворотке и хромовых сапогах. «Пророк, провидец, мессия», – зашептала толпа, сдвигаясь к могиле.

– Вначале было Слово, – начал с Евангельской цитаты старик. – И у меня Слово. Я сам – Слово Бога живого. А у Бога все живы. И умерший жив, дети мои. Душа его сейчас летает над нами, смотрит и слушает. Я бы его воскресил, но это не нужно, потому что смерти нет, мои – Бога – дети. Но пока мы живы и находимся в теле, надо помнить: мы рождены спасать, искуплять, обновлять, исцелять и любить... Вы видели на улицах города своих братьев – голодных, грязных, измученных, озлобленных, обезумевших, разъярённых, способных на любые преступления? Человечество – единый род, одна семья... Помогите им! Покойник помогал, Царство ему Небесное... Мои – Бога – дети, осталось ли в вас сострадание – любовь – совесть? Мои – Бога – дети, не погас ли в вас небесный огонь милости и жертвы? Мои – Бога – дети, сотворите, сделайте для братьев ваших – безвинных, заблудших, заболевших, умирающих, сделайте безвозмездно, даром, бесплатно с любовью – сердечностью – душевностью места ночлега – отдыха – покоя, дайте им паспорта и работу для жизни...

Но тут старика оттеснил затянутый в чёрную кожу златозубый «браток». По толпе прошелестел шёпот: «Лёнька-Пушок, Лёнька-Пушок...».

– Братки, гасите барыг, – сказал Лёнька глухим, словно из ямы, голосом.

Все притихли.

– Гасите барыг! – повысил сразу на пол-октавы голос Лёнька. – Их место на параше или в гробу...

– Он с кем-то нас путает! – раздался начальственный баритон.

– Я могу повторить, братки, их место на нарах, – убеждённо, с каким-то тайным вызовом, сказал Лёнька и продолжил: – Что либералы, что демократы... Они ограбили нашу Россию, – выступавший помолчал и с закипающей в голосе слезой высказался до конца: – Братки, мы нищий народ. В натуре... Мы попали не в ту дверь, и покойник это знает... Но будет и на нашей улице...

Высказаться детальнее оратору помешали охранники, подхватили его под руки, вынесли за кладбищенскую ограду и дали ему пинка под зад.

Гроб опустили в могилу; грянул невесть откуда взявшийся странный духовой оркестр: литавры, гобой, тромбон и две валторны. Земля застучала по крышке гроба; народ всколыхнулся, кто-то заплакал, запричитал...

И тут неподвижный кладбищенский воздух располосовал, разорвал страшный грохот. Тугая горячая волна понесла меня на ограду, но к концу пути опала, изникла, обронив, наконец, моё тело в заросли чертополоха и крапивы. Рядом упал потускневший от тротила, дымящийся башмак покойника.

Некоторое время я лежал без движения, оглушённый, обмякший, безвольный, не понимая – куда меня занесло. «Где я?» – спросил я себя вслух, всматриваясь в муравья на травинке и воспрянув духом, что я не на том свете, но не услышал собственного голоса. Затем выполз в узкую, сорванную с одной петли, проржавленную калитку и рванулся прямиком через кусты в город, – у меня же сегодня день Ангела!..

ИСКУШЕНИЕ РУССКОЙ ДУШИ

Репортаж-видение

I.

На заре ясной, на воскате солнца красного возорлила Душа Русская над Святыми куполами Софии, над церковью Богородицы Пирогощей, над ввозом Боричевым, сверкнула полукружьями над синим широким Днепром и устремилась на юг, оставив розовеющий, подобный чаше с фруктами, древний Киев.

Полетела Душа Русская омыть незримые миру слезы и раны, развеять тоску свою смертную к морю Чёрному раным-рано.

Подобно Ангелу летела она над спящей окраиной Руси, над острыми днепровскими порогами, прозревая будущее, вспоминая давно прошедшее, и будто звенело ей издалека: «О Днепр Славутич! Ты пробил землю половецкую, ты лелеял на себе Святославовы насады до стана Кобякова»...

Не вчера ли это было?

Брань неизбывная, нескончаемая с Диким Полем, накатывающим войлочными селениями на скрипучих колесах с юга тесными, душными, кишащими волнами. Отступление, поражение, победа, примирение и снова, снова кипящие смертными криками средь ковылей, свистом стрел каленых, стуком мечей харалужных неисчислимые сечи. А в редкие благословенные годы замирения усобные распри между князьями разгорались. Говорил брат брату: то моё и это моё же, стонала земля Русская, омраченная, и легкой добычей для чужеземцев становилась.

О Время, время древлее, страшное вольное, уже за холмами седых веков еси! Но и ныне нет мира на Русской земле...

Плачет Русская Душа, кручинится. Худо время обернулось: Три Брата, Три могучих, единоверных, единокровных разделились ныне. Соблазнили их богатство да власть, разорвали живую кричащую Отчину на три удела они-Южный, Северный и Восточный,– говоря в безумной гордыне таковы слова: был один хозяин, стало три их – каждый своим домом, сами по себе жить будем.

О стонать Русской земле, как в первые времена!

II.

Неспокойным было море Чёрное Русское, море тревожное, опасное. Шли с моря чёрные тучи; вились в них змеями синие молнии; до самых небес вздымались, меркли, в лоно упадая, яростно-белые, словно под пеплом огонь, грозно ревущие волны. Быть грозе великой!

Воспарила тогда к облакам Душа Русская и полетела на север, к Белому морю, морю студеному. Ангелом снежнокрылым, небоглазым, а и пшеничноглавым летела над степями сурожскими она да над той Каялой рекой, где потерпел поражение сын Святослава Ольговича, честолюбивый князь Игорь Новгород-Северский...

Погасло солнце перед походом тогда, загораживая тьмой дорогу ему, но не внял он остереженью Божьему. Дикое Поле самовластной рукой покорить возжелал он, чтобы похитить у Святослава Киевского славу прежних дней.

Но пали бесславно знамена Игоревы на той Каяле реке.

Застонала земля Русская. Кончилось время благоденствия; пошли нестроения да кровавые усобицы, а поганые на Русь нарыскивали и с полоном великим в степь уходили...

Плачет Русская Душа, летящяя, роняя слезы жемчужные.

Вновь, как в далекие времена раскололи Три Брата живую Отчину –

один кувшин на три черепка. Стали судиться-рядиться, говорить о малом, как о великом, а над ними, над заросшими уделами их вьется, висит Птица Заморская – хищным ястребом, черным вороном – все высматривает, выведывает, застит белый свет смоляными крыльями нечистыми. Вьется Черная Птица зловещая, глазом кровавым ворочает, на всю Русь Православную зарится.

Ах ты вор, собака, ворон-падалъник, птица смертная ненасытная; я признал тебя по черному перу, по чёрному, по разбойному. А не ты ли перебитые перья сыпала в золотые ковыли Куликовские? Не тебя ли пригнуло в разрывах – дымах Бородинское поле чистое? Не твоя ли это крестовидная тень поднялась... и рухнула над Прохоровкой? А теперь птица смерти, летучая тать, ты последнее поле присматриваешь?

III.

Плачет Русская Душа, летящая над Отчиной разоренной, разделенной, нагой палой, на заре-заре дымной ранней алой, сокрушаясь сердцем, причитает:

– Ой вы, братья беспечные, протрите очи свои ясные; прискакали, уже верещат в уделах ваших злая Желя-Кручина да Карна-Вопленица, предвещают тугу, печаль великую, уже тенета для вас готовы вражеские и грядет пленение последнее, безысходное.

С моря южного, как встарь, живые кишащие волны накатывают; сплетена для вас тонкая удавка, бархатная на хитром Западе; а с Востока всесветное цунами желтое сметающее поднимается. Только локоть к локтю устоите вы, лишь плечом к плечу отведете беду страшную, только в спайке железной неодолимы вы, в единении душ – ваша слава грядущая...

Но не ладят, враждуют Три Брата удельные. Вот уж льется кровь своя же, родная, славянская, православная...

IV.

И рванулась Душа Русская в даль северную белую пристальную, – за пределы своей тоски, – а внизу проплывают – плывут от непогоды лазоревые

деревеньки медленные сеногнойные, осевшие, словно соль в воде, тающие, а по сторонам всё поля зарастающие. И не слышно, не видно ни дыма, ни лая, ни мыка, ни голоса – то ли живы они, то ль повымерли. Только чудится, как в оскудевшем народном ларе мышь скребется, ловкая иноземная....

Далеко – далече по левое крыло в том ли уделе окраинном Южном в свете сумеречном, неверном, блестят купола первограда русского седого Киева, а чуть севернее сверкает воинственно, переливается, словно замок стальной на воротах Европы алчной, вкрадчивой, славный город Минск, твердокаменный.

Вот уже показался, плывет по правое крыло Первопрестольный град удела Восточного, сквозь разрывы облачные ползет, словно гусеница златошерстная прожорливая, – град богатый колоколами, червем заморским взятый и оттого румяный, как больное яблоко, град удела, где зреет измена, затаилась змеёй подколодною...

Аи, летит заревой ранью, дымной алой, Душа Русская в смертной тоске к морю Белому полуночному...

V.

Над седыми островами Соловецкими, над белой стылой водой, словно полудой подернутой, тут курится – стоит туман соком брусничным пропитанный, вьется, висит, поднимается, окутывает монастырские стены суровые, к куполам собора Преображенского тянется, заволок церковку Благовещения, потопил по плечи Голгофу-гору с византийской вершиною-куполом, приютившей на темени голом своём скит с Распятьем, пустынный святой одинокий.

Не чайки кричат звонкогорлые, не уключины скрипят деревянные, не ветер холодный, злой колокола раскачивает, то томятся, скорбят, окликая друг друга в туманах густых Соловецких витая, сонмы душ нераскаянных светлых, безвинно загубленных. В той обители скорбной, на Голгофе-горе опустилась Душа Русская, у скита ли того, у Распятия, к милосердному Богу взывая о помощи, пред грядущими бедами скорыми...

Не успела крестное знамение сотворить она, как восшумело море Белое, задрожали стены скита каменные, неземным дохнуло холодом: опустилась с небес возле скита Голгофо-Распятского птица огромная с темным ликом обугленным, сложила она крылья врана аспидно-черные, будто в плащ до пят завернулась, приняв образ – зрак человеческий.

– Я – повелитель духов, владыка пространств, всех языков и земель, – возговорил Вран-Человек и продолжил так: – Не к Распятому с молитвой о помощи припадай ты, Душа Русская заблудшая, а ко мне – ко мне, владыке двух миров!

Отвечала кротко Душа Русская:

– Не нужны мне помощники самозваные, а нужна мне благодать Божия...

Ты, потерянная Душа русская, и народ разделенный твой, голодающий, вымирающий, блуждает в потемках погибельных. И Три Брата те, разделенные, о которых напрасно печёшься, горюешь ты, потеряли другдруга навечно, ибо в воле моей они... Где же Бог твой? Кто поможет тебе? Я! Я – хранитель древних тайн и чудес, я могу превратить эти камни в хлебы!

– Было сказано: не хлебом единым ...

– То старая песня! Оглянись, посмотри вокруг – всюду люди душу свою отдают в заклад за утехи и блага для плоти. И не верит уже человек в благодатный исход, в своё высшее предназначение. А без веры – он мой!

Отвечала тихо Душа Русская:

– Но хранящий Бога в сердце своём преодолеет грех плоти...

– Слепота, слепота! Слушай, слушай: днесь работают все на меня – мир у ног моих ныне! – и Вран-Человек взад – вперед, хромая, забегал. – Все покупается – продается во имя моё. Знай: всемирное торжище – это моё устроение! Потреблять, потреблять, потреблять – вот мой бич для падшего рода людского!..

– Но сгоняет твой бич род людской в стадо большое – в ЗВЕРОЧЕЛОВЕЧЕСТВО, по плоти живущее, к бездне адовой гонит его – к погибели! – воскликнула Душа Русская. – Путь иной у меня: прилепляюсь я к стаду малому – к БОГОЧЕЛОВЕЧЕСТВУ, в духе живущему, уготованы новая земля и новое небо ему...

– Слепота, слепота, слепота... Слушай, слушай... – приблизив обугленный лик, зашептал горячо неистово смрадно Вран-Человек, пуча глаза свои с лузгом кровавым, где застыла вселенская тьма, чадящая, вспыхивая умирающими звездами. – Хочешь силе Божьей служить невидимой? Но какой в этом прок, если в веке сем царствует сила моя, сила зримой материи, а не бесплотного Духа? Если верой и правдой мне будешь служить, дам тебе всё-все сокровища мира, господство над землями и языками – все народы тебе покорятся!..

– Господство над миром?.. Это гордость ума!.. Древний гибельный искус, – отвечала смиренно Душа Русская. – Все приманки твои – к погибели. Отойди от меня сатана – Искуситель! Я служу только Богу Единому, Ему Одному – до конца, во веки веков!..

Взвизгнул яростно, взвился Вран-Человек, застя свет, распустил свои аспидно-черные крылья загробные и, как молния, скрылся в туманной светающей вышине. А за ним с перепончатым шумом и треском понеслись вдруг возникшие существа, завывая и воздух сверля, оставляя внизу дух нечистый густой крыл зловонных и серы удушливой...

VI.

Тут ударили на островах Соловецких колокола монастырские и ответила им перебором звонным церковка Благовещения; поредел, заалел разволокнился туман, растворяясь в зеленом рассветном небе; показалось из-за синего окоёма – вышло солнце Апостолом огнеликим и засияли, загорелись воды и дали. И, исполненная благодатных сил, встрепенулась Душа Русская, ощущая мощь своего крыла, поднялась с вершины Голгофы-горы; воспарила над монастырской обителью, колокольным звоном Незримого славящей, полетела над раздольными полями, над темными лесами, выше гор, выше облака ходячего – ко Днепру синему Славутичу, ко святой Софии, к той ли церкви Богородицы Пирогощей, в родовое Большое гнездо, Домой, во престольный первоград древний Киев.

Но взметнулась вдруг, словно ловчая сеть, перед ней стая воронов-падальников, что неслась на заре, затмевая солнце красное, ранее, в предвкушении легкой добычи на Русь разделенную. И неистово налетели скопом каркающим на Душу Русскую и клевали, глушили крыльями, пригнетая, прибивая к земле её, чтоб не летала она, а ползала...

И взмолилась тут Душа Русская: «Помоги мне, Боже, невредимой вернуться Домой, избавь меня, Боже, от вранов-насильников! Пошли, Боже, защиту скорую, а не то умертвят меня ночи сыны, Искусителя-Врана прислужники!..

Воспарил тут Беркут из удела озерного Восточного, взмыл свечою Сокол из удела степного Южного, возорлил Кречет из удела лесного Северного. С трех сторон рассекли они стаю насильников-воронов, и, проложив три просеки светлые смертные, – встретились! Но смолою кипящей объяли их с бешеным ором разбойники. Завертелись вихрем, покатились по воздуху черные три колеса, где сияли, сверкали белыми спицами быстрые когти проворных пернатых витязей. И летели на землю вороны смолеными головешками, устилая чёрным помётным пером равнину широкую – русскую.

Тут и смолкло зловещее карканье...

Словно войско подбитое ветром, разрозненное, года 12-го, убегали-улетали остатки ощипанных воронов за священные рубежи нашей Отчины.

И вставала на крыло Душа Русская, приободрившись, слыша в небе клекот победный над родными просторами, светозарными необозримыми, и пела:

Замиритесь, братья, в раннем поле,
Чтобы не лишиться древней воли;
Чтоб навеки затвердили на заре вы,
Что мы, русичи, мы – назареи!

И толкнулся в уши басовитый гуд главных храмов с московских холмов, и ответили им золотым колокольным узорочьем звонкий Суздаль со Владимиром, долетел с Дона вольного малиновый звон колоколен длинношеих Ростова Великого. И, услышав родную соборную весть, откликались им Киев и Минск переплеском гудящих звонниц высоких, воскрешая старинный дух братства вечного, нерушимого...

И от моря до моря гудели, пели, плескались в небе колокола русские. Горело солнце новозаветно и празднично, и дрожали утренние над Русью лучи, точно струны гуслярные; и роились в опояс холмов золотые рои, словно пылили вои воскресшего полка Игорева.

Владимир ПРОНСКИЙ

СМЕРТНЫЙ БОЙ

Рассказ

Впервые они встретились на активе землячества: десантник и морпех. Десантник работал механиком на автобазе, примкнул к сообществу недавно, пообещав бесплатно ремонтировать служебный автомобиль, после чего сразу стал своим человеком. Тридцатипятилетний морпех, сотрудник известной торговой компании, имевший опыт работы в комсомоле, в землячестве считался завсегдатаем, поэтому давно возглавлял молодёжную секцию. Он младше десантника на двадцать лет, но что значит разница в возрасте там, где нет званий и должностей. Поэтому их и называли запросто, по-свойски, как по именам – Десантник и Морпех!

Все, кто объединялся в землячества, ставшими модными лет десять-двенадцать назад, в столице оказывались по-разному: кто приезжал на работу, кто после учёбы, удачно женившись или выйдя замуж, навсегда оставался в Первопрестольной на зависть родным и знакомым из глубинки. Жизнь сложилась у каждого своя, но всех приезжих москвичей мучила ностальгия по оставленной малой родине. Поэтому любое упоминание о ней тотчас навевало чувственные воспоминания. Новые москвичи всегда были необыкновенно рады встречам с земляками из родной обла-

---

ПРОНСКИЙ (Смирнов) Владимир Дмитриевич родился в г. Пронске Рязанской области. Дебютировал в 1967 году. Автор романа-трилогии «Провинция слёз», романов «Племя сирот», «Три круга любви», «Казачья Засека», «Стяжатели», книги избранных рассказов «Лёгкая дорога» и других книг повестей и рассказов. Произведения публиковались в журналах «Наш современник», «Москва», «Молодая гвардия», «Роман-журнал XXI век», «Неман», «Подъём», «Север» и других. Владимир Пронский – лауреат нескольких литературных премий. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

сти, не говоря уж о родном городе или селе. И Десантник с Морпехом не были исключением.

Если во время первой встречи они лишь приглядывались один к другому, то во вторую начали подначивать, занявшись извечным спором десанта морского с десантом воздушным. Каждый представитель этих родов войск считал себя, несомненно, авторитетнее и готов был это доказать кому угодно. В этом и они не отстали от других. К концу встречи в офисе землячества, закончившейся традиционным застольем, вполне созрели для выяснения отношений и шутливо поборолись на руках, для начала согласившись на ничью. Когда же неожиданно выяснилось, что они родом из соседних сёл: Десантник из Коммунара, а Морпех из Борьбы, — всё изменилось, потому что между их сёлами жила старая вражда. До революции 1917 года названия они имели иные, но с приходом к власти большевиков религиозные названия отменили, церкви в них поломали, и всё это делалось неспроста, так как сёла эти когда-то стояли на Засечной черте, поэтому и получили расплату за казачье прошлое. Хотя к казакам их давно не причисляли, но дух государевых поселений, свободных от крепостного права, прижился твёрдо и навсегда, и какие бы перевороты и войны не проносились по стране, какие бы реформы не затевались — ничто не могло уничтожить в потомках горделивый дух. А где казаки — там и уклад жизни особый, не похожий на прилегающие районы. Там, к примеру, чужой человек пройдёт по иному селу, и никто с ним не поздоровается, а в Коммунаре да Борьбе каждый доброжелательно поклонится, даже дети и старики. И ещё отличались эти два села от окрестных традицией кулачных боёв. Вплоть до середины прошлого века на Крещенье и Троицу сходились бойцы и мерились силой и ловкостью.

Десантник с детства помнил, как сшибались стенка на стенку. Зимой бились свои — один край на другой, а на Троицу собирались у пограничной речки Бродницы и ждали, когда из-за неё прибудут ловченные мужики из Борьбы. И едва те переходили мост, как обе стороны вступали в схватку. Начинали её подростки. Потом бились взрослые: молча, яростно, словно очередной бой — последний в жизни. В конце концов кто-то давал слабину, и тогда гнали дрогнувших с криками и улюлюканьем до центральной площади чужого села, чтобы там закрепить победу, а после всё-таки побратски обняться и отметить праздник за общим столом. Десантник по малолетству не успел поучаствовать во взрослых сшибках, но разок напросился задраться на чужих пацанов и представлял, что это такое — ходить стенка на стенку!

Ежегодная та забава продолжалась до середины шестидесятых годов, когда в очередной сшибке погиб отец Десантника, но погиб случайно, из-за фронтовой инвалидности не участвуя в кулачках. В тот день он мирно ковылял центральной улицей Коммунара, когда его обогнали односельчане, оказавшиеся в тот раз в меньшинстве и спасавшиеся бегством от преследователей из Борьбы. Подвыпивший отец не думал ни от кого хорониться, знай себе хромал, стуча протезом, размахивая спьяну руками, и его, видно, приняли за коммунарского заводилу. Поэтому и шибанули, попавшего под горячую руку. Отец неловко хлобыстнулся затылком о голяш мостовой и остался лежать недвижимым. В тот же час его отвезли в районную больницу, где он через пять дней, не приходя в сознание, скончался. Следователи пытались найти виновного, но разве сыщешь того, кто в сваре кому-то хорошенько ввалил? Бесполезное дело. А чтобы более не

повторялась такая история, милиция стала жёстко пресекать любые попытки кулачных боёв. Даже конспирация бойцам не помогала, когда они несколько лет пытались тайно собираться вдали от сёл, но и там их выслеживали — всех прочих разгоняли, а зачинщиков арестовывали и пятнадцать суток «остужали» в местных застенках. Но это тогда наказанием не считалось. Отсидев полмесяца на казённых харчах, они потом героями ходили по селу, любая деваха почитала за счастье пройтись с таким «арестантом» после вечёрки.

Теперь та молодецкая забава подзабылась, бывшие бойцы состарились и поумирали, молодёжь разъехалась по городам. И если уж им приспичит по пьяной лавочке пободаться, то бодаются обязательно «насмерть», хотя прежде-то и слова такого никогда не произносили, берегли для настоящего врага, закордонного.

Да, со временем окончательно отучили враждующих от этой привычки, зато Морпех и Десантник сразу вспомнили старинный обычай, когда ехали по «серой» ветке метро домой: одному добираться до «Пражской», другому — до станции «Аннино». Когда они вошли в вагон, то заполнили его собой чуть ли не наполовину: оба крупные, плотные, с огромными ручищами, непомерно мордастые — в глаза посмотреть таким страшно! И не молчуны. Особенно словоохотливым оказался Морпех. По молодости лет он не мог участвовать в кулачных сражениях, но был хорошо осведомлён о них от своего отца — большого любителя в молодости ходить на кулачки в Коммунар.

— Он даже какого-то коммунарского мужика однажды до смерти зашиб! — похвалился Морпех, распалившись, вспоминая былые рассказы отца. — Правда, мужик тот колченогий погиб случайно: в схватке не участвовал, а попал на наших по дурости!

Десантник сперва не проникся смыслом похвальбы, но когда Морпех ещё что-то добавил насмешливое, то сразу, теперь по-настоящему, вспомнил своего отца, и всё в Десантнике перевернулось. Получалось, что он сегодня выпивал, а теперь дружески разговаривает с сыном убийцы отца?! Вот так случай! И когда подумал об этом, то совершенно по-иному посмотрел на земляка. Тот заметил его свирепый взгляд, но, конечно же, не понял причины, а счёл вызовом, желанием потягаться силой. Что ж, он морпех, а морпехам не след уклоняться от любых вызовов!

Из центра ехать минут двадцать пять, и этого времени им хватило, чтобы договориться о немедленном выяснении отношений.

— Чем, земляк, спорить, надо выйти на любой станции и «пободаться»! Ты не против? — спросил Морпех.

— Запросто! — охотно согласился Десантник, вспомнив погибшего отца.

— Только бодаться будем насмерть! — предложил Морпех. — Согласен?

— Договорились! Хотя наши отцы бились до первой крови, а лежачих не трогали. Знаешь об этом?

— Знаю, но теперь прошли старые времена. Где выйдем?

— Давай на твоей «Пражской»!

Предложение биться насмерть Десантника не испугало, потому что заявлено оно было Морпехом сгоряча, явно для красного словца. И он конечно же ничего не знал о давнишней потере Десантника. Да и, понятно, не собирались они убивать друг друга. Схлестнуться — да, это верно, если уж сошлись. Ведь где Коммунар с Борьбой сходятся — быть драке!

Болтливые до этого, они, обдумывая схватку, сразу замолчали, едва обо-

значив жёсткую задумку, до конца, видимо, не осознавая, в какую втягиваются затею. Но слово было сказано и принято, и отступать поздно. Им оставалось проехать два перегона, и оба эти перегона они не смотрели друг на друга. Лишь когда поезд начал тормозить и Десантник, которому надо было выходить через остановку, шагнул к выходу, неожиданно быстро протрезвевший Морпех спросил:

— Десант, ты чего? Серьёзно, что ли?

— Договорились же... К тому же не я предложил биться! Пойдём!

Морпех промолчал, вышел следом за пригнувшимся в дверях Десантником. На улице напомнил о себе:

— Ну и где тут биться? Милиции полно! — осторожно спросил он, разрумянившись от захлестнувшего волнения.

— На другую сторону Варшавки перейдём! Там темно и луговина широкая!

Морпех ничего более не сказал, лишь засопел сильнее. Они перешли шоссе подземным переходом, вышли на луговину, примыкавшую к улице, ведущей в Бирюлёво, и с асфальта ступили на мягкий и мокрый луг, раскисший от ноябрьских дождей.

Неподалёку стояли люди на автобусной остановке, и им, видимо, было невдомёк, зачем и куда направились два увесистых подвыпивших мужика, хотя могли предположить, для чего они ищут тёмное место. Но у этих что-то иное затевалось. Это сразу стало ясно, когда они бросили на луговину куртки и приняли боевые стойки. Если бы кто-то мог услышать их разговор, то вполне мог подумать, что два мужика шуткуют. А те и не думали ни о чём другом, кроме как о схватке.

— Начинай! — предложил Десантник. — Молодым везде у нас дорога!

И Морпех не заставил себя ждать. Махнул правой, левой, и Десантник едва успевал уворачиваться, чувствуя, как кулаки противника обжигают кожу на скулах. «Молоти, молоти, — подумал он, — ещё пару-тройку раз махнёшь, и прыть-то с тебя сойдёт! И останется тогда подловить тебя на очередном наскоке...». Он даже представил, продолжая уклоняться от достаточно редких, но хлёстких ударов и слегка пятясь, как врежет противнику, как тот запрокинется и обмякшим мешком завалится на луговину.

Продолжая пятиться, Десантник в какой-то момент почувствовал, что сам оступился, и сразу попытался выпрямиться, но не сумел. Эта оплошность не понравилась. Ему показалось, что падает он неожиданно долго, даже и не падает, а куда-то мягко проваливается, успевая всё-таки подумать, что надо бы вывернуться, упасть не плашмя, а сгруппировавшись, чтобы сразу подняться и встретить противника новой стойкой. Чем дольше он падал, тем острее чувствовал, что не успевает сгруппироваться, не может сконцентрироваться и по-настоящему понять, что происходит, почему не может раскинуть руки и смягчить приземление на спину. «Наверное, так и отец думал, когда летел на булыжную мостовую, прежде чем хрястнуться...». Эта секундная мысль об отце пронеслась и забылась Десантником, потому что его тело не хотело слушаться. К тому же он не просто падал на спину, а запрокидывался, и уж новая мысль прожгла, когда вспомнил условие, что биться они будут насмерть. Морпех не виноват, что противник поскользнулся, он даже и спрашивать не будет ни о чём таком, не будет дожидаться слов о пощаде. И Десантник в отчаянии решил: «Теперь ногами забьёт!». И то ли от безысходности, то ли отпустив сознание в свободный полёт, подумал... вернее, перестал думать, мысли его провалились в чёрную яму, а напоследок

мелькнула другая мысль, радостная: «Вот и хорошо, что так, — не больно будет помирать!». А следом резанула ещё одна: «Что же я так быстро сдался, кличу смерть раньше времени?! Ведь сразу-то всё равно не помру!».

В какой-то момент он даже чувствовал удары, но они казались совершенно безболезненными, на них реагировало лишь расслабленное тело, ставшее почему-то удивительно податливым. И Десантник решил, что действительно умрёт, если его тело чувствует удары, но не чувствует боли. Значит, уговор их исполнится! Что ж, всё по закону. За слова надо отвечать! Ему предложили, он согласился. Претензий нет и быть не может. Только показалось обидным делом погибать от сына убийцы отца.

Десантник не мог знать, сколь долго терпел удары, только чувствовал после короткого затмения, что чем дольше терпит их, тем более приходит в себя; он начал чувствовать боль, и она заставила напрячься, заслонить руками голову и бока и в какой-то момент попытаться подняться. Сразу это не удалось, с колен он опрокинулся от нового удара, но, уже падая, вдруг налился силой, окончательно вернувшееся сознание заставило вдогонку зацепить ногу Морпеха и подсечь его самого. Всё происходило автоматически, словно во сне или на тренировке, как в молодости. И тот грохнулся рядом, и, видимо, приложился неудачно — так, что даже мягкая луговина не помогла. Какой-то доли секунды Десантнику хватило, чтобы вскочить и в прыжке подмять противника, оседлать его. Теперь тот распластался на спине, а Десантник в отместку за свою боль, в отместку за своего отца с правой и левой лупил по скуластому лицу, как по боксёрской груше. От первых двух-трёх ударов Морпех увернулся, а от последующих лишь хрипел, сдерживая себя, чтобы не сорваться на стон. Но всё-таки сорвался.

— Прости, Десант! — негромко просопел он и после очередного удара взмолился, даже не попытавшись скинуть с себя противника: — Хватит, сдаюсь!

Хотел Десантник напомнить о договоре «биться насмерть», но не стал размазываться разговорами, лишь, опять вспомнив отца, хряснул напоследок по раскисшей от крови и соплей физиономии и подумал, что если бы бились действительно насмерть, то остался бы валяться Морпех на луговине бездыханным. Ничего не сказав поверженному и униженному противнику, хотя он сам себя унизил просьбой о пощаде, Десантник поднялся, подхватил валявшуюся куртку и молча пошёл к метро, где поймал частника, и через десять минут был у себя в квартире.

Не раздеваясь, в кухне попил из чайника, зашёл в ванную комнату, заглянул в зеркало и порадовался, потому что, кроме двух ссадин на скулах, вид у него был вполне приличным; правда, левый глаз, обозначенный понизу кровавым ободком, успел затечь. И по-прежнему всего колотило от непроходящего возбуждения, как от озноба. Жена сразу заметила суету и укорила, взглянув на него, хотя и знала его натуру:

— Опять, что ли, с кем-то сцепился?!

— Ничего страшного... — отмахнулся он, только-только заметив, что свитер на локтях и джинсы на коленках блестят от мокрой жирной глины. И ничего не стал объяснять.

А жена — спрашивать, зная, что всё равно ничего не услышит путного, лишь напомнила, подав домашнюю одежду:

— Иди под душ да переоденься, свинтус! Уж седой наполовину, а всё силой меряешься!

Она вроде бы поругала, но разве это ругань? На неё Люся просто не способна, потому что с юности знала, каков её муж. Она и познакомилась с ним тот вечер, когда он отбил её от трёх подвыпивших хулиганов, от которых испуганная студентка спасалась чуть ли ни бегством. А он остановил их, как щенят, раскидал, а после проводил её до дома и даже имени не спросил, а когда она полюбопытствовала, кто он, где живёт, стеснительно указал на светившиеся неподалёку окна общежития автокомбината. Её это не смутило, она пригласила на чай, познакомила с родителями, назвав его героем, а он в тот вечер очень смущался, совсем не по-геройски. Но потом привык к новым людям, а через два месяца женился на Люсе и переселился к ней, потому что её в нём всё устраивало. Иногда, правда, он любил потягаться силой, но первым ничего не затевал. Как тут будешь ругаться, если когда-то сама благодарила за спасение и называла героем! Десантник это знал и пользовался её отношением. Вот и сейчас: так глянул на неё, когда она обозвала «свинтусом», что Люся мгновенно исчезла в дальней комнате.

Уединившись, Десантник немного успокоился, мало-помалу пришёл в себя, хотя недавняя схватка продолжала будоражить, а более всего — тот момент её, когда он ни с того ни с сего запрокинулся навзничь. И было непонятно, то ли сам пошатнулся, то ли Морпех послал в нокаут, и сделал это так ловко и умело, что родил в Десантнике мысли о собственной слабости. Если это так, то тогда и вовсе стыдоба, ибо никто в жизни не отправлял его в нокаут. Он просто не позволял это делать, действуя на опережение, используя силу и длину рук. А в этот раз, получается, позволил. Лишь одно радовало: хоть немного, но отомстил за отца! Это ведь тоже неплохо!

В ванной он разглядел себя и, помимо саднящей челюсти и заплывшего глаза, почувствовал боль в боках и, повернувшись к зеркалу, увидел выделявшиеся кровавыми прутьями рёбра, подумал: «Хорошо он меня отделал!». Но всё равно радовался, что пусть и с осечкой, но оказался победителем, хотя и не в смертельном поединке, но по-настоящему мужском, без скидок. Правда, чем дольше вспоминал «смертный бой», тем неприятнее становилось на душе. Получалось, что Морпех лупил ногами лежачего, как и сам он потом чуть не добил его, распластанного на лопатках. «Совсем мы гнилые стали, озверели, можно сказать, если уж своих лупцуем почём зря, без всяких правил!» — подумал Десантник. Огорчившись от этой горькой мысли, он не стал более накручивать себя, поспешно вышел к жене раскрасневшимся, ошалелым.

— Глаз-то припудри! — подсказала она. — А то скоро дети придут.

— Ловко придумала! Зачем из меня профурсетку-то делаешь? — огрызнулся он и надолго замолчал.

Даже собравшиеся к ночи сын со снохой и внучкой-шестиклассницей не смогли отвлечь, задавая лишние, как казалось, вопросы. Он всегда был словоохотлив с ними, а в этот вечер не мог взглянуть в глаза. Хорошо ещё, что жена успела выстирать джинсы и свитер, а то бы совсем стыдоба. Поэтому Десантник устроился спать пораньше, пока домашние суетились в кухне. И даже заснул, а когда пришла Люся, проснулся, но сделал вид, что спит, хотя знал, что теперь долго не уснёт от мыслей. А в мыслях всё то же: луговина, неожиданное падение и подмоченный вкус победы, казавшейся теперь неполной и почти случайной.

Но как бы то ни было, он всё-таки победил, заставил противника просить пощады! Разве этого мало?!

Он, конечно, заснул, а проснулся с новой мыслью, будто всю ночь вынашивал её. К утру она прорезалась, да так крепко запала в сознание, так прилипла, что от неё никуда не деться. Она подсказывала, гласила: надо ещё встретиться на луговине, чтобы чувствовать себя окончательным победителем. Или проигравшим. Это уж как повезёт, но в любом случае встреча должна состояться. И чем раньше, тем лучше. Но эта мысль в нём жила лишь до того момента, когда он еле-еле поднялся с постели, еле-еле разломался, а после тяжело добрался до работы, скрыв глаза за тёмными, не по сезону, очками. К этому часу мысли о Морпехе окончательно переменились. Он даже знал, что скажет ему при очередной встрече, как шутливо напомнит «смертный» бой, а после предложит хряпнуть по рюмашке, и поедут они домой настоящими земляками. И ничего более не будут вспоминать. Особенно он. Чего теперь травить душу, когда ничего не изменишь?! Через две недели намечалась новая встреча в землячестве, и новая их встреча пройдёт по совершенно иному сценарию. Теперь без дури. Хватит, намахались!

Всё бы так, наверное, и было, но через неделю Десантнику позвонила секретарь землячества и скорбно сообщила, что будут хоронить... Она назвала фамилию, а он не сразу сообразил, что услышал фамилию Морпеха!

— Что с ним? — спросил Десантник совершенно искренне.

— Его кто-то сильно избил недалеко от дома, когда возвращался с землячества!

Десантник от этих слов чуть не задохнулся, невольно спросил:

— Как же его угораздило?

— Он ничего не помнил... Вечером вернулся домой, ему вызвали скорую, и по дороге в больницу он впал в кому. Через пять дней скончался от обширного кровоизлияния... Так что, — она уважительно назвала Десантника по имени-отчеству, — приходите, пожалуйста, завтра к траурному залу больницы. — Она продиктовала адрес, время начала церемонии.

Десантник не сразу осознал суть звонка, лишь почувствовал, как затряслись руки и ноги, тошнотворно закружилась голова. Получалось, что бой у них оказался действительно смертным. И кто теперь из них виноват, кто должен отвечать?! Получалось, что только он, Десантник, оставшийся в живых. Хотя мог и не остаться. Но теперь это неважно. Теперь вся вина на нём, он — преступник! Теперь надо идти в милицию и заявлять на самого себя! От этой мысли он так изменился в лице, что жена спросила, словно у безнадёжно больного, когда он вернулся в кухню попить:

— Чего такой бледный?!

— Сердце защемило! Земляк умер... – и покрылся холодным потом.

— Сейчас валерьянки накапаю! — засуетилась перепуганная светловолосая Люся, сразу потемневшая лицом.

Десантник захотел тотчас всё рассказать и действительно отправиться в милицию, но пожалел жену, увидев, как она переполошилась; значит, видок у него был тот ещё. Он не стал противиться, выпил мутной жидкости, и жена проводила в спальню, оставила одного: мол, полежи, приди в себя.

Ночь он провёл в полудрёме, продолжая обкатывать в уме различные варианты действий, но окончательно ни к какому не прибился. Так и поднялся задолго до позднего рассвета душевно разбитым, не определившимся. Словно в угарном тумане, побрился, принял душ, надел чёрную рубаш-

ку, серый пуловер. Положил в карман паспорт. Пока возился, понял, что не сможет сегодня быть на похоронах. Сил не хватит смотреть на всё, что там будет происходить. Так что проведёт время в каком-нибудь пивном баре, отсидится, ещё раз всё обдумает. А в милицию всегда успеет. Да и с какой это стати он должен себя сажать?! Морпех ведь сам напросился и получил соответственно. «Конечно, жалко, что всё так закончилось. Но разве не жалко мне было хоронить родного отца?! Разве не обидно было расти сиротой? Обидно! Ещё как обидно! И отец мой никого не трогал, а тут герой выискался, смертного боя ему захотелось! А ведь, наверное, у этого «героя» дети теперь остались сиротами, каково им будет? И всё из-за чего? Из-за пьяной дури своего отца!». Десантник искал оправдание, которое помогло бы убедить себя и скрыть всё то, что произошло неделю назад, как это было ни противно. «Если бы искали, давно бы нашли. Ведь на автобусной остановке люди толпились! Наверняка кто-нибудь видел драку, да и трудно меня было не заметить и не запомнить, когда я шёл ловить машину! Значит, никто не обратил внимания, что и не удивительно, если в нынешнее время у всех ко всему большое безразличие. А если кто-нибудь и заметил — не будет связываться с органами! — продолжал размышлять Десантник, заодно обдумывая ситуацию. — Морпеху теперь ничем не поможешь, а каково будет перенести такой удар моей семье?! Жена с ума сойдёт! А сыну что скажу, снохе, внучке?! Как буду на суде смотреть им в глаза?! В общем, беда, да и только. И страшная беда, страшнее не придумаешь!»

— Поаккуратней будь на похоронах-то, если сердце вчера прихватило! — предупредила жена. — Не особенно увлекайся поминками-то. Тебе не тридцать лет!

— Постараюсь! — только и сказал он и подумал: «Знала бы ты, в какую историю попал твой муж, совсем по-другому говорила бы! И хорошо, что ничего не знаешь!».

Ему захотелось по-особенному расцеловать жену, милую терпеливую Люсю, с годами не растерявшую девичьей стройности, прижать к себе, почувствовать, какая она маленькая по сравнению с ним, беззащитная, сказать какое-то особое нежное слово, посоветоваться, но он и вида не подал, единым словом не обмолвился о своих переживаниях и сомнениях. Если всегда он делился с ней в трудные минуты, то сейчас не смог, язык бы не повернулся. Конечно, ему надо ещё вчера собрать домашних и рассказать всё, как есть, хотя и трудно это было бы сделать, заранее зная, как они отнесутся к его откровению. Ведь у всех высшее образование, а в его активе лишь курсы автомехаников. Поэтому они всегда учили во всём, а в этот раз и вовсе привязались бы. Сын — тот сразу пригвоздил бы: мол, давно предупреждал, чем закончатся отцовы выкрутасы... Но что он, кандидат наук, понимает в жизни, что знает о своих предках, для которых честь превыше всего, и запятнаешь её хотя бы перед самим собой, — это пятно будет всю жизнь чернеть в душе! Так что с ним всё понятно, тем более что он и внешне, и характером похож на мать-учительницу. Хотя Люся сразу ничего не сказала бы, а сперва замерла бы испуганно, обозвала бы свинтусом, убежала в спальню и, наревевшись, вышла бы оттуда в том состоянии, в котором от неё вообще не добьёшься ничего дельного. Сноха, работавшая менеджером, — та посмелей и откровенней, вполне могла сказать, как к стенке припереть: «Чего уж, дед, иди и сдавайся! Может, снисхождение будет!». Да, всё так и было бы, а он не смог бы по-настоящему ни объяснить ничего, ни оправдаться перед

домашними! Поэтому и промолчал вчера, а теперь, представив несостоявшийся разговор, превозмог сам себя, будто перешагнул черту, за которую было страшно даже заглянуть... Когда жена ушла с внучкой в школу, он позвонил на автобазу, предупредил, что идёт на похороны, и попросил не ждать его сегодня.

«И вообще пусть не ждут. Долго-долго!». Это заклинание родилось, едва он закрыл квартиру. В этот момент был готов ко всему, потому что всё, от чего мучился ночью, ища различные ходы спасения, — всё это настолько показалось противным, что он более не хотел об этом думать. Не хотел подличать перед собой, перед памятью отца, перед погибшим Морпехом, перед своей семьёй. «Всё, иду в отделение! — решил он, будто гвоздём проткнул себя. — Двум смертям не бывать, а одной не миновать!»

У подъезда всё-таки поколебался секунду-другую, но повернул не к метро, а к парку, за которым находилась милиция. Ноги, казалось, не шли, но он погнал себя, даже хмыкнул сквозь невольные слёзы: «Вот тебе, милок, и смертный бой!». Когда оказался рядом с отделением, Десантник опять вспомнил семью, но остановиться не смог. Рывком, словно боясь, что передумает, рванул тяжёлую стальную дверь, на секунду задержался и поспешно захлопнул её за собой.

Дмитрий ЕРМАКОВ

ДИКИЙ САД
Рассказы

ВОЛЧЬЯ КРОВЬ

– Опять завыл... Точно, он, не ошибёшься... Но не может ведь этого быть... Не может, не может...

Лунный свет пробивается в неплотно задёрнутое окно, холодный, ночной, он леденит душу, как волчий вой. И силы нет встать и задёрнуть тряпичную занавеску...

А может, и не было никакого воя? От одиночества что угодно может почудиться... Нет, одиночества он не боится, он любит одиночество...

Изба родительская ещё крепка, печь натоплена жарко. Запас картошки, капусты и прочей овощи в подполье имеется. Даже телевизор у него есть. Но не хочется и смотреть-то. Чего он там не видел? Надоело... До весны будет один, в апреле соседи-дачники приедут. Да ещё Колька-скупщик на следующей неделе должен заехать, до большака-то придётся к нему на лыжах идти...

Опять завыл. Нет, не почудилось – вон, сучка в конуре на улице заскулила.

– Ничего, небось, не сунется!..

Волохов всё же поднялся. Сунул ноги в растоптанные валенки, накинул фуфайку, шапку на голову приткнул, вышел на мост, соединяю-

---

ЕРМАКОВ Дмитрий Анатольевич родился в 1969 году в Вологде, член Союза писателей России. Рассказы и повести публиковались в «Литературной газете», в журналах: «Наш современник», «Москва», «Север», «Дон», «Подъем», «Сибирские огни», «Алтай», «Дальний Восток» и в др. изданиях. Лауреат Всероссийского конкурса им. Шукшина «Светлые души» (2006). Живет в Вологде.

щий избу с двором и поветью (он не стал по примеру многих соседей разбирать двор на дрова), спустился на крыльцо... Морозом перехватило дых...

Тишина, какой никогда не бывает в городе – полная тишина. В чёрном небе холодная россыпь звёзд и луна, разливающая свет на ночной мир – на тёмные дома деревеньки, белую равнину луга, зарастающего уже кустами, близкий чёрно-белый лес...

– Чуя! – негромко позвал Волохов.

Собака, брякнув цепью, лишь высунула из конуры нос.

Он пошёл к ней по скрипкому снегу.

– Чуя, ко мне!

Собака, метнулась под ноги, засучила хвостом.

Хорошая у него лайка, рабочая. Присел перед ней, взял руками голову, в глаза заглянул:

– Страшно тебе, страшно...

И собака заскулила, отвела глаза, поджала хвост.

– Ну, пошли...

Отстегнул цепь, впустил в дом. В избу не взял (нечего собаке в людском жилье делать), на мосту оставил. Вынес ей похлёбку из белок. И собака, погремев миской, утихла за дверью.

Распяленные шкурки белок сохнут у печки, ещё ворох уже выделанных висит на стене, тут же и несколько куньих шкурок благородным серебром отливают...

Ночь Волохов промаялся, утром, сразу зарядив один ствол пулей, а второй дробью, пошёл в лес.

Лыжи хорошо по старой лыжне скользят. Чуя бежит рядом, не работает... И понятно почему – вон, ровной строчкой, волчий след.

Волохов склонился над следом... Лапа ещё больше стала – сантиметров двенадцать в длину и девять в ширину. Это уже от старости, раньше-то он лапу в комке держал. Уже не матёрый, а дряхлый... «Нет, не может быть... Сорок лет. Сорок лет...».

Вот здесь он стоял, подняв морду на луну выл. «Что же тебе ещё надо от меня!? Чего хочешь? Собаку сожрать? Меня убить? Ну, попробуй...».

Никто не откликнулся на вой Серого в эту ночь, как и прошлую. Некому. Неделю назад всю стаю, всех четырнадцать, положили городские охотники в заречном лесу... Серый давно одиночка, но держался вблизи стаи, кормился тем, что оставляли ему сородичи. После того, как в позапрошлую зиму сохатый копытом пробил ему грудь, он уже вовсе не мог охотиться, обходился падалью, пробовал мышковать...

Вдоль следа Волохов прошёл в лес... Не сразу вспомнил и понял, что лес этот и есть та самая «большая выгорода», в которой в то давнее лето он пас стадо. Он резко свернул, ушёл от старого следа. Наст хорошо держал, шлось легко. Лишь через несколько километров Чуя облаяла белку, которую Волохов взял легко – глаз у него зоркий и рука крепкая. Потом и вторую белку взяли, и третью...

И вечером, сидя у печного огня, он думал о том, что, конечно, это не тот волк... Просто, крупный старый волчара остался без стаи...

Вспоминалось давнее. Был он тогда просто Мишкой. Жил тут, вот в этом

доме, с матерью и старшей сестрой. Отца он почти не помнил, тот рано умер, так и не оправившись от фронтовых ран. Голодно жили, потом получше, но всё равно тяжело... Сестра уехала учиться в город и больше уже не вернулась в деревню, мать ломила на ферме. Он, как мог, помогал. Окончил среднюю школу и тоже пошёл в колхоз – разнорабочим.

Было ему в то лето восемнадцать. Запил колхозный «гуртоправ» (так писалось почему-то в документах, а попросту – пастух). Вот его, Мишку Волохова, и нарядил председатель: тебе, мол, это дело знакомо. Пастух Матвей Иванович жил в соседнем доме и, бывало, брал Мишку с собой подпаском.

В те дни неподалёку встал табор. Давно уж не бывало цыган в их краях – появились... Как-то днём в выгороду, огороженный забором кусок леса, где паслось стадо, приехал на лошади цыган...

И договорились они... Хорошие деньги цыган предложил. Мишка не отказался.

Мать из последних сил вкалывает, сестре в город отправляет – деньги, продукты. «Я всю жизнь в навозе, пусть хоть дочь по-человечьи поживёт», – говорит она. Мишке обидно – ему тоже хочется «по-человечьи». Но, нет, он не о себе, о матери думает (сам себя так уговаривал – помогу, мол, матери). А когда получил от цыгана деньги, так и не отдал ей, но и потратить не сумел, не придумал даже, на что потратить...

Так всё сделали цыгане, что все и поверили, будто двух коров волки задрали («обглоданные» кости были тому подтверждением). Только удивлялись, что летом.

Устроили местные охотники облаву. Нашли в округе три логова.

Мишка Волохов тоже в охоте участвовал – старая отцова одностволка в доме была. Он-то и выстрелил, когда метнулась из-под выворотня серая тень. Волчица с визгом закрутилась на траве, будто пытаясь укусить себя за хвост. И замерла.

В норе нашли четверых волчат...

Серый возвращался с охоты. В лесу было опасно. Запах человека (страшный для любого зверя) чувствовался везде. Уже несколько раз слышал Серый вдалеке гром выстрелов. Но надо было кормить волчицу и волчат – и своё волчье дело он совершил. Поймал и придавил зайца. В зубах нёс добычу к логову. И чем ближе – тем сильнее этот опасный человеческий запах. Он уже непереносим! И Серый ушёл бы, спрятался, если бы... Он оставил добычу в траве и осторожно пошёл к логову... Запах человека и запах крови, волчьей крови, оглушал.

Не было волчат, не было волчицы... Серый остался один.

Цыгана в райцентре на рынке с мясом взяли (всё-таки не поверил участковый и опытные охотники в волчье нападение). Цыган сразу и пастуха сдал, у которого купил колхозных коров. Дали Мишке Волохову пять лет.

С волками жить – по-волчьи выть: блатные волчьи повадки он крепко усвоил за те годы.

В ту зиму волки, собравшись в стаю, бродили вокруг деревни, сожрали почти всех дворняг. Люди опасались на лошадях за деревню ездить. Снова облаву устроили. Ушёл за флажки только матёрый вожак. С тех пор волков у деревни долго не видели.

Через пять лет Волохов вернулся домой (решил всё-таки с волчьей жизнью завязать). Снова в колхоз устроился. Зимой поехал к дальним стогам... Вилами стожок в розвальни перекидал, верёвкой стянул, сам сбоку приладился. Понукнул лошадку. Темнело уже, но дорога была хорошо известна и ему, и лошади. Волков давно в округе повывели...

Волохов знал, что нападают они стаями... Этот был один – огромный серый хищник. Выскочив откуда-то сбоку, сразу нырнул под лошадь. И она пала, и потроха, вывалившиеся на снег, дымились.

Волохов кинул в волка топор. Мимо. Взял наизготовку вилы. Волк стоял, смотрел безжалостными жёлтыми глазами. И вдруг закинул голову и завыл. Ему отозвались. И вскоре стая в десяток голов рвала на глазах Волохова мёртвую лошадь.

Он бежал по санной дороге двенадцать вёрст, оступаясь, падая, проваливаясь под наст... И в ушах стоял тот вой... И от боли и бессилия Волохов и сам выл...

Он уехал в город, там встретил лагерных приятелей, и закружила его опасная весёлая жизнь. Через год снова сел. Теперь уже на десять лет. От звонка до звонка отбыл.

Освободившись, в деревню уже не поехал (мать к тому времени умерла), но и с прежними друзьями-приятелями завязал. Первое время перебивался на разных работах – рыл канавы, разгружал вагоны. Не по нему это было. Но и работать на заводе, опять же «от звонка до звонка» – не хотел. Приятель позвал – и он устроился работать в пожарную охрану, сутки через трое. А в свободные от дежурств дни стал ездить на охоту. Каждый год брал лицензию на лося (да случалось и без лицензии добывать), зимой – заяц, белка, куница...

Не женился, хотя «подруги» были. «Я одинокий волчара», – сам о себе говорил. С сестрой не дружил, редко виделись. В деревне тоже очень редко бывал...

Но когда сестра решила дом продавать (дом на неё был записан), купил у неё (родной дом купил!). Захотелось поближе быть к лесу и охоте...

Весной приехал – вспахал и засадил огород, летом подладил дом, осенью окончательно переехал (впрочем, однокомнатное логово за собой в городе оставил). С покупателем пушнины он давно уже был знаком, знал, что на жизнь себе заработает...

И снова этот вой. И Волохов застонал-завыл – от одиночества, от понимания, что жизнь его мимо... Мимо счастья... Мимо любви...

Он схватил ружьё, сунул в карманы патроны с пулями, вставляя на ходу патроны в стволы, выбежал. Собаку не стал звать, один пошёл за ограду и сразу увидел его – в лунном свете, подняв морду, воет...

Волохов выстрелил, но волк даже не шевельнулся. «Ах ты... Ах ты...». Волохов подошёл ближе, прицелился, выстрелил... Волк вздрогнул, присел, но тут же поднялся и не быстро, прихрамывая, побежал к лесу. Волохов, вышвырнул горячие гильзы, вставил новые патроны и по насту пошёл за волком, по кровавому следу. Снова выстрелил, увидел, как опять упал волк. Но поднялся и, вскинув морду, снова завыл... Волохов провалился по пояс, не стал выбираться на твёрдое, встал на колени, плотно вдавил приклад в плечо, поймал на мушку лобастую волчью голову...

Справа и слева обступали его неслышные серые тени...

ДИКИЙ САД

Я шёл вечером домой через старый одичавший сад, неизвестно когда и кем насаженный... В темноте разглядел мечущиеся фигуры, услышал вскрики, стоны. Подбежал и увидел: двое бьют одного, жестоко, насмерть. Я вмешался, и они перекинулись на меня. Пинали долго. Я лишь прикрывал руками голову. Наверное, они решили, что убили меня, ушли.

Я открыл глаза и увидел над собой отвратительную физиономию. Бродяга, увидев, что я очнулся, оскалился, показывая чёрные корешки вместо зубов, прохрипел:

– Что ты лезешь? Себя защитить не можешь, а лезешь.

Дикая сила подкинула меня, и я ударил. Он зажал лицо грязными ладонями и побежал, припадая на левую ногу.

Утром следующего дня узнал от соседей, что в саду нашли мёртвого человека со следами побоев. (Впрочем, позже говорили, что умер он не от побоев, а от переохлаждения, замёрз.)

И никакой жалости, тем более раскаяния, я не чувствую. Что мне дела до какого-то бомжа?

Но зачем он приходит? Приходит зачем?!

Открывает запертую дверь, садится в углу и смотрит. И я смотрю. Знаю, что мираж, и боюсь встать, пройти в тот угол и убедиться, что это лишь тень от растущего за окном дерева... я чётко вижу его насмешливые глаза.

...В соседнем доме покончил с собой молодой парень, говорят, от несчастной любви.

Я думаю, как он решился? Ходил, обдумывал, искал верёвку, место, где её привязать, потом ещё петлю надо сделать, на шею надеть... И всё это понимая, что сейчас будет боль и смерть... И даже страх не остановил его...

А меня, что может остановить? Страх? Страх страха, боязнь боязни быть свободным. Страх покаяния! Смогу ли уже оттуда, с той стороны взглянуть в свою жизнь? А?.. Все эти художественные догадки, все эти, опять же художественные, попытки рассказать, как душа уже оттуда сюда видит – это всё догадки и попытки, не более... А попробуй-ка здесь и сейчас, честно, шаг за шагом, кадр за кадром, проглядеть свою жизнь... Вот и оговорился, ошибся – «проглядеть». И ведь прогляжу, то есть забуду. «Как бы забуду» Ага! Ведь и такое есть, в чём не то что исповедаться, о чём и вспомнить-то нельзя... Нет – можно. И нужно! Честно, шаг за шагом. Здесь и сейчас. Чтобы, может быть, не было мучительно больно там. «Не бойся», – говорю сам себе... Этот взгляд с иконы – он ведь оттуда!

...Сегодня мне снился дикий сад. Сад, в котором я играл в детстве, в котором лежал на мягкой душистой траве с раскрытой книгой в руках, сад, в котором я молился. В том саду росли корявые яблони, родящие мелкие кислые плоды, кусты сирени, шиповника, берёза с чёрным страшным дуплом...

Во сне ветви яблонь клонились под тяжестью медово-прозрачных плодов. Травы ласково стелились под ноги, птицы щебетали в листве. Я подошёл к старой берёзе и увидел того бродягу. Я испугался, но, понимая, что это сон, спросил его:

– Ты кто?

Он усмехнулся:

– Садовник. – И протянул мне яблоко.

Елена РОДЧЕНКОВА

СЕМЬ СКАЗОК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

СКАЗКА ПРО ВОЛШЕБНУЮ ХРУСТАЛЬНУЮ ШИШКУ

Холодной, голодной, лютой зимой, в теплом дупле старой высокой ели бабушка Белка укладывала бельчат спать и рассказывала им сказки.

– Бабушка, мы кушать хотим, – плакали бельчата.

– Потерпите, детки, утро настанет, мы пойдем искать шишки и сухие грибы.

– Бабушка, мы уже вчера искали и ничего не нашли, и сегодня искали и тоже ничего не нашли. И завтра не найдем.

– Потерпите, детки, завтра найдем. Утро настанет, солнышко встанет, мы пойдем в дальний лес и обязательно найдем там что-нибудь вкусное. А пока послушайте сказку.

Бабушка Белка снова принималась рассказывать одну и ту же сказку, и Бельчонку Лютику стало скучно. Он потихоньку, незаметно вылез из дупла, сел на веточку и стал думать, как бабушке Белке помочь? Где еду найти? Вдруг он слышит, кто-то внизу в сугробе разговаривает:

– ...и вот растет эта волшебная хрустальная шишка с серебряными зернышками как раз в том бору, где Лиса в капкан попала...

Бельчонок Лютик затаил дыхание и неслышно подобрался поближе. Видит в лунном свете – Зайчиха с зайчонком разговаривают, прижались друг к дружке, дрожат от холода, слабые от голода, а Зайчиха шепчет:

РОДЧЕНКОВА Елена Алексеевна родилась в г. Новоржеве Псковской области. Окончила Ленинградский институт культуры и Ленинградский гуманитарный университет. Член Союза писателей России. Автор нескольких книг поэзии и прозы. Живёт в Санкт-Петербурге.

– ...семена у этой шишки не вкусные, жесткие, серебряные, но они волшебные – одно зернышко проглотишь и целый месяц – от луны до луны – сыт будешь, здоров будешь, силен будешь...

– А кто вам это сказал? – не выдержав, изумленно воскликнул Бельчонок Лютик. – А вдруг это правда? Кто вы?

– Мы зайцы из березовой рощи. Пришли что-нибудь найти покушать. Я – Зайчиха Луша, мой зайчонок очень ослаб, у нас голод...

– А я – Бельчонок Лютик. Мы тоже голодаем. Бабушка Белка рассказывает нам сказки, чтобы мы позабыли о голоде и уснули до утра. Но мне не спится. Ваша сказка мне нравится.

– Это не сказка, Лютик, это правда! Есть такая хрустальная шишка! – воскликнула Зайчиха Луша. – Лиса Фиса попала в капкан, она просила освободить ее взамен на то, что покажет, где растет эта шишка.

– Что же вы не освободили ее?

– Нам нельзя подходить к ней, она нас съест.

– Лиса хитрая, она могла сочинить эту сказку, чтобы вас подозвать. Но все-таки, вдруг это правда? Пойдемте к волку, попросим его освободить Лису Фису. Нам очень всем нужна такая хрустальная шишка!

– К волку нам тоже нельзя. Он тоже нас съест, – печально сказала Зайчиха Луша.

– Можно! Можно! – закричал Зайчонок. – Мы в кусты спрячемся, а Бельчонок сверху его попросит освободить Лису из капкана.

И отправились они волка искать. Бельчонок с ветки на ветку прыгает, зайцы внизу по насту бегут, а где волк – никто знать не знает.

Вдруг слышат: грустный вой на весь лес раздается – волк на луну воет. Подошли поближе. А в лунном свете – волк в прорубь попал, сидит, лапами за ледяные края держится, то повоет, то зубами постучит, то снова повоет, замерз уже совсем.

– Дяденька Волк, а дяденька Волк! – крикнул сверху Бельчонок Лютик. – Не могли бы вы помочь освободить из капкана Лису Фису, а то мы не можем. За это она покажет нам, где растет хрустальная волшебная шишка с серебряными зернышками.

– Не могу, я в прорубь попал, мне не выбраться никак. Весну жду, лед растает, я выберусь.

– Дяденька Волк, ты же до весны замерзнешь.

– А что делать? Ничего не поделаешь. Потому я жду. Я терпеливый. Я сижу и Лиса пусть тоже в капкане сидит. Зачем вам Лису освобождать? Пусть она терпит. Я ведь сижу в ледяной воде – и она пусть тоже сидит, как я! Не спасай ее.

– Попробуй вылезти, дяденька Волк.

– Сколько раз уж пробовал, никак не могу. Лапы скользят, вода не отпускает. Теперь уже и хвост ко дну примерз наверное. Или рыбы на нем поселились? Не могу пошевелить хвостом. Совсем не вылезти. Буду весну ждать.

– Мы Медведя позовем, он вытащит вас, дяденька Волк. А вы поможете потом Лисе Фисе?

– Отчего не помочь, если вылезу, помогу.

Побежали Бельчонок и зайцы искать Медведя. Нашли берлогу, постучались, Медведя разбудили. Он голодный, злой, рычит, сердится.

– Дяденька Медведь, вытащите из проруби дяденьку Волка, а он за это вытащит тетеньку Лису Фису из капкана. А она за это покажет нам, где растет волшебная хрустальная шишка с серебряными семенами.

– Зачем вам все это?

– Мы голодные. Голод в лесу. А в шишке волшебные зернышки.

– Я тоже голодный, лапу сосу. И вы сосите лапы.

– Дяденька Медведь, ну пожалуйста.

– Не пойду никуда. Мне холодно, пусть и волк тоже замерзает. И лиса пусть замерзает. Не хочу никого спасать. Мне голодно – и вы голодайте. Меня никто не спасает, и я не буду спасать.

– Ну дяденька Медведь!

– Не хочу и не буду! – прорычал медведь и повернулся на другой бок.

Побежали Бельчонок Лютик и зайцы на опушку леса к Лисе Фисе. Бельчонок с ветки на ветку прыгает, а зайцы не отстают, по насту бегут.

Прибегают к Лисе, а Лиса скулит от боли, тявкает, вокруг капкана скачет, а хвост капканом зажат.

– Тетенька Лиса! – воскликнул Бельчонок Лютик. – Не могли бы вы нам сказать, где же растет эта волшебная хрустальная шишка с серебряными зернышками? В лесу голод, все очень голодают. Нам бы хоть несколько серебряных зернышек!

– Откуда ты знаешь про шишку? – насторожилась Лиса Фиса.

– Зайцы рассказали.

– Освободи меня из капкана, тогда я тебе ее покажу.

– Не могу, у меня сил нет. И зайцы не могут. Да нам и подойти-то к тебе нельзя, ты сразу же нас съешь.

– Тогда позови кого-нибудь на помощь!

– Звал, но они не идут. Волк в прорубь попал, а Медведь зол от голода, никому помогать не хочет.

– Ну так и я никому помогать не буду! Никому ничего не расскажу! – рассердилась Лиса Фиса.

Расстроился Бельчонок Лютик и поскакал с ветки на ветку домой. Зайчиха Луша с зайчонком внизу по насту бегут, луна светит, мороз трещит, ветки сухие пощелкивают... Остановился вдруг Бельчонок Лютик, сел на ветке, на луну смотрит, пригорюнился, не знает, как быть, чем бабушке Белке помочь. Вот придет он в дупло – и что скажет?

Луна круглая, яркая, в небе черном висит, подмигивает Бельчонку. Снег от лунного света искрится, сверкает, серебрится, наст будто алмазами мелкими весь посыпан. На еловых лапах теплые, пушистые, белоснежные шубки лежат, бриллиантовой крошкой припудренные, переливаются. Залюбовался Бельчонок Лютик красотой и вдруг видит – на снегу сноп серебряных лучей кружится, играет, танцует. Вверх посмотрел – откуда эти лучики? – хрустальная шишка!

– Ах! – изумился Бельчонок Лютик. – Я нашел хрустальную волшебную шишку!

– Неужели?! – обрадовались Зайчиха Луша и зайчонок. – Где она? Где?

– Вот она! Сейчас я ее принесу!

Бельчонок Лютик обнял тяжелую шишку лапами и сорвал ее с елки. Но шишка была скользкая, большая, тяжелая, Бельчонок не смог удержать ее в слабых лапках и она упала вниз, разбилась с нежным хрустальным звоном о крепкий наст и по блестящей белой снежной парче рассыпались острые осколки.

– Здесь семь серебряных зернышек! – воскликнула счастливо Зайчиха Луша.

Они собрали серебряные зернышки и разделили: одно съела Зайчиха,

одно – зайчонок, а пять зернышек взял Бельчонок Лютик. Он отнес их в дупло, отдал бабушке Белке и братцам. Те зернышки проглотили и сразу стали веселыми, сильными и радостными.

Бельчонок Лютик тоже хотел свое зернышко съесть, но почему-то не решился. Сел в сторонке, в лапке держит его и думает, думает. Раскроет ладошку, на зернышко посмотрит и опять думает, думает...

– Кушай! – говорит бабушка Белка. – Целый месяц сыт будешь!

– До весны еще два месяца. Но весна может быть холодной, – задумчиво сказал Бельчонок Лютик.

– Кушай! – велела бабушка.

– Я потом, потом, – сказал Бельчонок Лютик, подпрыгнул, махнул хвостом и помчался в гущу леса.

Он бежал быстро, как ветер, по веткам, и белые снежные шубки слетали с лап елей, как лебяжий пух, а луна побледнела от холода, от белого снега и приближающегося рассвета.

Бельчонок постучался в дверь медвежьей берлоги.

– Медведь, просыпайся, я тебе зернышко принес, вот, кушай! Оно волшебное. Съешь его и будешь сыт, весел и силен целый месяц. Но только, пожалуйста, вытащи из проруби волка, а то я спать спокойно не могу. Он же там замерзает.

Медведь зернышко съел и вытащил из проруби Волка, а потом вместе они освободили из капкана Лису Фису.

И Медведь тут говорит:

– Я-то теперь сыт, а вот вы-то все голодные, небось. У меня в берлоге грибы сухие есть, будете?

– Нет, не надо, – сказала Лиса Фиса. – Я пойду сорву свою хрустальную волшебную шишку с серебряными зернышками и вас накормлю.

Бельчонок Лютик заволновался, застеснялся:

– Мне неловко, тетенька Лиса, но шишку мы уже съели.

– Это не беда, – махнула лапой Лиса Фиса. – Я все равно не нашла бы ее. Говорят, в лесу много таких шишек, но они показываются только тем, кто не бросает друзей в беде. Я ни разу их не видела. А ты, Волк, видел?

– Нет, не видел, Лиса. А ты, Медведь, видел?

– Нет, не видел, Волк. А ты, Бельчонок, поищи, может, снова найдешь?

Бельчонок Лютик поднял голову и увидел три золотистых хоровода на белых шубках елей – три снопа золотистых лучиков. Глянул вверх – ах! Целых три хрустальные шишки!

– Ура! – закричал Бельчонок Лютик.

Он вскочил на макушку ели, сорвал шишки и скинул их вниз. Шишки разбились на звонкие острые осколки, Лиса Фиса смела хвостом с наста серебряные зернышки, Волк принялся их считать, а Медведь зарычал на весь лес:

– Кто голодный в лесу, идите сюда, мы всех накормим. Мы в беде друзей не бросаем!

– Да, мы не бросаем друзей в беде! – сказал Волк и съел одно зернышко. – Подходите, не бойтесь меня, я сыт, никого теперь не съем.

– Мы не бросаем друзей! – сказала Лиса Фиса и тоже съела одно зернышко. – Зайцы, мышки, не бойтесь, я сыта, идите за зернышками, я не опасная.

Тут из-под снега, из-за кустов, с ветвей деревьев – отовсюду потянулись к ним голодные, слабые звери и птицы.

А Бельчонок Лютик сидел на верхней веточке и радовался. Ему было неудобно попросить для себя зернышко. Но он знал, что завтра он обязательно найдет еще одну волшебную хрустальную шишку. И в той шишке будут серебряные зернышки, которые никого не бросают в беде.

СКАЗКА ПРО КУРИЦУ ЦАЦУ

В одном курятнике среди обыкновенных кур жила необыкновенная Курица Цаца, которая могла летать выше забора, выше яблонь и почти до облаков. Она очень гордилась своей способностью, все куры в курятнике завидовали ей, а Петух Петр боялся, что когда-нибудь она все-таки улетит. Он заботливо давал ей самые лучшие зернышки, самых вкусных червячков, самые мелкие, красивые камушки и поэтому все курицы курятника еще больше завидовали ей, а Курица Цаца становилась все толще и толще. Петух Петр втайне надеялся, что, когда Цаца совсем растолстеет, она разучится высоко летать, однако Курица Цаца и толстев легко поднималась над курятником и кружила вокруг яблонь, оглушительно кудахча и хлопая крыльями.

Однажды возле курятника приземлился белый Лебедь. Он летел на Юг один, отстал от своей стаи, потому что у него были слабые крылья. Петух Петр разрешил Лебедю попить воды из корытца, поесть корма, отдохнуть перед дальней дорогой, и пока Лебедь пил, расспрашивал его:

– Лебедь, а что это такое – Юг?

– Ах, дорогой Петух Петр, Юг – это прекрасный, солнечный мир, теплый, сказочный, радостный и счастливый! Я так мечтаю снова попасть туда, но у меня очень слабые крылья...

– Оставайся у нас, перезимуешь.

– Нет, я полечу. Потихоньку доберусь один, а весной вернусь домой со своей стаей.

– Возьми меня с собой, Лебедь! – воскликнула Курица Цаца. – Давай, полетим вдвоем! Я летаю лучше всех кур, ты не пропадешь со мной! У меня очень сильные крылья!

– Нет, ты не сможешь долететь, потому что ты – курица. Юг – это очень далеко, – сказал Лебедь.

– Я смогу, смогу! – закричала Курица Цаца, затопала лапами и захлопала крыльями.

– Я не разрешаю! Не велю! Всем курицам велю сидеть дома! Лети, Лебедь, не слушай ее. Она толстая и далеко не улетит.

– Я полечу!

– Нет! Я не разрешаю! – рассердился Петух Петр. – Лети, Лебедь.

Лебедь поел, попил, поспал, взмахнул крыльями и улетел на Юг.

Несколько дней Курица Цаца страдала, не пила, не ела, очень переживала, что Лебедь не взял ее с собой. А потом она вдруг решилась, разбежалась, взмахнула крыльями, взлетела над забором, над яблонями, над облаками и полетела, полетела, полетела кругами... А потом расправила крылья и выровняла полет.

– Куда!? Куд-куда!? – кричал Петух Петр.

– Куда ты?! Ну куда ты?! – кудахтали куры.

– На Юг! – крикнула Курица Цаца и скрылась за горизонтом.

Летела она летела, махала, махала крыльями, но вдруг стала постепенно снижаться, потому что была очень толстая. Она долетела до ближнего леса

и вдруг правое крыло ее свело судорогой, оно оттопырилось и перестало шевелиться, а левое беспомощно повисло, и Курица Цаца рухнула посреди болота на одинокую высокую кочку. Она долго лежала, распластав по кочке крылья, и никак не могла отдышаться.

Вокруг была только густая, черная болотная жижа, да по берегу бродила взад-вперед рыжая Лиса.

– Эй, курица, ты откуда здесь взялась? Ты живая?

– Живая...

– Ну, лети сюда, зачем ты там сидишь? Там опасно, утонешь!

– Я посижу тут, – сказала Курица Цаца и обняла покрепче кочку крыльями.

Лиса бегала-бегала взад-вперед и внезапно пропала.

– Сейчас позовет кого-нибудь, придумают вместе, как меня достать. И съедят, – прошептала Курица Цаца.

Она попыталась приподняться, но кочка зашаталась и она стала сползать в воду.

– Лежи и не шевелись! – услышала она.

– Кто это?

– Я маленький Лягушонок. Сижу у тебя под носом. Видишь?

– Вижу. Лягушонок, принеси мне, пожалуйста, что-нибудь поесть. Я ослабла от голода. Мне нужно несколько зернышек и я снова полечу.

– Это болото, здесь нет зерен, – сказал Лягушонок.

– Но ведь это – Юг? – уточнила Курица Цаца.

– А Юг – это что? – спросил Лягушонок

– Прекрасная, сказочная страна.

– Нет, наверное, здесь не Юг. Здесь просто болото.

– Как же мне вернуться домой? Я не могу тут лежать до весны – без зерен.

– Лети, как прилетела. Крыльями-то маши и – полетишь. Давай, пока Лиса тебя не съела. Или орел. Он если заметит, что ты на кочке лежишь, тут же тебя когтями захватит и в свое гнездо унесет.

И подумала тут Курица Цаца, что Лиса Орла пошла звать, испугалась, крыльями замахала и над кочкой взлетела, в небе тяжко развернулась и помчалась с громким кудахтаньем в сторону своего курятника.

Прилетела, кубарем через забор из последних сил перекатилась, чуть живая рухнула посреди двора и от счастья заплакала:

– Я вернулась, дорогие мои! Вернулась! С Юга вернулась я!

Куры собрались вокруг, кудахчут, радуются:

– Как-то там? Туда-суда куда ты там? Быстро прилетела, видно, недалеко Юг. Может, и мы сможем? Как-то там? Куда-туда-то как-то там? На Юге-то?

– Ничего там хорошего нет, куры. Грязно очень. Вокруг только лисы, лягушки, орлы, коршуны в небе летают. Они меня не тронули, конечно, но все равно неприятно. И на Юге – всего одна кочка, на которой можно жить, – сказала Курица Цаца.

Петух Петр очень обрадовался:

– Молодец Цаца! То ли дело наш курятник! У нас все есть, и наша жизнь прекрасна!

Куры радостно, согласно закудахтали.

Прошла зима. А весной прилетел Лебедь. Он снова отстал от своей стаи и летел домой один.

– Ах, несчастный Лебедь! – жалели его куры. – Ну зачем тебе этот Юг? Сидел бы ты дома или в нашем курятнике. Для чего ты мучаешь себя и летаешь в это болото?

– Я спасаюсь от морозов. На Юге теплое море, сказочные деревья, волшебный мир! Там хорошо, там солнце, я там очень счастлив. Но я люблю свою родину – Север и лечу туда, чтобы жить одной жизнью со своей землей, пока вновь не наступят морозы. Я очень скучаю по родному дому...

– Ты все врешь, Лебедь! – закричал Петух Петр. – Мы все знаем, что Юг – это грязное лягушачье болото с одной единственной кочкой, опасное место, где живут лисы, змеи, волки, ястребы и хорьки!

– Нет, это не так, – попробовал возразить Лебедь.

– Не перебивай меня! Ты нас не обманешь! – воскликнул Петух Петр. – Наша лучшая Курица Цаца недавно посетила Юг и все рассказала нам. Мы верим своей курице. А ты чужой. И словам чужого лебедя мы не можем доверять.

Лебедь опечалился, склонил голову, но потом подумал и согласился:

– Все верно, Петух Петр. Иногда лучше не видеть лучшее, чтобы радоваться тому, что есть. И иногда лучше не знать о том, чего не имеешь, чтобы ничего не потерять.

СКАЗКА ПРО МЕДВЕДЕЙ НА ВОЕННОМ КОРАБЛЕ

В густом лесу на берегу Великой реки жили Медведица и Медвежонок. Медвежонок был круглый, неловкий, косолапый, ленивый, он бегал за мамой и пыхтел. За это мама прозвала его Пыша.

Пыша очень любил смотреть, как по Великой реке плывут большие военные корабли. Он махал лапой им вслед и тоскливо скулил:

– Мама, я тоже хочу на корабль! Скажи капитану, пусть возьмет меня моряком!

– Куда тебе на корабль? – вздыхала Медведица. – Ты толстенький, маленький, косолапенький. Посмотри, какие на корабле красивые моряки, какие они ловкие, быстрые...

– Нет, скажи капитану, пусть возьмет! – ныл Пыша.

– Ты еще и капризный, упрямый, плакать любишь. А моряки мужественные, строгие, серьезные. Не возьмет тебя капитан. Да я и просить не стану. Пойдем, малины тебе наберу.

– Не хочу малины! Не буду малину! Хочу на корабль!

– Пыша, не кричи, я не стану перед моряками позориться. Засмеют меня потом, если будешь плохим моряком. Скажут, что я тебя плохо воспитала.

Тогда Пыша пошел в избушку к лесникам – деду Тимке и бабе Фросе. Постучал лапой в окно. А дед Тимка на гармони играл вальс, баба Фрося пекла пироги и у печки пританцовывала.

– Чего тебе, Пыша? – спрашивает дед в окно.

– Скажи, дед Тимка, капитану военного корабля, пусть возьмет меня на корабль, хочу моряком на военном корабле служить.

– А у тебя бескозырка есть?

– Нет пока, но капитан даст. И тельняшку, скажи ему, чтоб дал.

– Не налезет на тебя тельняшка, – сказал дед Тимка, а баба Фрося возразила:

– Тельняшка-то на него налезет, но рукава длинны будут, лапы короткие. Пыша, ну какой из тебя моряк? И как ты брюки будешь носить? Запутаешься в них, повалишься, в воду упадешь.

– Не повалюсь...

– Повалишься. Не проси, дед, командиров, пусть Пыша дома сидит, а то опозорит наш лес да и только.

Тогда Пыша пошел на берег, стал махать лапой кораблям. Один военный корабль подплыл, командир спрашивает:

– Что за сигналы ты нам подавал, Медвежонок? Незнакома мне такая азбука.

– Дяденька командир, возьми меня на свой корабль, я буду хорошо служить.

– А ты на гармони играть умеешь?

– Не умею.

– А плясать умеешь?

– Не умею.

– А азбуку Морзе знаешь?

– Не знаю.

– Тогда не могу тебя взять. Не положено, – сказал военный командир, и корабль уплыл.

Медвежонок Пыша пошел к деду Тимке и бабе Фросе и стал учиться играть на гармони. За месяц сумел выучить три песни, да так ловко играл, что баба Фрося забывала печку топить и пироги печь: То сидела рядом, подпевала, то в пляс пускалась.

А вот азбука Морзе Медвежонку Пыше не давалась. Дед Тимка так и так выстукивал буквы, но Пыша не понимал, потому что алфавита не знал.

– Тогда учи «Варяга», Пыша, – говорил дед Тимка. – Любой военный командир как эту песню услышит, сразу тебя на корабль возьмет.

И вот плывет по Великой реке военный корабль. Дед Тимка, баба Фрося и Пыша стоят на берегу, ждут. Пыша вовсю частушки на гармони наяривает. Командир на берег выходит, спрашивает:

– А «Варяга» умеешь играть?

– Нет, «Варяга» не умею.

– Тогда не могу взять тебя на свой корабль. Мне на всякий случай нужно, чтобы музыкант умел «Варяга» играть.

Пришли домой. Дед Тимка Пышу ругает, а сам радуется, что тот остался, не хотел с ним расставаться. Пыша тут же сел и стал песню «Варяг» учить. Но получалось плохо. Ползимы учил. Выучил так, что и баба Фрося и дед Тимка пели ее день и ночь и плакали. До того доплакались, что стали гармонь от Пыши прятать. А Медведица пришла, говорит: «Пойдем, Пыша, домой, в берлогу зимовать, ты всему лесу спать не даешь». Но Пыша уперся и продолжал разучивать сложные проигрыши «Варяга», чтоб сыграть так, чтоб капитан заплакал. Спал, гармонь из рук не выпуская, чтобы дед Тимка ее не спрятал. Так и промучились с ним всю зиму. Медведица возле избушки лесников берлогу сладила, залегла, но заснуть не смогла, ворочалась с боку на бок всю зиму и слезы лила – больно песня была жалостливая. Дед Тимка плакать перестал – надел толстую меховую шапку-ушанку, тесемки под бородой накрепко завязал и на печку залег – тоже как медведица в берлогу. Одна баба Фрося осталась на посту – возле печки – пироги печь, да всем под музыку горяченькие раздавать. Так зима и прошла.

А весной снова вышли на берег. Стоят вчетвером: Медведица, дед с бабой и Медвежонок. Пыша на гармони «Варяга» играет, остальные – поют.

Командир военного корабля как песню услышал, сразу команду дал к берегу пристать и Медвежонка на корабль забрать, новую гармонь ему в Москве заказать и телеграмму главнокомандующему выслать с секретным донесением.

Пыша Медведице, деду и бабе поклонился и побежал на военный корабль. Поплыл. Счастливый! Те плачут, машут с берега кораблю и морякам, понимают, что Пыша больше домой не вернется.

И стал Пыша настоящим моряком, членом дружной военной команды. Бескозырку ему выдали, к ушам привязали, в тельняшке рукава подрезали, брюки-клеши укоротили. И никто над ним не смеялся из-за фигуры, понимали, что – хоть и медведь он все-таки, а старается, как настоящий человек.

Пыша по вечерам концерты устраивал, моряки под его гармонь пели, плясали. А днем Пыша новые мелодии учил. Моряки из разных народов – лучшие – собраны на корабль были. Как на Северный Полюс приплыли – Пыша всякие песни играть умел: и украинские, и белорусские, и немецкие, и турецкие, и китайские, и цыганские...

И вот приплыли прямо на Северный Полюс, а там деревня маленькая. На берегу бабы в прорубях белье полощут. Пыша с гармонью вышел, к бабам пошел, сел поодаль в сугроб, играть начал. Бабы – в пляс! Дивно им: военный моряк, а на медведя похож. Спрашивают у капитана, мол, из какой страны вы приплыли, что у вас моряки на медведей похожи?

Тут мужики из деревни идут: кто с вилами, кто с кольями, кто с топором – весть дошла, что пришел военный корабль и готовится нападение. А капитан им по-русски говорит:

– Хватит пужаться, мужики, свой это медведь, наш. Пышей звать. Один такой. Остальные все моряки – люди как люди.

Мужики северные тогда и говорят:

– Возьми тогда к себе на корабль и нашего медведика. Наш, правда, белый. Шалей звать. Как начнет на балалайке шалеть, так хоть на Южный полюс беги. Замучил он нас своей балалайкой. Забери его, исплакались мы.

– А плачете чего?

– А потому что стыдно: медведь может так, как нам не суметь.

– Ну, давайте, ведите Шалю на мой корабль.

Белый Шаля как раз в спячке был – уморился игравши. На Северном Полюсе что лето, что зима, спутать можно. Хоть всегда спи. Нашли, разбудили. Привели, балалайку принесли. Шаля грязный, на белого медведя не похож – в коровнике спал.

Отмыли его на корабле в бане, посадили на палубе рядом с Пышей. Один белый, другой бурый с белым галстуком – чем не артисты? Один с гармонью, другой с балалайкой. Посели вокруг зрители: одни с берега мирного, другие с военного корабля – и пошло веселье!

Так порадовались, так попели, так наплясались! Все ладоши отхлопали, пятки об палубу отбили, от смеха щеки свело, рты до ушей растянули, назад не собрать.

Вся скука с земли ушла – аж звезды замигали и луна заулыбалась.

Короче, забрали Белого Шалю на военный корабль. Поплыли по секретному заданию на Юг. Корабль серьезный, внутри у него в животе бомбы лежат и ракеты, а наверху на палубе два медведика музыку играют, моряков веселят.

Приплыли на Юг. Пальмы зеленые лапами машут – гармонь с балалайкой заслышали. Народ за головы хватается, к берегу бежит, узнать желает, что за корабли такие плавают – с пушками-частушками? Мир это или война?

А южные-то военные не спят – пушки свои расчехлили, на медведиков наставили, стрелять собираются, огнями сигналят, азбукой Морзе стучат, мол, зачем близко так подплыли со своими гармонями и балалайками?

А Шаля Белый вышел на корму, потом от жары обливается, шуба шикарная мокрая вся. Он балалайкой машет, ревет, мол, не стреляйте, южные военные, я играть вам буду.

Ну ладно, играй.

И Пыша с гармонью рядом на стул сел. Прямо на самой жарком солнцепеке, будто не боится жары. Мехи развернул, да как дал жару, как завернул «Скобаря под драку», как начал заковыривать лапой мохнатущей виртуозные проигрыши и наигрыши – тут все южные военные стрелки притихли, аж забыли дышать.

А тут Шаля на балалайке – как встрянет! Как бахнет! Как зазвенит! Как жахнет! Весь Юг так и замер. Оторопели. Сидят, оторопевши, да и тоже тихонюшко так позвенькивают от счастья. Позвенькивали, позвенькивали, да вдруг вместе все подхватились, повскакивали и – ну плясать! Кто на берегу, кто на палубах.

Долго плясали. Весело плясали. Наплясали вволю.

Уплыл военный корабль из южного порта, в другую страну подался. Потом в третью, потом в четвертую. И везде так. Ошалевши от счастья народ остается. Рады все и довольны.

Главнокомандующий капитану секретную телеграмму шлет, мол, что такое? Почему мины не ставите, ракеты не запускаете, бомбы не взрываете? Ошалели, что ли?

А капитан ответную телеграмму секретной азбукой Морзе стучит, мол, две такие бомбы на палубе вожу – один черный, другой белый, – что весь Юг взорвал. И теперь Юг воевать с нами не будет. Никто не желает. Счастливы все. Разрешите плыть на Запад.

Но главнокомандующий не разрешил, потому как на Западе Великая река не течет. Велел идти на Восток. Повезли Пышу и Шалю с концертами на Восток.

А там и того лучше. Во всех портах медом и сладостями встречают, с полуслова, с полузвука понимают, а только в ладоши не хлопают, важно головами качают и тихо хвалят: «Хальва, хальва!» – мол, сладко, как халва.

Поплыли все ж вопреки приказу главнокомандующего – и на Запад – в кураж вошли. Поплыли в обход, там океанов нет, морей нет, озер нет, все мелкие ручьи одни, но поплыли. Ну и сели на мель. А раз сели – скандал вышел. Главнокомандующий рассердился и велел домой возвращаться. Мол, Запад подождет, приехали бы домой, хотя бы чтобы медали получить.

Вернулись домой, по Великой реке приплыли в Москву, медали от главнокомандующего получили. В добавку Пыше дали пять килограммов меду и новый пятирядный баян, а Шале – он ростом меньше – три килограмма меду и скрипку.

Пыша на пятирядном баяне играть не умел, а Шаля скрипку впервые видел. Потому распрощались медведики со своей боевой командой и пошли в лес к маме Медведице и лесникам – деду Тимке и бабе Фросе – учиться играть на новых инструментах.

Ушли, потому как только в тишине и покое лесной глуши можно скрипку и баян потихоньку освоить. Сложные подарили инструменты, конечно. Непростые. Но вместе что-нибудь можно будет придумать. А так пока никто ничего не понимает, что к чему? – какая струна, какая кнопка – за какой звук отвечает?

Ладно, как начнут «Варяга» подбирать – сразу поймут. Разберутся.

СКАЗКА ПРО ЦЫПЛЁНКА И ВОЛКОВ

Жили-были в лесу дед и баба. Жили ладно, складно, но вдруг баба заболела. Запряг дед лошадь, посадил бабу в сани и повез в город к врачу. Зима была холодной, голодной, злой. Едут по безмолвному лесу, сами молчат. Птичьи стайки вокруг саней вьются, птички на спину лошади садятся – капельки пота замерзшего склевывают, в гриве его роются – зернышки ищут – есть хотят. Голод, потому ничего не боятся. Зайцы на дорогу выбегают, на задние лапки становятся, ладушки играют, покушать просят. Голод! На рябинах-калинах – ни ягодки, вокруг берез да елей снег в шелухе – все шишки вылущены. Голод!

– Ох, баба... – вздыхает дед. – Беда... Брось птичкам хлебца, пусть поедят.

Баба хлеба бросила, дальше едут. Медведь из-за пня выглядывает, стесняется голос подать. Тощий, страшный, облезлый, как жердь, лапой машет.

– Брось, баба, медведю картошки, пусть поест. Глянь, худой какой, бедует.

Баба бросила, дальше едут.

Тут стая волков из кустов вылетает и – прямо к коню. Конь – на дыбы! А дед, как ни в чем не бывало:

– Ох, баба, голод-голод! Брось волкам сумку, что мы для доктора приготовили. Пусть поедят.

– А доктор как же?! Без гостинца?!

– А не увидим мы доктора, баба, если сумку не бросишь.

Баба сумку бросила. Конь одной ногой брыкнул одного волка по лбу, другой ногой брыкнул – волчицу под бок. Дальше поехали. А волки рады! Ну сумку разбирать! Хватают, дерутся. Вожаку шмат сала достался, а другим – кому пироги, кому колбаса, кому яблоки, кому самогонка, кому сахар, кому яйца, кому сметана – все довольные остались.

Только Волчица скулит в сторонке – бок болит. Боль такая, что и есть не хочется. Вожак говорит ей:

– Не умеешь охотиться – не лезь к коню. Теперь лежи, подыхай голодная.

– Лежу, подыхаю, – смиренно ответила Волчица.

Тут Вожак смилостивился:

– Ладно, иди, там яйца разбитые в снегу. Слижешь, сил прибавится, домой доползешь. А не доползешь, подыхай, – волчонка твоего не бросим.

Волчица поползла к пустой сумке, яйца разбитые вместе со скорлупой со снега слизала, а одно целое – в род осторожно взяла – волчонку отнести. Домой приползла – волчонок спит. Яйцо в угол положила до утра и сама заснула. А утром встает – сидит в углу вместо яйца желтый Цыпленок.

Только Волчонок захотел его съесть, как тут пришел Вожак стаи и принес стеклянную банку с тушенкой.

– Не можем открыть банку. Ты, Волчонок, если сможешь открыть – съешь, а не сможешь – выброси.

Вожак ушел, а Цыпленок говорит:

– Бросьте банку на камень, я стекла крылышком смету, остальное съедите.

Так и сделали. Стали сыты – остались живы.

На следующий день Волчонок опять хотел Цыпленка съесть. Опять Вожак приходит, железную банку приносит:

– Рыба в банке, но мы не смогли открыть. Откроете – поедите, а не откроете – помрете с голоду.

Он ушел, а Цыпленок говорит:

– От первой банки железную крышку пополам сверни, да воткни в эту банку, дырка будет.

Так и сделали. Рыбу съели, снова все стали сыты – остались живы.

И прослыл с того дня Волчонок мудрецом стаи. Стали волки к нему за советами ходить. Придут вечером с вопросом, утром идут за ответом – вроде как Волчонок всю ночь думает.

Цыпленок у Волчицы на спине в шерсти прячется, Волчица больная лежит, бок болит – сильно конь ногой ударил. Цыпленок шерсть ворошит – боль проходит. Пищать начинает – силы у Волчицы прибавляются. Привыкла к нему Волчица, как к родному. А Волчонку Цыпленок советы дает, все волчьи проблемы понимает.

А однажды услышали волки – кто-то пищит в норе и поняли, что там птичка живет, возмутились:

– Не по волчьему это закону это! Съешьте птичку! – требуют.

Волчица лежит молчит, Волчонок стоит рычит, Цыпленок у Волчицы в шерсти прячется, попискивает.

Вожак стаи пришел:

– Съешь птичку! – требует.

– Не могу. Он меня лечит. Сны красивые вижу, когда он по спине прыгает.

– И что же ты видишь?

– Сегодня видела, что у старого дуба мертвый олень лежит. Рога золотые, на рогах алмазные яблоки. Поди, проверь.

Побежали волки стаей к дубу – и правда, там лежит олень. Домой добычу принесли, наелись досыта и впрок запаслись.

Опять требуют:

– Съешь птичку! Не положено волкам с цыплятами дружить! Не можешь сама – давай мы съедим!

– Нет, не отдам Цыпленка. Сегодня сон видела – охотники по болоту идут, проволоку тянут, а на проволоке красные флажки, облаву на волков мастерят.

Послал Вожак двух молодых волков в разведку. И правда – как Волчица сказала, – облава. Начали охотники стрелять, молодые волки едва ноги унесли. Залегла вся стая по норам, спрятались все, выждали, пока охотники ушли ни с чем.

– Ну, – спрашивает Волчицу Вожак, – а сегодня что тебе приснилось?

– А сегодня приснилось, что бок мой не болит, здоровая я, весна пришла, а Цыпленок прекрасной огромной птицей стал.

– Так не бывает, – сказал Вожак. – Он курицей будет.

Пришла весна, у Волчицы бок зажил, Волчонок волком стал, а Цыпленок – огромной прекрасной птицей. Он летал высоко в небе над волчьей норой, пел для волков песни, сидя на ветке дуба, а Волчице по ночам снились красивые сны, и она никогда не выла на луну.

Иногда Волчица ложилась на живот и Прекрасная Птица по привычке ходила по ее спине, вороша жесткую шерсть лапами, поцарапывала коготками бока, пощипывала клювиком Волчице уши, обнимала за шею крыльями, закрывала глаза и тонко пищала, как в детстве. Но крылья Птицы стали сильными, лапы крепкими и жесткими, когти острыми, клюв мощным, а голос звонким, и Волчица с трудом, едва переносила ее ласку.

Она прижимала уши, жмурилась, напрягала спину, терпела боль и улыбалась – ведь Прекрасная Птица прилетала к ней редко – только тогда, когда нужно было увидеть волшебный сон.

СКАЗКА ПРО СОВУ

Жила-была Сова. Она была большая, красивая, сильная, но никто в лесу не хотел с ней дружить, не звал ее вместе полетать, вместе повеселиться. И потому была Сова – без имени, и потому была она всегда одна. Неизвестно, почему никто не дружил с ней. То ли вид у нее был слишком сердитый, то ли голос пугал – ухала она страшно, громко на весь лес. Все маленькие звери и птицы боялись ее. А крупных зверей и птиц Сова и сама боялась.

И вот однажды стало Сове очень скучно. И так она затосковала, что разобиделась на весь свет. Подлетела к муравейнику. Видит, муравьи все вместе радостно хлопочут в своем огромном доме, суетятся, общие дела делают. Рассердилась Сова и сильными своими лапами с когтями муравейник растоптала, муравьев по сторонам раскидала, крыльями размела. И дальше полетела. Села на ветку, смотрит, как муравьи сосновые иголки со всех сторон бегом тащат, снова муравейник строят.

Еще пуще рассердилась Сова, полетела дальше. Видит, высоко на дереве – осиное гнездо, в нем осы. По одной из гнезда вылетают, по одной влетают, а что в гнезде – известно – мед. И шумит гнездо так, будто там праздник в разгаре. Рассердилась Сова за то, что осам весело, а ей скучно, сильными крыльями своими гнездо с ветки сбила и на землю скинула. Гнездо упало, разломилось пополам, мед потек в разные стороны, а осиный рой вылетел и жужжит-жужжит в ужасе, горюет над разбитым домом.

Довольная Сова взлетела на соседнее дерево, сидит, наблюдает и посмеивается. Но видит вдруг: осы одна за другой на старое место принялись носить паутинки в лапках и на глазах клеить новое гнездо.

Еще пуще рассердилась Сова, взмахнула крыльями, полетела дальше. Села на высокую елку, сидит, злится. Аж задыхается от злости! Видит – дупло. Из дупла белочка выглядывает, рыжая, красивая, улыбается счастливо. А за ее спиной – три бельчонка.

– Уфф! – крикнула Сова прямо в дупло. – Уффф!

Белки – раз! – и исчезли.

– Уффф! – крикнула Сова прямо в дупло. Но из дупла никто не вышел. Тогда она вытащила оттуда лапой маленького, дрожащего от страха бельчонка и отшвырнула его в сторону. Бельчонок кубарем скатился по еловым пушистым лапам на землю и тихо запищал от боли. Тогда из дупла выскочила мама Белка, а за ней следом – еще два бельчонка, и помчались они, легко прыгая с ветки на ветку, – вниз, к земле, где плакал бельчонок.

А Сова сердито забралась в дупло, легла в теплое, мягкое гнездышко и решила остаться там жить. Задремала уже, как вдруг слышит, стучится кто-то.

– Кто там? – недовольно спросила Сова, но ей не ответили. Она снова легла и задремала, и снова раздался громкий стук.

– Кто там?! – спросила Сова, и ей снова не ответили. Она выглянула из дупла и никого не увидела. Белка с бельчатами внизу не было.

Сова снова легла спать в уютное гнездышко. И снова раздался громкий стук.

– Да кто там?! – воскликнула Сова. А потом притихла, прислушалась, впервые в жизни испугалась. И вдруг слышит:

– Помоги муравьям построить муравейник, Сова!

Сова замерла, прижала уши, не дышит...

– Помоги осам перенести мед в новый улей, Сова!

Сова похолодела, клюв раскрыла, глаза вытаращила, спросить что-то хочет, а язык едва шевелится, пролепетала:

– А кто это?

И снова:

– Тук-тук! Верни дупло Белке, Сова. У нее три бельчонка, они замерзают в снегу и к утру замерзнут.

Сова молчит, а голос снова – «Тук-тук!».

– Кто там? – прошептала Сова обреченно.

– Уходи, Сова из дупла, пусти бельчат назад, ты их обидела.

Сова собралась с силами и громко спросила:

– А кто это говорит? А?

– Тук-тук, тук-тук, это я, твое сердце, Сова. И мне за тебя очень стыдно...

СКАЗКА ПРО АИСТА ЛИСТА

Аист Лист был самым трудолюбивым аистом на всей Северной земле. Он без устали носил в клюве младенцев, и Господь только ему доверял близнецов, тройняшек и еще – особых детишек с хрустальными огненными душами.

У Аиста Листа были мощные крылья и железный клюв, сильная грудь, крепкие лапы, непоколебимая воля, спокойный нрав и безграничная ответственность. Поэтому Бог ему доверял.

Днем и ночью Аист Лист приносил детей в дома, стучался краешком крыла в окно, укладывал осторожно ребенка на крылечко и торжественно взлетал на крышу. Оттуда он счастливо наблюдал, как открывалась дверь, из дома выходили изумленные родители, находили Божий подарок и уносили его домой.

Однажды Аист Лист летел рядом с журавлиной стаей.

– Листик, хватит тебе работать, летим с нами на Юг! Ведь ты никогда не видел море, никогда не ел крабов и устриц. Отдохни!

Аист Лист покачал головой и повернул направо.

На другой день он встретил стаю лебедей.

– Листик, ты все трудишься? Какая тяжелая у тебя работа! Вот нам Бог не доверил такую ответственную работу. Зато мы свободны и прекрасны. И мы радуем людей своей красотой. Полетели с нами! Ты отдохнешь и тоже будешь красив, как мы. Посмотри, какой ты худой, изнуренный, усталый!

Аист Лист покачал головой и повернул налево от стаи.

На следующий день Аист Лист встретил стаю диких гусей.

– Листик, хватит тебе работать! Полетели с нами на юг, и ты увидишь, как прекрасна наша планета. Ты увидишь весь мир! Ты узнаешь, как великолепна свобода! Ведь ты птица! Птица должна быть свободной!

Аист Лист помотал головой.

Дикие гуси загоготали:

– Ты даже не можешь раскрыть рот, иначе ребенок упадет. Ты даже не имеешь голоса! Ты потерял главное, что есть у птицы – свободу и голос! Ты теперь не птица, ты раб!

Аист Лист сурово помотал головой и стремительно полетел к земле. Там в доме ждали младенца папа и мама.

Но вдруг с ним что-то случилось. Он круто развернулся и полетел за дикими гусями, крича во все горло:

– Я не раб! Я тоже птица! Но у меня такая судьба! У меня такой долг! У меня такая обязанность!

Клюв-то он раскрыл – ребенок и выпал.

Упал малыш в пышные, кружевные еловые лапы густого леса, как в колыбель, и пропал там.

Аист Лист испугался, долго кружил над лесом, но так и не нашел малыша. И так он расстроился, так растерялся, так запаниковал, что не полетел сразу к Богу, а почему-то помчался следом за стаей диких гусей. Потом снова вернулся, снова долго кружил над лесом и, наконец, решил, что ребенка кто-нибудь уже нашел и забрал. Находят же детей в капусте. А он ненадолго слетает на Юг. Никто и не узнает, что он там был. Только на минуточку отлучится, одним глазком огромный прекрасный мир посмотрит, попробует на вкус крабов и – вернется.

Полетел Аист Лист на Юг, а Бог тем временем ангельские души деткам в тельца вдыхает, другим аистам малышей кричащих раздает, а особых детишек – с хрустальными огненными душами – в сторонку складывает, Аиста Листа ждет. Никому особых Бог не доверяет. Особые лежат, кричат, много накопилось, а Аист Лист все не летит и не летит. На Юге фрукты клюет, плюется – кислые, вязкие фрукты, не нравятся ему. О крабьи панцири весь клюв расшиб, размолотил, лапы об острые камни скал поранил, щиплет раны соленая морская вода. Ищет Аист Лист на Юге болото и лягушек, найти не может. Крылья на солнце стали у него сильнее, красивее, сверкают, лоснятся. Летать он стал быстрее, но ни одной рыбы так и не смог поймать – больно верткая в море рыба, как головастики.

Тем временем в лесу малыш переполох устроил. На еловых лапах качался-качался, спал, а потом проголодался, да как заорет! Кричит, надрывается, будто понимает, что потерялся.

Белки из дупла выскочили, малыша успокаивают, зайцы примчались, под елкой пляшут, развеселить его стараются. Медведю доложили, что случилось такое дело – он меду принес, стали медом малыша кормить, а он все равно плачет. Бабочки вокруг порхают, малышу щечки щекочут, рассмешить хотят, а тот все равно плачет.

Прибежали волки – беспокоятся, вдруг за ребенком люди придут, а у людей ведь есть ружья. Просят белок, мол, дайте ему побольше медвежьего меда, пусть молчит, а то наведет беду на весь лес. Белки дали еще малышу меду, на еловых лапах покачали – вроде уснул ненадолго. Ночью опять проснулся – и давай кричать! Видимо, замерз. Подняли наверх на елку пушистую лису – рядом положили, чтоб шубой своей грела. Уснул. Пригрелся. Медом причмокивает. Вроде тихо стало. Но лес не спит. Все, как струны натянутые, как войско на изготовке, под елкой стоят, ждут сигнала...

– А-а-а!!!

И опять: кто бегает, кто скачет, кто крыльями машет, кто просто лежит без сил и горюет. Тяжко зверям человечий плач переносить – мучаются они от человечьего плача.

Стали звери оленя просить, отнеси, мол, ребенка на своих рогах, как в люльке, в деревню, где другие люди живут. Не вырастить нам его самим, звери ведь мы. А олень на дерево залезть не может.

Стали ночных мышей просить, подхватите ребенка, да положите оленю в рога, как в люльку, пусть людям его отнесет. Те попробовали – тяжелый, не поднять. И сове даже не поднять, и дятлу, и филину.

Малыш орет на весь лес, аж душа у леса заходится.

Решили послать кого-нибудь на небеса к Богу, спросить, что делать?

Вызвалась синица, говорит:

– Вдруг там очередь? Я маленькая, без очереди проскочу. Дело срочное, мне простительно.

Прилетает синица в Богу, без очереди проскочила, упала в ноги, спрашивает, как быть, что делать, когда ребенок постоянно плачет?

– Любить его, – отвечает Бог.

– А если все равно плачет? Если чужой ребенок?

– Еще сильнее любить, – отвечает Бог.

– А если он – человек, а все вокруг – звери?

– Такого я заберу Себе, он из зверей людей не сделает, – сказал Бог и послал с синицей дежурного аиста.

Аист малыша забрал, Богу назад принес, а в лес вернулись тишина и покой. Звери даже успели забыть о случившемся. А весной прилетел Аист Лист. Он кружил над лесом, махал пышными жаркими крыльями и кричал громким южным голосом, звал малыша.

Белки из дупла выскочили, кулачками машут:

– Бессовестный! Где же ты раньше был?

– На Юг летал. Но там плохо, нет лягушек, а рыб невозможно поймать. Очень верткие морские рыбы, как головастики. Не видели ли вы ребенка?

– Мы даже разговаривать с тобой не хотим! Спроси у Бога!

– Как же я к Богу полечу, если я ребенка родителям не отнес?

– А как хочешь, так и лети. Нам все равно, – сказали белки и спрятались в дупло.

Полетел Аист Лист к Богу, прилетел, лег у ног, плачет, кается, мол, уронил ребенка и не нашел.

– Когда? – спрашивает Бог.

– Не днях.

– А где ты его искал?

– Везде.

– Искать нужно там, где потерял, – сказал Бог и велел Аисту Листу быть обычным аистом, ловить и есть лягушек, вить гнездо на столбе и летать по всему свету.

– К как теперь мне будет хорошо! – радовался Аист Лист. – Я стану свободной птицей! Настоящей птицей счастья!

– Да, тебе станет известна цена счастья, – сказал Бог. – И ты поймешь главное: счастье – это Мое доверие. Тот, кто утратил Мое доверие – обретают все краски мира, но теряют суровый, бесцветный холст, его основу. Лети, Аист Лист, маши своими свободными крыльями, рисуй. Картины в небе отличаются от узора жизни на Земле.

СКАЗКА ПРО ГОРУ СЧАСТЬЯ

Жил один добрый Человек в небольшой деревне у подножия высокой горы. Люди в деревне были очень бедные, больные, завистливые, хитрые и злые. Они ссорились и ругались друг с другом. А добрый Человек всем помогал, всех жалел, всем спешил на помощь, всех примирял. Он работал день и ночь, пытаясь сделать жителей деревни дружными и радостными. Но однажды он очень устал, ослаб духом, ушел из деревни в лес, сел под деревом и заплакал.

И явился ему Ангел.

– Почему ты плачешь, добрый Человек?

– Я ушел от людей, потому что не знаю, чем помочь им. Они не любят друг друга, всегда ссорятся. Я больше не хочу жить вместе с ними. Я не вернусь к ним. Они очень несчастные.

– А ты счастлив?

– Я не знаю, что такое счастье. Моя единственная мечта – стать счастливым!

– Я покажу тебе счастье. Видишь эту гору? Заберись на ее вершину и ты увидишь счастье.

Человек полез в гору. Он падал, поднимался, карабкался вверх, не обращая внимания на голод, холод и боль от ран. Через несколько дней он добрался до вершины и, упав без сил, уснул.

Утром, проснувшись, он увидел рядом в тумане еще одну вершину.

– Ты прошел только четверть пути, – сказал Ангел, и Человек снова полез вверх. Он цеплялся за камни, полз по скользким скалам, упрямо поднимаясь все выше и выше. Через несколько дней он добрался до вершины, упал без сил и уснул.

Утром, проснувшись, он увидел рядом еще более высокую вершину.

– Ты прошел только полпути, – сказал Ангел, и Человек снова полез вверх. Так он одолел все вершины, на которые указал ему Ангел.

Когда же он, еле живой, он забрался на самый пик горы, ему стало холодно, одиноко и страшно.

– Ангел, ты обманул меня. Здесь ничего нет, здесь пусто! Я один. Мне больно, холодно и страшно...

– Посмотри вниз, – сказал Ангел.

– Там, внизу – моя деревня. Теперь я никогда не смогу вернуться туда. Они меня ждут! Я был им очень нужен! Они не смогут жить без меня! Зачем ты привел меня сюда?!

– Ты хотел увидеть счастье. Я показал тебе его.

Нина ЯГОДИНЦЕВА

НА ПЕРЕВАЛАХ

* * *

...И уже не забудутся никогда
В перекрестье дел и больших, и малых
Налипание снега на провода,
Штормовые заносы на перевалах...

И уже растворилась огнём в крови
Молодая метель над ночной страною,
И уже бессмысленно о любви –
Ибо только она, и ничто иное.

А мороз над Уралом привычно груб,
И теперь от него заслониться нечем,
Но уже не отнять воспалённых губ
От шершавого горлышка русской речи.

То ли просто зима, то ли впрямь беда
Высекает слёзы из глаз усталых...
...Налипание снега на провода,
Штормовые заносы на перевалах.

ЯГОДИНЦЕВА Нина Александровна родилась в Магнитогорске. Окончила Литературный институт имени Горького в 1991 году. Член Союза писателей России с 1994 года. Автор двадцати поэтических книг. Лауреат ряда всероссийских и международных конкурсов и премий в области поэзии, литературной критики, художественного перевода и науки. Живёт в г. Челябинске.

* * *

День осыпан пеплом сновидений.
Словно бы тревожный, смутный сон
Вышел из своих ночных владений –
И его назойливые тени
Обступают свет со всех сторон.

Мечется испуганная птица
В полутёмной каменной трубе,
Чёрная, огромная –
Тебе
Страшно: Боже, где она гнездится?

Вот пустая церковь на холме,
На далеком острове, и волны
Выстилают пеною во тьме
Лёгкую тропу – и ты невольно
На неё ступаешь, но на дне
Вспыхивает мрак:
Тропа в огне.

Вот холодный долгий коридор,
Весь в лохмотьях старой синей краски.
Вдалеке – окно.
Но свет напрасный,
Словно свету Божьему укор,
Льётся прочь. А ты стоишь с младенцем
На руках. И над холодным тельцем
Собираешь скудное тепло,
Лишь бы это сердце ожило...

Снится жизнь – безвестная, чужая.
Снится, камень мира обнажая,
Гулкие провалы в пустоту.
И в трубе вселенского колодца
Птица перепуганная бьётся,
Осыпая пепел на лету...

* * *

Так останься же тайной отрадой
Для моих неприкаянных дней,
Как сирень за церковной оградой
И фонарь потускневший над ней!

Сквозь безумие и отреченье
Пред тобой на колени паду
Под его золотое свеченье
В полуночном церковном саду.

Ибо кто в этом мире не ищет
Гиблой славы страстей и обид?

Кто потом над своим пепелищем
В покаянной тоске не стоит?

Кто не молит золу золотую:
Озари, воскреси, оживи
Беспощадную, честную, злую,
Беззащитную правду любви...

Так останься же памятью майской
За оградою прожитых лет,
Где сияет прощальною лаской
Фонаря остывающий свет...

АРКАИМ

Небо, мягкие лапы к земле прижав,
Дышит печальным запахом спелых трав.
Солнце звенит в зените, и сам зенит,
Высохший до серебряного, звенит,

Звон проливается в землю, словно вода –
И оживают мёртвые города,
В тысячелетнюю сеть травяных корней
Рыбами угодившие в толще дней,
И на тугой излуке реки степной
Стены вздымаются солнечною волной.

Имя твое утрачено – но утрат
Было немало развеяно на ветрах.
Память твоя повержена – но зола
Тысячи раз молодою травой взошла.
И точно так же, как тысячи лет назад,
В зное весёлые кузни твои звенят...

Воздух калёный темнеет – идёт гроза,
Выше тревожные женские голоса,
Детские крики, назойливый скрип ворот –
Краешек тучи горой над горой встаёт
И настаёт, осязаема и видна,
Предгрозовая свинцовая тишина...

Но колесницей в гулкий омут жары
Ветер неудержимо летит с горы!

Памяти не устоять на таких ветрах –
Рушатся древние стены в горячий прах,
И в непокорную землю у самых ног
Время вбивает сырой грозовой клинок.

* * *

Сошла высокая вода...
Душа, откуда столько боли?
Несёт черемуха в подоле
Малиновые холода.

Идёт, боса и весела,
В прозрачном облаке остуды,
Не сетуя на пересуды
На шумных улицах села,

Навстречу ей сквозит трава,
До солнца воздух пробивая,
И жизнь такая молодая,
И лишь поэтому права.

И ладно – лишь бы всё цвело,
Не вспоминай в весенней силе,
Что руки нежные застыли
И пальцы тонкие свело.

* * *

Выбегаешь на крылечко, на мороз –
И косыночка сбивается оплечь.
Ничего на белом свете не всерьёз.
Никого на белом свете не сберечь.

Едут сани, режет полоз ледяной,
Виснет месяц от беды на волоске,
Покрывается нежданной сединой
Растрепавшаяся прядка на виске.

Едут сани, едут сами – а куда?
Позасыпаны дороги да пути.
Говорят, что это горе не беда –
Только зиму поперёк не перейти.

А повдоль неё крутые берега,
В берегах текут позёмка да пурга,
Набухают светом звёзды на мороз –
Ничего на белом свете не всерьёз...

А всерьёз пред этой грозною зимой
Подарёная косынка с бахромой,
Да горячая дорожка от слезы,
Да по зимнику тяжёлые следы.

* * *

В малой горсточке тепла
Спать да спать, дыша неровно...
Боль пройдёт, как ночь прошла.
И она была огромна,

И она была темна,
И её гроза взрывала –
Даже в горсточку тепла
Ветром брызги задувало.

И, почти сводя с ума
На немыслимой поверке,
Била высверками тьма
Прямо в сомкнутые веки.

И казалось, выше сил
Неумолчный грохот ада –
Только кто-то подносил
Сердцу тихую прохладу,

Утирал огонь со лба,
Молча истово молился...
Сохрани во сне, судьба,
Эти призрачные лица,

Эти ясные глаза,
Свет лучащие, спасая.
Тающие голоса,
Невесомые касанья...

* * *

Показалось – уже темно,
А на самом деле – с утра...
Это клён заглянул в окно
Из заснеженного двора.

Что ты мне говорил, о чём –
Было слышно, словно сквозь лёд.
И часы над твоим плечом
Безнадёжно ушли вперёд.

Мне казалось, что это – всё,
Дальше просто сплошной Delete.
И декабрь погрузился в сон,
И душа уже не болит.

Оказалось, что всё светло,
И до ночи не мерян путь.
И лучи за окном свело
И нацелило прямо в грудь.

* * *

На крещенском морозе, на полном серьёзе
На хрустящем снегу золотые полозья...
Золотые, литые из солнечной стали –
Словно свет растворён в ослеплённом металле...

На крещенском морозе, горячем на выдох,
Ни судьба не обманет, ни случай не выдаст:
Если день ненадолго, то ночи – с лихвою,
От собачьего лая до волчьего воя.

На крещенском морозе, под лунной заплаткой
Жизнь покажется краткой, покажется сладкой,
И покатится весело в санках под горку,
И окажется долгой, окажется горькой,

Ах, когда б мы, наивные, вызнали сами,
Кто на ярмарке шумной дарил леденцами,
Раздавал да прихваливал сдобным словечком,
Всё-то накрепко помня о детском и вечном...

* * *

Как тут выбирать, коль попал спроста
В спелую солому – сухую тишь:
Вымолвить хоть слово – спалишь уста,
Ну а промолчать – изнутри сгоришь.

В общем, эта жизнь – чистый самопал:
Воздуха вдохнул – и уже пропал...
И таких пропащих немерено,
Только знать об этом не велено.

Да и выбирать – было б из чего...
Даже смертный снег не студит чело.
А кому посмеешь пожалиться
Среди уголья на пожарище?

Прощевай-прости, да не помни зла,
Было или не было – всё зола,
А добром нечаянным – вспомяни
Лоскуток согревшего пламени.

* * *

Грязь летит на обочины –
Зимних ночей извёстка.
Ангел, вкривь позолоченный,
Спит за стеклом киоска,

Пряча за мятым ценником
Грубую позолоту...
Что же им делать, пленникам,
Если вы позовёте?

С неба печати сорваны,
Словно во время оно:
Спящими загипсованы.
Крылышки из капрона.

В гибельной непохожести
Гаснет душа живая,
Кому наивной пошлости
Молча пережидая.

* * *

Задувает, метелит, вьюжит – но как легко
Пить ледяное, хрустящее снежное молоко!
Так и льнёт, так и льётся широкой рекой на грудь –
Успевай шубейку драную запахнуть...

Пахнет розами ночь – но откуда в морозы такой цветник?
Ароматный родник – даже ветер в испуге сник.
Словно смотришь в уютный садик через забор –
И глядишь на розы как вор, и дышишь как вор...

Это чистое, нежное, чуть взглянул – и уже украл...
Это в сердце как в тайнике: декабрь, Урал,
Ночь, морозец, сердце рвётся из-под руки
Собирать горячие белые лепестки.

И морозец ему не указ, и ночь – не указ.
Если хочет оно украсть – ну как не украсть?
Это сердце, и что для него закон?
Только то и живо, что под его замком.

* * *

Когда бы знали мы на самом деле,
Как наши карты звёздные легли...
Она сидела на краю постели –
Усталый путник на краю земли.

Перебирая в пальцах бесполезно
Больничную застиранную бязь,
Она глядела в пол, как будто в бездну,
Где космос открывался ей, клубясь.

Несли таблетки, кашу приносили,
С трудом тянули кровь из бледных жил...
Июль пролил на окна столько сини,
Так листьями по стёклам ворожил,

Так объявлял грозу, молил о чуде,
Так умолкал в изнеможенье: будь!
...Никто не знает, как ступают люди
На бесконечно долгий звёздный путь,

Как за спиною вдоль высоких окон
Проглядывают линии орбит...
Как на столе в стакане одиноком
Серебряная ложечка звенит.

* * *

Юрию Васильеву и Николаю Бодрову

Так сбивается в масло небесное
Молоко любви.
Наклоняется ангел над бездною,
Говорит: живи,

Осенью дыши, говорит,
Шурши листвой,
Дождинки лови за шиворот –
Я твой

Собеседник на веки вечные...
Я молчу,
Потому что ответить нечего.
Он спускается по лучу,

Словно лист на плечо, свет на уста,
Воздух в перехваченную гортань...
Я говорю: устала.
Перестань

Обещать несбыточное, дарить
Невозможное – удержу ли?
Удержишь, говорит.
Я дежурю

Круглосуточно, всемирно. Качнёшься – я подхвачу.
И уходит вверх по лучу.

Листву собирают в чёрные пластиковые мешки.
Воздух пустеет, с белого неба летят мечты –
Прозрачные, невесомые – и тают почти у самой земли.
Снега пришли.

* * *

Ненасытной удалью молодой тоски
Воровская музыка мечется в такси.
Бьётся в стёкла, поймана чёрным коробком...
Что она, о ком она? Больше ни о ком.

Вспоминать не велено, всё пошло не так:
От проспекта Ленина на Свердловский тракт,
Дальше – Комсомольского бурная река...
Помяни их, Господи: мальчиков зека,

Девочек без вызова, ужас чёрных трасс...
Музыка неистово обвиняет нас,
Выживших в развалинах, помнящих едва:
Музыке позволено, музыка права!

Слов не слушай, Господи: лгут слова навзрыд.
Плотный сумрак в городе фонарями взрыт,
Высверками высвечен, фарами в упор –
Музыка неистово продолжает спор

Не за души сгинувших в ужас и во тьму –
За невинных нынешних, за себя саму,
Разудало-жалкую в гиблой слепоте,
С неизменно ржавою финкой в сапоге...

МАЛЕНЬКАЯ БАЛЛАДА О ХРЕБТЕ УРЕНЬГА

По обе стороны Уреньги
Не видно ни зги.
Мы летим, подхвачены ветром
На тугое крыло пурги.

По обе стороны от хребта
Клубится тяжёлая пустота –
Долин, и дорог, и небес над ними
Как будто и не было никогда.

Ладонь прикипает к щеке скалы.
Всё больше белой кипящей мглы,
Всё меньше воздуха, и дыханье
Трепещет на острие иглы.

Да, мы увидели: это здесь
Мерцает во мгле золотая взвесь,
Творящая мир от горных подножий
До океана и глубже – весь

Мир, поражающий взор и ум, –
Пыльца невидимых солнц и лун,
С неба струящиеся на землю
Искры безмолвных струн:

Там – закреплённые на колках,
Здесь – эти струны у нас в руках,
А мы, к камням прижатые ветром,
Чувствуем только страх...

Лети, немыслимая пурга,
Свивай над миром свои снега –
Вечный день сотворенья мира
Празднуй, Уреньга!

* * *

Осени печальная отрада,
Тайна, не открывшая лица, –

На Успенском, в устье листопада,
Слева от маршрутного кольца.

Узенькая долгая аллейка
С ломким молодым карагачом
Увела как дудочка-жалейка
И не пожалела ни о чём.

Увела... Под лёгкими шагами
С облаков осыпалась пыльца.
Больше ничего не слышно в гаме,
В грохоте маршрутного кольца.

И не пожалела – но, жалея
Всё, чего отныне больше нет,
На другом конце пустой аллеи
Возникает светлый силуэт...

Замирает сердце, привыкая
Доходить до края, до конца,
Слабою слезинкой размыкая
Пыль и сталь маршрутного кольца.

* * *

Не ты ли слал за мной несчётные погони,
Огни, дожди, ветра, пронзительную тишь
Рассвета над рекой?
Теперь ты сам в полоне,
Ты спишь,

Мой пленник, позабыв, что есть на свете воля,
И солнечный песок перетекает в сон
Пустыней мировой...
Но что нам эти волны
Над головой,

Когда во всех мирах, распахнутые настежь,
Стоят дворцы сердец – в любое заходи!
И сам ты – только свет,
и ничего не застишь
В груди.

* * *

Сошла высокая вода...
Душа, откуда столько боли?
Несёт черемуха в подоле
Малиновые холода.

Идет, боса и весела,
В прозрачном облаке остуды,

Не сетуя на пересуды
На шумных улицах села,

Навстречу ей сквозит трава,
До солнца воздух пробивая,
И жизнь такая молодая,
И лишь поэтому права.

И ладно – лишь бы все цвело,
Не вспоминай в весенней силе,
Что руки нежные застыли
И пальцы тонкие свело.

* * *

Радость говорить – пробовать на вкус
Воздуха сырой серебрёный хруст,
Корочку морозца ломая
До горячей мякоти мая...

Кто для нас с тобой этот хлеб растил?
Кто его питал солнцем спелых сил,
Песни пел над зреющей нивой –
Молодой, влюблённый, счастливый?

Прижимал к груди запад и восток,
Растирал в руках крепкий колосок –
И высокой светлой страдою
Проходил бескрайней страною...

Собран урожай, смолота мука,
Мякоть горяча, корочка сладка –
Ешь, дитя, расти, не печалься,
На лихом ветру не качайся!

Александр КЕРДАН

ХОТЬ НАЛЕВО ИДИ, ХОТЬ НАПРАВО...
Провинциальный дневник (2017 год)

* * *

Окна дома напротив – сусальное золото,
В них рассвет расплескал ощущение праздника,
И в душе, что тревогами вся перемолота,
Где так много мгновенного, праздного, разного,
Нарастает уверенность: всё перемелется,
Испечётся кулич и разделится поровну...
Надо только любить, и жалеть, и надеяться,
Даже если не смотришь в ту самую сторону,
Где светило восходит, как будто не ведает
Тьмы, царившей всю ночь до мгновения ясного,
И ещё никого в этом мире не предали,
И ещё ничего не случилось ужасного...
И уже не случится!
Ведь золото плещется
В окнах дома напротив, в душе неприкаянной...
Всё, что нас не убило, наверное, лечится,
Светом добрым, молитвой и взглядом нечаянным...

КЕРДАН Александр Борисович родился 11 января 1957 года в городе Коркино Челябинской области. Окончил высшее военное училище, военную академию и адъюнктуру Военного университета. 27 лет прослужил в Вооруженных Силах. Полковник запаса. Доктор культурологии. Автор 38 книг стихов и прозы, вышедших в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале и в Западной Сибири. Лауреат Большой литературной премии России, всероссийских и международных литературных премий. Сопредседатель Союза писателей России, координатор Ассоциации писателей Урала. Живет в Екатеринбурге.

ДЕВЯТНАДЦАТОЕ НОЯБРЯ

Александру Кононову

Словно в книге листаю страницы,
Проживая отпущенный срок...
То ли правда, а, может, мне снится,
Что стою на скрещенье дорог.

Хоть налево иди, хоть направо,
Выбор может быть только один:
Лучше скорая смерть, но со славой,
Чем в бесславье дожить до седин.

Что тут звания, что эполеты,
Если сердцем ты принял обет:
Нет корысти в служении свету,
Где корысть, там – служения нет.

* * *

Спасибо армии моей,
Что пенсию дала.
Ещё за то спасибо ей,
Что пенсия – мала.

Не позволяет захандрить
И отлежать бока.
Вставай, служи, коль рад служить!
Ведь жив ещё пока!

Но зарабатывая грош,
Всё ж помни, дорогой:
И эту малость не возьмешь
С собою в мир другой.

Здесь – днём сегодняшним живём:
Семь бед – один ответ...
А там, куда мы все идём,
Зарплат и пенсий нет!

Там – с остальными наравне –
К расчёту, наг и бос...
И то, что ты служил стране,
Зачтётся ль? Вот вопрос.

А не зачтётся, что пенять?
Авось, у райских врат
Ты будешь на часах стоять:
Солдат – везде солдат.

* * *

Кажется, распят своей любовью,
Днями, что провёл с тобою врозь...

Искупаю расставаний болью
Всё, что не сложилось, не срослось.

Всё надеюсь вымолить прощенье,
И начать всё с чистого листа:
Ведь распятье – символ воскресенья,
До поры, пока не снят с креста.

* * *

Мы с тобой – почти одно и то же,
Как бы это ни было смешно.
Даже в жестах сделались похожи,
Слово на устах у нас одно.

Так сроднились, что и фраз не надо
По любому поводу ронять...
Можно и без жеста, и без взгляда,
Всё, о чём подумали, понять.

Всё труднее отыскать границу,
Где есть ты, а где – отдельно – я...
Так сцепились, что не разлучиться
Даже за границей бытия.

* * *

Пачка книг в объятьях паутины –
Много дней трудился паучок.
Нежится теперь, как на перине,
О стихах прочитанных – молчок.

Не хулит, не хвалит – эко диво,
Но о чём-то мыслит в тишине,
Приглашая в гости мух игривых,
Верен пачке книжной, значит – мне.

Да, такое время подоспело:
Сузился читателей отряд,
И литература не у дела –
Книги без движения лежат.

А поэт надеется, мечтатель,
Что не зря старался, дурачок...
Вот и отыскался мой читатель –
Серый, неприметный паучок.

СОЗЕРЦАТЕЛЬ

Мальчишки мечтают о славе,
Девчонки мечтают о счастье.
О правнуках грезят старушки,
О тёплой печи – старики...

А я ни о чём не мечтаю –
У дум одиноких во власти,
Гляжу, как философ, без страсти
На бурные воды реки.

Она называется жизнью,
Она называется смертью.
И, логике дней не переча,
Вода отражает века...

Не помню того, что случилось,
За завтра уже не в ответе,
Я – здесь и сейчас – так же вечен,
Как думы мои, как река.

* * *

Хочется пожить несуетливо,
За судьбой вдогонку не лететь,
Чтоб почти у краешка обрыва
Что-то очень важное узреть.

Бабочки вираж в потоке света,
Меж камней приткнувшийся цветок...
Будто бы и впрямь прозренье это
Шанс даёт – прожить ещё чуток.

* * *

Завидовать себе девятнадцатилетнему...
В.Маяковский

Неровной, нервною походкой
Прошла красотка, как судьба...
Вослед ей поглядел я кротко,
Но не с покорностью раба,

А со смирением пророка:
Ну, не моя так не моя...
Но если б жизнь начать с истока,
За ней бы увязался я...

И натворил ошибок кучу
И подвигов, назло судьбе...
А вот гляжу, не баламучусь,
И не завидую себе.

* * *

Приснилась мама мне. Давно не снилась,
А тут приснилась – не пойму к чему...
Всё вещи собирала, суетилась,
Переезжать куда-то торопилась,
Как будто тесно ей в родном дому.

А я ей помогал, хотя и помнил,
Что мамы-то давно на свете нет:
Увязывал пожитки в тюк огромный
И книги – чей-то важный многотомник –
Старательно укладывал в пакет.

И спрашивал себя: куда мы едем?
Осознавая: ехать не хочу...
А мама говорила мне о деде,
Который ждёт нас где-то на «Победе»
И обещает: «С ветром прокачу!».

У деда моего, насколько знаю,
Машины не бывало никакой,
Но для чего-то маме я киваю,
Как будто вовсе и не понимаю:
Она и дед приехали за мной!

А я ведь ничего ещё не сделал
И даже вещи толком не собрал...
Проснулся. За окошком – сумрак белый,
Машина, проезжая, прогудела,
И ветерок по веткам пробежал.

И смотрит на меня с портрета мама,
И сон на явь похож, а явь – на сон...
«Я вещи не собрал...» – шепчу упрямо,
Хоть там, куда зовут, не нужно хлама,
Но торопиться – тоже не резон.

* * *

Что ты маешься среди буден,
Жизнь пытаешься поменять?
Лучшей доли уже не будет –
Надо эту, как есть, принять,
Подбивая итог, итожа
Многолетнюю маету...
Хлеб насущный – подарок Божий –
Валидолом тает во рту...

* * *

Ножки стройные мелькают –
Это молодость уходит
И меня не замечает,
А заметив, взгляд отводит,

Устремлённая к рассвету,
Лучезарная, как утро...
Постаревшему поэту
Тут смириться бы, как будто...

Не бежать вослед красотке,
Не бросать вдогон ей строфы...
У красоток век короткий,
Даже если ножки стройны.

Срок у рифм куда длиннее,
Ведь стихи не знают срока!
Но душа летит за нею,
За красавицей жестокой.

Потому, что связь такая
Между красотой и словом –
Обожжёт и ускользает,
Чтоб пленять и мучить снова,

Чтоб из этого мученья
Родились потоки света...
Так имеет ли значенье,
Сколько было лет поэту?

* * *

Мы с тобой – такая парочка,
Что на зависть всем вокруг.
Ты стройна, как будто чарочка:
Миг и – выскользнешь из рук...

Я же прост, подобно братине,
И прожитых дней зола –
Седина, как будто патина,
На виски мои легла.

Жизни миг с тобою празднуя,
Как ведётся на миру,
Мы сошлись, такие разные,
На одном земном пиру,

Где мечта блуждает тщетная,
Что на свете счастье есть...
Тост. Касанье чуть заметное.
И опять: ты – там, я – здесь...

ПЕРЕЧИТЫВАЯ МАРКЕСА

А ты могла бы написать,
Когда бы было, что сказать,
Да, видно, нечего...
Что ж, и без писем проживём
Мы с одиночеством вдвоём
Весь день до вечера.

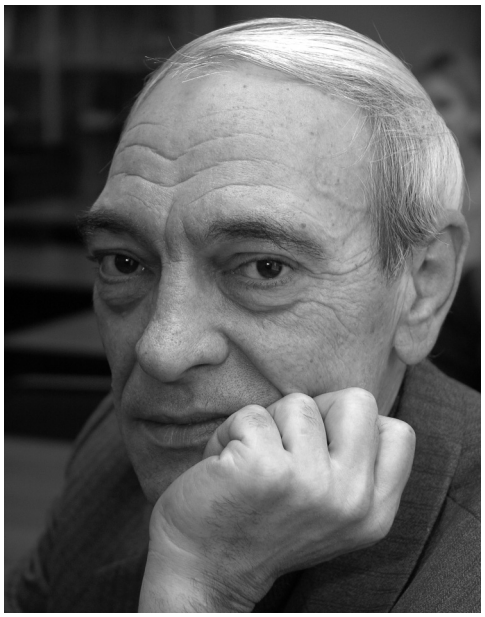
Напьёмся чаю вечерком,
А там – накатится как ком
Снегов пророчество...
На окнах – стужи письмена,
Что не нужна совсем весна
Нам с одиночеством.

Под ветра сиротливый вой
Остаться бы самим собой –
Судьбе на милость...
Нет писем. Что же – всё равно:
Всё, что исполниться должно,
Уже случилось.

КАК ВЕДЁТСЯ У ПОЭТОВ...

День за днём, я постепенно
Жить привыкну без тебя,
Все обманы и измены
Расставаньем обойдя.
Сердцу бедному оставив
В утешение стихи –
В них прощу или ославлю
Страсти бывшие грехи.

Чтоб потом себя за это
Не понять и не простить...
Как ведётся у поэтов,
Об утрате погрустить
И – опять искать по миру,
На погибель на свою,
Ту, что мне подарит лиру,
Мной потерянную...



Пётр КРАСНОВ

РУССКИЕ В ИМПЕРИИ

К вопросу о революциях начала XX века

После публикации моей статьи «Лимиты» революции» *(«Наш современник» №8/2017, «День литературы» №10/2017)* стали поступать ко мне отзывы и вопросы читателей по существу нескольких положений, высказанных в ней. И потому возникла необходимость некоторых дополнительных разъяснений и уточнений её, статьи, посылов, по возможности не повторяя уже сказанного в ней.

Так сложилось в отечественной историографии, что поднимать вопрос о полном «онемечивании» в XVIII веке царской династии Романовых не было ни возможности до революции 1917 года, ни особой политической необходимости после неё. В силу существовавшей в этом отношении жёсткой цензуры историк В.О.Ключевский смог только констатировать, что после неудавшегося и во многом «антинемецкого» восстания декабристов из-за укрепившегося недоверия династии к русским «кончается политическая роль русского

КРАСНОВ Пётр Николаевич родился в 1950 году в оренбургском селе Ратчино. После окончания сельскохозяйственного института работал агрономом, писал стихи, прозу.

В 1978 году вышла его книга рассказов «Сашкино поле», удостоенная Всесоюзной премии им. М. Горького за лучшую первую книгу автора. Был принят в Союз писателей и окончил Высшие литературные курсы. Его рассказы и повести публиковались в журналах «Наш современник», «Дружба народов», «Молодая гвардия», «Литературная учеба», «Новый мир», «Москва», в еженедельнике «Литературная Россия» и выпусках «Роман-газеты», во многих других периодических изданиях. Секретарь Правления СП России. Живет в Оренбурге.

дворянства... В этом заключается, по моему мнению, самое важное последствие 14 декабря...» Да и вывод этот, чрезвычайно значимый для нашей истории, он сделал и записал как бы «на полях» своих трудов, в надежде, что будущие историки получат наконец-то возможность развить эту тему, детально исследовать все её мало сказать – драматические «последствия»...

Но до сих пор этой исторической проблемы, насколько я знаю, никто из историков впрямую не ставил, так и осталась она, по сути, «белым», а вернее донельзя мутным пятном в нашем прошлом. Правда, сама возможность этого появилась после Октября, но в её реализации у новой власти уже не было какой-либо идеологической нужды: угнетателей-эксплуататоров, как и угнетаемых, не делили по признаку национальному, а только по классовому. Проблематика национальности тех и других и сейчас является официально табуированной, толерантность (в одном из значений этого слова – потеря иммунитета) и мультикультурализм здесь у российского политикума образцово-показательные, вплоть до ликвидации этой графы в паспортах и отсутствия русских, как народа-нации, в ельцинской Конституции РФ – тогда как в конституциях национальных республик в её составе субъектность этих «титульных» народов прописана... Политически, а значит и социально, нас, национального большинства России, как субъекта с соответствующими правами попросту нет – и всё это, разумеется, для сокрытия крайне значимых диспропорций и неравенства по этническому признаку в населении нашем, экономике и статистике, где самые бедные, обделяемые в финансировании, в социокультурных и прочих планах области – исконно русские...

Как я уже писал, православная обрядность Двора не делала «Романовых» русскими, и не было допущено ни одного случая женитьбы очередного наследника престола на русской; в любовницы – это, как говорится, всегда пожалуйста, но не более того. Кровь «немецкая», а с ней и все многочисленные и многосмысловые связи с западноевропейским Vaterland*ом* береглись пуще зеницы ока, и рискнувший жениться на русской, хотя бы и рюриковых кровей, женщине член династии лишался какого бы ни было шанса на престолонаследие. Ползучий, однако очень быстрый по историческим меркам захват ими верховной власти в Империи имел огромное, нами ещё, повторю, до сих пор не осознанное значение в её дальнейшей судьбе. Бироны-минихи-остерманы работали в этом направлении, надо признать, весьма эффективно, искусно отводя аборигенам роль исполнителей своего целеустремлённого дела.

Первостепенным по замыслу здесь, судя по всему, стало «дарование» Петром III (сиречь Карлом Петером Ульрихом) в 1762 году дворянству вольности, освобождения от обязательной даже в мирное время 25-летней военной и гражданской службы, а также и других весьма значительных привилегий, послуживших своего рода социальным и политическим подкупом «немцами» дворянского сословия (подтверждённых потом «жалованной грамотой» Екатерины II в 1785 году). И совсем не зря дворяне в порыве эгоистичной сословной благодарности собирались поставить этому горе-императору золотую статую; правда, когда он сдал Фридриху II все завоевания Семилетней войны, дворяне ещё имели силу свергнуть его, подсадив на престол его жену Софию Августу Фредерику Ангальт-Цербсткую. Каковая и стала основательницей уже, считай, не замутнённой славянской кровью новой династии «Романовых»...

Всё это разрушило прежнюю, именно русскую систему государственной

повинности, накладывавшую сравнительно соразмерные и потому более справедливые доли державного тягла и на дворянство, и на крестьян. Уже по смерти Петра I в мутную «эпоху дворцовых переворотов» правящей дворянско-немецкой верхушкой ускоренно велось закабаление, окончательное закрепощение основной части русского населения – крестьянства, и даже по сравнению с мобилизационными отягощениями петровских реформ степень эксплуатации помещичьих и заводских крепостных возросла к концу XVIII века, по некоторым утверждениям историков, в разы.

Землю и крестьян на ней, которыми ранее наделяли дворян для должного несения ими государевой службы, они теперь получили в полную личную собственность и распоряжение вместе с правом судебно-полицейской и хозяйственной опеки над ними, сбора подушных денег-податей, определения и исполнения наказаний вплоть до отправки в Сибирь, а работников навечно прикрепляли к заводам и прочим промышленным предприятиям. И если в Европе того времени дело постепенно шло к какому-никакому освобождению крестьянства от феодальных пережитков и улучшению их условий жизни, то в России феодализм приобретал наоборот всё более жёсткие, крайние формы и уже мало чем отличался от рабства колониального толка.

Разрыв между верхним меньшинством и самым нижним подавляющим (и подавляемым) большинством окончательно принял *цивилизационный характер*, весьма чётко обозначив себя и в языковом плане, не говоря уже о социально-имущественном. Французский и немецкий в высшем свете вытеснили аборигенский русский, и даже наша национальная героиня, пушкинская Татьяна, «выражалася с трудом на языке своём родном...». «Если бы каким-нибудь случаем сюда занесён был иностранец, который бы не знал русской истории за целое столетие, – писал А.С.Грибоедов, – он, конечно, заключил бы из резкой противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племён, которые ещё не успели перемешаться обычаями и нравами...».

Нет, успели так радикально разделиться, разойтись, что казались порой выходцами из совершенно разных народов.

Этот цивилизационный разрыв и является едва ли не главным признаком как классического вообще, так и «внутреннего» колониализма в России XVIII – XIX веков – вместе с утверждаемой Ключевским утратой «политической роли русского дворянства», русской элиты, а фактически ведь и потерей субъектности, независимости её, с отстранением от принятия важнейших, а подчас и судьбоносных для страны и народа решений. Потеряв верховную власть, отдав её в чужие руки, она утратила вместе с нею и *стратегическое, проектное мышление*, саму возможность постановки и достижения своих, русских долговременных целей, то, что называют прозревающей в грядущее «длинной волей». Это и стало началом длительного её и бесславного конца.

Гораздо раньше Ключевского в этом убедился сполна Ф.И.Тютчев, посвятивший российской дипломатии всю свою жизнь, с великой горечью видя «непостижимое самодовольство официальной России, до такой степени утратившей смысл и чувство своей исторической традиции, что она не только не видела в Западе своего естественного и необходимого (то есть которого нельзя обойти – *П.К.*) противника, но старалась только служить ему подкладкой» и «только и делала, что отрекалась от собственных интересов и предавала их ради пользы и охраны интересов чужих...».

Да это и немудрено было: ещё до Екатерины II императорский Двор стал «проходным двором» всей Европы, для всех и всяческих интернациональных проходимцев, слетевшихся «на ловлю счастья и чинов», чего стоила одна драма жизни и борьбы М.В.Ломоносова. Хотя несомненно, конечно, что некоторые «иностранные специалисты» привнесли немалый вклад в развитие самых разных сторон научной и общекультурной жизни, делясь богатым опытом и знаниями Европы.

Но ведь именно наличие взыскательной и целеустремлённой «длинной воли», выражающей главные чаяния и домостроительные принципы своего народа, и делает из его верхов истинную элиту. Державная традиция первых Романовых прервалась-переменилась уже на Петре Великом, и само государственное устроение России всё более становилось искусственным, навязанным со стороны, несообразным и не отвечающим многим запросам и нуждам, интересам и даже религиозно-идеологическим установкам общерусского бытия; Царство русское сменилось на Империю «вообще». Онемеченную династию уже мало что родового, тем паче родного связывало с управляемой ею страной, разве что «графья» Бобринские; зато Европа была полна самыми близкими, алчными и весьма требовательными родственниками, что не могло не ввязывать «Романовых» во все европейские склоки и разборки, самой России чаще всего не нужные, а то и противопоказанные и ничего не приносящие, кроме беспрестанных и значительных трат в средствах, силах и жертвах. Та же Екатерина II, свергнув с помощью дворян негодного мужа, тем не менее продолжила его политику сдачи Пруссии всех результатов Семилетней войны, куда как дорого обошедшихся русским; да и могла ли поступить по-другому дочь прусского фельдмаршала? Надо сказать, она очень умело, чисто по-женски подчас и весьма щедро – за счёт казны, разумеется, – подкупала расположение к себе и преданность русских аристократов, что завещала и своему потомству.

Но вопиющая несправедливость «дворянской вольности» с попутным лишением крестьянства последних прав вызывали законное возмущение народа, и ей пришлось уже в первые годы правления жестоко усмирять около 100 тысяч помещичьих и 50 тысяч заводских невольников, не говоря уж о грянувшей позже Крестьянской войне, пугачёвщине. А все внешние, даже самые успешные завоевания при ней и её потомках никак, считай, не сказывались на положении подавляемого большинства народа, и как тонула большая часть русской деревни в нищете, схожей порой с какой-нибудь индусской, в середине века восемнадцатого, так и продолжала тонуть в начале двадцатого...

Дармовая «вольность», сверхизбыточные привилегии исторически сыграли с русской аристократией недобрую шутку – как, впрочем, и реформа 1861 года, о роли и грозных последствиях которой я уже писал. Землевладельческое дворянство в продолжение XIX века всё более впадало в системный кризис, обусловленный у нас в первую очередь экономическим иждивенчеством, а вернее прямым паразитизмом на крестьянстве, эксплуатацией дармового тоже рабского труда – который, как известно, развращает господ куда больше, чем рабов. Всё меньше занималось оно собственно хозяйством сельским своим, перепоручая его хватким посредникам, корыстным старостам-приказчикам, переселяясь в города или вовсе за границу, с попустительства верховной власти мало заботясь о коренном улучшении его, а уж тем более жизни своих крепостных, отдавая их под бесконтрольный про-

извол управляющих имениями, и толстовские «константины левины» встречались, увы, всё реже, замещаясь больше «облонскими»...

Избавившись от какой-либо ответственности за своих бывших крепостных и получив при «освобождении» 1861 года гигантскую по тем временам сумму прямых выкупных платежей за землю в один миллиард рублей (а косвенных было, по некоторым прикидкам, раза в два-три больше), дворянство не потратило, не инвестировало хотя бы половины её в «подъём сельского хозяйства» своего, по-нынешнему говоря, а попросту «проело» в привычном барском потребительстве, а то и роскоши. Только в 1882-1901 годах русскими «путешественниками» было вывезено на Запад 1,37 миллиарда рублей – сполна напоминая этим сегодняшнюю, тоже массовую «четвёртую волну» эмиграции своим отношением к Родине, к своему национальному делу и долгу.

Результатом стало повальное разорение «дворянских гнёзд», обернувшееся форменной драмой того времени, но ни немецкая династия, ни служилая русская аристократия в силу своего недалёкого классового эгоизма не сумели, не смогли предпринять ничего рационального, действенного, чтобы усовершенствовать хозяйственные и социальные механизмы и вывести из кризиса всю земледельческую экономику, а не цепляться до последнего за свой шкурный интерес и отжившие сословные, едва ли не кастовые отношения в расколотом обществе. Как не могли по-настоящему поднять и технологический уровень промышленности, угодив в ростовщическую кабалу Запада, полностью утратив финансовую независимость.

Почему мы должны брать западные кредиты, спрашивал тогда исследователь экономики генерал А.Д.Нечволодов, чтобы на собственной земле, своими руками и материалами построить железную дорогу?.. С Ельциным и его, прости Господи, «элитой» посредством «Вашингтонского консенсуса» повторили извне тот же мошеннический трюк, что и с Николаем II при навязывании «золотого рубля». И эти же заунывные мантры об «иностранных инвестициях» мы слышим от правительства компрадоров и сейчас, что яснее ясного говорит о нашей финансовой несамостоятельности, а значит и о державной несостоятельности тоже. И видим третий десяток лет то же отсутствие «длинной воли» во внутренней политике, какого-либо значимого и понятного народу проекта, кроме ненасытной корысти продажной олигархии и пресловутого «выживания» для низов, обрекающего нас на вечное отставание и, вместе с тем, на деградацию – а вот она-то всегда конечна...

Одновременно с этим переживало острейший и всё нарастающий безвыходный кризис и крестьянство, составлявшее более восьми десятых всего человеческого ресурса Империи. Рождаемость была высокой и с перебором «съедала» жалкие приросты производительности труда и урожайности, население стремительно росло, а пашни, сельхозугодий на душу его становилось всё меньше, как и рабочего и прочего другого скота. Агротехника в основном оставалась самая примитивная, ещё зачастую с сохой, и прироста хлеба на выпаханной, без должного удобрения земле почти не давала. К тому же во второй половине и ближе к концу XIX века из-за провального внешнеторгового баланса правительством всё усиливался так называемый «голодный экспорт» зерна и всякого другого продовольствия под чиновничьим циничным посылом «не доедим, но вывезем», царская «продразверстка» работала вовсю, не озабочиваясь пропитанием самих землепашцев, и Александр III даже запретил в официальных документах слово «голод», заменив его «недородом»....

Между тем, по статистике тех лет, хроническое недоедание крестьян в среднем на треть ниже самой минимальной нормы (около 20 пудов зерна в год на человека) было, по сути, постоянным *фоновым голодом* в деревне. А при неурожае, случавшемся каждые 4-5 лет, а то и чаще, страшный голодомор охватывал сразу десяток-другой губерний и десятки миллионов людей с неисчислимыми, в прямом и переносном смысле, жертвами-смертями, с тифом и цингою, не говоря уж о массовом разорении дворовых хозяйств... Всякий желающий знать может набрать в поисковике интернета работу А.Д. Нечволодова «От разорения к достатку», другие материалы на эту скорбную тему и получить исчерпывающие сведения, статистику, факты. Сравнение же питания, не поминая условий жизни вообще, с сельским населением Европы и Северной Америки было просто убийственно позорными для России, где дело дошло уже до физического, телесного вырождения русского сельского населения...

Кое-как организованное и без действенной государственной поддержки проводимое переселение на свободные земли Сибири и Туркестана не могло решить проблему малоземелья и даже покрыть прирост населения, то есть положение его продолжалось лишь ухудшаться. Бедствия переселенцев были подчас неимоверными, а «столовых (для них – *П.К.*) от Пензы до Манчжурии только шесть», писала газета «Русское слово» в 1907 году, тогда как лишь за февраль в Челябинском переселенческом управлении было зарегистрировано около 20 тысяч беженцев из голодных губерний... Каковы были пути-дороги в Сибири, мы имеем представление от Гончарова, Чехова и других писателей наших. Столыпин, пытавшийся найти выход из крестьянского «чёрного тупика», успел сделать сравнительно немало, но решить проблему постоянного голода и массового разорения на селе в принципе не мог, потому что она в «периферийном капитализме» романовского образца имела системный, неотделимый от него характер. Уже в разгар столыпинских реформ при сильнейшем голоде 1911 года за границу было продано 53% собранного товарного хлеба: фигурально выражаясь, десяток-другой пароходов с российским зерном шло на Запад, а навстречу в Россию один пароходик милосердного Красного Креста с прокормом для голодающих русских землепашцев...

Этим сдвоенным кризисом верхов и низов (при сравнительно слабом промышленном производстве, вдобавок большей частью контролируемом, как и банки, из-за рубежа) и была подорвана «становая жила» Российской Империи, её реальная, а не показная мощь, которая в любом государстве может быть обеспечена только независимым и успешным, экономически гармоничным развитием промышленности и сельского хозяйства. Крайнюю запущенность всех этих не только экономических, но и политических, социальных, военных диспропорций большевикам пришлось преодолевать и выправлять ради спасения страны и народа в кратчайший предвоенный срок и самыми жёсткими, подчас жестокими мерами, иных выходов из всего «наследства» Империи просто не оставалось: «иначе нас сомнут...». Вопросом жизни и смерти стало получить путём навязанной, а то и насильственной коллективизации государственный контроль над «хлебом насущным», иначе армию и город не прокормить, и ускоренной индустриализацией (с переброской на неё избыточных рабочих рук из деревни) создать оружие защиты.

Надо умудриться сейчас, с нашим-то историческим опытом, «не понимать» всей грозности той ситуации, причём в условиях послевоенной разрухи и враждебного внешнего окружения, и жёсткой невозможности других

решений – разве что сдаться и стать уже безусловной колонией многочисленных хищников вокруг. И сорок первый, несмотря на все трагические перехлёсты тех мер, подтвердил единственность этого пути.

Ведь ещё в 1918 году американский конгресс официально объявил, что России как государства больше не существует, а её территория, подразумевалось само собой, становится зоной «свободной охоты», международного раздела-разбоя, – очевидно, в благодарность за помощь русского флота Штатам, тогда ещё разъединённым, в их гражданской войне в 1863 году... И тут же вместе со всеми прочими интервентами высадили оккупационные войска на Русском Севере и во Владивостоке, попутно дочиста грабя и вывозя всё ценное. «Было бы ошибочно думать, что в течение всего этого года мы сражались на фронтах за дело враждебных большевикам русских, – не стал скрывать позже Черчилль. – Напротив того, русские белогвардейцы сражались за НАШЕ дело...». А переформатировать оккупационные зоны в «страны СНГ» – дело недолгое. И в этом смысле нашу Гражданскую войну можно с полным правом считать антиколониальной, а значит и отечественной – пусть со строчной, в память о всех павших с обеих сторон, буквы...

Всеохватный кризис государства, напрямую связанный с двухвековой утратой русской аристократией «длинной воли», с разложением и упадком ответственности за народ в национальной элите, и привели к «внутреннему колониализму» в отношении к большинству населения России. Но это сказалось и на других сословиях, на всём строе той государственной и общественной жизни, и потому даже идейный монархист, известный публицист М.О.Меньшиков задаётся возмущённым вопросом: «Чьё государство Россия?» – так и назвав свою статью в 1908 году. И приходит к выводу, что русские в массе своей лишены даже элементарного равноправия с другими национальностями в собственной стране, что «коренной русский народ до самого последнего времени был опутан целой сетью затяжных бессмысленных ограничений – при основной и тяжкой повинности нести на себе всю ответственность за громадное, раскинувшееся на два материка государство... Для начала хотя бы уравняли нас в правах с господами покорёнными народностями! Для начала хотя бы добиться только пропорционального распределения тех позиций власти, богатства и влияния, что при содействии правительства захвачены инородцами. Если немцы, которых 1 процент в Империи, захватили кое-где уже 75 процентов государственных должностей, то на первое время смешно даже говорить о русском «господстве»»... И описывает, в том числе и в других статьях своих, широко распространённую практику утеснения и вытеснения русских во многих областях политической, деловой, социальной и культурной жизни, говоря даже о «тяжёлом засилье инородчества» – впрямую перекликаясь с ситуацией нынешней.

Надо сказать, что и советская, к середине тридцатых годов в большинстве своём русская по национальности номенклатура во многом переняла этот «интернационализм за счёт русского народа», куда больше зачастую заботясь о национальных окраинах под политически недалёким самооправданием: «свои поймут и потерпят», дескать... Именно грубые ошибки в определении и поддержании должного статуса русского народа в стране (с разделением на союзные республики, в том числе, а не на губернии), недальновидность в решении «русского вопроса» и стали одной из самых главных причин распада Советского Союза. И задача восстановления русского самоуправления, «самодержавия», суверенитета во всей полноте этого понятия

и сейчас стоит перед нами как категорическое, в императив возведённое требование нашего народа.

Вообще же, это «при содействии правительства» дорогого стоит в устах убеждённого монархиста... Меньшиков видел, конечно же, что немецкая династия на российском троне не могла не бояться русского большинства и всячески разбавляла его более сговорчивыми инородцами, ограничивала его как могла во власти, влиянии, инициативах, в распоряжении своим национальным достоянием. Весьма показательным здесь является настороженное и мало сказать – неприязненное отношение «немецкого самодержавия» к идейному движению славянофилов Аксаковых, Хомякова и других выразителей русского самосознания, всяческие запретительные цензурные и прочие санкции, закрытие журналов и даже аресты – более чем странные, казалось бы, в родном Отечестве... И если позже правящая верхушка поспешно поддержала, отчасти сама организовала возникшее в начале нового века патриотическое черносотенство, то лишь из-за страха перед надвигавшейся революцией.

А она становилась всё неизбежней, поскольку давно и намеренно унижена была и оскорблена сама «народность» из пресловутой уваровской триады «Православие, Самодержавие, Народность», где впали в системный кризис все её составляющие, в том числе и синодальный, издавна лишённый патриаршества клир. И тютчевское грозное предчувствие «дыхания Бога – дыхания бури» жило и в Меньшикове, чутко выразившем тогда критическое, предгрозовое самочувствие самого русского духа: «Я думаю, что столь глубокий упадок чувства народности – накануне восстановления её или смерти. Одно из двух...».

Народ и восстановил своё попранное достоинство, свою «самость» и историческую значимость тем способом, какой был ему доступен – свержением власти, которая не исполняла возложенных на неё Богом и нацией обязанностей. Большевики, как раз обладавшие «длинной волей», смогли достаточно убедительно сформулировать свой проект, в перспективе решающий главные проблемы бытия народа, и тот согласился на него, поддержал и принял его к осуществлению.

Крайним же выражением антинациональной политики «Романовых», а по сути предательства ими высших интересов России стало ввязывание страны в Первую мировую, поистине империалистическую войну в качестве «пушечного мяса» Антанты, западных ростовщиков-заимодавцев, своих хоть сколько-нибудь истинных, жизненно важных целей и причин на то не имея. То есть, по Тютчеву, чтобы в который раз «служить подкладкой» чужих и чуждых интересов, влезая вдобавок в огромные дополнительные долги перед «союзниками» и неся в ней беспримерные человеческие потери.

К раскрученной накануне её военной истерии в стране, кстати, вдруг как по команде подключилось большинство российских газет (какие сам же Меньшиков в открытую называл «еврейскими» и считал сугубо антирусскими), поднявших нежданно-негаданно прямо-таки ура-патриотический вой в поддержку войны «за Царя, за Отечество»... На этот раз ему, видно, не хватило проницательности понять, что команда-то была из всё тех же недр Антанты (как, впрочем, и на убийство эрцгерцога в Сараево) с целью втянуть русских в эту бойню, и сам он тоже увлёкся воинственной риторикой «войны до победного конца»...

Все эти факторы вместе и предопределили закономерный во многом крах царизма и самой Империи. И нынешние попытки навязать некий религиоз-

но-публичный культ последнего царя по меньшей мере антиисторичны и противоречат всему огромному массиву данных, документальных свидетельств слабости, неукоренённости в народе этой лже-романовской династии и её неспособности работать на истинное благо нации и страны. Простительно даже, что нынешние радетели монархизма сочли «исконно-посконной», автохтонной и безальтернативной колониальную администрацию «Романовых»: достаточных целенаправленных исследований этого феномена в нашей исторической науке действительно нет, опереться в ней особо не на что, и заблуждаться на этот счёт можно, наверное, вполне искренне. Но поражает, как они, радетели, бесчувственны, по-барски пренебрежительны к многовековым тяготам и издевательствам, к полнейшему бесправию большинства нашего народа, крестьянства и работного люда вообще. Понятно, что не радетелей же этих продавали оптом и в розницу, и что – простите за грубость – не их матерей заставляли откармливать грудью легавых щенков...

Куда как показательно, что белогвардейское дворянство так и не почувствовало, не признало никакой исторической вины своей во всём происшедшем, считая себя жертвой «взбунтовавшегося хама», сваливая все грехи свои и огрехи на народные низы и тем пытаясь оправдывать свой «социальный расизм» *(С.Кара-Мурза)*, что так нагляден, например, в «Окаянных днях» И.А.Бунина... Похожим образом ведут себя и «ревнители» Николая II, вынося за некие скобки все его «вольныя и невольныя» проступки и прямые преступления как несущественные, – за какие такие скобки? Своего беспамятства и равнодушия, своего монархического ража? И требуют не менее чем «всенародного покаяния» перед ним – в унисон, кстати, с «либеральной» люмпен-интеллигенцией, требующей того же и за всё семидесятилетие советской власти.

Между тем, поспешная и под давлением отнюдь не церковных кругов канонизация его вызывает немало вопросов и сомнений, уж очень явны политиканские причины или, если хотите, «мотивы вины» Ельцина, сравнявшего с землей Ипатьевский дом, и церковных верхов, помнящих о торопливом отречении иерархов РПЦ от своего «помазанника». И более чем убедительна позиция митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна, а с ним и митрополита Нижегородского Николая, что, по слову последнего, «сбежавший под юбку Александры Фёдоровны» и тем самым предавший страну бывший царь никак не может встать рядом со святыми Александром Невским и Дмитрием Донским...

Всё это говорит не только о том, что исторические уроки этими властными, околовластными и просто «любительскими» кругами никак не выучены. Симптоматичная смычка «поклонских» монархистов и прозападной «либерасни» впрямую работает на интересы российской олигархии, которую вполне бы устроило, как вариант, «самодержавие» романовского толка с его разнузданной свободой корысти, рвачества, нещадной эксплуатации людских и природных ресурсов России.

Ко всему прочему, приходится делать вывод, что «хрустобулочники», рьяные почитатели «России, которую мы потеряли», если и читали, то, похоже, очень поверхностно «святую русскую литературу» *(Т.Манн),* в том числе второго-третьего ряда от Радищева до Писемского и братьев Успенских. Она, горькая и родная, и является полным «сводом доказательств» того, что в двух статьях моих лишь обозначено как предмет дальнейших исследований и трезвого осмысления всеми, кто неравнодушен к поискам правды в нашей сложнейшей истории.

Андрей ВОРОНЦОВ

НА РАЗЛОМЕ РУССКОГО МИРА

О романе Михаила Попова «На кресах всходних»

Разные были прежде у Михаила Попова романы – и хорошие, и не очень, но почти все они напоминали повести, на каркас которых автор нарастил дополнительное, романное мясо. «Повесть+» – так, по-современному, можно было бы их квалифицировать. А «Кресы» Попова – полноценный образец чистого жанра, с десятками персонажей, что для меня было приятной неожиданностью, потому что прежде его романы не были слишком населены, а основное действие крутилось вокруг одного-двух героев. Другой неожиданностью для меня явилось начало романа. Я, грешным делом, подумал, что передо мной некий «Омерзительный момент истины», черная пародия на бестселлер В. Богомолова, сделанная по аналогии с «Омерзительной восьмеркой» Тарантино. И был поначалу даже разочарован, когда в самый острый момент автор вдруг перекинул нас аж в 1908 год. Потом понял, что эпизод с бандой мародеров он нам дал для затравки, чтобы мы легче перенесли погружение на сто с лишним лет назад.

ВОРОНЦОВ Андрей Венедиктович родился 11 марта 1961 г. в Солнечногорском районе Московской области. Закончил Литературный институт. Первую книгу прозы «Победитель смерти» выпустил в 1989 году. Автор известных романов «Огонь в степи» («Шолохов»), «Тайный коридор», «Необъяснимые правила смерти», «Называйте меня пророком» («Будущее не продается»), историко-публицистических книг «Почему Россия была и будет православной», «Крещение Руси», «Православие и католицизм», «Неизвестная история русского народа» (2013). В настоящее время – доцент кафедры творчества Литературного института им. Горького.

«Белорусский народный писатель», – вот что, наверное, теперь должны написать о Михаиле Попове в справочниках. Он не белорус, и живет не в Белоруссии, но написал эпический роман о белорусах-«западэнцах». Или о «литвинах» – кому как больше нравится. Зачем, не знаю, как-то постеснялся спросить. Да и как вы себе это представляете: «Ты зачем написал этот роман?» – так, что ли? Нет, это неудобно. Однако же, вопрос остается: нынешние белорусские писатели не пишут эпических романов на тему своей истории, а москвич Попов взял и написал. Что с того, что в детстве и юности он жил в Белоруссии? Он и в Казахстане, я знаю, жил: так что же, теперь нам ждать от него эпический роман о казахах?

Может быть, запад Белоруссии для Попова – это то место, где ныне происходит очередной разлом Русского мира? И давно уже происходит, судя по трактовке Попова? Думаю, это одна из вероятных версий: я сам этот разлом почувствовал, когда был несколько лет назад с Поповым в белорусской Сморгони. Нет, ситуация там, конечно, не такая, как на западе Украины, но тоже не очень хорошая. И поддерживается градус тихой антирусской истерии сектой местных сельских интеллигентов, живущих, вероятно, на польские гранты. Весьма неприятные дяденьки и тетеньки в старомодных очечках, с брюзгливо, по-русофобски поджатыми губами. С одной такой, кстати, я столкнулся потом за тридевять земель от Сморгони, в римских катакомбах Каллиста. Туда пускают группами, с гидом-переводчиком. Русской группы не было, пришлось мне, поколебавшись, идти с польской (зная украинский, я немного разбираю и по-польски). Между тем, гид отлично владела и русским, ибо родом была из Белоруссии. Но она не сочла нужным что-то добавлять для меня по-русски: наверное, боялась обидеть важных, словно аршин проглотивших, ксендзов из группы, – они и так, змеюки, косились, когда я крестился по-православному на росписи первых христиан. Я как всякий писатель – человек неприятный, люблю психологические эксперименты, поэтому намеренно громко стал задавать гиду вопросы на неком украинско-польском суржике, от которого у ксендзов вообще глаза на лоб полезли. Тогда экскурсовод со знакомой по Сморгони брюзгливой гримаской сказала, что я могу спрашивать по-русски. Ну, наконец-то! Какое счастье! Что же вы думаете: она стала мне отвечать по-русски? Ничуть не бывало – снова по-польски. А в Сморгони, помнится, гид в каком-то музее говорил на русском с весьма скособоченной рожей, всячески демонстрируя, что кабы не служба, нипочем он не стал бы поганить язык «гэтай сабачай мовай». Зато какая бездна лакейства обнаруживается, доведись к ним приехать, например, дальнему английскому родственнику, седьмая вода на киселе, композитора Огинского! До сих пор тошнит при воспоминании. Одно скажу: не пожелал бы быть в шкуре людей, которые не могут сполна себя почувствовать ни русскими, ни поляками, ни литовцами, ни жмудью... Кто они? Ни Богу свечка, ни черту кочерга? *Порхневичи* – таково их имя у Попова. Так называется и деревня, где они живут. Когда надо – русские, когда надо – поляки, когда надо – литвины... Белорусы – эвфемизм, именно в своей «русскости» сторонниками «европейского выбора» оспариваемый: получается ведь, что хотя и «белые», но «русские».

Тогда, в Сморгони, Попов реагировал хамство и лакейство в одном флаконе местных «свидомитов» точно так же, как и я. Но, хорошо зная его взгляды, высказываемые им в беседах или, допустим, в статьях и рассказах, я не могу похвастаться, что вполне понимаю его взгляды, выражаемые в романах. Не берусь судить, кто тут больше виноват – аз грешный или сам автор.

Однако я совершенно не разделяю мнения, что, допустим, роман Попова «Москаль» – это обличение украинских нациков, потому что ненавидящий их до судорог герой не менее, а может быть, даже более «больной на голову», чем сами нацики (в романе, кстати, представленные весьма условно). Скажу также, что не знаю причин, почему бы «Москаль» не мог бы издаваться на нынешней Украине и даже получить какую-нибудь премию. Может быть, потому, что кто-то из наших критиков поторопился поставить его в «антисвидомый» ряд. Отмечу еще одну любопытную особенность «Москаля»: читая его (еще в рукописи), я заметил, что, когда автор заставляет героев говорить украинской мовой, их неожиданно «переклинивает» на белорусскую. Ну, например, надо сказать «цэ», а они говорят «гэта». Вышел какой-то диковатый суржик наподобие того, коим я щеголял в римских катакомбах. Тогда по моему совету Попов белорусизмы искоренил, но теперь, в свете его «Кресов», эти описки не кажутся мне совершенно случайными. Думал он, видимо, и о белорусах, пиша об украинцах.

Ничего странного в том, что романист хочет понять точку зрения всех сторон, нет. А как иначе? Другое дело, что произведения, концепция которых схожа с концепцией «Кресов», периодически издаются там, где правда нашей стороны никого не интересует – в Прибалтике, в странах СНГ и бывшего соцлагеря. Что же это за концепция? Согласно ей, трагедия народов, оказавшихся в орбите влияния Австро-Венгерской, Германской, Османской и Российской империй (а позднее – СССР), не в том, что они были вынуждены постоянно мимикрировать в цвета нависших над ними великих и страшных народов (это, конечно, противно, но в целом терпимо), а в том, что порой приходилось перекрашиваться до самых подмышек и паховых глубин. Или, другими словами, разделить судьбу этих империй. И тогда «малые народы» оказывались сразу между нескольких жерновов, из которых почему-то самым смертельным авторам из лимитрофов представляется русский, хотя и другие жернова по логике сопромата не могут быть более мягкими.

Я не вижу в «Кресах» Попова никакого дистанцирования от этой «восточноевропейской концепции», хотя никогда не слышал, чтобы он разделял ее лично. Судите сами: были его герои в Российской империи русскими (как белорусский субэтнос), но в 1919–1920 гг. запад Белоруссии подмяли под себя поляки, и пришлось стать поляками (а на деле – недополяками, конечно). В 1939 году вернулись русские, и давай всё по новой, с красным уже оттенком; правда, долго перекрашиваться не пришлось – в 1941-м немцы нагрянули. Ну, немцем ни белорус, ни литвин, ни даже недополяк не станет, даже если очень захочет, а вот «хайль!» кричать, кормить-поить немца и какашки за ним выносить – пожалуйста. За отказ – «зи немножько расстрелирт». И вот «порхневичи», наконец, делают выбор: почти поголовно уходят в партизаны. Они выбирают Сталина, СССР, а шире – историческую Россию. И что же? В июне 1944-го, во время нашего наступления, московское командование бросает отряд сделавших судьбоносный выбор «порхневичей» в совершенно безнадежную, зато оставляющую немцев без резервов атаку на железнодорожный узел Гибуличи, где почти все партизаны и гибнут, собственной шкурой подтверждая роковую неслучайность названия станции.

Часть героев «Кресов», вроде Николая Норкевича и Вениамина Порхневича, сделала другой выбор: отправилась на организованный уже навострившими лыжи из Минска гитлеровцами «2-й Всебелорусский конгресс», где они проголосовали, как надо, выбрали каких-то местных агентов геста-

по в руководство и поехали восвояси, а в спину этим простецам-делегатам дышала уже Красная Армия и НКВД. Страницы эти написаны прекрасно. Но, если смотреть на судьбу героев-коллаборационистов и героев-партизан без пафоса (именно так, как описывает Попов), а чисто по-житейски, то непонятно еще, чей выбор хуже. «Оба хуже», – как говаривал в таких случаях Сталин. Одни погеройствовали, другие полакейничали, а путь всем один ? в могилу. Вот она, судьба народов, угодивших «меж жерновов». Есть анекдот на эту тему. Малыш-червяк спрашивает маму: «А где папа?» – «А папа, сынок, ушел с большими мужиками рыбу ловить».

Ко всему этому надо прибавить всякие страсти-мордасти про ГУЛАГ и НКВД, которых Попов, на манер авторов из «незалежных краин», навалял с избытком, усилив тем самым ощущение, что русский жернов пострашнее других. А как понимать «польское» название «На кресах всходних» («На восточных границах»)? Ведь они именно для поляков ? восточные, а для нас и даже для белорусов – вообще-то западные.

Я не исключаю, что мои выводы по поводу «Кресов» не совсем правильны, но автор в любом случае постарался, чтобы они были именно таковыми. Ведь кто лучше всех себя чувствует в финале романа? Приехавший на историческую родину из Канады 8 мая 1985 года старик Антон Сахонь. Местные любопытствуют:

– А вы там, в Канаде, богатый?

– Ну, как... Имение, где мы сейчас сидим, купить мог бы. *Только оно мне не надо*» (курсив мой. – *А.В.*).

Вот кто, оказывается, сделал правильный выбор: Сахонь, смывшийся из треклятых Порхневичей за границу еще в 1923 году. Все остальные – дураки-аборигены из Кресов всходних, мучащиеся зачем-то меж исторических жерновов. Или не так? Или ключевая фраза романа другая: «Порхневичи медленно и постоянно восстанавливались, даже сохранили имя, только там живут совсем другие люди»? Сквозь этих «других людей» уже просвечивает нынешняя Белоруссия с батькой Лукашенко во главе. И если огромадный, на четыре номера «Москвы» роман задумывался Поповым как развернутый ответ на вопрос: «Почему Лукашенко ведет такую политику?», то ответ дан исчерпывающий. Ибо Лукашенко тоже плоть от плоти, кровь от крови «порхневич».

Но, согласитесь, как-то этого мало. Что-то должно быть еще значимое под конец. Вспомнил я невольно один из эпизодов в финале шолоховского эпоса «Тихий Дон», после смерти Аксиньи:

«Чумаков переночевал у них в землянке, утром стал прощаться.

– Куда идешь? – спросил Григорий.

Улыбаясь, Чумаков ответил:

– Легкую жизнь шукать. Может, и ты со мной?

– Нет, топай один».

Так не только у людей бывает, но и у народов: одни ищут легкой жизни, а для других она уже невозможна. И тем, кому выпала тяжелая жизнь, не остается ничего другого, как прожить ее достойно. Или умереть. Но они ничего – совершенно ничего – не должны тем народам, что шукают легкую жизнь. И не обязаны слушать их нытье, как легкая жизнь неожиданно оказалась трудна.

Может быть, мои противоречивые впечатления от романа связаны с тем, что при большом охвате событий, от начала XX века до конца его, Михаил Попов как-то сузил обратную историческую перспективу. Ну что такое 1908 год, с которого начинается роман, в общей истории Белоруссии и России? Так, промежуточная дата. А разлом Русского мира начался в

незапамятные времена, и вовсе не с украинцев и белорусов. Основатели польской исторической науки, например, видели Русский мир много шире, в пол-Европы. Вот как в 80-х годах XV (!) века писал официальный польский хронист Бернарж Вапповский: «Поляки, чехи, болгары, словены и прочие русы происходят от Мосоха или Москвы, сына Иафетова, и вышли из краев Московских». Вот это да! Ну, ладно, «из краев Московских»! А как вам нравится «прочие русы»?

А известнейший труд другого польского историка, Матвея Стрыйковского, называется так: «Хроника Польская, Литовская, Жмудская *и всей Руси*» (1582)! То есть, по Стрыйковскому, и Польша, и Литва, и Жмудь (Жемайтия) – это части «всея Руси»!) А это ведь не для того Вапповским и Стрыйковским написано, чтобы сделать нам, русским, приятно ? нет, в ту пору польский образованный класс сам так считал. И если впоследствии поляки, литовцы, жмудь, а также чехи, болгары, словены и «прочие русы» перестали ощущать себя частью «всей Руси» или, по-нынешнему, Русского мира, то это они, как казак Чумаков из «Тихого Дона», всё той же легкой жизни захотели. А коли так, совершенно неважно, братья они нам по крови и языку или не братья. Они сделали свой выбор, а мы свой. Мы выбрали достойную жизнь, они – легкую. Оказались ли они после этого между каких-нибудь жерновов, и не мы ли один из них, нам не должно быть интересно – хоть по людским законам, хоть по Божеским. Пойдут шукать легкую жизнь «порхневичи» лукашенковского разлива – извольте, вот вам Бог, а вот порог. Топайте одни! А на жернова, не на жернова – «гэта» не наше дело. Если после того, как «каждый четвертый из белорусов пал на войне», вы скажете вслед за украинцами: это была не наша война, то, согласитесь, и Победа в ней была не ваша. Вас посекли пулеметами в Гибуличах, сожгли в Порхневичах? Горько. А нас не посекли – в котлах 41-го и 42-го, под Москвой и Сталинградом, на залитых кровью керченских камнях? Или только мы должны за всех умирать?

Если вы решите переправляться через болото «налегке», прыгая с кочки на кочку, то рано или поздно обречены поскользнуться и ухнуть в трясину. Что ж, опять русские будут виноваты, что вас, таких неповторимых, болото сжует? А вы не прыгайте козлами, а стелите гать или осушайте трясину, как мы. Ведь мы тоже не сразу стали «большими мужиками» и самым большим славянским народом! И территории нам не сами в руки приплыли! Не одно поколение горбатилось за это! Жалел я, жалел поповских героев, а потом вдруг перестал. Нас-то никто не жалеет. Вот именно сейчас – не жалеет. Обратили ли вы внимание, что во время украинской энергетической блокады Крыма *ни одна* страна Евразийского сообщества или ОДКБ не прислала туда ни коробки гуманитарной помощи, ни одного электрогенератора, ни даже символического одеяла? Ну, ладно: лукавые руководители «союзных» государств не хотели ссориться с Порошенко. А простые люди? Они так же эгоистичны и неблагодарны? «Порхневичи»-то летом любят отдыхать в «аннексированном» Крыму, и после энергоблокады тоже, между прочим, приехали, да в немалом количестве, судя по автомобильным номерами. Улыбаются, братушки, уверяют: «мы с вами». Что ж вы зимой не скинулись хоть по рублику на поддержку крымчан?

Не исключено, что роман Михаила Попова был призван вызвать именно такие мысли, без авторского комментария, что называется. Если же нет, то всё равно спасибо, было интересно почитать и поразмышлять.

Максим ЕРШОВ

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ДЫМКА ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ УСТАЛОСТИ

Андрей Рубанов и роман «Патриот»

Ежели случится открыть нам в литературном справочнике статью, разъясняющую понятие «массовая литература», то мы получим возможность навсегда запомнить, что массовая литература: 1) предполагает мещанский реализм, зацветший дешевой романтикой, увенчанный обыденной философией, связанной с чем-нибудь таинственным и восточным; 2) реализм, раскрашенный жирными разводами семейной мелодрамы в урбанистическом (обычно, столичном) пейзаже. Здесь мы устанем удивляться внезапным смертям, чудовищным совпадениям, потрясающим находкам, исчезновениям, разрывающим шаблоны... 3) Мы повторим для себя все, что уже впитали из новостного шума последних лет. 4) Диалоги будут натянуто-деревянны, как и полагается растяжкам и подпоркам сюжета: они звучат, чтобы подменить собою действие, – задним числом. 5) Секс отчетно-количествен, а не художественно-качествен. 6) Юмор не поднимается выше зубоскальства промежду прочим... В общем, доступность, посредственность, вторичность – вот что есть и чем жива массовая литература. Или ещё – «суррогат», как обозначила свои ощущения от романа «Патриот» одна моя знакомая по фэйсбуку. И сам я, начиная читать роман, был близок к тому, чтобы согласиться с этой жестковатой

ЕРШОВ Максим Сергеевич родился в 1977 году в городе Сызрань Самарской области. Поэт, критик, учился в Литературном институте имени А.М. Горького по специальности «поэзия» (семинар С.Ю. Куняева). Автор книги стихов «Флагшток» (Самара, 2011). Член Союза писателей России. Автор журналов «Наш современник», «Москва», «Юность», газеты «День литературы». Стихи автора вошли в двухтомник «Большой стиль» журнала «Москва», 2015 г. и альманах «Антология поэзии», издательство «У Никитских ворот», 2015 г.

оценкой. Но вовремя вспомнил, что все отрицательные оценки теряют значение в тени одного высказывания Ортеги из «Восстания масс», смысл которого тот, что слеза обывателя, плененного мелодрамою, гораздо прозрачнее и горячее, чем статистический восторг эстета по поводу высокого искусства...

Действительно, поначалу книга раздражает, ведь роман это все-таки нечто большее, чем абы что. Но постепенно понимаешь, что это не абы что, а работа, в которую вложено автором всё главное, что у него есть. Не исключено, что по некоему строгому счету я снисходителен. Но по ходу не счета, а чтения начинаешь вслушиваться в авторское послание внимательнее, соглашаешься его слушать и хочешь уже услышать. Может быть, это происходит потому, что (невзирая на энергичные протесты Бахтина) ты начинаешь смешивать автора и его героя. И сочувствие к последнему становится козырем для первого...

«Патриот» это история (продолжение истории) мужика под пятьдесят, поджарого, словно гончий пес, который, начав погоню за счастьем на волнующем рубеже «перехода из ниоткуда в никуда» лет 25-30 назад, сумел догнать это формальное счастье: стать небольшим столичным банкиром, жениться-развестись-родить-сына-грохнуть-свой-банк... После чего решил вложиться в «безумную идею. Магазин. Национальный антикризисный супермаркет. Проживший, увы, всего семь лет – если считать от момента появления сырой идеи». Магазин героя называется «Готовься к войне». Как один из романов автора.

И у него, значит, героя, есть друзья (остались!).

И враги (эти точно всегда с тобой).

И жена (бывшая).

И сын (умничка и мажор).

И любовница – художница.

И дорогая квартира (два миллиона у.е.).

И естественно – машина крутая (две штуки).

И – неестественно, но стильно – мотоцикл.

И ещё деньги (крупные).

А нет у него, конечно же, – удовлетворения, покоя и воли.

И герой узнает, что сын у него не один (самое время!) – что была в юности или молодости, так сказать, на заре... была она – случайная встреча. Мелькнула. А сын вот остался. И эта девочка (теперь, понятно, тетенька) ничего не просит, она просто мстит Знаеву (а фамилия героя – Знаев) неожиданным знанием, выбивающим из седла. Из седла мотоцикла...

И мужику Знаеву остается только посочувствовать, хотя по сравнению с миллионами мужиков, однажды терпящих очередное (или внеочередное) крушение, он находится в лучшем положении: у него в распоряжении находится миллионная выручка гипермаркета «Готовься к войне». Не военный бюджет, но всё же... У всего этого нарратива есть непередаваемый налет кокетства – несколько далековатого от патриотической искренности. Тем не менее, путь героя лежит к врачу, ибо у него и...

И психотерапевт (ну, невролог, зато столь же дорогой, личный и бесполезный).

Докторша дает Сергею Знаеву сильных таблеток. С эффектом погружения в иную реальность. Но это частность. В целом же и при таком ле-

чении мы не можем отказать герою в способности глубокой рефлексии по поводу новостей.

И мысли его ярки: *«...мусульманские автоматчики расстреляли французских газетчиков из-за несчастной любви к Богу.*

– Весь мир шатается, грустно подумал Знаев. – Однако он шатается уже пять тысяч лет. Мир специально создан неустойчивым, чтобы люди держались друг за друга». Или: «*Человек реализует свои человеческие качества через любовь, и никак иначе*».

Понятно, за что этого Знаева рано или поздно начинаешь любить. За то, что этот парень не смог ужиться в «клубе одиноких сердец имени желтого дьявола» (многое изменилось в мировоззренческой палитре Андрея Рубанова со времен «Сажайте, и вырастет»). За то, что он говорит о своей способности любить друзей, даже бывших, даже вообще придуманных себе как друзья, – сам говорит это о себе и не боится так говорить, в глаза. А ты ему веришь. А когда начинает отрабатывать номер: *«Кто теперь помнит тот маргариново-брезентовый Эдем, жалкий социализм? Кто теперь понимает, какой рывок сделан за несколько десятилетий?... С каких холодных смрадных днищ мы поднялись до нынешней точки за считанные годы?»* – ты готов (всё понимая и усмехаясь понимающе) простить ему эту философски беспомощную, но четкую *партийность*.

Чего уж там? Как нам жить здесь, как писать? Жизнь у нас плотская, гуляют по ней Плоцкие, и – «*В Москве все американское мгновенно превращается в отчаянно русское. Не все тут космополиты, не все загорелы и белозубы, не всем хватает двух шотов крепкого, чтобы расслабиться. Пьют круче, хохочут громче; каблуки – выше, декольте – рискованней, взгляды – прямей. Не Манхеттен, нет. Гораздо интереснее. Цены ниже. Прет сильнее*». Но нам здесь, бывает, и захочется сделать еще один «рывок»: покинуть неоново-банкоматные пределы «нынешней точки» высокого кредитного абсурда. Да, от окружающих (о чью «улыбку можно точить кинжалы») однажды можно и выйти через окно, оставив записку на чеке из «Ашана». Как это почти случилось со Знаевым.

Но массовая литература потому и массовая, что не смущается противоречиями. Задумайтесь вот: «*В семье, как в бизнесе, хороши честность и прямота»... «Несколько женщин с мускулистыми попами энергично стремились в будущее, попирая резину беговых дорожек»*. Чем в этом мире нужно восторгаться? Конечно, найдется, чем. Но и «восторг» Рубанова – условный. Для такого отчетного восторга сначала приходится измазать сажей прошлое, как мачеха Аленушку в сказке. Ибо есть понимание: «родная-то дочь» – достигнутая высота современности – далеко не безупречна? Но о вкусах не спорят, лишь бы не выходить от счастья в окна двадцатых этажей. И не бросаться в экзотические моря с акулами.

В общем, мысли в книге есть. И сюжета в ней – богато. Только бедно с фабулой, с идеей. Действие, перемещение, встречи – лишь предлог для слов, сцена для рефлексии. Поэтому мне в итоге пришло в голову, что Андрей Рубанов преимущественно драматург, и неплохой. Что же до героя-патриота и его несвязного патриотизма как реакции на ритуальные убийства в Донбассе... то патриотом в России быть по-прежнему трудно. В*контакте* писали, что за Россию умирать не надо, за Россию надо жить. И именно вот это – жить, делать дело, радоваться общеполезному результату – очень тяжело в чудовищной нашей трясине, где командные

высоты занимает корыстолюбивая посредственность. И когда жить и трудиться уже невозможно – ибо уже нет на это моральных сил, а воевать и погибнуть за неизвестно что, неизвестно кому предназначенное в кормление – бессмысленно, когда какого-то выхода из круга бессмыслицы нет, а жена и дети обеспечены, и впереди – только старость... Что можно сделать? Попробуйте ответить на этот вопрос. Без религии нет ответа, или ответ будет отрицательный: саморазрушение. А если ни то, ни другое не устраивает?

Тогда можно поехать на далекое-далекое, синее-синее море. Зачем? Не скажу. Хотите знать, прочитайте книгу, она не трудная. Ежели же нет охоты, считайте, что отлет на море, подобно журавлю, – это и есть внятный исход патриотизма, бизнеса и семьи. Исход автора от неразрешимости поставленных было вопросов. Ну или просто интригующе-художественный демарш, и как все другие жесты – он еще не точка, но многоточие.

«День литературы»

№ 1 (4), 2018 г.

Журнал русских писателей

Технический редактор Е.И. Косырева

Подписано в печать 26.02.2018 г. Формат 84х108 1/16
Бумага офсет №1. Гарнитура Newton C.
Печать офсетная. Печ. л.: 22,5
Тираж 500 экз. Заказ №

АНО «Редакционно-издательский дом «Российский писатель»
119146, Москва, Комсомольский пр-т, 13
тел: 8-962-965-51-64, факс: 8(499)246-53-11.
sp@rospisatel.ru
www.rospisatel.ru

Отпечатано в типографии ООО «Паблит»
127282, Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1
Тел.: (495) 230-20-52